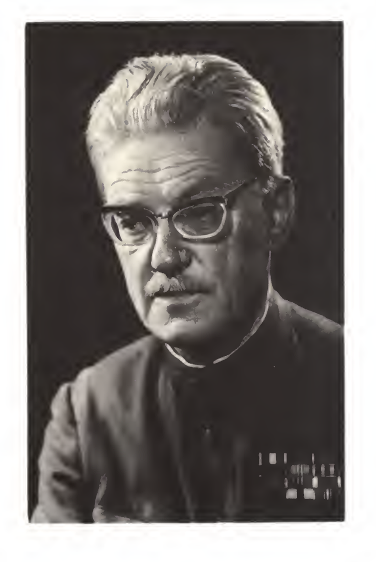
ВИТАЛИЙ ЗАКРУТКИН

ИЗБРАННОЕ

1







В. Закруткин

ВИТАЛИЙ ЗАКРУТКИН

ИЗБРАННОЕ В ТРЕХ ТОМАХ

ТОМ ПЕРВЫЙ

МОСКВА
ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1986

Р2
З-20

З $\frac{4702010200-025}{068(02)-86}$ 123-86

Сотворение мира

роман

книга
первая

И слышал я как бы слово многих народов, как бы шум вод яростных, как бы грохот громов!.. И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали.

«Откровение», XIX, 6; XXI

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1



рест был готов. Он был сделан из дубового бревна, снятого с конских яслей. Кони годами терлись об ясли, годами роняли слюну на крепкое дерево, и потому крест лоснился, как рыжая, в мыльных натеках конская шея.

В середине бревна торчало грубо выкованное, тронутое ржавчиной железное кольцо, к нему когда-то привязывали повод. Кольцо надо было снять, но у старика, который делал крест, иссякли силы.

— Нехай остается, — хмуро пробормотал он. — Кольцо никому не мешает...

Низенький, сухощавый, в рваном зипуне, с жидкой седой бородой и слезящимися глазами, старик был один в огромной пустой конюшне. Где-то под крышей, на затянутых паутиной стропилах, жалобно гудел еще не съеденный людьми осиротевший голубь, а в дальнем, темном углу, подогнув ноги, стояла тощая кобыленка.

В полуоткрытую дверь конюшни завевал снежок, дверь скрипела ржавыми петлями, ветер разносил кругом запах навозного дыма.

Старик, кряхтя, опустился на колени, раздул разложенный среди конюшни костер и сунул в жар длинный тележный шкворень. Потом он зачерпнул рукавицей горсть снега, взял зашипевший шкворень и выжег на кресте кривые знаки:

Д. С. 1921 г.

Шаркая валенками, старик отошел, прищурил глаза и вздохнул:

— Э-хе-хе... грехи наши тяжкие... Вот, гадал человек, что от голода уйдет, из-за Волги в нашу Огнищанку прибыл, де-

тей и внуков с собою привез, в господском дому поселился, а от смерти не ушел...

В глубине темной конюшни слабо заржала кобыла. Старик пошел к ней, спотыкаясь, на ходу подбирая втоптанные в мерзлый навоз кукурузные бодылья.

Истощенная кобыла уже не держалась на ногах. Опустив голову, она неподвижно висела на подвязанных к балке веревочных постромках. Почуяв приближение человека, кобыла шевельнула ухом, скосила меркнущий фиолетовый глаз.

— Эх, голуба, голуба, — с укоризной сказал старик, — не довезешь ты своего покойного хозяина до кладбища, отработала, бедняга...

Он кинул в ясли заледенелые, звякнувшие, как стекло, бодылья, затоптал костер, взвалил на спину крест и побрел к темнеющему в сугробах дому.

Большой приземистый дом с покосившейся террасой и заколоченными до половины окнами стоял на краю парка, далеко от конюшни. К дому не вела ни одна тропинка, и старик, сгибаясь под тяжестью дубового креста, медленно брел по глубокому снегу и хрипло бормотал:

— Маются люди, лучшего ищут, а конец у всех один... Вот наш барин... Разве ж он думал, что его хозяйство прахом пойдет? Годами людей давил, ночи недосыпал, по соломинке да по зернышку добро собирал. А чего получилось? Не понять... Барин сгинул, добро его ветром развеяно, в дому поселился мужик, которого барин и до порога не допустил бы... А ныне и этот мужик богу душу отдал...

Прислонив крест к разломанным перилам террасы, старик обмахнул веником валенки, скинул шапчонку, ощупью прошел темные сени и потянул медную дверную ручку. Из большой комнаты вырвался теплый пар.

В комнате сидели и стояли изможденные люди, молчаливой кучкой жались к стене полураздетые дети с тонкими шеями, а посредине, на столе, в длинном, нескладном гробу лежал покойник. Он был накрыт жидкой холстиной. Недоброе, восковой желтизны лицо мертвеца озарялось горящей у изголовья свечой, бурые, как березовые корни, руки застыли на белом холсте.

Увидев вошедшего в комнату старика, молодая женщина в зеленом платье тронула его за рукав:

— Пока попа привезут, вы бы, дедушка Силыч, почитали над покойником.

— Почитаю, Настасья Мартыновна, — ласково кивнул старик, — дай только душу отогреть...

Он прошел к печке, скинул зипун, размотал тряпье на шее, тронул ладонью плечо тонкого белобрысого мальчика:

— Ну, Андрюха, преставился, значит, дед Данила, ась?

Мальчик поднял голубые глаза и не ответил.

— Господь с ним, — отозвалась угрюмая старуха в углу, — преставился — стало быть, дети лишний кусок хлеба съедят...

Настасья Мартыновна укоризненно сказала старухе:

— Это вы напрасно, соседка. Данила Иванович последнюю крошку детям отдавал...

Она поправила вылезшую из-под шерстяного платка русую косу, встала у печки, заложив руки за спину, и проговорила, ни к кому не обращаясь:

— Принесешь ему, больному, лепешку, отвернешься, а он ребятишкам ее отдаст. Ничего для них не жалел. Придешь за тарелкой, он поведет глазами: спасибо, говорит, я поел... А сам ничего не ел, все внукам отдавал. Так и помер с голоду...

Дед Силыч понимающе кивнул сивой головой:

— Это так, голуба... нехай, дескать, ребятишки живут.

Он вытащил из-за пазухи книжку в кожаном переплете, надел на толстый нос очки в стальной оправе, стал у гроба и затянул высоким голосом:

— «Да воспримут горы мир людям и холмы правду... Снидет яко дождь на руно и яко капля, каплющая на землю... Будет утверждение на земли, на версех гор, превознесется паче Ливана плод его, и процветут от града яко трава земная...»

На темном лице покойника мерцали отсветы свечи. Притихшие люди с тупым равнодушием слушали непонятные слова псалтыря, а дед Силыч, перелистывая замусоленные, пахнущие воском страницы, читал о бренной человеческой жизни, о суете мирской, о земле, по которой человек прошел как странник, чтобы уйти и не возвращаться на эту трудную землю...

Услышав лай собаки и гомон на террасе, дед Силыч закрыл псалтырь.

В комнату, поддерживаемый под руки двумя мужчинами, вошел старый священник с изможденным лицом, с белой бородой и строгими, глубоко ввалившимися глазами. Он перекрестился, искоса глянул на покойника, снял овчинный тулупчик и, тяжело дыша, присел на лавку. Дьячок поставил

рядом с ним потертый саквояж, такой, какие носят акушерки.

— Кто тут хозяин? — исподлобья оглядывая людей, спросил священник.

— Хозяина нет, — сказала Настасья Мартыновна, — хозяин в отъезде, я одна осталась с детьми.

— Усопший кем вам доводится?

— Это мой свекор, Данила Иванович Ставров, — объяснила хозяйка. — Мы голодающие, Ставровы наша фамилия.

Священник устало кивнул, открыл саквояж и стал доставать шитую галуном епитрахиль, но вдруг спросил неожиданно:

— Чтобы хоронить по обряду, никто в семье не препятствует?

Женщина смутилась:

— Не понимаю, батюшка...

— Безбожников у вас нет? — раздражаясь, спросил священник. — Может, есть коммунисты или же комсомольцы, которые против обряда?

— Муженек ейный, Митрий, безбожник, — вмешалась сидевшая в углу старуха, — он фершал, сын покойного Данилы Ивановича. Только его дома нет, за хлебом поехал.

Священник махнул рукой:

— Ладно, мать, Христос с тобой...

Он надел епитрахиль, выпростал из-под бархатной, подбитой ватой скуфьи седые волосы. Дьячок разжег кадило, в комнате потянуло запахом ладана.

Мужчины подняли гроб на плечи, толкаясь в дверях, вышли во двор. За ними двинулись женщины и закутанные в серую ветошь дети.

Редкая цепочка людей потянулась к кладбищу. Над деревней темнело зимнее небо, ветер гнал по склону холма снежную заметь, рвал солому с крыш, выл в обледенелых ветвях деревьев. Молчаливые люди, спотыкаясь, брели в глубоких сугробах, и над ними, в холодном тумане пасмурного дня, плыло неясное очертание тяжелого креста.

Крест нес согнутый в дугу дед Силыч. Рядом с ним шагал голубоглазый Андрюша Ставров. Слыша надрывное дыхание Силыча, он просил, хватая старика за зипун:

— Дедушка, дай я понесу, тебе тяжело... Давай я, дедушка...

И старик, позволяя мальчику взяться за поперечную перекладину креста, хрипел натужно:

— Дурачок ты, Андрюха... божий телок... Тринадцать годочков тебе, и ничего ты не смыслишь... Погоди, голуба... на тебя еще навалится такой крест, что вовсе не сдюжаешь...

На кладбище, пока мужчины забивали крышку гроба, священник стоял у разрытой могилы, тусклыми глазами смотрел на перемешанную со снегом желтую глину и говорил с непонятной угрозой, словно не просил, а требовал у бога:

— «Помяни, господи боже наш, в вере и надежде живота вечного преставившегося раба твоего, брата нашего Даниила, и, яко благ и человеколюбец, отпущаяй грехи и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная...»

Андрюша Ставров, взяв за руки меньших братьев Рому и Федю, стоял перед гробом, удивлялся тому, что никто не оплакивает умершего деда, которого поп назвал «рабом» и «братом» Данилой. Андрюша вслушивался в то, что читал одетый в тулупчик больной, голодный поп, и думал: «Значит, дед Данила уходит в селения праведные... там, должно быть, тепло, еды много, птицы поют. Вот бы туда попасть, в эти селения, и попросить горячего пшеничного хлеба...»

Гроб на веревках опустили в могилу, мужики взялись за лопаты, по крышке гроба гулко застучали тронутые инеем, но еще не промерзшие комья глины. В рыжий могильный бугор вкопали крест с железным кольцом.

Священник закончил «отпуст», закашлялся и, торопясь, глотая слова, протянул:

— «Во блаженном успении вечный покой подаждь, господи, усопшему рабу твоему Даниилу и сотвори ему вечную память...»

Дьячок еще не успел допеть «вечную память», как священник поднял епитрахиль так, что обнаружилась белая кисть худой старческой руки, и тихо сказал:

— Вот... По тридцать человек в день хороню... Мрут люди как мухи... Отвернулись мы, грешники, от милосердного бога, и бог карает нас лютым голодом, немочью и смертью...

— Поедем, отец Никанор, — испуганно прошептал дьячок, — в Пустополье еще четверых хоронить, не успеем...

Придерживая дрожащими пальцами крест на груди, комкая епитрахиль, священник пробормотал:

— Куда поедем, дьяче? Опять хоронить? А нас с тобой кто похоронит? Некому будет нас хоронить, и околеем мы, как голодные псы, на дороге...

Взглянув на людей воспаленными, горячечными глазами, поп направился к выходу. За ним потянулись испуганные люди.

Кладбище опустело. Снег пошел сильнее. Он накрыл густой пеленой глинистый могильный бугор, закружил в поле белой метелью. Ветер жалобно заскулил в вербовых кустах, качнул железное кольцо на кресте, оно тихонько застучало по сухому бревну.

Когда деревню, холмы и поля затемнили ранние зимние сумерки, из примыкавшего к деревенскому кладбищу леса, настороженно озираясь, вышел тощий одноухий волк. Он четвертые сутки ничего не ел, мускулы его ослабли, но все же волк был еще силен, хитер и ловок. Бурая, с белесым подпалом волчья шерсть топорщилась клочьями, унизанный репьями хвост был опущен и подвернут к поджарому брюху.

Прошлой ночью, рыская по окраине деревни, волк зачуял в огромной пустой конюшне знакомый дразнящий запах. Запах живой лошади отдавал привкусом солоноватого пота, навоза и пропитанной дегтем сбруи. Волк знал этот запах — два года назад он задрал в кустах хромого каурого мерина, — и сейчас вдруг что-то знакомое щекотнуло волчьи ноздри, напомнило сладкий вкус теплого конского мяса.

Вчера волку не удалось забраться в конюшню — она была закрыта. Но голод мучил его, тупой болью пронизывал порожние кишки, и он, гонимый голодом, неторопливой рысцой пробежал вдоль кладбища, постоял у развилки дорог и, по брюхо утопая в мягком снегу, осторожно потрусил по направлению к конюшне.

Волк предусмотрительно обогнул пахнувшую дымом крайнюю хату, увидел черную стену конюшни и вдруг шарахнулся в сторону, злобно навострив ухо.

К конюшне, разбрасывая снег ногами и посвечивая фонарем, шли трое людей — большой и двое маленьких.

Тонкие голоса наперебой звенели, упрашивая большого человека:

— Дедушка Силыч, не надо ее резать, она жить хочет...

— Дедушка, миленький, хороший, не надо... Не слушай мамку...

Третий голос, старческий и сиплый, отвечал ласково:

— И-и, хлопчики, хлопчики! Кобыленка ваша уже доходит. Нехай она вам последнюю службу сослужит. Не прирежешь ее, так она задаром сгинет...

Волк пропустил мимо себя людей, услышал, как заскрипела дверь конюшни, попятился, прыгнул через сугроб и исчез в темноте.

2

Это был тысяча девятьсот двадцать первый год.

Закончилась гражданская война. На дне большой сибирской реки успокоился расстрелянный адмирал Колчак. Тихим постояльцем поселился в лондонской гостинице генерал Деникин. Вместе с разбитым Врангелем уплыли в Константинополь Кутепов, Туркул, Слащев, Улагай, сотни генералов, сенаторов, баронов, графов, десятки тысяч солдат разгромленной белой армии: корниловцев, дроздовцев, марковцев, донских и кубанских казаков. Через безводные пески Балхаша и мертвые тургайские степи ушел в Китай мрачный атаман Анненков, и с ним на падающих от усталости верблюдах, на голодных конях и пешком ушли атаманские «братья-партизаны» в красных штанах. Где-то в Америке, в штате Мичиган, потрясая булавой, собирал мичиганских «запорожцев» ясновельможный пан гетман Павло Скоропадский. Пригретые диктатором Польши Пилсудским, отсиживались в Варшаве «головной атаман» Симон Петлюра, «генерал-хорунжий» Тютюнник, Савинков, братья Булак-Балаховичи.

Дольше других продержался на территории России неуловимый Нестор Махно. Но и его час пробил. Зажатый красными дивизиями, Махно темной ночью пробрался в леса Гуляй-Поля, вырыл в лесных похоронках награбленное золото, с двумястами всадников переплыл Днестр и исчез за румынской границей.

Революционная Россия победила. Но огромная часть страны в этот год была похожа на черное дымящееся пожарище. Заводы и фабрики стояли, а многие рабочие с мешками за плечами бродили по дорогам в поисках хлеба. Затоплены, разрушены были шахты, и потому не было угля. У полотна железных дорог валялись разбитые вагоны и паровозы, шпалы подгнили, рельсы разошлись. Там, где ходили поезда, пассажиры-мешочники на долгих стоянках сами рубили дрова для паровозных топок.

В неслыханно разоренной стране изнемог и устал народ. Семь лет войны, семь лет страданий, болезней, пожаров, недоедания вызвали тяжелое изнеможение народных масс, людям трудно было работать.

Работать, однако, было необходимо, потому что этого требовала жизнь, потому что это решало судьбы революции. И люди, ведомые коммунистами, работали не покладая рук: пахали, сеяли, восстанавливали разрушенные заводы, расчищали шахты. Трудная это была работа, и не каждому привелось увидеть ее далекие плоды, но начало было положено.

Так обычно весной оживает побитое морозом дерево: мертвым кажется его потемневший, покореженный ожогами ствол, грустно чернеют голые ветви, и думается, ничто уже не вернет тяжелораненому дереву его былой пышной красы. Но вот пригреет весеннее солнце, станет источать запахи влаги оттаявшая земля, и, глядишь, вначале проклюнутся на черном дереве первые, робкие побеги, зазеленеют на них молодые листы. Работящий хозяин-садовник обрежет неживые ветки, щедро напоит исцеленное дерево водой, унавозит отощавшую землю, и — придет час — вновь появятся на преображенном дереве сочные, обильные плоды...

Так бывает всегда, если садовник работает, знает, верит и любит.

Партия Ленина знала путь спасения страны. По предложению Ленина X партийный съезд принял решение о замене тяжелой для крестьян продразверстки продналогом и о переходе к новой экономической политике.

Партийный съезд происходил весной 1921 года. Лето же принесло народу новые, невиданно тяжкие испытания.

Всю весну на юго-востоке страны не было дождей, посевы взошли скудно, редкими, слабыми ростками. Потом стало немилосердно жечь солнце, задул горячий, иссушающий ветер. Придавленный бессилием и тоскливой яростью, в надежде хоть на каплю дождя, часами смотрел в безучастно синее небо волжский мужик. За попами, за иконами и хоругвями шли в поля старики и старухи просить далекого бога о ниспослании дождя. Попы истово размахивали кадилами, люди поднимали вверх покрасневшие от пыли глаза, а вокруг на тысячи верст лежала сухая, как камень, исполосованная трещинами, раскаленная, темная земля, на которой никла, сохла, сгорала каждая былинка...

Так после войн и разрухи, после разорения и обнищания пришло новое бедствие — голод. Во многих местах засуха вызвала лесные пожары. Загорелись леса вятские, челябинские, архангельские, вспыхнули густые леса Белоруссии, Чувашии. Над землей, скрывая солнце, распростерлась черная

пелена горького дыма, и небо сделалось зловещим, красновато-желтым, как медь.

И тогда началось бегство людей из пораженных засухой мест. Мужики резали последний скот, по ночам прятали в клунях мясо, зарывали в землю остатки ржи и пшеницы. Метались по станциям ошалелые люди, дети теряли родителей, родители — детей.

В это время и семья Ставровых вместе с другими голодающими кинулась искать спасения в бегстве. Всю осень Ставровы метались по разным железным дорогам, жили на пропахших карболкой вокзалах, цыганским табором ехали на угольных платформах. Они меняли измятую, залежанную одежду на кукурузную муку и лепешки, ели лебеду, корни лопухов, опилки, собачье мясо. Вокруг них сотнями умирали опухшие от голода люди. Вшивые, худые, с меловыми лицами, люди как колоды валялись на перронах, бесновались в тифозном бреду, молились и плакали.

Поезд с беженцами тихо полз мимо опустевших сел и деревень. Медленно уплывали назад выжженные поля, пересохшие степные речушки, заколоченные избы без крыш, похожие на кладбища дворы, в которых не оставалось ничего живого.

Когда начались первые морозы, на одной из станций глава ставровской семьи, бывший ротный фельдшер Дмитрий Данилович Ставров узнал, что в ближайшей деревне Огнищанке открывается лечебный пункт и туда нужен человек.

— Хватит, — сказал Ставров жене. — Все равно где подыхать. Останемся тут...

Он высадил семью из поезда, подрядил возчика, взвалил на низкие сани-розвальни умирающего отца, завернул лохмотьями продрогших детей, и Ставровы, провожаемые завистливыми взглядами озлобленных и голодных пассажиров, поехали в Огнищанку.

Ехали почти весь день. Когда кони дотащили сани до вершины обледенелого, поросшего бурьяном бугра, Ставровы увидели деревню.

Деревня лежала в яру между двумя невысокими покатыми холмами. Она вся была засыпана снегом, избы угадывались только по сизым дымкам, которые клубились над снежной белизной и редкими, призрачными клочьями уплывали в сумеречные поля.

Сидевший рядом с возницей Дмитрий Данилович оттянул от подбородка взмокревший башлык, повернулся к жене:

— Тут мы будем жить.

Жена, Настасья Мартыновна, привстала на колени, долго смотрела вниз и потом вздохнула, отводя взгляд от мужа:

— Боже мой, какая глухомань!..

Деревня была видна из конца в конец: двадцать дымков под вечереющим небом, двадцать убогих избенок с оголенными стропилами, кривая улица, одинокий колодезный журавель. Справа, за деревней, блестел ледяной пруд. На обрывистом берегу пруда виднелось белое, поросшее дубняком кладбище, а еще дальше, на горизонте, почти сливаясь с небом, лиловел лес.

Только над одним домом не вился дымок. Этот дом стоял отдельно, на холме, приземистый, большой, с наглухо забитыми окнами. Прямо к дому примыкал старый парк, его дальние деревья исчезали за голубоватым гребнем холма.

Кучер, молодой, красивый мужик с белесыми усами, поднял кнутовище:

— Он самый, домина. Тут теперь лекарня будет. А жил в этом дому наш помещик Франц Иваныч, по фамилии Раух. Прошлый год он в Германию уехал. С сыном и с дочкой. А дом так пустой и стоит. Кошки и те разбежались...

— Теперь мы тут будем жить, — повторил Дмитрий Данилович.

Настасья Мартыновна съежилась:

— Ох и холодно там, должно быть!

— Затопим печь, будет тепло...

— Тепло, да не дюже, — усмехнулся кучер. — Тут, гражданин хороший, нигде хлебушка нету, люди скрозь мрут от брюшняка...

Он взмахнул кнутом. Кони, спотыкаясь, пошли вниз. Дорога была неровная, с накатами. Сани, скользя по набитому склону, заносились то влево, то вправо.

В деревню въехали в сумерках. Улица была пустынна. У колодца стояла лохматая серая собака. Увидев людей, она заворчала и, не оглядываясь, побежала по протоптанной в снегу тропинке. Миновав колодец, кони остановились.

— На гору не вытянут, надо сойти, — сказал кучер.

Дмитрий Данилович, Настасья Мартыновна и невестка Ставровых Марина сошли с саней. Прикрытые синим одеялом и шалями, в санях остались умирающий старик и пятеро детей. Кони, подгибая передние ноги, натужно всхрапывая, потащились в гору.

На холме, где стоял пустой дом, забор был разломан, от широких ворот остались только два столба. Между столбами

высился снежный сугроб, на котором нельзя было заметить ни следа человека, ни следа собаки.

Ставровы ночевали в пустом доме на полу. Дмитрий Данилович с Мариной оторвали от забора десяток досок и затопили в темной кухне большую русскую печь. Настасья Мартыновна развязала корзинку, разделила на девять частей земляного цвета ячменную лепешку, и все стали жадно есть, посматривая на играющее в печи пламя.

В тот же вечер Дмитрий Данилович за триста миллионов рублей купил у вдовы-соседки издыхающую от голода кобыленку, подтянул ее на постромках в помещичьей конюшне и сказал жене:

— Надо ехать за хлебом. Зарежьте кобылу, разделайте и ешьте мясо. Через неделю, если жив останусь, вернусь...

Утром он сел с двумя мужиками-самогонщиками в сани и уехал по деревням, прихватив с собой узелок, в котором были завязаны тещино муслиновое платье, шерстяной платок Марины и пара желтых, подбитых гвоздями американских башмаков.

Туго пришлось бы женщинам, если бы не дед Иван Силыч Колосков, который жил бобылем на отшибе, неподалеку от помещичьего дома. Он появился днем, низенький, в огромных валенках, в зипуне и в заячьей шапке.

Дед Силыч вошел в дом, осмотрелся, присел у порога на корточки, закурил махорку и сказал приветливо:

— С приездом вас, новые соседушки! Хозяин ваш, значит, уехал, а вы, голубы, одни остались со стариком да с детишками. Ну, ничего, мир, как оно говорится, не без добрых людей... хоша и озверел наш народ, а душа-то в человеке осталась...

Иван Силыч нарубил женщинам дров, покормил кукурузными бодыльями кобыленку, глянул на старого Данилу Ивановича и, не смущаясь тем, что умирающий его слышит, сказал громко:

— Старик ваш доходит. Налейте в миску чистой водицы и поставьте возле него на окошко, пускай его душа омоет свои грехи, а я пойду гроб да крест ему ладить...

Следя за Силычем мутным, потухающим глазом, Данила Иванович спросил хрипло:

— Ты кто такой будешь?

— Пастух я огнищанский, — охотно объяснил Иван Силыч, — по фамилии Колосков. Тридцать годов пас скот у

Рэуха, барина нашего. Я, мил человек, тут по соседству живу, вторая хата от вас.

— Чего ж ты хоронишь меня раньше времени? — неловко усмехнулся Данила Иванович. — Может, я еще годов сто проживу, а ты мне могилу копаешь...

Дед Силыч ласково кивнул головой:

— Дай бог, голуба, дай бог. Живи на здоровье. А только по очам твоим и наблюдаю, что не сдюжаешь ты... Очи у тебя, голуба, как у коня, который упал в борозде...

Он подошел ближе к Даниле Ивановичу, присел на корточки, коснулся плеча умирающего жесткой, как терка, рукой:

— А ты не пужайся, чудак. Ты ж человек, а не конь. Должон сознавать, что от смерти никуда не скроешься. Вот и примай ее как положено. А я, голуба, пойду да всю справу тебе наготовлю, даже название твое обозначу...

— Ладно, иди, — проговорил умирающий. — Ставров моя фамилия, имя и отчество Данила Иванов...

Через четыре дня старый Ставров умер.

После его похорон дед Силыч всю ночь просидел у Ставровых. Двери в холодные комнаты были закрыты, в кухне жарко горела печка, из закопченного чугуна, в котором кипело конское мясо, шел густой пар. Вытащив из кармана бутылку самогона, Силыч разделся, скинул свой зипун.

Ухмыляясь, он кивал сбившимся на печи детям и спрашивал у хозяйки:

— Так это все ваши деточки-то?

Ладная, худощавая Настасья Мартыновна, поблескивая карими глазами, охотно объясняла:

— Нет, Иван Силыч, моих четверо, а пятая девочка невесткина, ее вот. Невестка Марина за моим братом замужем, за Максимом. А брат без вести пропал в прошлом году.

— Где же находился братец-то ваш, у белых или же у красных?

Маленькая белокурая Марина, похожая на девчонку, сказала тихо:

— Мы и сами не знаем, где он служил. Он был офицер, школу прапорщиков окончил в семнадцатом году, как раз перед революцией. На австрийском фронте получил тяжелое ранение, долго лежал в госпитале, в городе Новочеркасске. До прошлого года писал письма, а потом перестал.

— Да, — согласился дед Силыч, — много народу пропало. А ныне сколько людей мрет, не сосчитать. То с голоду пухнут, то брюшной косит или же сыпняк... гибнет народ.

Одни имущие мужички держатся, потому что они загодя зернецо припрятали. А бедняков будто кто косой косит...

Силыч потягивал из солдатской кружки самогон, угощал женщин, те тоже выпили и закусили горячей кониной. Настасья Мартыновна, присев на чурбаке и зажав коленями подол платья, говорила негромко:

— Приехали мы сюда на погибель. Я говорила мужу, что в Сибирь надо пробираться или ко мне на родину, на Дон, а он одно заладил: «Останемся тут». Так теперь и получится: сегодня старик помер, а завтра до остальных очередь дойдет...

— Ничего, голуба моя, не горюй,— утешал женщину Силыч, — перетерпеть это все надо, пережить. Вот весна придет, солнышко пригреет, совсем другое дело будет. Там, чего ни говори, кажная травиночка в пищу пойдет, хлебушек новый поспеет...

Дети смотрели с печки на Силыча как зачарованные. А он сидел пьяненький, всклокоченный и рассказывал о степях, о коровах, о своей пастушеской жизни, и в его хриплом голосе звенела такая стыдливая ласковость, что, кажется, дай ему силу — и он обнимет своими темными, работящими руками и солнце, и телка, и травинку, и все, что окружает его на земле.

— Одичал наш народ, — сокрушенно говорил Силыч, — одичал, как волк в поле. Вот утречком встаньте пораньше да поглядите, как человека скопом убивать будут...

— Какого человека? — испуганно вскрикнула Марина.

— Николку Комлева, — поморщился Силыч. — Есть тут у нас такой человек, Николай Комлев. Здоровенный парень, быка кулаком убить может. Он недавно из армии пришел, а дома жена да малые дети с голоду пухнут. Так он, дурило, ночью зашел на баз к Антону Терпужному, зарезал овцу и поволок до дому. Антонова дочка Пашка ночью вышла до ветру, увидала это дело, сразу до батьки и в крик: ярочку, мол, зарезали! А Терпужный мужик богатый, его все знают. Он, конечно, народ сбаламутил, Николку в сарай замкнули, а утром, говорят, до смерти убивать будут. Я уж до председателя сельсовета бегал, да он в волость уехал, только к утру вернется.

Дети, сгрудившись на печке, с широко раскрытыми глазами слушали деда. Девчонки Каля и Тая с ужасом прижимали к себе маленького Федюньку, а мальчишки Андрей и Рома толкали друг друга локтем.

— Пойдем?

— Пойдем.

— Встанем до света и пойдем.

— Ты ни разу не видел, как живого человека убивают? — замирая, спросил смуглый Ромка.

— Нет, не видел, — признался Андрей. — Как люди умирают, видел, а как их убивают, не видел...

Рано утром, когда Настасья Мартыновна и Марина поднялись, чтобы топить печь, мальчишек уже не было. Надев порванные тулупы и закутав ноги тряпьем, они помчались вниз к колодцу, где уже собирались люди. Там, громыхая ведрами, стояли бабы, угрюмо переговаривались мужики.

В конце улицы послышались голоса, показалась нестройная толпа людей. Андрей и Ромка вместе с другими мальчишками испуганно прижались к плетню.

Впереди толпы, чуть в стороне, шел коренастый мужик в черной барашковой шапке и коротком дубленом полушубке. У него было крупное спокойное лицо и вислые темные усы. Он шел степенно, ни на кого не глядя и опираясь на короткую железную клюку, которой дергают сено.

— Дядя Терпужный, Антон Агапович, — сказал стоящий за спиной Андрея мальчишка. — У него дядя Миколай овцу украл.

В середине негромко гудящей толпы, медленно и неуклюже перебирая ногами, двигался молодой великан с пушистой русой бородкой, впалыми щеками и растрепанными вихрами. Один глаз его был подбит и заплыл багровым кровоподтеком, другой, синий и добрый, смотрел на людей с настороженным ожиданием.

Это был демобилизованный красноармеец Николай Комлев. Его серая солдатская шинель была забрызгана кровью и грязью, руки с могучими, покрасневшими на холоде кулаками были связаны за спиной веревочными вожжами. На ногах Комлева позванивали железные конские путы, а на груди висела подвязанная проволокой за шею тяжелая доска, на которой кто-то вывел фиолетовые буквы: «Вор».

Комлев подвигался медленно, по-медвежьи ступая спутанными ногами, а за его спиной бесновалась, выла простоволосая маленькая старуха.

— Люди добрые, чего ж вы глядите? — кричала старуха. — Спасите его, христа ради! Убьют ведь его! Голубчики... родненькие... вы ж его сызмала знаете... Обороните сыночка, голубчики!

Сплевывая кровавую слюну, Комлев косил глазом, стараясь увидеть старуху, и говорил тихо:

— Бросьте, маманя... киньте...

У колодца толпа остановилась. Связанного Комлева прислонили к колодезному срубу. Люди расступились. Придерживая клюку, к Комлеву подошел Антон Терпужный. Он остановился в двух шагах, глянул в избитое лицо Комлева пустыми, невеселыми глазами и тихо сказал:

— Ну, чего же, Коля... Кончать тебя надо...

— За что кончать, дядя Антон? — так же тихо спросил Комлев.

— За овечку, — с трудом ворочая шеей, сказал Терпужный, — за овечку, Коля. Мне ее не жаль, овечку, хоша и была она котная, с ягненочком в середке... Да мне ее не жаль. Мне людей жаль, сволочь ты такая, потому что ты сегодня овечку зарезал, а завтра коровку или же коня у людей уведешь.

— А ты, дядя Антон, детишков моих пожалел? — едва слышно спросил Комлев. — Я ж до тебя приходил, помощи просил. Ты ничего мне не дал. За вас же я всю войну прошел... Прямо тебе сказал: так, мол, и та́к, детишки гибнут, рвет их от голода, и кровью ходят. Вчерась я их схоронил, детишек...

Маленький рыжий мужичонка, Павел Терпужный, по прозвищу Тоис, брат Антона, выскочил из толпы, заорал:

— Чего ты, Антон, с этим гадом, тоис, разговоры завел? Кончай его — и шабаш!

Выхватив из рук брата железную клюку, Павел завизжал и, размахнувшись, ударил Комлева по плечу. Комлев закряхтел натужно и глухо.

— По голове бей, по голове! — заорали в толпе.

Мужики отшвырнули в снег воющую старуху, накинулись на Комлева. Дети с плачем побежали прочь, женщины запричитали.

В это мгновение из переулка, поспешая за трусившим впереди дедом Силычем, выбежали двое людей. Один из них, высокий, в распахнутой солдатской шинели, придерживал на поясе натертый до блеска наган. Второй, приземистый, в защитной гимнастерке и малиновых брюках галифе, сжимал вынутый из ножен отточенный австрийский тесак.

— Стойте, граждане, стойте! — истошно завизжал дед Силыч. — Стойте, вам говорят! Не видите, что товарищ председатель идет? Или, может, вам глаза застило?

Толпа у колодца притихла.

Высокий — председатель Огнищанского сельсовета Илья Длугач — перешел на неторопливый шаг, рывком надвинул на брови полинялый суконный шлем с алой звездой.

— Та-ак! — угрожающе протянул он. — Самосуд, значит, устроили? Кулацкой контре поддались? — Не отнимая пальцев от рукоятки нагана, Длугач сквозь зубы бросил своему спутнику: — Развяжи-ка, Демид, руки Комлеву и сними у него с ног пута́.

Парень в малиновых галифе развязал сидевшего на снегу великана, а Длугач повернулся к Антону Терпужному:

— Твоя работа?

— А то чья же! — закричал топтавшийся сбоку дед Силыч. — Он, черт пузатый, давно на бедняков зубы точит, на голоде да на горе людском наживается! Ишь, стоит, вызверился, будто бешеный кобель!

— Погоди, товарищ Колосков, не встревай в мой разговор, — махнул рукой Длугач.

Он шагнул к Терпужному:

— Тебя от имени Советской власти спрашивают: ты подбил людей на самосуд?

— Народ сам знает, чего делает,— глухо проговорил Терпужный, — народу указчики не нужны.

— Ты про народ не вякай, — перебил Длугач, — я вижу, какой тут народ собрался — вся твоя кулацкая родня с подпевалами. Ты мне отвечай на вопрос: как ты, гад ползучий, посмел за овцу избивать красного героя?

— А пусть твой герой не ворует да не шастает по чужим дворам, тогда его пальцем никто не тронет, — сказал Терпужный, с ненавистью глядя на избитого Комлева

У того зазвенели зажатые в кулаке железные пута́.

— Я ничего не воровал... Я взял овцу потому, что баба моя четыре года у тебя батрачила, а ты, сволочь, керенками ей заплатил и выгнал на улицу...

Размазывая рукавом кровь на губах, Комлев зашагал прочь.

— Слышал? — надвинулся на Терпужного Длугач. — Слышал, чего человек сказал? Молчи и запомни, что я твое кулацкое нутро наскрозь вижу, до потрохов. Решение мое такое: за зверское избиение красного героя товарища Комлева у тебя сверх зарезанной им овцы конфискуются еще две овцы и десять пудов пшеницы в пользу голодающих огнищанских бедняков. Ясно? Вали до дому и теперь же вези все это в сельсовет, не то я прямо на общем сходе спущу

с тебя штаны и до полусмерти отдеру шомполами. Понятно?

Илья Длугач медленно оглядел потупившихся мужиков.

— А вы, кулацкие подголоски, тоже марш по домам, пока целы! Это вам не старый режим. За каждую бедняцкую волосинку я любой подлюке кишки вымотаю, так и знайте! Шутковать я с вами не буду, мне не до шуток!

Круто повернувшись, Длугач зашагал по улице. Морозный ветер рвал полы его шинели, и они раздувались и хлопали, как паруса.

— Вот это герой! — с восхищением сказал Ромка.

— Да, — кивнул Андрей, — здорово он их зажал!

Мальчики шли домой мокрые от снега, возбужденные, и перед их глазами стояло избитое, окровавленное лицо большого и жалкого человека, которого люди только что хотели убить.

— Знаешь, Ромка, — сказал Андрей, — я не хотел бы на это смотреть.

— Почему? — Рома удивился. — Ты ж сам меня звал.

Старший ответил задумчиво:

— Не знаю. Дед Силыч правильно говорит: как волки...

Братья, протаптывая тропинку в глубоких сугробах, пошли к темнеющему на холме дому.

3

Дмитрий Данилович Ставров ездил за хлебом шесть дней. Пара запряженных в сани сытых меринов принадлежала молодой и смазливой вдове-самогонщице Устинье Пещуровой из деревни Костин Кут, а просторные сани-козырьки с железными полозьями — огнищанскому мужику Павлу Терпужному, тому самому, который ударил железной клюкой связанного Комлева. Но ни Устинья, ни Павел Терпужный сами не поехали. Павел послал своего сына Тихона, молодого парня, а вместо Устиньи поехал ее сожитель Степан Острецов.

Маленький, крепко сбитый Дмитрий Ставров был похож на цыгана. Если бы не толстый нос и не серые, свинцового оттенка глаза — цыган, да и только: черные кудрявые волосы, чуть посветлее густые усы над крепким ртом, короткие быстрые руки.

Одетый в потертую английскую шинель, в солдатские сапоги и в лохматый бараний треух, Дмитрий Данилович сидел сзади с Острецовым и, покуривая, слушал его рассказы.

Молчаливый Тихон, устроившись на облучке, правил лошадьми. Острецов и Тихон везли с собой десять четвертей самогона-первача.

Степан Острецов был непонятен Ставрову, и это сердило Дмитрия Даниловича. «Что-то он таит, — думал Ставров,— и на мужика как-то мало похож».

Острецов говорил охотно и много, и речь у него была городская, складная. На ночевках, когда трое спутников останавливались в какой-нибудь богатой избе, Острецов пил самогон и звучным, грудным голосом пел песни. Высокий, мускулистый, с тонкими ногами, одетый в черную гимнастерку и черные брюки галифе, он ходил по комнате, блестя кожей шевровых сапог, потряхивая волосами и щуря холодные, как ледяшки, глаза.

— Дожили мы, брат Данилыч, — подмаргивал он Ставрову, — до ручки, можно сказать, дошли. Видел на станциях, рабочий на что стал похож? Гегемон революции кальсоны на коврижку меняет. Это, брат, не шутка. Если так будет продолжаться, рабочий с большевиками по-иному заговорит...

Он подсаживался к Ставрову и говорил мягко:

— Ты не думай, Дмитрий Данилович, что я из каких-нибудь недорезанных беляков. Нет, брат, я всю гражданскую в коннице Буденного отбухал, эскадроном командовал, награды имею. А вот кончилась война, и я понял, что у моих товарищей большевиков не все ладно получается. Крестьяне замучены, рабочие в голодранцев превратились. Сопливые комсомольцы в церковных алтарях диспуты с попами устраивают. На черта это все народу? Ты людям хлеб дай и работу, а потом о социализме говори.

Острецов бледнел, хмурил темные брови, покачивал тонкой ногой в шевровом сапоге, нервно постукивал пальцами по сверкающему голенищу.

— Н-ну,— скаля зубы и улыбаясь, он посмотрел на Ставрова, — что ты на это скажешь? Прав я или не прав?

— Нет, Острецов, я этих взглядов не разделяю, — резко ответил Дмитрий Данилович. — По-моему, так может рассуждать только подлая шкура.

— Т-ты полегче на поворотах, — прищурился Острецов.— Что ж, по-твоему, мужики не дохнут с голоду, а рабочие не бегут с фабрик полчищами? Нету этого, что ли?

— Да, это есть, — угрюмо сказал Дмитрий Данилович.— А почему? Большевики виноваты? Нет, не большевики. Семь лет разоряли страну две войны, грабили народ банды да бе-

лые армии. Что же вы всё валите на большевиков? Так может рассуждать только белогвардейская шкура...

Острецов пристально, исподлобья посмотрел на бегающего по комнате Ставрова, сказал, натянуто улыбаясь:

— Чудак человек, я ведь пошутил. Неужели вы не можете отличить шутку от серьезных вещей? — Он раскатисто засмеялся, хлопнул Ставрова по плечу: — Вот так спутник мне попался! Еще, чего доброго, в Чека меня потянет! Нет, брат, я не из тех! Я белых гадов десятками шлепал и жилы из них вытягивал. Меня сам Буденный знает, Семен Михайлович. Ты про Острецова спроси любого конника, они тебе скажут, кто я такой.

После этого разговора Острецов притих и стал относиться к Дмитрию Даниловичу добродушно-насмешливо, отмалчивался и больше расспрашивал Ставрова о семье и о его службе в армии. Что касается косоглазого Тихона, то он всю дорогу только мурлыкал про себя все одну и ту же тягучую песню.

Они проехали несколько далеких степных хуторов, в которых люди жили богаче, чем в деревнях, и там, на этих хуторах, обменяли на хлеб и сало свои запасы. Дмитрий Данилович получил за одежду два пуда ржи и четыре пуда кукурузы. Острецов с Тихоном меняли самогон только на сало или продавали его на романовские серебряные и золотые деньги.

На обратном пути заехали в волостное село Пустополье, где Дмитрию Даниловичу надо было оформить свое назначение в огнищанскую амбулаторию и получить для нее медикаменты. В волисполкоме ему выдали нужную бумагу и выписали ящик с медикаментами.

В большом доме пустопольского волостного правления, где теперь размещался волисполком, было накурено и холодно. По коридору, стуча сапогами, проходили красноармейцы в суконных шлемах, крестьяне в тулупах и валенках, бегали девушки в кожаных куртках, с папками под мышками.

Пока Дмитрий Данилович ждал председателя волисполкома, прошло много времени, и он, присев у окна в коридоре, написал письмо младшему брату Александру, который с девятнадцатого года жил в Москве. В коротком письме Дмитрий Данилович сообщил о переезде своей семьи в Огнищанку, написал, что отец болен, и просил, если позволят обстоятельства, приехать хоть на несколько дней. Александр

Ставров не был дома пять лет, и Дмитрий Данилович успел соскучиться по брату, которого нянчил в детстве.

Председатель волисполкома Григорий Кирьякович Долотов приехал только перед вечером. Широкоплечий, кривоногий, в короткой кожаной куртке и шапке-кубанке, он вошел, с грохотом кинул в угол полевую сумку и устало положил на стол тяжелые, жилистые руки. Ставрову успели рассказать, что пустопольский председатель когда-то работал на заводе «Русский дизель», потом служил на подводной лодке, был минером, кавалеристом и около года состоял в личной охране Ленина.

— Огнищанский фельдшер? — коротко спросил Долотов, когда Дмитрий Данилович вошел в настежь распахнутую дверь его кабинета.

— Да, фельдшер Ставров.

— Откуда прибыли?

— С Волги, — пояснил Дмитрий Данилович. — Голод погнал. Я сам уроженец Самарской губернии.

Долотов пошевелил пальцами, и Дмитрий Данилович заметил, что у председателя на руках резкая синяя татуировка: на правой — остроклювый орел, на левой — обвитая змеей женщина.

— У вас трудное место, — задумчиво сказал Долотов.— Амбулатория будет в Огнищанке, но должна обслуживать пять ближних деревень — Костин Кут, Калинкино, Мертвый Лог, Бесхлебное и Волчью Падь. Кое-куда придется пешком ходить...

Председатель опустил скуластое, с тяжелым подбородком лицо, тронул пальцем коротко подстриженные усы.

— Да, товарищ, место трудное и время трудное, — повторил он. — За вчерашний день по волости умерло шестьдесят три человека. С голоду пухнут. Не все, конечно. Есть по деревням и такие, которые па этом деле наживаются: за ведро пшеничных озадков пианино из города везут, за фунт сала последнюю шубейку с какой-нибудь горемыки вдовы снимают.

Цепкий взгляд председательских глаз скользнул по лицу Дмитрия Даниловича.

— Ты, фельдшер Ставров, представляешь, что такое классовая борьба? А? Так вот, имей в виду: это, брат, серьезная штука, и она куда сложнее, чем нам кажется. Есть ведь еще у нас дурачки, которые думают, что в деревне две силы открыто, как на картинке, встали друг против друга: с одной стороны бородатые кулаки, а с другой — разлатанные

бедняки, у которых животы подвело, но зато есть пролетарская солидарность и сознательность.

Долотов презрительно ухмыльнулся, махнул рукой:

— Нет, брат, это дело сложное. Вог, к примеру, у вас там, в Огнищанке, есть такой Антон Терпужный. Я его знаю. Родни у этого Терпужного полдеревни, хозяин он добрый, против Советской власти открыто не агитирует, кое-кого из бедняков подкармливает, а душа у него волчья и повадки лисьи, он любую личину на себя наденет. За такими не в два, а в три глаза надо смотреть. Такой Терпужный до поры до времени из обреза стрелять не станет, потому что земля у него под ногами не тверда, зато вреда может много наделать. А беднякам огнищанским тоже не всем охота идти против него: один ему сват, другой — зять, третьему он пуд пшеницы дал под новый урожай. Так этот Терпужный и держится, так линию свою исподтишка и гнет...

Громыхнув стулом, Долотов поднялся.

— Ты, фельдшер, держись за председателя Огнищанского сельсовета Илью Длугача. Он хотя и разболтанный маленько, с анархией да с партизанщиной в сердце, зато преданный партии человек. Этот тебе поможет разобраться... — Председатель прищурил серые, стального отлива глаза. — Ладно, иди, Ставров. Я тебя запомнил. Помощь вам все-таки будет. Расскажи там, в Огнищанке, что по личному распоряжению Владимира Ильича Ленина нашей волости готовят вагоны с посевной пшеницей...

В коридоре Дмитрия Даниловича дожидался Острецов.

— Ну, — осклабился он, — как вам понравился пустопольский губернатор товарищ Долотов?

Дмитрий Данилович пожал плечами:

— Не знаю... Мне он показался крепким человеком...

В Огнищанку возвращались молча. Мороз усилился. Кони тяжело стучали подковами по заледенелой дороге. Вокруг луны розовело туманное свечение. Полозья со скрипом резали затвердевший снег. Вся степь сияла холодной голубизной, и казалось, что вокруг без конца и края простирается мертвая снежная пустыня.

— Глухие места, — буркнул Острецов, кутаясь в теплую, крытую сукном Устиньину шубу. — И названия все какие-то дурацкие — Волчья Падь, Костин Кут, Мертвый Лог, — будто у черта на куличках живешь... Вот получу назначение куда-нибудь, поеду в город, на фабрике буду работать, ну их к дьяволу, эти места...

В Огнищанку приехали в десятом часу. Дмитрия Даниловича завезли домой, помогли ему скинуть мешки с кукурузой и рожью. Потом заехали к Терпужному, сдали сани, а от Терпужного Острецов тронулся верхом. Он связал недоуздком распряженных меринов, на одного взвалил мешок с салом, на другого вскочил сам и шагом поехал по дороге.

От Огнищанки до Костина Кута было две версты. На перекрестке Острецов остановился у колодца, вытащил бадью воды, напился, напоил коней. Через десять минут он уже стучал сапогом в Устиньины ворота.

Устинья, услышав стук, выскочила во двор, оглядываясь, прижала к пышной груди замерзшего Острецова и зашептала торопливо:

— Степанушка, тут тебя товарищ один дожидается. Только перед тобой приехал, в горнице сидит, даже раздеваться не хочет.

— Какой товарищ? — недовольно спросил Острецов.

— Не знаю, любушка. Из губернии, что ли, а может, из уезда. Из Пустополья, на исполкомовских санках приехал, а кучера отпустил, должно, ночевать у нас будет.

— Этого еще не хватало, — поморщился Острецов, — мне осточертело на людях болтаться, хочется одному побыть.

— Да и я по тебе соскучилась, Степанушка, а он, окаянный, уставил глазищи в пол и сидит, не говорит ни слова.

Они вместе прибрали сало, сняли с коней упряжь, вытерли их запотевшие бока клочками сена, поставили в конюшню, потом пошли в кухню. Дверь в горницу была прикрыта. Острецов разделся, умылся, звеня рукомойником, и, расчесывая волосы, сказал счастливо улыбающейся Устинье:

— Бутыли у Павла Агаповича завтра возьмем.

Он оправил гимнастерку, ремень и отворил дверь.

В горнице, освещенной керосиновой лампой, сидел невысокий тонкий человек в защитной бекеше. Серая каракулевая шапка лежала на углу покрытого скатертью стола. Когда Острецов вошел и поздоровался, человек, не вставая со стула, повернул худощавое лицо и негромко сказал:

— Здравствуйте, товарищ Острецов.

Голос у него был ровный, глуховатый, на белый лоб падала жидкая прядь прямых темных волос. Он на одно мгновение задержал на Острецове пристальный взгляд

близко посаженных пронзительных глаз и проговорил тихо:

— Мы можем побыть наедине?

Острецов испытующе взглянул на него.

— Хорошо, одну минутку.

Он вышел в кухню и сказал сидящей у печки Устинье:

— Устюшка, сбегай к бабке Марфе и возьми у нее десяток яиц, изжаришь яичницу. Я дверь замкну, а ты вернешься — стукнешь.

— Ладно, Степушка, сбегаю.

Устинья накинула шубу, платок и ушла. Острецов запер дверь. Когда он вошел в горницу, незнакомец сидел в прежней позе, отвалившись к спинке стула и закинув ногу на ногу.

— Мы одни? — коротко спросил он.

Сердце Острецова все больше сжимала тревога. Сунув руку в карман, он нащупал рукоятку нагана.

— Одни, товарищ. Жену я послал к соседке.

Незнакомец поднялся, и легкая усмешка тронула его злые губы.

— Руку я вам советую из кармана вынуть. Это ни к чему. Я не чекист, так же как вы не тот, за кого себя выдаете тут, в деревне. Не бледнейте и не фокусничайте со своим револьвером. Чекисты к таким, как вы, не ездят поодиночке. Вам знаком этот почерк?

Острецов взял протянутую ему бумагу, пробежал глазами. На бумаге четко и размашисто было написано:

«Товарищ Острецов! Податель сего, товарищ Степанов, мой старший начальник. Примите его как нашего друга. С комприветом К. Погарский...»

— Надеюсь, вы не забыли, кто такой Константин Сергеевич Погарский? — усмехнулся незнакомец.

Острецов кивнул:

— Так точно. Командир третьего конного, генерала Мамонтова...

— Правильно, правильно. У вас хорошая память.

— А я с кем имею честь, если позволите...

— Там в письме написано, — сказал незнакомец.— Моя фамилия Степанов. Виктор Иванович Степанов. Понятно? А работаю я в Москве, в Народном комиссариате просвещения, уполномоченным комиссии по борьбе с детской беспризорностью. Ясно?

В голосе этого человека была такая властность, а ко-

лючие глаза так внимательно прощупывали собеседника, что Острецов только поклонился:

— Слушаю вас.

— Очевидно, мне можно раздеться? — спросил Степанов.

Не дожидаясь ответа, он неторопливо снял бекешу, перекинул ее через спинку деревянной кровати, а шапку положил поверх бекеши. Только теперь, когда Острецов бегло осмотрел защитный френч, английские бриджи и хорошо сшитые хромовые сапоги своего гостя, он вдруг вспомнил, что где-то видел эти узкие плечи, руку с тонкой кистью, бледное лицо с близко посаженными острыми глазами.

— Ну что ж, — сказал Степанов, — вы, сотник, устроились в этой деревне, обзавелись удобной сожительницей и решили, что борьба с большевизмом закончена? Так, что ли?

— Я верен белой идее, — пробормотал Острецов.

Степанов засмеялся, обнажив ровный ряд зубов.

— Белой идее? Эту вашу белую идею надо выбросить на свалку. Я знал всех ваших богов, лично знал Корнилова, Алексеева, Деникина, Колчака, Врангеля. Это обанкротившиеся кретины. Запомните, что Россия не пьяное сборище высокопоставленных дегенератов. Это прежде всего мужики. Кого мужик поддержит, тот и будет у власти. А ваши генералы защищали интересы недострелянных большевиками Романовых. Разве мужики могли их поддержать? Нет, сотник, белое движение умерло, но родилось зеленое движение, зеленое, как весенняя крестьянская нива. Оно уже заявило себя тысячью подвижных, неуловимых отрядов, которые беспощадно карают узурпаторов-большевиков. Эти мелкие, но хорошо вооруженные отряды будут расти не по дням, а по часам. Они подчиняются единому командованию и, придет время, соединятся в непобедимую армию. Это вам не белые хлюпики. Это мужики с ножами и обрезами, люди, которые знают в своей волости каждый кустик и потому могут бить из-за угла без промаха и без жалости...

Впалые щеки Степанова зарумянились, глаза заблестели.

— Вашей задачей будет организация такого отряда и соответствующих действий на территории вашей волости. За количеством гнаться не надо. Десять — пятнадцать человек, не больше. И пока никаких массовых выступлений.

Понятно? Единственный метод — хорошо спланированный и организованный террор...

...Когда Устинья вернулась, ее Степанушка мирно беседовал с гостем о тяжелых временах, о семенном зерне, о своей поездке с Тихоном.

А Острецов, настороженно наблюдая за Степановым, мучительно думал: «Где я его видел? Конечно, никакой он не Степанов. И по всему видно, очень крупная птица...»

Степанов ел мало, неохотно, от самогона отказался, а после ужина поблагодарил и сказал:

— Если хозяйка позволит, я отдохну немного. Утром за мной приедут.

Уже сидя в горнице и поглядывая па пышно взбитую Устиньей постель, Степанов спросил у Острецова:

— У вас все ставни закрываются изнутри?

— Все...

— Это хорошо, — кивнул Степанов.

Он снял френч и остался в измятой, не первой свежести ночной сорочке. Грудь у него была узкая, белая, без растительности. Посидев на краю кровати, Степанов легко снял мягкие сапоги, поставил их рядом, чтобы можно было сразу достать рукой. Потом вынул из кармана бекеши тяжелый американский кольт и, щелкнув предохранителем, сунул под подушку. Не снимая брюк и серых шерстяных носков, он с наслаждением вытянулся на мягкой перине и вдруг спросил, повернувшись на локте к Острецову:

— Вы где будете спать?

— На кухне с женой, вы не беспокойтесь.

— Я не о вас беспокоюсь, — жестко усмехнулся Степанов, — просто я не люблю фокусов. Предупредите жену и ложитесь здесь, на лежанке. А револьвер свой положите на стол. Так лучше. И потом, если можно, лампу не гасите. Прикрутите немного фитиль, пусть горит.

Почти безвольно подчиняясь всему, что требовал гость, Острецов кинул на лежанку подушку и шубу, положил наган на стол и лег, слегка прикрутив фитиль лампы. Прикрыв глаза, он незаметно наблюдал за Степановым. Тот лежал на левом боку и, казалось, спал. Но как только Устинья негромко стукнула ведром, Степанов спросил:

— Что там?

— Это жена, — поспешно объяснил Острецов.

Напрягая память, он вспоминал, где ему приходилось встречать Степанова, ворочался, из-под опущенных ресниц посматривал на своего гостя. Гость все так же лежал на

левом боку, слегка согнув колени и устало закрыв глаза.

И вдруг Острецов вспомнил. Его обдало холодом.

Перед ним на деревянной кровати, в доме костинокутской потаскухи, лежал организатор убийства Плеве и князя Сергея, руководитель многих антисоветских восстаний, вдохновитель покушений на Ленина, командующий «зеленой армией» Борис Викторович Савинков.

4

После возвращения Дмитрия Даниловича Ставровы вздохнули легче. При строгом распределении ржаной и кукурузной муки можно было продержаться впроголодь месяца полтора.

Дмитрий Данилович вернулся вечером, молча выслушал скупой рассказ жены о смерти отца, а наутро с Андреем и Ромой пошел осматривать полуразоренный двор.

Стоял тихий морозный день. Ели, березы и клены в парке были одеты пушистым инеем и отбрасывали на сугробы синеватые тени. Многие деревья были вырублены, от них остались только высокие корявые пни. Забор вокруг большого двора тоже был сломан, лишь кое-где виднелись торчавшие из сугробов доски.

Прямо к парку примыкал небольшой фруктовый сад. Но и сад был изуродован и порублен. На снегу пестрели черные, отсеченные от стволов ветки.

— Здорово разделали, — сквозь зубы сказал Дмитрий Данилович, — прямо-таки мамаево побоище.

Ему жаль было и загубленного сада, и старую березу с обглоданной, висящей клочьями корой, на которой, как слезы, замерзли желтоватые капли.

— Ладно, ребятки, пойдем дальше, — вздохнув, сказал Дмитрий Данилович.

Во дворе с трех сторон довольно далеко от дома стояли службы: огромная конюшня — в ней еще уцелели остатки яслей, разрушенный коровник и крытый красной черепицей сарай, в котором были свалены сломанные, заржавленные машины: три жатки-лобогрейки, несколько трехлемешных плугов и культиваторов, согнутый и побитый остов молотилки, конные грабли с открученными зубьями, дисковые и сошниковые сеялки без ящиков — бурый от ржавчины хлам, из которого люди выбрали колеса, болты, ша-

туны, лемехи, косы — все, что представляло собой хоть какую-нибудь ценность.

Прямо посреди двора торчала на четырех столбах чудом уцелевшая, покосившаяся от времени и непогоды пустая голубятня. На ее покатой крыше толстым слоем лежал снег. Сбоку валялась разломанная, с отрубленными ступенями лестница.

— Знаешь, Ромка, мы поймаем того голубя, что в конюшне сидит, и весной разведем голубей, — сказал Андрей брату.

— А как мы его поймаем? — усомнился Рома. — Он же не дастся.

— Ночью полезем с фонарем и поймаем...

Дмитрий Данилович не торопясь обошел все постройки, осмотрел развалины свинарника в конце двора, постоял у порога маленькой летней кухни. Там были сняты все окна и двери, и метель намела на полу сугробы снега.

— Из этой кухни можно сделать конюшню, — сказал Дмитрий Данилович.

— А зачем нам конюшня? — удивился Андрей. — Лошадь-то мы зарезали.

Отец ничего не ответил сыну. Заложив руки за спину, пошевеливая короткими пальцами, постоял у ворот.

— Ладно, пошли в дом: надо устраивать амбулаторию.

Низкий, приземистый дом состоял из шести комнат и имел две выходные двери — на восток и на запад. Восточную дверь прикрывала большая терраса с выбитыми стеклами.

— В этой стороне мы поселимся, — решил Дмитрий Данилович, — а на той стороне разместим амбулаторию. Кстати, там самая большая комната и ход отдельный...

Четыре дня Ставровы занимались уборкой дома. Свою половину женщины побелили, помыли, потерли песком полы, заклеили бумажными полосками окна, начистили кирпичом дверные ручки. Дмитрий Данилович, взяв в помощь Андрея и Рому, разобрал в конюшне часть яслей и сделал стол, несколько табуретов, топчаны.

Через два дня во двор заглянул председатель сельсовета Илья Длугач. Он постоял с Дмитрием Даниловичем, задумчиво покрутил рыжие колечки усов и сказал, мотнув головой:

— Амбулаторию давно пора открывать, дорогой товарищ. У нас по деревне тиф ходит. Вчерась двоих мертвя-

ков на огородах подобрали. Детишков кровавый понос выматывает. Надо людям помощь оказывать.

Он посмотрел на Ставрова разбойными, озорными глазами.

— Сейчас я мобилизую кулачье, пускай поработают. Надо глины и песка привезти, стены подштукатурить, недостающие шибки в окошки вставить. А то как же? Людям помощь нужна!

Покуривая махорочную скрутку в вишневом мундштучке, Илья Длугач покосился на Ставрова:

— Ну а вы как думаете устраиваться, товарищ фершал?

— Я уже устроился, — ответил Дмитрий Данилович.

— Э-эз, товарищ дорогой, какое же зто, к бесу, устройство? — засмеялся Илья. — Вам надо заявление подать, земельный надел получить и начинать хозяйствовать, иначе вы, извиняюсь, дуба дадите. Сколько у вас членов семейства?

— Восемь.

— Ну вот. Норма у нас по полторы десятины на душу. Земельки, слава богу, хватает, у одного Рауха триста десятин отобрали, хотя и поделили их по-дурному. Вам по вашему семейству мы можем нарезать двенадцать десятин. А Советская власть и товарищ Ленин такое указание теперь дали: кто, дескать, желает самолично, без найма рабочей силы, своими трудящими руками обрабатывать земельный надел, пускай, мол, валяет на здоровье, государству от зтого только польза.

— Спасибо, товарищ Длугач, я подумаю, — серьезно сказал Дмитрий Данилович.

— А то как же? Без земельки теперь нельзя, враз в ящик сыграешь.

Размахивая полами шинели, Длугач деловито осмотрел дом, пообещал к завтрему прислать людей и, прощаясь у ворот, напомнил:

— Насчет земельки вы, товарищ фершал, подумайте...

На следующий день во двор вошли четыре женщины с ведрами и лопатами. Они начали штукатурить стены будущей амбулатории. Песок и глину им подвозил хмурый, опухший от пьянства Антон Терпужный. После истории с Комлевым Илья Длугач вызвал Антона в сельсовет, закрыл дверь на крючок, положил на стол наган, крутнул заряженный барабан и предупредил: «Ежели ты, паразит, еще хоть одним пальцем до кого доторкнешься, так я в те-

бя, сучий рот, все семь штук собственноручно всажу, с приложением казенной печати...»

Затаив злобу, Антон Терпужный ничего не сказал Длугачу, молча запряг молодых кобылиц-полукровок и начал возить песок и глину. Он работал с утра до ночи и ни с кем не разговаривал, пока женщины не закончили ремонт амбулатории.

Илья Длугач еще раз приходил и заставил деда Силыча, понимавшего в столярном деле, изготовить для амбулатории стол, кушетку, шкаф. Дмитрий Данилович разместил в шкафу полученные в Пустополье медикаменты, поставил на табуретке вычищенный медный таз, на гвоздь повесил белый халат, налил воды в жестяной умывальник и стал ждать больных. К его удивлению, в амбулаторию никто не приходил.

— Ты бы, Митя, с людьми поговорил на сходе, — робко посоветовала Настасья Мартыновна, — может, народ не знает, что лечебница в деревне открыта.

— Как же не знает! — рассердился Дмитрий Данилович. — Сто человек тут ходили, глазели. Просто боятся идти. Думают, увезут отсюда в больницу, а там уморят. Я уж слышал такие разговоры...

В середине декабря неожиданно приехал Александр Ставров, младший брат Дмитрия Даниловича. Он работал в Москве, в Комиссариате иностранных дел, и перед отъездом за границу получил короткий отпуск.

Александр совсем не был похож на коренастого брата. Высокий, с девичьей шеей и круглым румяным лицом, по которому были разбросаны мелкие веснушки, он отличался ровным, мягким характером, умел заразительно смеяться и любил пошутить. Он казался моложе своих двадцати пяти лет.

В дом Ставровых Александр сразу внес шум, гам, суматоху. Громко расцеловался со всеми, подбросил к потолку Калю и Таю, с грохотом раскрыл свой потертый фибровый чемодан и стал доставать подарки — чулки, ботинки, банки со сгущенным молоком, папиросы, мыло.

— В Москве нэп быстро пустил корни, — посмеиваясь, рассказывал Александр. — Вы бы посмотрели, что на Сухаревке делается! Есть там такое место, Сухаревкой называется, — огромный рынок. Вот на этой Сухаревке недорезанных буржуев полным-полно. Покупают, продают, меняют, прямо дым столбом. Раз, говорят, Советская власть разрешила торговать, значит, можно.

— А ты где работаешь, дядя Саша? — спросил Рома, не спускавший глаз с Александра.

Тот засмеялся:

— О, Рома, чин у меня большой! Называюсь я дипломатический курьер. Слышал?

— Нет, не слышал, — признался Рома.

— Это, племяш, вот что значит. За границей в некоторых странах, правда еще немногих, есть наши послы или представители. По почте связываться с ними неудобно, потому что буржуи могут всю переписку читать и разные провокации устраивать. Поэтому Советское правительство, если это необходимо, отправляет к своим послам дипкурьеров, которые в запечатанных кожаных сумках возят дипломатическую почту и, сдав ее в посольство, возвращаются обратно. Вот, милый племяш, таким дипкурьером я и работаю...

Александр схватил Ромку, ущипнул его, сунул ему в руки круглое печенье и вдруг вспомнил, что, раздавая свои маленькие подарки, он ничего не подарил Марине.

— Мариночка, дорогая, прости... простите, — Александр совсем смутился, — я не знал, что вы здесь живете, с нашими. Митя ничего не писал мне.

Марина покраснела.

— Что вы, Саша, честное слово... прямо неудобно...

Она стояла у печки в сером, аккуратно заштопанном платьице, в валенках, над которыми были видны ее голые колени. Тряхнув мягкими, цвета выгоревшей ржи волосами, Марина опустила голову. Александр понял, что эта потерявшая мужа женщина лишний раз почувствовала сейчас свое одиночество, и глубокая жалость к ней кольнула его.

— Если вы позволите... если вы не будете сердиться... я пришлю вам из Москвы, — пробормотал Александр. — Мне просто обидно, как-то неловко получилось...

От глаз Настасьи Мартыновны не ускользнуло смущение деверя. Она взяла со стола подаренный ей отрез вишневой шерсти и протянула Александру:

— Знаешь что, Сашук, ты возьми это и отдай Маринке, а мне пришлешь, хорошо?

— Правильно, Настя, — оживился Александр, — так будет лучше.

Марина, с трудом сдерживая слезы, стала было отказываться, но Андрей, сидевший на подоконнике, вдруг брякнул:

— И чего они ломаются? Все равно через неделю твой подарок на рожь обменяют.

Все засмеялись, и на этом разговор об отрезе был закончен.

Весь вечер, расстегнув черную суконную куртку и попивая из кружки свекольный кофе, Александр рассказывал о том, что делается на свете.

— На нас до этого года смотрели как на зачумленных, — задумчиво говорил он, — а сейчас дело иначе поворачивается. Правда, неурожай и голод опять развязали язык капиталистам. Они ждут нашей гибели и поэтому не торопятся заключать договоры...

— Неужели в мире нет честных людей, которые могли бы помочь России в таком несчастье? — волнуясь, спросила Марина.

— В мире, конечно, много честных людей, но они не имеют власти. Вы знаете, сколько времени честные люди уговаривают капиталистов: «Помогите России, помогите России!» А толк какой? Мы получаем только то, что собирают рабочие. А буржуи ждут, когда мы подохнем с голоду...

Александр застучал пальцами по столу. Перед его глазами встали переполненные беженцами вокзалы в голодающих губерниях, толпы черных от угольной пыли детей на перронах, санитарные носилки, на которых куда-то уносили метавшихся в тифозном бреду...

В Огнищанке Александр пробыл только шесть дней. За это время он успел сблизиться с Мариной. Вначале у него была обычная человеческая жалость к ней—он понимал, что жизнь Марины разбита, — а потом вдруг почувствовал, что его влечет к этой маленькой женщине нечто большее, чем жалость, ему хотелось подольше оставаться с ней наедине, слушать ее голос, касаться ее руки. Он испугался этого, стал сдерживать себя и всю свою внезапно нахлынувшую нежность перенес на Таю, семилетнюю дочку Марины.

Тая была тонкая, гибкая, как вербовая лозинка, девочка с мягкими каштановыми волосами и темными влажными глазами. Когда-то она упала с лестницы, на переносице у нее остался едва заметный шрам, и это немного портило ее подвижное смуглое лицо. Она побаивалась малознакомого Александра, дичилась, угрюмо встречала его ласки и однажды сказала ему:

— Вы меня не трогайте. Я люблю своего папу, а вас никогда не полюблю, даже если мама...

— Что? — насупясь, спросил Александр.

— Ничего! — отрезала Тая. — Вы сами знаете что...

Как-то вечером Александр осторожно спросил у невестки:

— А что, Максим так ничего и не пишет?

— Нет, — покачала головой Настасья Мартыновна. — Максим как в воду канул. Погиб, конечно. Если бы жив был, давно написал бы. Так и пропал человек.

Глядя на сугробы снега за окном, Александр спросил тихо:

— Что ж Марина думает делать?

— Не знаю, Саша. Кажется, собирается на курсы идти, учительницей хочет стать.

— А как же Тая?

— Тая поживет у нас, а потом она ее заберет...

Александр ничего не сказал. Весь день он ходил, тихонько насвистывая, по комнате, играл с детьми, гулял в парке, а вечером подморгнул Андрею:

— Зажигай фонарь, Андрюха, полезем поймаем твоего голубя.

— Что вы придумали, Саша! — испугалась Марина. — Там ведь очень высоко, а лестницы нет, еще сорветесь.

— Ничего, мы осторожно, — улыбаясь, заверил Александр. — Пойдем, Андрюха.

Они ушли, а через полчаса вернулись мокрые, грязные, в пыли, в темных пасмах паутины, но веселые и возбужденные. Андрей прижимал к груди крупного сизого голубя. Шея голубя мерцала зеленым и малиновым отливом, обращенные к свечке испуганные глаза то и дело прикрывались тоненькой пленкой.

— Вот! — торжественно объявил Андрей. — Под самой крышей поймали, чуть не сорвались оба. Теперь мы почистим голубятню, устроим ему гнездо, пусть сидит. А весной к нему прилетит голубка...

Александр, проводя испачканной пятерней по волосам, улыбался, и Марина ему сказала:

— Умойтесь, Саша. Давайте я вам полью.

За день до отъезда Александр долго лежал на топчане, потом поднялся, постоял у окна, подозвал Ромку и прошептал, теребя его за ухо:

— Ромашка! Пойди к тете Марине — она у себя в комнатке — и скажи ей так: дядя Саша, мол, просит, чтобы вы оделись потеплее и вышли на минутку к воротам...

Выслушав Ромку, Марина покраснела, бросила платьишко Таи, которое чинила, засуетилась, разыскивая чулки и подвязки. «Боже мой, — думала она,—что ж это такое и для чего это все?.. Может, Максим жив... Тайка все понимает... Что я ей скажу?»

Она накинула шубейку, поспешно повязалась платком, сунула ноги в валенки и, ступая на цыпочках, через амбулаторию выскочила во двор.

Вечерело. На высокие сугробы снега легли тени. В парке, умащиваясь на ночь, кричали вороны. Похожие на черные тряпки, они взлетали над березами и с пронзительным карканьем, хлопая крыльями, опускались на темнеющие в вышине гнезда. Через улицу, в соседском дворе, жалобно мычала голодная корова. Увязая в сугробах, прошла старуха с вязанкой хвороста на спине. Мороз немного обмяк, и над снегом тянулся свежий запах влаги.

Марина стояла у ворот, кутаясь в платок, неподвижная, маленькая и жалкая. Александр подошел, осторожно взял ее за руку:

— Пойдемте походим...

Они спустились на дорогу, медленно побрели по улице и вышли на край деревни, к кладбищу.

Стояла нерушимая тишина. На белых холмиках темнели деревянные кресты. На высокой, испещренной пятнами навоза гребле застыли покрытые инеем вербы.

Александр посмотрел на бревенчатый крест на могиле отца, тронул рукой глухо звякнувшее железное кольцо.

— Я мало жил с отцом,—задумчиво сказал Александр.— Он был крутой и тяжелый человек. Митя в него пошел, такой же норовистый.

Он глянул на Марину, ласково коснулся ладонью ее шубейки:

— Вам нелегко будет с ними. Настя — неплохая женщина, но Дмитрий больно горяч, совсем бешеный бывает. Человек он порядочный, честный, до жизни цепкий, семью в обиду не даст, но с ним очень трудно...

Марина теребила конец платка. избегая встретиться взглядом с Александром, и, отворачиваясь, смотрела в сторону.

— Я скоро уеду, Саша, — сказала она, — не могу же я на хлебах сидеть у Дмитрия Даниловича. Надо свою дорогу искать. Пойду на учительские курсы, буду в школе работать, проживу как-нибудь.

Они вышли с кладбища, постояли у обрыва. Над лесом

вставала большая красноватая луна, и на льду пруда заискрились ее холодные острые отсветы.

— Вот что, Марина, — сказал Александр, — если вам будет очень плохо... знаете, бывают такие трудные минуты... вспомните, что есть на свете один человек, который... это самое... который, кажется...

— Пойдемте домой, — тихо попросила Марина.

Уже перед самым двором она на секунду остановилась и заглянула Александру в глаза:

— Я ведь еще не жила, Саша. В семнадцать лет вышла замуж, помню, что был у меня муж и что его зовут Максим Селищев. А какой он, как говорит, как смеется, я уже забыла, потому что не видела его семь лет. Мы с ним мало жили вместе, а Тайка только по карточке его знает...

Она помолчала, тронула Александра за рукав:

— То, что вы сказали, я не забуду. Спасибо вам, Саша. Вы очень, очень хороший...

На следующий день Александр уехал. Его провожали до ворот. Он поцеловал всех, сел в сани, размотал башлык и крикнул Андрею:

— Береги голубя, Андрюха, и не реви! Весной приеду, разведем с тобой целую стаю, самых красивых, белых.

В эту ночь Андрей не спал. Прижимаясь к Ромкиному горячему плечу, он думал о сизом голубе, о его малиновой с прозеленью сверкающей шее, о том дне, когда одинокий голубь приманит белую голубку, и будет светить солнце, и зазеленеет трава, и легкие голуби, ладно похлопывая крыльями, слетят с голубятни и поднимутся высоко-высоко в ясное, глубокой синевы весеннее небо.

5

Ленин, партия, народ делали все возможное, чтобы вырвать из лап смерти голодную, разоренную, раскинутую на десятки тысяч верст, засыпанную снегами страну. Мало сказать, что Ленин, партия и народ делали для этого все возможное. Они сделали и то невозможное, нечеловечески трудное, чего не делал до них никогда и никто.

Тысячами разъезжались по селам и деревням мобилизованные партией коммунисты. В солдатских шинелишках, в потертых кожаных куртках, в замасленных рабочих картузах и шапчонках пробирались эти самоотверженные люди сквозь снега и метели.

В деревнях они вели за собой батраков, крестьянок, деревенских комсомольцев. Они вытаскивали из потайных ям захороненное кулаками зерно, раздавали его беднякам. Они просили, требовали не убивать скот, а их самих убивали кулаки, убивали подло, свирепо, из-за угла.

В яростные морозы птицы замерзали на лету, железо примерзало к рукам, холодное солнце было обведено багряным кругом, а организованные большевиками рабочие по кирпичику восстанавливали разрушенные заводы; шахтеры, затянув ремнями ввалившиеся животы, рубили и подавали наверх лед из затопленных шахт; уходили в леса тысячи бледных, слабых от недоедания девчат-комсомолок и там, по пояс проваливаясь в глубокие сугробы, ожесточенно пилили столетние деревья, чтобы согреть страну.

Ленин видел дальше всех, он говорил:

— Как бы ни были тяжелы мучения переходного времени, бедствия, голод, разруха, мы духом не упадем и свое дело доведем до победного конца...

Люди совершали в этот год невиданные, величайшие подвиги, но зима, бездорожье и голод одолевали их.

В лесах рыскали конные и пешие банды зеленых. Отпетые, проспиртованные самогоном головорезы отбивали и сжигали эшелоны с хлебом, убивали по волостям коммунистов, грабили людей на больших дорогах.

Уже в десяти губерниях люди съели не только остатки зерна, но и все, что можно было съесть, — коней, коров, собак, кошек.

По всем столицам Европы разъезжал терзаемый жалостью к людям, угнетенный душевной болью знаменитый полярный путешественник Фритьоф Нансен. Он выступал на многолюдной ассамблее Лиги Наций. Его слушали чисто выбритые, розовощекие господа в щегольских сюртуках, в смокингах, в аккуратно разглаженных фраках. Загорелый, седой, обожженный северными ветрами, он говорил с высокой кафедры:

— Двадцать миллионов русских голодают... Для их спасения нужно пятьдесят миллионов рублей — это только половина стоимости одного военного корабля. Неужели мы все останемся равнодушными к такому человеческому бедствию?

Господа во фраках молчали.

Светлые глаза Нансена темнели от гнева и горя, а голос хрипел:

— Урожай в Канаде так богат, что она одна сможет вывезти в три раза больше, чем нужно для прокормления голодающих в России. В Америке хлеб гниет, его некому продавать. В Аргентине топят хлебом паровозы, а в России двадцать миллионов людей умирают...

Господа переглядывались, улыбались краешком губ и... молчали.

Перед глазами Нансена вставали бескрайние снега севера, последний сухарь в слабеющей руке человека, и он, забыв корректность, кричал истуканам во фраках:

— Умоляю вас, если вы имеете хоть малейшее понятие о голоде и о страшных силах зимы, помогите умирающим русским!

Господа молчали.

И тогда он, великий человек, слабый, как дитя, в своем бессилии, согнувшись, сходил с кафедры и шептал, роняя слезы:

— Боже, боже! Вот люди, одержимые дьяволом. Пусть же на их совесть, на их души лягут миллионы умерших, пусть их самих заморозит зима!..

А зима брала свое, и уже над многими районами России была занесена коса смерти. Смерть гуляла и по хатам маленькой, затерянной среди степных холмов и перелесков Огнищанки. Каждый день кого-нибудь уносили на кладбище или хоронили прямо среди засыпанных инеем верб, в огородах, потому что идти далеко уже не было сил.

Амбулатория по-прежнему пустовала, но Дмитрию Даниловичу каждый день приходилось бродить по деревням, так как в каждой деревне валялись без помощи десятки тифозных. Они горячечно бредили, раскрывая сухие рты, рвали на себе одежду, обнажая изможденное, пестрое от сыпи тело.

Дмитрий Данилович переходил из одной избы в другую, обкладывал головы бредящих тряпками со льдом, смазывал их потрескавшиеся губы глицерином, растирал больных самогоном-первачом, который ему аккуратно после каждого обыска у самогонщиков доставлял в амбулаторию председатель сельсовета Илья Длугач.

Однажды Длугач прислал в амбулаторию нарочного с запиской, в которой просил, чтобы фельдшер немедленно явился к нему.

В этот день у Дмитрия Даниловича мучительно болели зубы, но он все же набросил тулупчик, треух и, при-

крывая щеку барашковым воротником, поплелся к Длугачу.

Сельсовет помещался на отшибе, между Огнищанкой и Костиным Кутом, в большом доме бежавшего в Сибирь кулака Баглая. Со времени ухода Баглая — а он ушел со всей семьей в восемнадцатом году — никто его дом не ремонтировал. В холодных комнатах сельсовета гулял ветер, и только по углам, где стояли железные печурки, было тепло.

Илья Длугач встретил Дмитрия Даниловича на крыльце. Он нетерпеливо посасывал свой вишневый мундштучок и, видимо, чем-то был озабочен.

— Доброго здоровья, товарищ фершал! — издали закричал Илья.—Ну-ка, будь добренький, иди сюда да помоги мне разобраться в одном бесовом деле.

Он увлек Дмитрия Даниловича в дом и закричал дежурному:

— Дядя Лука, возьми на шкафчике ключ и отвори нам холодную!

Чернобородый молчаливый Лука, по прозвищу Сибирный, щелкнул ключом. Они все трое вошли в полутемную комнату, окно которой было наполовину забито жестью. В правом углу комнаты стоял разломанный плотницкий верстак, и на верстаке, в деревянном корыте для стирки, Дмитрий Данилович увидел мертвого грудного ребенка. Ребенок был прикрыт грязным полотенцем с вышитым красными нитками петухом.

— Вот, — растерянно мотнул головой Длугач, — мертвое дитё. И мать его у меня сидит, Степанида Хандина из деревни Калинкиной. Калинкинцы доказывают, что эта самая гражданка Хандина силком умертвила свое дитё. Надо, чтоб ты, товарищ фершал, сделал осмотр и написал свое заключение.

— А когда вам доставили труп? — спросил Дмитрий Данилович.

— Вчера вечером, — пояснил Длугач. — Сами же мужики доставили. Третьего дня, говорят, дитё было здоровое и никаких признаков болезни не подавало. А вчера утром Степанида была выпивши, вернулась до дому, и соседка ее слышала, как дитё крепко закричало, а Степанида выскочила из избы и зачала голосить, что, дескать, дитё кончилось.

Морщась от зубной боли, Дмитрий Данилович развернул полотенце, наклонился, бегло осмотрел худое тельце, взгля-

нул на прикушенный беззубыми деснами, слегка припухший язык.

— Смерть наступила от удушения, — сказал он хмуро. — На теле никаких знаков нет. Скорее всего, ребенок удушен одеялом или подушкой. Если хотите уточнить, отправьте труп в волость, пусть вскроют.

— Вот же сучья кровь! — выругался Длугач.

Он подумал секунду, снова, как бык, мотнул головой и тронул Дмитрия Даниловича за плечо:

— Знаете что, товарищ фершал? Я сейчас при вас допрошу гражданку Хандину, а вы подтвердите то самое, что сейчас тут говорили.

— Но ведь я не имею права давать заключение в присутствии обвиняемой, — недовольно сказал Дмитрий Данилович, — здесь не суд, а я не эксперт.

Длугач насупился:

— Какой там, к бесу, эксперт! Просто надо на факте припереть эту сволочь до стенки, пускай признается, а то она все дурочку валяет, плачет да смешки строит.

— Ладно, пойдемте, — сказал Дмитрий Данилович.

В кабинете Длугача было холодно, но чисто. Между двумя окнами стоял накрытый кумачом стол, на нем школьная чернильница, пресс-папье и конторские счеты. Над столом висел неумело срисованный из газеты и раскрашенный акварелью портрет Ленина. Слева и справа от стола стояли две длинные деревянные скамьи, а на низком кухонном шкафчике лежала винтовка.

— Дядя Лука, заведи арестованную! — закричал Длугач.

В комнату, тихонько подталкиваемая Лукой, вошла женщина, повязанная обрывком клетчатой шали. Ей было лет тридцать, не больше, но голод и нужда уже надломили ее силы, притушили глаза, избороздили морщинами лицо.

— Присядь на лавку, Степанида, — не поднимая головы, сказал Длугач.

Простучав подкованными железом солдатскими сапогами, женщина послушно села на лавку. Рядом с ней присел дядя Лука с тонкой вербовой палочкой в руках.

— Где твой хозяин, Степанида? — спросил Длугач.

— Нету у меня хозяина, — равнодушно ответила женщина.

— А где ж он?

— Не знаю, угнали его прошлый год.

— Кто угнал? Белые? Красные?

Степанида тупо уставилась на председателя, тронула пальцами бахрому шальки.

— Откель я знаю, какие они? Приехали в деревню, пошли по избам и зачали мужиков, которые остались, угонять. Так и моего угнали.

Свернув цигарку, Длугач чиркнул медной, сделанной из патрона зажигалкой, положил зажигалку рядом, негромко постучал ею по столу:

— А дитё у тебя от кого нашлось? От хозяина или же от кого другого? Сколько времени дитю? В каком месяце оно нашлось?

Не опуская пустые, утерявшие блеск глаза, женщина вытерла ладонью сухие губы.

— Дитё от другого.

— От кого же именно?

— Его тоже нету, белые угнали, — сказала женщина.

Сквозь заиндевевшее окно было видно, как раскачивались под ветром ветки акаций. В круглой железной печурке, рассыпая искры, потрескивали сырые дрова. Одно поленце упало на пол, зашипело. В комнате запахло дымом. Женщина поднялась с лавки, стуча сапогами, подошла к печке, сунула дымящееся поленце и села на место. И все трое мужчин вздохнули, потому что в каждом движении женщины — в том, как она присела на корточки, как быстро и ловко взяла полено, как незаметно вытерла пальцы о подол черной юбки, — было привычное, домашнее, мирное, очень далекое от того, о чем надо было сейчас говорить.

— Ну ладно, — сказал Илья Длугач, — теперь ты расскажи, гражданка Хандина, как это у тебя получилось с дитём.

И, словно боясь, что женщина снова будет отпираться, Илья толкнул локтем Дмитрия Даниловича:

— Вы, товарищ фершал, объявите ей свое заключение.

Дмитрий Данилович придержал ладонью щеку, закряхтел от боли и в упор взглянул на женщину:

— Ребенок ваш помер... от удушения. Его накрыли одеялом или подушкой и...

Степанида шевельнула ногой, зажала в коленях ладони бессильно опущенных рук, провела языком по сухим губам.

— Ну да... подушкой, — безвольно согласилась она.

— Для чего же это? — растерянно спросил Длугач.

Женщина равнодушно посмотрела в окно.

— Я уже шесть дней голодная, — сказала она, — молоко у меня в грудях пропало, а дитё скулит и скулит... цельными ночами...

— Эх ты, горе горькое! — вздохнул дядя Лука.

Под окном раскачивались ветки акаций. Погромыхивая ведрами, по снегу пробежала босая девчонка в драном отцовском тулупе. Жалостливо глядя на женщину, постукивал палочкой дядя Лука.

— Ладно, — махнул рукой Длугач, — замкни ее и дай ей кусок хлеба, а завтра отправим в волость, пускай судят...

С тяжелым чувством возвращался домой Дмитрий Данилович. «Просвета не видно, — думал он, — и с каждым днем все хуже и хуже. Где ж тот эшелон, о котором говорил Долотов? Не дошел, видно, до нас и не дойдет...»

Сами Ставровы были на волосок от смерти. Большую часть конского мяса они обменяли на жмыхи, соль, керосин. Другую часть Настасья Мартыновна тайком отдала соседям, у которых были больные дети. Стаканами, пригоршнями, ложками она раздала и кукурузу, которую привез с хуторов Дмитрий Данилович. В ставровском доме снова стало пусто.

И вероятно, тот день, которого все боялись, давно наступил бы, если бы не Настасья Мартыновна.

Никто не знал, откуда берутся силы у этой сухой невысокой женщины, то плачущей, то смеющейся, вечно бегающей, непоседливой и суетливой. Впопыхах накинув платок, жидковатое на вате пальтишко, Настасья Мартыновна исчезала с утра. Никто не знал, где она ходит и что делает. А она, увязая в сугробах, тяжело дыша, кашляя, бегала по деревням, заглядывая в каждую избу: там искупает ребенка и поговорит с больной матерью; там поставит клизму какому-нибудь больному старику; там уберет в избе, истопит печь, принесет воды. И все это Настасья Мартыновна делала живо, приветливо, как могла утешала больных, умирающих. Она мгновенно узнавала имена и отчества незнакомых людей и разговаривала с ними так, точно знала их много лет.

К вечеру, усталая, мокрая, с красным лицом и сияющими глазами, Настасья Мартыновна прибегала домой, швыряла платок в одну сторону, пальтишко в другую, начинала вытаскивать узелочки, сверточки, корзиночки и раскладывала на столе все, что ей давали за ее добровольный, непрошеный труд: горсть пшена или подсолнухов, стакан овсяной крупы, пару соленых огурцов, крутое яйцо.

— Мама с деревни пришла! — кричали дети. — Сейчас будем есть!

Засучив рукава, Настасья Мартыновна с помощью Марины начинала стряпать. Она кричала на детей, сердилась, смеялась, а через час все усаживались за стол, и она, сияя влажными глазами, любовалась, как едят дети.

Андрей каждый раз выпрашивал что-нибудь у матери для своего голубя.

— Дай, мама, — клянчил он, — он тоже есть хочет.

Настасья Мартыновна брала с тарелки щепотку пшена или подсолнухов, и обрадованный Андрей убегал на голубятню, сыпал корм нетерпеливо воркующему голубю, приговаривал:

— Ешь, гулюшка, ешь... Вот придет весна, полетишь высоко-высоко...

Но бывало и так, что Настасья Мартыновна возвращалась с пустыми руками. У людей кончались последние скудные запасы, и ей никто ничего не давал. Она брела домой, еле волоча отяжелевшие ноги, усаживалась, не раздеваясь, в углу, надрывно кашляла и роняла, поглядывая на голодных, притихших детей:

— Сегодня, деточки, ничего нету... мать пришла с пустыми руками...

Однажды, в один из таких невеселых вечеров, Настасья Мартыновна долго сидела у окна, тоскливо слушала хныканье маленького Феди:

— Ма-а-а-а... есть хочу... Ма-а-а-а...

Дети второй день ничего не ели.

Настасья Мартыновна поднялась, молча вышла. Глотая слезы, озираясь, она полезла на голубятню, в темноте нащупала пугливо трепыхнувшегося голубя. Потянула его к себе и, холодея, придавила теплую шею, рванула раз, другой. Тело птицы обмякло, потяжелело. Настасья Мартыновна слезла, топчась на снегу, ощипала голубя, аккуратно засыпала снегом кучку перьев и, сгорбившись, пошла в дом.

Закрывая спиной сковородку на плите, она изжарила голубя, разделила мясо на пять частей и проговорила устало:

— Ешьте, дети, цыпленка... это дедушка Силыч дал.

6

После Нового года Советское правительство опубликовало декрет об изъятии церковных ценностей, чтобы на соб-

ранное золото и серебро приобрести за границей хлеб для голодающих. Многие священники встретили это как подобает милосердным людям. Стремясь быстрее помочь голодающим, они сами описывали ценности в церквах и добровольно отвозили их в волость для отправки в Москву.

Но часть духовенства восстала против декрета. К числу таких принадлежал и престарелый митрополит, в епархию которого входили церкви Пустопольской волости. Митрополит жил на окраине губернского города, в монастырском подворье. Трижды в день он смиренно молился, принимал священников и дьяконов, то есть делал то, что, с его точки зрения, было важным, справедливым, а значит, угодным богу.

По ночам под видом нищих, юродивых и странников в монастырское подворье приходили неизвестные люди. Монахи-прислужники обмывали их в жарко истопленной угловой баньке, переодевали, сытно кормили, а потом вели в покои, где смиренный митрополит принимал от пришельцев скрытые в нищенских лохмотьях бумаги. Это были тайные письма бежавших за границу его друзей в рясах. Они, эти «священнослужители», организовывали у Колчака «полки Иисуса» и «девы Марии», служили панихиды по «убиенному государю», помогали белым генералам расстреливать народ, а потом, содрав с икон драгоценные ризы, украв в соборах золотые чаши и лампады, переправились за границу.

Теперь эти люди писали митрополиту о том, как организовать борьбу против изъятия церковных ценностей и обречь «проклятый, забывший бога» народ на муки и смерть.

И митрополит выполнил желание своих друзей. Три ночи, склонившись над столом, писал он послание мирянам и духовенству. В этом послании, забыв о миллионах умирающих, митрополит под страхом небесной кары запрещал сдавать «святотатцам большевикам» церковную утварь. Он писал о «поруганных храмах», об «оскверненных алтарях», о «нечестивых коммунистах» и во имя господа бога призывал силой отстаивать церковное имущество. Это послание было разослано по всем церквам епархии с указанием прочитать народу.

Послание митрополита дошло и до пустопольской церкви. Настоятелем этой церкви был отец Никанор, тот самый, который хоронил в Огнищанке умершего от голода Данилу Ставрова. Вторым священником был отец Ипполит, ру-

мяпый балагур с черной бородой, бабник, весельчак и пьяница.

Получив послание — это было в субботу днем, — Ипполит пошел к отцу Никанору. Старик был болен. Он давно овдовел, жил один, за ним из милости присматривали богомольные старухи.

Ипполит отряхнул снег с сапог, подобрал захлюстанные полы рясы и вошел в низкую жаркую комнатушку. Отец Никанор лежал в постели, выпростав из-под одеяла худые, поросшие седыми волосами руки.

— Вот, отче, послание преосвященного,— поклонился Ипполит, — приказано с амвона огласить перед верующими.

Отец Никанор привстал, подложив подушку под спину, перекрестился и стал молча читать послание. Читал он долго, вглядываясь в строчки дальнозоркими стариковскими глазами, и видно было, как дрожат его руки.

— Может, мне, отче, огласить? — спросил Ипполит.—Вам ведь недужится. А я завтра, после литургии, оглашу.

— Нет, — угрюмо сказал Никанор, — иди, отец. Я встану с божьей помощью и сам оглашу.

Ипполит поднялся с табурета:

— Ну, глядите, как бы вы еще больше не простудились, мороз такой, что дышать трудно.

— Иди, иди, Христос с тобой... Завтра ты отдыхай, я сам отслужу заутреню.

Ипполит ушел, плотно притворив дверь.

Весь вечер отец Никанор пролежал молча. С его темного лица не сходило выражение боли. Он поглаживал одеяло ладонью, ворочался с боку на бок, вздыхал. Ему удавалось на короткое время уснуть, но он тотчас же просыпался и лежал, уставя взгляд в потолок.

Уже было за полночь, когда отец Никанор поднялся, накинул тулуп и шапку, взял фонарь и пошел в церковь. Церковь находилась близко, но идти ему было трудно, и он несколько раз останавливался, тяжело дышал и молча смотрел на усыпанное звездами небо, на дома, на деревья в снегу.

В церковной ограде он постучал в дверь сторожки и сказал проснувшемуся старому сторожу:

— Дай ключ и ложись.

Засветив фонарь, отец Никанор вошел в церковь. Там было холодно и темно. Он прошел в алтарь и осветил престол. За пятьдесят лет службы тут все было знакомо ему до мелочей: бархатная индития — престольный покров, а на

нем истлевший, по углам вышитый бисером шелковый плат — илитон; на престоле евангелие с серебряными застежками, золотой напрестольный крест, дарохранительница; под престолом, невидный снаружи, серебряный ковчежец с частицей мощей мучеников — святыня храма. За престолом архиерейское «горнее место», а слева, в «диаконнике», сложена утварь: позолоченное блюдо на подножии — дискос, разные сосуды, копьецо, ложечка, звездица, покровы, фимиам.

Не снимая тулупа, посвечивая фонарем, отец Никанор отдернул алтарную завесу и через северные пономарские врата вышел из алтаря в храм. Так же как в алтаре, здесь пахло воском, ладаном, сухими цветами. И отец Никанор, опустив голову, вдыхая этот с детства знакомый запах, пошел по церкви. Приподнимая фонарь, он осматривал иконы, и в иконных ризах и стеклах с тихим мерцанием отражалось пламя горящей в фонаре свечи.

Он смотрел на суровые лики святых, церковными установлениями разделенных, как войско, на разряды: пророков, апостолов, святителей, пастырей, великомучеников, страстотерпцев, преподобных, угодников, чудотворцев.

Больше всего он любил богоматерь, дочь человеческую, умершую человеческой смертью. И названия икон с изображением богородицы издавна казались ему самыми ласковыми: «Всех скорбящих радость», «Милующая», «Неувядаемый цвет», «Отрада и утешение», «Споручница грешных».

Отец Никанор остановился перед большой иконой богоматери с византийским названием «Одигитрия», что означало — Путеводительница. Поставив фонарь на пол, старик тяжело опустился на колени и сказал тихо:

— Ты, утверждают, потеряла сына. Я не знаю, так ли это, потому что я, грешник, стал сомневаться. Если правда то, что у тебя был сын и ты его потеряла, ты знаешь, что нет для матери большего горя. Ныне умирают тысячи детей человеческих, и нет сил им помочь, и нет сил помочь осиротевшим матерям, голодным и страждущим... Твой лик и ризы твои украшены золотом. Для чего оно тебе? Разве тебе это нужно? Я знаю, если б ты могла, ты сама все отдала бы матерям, чтобы спасти их детей... Прости ж меня за то, что я, грешный, сделаю это...

Он поднялся, принес табурет, встал на него, открыл застекленную раму иконы и с силой потянул на себя тяжелые серебряные ризы.

Когда рассвело, ветхий сторож, зевая, перекрестил рот и стал звонить к заутрене. Вначале никто не откликался на

протяжный, медлительный звон, а потом со всех сторон потянулись старики, старухи с палками, закутанные шалями женщины.

Второй священник, отец Ипполит, еще не ложился спать. Он только что вернулся с хутора Калинкина, где просидел всю ночь в компании с кулаками. Они пили самогон, ели принесенный из потайной ямы окорок и советовались, что делать. Присутствовал и сожитель костинокутской самогонщицы Устиньи, бывший сотник Степан Острецов. После встречи с Савинковым Острецов организовал вооруженный отряд и готовился к первому выступлению. Изъятие церковных ценностей было, как он считал, лучшим поводом для удара.

— Ладно, батя, — угрюмо сказал он захмелевшему отцу Ипполиту, — мои люди тоже завтра пойдут в церковь, только они будут богу молиться по-своему, и от их молитвы не поздоровится...

— Первого надо Гришку Долотова убрать, пустопольского председателя, — тряхнул волосами Ипполит. — Он всему голова, и господь должен его наказать.

— Не беспокойся, батя, накажет, — заверил Острецов.

Когда, вернувшись в Пустополье, отец Ипполит пошел в церковь, там уже собралось много людей. Люди пришли просить у бога помощи. Ипполит заметил в толпе Острецова, окруженного группой молодых, хорошо одетых парней. Проходя в алтарь, Ипполит увидел, что многие ризы с икон сняты, серебряные подсвечники унесены, лампады тоже. «Эге,— подумал он, — Никанор-то наш старый, да хитрый; как видно, припрятать все хочет».

Отца Никанора он нашел в алтаре. Старик облачался с помощью здоровенного дьякона Андрона.

— Помоги, отец, — сказал он, увидев Ипполита.

Он медленно надел красный подрясник, епитрахиль, потом, шепча положенные молитвы, стал надевать шитые поручи.

Ипполит вначале удивился тому, что отец Никанор надевает набедренник, но потом решил, что старик собирается читать послание митрополита и поэтому хочет быть в полном облачении.

Когда Ипполит с дьяконом поднесли и стали помогать отцу Никанору надеть фелонь — тяжелые, с густым шитьем ризы, — старый священник сказал задумчиво:

— Фелонь знаменует вретище Христа при его поругании, а поручи — узы на руках спасителя...

Он перекрестился и по привычке нараспев произнес в алтаре первые слова богослужения. Служил он торопливо, ни на кого не глядя и не поднимая глаз. Потом расправил лист послания и вышел на амвон.

— Преосвященный владыка, — сказал отец Никанор, попрежнему глядя в землю, — повелел огласить верующим его пастырское послание о церковных ценностях, которые по декрету властей надлежит сдать в фонд помощи голодающим. Вот послание владыки.

И отец Никанор, по-стариковски отдалив от себя лист, стал читать послание митрополита. Он прочитал все до конца и поднял вверх руку с зажатым в кулаке посланием.

— Люди верующие, — торжественно сказал он, — это послание писано рукою дьявола. Ради мертвых канонов церкви оно обрекает на смерть тысячи живых...

«Боже мой, что он говорит?» — вздрогнул стоявший в алтаре Ипполит.

А старый священник разорвал и бросил на пол бумагу.

— Анафема антихристу митрополиту! — закричал он грозно. — Пусть руки умерших удавят его! Пусть будет он проклят ныне и во веки веков! Богу не нужны золото и серебро, преходящие блага мира. Богу, если он существует, нужно человеческое счастье. А золотом храмов мы спасем умирающих детей...

Ипполит выбежал из алтаря и кинулся разыскивать в толпе Острецова. Схватил его за плечо, зашипел в ухо:

— Он с ума сошел! Надо прекратить это...

Шагнув с амвона, отец Никанор махнул рукой сторожу:

— Неси узлы, Анисим!

Идя прямо в толпу расступающихся людей, он заговорил громко:

— Вот, православные, я тут собрал все, что имеет ценность: ризы с икон, чаши, дискосы, подсвечники, кресты... Перепишите все это и сдайте, куда нужно, — пусть скорее привезут детям хлеб, ибо, как говорил Христос, детям уготовано царство небесное...

В это мгновение в напряженной тишине глухо и коротко грохнул выстрел. Отец Никанор схватился рукой за плечо, удивленно поднял глаза, хотел что-то сказать, но ничего не сказал, только приоткрыл рот и, держась за кого-то, сполз на пол.

Народ кинулся из церкви. Началась давка. Раздались плач, крики. С колокольни частыми, тревожными ударами полыхнул набат. По селу побежали люди.

В суматохе и панике один из острецовских отрядников застрелил милиционера, второй пырнул ножом привязанную к забору исполкомовскую лошадь. Двое других облили керосином и подожгли деревянное здание школы. Но уже мчались к церкви волисполкомовские тачанки, а в тачанках — наспех собранные Долотовым пустопольские коммунисты. Бандиты разбежались, не успев унести с собой ценности.

Старый отец Никанор выжил. Он был ранен в плечо навылет. Его положили в волостную больницу, где старика посетил дряхлый церковный сторож Анисим. Сторож мычал что-то, целовал руку исхудавшего, как скелет, старика, а тот хрипло кричал ему в ухо:

— Мы с тобой слепцы, Анисим! И не только мы. Может, Анисим, откроется нам, как Иоанну, наше грядущее... Читал «Откровение»? «Спасенные народы будут ходить во свете его... Ворота его не будут запираться... И не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи...» Понял, Анисим? И покажут нам реку жизни, светлую, как кристалл, и зеленое древо жизни, и листья древа для исцеления народов...

ГЛАВА ВТОРАЯ

1



ывает так: человек пашет поле и вдруг острым лемехом плуга подденет и вывернет из твердой земли трухлявый, подгнивший пень. Ладно выгнутый плужный отвал выбросит на черную пахоть рыжий прах древесного гнилья, а из откинутого в сторону разломанного пня вылетят осы. Со злобным жужжанием будут они виться над разоренным гнездом, будут, кружась в воздухе, яростно жалить работягу пахаря и наморенных, тяжело идущих коней. Уже далеко отойдет от этого места пахарь, уже ровные борозды прикроют остатки осиного гнезда, а хищные осы все еще будут бесноваться, жужжать, летать над полем, пока порыв степного ветра не унесет их от пахоты.

Точно осы из разоренного гнезда, носились по миру вышибленные революцией эмигрантские вожди. Они наводнили города Франции, Германии, Польши, Румынии, пробрались в Америку, в Китай, в Японию. Они еще командовали остатками армий, выступали со своими «программами», «платфор-

мами», «манифестами», требовали денег у заграничных правителей и готовились к вторжению в Россию.

В Копенгагене, как «гостья» датского королевского дома, доживала свои дни старая императрица Мария Федоровна. В распоряжении старухи оказались деньги, размещенные в свое время ее сыном Николаем в заграничных банках, и она тратила эти деньги на содержание «двора». У нее были свои «гофмейстеры», «гофмаршалы», «церемониймейстеры». Напудрив тощие плечи, затерев кремом старческие морщины, она появлялась на «аудиенциях», репетировала перед зеркалом «милостивую улыбку», а по ночам, сняв румяна и пудру, плакала, как простая баба, верила, что ее сын Михаил жив, что он въедет в Москву на белом коне.

По Европе разъезжали «претенденты на русский престол», великие князья Дмитрий Павлович и Кирилл Владимирович. Они публиковали «манифесты», росчерком пера «назначали» придворных, жаловали «генеральские» чины, как будто делали все, что полагается делать коронованным монархам, а в действительности забавлялись бессмысленной игрой.

В Италии, близ Генуи, поселился «верховный главнокомандующий», дядя казненного Романова, великий князь Николай Николаевич.

Он тоже ждал поворота судьбы, и у него были свои «сторонники», требующие, чтобы дряхлый князь «возглавил» Россию. Но князь был умнее своих племянников и внуков, он отмалчивался или ворчал в раздражении:

— Мы не должны, живя на чужбине, решать за русский народ коренные вопросы его государственного устройства...

Рассеянные по всем странам вчерашние генералы, бароны, «министры» двухнедельных «правительств», провалившиеся лидеры различных «партий», «блоков», «союзов» рыскали по миру, обивали пороги, клянчили, засылали в Россию шпионов, выпрашивали грошовые «субсидии» для борьбы с большевиками.

Были среди них и солидные денежные тузы, промышленники и фабриканты, успевшие заблаговременно вывезти из России огромные капиталы. Братья Рябушинские, Денисов, Нобель, Манташев, Лианозов, Чермоев, Третьяков — обладатели миллионов — жили в Париже на широкую ногу, снабжали террористов деньгами, строили планы уничтожения «сатанинского коммунизма».

По-иному жила масса насильно уведенных белых солдат и казаков, низших офицеров, женщин-беженок. Озлоблен-

ные, голодные, они расползлись по всем странам в поисках работы и куска хлеба. Кавалергарды и кирасиры, правоведы и чиновники устроились кельнерами, дворниками, лакеями, шоферами, грузчиками. Французский «Иностранный легион» в Африке был укомплектован русскими офицерами. На голландских, шведских, английских судах плавали матросами и кочегарами русские солдаты.

В этой массе потерявших родину, нищих и озлобленных людей оказался и муж Марины, брат Настасьи Мартыновны Ставровой, казачий хорунжий Максим Селищев. Полтора года он пролежал в новочеркасском госпитале с простреленным легким. Потом его увезли в Крым, а оттуда, когда разбитый красными Врангель уводил в Константинополь сто двадцать шесть русских пароходов, Максима взяли на плавучую мастерскую и вместе с другими отправили в Турцию.

Набитые беженцами пароходы бросили якорь в бухте Мод и подняли на мачтах французские флаги, отдавая себя в распоряжение командующего оккупационными войсками в Турции генерала Пелле.

На судах, уведенных Врангелем, находилось сто тридцать тысяч человек. Из них шестьдесят тысяч входили в состав армии и разделялись на три корпуса: Донской — в тридцать тысяч человек, Добровольческий — в двадцать тысяч и Кубанский — в десять тысяч. Остальные семьдесят тысяч человек представляли собой массу «гражданских беженцев» — помещиков, чиновников, священников с их семьями, донских и кубанских казачек с детьми и скарбом.

На Рю де Пера, одной из центральных улиц Константинополя, в здании бывшего русского посольства, где находился штаб генерала Пелле, вчерашний «правитель Юга России» барон Петр Николаевич Врангель продал Франции Черноморский флот, а вместе с флотом — стотысячную массу солдат и казаков.

Скоро в темных трюмах пароходов начались болезни, и всех солдат и казаков высадили в самых пустынных местах: Добровольческий корпус генерала Кутепова — на Галлиполийский полуостров, у входа в Дарданеллы, кубанцев во главе с их атаманом Науменко — на остров Лемнос, а донских казаков, с которыми находился Максим Селищев, — на Чаталджи, холмистую пустошь в пятидесяти километрах от Константинополя. «Купленные» у Врангеля русские пароходы были отправлены подальше от глаз людских — в отдаленный африканский порт Бизерту.

Двое суток высаживались донские казаки на Чаталджи.

Тут не было ни сел, ни деревень — только бурые с солончаковыми плешинами холмы и покинутые пастухами саманные овчарни без крыш. С моря дул холодный ветер, а с низкого свинцового неба безостановочно моросил пронизывающий осенний дождь.

Опираясь на костыль, Максим Селищев сошел с нарохода последним. Небритый, худой, с ввалившимися глазами, он тоскливо смотрел на мокрую чужую землю и не знал, куда идти.

— Чего стал, станичник? Пошли! — закричали справа.

— Приехали! — отозвались впереди. — Тут пам покажут, почем фунт лиха, не один раз родную мать вспомянем...

Максим побрел в ближнюю овчарню, наступая на ноги людям, протиснулся в сырой угол, сел и накрылся мокрой шинелью. Вокруг гомонили, ругались продрогшие люди, свирепо ревело море, над холмами завывал ветер.

Какой-то офицер сипло гудел над ухом Максима:

— Бригаде генерала Фицхелаурова приказано разместиться в Кабадже... это где-то под боком... Дивизии Калинина тоже повезло: ее повернули на станцию Хадам-Кей, там хоть дома есть... А нам везет как утопленникам... Я был в штабе. У Гусельщикова, говорят, люди ко всему привычные, нехай остаются в чилингирских овчарнях...

— Баранов из нас поделали, — угрюмо ввернул сосед.

— Бараны мы и есть, — произнес из темноты чей-то резкий голос. — Башку свою за них подставляли, а теперь околевать будем. А они, сволочи, на яхтах устроились, в три горла жрут и коньяк попивают.

— Э-э-эх! — зевнул кто-то. — Теперича бы в станицу, да к печи, да хлеба пшеничного с каймаком покушать...

— На, жуй морковку, французский паек, а про хлеб забудь...

Максим с тупым равнодушием слушал разговоры лежавших вокруг казаков и вспоминал потерянную навсегда Марину, дочку, которую он знал только по фотографии. «Где они сейчас? — думал он. — Как она жизнь свою устроит? Посчитает меня мертвым, замуж за кого-нибудь выйдет? Да я и вправду мертвый...»

Рядом с Максимом, присвистывая, храпел уснувший казак. Кто-то постукивал по голенищам, грел руки. А резкий, как ястребиный крик, голос раздался из темноты:

— Я хорошо знаю, как они живут. Наш атаман Богаевский и его супруга Надежда Васильевна загодя с Дона серебро за границу услали. Три тысячи пудов серебра... И ма-

монтовские вагоны Богаевский забрал, а в этих вагонах знаете сколько сокровищ! Золото с икон, чаши из старочеркасского собора, драгоценные вещи из войскового музея.

— Он, гутарят, и атаманский пернач золотой с собой возит, так, говорят, с перначом и спит, чтоб не украли.

— Да, и пернач возит, а в перначе чистого червонного золота одиннадцать фунтов, я сам его в руках держал...

Казаки вздыхали, зубоскалили, почесывались. Так прошла первая ночь, так проходили и другие ночи. Люди стали болеть тифом. Они десятками умирали, трупы их относили на холмы, наспех закидывали камнями.

Генерал Пелле доносил в Париж:

«Среди русских казаков наблюдаются заболевания заразными болезнями. Приняты надлежащие меры: казачьи лагеря опутаны проволокой и доступ к ним воспрещен...»

Такие «меры» были приняты союзным командованием. Выслушав рапорт атамана Богаевского о том, что «вверенные» ему донские казаки разлагаются и могут представить угрозу для Константинополя, генерал Пелле приказал перебросить их к кубанцам, на остров Лемнос, уже прозванный «островом смерти». К чаталджинскому берегу подошли два больших парохода.

— Слышь, ребята, нас на Лемнос погонят! — заволновались казаки. — Оттуда, говорят, ни один не вертается...

— Не ехать — и все! — загорланили самые буйные.

— Нехай генералы едут!

Войсковой старшина Мартынов, тот самый офицер с резким голосом, который рассказывал о Богаевском, собрал огромную толпу казаков, вскочил на камень и закричал:

— Не подчиняйтесь генералам, станичники! Они нас на смерть везут! Хватит, отмучились!

В это время, окруженный пьяными адъютантами, в чилингирский лагерь ворвался на автомобиле генерал Калинин.

— Митинг? — багровея, закричал он. — Большевики? Завтра же всех зачинщиков пустим в расход. Немедленно построиться для посадки на пароходы!

Он соскочил с автомобиля и, выкатив озверелые глаза, пошел на казаков. Навстречу ему шагнул высокий Мартынов в наброшенной на плечи шинели. Он взял генерала за погон, а правой рукой размахнулся и ударил по чисто выбритой щеке. Потом плюнул ему в лицо и тихо сказал:

— Катись, сволочуга. Это тебе за Чаталджи...

К лагерю с винтовками и ручными пулеметами бежали рослые стрелки-сенегальцы. Началась перестрелка. Мартынов, пользуясь суматохой, увел в холмы две тысячи казаков. Как узнали позже, мартыновский отряд с боем перешел греческую границу и был интернирован в Болгарии.

Оставшихся французы загнали на пароходы и увезли на остров Лемнос. В этой группе был и Максим Селищев. Он пристроился на палубе уже известного эмигрантам океанского парохода «Решид-паша». Немцы бросили этот пароход в Турции, а французы приспособили его для перевозки эмигрантов.

— Ну что, хорунжий, поехали? — кивнул Максиму чернобровый сотник Юганов в английском френче и крагах.

— Вроде поехали, — сумрачно ответил Максим.

Сотник присел на связку канатов, вздохнул:

— Несладко нам будет на Лемносе...

— Как будет, так и будет...

Когда «Решид-паша» вышел в море, казаки увидели на горизонте небольшой белый пароход. Он быстро шел навстречу, сияя иллюминаторами, надраенными медными поручнями, зеркальными стеклами, на мачте его развевался трехцветный русский флаг.

— Видал? — вскочил сотник Юганов. — Это «Лукулл», яхта нашего верховного, барона Врангеля. Барон всю Россию просадил, а русский флаг нацепил, фасон держит...

— Нет у людей ни стыда, ни совести, — поморщился Максим. — Казаков, которые воевали, везут, как голодную скотину, а этот паразит мимо плывет — и хоть бы что.

— А ты, хорунжий, хотел бы, чтобы генерал Врангель тебя в кают-компанию пригласил и шампанского с тобой выпил?

Максим сплюнул:

— На черта он мне нужен!..

Белоснежный «Лукулл», не сбавляя хода, прошел мимо набитого людьми огромного корабля и вскоре исчез в синеве моря. Лежа в трюмах и на палубе «Решид-паши», казаки лениво перебранивались, играли в карты, тихонько пели, а больше молчали, думая свою невеселую думу. Оторванные от родных станиц и хуторов, потерявшие семьи, они тупо покорились своей участи и надеялись только на чудо.

Такой же тупой покорностью был пришиблен и Максим, когда-то живой и веселый. Ему ни о чем не хотелось думать, никого не хотелось видеть. Он лежал на палубе, наки-

нув на себя шинель, слушал нудное плескание волн за бортом и смотрел на чужие звезды...

Когда рассвело, его окликнул знакомый усть-медведицкий урядник Шитов:

— Вставай, Мартыныч! Погляди, какой из себя Ломнóс, чи Лемнóс, чи как его, к бесу, именуют.

Максим поднялся, надел залежанную шинель, закурил сигарету.

«Решид-паша», покачиваясь, шел к берегу. Казаки стали сбегаться на верхнюю палубу, торопливо завязывали холщовые мешки, пожертвованные Красным Крестом.

Перед ними желтели мертвые, раскинутые по всему горизонту сыпучие пески.

2

По-иному сложилась судьба Юргена Рауха, молодого огнищанского помещика, который уехал в Германию с больным отцом и придурковатой, глухонемой сестрой Христиной. Раухи успели продать часть бродившей в степи овечьей отары, обменяли лежалое, пахнувшее прелью зерно на золотые и серебряные вещи и, надев крестьянские полушубки, пробрались в Минск. Оттуда ловкий контрабандист-галичанин переправил их в Польшу, а из Польши они уехали в Мюнхен, где проживал брат умершей госпожи Раух, богатый провизор, вдовец Готлиб Риге.

Юрген Раух почти не вспоминал о своем разоренном огнищанском гнезде. В последние годы он учился в Москве, редко бывал дома и потому мало думал о нем. И все же Юрген страдал. В далекой Огнищанке осталась Ганя Лубяная, девушка, которую он не мог забыть. Они вместе росли, часто встречались на деревенских посиделках. В ночь перед отъездом, предупредив отца, Юрген побежал к Лубяным и на коленях просил отпустить Ганю в Германию. Ее отец, Кондрат Лубяной, хмуро посмотрел на Юргена, открыл дверь и сказал с глухой угрозой: «Иди, барин, пока жив. Нам с тобой не по пути...»

Всю дорогу Юрген молчал. Высокий, рыжий, с крепкими веснушчатыми руками, он сидел на вагонной лавке, обняв колени, вслушивался в постукивание колес на стыках или спал целыми днями, прислонив голову к дорожному мешку. Неунывающая Христина — она была на пять лет моложе брата — беззаботно подвывала какую-то песню, глупо таращила выпуклые глаза на каждого пассажира и раздражала

Юргена своим грубым кокетством. Толстый отец неподвижно лежал на нижней полке вагона, прижимая к груди голубую коробку с надписью «Жорж Борман». В коробке было золото — все, что оставалось у Франца Рауха и его детей.

Когда поезд приближался к Мюнхену, старый Раух подозвал сына, притиснул его в углу и проворчал тихо:

— Дяде Готлибу не говори об этой коробке... Надо ее спрятать, чтоб никто не знал...

— А Христина не скажет? — равнодушно осведомился Юрген.

— Что ты, — отмахнулся старик, — она ничего не понимает...

Говорили они по-русски. Юрген тревожно всматривался в толстое небритое лицо отца, слушал его сиплое дыхание и думал тоскливо: «Не выдержит он, совсем извелся, даже заикаться стал...»

На мюнхенском вокзале они стояли растерянные, подавленные, и им казалось, что каждый баварец будет смеяться над их жалким видом. Но людям не было никакого дела до трех провинциалов с дорожными мешками; все они торопились куда-то, хмуро глядя в землю и надвинув на брови темные шляпы.

Дядя Готлиб встретил родственников в конце перрона. Маленький, розовый, с седым клинышком бороды, с золотым пенсне на крупном носу, он кинулся навстречу, прижал к сердцу руки в палевых перчатках и забормотал растроганно:

— Бог мой... бог мой!.. Дорогой мой Франц... милые дети...

Пока молчаливый извозчик на гнедой лошади вез их к площади Одеон, старый Раух, дурно и медленно выговаривая немецкие слова, говорил шурину.

— Мы все потеряли, Готлиб. Огнищанские разбойники ограбили нас до нитки. Они забрали у меня землю, скот, машины, мебель. Они выгнали меня из моего дома и заставили два года ютиться в мужицкой конуре... Да, да... Вчерашние мои батраки предъявили мне приказ Ленина и в один час сделали нищим.

Дядя Готлиб понимающе кивал головой, жалостно причмокивал и, скосив глаза на извозчика, шептал:

— У нас тоже не сладко... Императора больше нет, ты знаешь, кронпринца тоже нет, никого нет. Есть бунты, есть голод и смута, больше ничего.

Он положил маленькую руку на плечо зятя:

— Ты думаешь, я не знаю, что такое советская власть?

Хе-хе... Отлично знаю... Три года тому назад, когда начался бунт моряков и вспыхнули восстания в Киле, Гамбурге, Бремене, сумасшедший Курт Эйснер провозгласил у нас в Баварии эту самую... советскую республику. Хорошо, что нас сравнительно быстро избавили от этого Эйснера...

Дядя Готлиб жил в переулке близ площади Одеон, в собственном доме-особняке. Внизу помещалась большая аптека, а на втором этаже, в роскошно обставленной квартире, жили дядя Готлиб с сыном и престарелая экономка, хорошо знавшая покойную госпожу Раух, мать Юргена и Христины.

Чинная, тощая, в белоснежном переднике и крахмальной наколке, экономка открыла дверь, молитвенно сложила сухие, жилистые руки и закричала деревянным голосом:

— Ах, бедная госпожа Матильда... бедный господин Раух!.. Я надеюсь, что вы привезли из России хотя бы один седой локон моей госпожи!

— Довольно, Роза, — перебил экономку дядя Готлиб. — Приготовь гостям ванну и скажи Конраду.

Экономка обиженно поджала губы.

— Ванна скоро будет готова, а Конрад ушел куда-то, сказал, что вернется через час...

Сидя в теплой ванне, тихонько взбалтывая зеленоватую, с сильным запахом соснового экстракта воду, Юрген с наслаждением осматривал белые кафельные стены, лохматые полотенца на никелированных крючках, аккуратно разложенные на полочках мыльницы, губки, тюбики с пастой и, как кошмарное сновидение, вспоминал страшный путь от Огнищанки до Мюнхена. «Неужели все это позади? — думал он, потягиваясь. — Неужели больше не будет подлого страха, вшей, голодных старух и пожаров? Неужели навсегда исчезли вокзальные нужники, трупы, обыски, проклятый запах карболки?» Он яростно намылил голову, окунулся и забормотал, отфыркиваясь:

— Конечно, все это в прошлом: большевики, Россия, Огнищанка, Ганя...

Что-то тупо сжало его сердце.

— Да, да... и Ганя...

С чувством умиления и жалости к самому себе Юрген подумал о своей странной привязанности к этой деревенской девушке. Он вспомнил, как однажды на посиделках полушутя отрезал у Гани небольшую прядь волос. Отворачиваясь от парней, но так, чтобы видела Ганя, он прижал тогда отрезанную прядь к губам и сказал девушке: «Это для меня дороже жизни». Говорил он вполне искренне, но сам в глу-

бине души восхищался и любовался собой: вот он, интеллигентный состоятельный молодой человек, полюбил простую девушку-крестьянку и пронес эту трогательную любовь через все испытания жизни! Прядь белокурых Ганиных волос — вначале они пахли мятой — он вложил в золотой материнский медальон-сердечко и с тех пор не расставался с этим медальоном.

«Нет, я никогда не перестану любить Ганю, — растроганно подумал Юрген, смывая с себя мыльную пену, — я буду верен ей до смерти...»

Он вылез из ванны, вытерся жесткой простыней, надел чистое белье, приготовленный экономкой чужой костюм и вышел покурить в отведенную ему комнату. Не успел он вложить в мундштук польскую сигарету, как в дверь постучали.

— Да! — крикнул Юрген.

В комнату ворвался невысокий юноша, одетый в отлично сшитый пиджак, серые военные бриджи и желтые краги. Юноша был коротко острижен, глаза его щурились, а рот улыбался, обнажая темные зубы.

— Кузен Юрген? — закричал юноша. — Давай знакомиться. Конрад Риге, бывший фельдфебель, а сейчас безработный солдат свободной немецкой республики.

Он потряс руку Юргену, ударил его по плечу и захохотал, покачивая головой:

— Что, кузен? Ищешь спасения от диктатуры красных варваров? Думаешь в фатерлянде обрести счастье? Напрасно! Тут народ тоже как на иголках сидит. Жрать нечего, править некому, а победители грабят нас почище, чем вас грабили большевики.

— Как некому править? — удивился Юрген. — А президент Эберт?

Конрад пожал плечами:

— Эберт? Этот надутый шорник и трактирщик? Правда, он с помощью старых офицеров лихо придушил красных, но разве стране нужна сейчас эта социал-демократическая икона? Нет, кузен, трусливые выкормыши этой партии не спасут Германии. Нам нужен немецкий Наполеон!

Он походил по комнате, посвистывая, потом снял с этажерки и протянул Юргену портрет молодого долговязого генерала в пенсне:

— Вот. Мы думали, этот спасет. Кронпринц Вильгельм. Не вышло. Его изгнали из Германии. Знаешь, где он теперь? В Голландии, в деревушке на острове Веринген, в

Зюдерзее. Его везли туда на разбитой колымаге, пахнущей прелой кожей и рыбьим жиром.

Конрад презрительно бросил портрет на подоконник.

— Теперь он учится кузнечному ремеслу, и американцы туристы дают по тридцать гульденов за каждую выкованную им подкову... Не слишком высокая цена для германского кронпринца.

— Д-да, — кивнул Юрген, — жалкая цена и жалкая судьба.

Помолчав, Конрад наклонился к Юргену:

— Ничего, кузен, мы не теряем надежды... Вечером я сведу тебя в «Гоффброй» и познакомлю кое с кем. Правда, нас еще очень мало, но за нами будущее...

Он пожал Юргену руку.

— Вечером ты увидишь сам...

За обедом, как это обычно бывает после долгой разлуки, дядя Готлиб и старый Раух предавались грустным воспоминаниям. Попивая кофе, они говорили о покойной госпоже Раух, о совместных поездках в Женеву и Вену, о пропавшем огнищанском богатстве. Христина жадно ела изготовленные Розой штрудли, встряхивала белокурыми волосами, ласково мычала и посматривала на сидевшего рядом с ней Конрада. Он посмеивался и отодвигал стул.

— Хороша у нас сестренка, — моргнул он Юргену.

Юрген кисло улыбнулся:

— Она не выносит общества мужчин.

— То есть?

— Сразу влюбляется...

Попивая крепкий кофе, дядя Готлиб задумчиво говорил Рауху:

— Ваша русская революция расколола весь мир... Я старый социал-демократ, но мне ни разу не приходилось видеть в нашей партии такого разброда. Ведь дошло до того, что многие социал-демократы стали большевиками. Разве это возможно?

— У вас все возможно! — нагло перебил Конрад. — Вы собственной тени боитесь, и по вашей вине Германия превратилась в ничто.

Он криво усмехнулся:

— Па-а-ртия! Слизняки. Перед кайзером вы лебезили, лакейски прислуживали ему, а сами исподтишка подтачивали трон. Теперь вы продаете страну отцов версальским разбойникам, заигрываете с рабочими, а по ночам расстреливаете их за большевизм... Медузы вы, а не социал-демократы!

— Выпей вина, Конрад, — миролюбиво сказал дядя Готлиб. — Ты напрасно нервничаешь. Не забывай, что в нашей партии состоят Густав Носке, Филипп Шейдеман. Это могучие столпы демократии.

Конрад качнул стул и захохотал:

— Столпы демократии! Слизняки они, а не столпы. Предатели!

Выдернув из-за воротника салфетку, дядя Готлиб повернулся к Рауху и проворковал, удивленно подняв кустики седых бровей:

— Вы что-нибудь понимаете, Франц? Все нас ругают предателями. Сторонники кайзера обвиняют нас в измене. Красные говорят, что мы предали рабочих. Кто же из них прав?

— И те и другие, — издевательски сказал Конрад, — потому что вы давно превратились в кучку жалких предателей. Проклятые версальские мародеры кожу сдирают с немцев, а вы только расшаркиваетесь перед ними...

Старый Раух не вмешивался в разговор. Он сопел, лениво раскатывал на скатерти темный хлебный мякиш и тупо смотрел на него сонными глазами.

— Вы нездоровы, Франц? — участливо спросил его дядя Готлиб.

— Да, я, кажется, нездоров, — буркнул Раух и поднял на ладони примятый хлебный шарик. — Я вот смотрю на ваш хлеб, — сказал он тихо. — Разве это хлеб? Тут много лебеды. С таким хлебом победить нельзя... Видно, Германия разорена не меньше, чем Россия...

Стул под ним скрипнул, Раух поднялся и проговорил устало:

— Если можно, я пойду спать. Проводи меня, Готлиб.

После обеда Конрад приказал Розе заняться Христиной, надел пальто, закутал шею красным шарфом.

— Пойдем, Юрген.

В большом зале пивной «Гофброй», куда они вошли, густым облаком висел сизый табачный дым. За круглыми столиками, потягивая из кружек горькое пиво, сидели офицеры без погон, рабочие в темных комбинезонах, проститутки с ярко накрашенными ртами. Со всех сторон слышались хриплые голоса, стук кружек, звон посуды. Между столиками, как тени, беззвучно мелькали кельнеры в белых пиджаках и галстуках. Хромой старик в шляпе, стоя у окна, монотонно вертел шарманку, извлекая из нее негромкие, то лающие, то всхлипывающие звуки.

Конрад с Юргеном разыскали свободный столик и заказали две кружки пива.

— Я бываю тут почти каждый день, — сказал Конрад, — потому что только тут я слышу и вижу настоящих людей...

Юрген пил кружку за кружкой и стал быстро хмелеть. Он курил, прихлебывая пиво и вспоминая навеки оставленную Огнищанку, голубой пруд, Ганю, которая шла по берегу пруда, разбрызгивая воду смуглыми ногами.

Вдруг Конрад сильно сжал кисть его руки:

— Смотри!

У соседнего столика остановился человек в сером солдатском плаще. У него были темные, причесанные набок волосы, нервное лицо, оловянно-тусклые глаза с тяжелыми веками. Он тронул ладонью резко подбритые усы над жесткими губами и хрипло закричал:

— Господа! Одну минуту! Послушайте, что я вам скажу о судьбах униженной, замученной, распятой Германии. Я не оратор, не прорицатель... Я только первый барабанщик национальной революции...

— Кто это? — удивленно спросил Юрген.

— Тот, о ком я говорил, — восторженно ответил Конрад. — Ефрейтор Адольф Гитлер...

3

Старый одноухий волк брел по снежному полю. С утра потеплело, снег обмяк, чуть подтаял на бугорках, и на непаханом поле обнажились клочки мерзлой земли. Волк много часов шел по следу зайца-подранка. У зайца была перебита левая передняя лапа, он с трудом волочил ее, оставляя на снегу едва заметную вмятину и капли крови. Влажный снег быстро вбирал кровь, она теряла цвет, неясно бурела ржавыми пятнами, но и от этих пятен сквозь запах земли и влаги пробивался солоноватый, манящий запах крови, и волк, часто наклоняя лобастую голову, принюхиваясь, трусил по следу мелкой рысцой.

Заяц бежал все дальше и дальше. Он огибал густые кусты терновника, длинными скачками несся по мелколесью, на мгновение останавливался — в этих местах кровь дольше сохраняла запах и цвет, потом скакал дальше через забитые кураем лощины, сломанные ветром бурьяны, окаймленные заледенелой кугой озерные берега. Волк лизал кровяной след, бестолково кружился по заячьим петлям, жалобно, по-старчески скулил.

На краю утонувшего в снегу березового перелеска волк вдруг увидел собаку. Это была бездомная сука, рыжая, с черно-седым чепраком и лохматым обрубком хвоста. Сгорбившись, ощетинив шерсть, она кромсала зайца. Волк остановился неподалеку, выжидая. Сука раза два зарычала, но не оставила добычу. Она проглотила заячьи внутренности, худую хребтину сожрала вместе с шерстью, потом, перемалывая крепкими зубами кости, покончила с лапами, с головой и побежала к деревне, не оставив волку ничего.

Опасливо оглядываясь, сука покружила возле околицы и остановилась у крайней хаты. Это была глинобитная землянка деда Силыча.

Дед сидел на пороге, строгал палку. Возле него крутились ставровские ребята Андрей и Ромка.

— Гляньте, собака! — рванулся Андрей. — Чья это? У нас в деревне ни одной не осталось...

— Э, да это, кажись, барина Рауха, — прищурился дед Силыч. — Как они уехали, она в усадьбе осталась, а потом сбежала.

— Куда сбежала? — спросил Ромка.

Дед развел руками:

— А господь ее знает! Должно быть, в лес или же в поле, пропитание себе добывать. Цельный год где-то пропадала.

— Давайте поймаем и возьмем себе, — встрепенулся Андрей. Он схватил деда за плечо: — А как ее зовут, не знаете?

— Нет, Андрюха, не знаю, не запомнил, стало быть. У нее какое-то такое прозвание было: чи Тузя, чи Кузя...

Причмокивая, призывно похлопывая по бедрам, Андрей медленно пошел к собаке. Дед Силыч и Ромка следили за ним: дед — посмеиваясь, Ромка — широко раскрыв глаза.

— Ты не дюже, не дюже! — предостерегающе закричал дед. — Напужаешь ее — она и кинется дуром.

Андрей остановился, присел на корточки и позвал тихонько:

— Кузя! Кузенька! Кузя!

Собака подняла уши, слегка попятилась, шевельнула куцым хвостом.

— Не бойсь, Андрюха, не бойсь, — сказал дед, — мани ее поласковей. Кажная животина ласку любит.

Осторожно продвигаясь вперед, Андрей не сводил глаз с собаки и все приговаривал, умоляя:

— Ну, Кузенька... ну, дурочка... иди же ко мне, иди, Кузенька...

То ли в одичалой собачьей душе сладко заныло что-то забытое, то ли она узнала родные места, но собака вдруг припала к земле и, глядя снизу вверх покорными глазами, подползла к Андрею и ткнула ему в колени рыжую морду. Он робко прикоснулся к ее шее, почесал за ухом и сказал властно и радостно:

— Пойдем, Кузя!

И она пошла за ним к землянке.

— Ну чего ж, дорогие гости, пожалуйте в хату, — тоненько засмеялся дед Силыч.

Кое-как слепленная из глины, дедова землянка давно покосилась на один бок, ее земляная крыша заросла бурьяном, но единственное окошко, сияя протертыми стеклами, бойко смотрело на мир, отражая снежные сугробы и увешанную сосульками старую березу, с которой медленно падали капли талой воды.

В низкой землянке стоял крепкий запах дегтя, дыма и сушеных трав. Пучки трав висели на стенах, лежали на печке, на сундуке. В углу стояло ржавое одноствольное ружье. На лавке у окна были разложены сапожные ножи, дратва, коробочки с деревянными шпильками. Несмотря на то что дед Силыч жил один, глиняный пол тесной землянки был чисто выметен, приземистая печь истоплена, а на подоконнике красовались вымытая до блеска щербатая глиняная миска и деревянная ложка.

Андрей и Ромка в последнее время все чаще убегали к деду: с ним было весело и как-то необычайно просто и хорошо.

— Чего ж мы теперь будем делать с собачкой? — горестно сказал Силыч, входя в землянку. — Она же святым духом не насытится, ей, животине, питание требуется.

Собака робко заглянула под лавку, прошлась по землянке, понюхала траву на сундуке и уселась у печки, поблескивая умными, спрятанными в лохматой шерсти глазами. Люди как будто не собирались сделать ей ничего плохого, и она доверчиво ожидала их решения, повиливая куцым хвостом.

— Может, она сама будет охотиться? — высказал предположение Ромка. — Ее ведь никто не кормил, а она живая...

— Это правильно, — кивнул Силыч, — а только ее сперва пригреть надо, чтоб она хозяина своего знала.

Кряхтя и покашливая, он отодвинул печную заслонку, вытащил ухватом чугунок, разыскал под лавкой ведро и налил туда буро-зеленой жижи из закоптелого чугунка.

— Похлебай супа, бродяга, — ласково сказал он собаке.— Суп хотя и вчерашний, да, может, ваша милость откушает его, в нем травка есть, и корешки положены, и диким чесноком он сдобрен — самое господское кушанье...

Собака сунула голову в ведро и, не желая обидеть старика, от которого хорошо пахло овчиной и пóтом, вежливо хлебнула теплой бурды.

— Не по нраву ей наш суп, — сокрушенно проговорил дед, — должно быть, в трактире поела или же на свадьбе гуляла.

— Давайте отведем ее к нам! — нетерпеливо воскликнул Андрей.

Силыч лукаво подмигнул ему:

— А чего папаша твой скажет, Митрий-то Данилыч? Привели, скажет, лишний рот. Тут, мол, людям есть нечего, а они еще здоровенную собаку приволокли...

Так оно и случилось. Когда дед с ребятами и собакой вошли во двор, Дмитрий Данилович вышел из сада в накинутом на плечи полушубке и, увидев собаку, сердито сдвинул брови:

— Что это?

— Это собака вернулась, которая тут жила, — виновато глядя в землю, объяснил Андрей. — Ее зовут Кузя, она голодная...

— Во-во, голодная! — крикнул Дмитрий Данилович. — Уберите ее к черту! Сами на свекле сидим, а вы с собаками лезете!

Поглядев на мальчишек, на притихшую Кузю, дед Силыч тряхнул бороденкой, вздохнул и сказал коротко:

— Не злобствуй, Данилыч. Ребятки твои от сердца животину пожалели. Радоваться надо, что у них душа не захолонула, а ты злобствуешь. Да и сучка умнющая, я ее знаю, она добрым сторожем тебе будет. Ты на краю живешь, до леса рукой подать, а в лесу, сам знаешь, всякая сволочь хоронится. Тебе без собаки никак невозможно.

— А кормить ее чем? От себя отнимать последнюю крошку?

— Она сама себя прокормит, — заверил Силыч. — Я эту сучонку знаю: когда баре ее бросили без пропитания, она с полгода в поле да по лесам блукала.

Дмитрий Данилович раздраженно махнул рукой:

— Ладно, черт с ней! Все равно кормить ее нечем. Околеет — значит, туда ей и дорога.

Андрей и Ромка, поняв слова отца как разрешение, кинулись в сарай, нагребли остатки соломы, соорудили под террасой теплое логово и уложили туда собаку.

— Так-то оно лучше, — одобрительно сказал Силыч. — И собачка хату себе нашла, и ребята довольны, потому что душа у них еще не засохла, жалостью теплеет...

4

Дмитрия Даниловича раздражало то, что делалось в его семье. После отъезда в Москву Александр прислал большое письмо, в котором откровенно писал, что полюбил Марину и просит поберечь ее. Это не понравилось Настасье Мартыновне. Она все еще верила, что брат Максим вернется, и часто упрашивала Марину терпеливо ждать его возвращения. Письмо Александра обозлило Настасью Мартыновну, и она накинулась на мужа, как будто он был виноват в этом.

— Ваша, ставровская порода! — со слезами кричала Настасья Мартыновна. — Вы все одним миром мазаны! Не успел твой брат появиться, как вы уже похоронили Максима, сразу же свадьбу готовы сыграть.

— Ка-а-кую там свадьбу? — вспыхнул Дмитрий Данилович. — Чего ты мелешь?

— Как чего? Пока Александра не было, Марина каждый день вспоминала Максима, думала о нем, ждала, а теперь все забыла, только об Александре и думает. Дочки и той не стыдится. А Тайка уже все понимает.

— Я-то тут при чем?

Настасья Мартыновна всхлипнула в платок:

— Все вы такие... Ни чести, ни совести у вас нету... А на Марину я теперь смотреть не могу...

Так искреннее письмо Александра вдруг внесло в ставровскую семью тяжелый разлад. Дмитрий Данилович попытался было примирить жену с Мариной, но обе они отсиживались в разных комнатах, а когда сходились у обеденного стола, почти не разговаривали, только сердито покрикивали на ребят.

Встречи у стола подливали масла в огонь. Есть было нечего. Изредка Настасье Мартыновне удавалось что-нибудь обменять или выпросить, да время от времени приносил свою скудную зарплату натурой Дмитрий Данилович. Зарплату

выдавали в волисполкоме, и состояла она из полутора десятков кормовых бураков, нескольких тощих картофелин и горсти пшена. Марина дважды ходила по хуторам, меняла последние вещи, но вскоре менять стало нечего, и она решила покинуть ставровскую семью.

— Знаешь, Митя, —сказала она Дмитрию Даниловичу,— я больше так не могу. Мы с Таей отрываем у вас последний кусок, он нам в горло не лезет. Помоги мне устроиться где-нибудь, поговори в волисполкоме. Нельзя же так!

Дмитрий Данилович пытался остановить Марину:

— Куда ты пойдешь? Сама видишь, что творится кругом. Люди мрут десятками. Надо нам вместе пережить это тяжелое время.

— Нет, Митя, я не могу, — отворачивалась Марина. — Пока у меня были свои вещи, можно было терпеть, а сейчас...

Она упросила Дмитрия Даниловича поговорить о ней с председателем волисполкома Долотовым.

— Ладно, как буду в волости, поговорю, — хмуро пообещал Дмитрий Данилович.

Ему было жаль и жену и Марину, было неприятно, что между женщинами начались нелады, и он, злой и раздраженный, с утра до ночи просиживал в амбулатории, готовя по своим несложным рецептам лекарства.

Как-то в амбулаторию забрел дед Силыч. Он постоял у порога, осмотрелся, подошел ближе к покрытому белой клеенкой столу.

— Что у вас? — буркнул Дмитрий Данилович. — Раздевайтесь!

Силыч почесал бороденку желтым, обкуренным пальцем.

— Я до тебя, Данилыч, по другому делу. Раздеться, конечно, можно, да это лишнее. Я насчет лекарства хочу поговорить.

— Какого лекарства?

Дед присел на кончик низкой кушетки и заговорил, посматривая па фельдшера сощуренными глазами:

— Мало начальники из волости лекарства отпускают. Не хватает тебе лекарства, а людей надо лечить. Вот, значит, я и хочу совет тебе подать: возьми у меня травы, лечи травами. Я ж не знахарь и не колдун, чего же мне секреты от тебя иметь? А в травах я, к слову сказать, разбираюсь. Все чисто могу тебе объяснить, какая от какой болезни помогает...

Силыч пересел на табурет поближе к Дмитрию Даниловичу, развернул узелок и стал выкладывать на стол травы.

— Вот, возьми, к примеру, горицвет. Он тебе и от кашля поможет, и от коликов, и от детского родимца... Или же, скажем, чистотел, чистец по-нашему. Им золотуху можно лечить, чесотку, лишаи, даже язвы дурной болезни. Кажная травка, мил человек, свою пользу имеет, только ее знать надо. Вот, скажем, чебрец. Он у вас по-культурному богородичной травой называется. Ты думаешь, чебрец даром в ладанках носили в старину? Он ведь свою помощь оказывает — и от грудной боли, и от зубов, и от всякой женской болезни. Ты бери, не сумлевайся, я тебе все советы подам, какие надо. Ты только записывай, что к чему.

— Спасибо, Иван Силыч, — сказал Ставров, — лечебная сила трав медицине известна. — Он посмотрел на Силыча, удивляясь: откуда в этом тщедушном старике такая любовь к людям, такое любопытство и жалость ко всему живому? Ведь он, должно быть, прожил очень нелегкую жизнь, а вот поди же!

— Так ты не сумлевайся, — повторил Силыч, поднимаясь с кушетки, — у меня этой травы полная хата, я и людей и скотину не хуже твоего лечу. Бери у меня чего хочешь и помогай людям, а то теперь в кажной хате больной...

Через несколько дней в амбулаторию зашел председатель сельсовета Илья Длугач. Голова его была замотана клетчатым женским платком, он морщился и кряхтел.

— Выручай, товарищ фершал, — попросил он. — Проклятое ухо вконец замучило, хоть на стенку лезь... Понимаешь, будто кто швайкой тебе ухо буровит, прямо спасения нету...

Пока Дмитрий Данилович вливал ему в ухо прогретое камфорное масло, Длугач сообщил, что минувшей ночью в кустах, на поляне, нашли двух убитых пустопольских комсомольцев.

— Их посылали в уезд, — сказал Длугач, — а в кустах бандиты засели и побили обоих. Кровищи на снегу по всей поляне... Видно, таскали их, гады, мучили, обухом били.

Он помолчал и добавил, понизив голос:

— Бандиты приехали на санях. Один санный след уходит в Пустополье, а другой — в Костин Кут.

— Ну и что же? — вскинул брови Дмитрий Данилович.

— Остановку они сделали возле двора Устиньи Пещуровой. Там конский помет видать под воротами, сено раструшено. Устинья эта самогоном занимается. Она себе прошлый год мужика в примаки взяла, по фамилии Острецов. Ничего

парень, из демобилизованных. Так этот Острецов заявил, что ночью действительно к Устинье приезжали за самогоном какие-то трое. Взяли, говорит, четверть самогона и уехали в направлении села Волчья Падь.

— И санный след туда ведет? — спросил Дмитрий Данилович.

— Да уж Острецов брехать не станет, — махнул рукой Длугач, —и санный след на Волчью Падь ведет, все честь по чести. Два следователя из Чека тут были, глядели. А только возле Волчьей Пади сани на широкий шлях свернули, и там след их пропал.

Дмитрий Данилович аккуратно забинтовал голову Длугачу и сказал уверенно:

— Значит, единственной ниточкой для следствия остается эта ваша самогонщица.

— Совершенно правильно, — согласился Длугач. — Следователи ее арестовали и сегодня увезли в уезд, в Чека. Там будут разбираться...

В то самое время, когда Илья Длугач разговаривал с Дмитрием Даниловичем, сожитель арестованной Устиньи, Степан Острецов, дожидаясь председателя, стоял возле сельсовета и вполголоса говорил молодому, закутанному в башлык парню:

— Одним духом скачи к Пантелею Смаглюку. Пусть соберет людей и догонит сани. Пусть перережет им дорогу возле Кривой балки и ликвидирует всех до одного!

— А Устинью как? — посчитал нужным спросить парень в башлыке.

— Я же сказал — всех до одного, — жестко повторил Острецов. — Чтобы ни один не ушел!

— Подводчиком для них наряжен наш человек.

— Все равно. Не должен уйти ни один. Ступай...

Когда Илья Длугач вернулся в сельсовет, Острецов спокойно сидел на крыльце, покуривал цигарку. Он посмотрел на председателя светлыми глазами и сказал, усмехаясь:

— А я тебя жду, Илья Михайлович.

— Чего тебе, Степан? — спросил Длугач.

— Да все насчет жинки, — тряхнул головой Острецов. — По-моему, напрасно ее взяли. Она виновата только в том, что варила самогон. Ну и оштрафуйте ее за самогон. А зачем же арестовывать?

— Разберутся — выпустят, — сказал Длугач.

— Я знаю, что разберутся. Хочу только передачу ей по-

слать, а то вернется — будет ругать. Такой-сякой, скажет, год у меня прожил, а как меня забрали, не вспомнил...

Острецов долго просидел в сельсовете. Он рассказывал Длугачу о Буденном, о боях под Варшавой, курил, угощал Длугача папиросами и под конец сказал:

— Думаю в партию вступать, товарищ Длугач. Понимаешь, неудобно как-то получается: красным командиром был, кровь проливал за революцию, а теперь обзавелся своим домком и вроде забыл про все. Некрасиво.

— Ну что ж, подавай, товарищ Острецов, заявление, — кивнул Длугач. — Ты человек сознательный, культурный, мы разберем.

Простившись с председателем, Острецов ушел. Он шел медленно, сунув руки в карманы, останавливал по дороге знакомых огнищан и подолгу разговаривал с ними. Ему надо было, чтобы все видели его и знали, что он, Степан Острецов, дома и по виду спокоен.

В этот день у Кривой балки, между деревней Калинкино и городским шоссе, вооруженная карабинами и ручными пулеметами группа всадников напала на сани, в которых два следователя ЧК везли арестованную костинокутскую самогонщицу Устинью. Оба следователя, Устинья и подводчик Семен Петров были убиты. Их тела свалили в сугроб и засыпали снегом. Кони с пустыми санями долго блуждали в поле, а через несколько дней их доставили в огнищанский сельсовет.

5

Вернувшись из амбулатории, Ставров застал дома суматоху. Настасья Мартыновна, стоя у плиты, пекла оладьи из кукурузной муки, гремела ведрами и тарелками. Марина, отодвинув стол в угол, гладила на нем свое только что выстиранное и слегка просушенное у печки белье. Она раскраснелась, волосы ее растрепались и кудрявыми прядями падали на лицо.

— Когда ты думаешь ехать? — спросил Дмитрий Данилович.

— Как управлюсь, — вздохнула Марина. — Мне соседка сказала, что послезавтра в Пустополье поедет Острецов, я хочу сбегать в Костин Кут и попросить, чтобы он взял меня с собой.

Близкий отъезд Марины как будто примирил женщин. Они мирно разговаривали друг с другом, собирали необхо-

димые вещи, сели вдвоем штопать белье. Когда дети улеглись — все они спали на печи, — а Дмитрий Данилович сел за свой «Фельдшерский справочник», Настасья Мартыновна виновато тронула Марину за локоть:

— Ты не обижайся, Марина. Я ведь тебе зла не желаю. Мне только Максима жалко. Может, он еще жив, может, вернется...

Марина помыла голову и сушила у печки волосы, перебирая их пальцами. Она исподлобья глянула на золовку:

— Я за Александра замуж не собираюсь.

— Разве дело в замужестве? Довольно того, что он тебе нравится. А я вот смотрю на Таю, и у меня сердце кровью обливается. Если Максима нет в живых, тогда уж ничего не сделаешь. А если он вернется? Какой будет ваша жизнь?

— Нет, Настя, Максим не вернется, — сказала Марина.— Если бы он был жив, я хоть словечко от него получила бы.

Она помолчала, уложила волосы, вытерла таз и села поближе к Настасье Мартыновне.

— Ты присматривай за Таей, Настя. Мальчишки растут, и она уже вытянулась. Сама знаешь. Надо ее держать в руках. Я буду приезжать к вам, но это не то. Тае нужен материнский глаз...

Они проговорили почти до рассвета. Утром Марина оделась и пошла в Костин Кут попросить Острецова взять ее в Пустополье. Она уже слышала о страшной смерти Устиньи (трупы убитых у Кривой балки разыскали в сугробе на шестой день) и с неохотой шла к Острецову, зная, что ему не до разговоров.

Острецов встретил ее хорошо. Все эти дни он держался на людях, ходил опустив голову, о покойнице почти не вспоминал, и все видели, что он тяжело переживает гибель Устиньи.

Пообещав Марине заехать и взять ее с собой, он сказал, подвигая ей табурет:

— Посидите немного, Марина Михайловна. Вы же знаете, какое у меня горе. Вот сижу тут, как в клетке, не с кем словом перекинуться.

Марина присела. Заложив руки за спину, Острецов заходил по комнате.

— Устеньку даже похоронить не дали, — сумрачно бросил он, — увезли в город для вскрытия и где-то там похоронили...

— А убийц так и не нашли?

— Нет, — угрюмо взглянув на нее, сказал Острецов, —

никаких следов. Все окрестные деревни обыскали, леса прочесали дважды, город взяли под наблюдение — ничего.

— Как же вы теперь жить думаете?

Он остановился возле нее, неожиданно усмехнулся и сказал почти весело:

— Может быть, в монастырь уйду, замаливать тяжкие грехи, а может, меня еще полюбит какая-нибудь красавица вроде вас...

Марине стало не по себе. Она поднялась, завязала платок, смущенно опустила глаза:

— Нет, Степан Алексеевич, я вас не полюблю.

— Я знаю, — засмеялся он. — Это просто шутка. На душе кошки скребут, вот и хочется иногда пошутить...

На следующее утро он, как обещал, заехал за Мариной. Она засуетилась, наскоро увязала свой потертый чемоданчик, взяла узелок с бельем, прижала к себе Таю, заплакала. Ставров с детьми вышли проводить ее к воротам, окружили маленькие сани-козырьки, в которые были впряжены раскормленные Устиньины мерины. Марина села в сани, простилась со всеми, еще раз поцеловала Таю. Кони, круто сгибая шеи, рывком тряхнули легкие санки, размашистой рысью помчались прямо через сугробы.

Почти всю дорогу Острецов молчал. Пошевеливая вожжами, он смотрел на покрытые снегом поля, на темнеющие вдоль балок кустарники и думал о чем-то. Только перед Пустопольем, швырнув в снег докуренную папиросу, он повернулся к Марине и сказал, зевая:

— Надоело мне все. Вот еду в волисполком, пусть принимают Устиньино имущество. Зачем оно мне? Я себе место найду.

— Разве вы хотите уехать из Костина Кута? — спросила Марина.

— Пока нет, а там видно будет...

В Пустополье они распрощались. Марина пошла в школу, разыскала Ольгу Ивановну Аникину, и та проводила ее в маленькую комнатушку рядом с учительской.

— Временно поместитесь тут, — сказала Ольга Ивановна, радушно обнимая новую учительницу, — а потом найдем вам что-нибудь получше.

Через два часа, не успев привести себя в порядок, Марина отправилась на заседание школьного совета.

Острецову в волисполкоме сказали, что по закону Устиньино имущество должно перейти к наследникам, а если

наследники не объявятся, то Огнищанский сельсовет займется вопросом об этом имуществе.

После полудня Острецов заехал к отцу Ипполиту. Тот встретил его как самого дорогого гостя. Моложавая толстая матушка быстро накрыла на стол, принесла мелко нарезанное сало, соленые огурцы, самогон. Пообедав, Острецов и отец Ипполит прошли в комнату батюшки и затворили за собою дверь.

— Был у нас в церкви один заграничный газетчик, — сказал отец Ипполит, — я передал ему копию описи изъятых ценностей и сообщил, как комсомольцы хотели застрелить старого отца Никанора.

— Что? — нахмурился Острецов. — При чем тут комсомольцы? А если черт его понесет к Никанору?

— Нет, нет! Я все сделал. Отец Никанор еще лежит, и я предупредил, чтобы к нему никого не пускали.

— Еще что?

— Ну, еще я рассказал про то, как волпродкомиссар грозится закрыть церковь, как он сложил в церковном подвале картошку и входил в храм, не сняв шапки. Иностранец все записывал и дал слово, что они это распубликуют на весь мир как факты большевистского изуверства и кощунства.

Острецов презрительно скривил губы:

— Все это чушь. Нам, батя, не этим следует заниматься. Работать надо умнее, осторожнее, с необходимыми паузами. Вы всех предупредили о сегодняшнем сборе в мажаровской церкви?

— Обязательно, — тряхнул волосами отец Ипполит. — К ночи все наши люди начнут съезжаться в Мажаровку.

Постукивая пальцами по столу, Острецов помолчал, а потом спросил внезапно:

— Вы, между прочим, не слыхали, кто ликвидировал этих... четырех... у Кривой балки? Вы ведь знаете, что среди них была моя жена?

— Откуда я могу знать? — испугался отец Ипполит. — Тут все говорят, будто из соседней губернии к нам перекочевала банда атамана Кречета и вроде это они...

— Угу, — хмыкнул Острецов. — Возможно.

Когда стемнело, они положили в сено бутыль самогона, карабины, сели в сани и помчались в село Мажаровку, расположенное в соседней волости, в шестидесяти километрах от Пустополья.

6

Пасмурным февральским утром в Лондоне, в переулке Генриетта-стрит, остановился забрызганный грязью наемный автомобиль. Из автомобиля вышел невысокий джентльмен в щегольском пальто и черной касторовой шляпе. Он расплатился с шофером, подождал, пока машина ушла, рассеянно прочитал наклеенную на столб свежую театральную афишу, взглянул на часы и медленно пошел к огражденному чугунной решеткой приземистому особняку. Короткой тростью он нажал у калитки костяную кнопку звонка.

Из дома вышел лакей-малаец с шоколадным лицом и седыми висками.

— Good morning [1],—строго, без улыбки, сказал джентльмен.

— О-о! — осклабился малаец. — Good morning, mister...

Они вошли в дом. Джентльмен разделся в прихожей, мельком взглянул на себя в зеркало. Из оправленного в темную бронзу зеркала глянуло бледное лицо с близко посаженными острыми глазами и жидкой прядью волос над высоким белым лбом. Второй лакей распахнул дверь обитой гобеленами приемной, и джентльмен сказал ему по-русски:

— Здравствуйте, Роберт. Доложите мистеру Рейли, что его ждет Борис Савинков...

Он устало опустился в кожаное кресло, слегка подвинул его к горящему камину, с наслаждением вытянул ноги и закрыл глаза...

После полуторамесячного нелегального пребывания в Советской России Савинков метельной январской ночью перешел польскую границу и четыре дня прожил в Варшаве под чужим именем, заказав для себя номер в гостинице «Брюлевской». Там он виделся с генералом Булак-Балаховичем, но эта встреча не принесла ему ничего утешительного. Балахович сообщил, что организованные им и переброшенные в Россию диверсионные отряды разгромлены красными, что широко задуманный кавалерийский рейд петлюровского генерал-хорунжего Тютюнника на Украину провалился и сам Тютюнник едва не попал в руки большевиков.

Из Варшавы Савинков уехал в Прагу, встретился там с группой русских эсеров-эмигрантов, получил крупную сумму денег у президента Масарика и отправился в Лондон. Все

[1] Доброе утро (*англ.*).

эти поездки утомили его, и он был раздражен и встревожен...

В камине по-домашнему потрескивали дрова, сбоку мирно тикали стоявшие на полу высокие часы-башня с тяжелым темным циферблатом. На круглом столе, на подоконниках, на камине и на дубовом бюро поблескивали бронзовые, фарфоровые, чугунные, стеклянные статуэтки императора Наполеона.

— Всегдашний кумир Рейли, — усмехнулся Савинков.

Хозяин особняка капитан Джордж Сидней Рейли был сыном ирландца и русской, родился и вырос в Одессе, долгое время служил в Петербурге. Потом Рейли уехал на судостроительные верфи в Гамбург, где его завербовали в английскую разведку. Затем Сидней Рейли побывал в Японии. В 1916 году молодой ирландец пробрался в Германию, под видом немецкого морского офицера проник в адмиралтейство и скопировал чрезвычайно важный секретный код. Это сделало Сиднея Рейли крупнейшим агентом Интеллидженс сервис.

В годы революции Рейли возглавлял в России всю сеть тайной английской разведки. Он вдохновил троцкиста и эсера Блюмкипа на провокационное убийство германского посла Мирбаха. Скрываясь в тени, он подготовил убийство Урицкого. Вместе с Борисом Савинковым Рейли руководил ярославским контрреволюционным мятежом. Он исколесил все крупные города Советской России то под именем турецкого купца Массипо, то с подложным удостоверением сотрудника петроградской ЧК Сергея Григорьевича Релинского. После покушения на Ленина Рейли вынужден был бежать из России в Англию.

«Этот не струсит и не выдаст, — думал Савпнков, глядя па огонь в камине. — Жаль только, что у него слишком много холодного профессионального расчета и слишком мало увлечения...»

Услышав легкие шаги за дверью, Савинков поспешил закрыть глаза.

В приемную вошел невысокий смуглый человек в синем шелковом халате. У него было сухое, мускулистое тело, длинное лицо с черными глазами, упрямый, некрасиво и резко очерченный рот.

— Это оригинальпо, — без всякого акцента сказал Рейли по-русски, — хозяин только поднялся, а гость изволит спать.

Савппков открыл глаза, привстал, протянул вялую руку с худыми пальцами:

— Здравствуйте, Сидней. Вы и сами не подозреваете, как я рад вас видеть.

Они поздоровались. Рейли приказал подать кофе, уселся в кресле рядом и проговорил, дружески улыбаясь:

— Чтобы не повторяться, не торопитесь рассказывать, Борис Викторович. Я превосходно натренировал свое терпение, а вот тот, кто нас с вами ждет, нетерпелив. Он знает, что вы должны прибыть из России, и просил тотчас же привезти вас к нему. Поэтому приготовьтесь к серьезному разговору.

Савинков знал, о ком идеть речь, — это было высокопоставленное лицо, сановник, который временно оказался не у дел, но продолжал невидимо направлять политику особо влиятельных в государстве кругов.

Перебрасываясь незначительными фразами, они торопливо выпили кофе и поехали к сановнику.

— Он в вас влюблен, — сказал Рейли, усаживаясь в автомобиль. — Правда, иногда он называет вас литературным убийцей, но это не мешает ему считать, что для будущего диктатора России Борис Савинков наиболее подходящий кандидат.

— Нет уж, увольте, — нахмурился Савинков. — Эта роль меня никогда не прельщала, а при нынешнем положении в России и подавно.

Рейли задернул кремовую автомобильную штору, стащил с руки перчатку и коснулся ладонью руки Савинкова.

— У вас, кажется, появились несвойственные вам нотки скептицизма. Это странно. Настолько странно, что мне захотелось поскорее услышать ваш рассказ.

Савинков ничего не ответил. Он ехал к важному сановнику с тяжелым, неприятным чувством. Однажды он уже встречался с этим человеком и запомнил его расплывшуюся фигуру, породистые щеки и светлые навыкате глаза. Эта первая встреча произошла в разгар гражданской войны. Сановник подвел своего гостя к висевшей на стене огромной карте и сказал, тыча пухлым пальцем в линию синих флажков: «Вот они, мои армии, — Деникин, Колчак, Юденич...» Это выражение покоробило Савинкова. Ему было неприятно, что в чьих-то тайных планах истекавшие кровью белые армии играли роль пешек английского сановника.

Сейчас он ехал к нему только потому, что знал его неиссякаемую энергию, силу и тяжелую, мрачную ненависть к большевикам.

Наблюдая за своим спутником, Сидней Рейли некоторое время молчал. Автомобиль мчался за городом, вдоль берега Темзы. Легкая кремовая шторка слегка колыхалась, и за стеклом, в узкой полоске, видны были покрытые бурой копотью пятна снега, черепичные крыши старых коттеджей, красные стволы сосен. Над рекой свинцовой полосой лежал густой, влажный туман.

— Интересный человек наш патрон... — неторопливо сказал Рейли. — Вся его беда заключается в том, что он при его неистовом характере родился на триста лет позже, чем следовало. Живи он в семнадцатом веке — совсем другое дело. Быть бы ему самым удалым корсаром или, как его предок, грозой и повелителем послушных рабов...

Шофер-малаец невозмутимо глянул в окаймленное никелем зеркало, встретился взглядом с Сиднеем Рейли и, заметив его кивок, мягко остановил послушную машину.

Сановник принял ранних посетителей в далеком загородном коттедже, спрятанном в густом сосновом лесу. Савинков увидел и сразу узнал его знакомую фигуру. Широко раздвинув ноги, он стоял на террасе в распахнутой охотничьей куртке и серых грубошерстных штанах. Розовый, отлично выбритый, он, несмотря на толстый живот, выглядел гораздо моложе своих лет. Глаза у него были светлые, быстрые, а рот широкий, влажный, с крепкими деснами и желтыми от табака зубами, которыми он весело и яростно жевал кончик гаваны.

Настороженно посмотрев на Савинкова, хозяин протянул ему белую пухлую руку, поздоровался с Сиднеем Рейли и сказал:

— Пожалуйста, прошу вас.

Из полукруглого холла, на деревянных стенах которого темнели старинные картины без рам, они поднялись на второй этаж и уселись в потертые кожаные кресла.

Савинков мгновенно окинул взглядом кабинет сановника. Это была большая комната с грубо выложенным камином и узкими окнами. В углу стоял тяжелый стол с бумагами, на дубовых стенах висели огромные оленьи и кабаньи головы.

— Ну так что же? — нетерпеливо бросил хозяин.

Осторожно, взвешивая каждое слово, Савинков стал рассказывать.

— Я полтора месяца провел в Советской России, — сказал Савинков, — и я понял, что за четыре года большевики успели добиться очень многого. Да, в России голод. Такой голод, что там люди мрут тысячами. Но у них есть вера.

Эту веру вдохнул в людей Ленин, и они хотят того, к чему он призывает. Надеяться на взрыв в России трудно. Там единственная реальная сила сейчас — крестьянство. Введением нэпа Ленин поднимает крестьянство на ноги, и когда это случится, уже ничего не сделаешь. Правда, в большевистской партии начались разногласия. Я имею в виду недавние выступления Троцкого. Но партия в массе идет за Лениным, а не за Троцким.

— А чем занимается ваша организация? — сдвинув брови, спросил сановник. — Каковы результаты ее деятельности?

— Мы делаем все, что можем, — сказал Савинков, — но наша работа в настоящих условиях нелегка. Миссия полковника Свежевского по ликвидации Ленина не удалась так же, как и попытка Каплан. Рейды наших отрядов не достигли цели потому, что среди населения многие сочувствуют большевикам. Я убежден, что без вмешательства зарубежных сил наша борьба обречена на провал...

Закинув руки за спину, стуча тяжелыми башмаками, сановник прошелся по комнате. Рывком подтянув кресло, он сел рядом с Савинковым и заговорил, перекатив сигару в угол рта:

— Вмешательство зарубежных сил? А вы знаете, что происходит в этом сумасшедшем мире? Вам известно, что плевелы большевизма всходят во всех концах земли? Коммунистические партии работают не только в Европе. Они уже пустили ростки в самых жизненных для нас районах — в Азии... Семь месяцев назад в Шанхае нелегально собрался первый съезд китайских коммунистов. Ни англичан, ни французов, ни американцев не заставишь сейчас воевать против русских. Они сыты по горло минувшей войной. Мир похож на дымящий вулкан, в нем хаос, разруха, голод...

Хозяин швырнул окурок сигары в камин и тотчас же взял со стола новую сигару. Он щипцами достал из камина уголь, неторопливо прикурил, тихо, без стука, положил щипцы на место.

— Надо быть реальным политиком, — жадно затягиваясь дымом, сказал он. — Неустроенность мира не заставит нас прекратить борьбу с большевиками. Мы только перейдем к более тонким и более сложным формам. Мы остановим разбушевавшуюся на всех материках анархическую стихию новыми методами... — Он посмотрел на Савинкова и вдруг весело расхохотался. — Вечером я свезу вас в Чекерс, к нашему набожному баптисту. Он только вчера вернулся из Було-

ни, где уговаривал французов созвать европейскую экономическую конференцию. Думаю, старик не скроет от вас того, что они собираются пригласить на эту конференцию Ленина. Да, да, Ленина. Конференция состоится в Генуе, и Ленин, конечно, приедет туда. Слышите, мистер Савинков?

— Да, сэр, я слышу, — отозвался Савинков.

— Но пусть вас это не тревожит. Признание того или иного правительства не означает признания социального строя данной страны.

Сановник согнал с лица улыбку, срезал кончик сигары, бросил его в камин.

— Я думаю... что Ленин... с конференции не... вернется, — отсекая каждое слово, сказал он. — Это несколько успокоит и отрезвит европейских коммунистов. А наведя настоящий порядок в Европе, мы примемся за соответствующие реформы в России. В этом на первом этапе нам поможет оппозиция в партии Ленина. Во всяком случае, при нынешней ситуации нас не может не интересовать политическая платформа троцкистов, и мы, пожалуй, будем содействовать ее распространению в компартиях Европы, Америки и Азии...

Отсветы неяркого пламени камина играли на гладковыбритом лице высокопоставленного сановника. Постукивая по подлокотнику кресла рукой, он говорил, словно вколачивал гвозди в крепкое дерево:

— Однако все эти меры внешнего характера, к тому же рассчитанные на довольно длительный период, не должны ослаблять нашей непосредственной борьбы в России. Наоборот, в России надо поставить определенные цели. Во-первых, необходимо всячески противодействовать объединению национальных областей под властью Кремля и вести курс на отделение их от России. В особенности это касается Кавказа, где мы в дальнейшем получим нефть. Во-вторых, надо повести дело так, чтобы ближайшие соседи России — Финляндия, Латвия, Эстония, Литва, Румыния, Польша — составили прочную антибольшевистскую цепь и превратились в подлинный санитарный кордон.

— Террор вы отвергаете? — угрюмо спросил Савинков.

Сановник сердито мотнул головой:

— Нисколько. Террор надо организовать в самом широком масштабе...

Он испытующе взглянул сначала на Рейли, потом на Савинкова.

— Вам обоим, очевидно, придется готовиться к новой поездке в Россию. Пусть Красин сидит в Лондоне, пусть наши политики подписывают с ним хоть десять торговых договоров — мы будем неуклонно проводить свой курс...

Савинков внимательно слушал хозяина, понимая, какие обширные планы вынашивает этот необузданно яростный человек, но глухая тоска и мрачные предчувствия не покидали его. Он закрыл глаза и с ужасом подумал о том, что время почти непоправимо упущено, что теперь нужны неимоверные усилия, чтобы остановить коммунистов. Но он не сказал ни слова.

Беседа длилась часа четыре. В разговоре мелькали названия многих стран, имена политических деятелей, намечались большие маршруты, назывались крупные суммы денег, перечислялись виды оружия. Чаще всего собеседники произносили слова «ликвидировать», «убрать», «уничтожить», зная, что сотни отпетых, готовых на все людей тотчас же начнут выполнять все, что они наметили в этом старом коттедже, укрытом в густом сосновом бору.

Прощаясь, хозяин крепко пожал руку Савинкова и как бы невзначай сказал:

— Отчего бы вам не съездить в Италию? Там можно хорошо отдохнуть. Между прочим, в Италии очень серьезную роль начинает играть Бенито Муссолини. Ему удалось организовать новую партию. Он ненавидит большевиков и может быть очень полезен на тот случай, если в Генуе появится Ленин...

Через три дня после этого разговора Борис Савинков выехал в Италию.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ





ногие товарищи Александра Ставрова, дипломатические курьеры Комиссариата иностранных дел, успели за этот год побывать в Монголии, Афганистане, Персии, Польше. По возвращении из Огнищанки Александр только один раз отвез почту в Финляндию и больше не выезжал из Москвы.

Он жил неподалеку от комиссариата, в роскошной квартире, куда его вселили по ордеру. Хозяин квартиры, пожи-

лой адвокат-армянин, выделил непрошеному жильцу отдельную комнату и старался по возможности не встречаться с ним. В комнате стояли хозяйские вещи: круглый стол на бронзовых ножках, старинное трюмо, забитый книгами трехстворчатый шкаф; вежливый адвокат оставил его незапертым. Ставров втащил в комнату свои перевезенные из Петрограда вещи: железную казарменную койку, связку книг, шинель, буденовку и потертый чемодан.

У Александра было много свободного времени. С утра он уходил в комиссариат, где встречался с товарищами-дипкурьерами, ожидавшими, как и он, распоряжения на выезд. Им была выделена комната с кроватями, на которых обычно спали дежурные. Там Александр оставался до пяти часов, после чего был предоставлен самому себе.

Два раза в неделю почти все сотрудники комиссариата собирались на вечерние занятия. По средам им читал лекции бывший царский дипломат Валуев, внушительный мужчина с ослепительной лысиной. Улыбаясь и мягко грассируя, он рассказывал о зарубежных государственных деятелях, о рангах и полномочиях дипломатических представителей, о верительных и отзывных грамотах, иммунитете, консульствах. Подняв голову, как поющая птица, Валуев любовно и звонко произносил иностранные слова: Foreign office [1], Aussenamt [2], Envoyé extraordinaire et Ministre plenipotentiaire [3]. Молодые люди в шинелях и в шлемах с любопытством вслушивались в звонкое рокотание валуевского баритона, и им казалось, что они никогда не постигнут всей этой дипломатической премудрости. Оживлялись они по пятницам, когда старый большевик-подпольщик Спорышев проводил с ними политзанятия и говорил о том, что они пережили сами. Тут все было ясно и понятно.

В свободное время Александр бродил по московским улицам. Он приглашал с собой особенно полюбившегося ему сибиряка дипкурьера Ивана Черных, и они вдвоем отправлялись на прогулку.

После прошлогодних декретов правительства о свободной торговле и сдаче в аренду различных предприятий Москва изменилась: на фасадах домов появились тысячи ярких вывесок, одна за другой стали открываться пивные, закусочные, фотографии, кабаре, кондитерские; как грибы по-

[1] Иностранное бюро (*англ.*).
[2] Внешнее ведомство (*нем.*).
[3] Чрезвычайный посланник и полномочный министр (*франц.*).

сле дождя выросли сотни всяких кустарных артелей — портновских, сапожных, гвоздильных, столярных, механических.

Словно из-под земли вылез рожденный нэпом, неповторимый по колориту тип маклера-посредника, человека-ловкача, который все знал, все слышал, все умел. За известное вознаграждение — натурой или валютой — этот веселый, хитрый, хлопотливый человек мог мгновенно достать что угодно: сахарин, мыло, муку, кожу, меха, доллары, кокаин. Он, этот «посредник», подстерегал клиентов на каждом шагу, в любом переулке, во дворе, в подворотне; он спрашивал, предлагал, выпытывал, сводил, сбивал и поднимал цену, на ходу совершал множество сделок.

— Откуда вылезла вся эта нечисть? — недоумевал Черных. — Прошло четыре года революции, я думал, что от этих паразитов и след простыл, а они, гляди ты, как клопы полезли.

— Выходит, по щелям сидели, — хмуро говорил Александр, — дожидались лучших времен. Как только мы вожжи чуток отпустили, они тут как тут...

Сунув руки в карманы шинелей, нахлобучив буденовки, друзья останавливались у витрин, а навстречу им в потоке людей шли и шли хорошо одетые дельцы, которых сразу можно было узнать по добротным пальто, шляпам, по золотым кольцам на подвижных руках, по тому выражению самоуверенных, довольных лиц, которое как будто говорило каждому встречному: «Ну, что? Не обошлись без нас? Признали? То-то!»

— Знаешь, Сашка, а меня злят эти спекулянты, — признавался простодушный Черных. — Я понимаю, новая экономическая политика необходима, а вот встречу такого раскормленного борова и думаю: «Эх, двинул бы я тебе в харю, да нельзя!..»

Александр невесело кивал головой:

— Нельзя, Ваня.

Он проводил взглядом слегка задевшего его толстяка в шубе и котиковой шапке и повернулся к Черных:

— Видал? Плывет и никого не замечает. На ходу барыши подсчитывает...

Особенно поражало друзей вавилонское столпотворение на Сухаревском рынке. Тут с утра до ночи толклись несметные толпы людей. Точно темная морская зыбь, людская масса колыхалась, беспрерывно шевелилась, ручьями растекалась по дальним рыночным рядам. Над человеческим морем стоял неумолчный гомон, ровный гул, среди которого

только вблизи можно было различить отдельные голоса. Тут постоянно держался крепкий запах снеди — жареного мяса, лука, солений. Тут можно было найти и купить все, что нужно заполнившим рынок людям, — от перламутровой пуговицы до авиационного мотора, от железного дверного крючка до изысканных косметических средств. Тут имели хождение все денежные знаки мира — от обесцененных советских миллионов до американского доллара. Тут, как большие и малые рыбы в воде, сновали маклеры, спекулянты, проститутки, шпионы, воры. Если человек входил в это шумное, гудящее, движущееся людское море, он мгновенно исчезал, как иголка в огромной скирде соломы.

Ставров и Черных хорошо знали, какой отзвук во всем мире вызвало введение в Советской России нэпа. Оба они читали в комиссариате заграничные газеты, оба следили за бюллетенями и сводками.

Реформистские лидеры, буржуазные сенаторы, соглашатели-меньшевики в один голос кричали о том, что нэп означает «конец большевистского эксперимента», «возврат к капитализму», «бесплодную гальванизацию омертвевшего государственного тела».

Наблюдая за тем, что делается на Сухаревке, видя, как закопошились по всей Москве и в других городах маклеры, торгаши, кустари, деловитые оптовики, Александр с тревогой думал: «Страшная это штука! Такой стихии нельзя доверять ни на один миг, иначе она засосет нас, как зловонная тина».

Встречаясь с товарищами по фронту, Александр видел в их глазах гнетущую тоску и злость.

Воля партии, ее сильная и смелая политика нашли свое выражение в выступлении Ленина на X съезде, в ленинской брошюре «О продовольственном налоге», в которой излагалось значение новой экономической политики. И чем чаще советские люди обращались к словам вождя, тем острее и глубже понимали все, что происходит в Москве и в России, тем яснее видели среди хаоса, голода и разрухи сотворение нового мира.

По вечерам Александр писал письма Марине. Он уже знал, что она уехала из Огнищанки в Пустополье, и советовал ей получше осмотреться, беречь себя, не беспокоиться о Тае, которая живет у Ставровых, как в родной семье. В письмах Александра не было ни слова о любви, но каждый, кто прочитал бы любое из этих писем, понял бы, что так можно писать только любимой женщине.

В последнее время к Александру по вечерам стал заходить Тер-Адамян, хозяин квартиры. Он с достоинством усаживался на единственный стул и начинал разговор:

— Ну, как жизнь, товарищ Ставров?

— Нормально, — хмуро ронял Александр.

— Та-ак...

Хозяин закидывал ногу за ногу, секунду любовался своим лакированным башмаком и хитровато поднимал густую, кустистую бровь:

— Слышали новость?

— Какую? — настораживался Александр. — Я не знаю, что вы имеете в виду.

— Ну как же, — посмеивался Тер-Адамян, — говорят, группа видных коммунистов подала в Коминтерн жалобу на Ленина и на ЦК. Под этой жалобой подписались двадцать два ответственных работника. Это не шутка.

Он поглаживал смуглой ладонью выбритую до синевы щеку и лукаво косил на Александра влажным глазом.

— Говорят, что они заявили в Коминтерне, что, мол, когда советские рабочие бастуют, то красноармейцы выполняют роль штрейкбрехеров. А? Что вы на это скажете? И еще будто напрямик сказали: вам, дескать, иностранцам, показывают только парады и казенные зрелища, а на самом деле русский рабочий класс возмущен политикой Советского правительства...

Александр уже знал о пресловутом «заявлении двадцати двух», оно его возмутило и встревожило; теперь, слыша это от Тер-Адамяна, он злился:

— Мало ли у нас обывателей, которые болтают всякую чушь!

— Какая же это чушь? — усмехался хозяин. — Об этом говорит вся Москва.

Тер-Адамян недавно устроился на должность юрисконсульта в управлении лесной концессии, вращался в самых разнообразных московских кругах, везде вступал в разговоры, прислушивался, читал в своей конторе иностранные газеты и постоянно был в курсе всех дел.

— Вы напрасно думаете, что мы, обыватели, пользуемся только базарными слухами, — мягко улыбаясь, говорил он Александру. — Мы тоже умеем отделить истину от лжи. Если, например, где-нибудь скажут, что большевистская Россия собирается объявить войну Америке или же Индии, мы знаем — это утка. Но уж, извините, если говорят, что сто-

ронники Троцкого не согласны с линией Владимира Ильича Ленина, тут мы уверены: что-то есть!

Адвокат угостил Александра дорогой папиросой, незаметно окинул испытующим взглядом его простодушное, усыпанное веснушками лицо и спросил как будто невзначай:

— Вы ничего не слышали в своем комиссариате о приглашении Ленина на Генуэзскую конференцию?

— Допустим, слышал, — улыбнулся Александр, — об этом кричат все заграничные газеты.

Тер-Адамян поднялся со стула, постоял у дверей, притворно зевнул.

— Понимаете, если товарища Ленина действительно позовут в Геную, на мировой бирже произойдет черт знает что! Это же будет означать включение Советской России в международную экономическую жизнь...

Как видно, юрисконсульт лесной концессии обладал точными сведениями.

Шестого января 1922 года в Каннах открылось заседание Верховного совета союзников, на котором Ллойд Джордж выступил с утверждением, что мир болен «параличом торговли» и «исцелить его можно лишь в том случае, если сырье и рынки России вновь станут доступными для мира». После длительных споров решено было созвать широкую экономическую конференцию в Генуе и пригласить на нее Советскую Россию.

На следующий день из Рима в Москву была направлена телеграмма, приглашавшая Советское правительство принять участие в Генуэзской конференции.

«Итальянское правительство, — говорилось в телеграмме, — в согласии с Великобританским правительством считает, что личное участие в этой конференции Ленина значительно облегчило бы разрешение вопроса об экономическом равновесии Европы».

Восьмого января Советское правительство сообщило Верховному совету союзников, что оно принимает приглашение на конференцию. Что касается поездки в Геную Ленина, то в советской ноте говорилось:

«Даже в том случае, если бы Председатель Совнаркома Ленин, вследствие перегруженности работой, в особенности в связи с голодом, был лишен возможности покинуть Россию, тем не менее состав делегации, равно как и размеры предоставленных ей полномочий придадут ей такой же ав-

торитет, какой она имела бы, если бы в ней участвовал гражданин Ленин».

Как только сведения о приглашении советской делегации в Геную стали достоянием корреспондентов, все газеты мира тотчас же запестрели напечатанными жирным шрифтом строками: «Ленин едет в Геную!», «Ленин принял приглашение!», «Ленин приглашен в Геную!», «Ленин будет заседать рядом с Ллойд Джорджем!», «Ленин лично не поедет!», «Ленин незаменим в России!».

Реакционная печать не скрывала своего негодования и злословила по адресу Ллойд Джорджа, который решил пригласить Ленина в Геную, объясняя это необходимостью восстановить экономическое равновесие в Европе.

«Нам не приходило в голову, — иронизировал корреспондент «Таймс», — что восстановление экономического равновесия Европы является специальностью Ленина. Мы вспоминаем, что не так давно королевское и другие правительства — и не только они — считали, что главной специальностью Ленина является не столько восстановление, сколько разрушение капиталистического равновесия».

Оберегая жизнь Ленина, советские люди присылали просьбы не ездить в Геную. Со всех концов страны в Москву стекались эти просьбы, письма, резолюции многочисленных митингов с требованием не включать Ленина в состав делегации. «Мы не можем доверить жизнь Ленина буржуазной охране, — писали тысячи людей. — Если капиталистам так хочется, чтобы товарищ Ленин лично принял участие в конференции, пусть перенесут таковую в Москву».

Двадцать седьмого января в Москве открылась Чрезвычайная сессия ВЦИК, на которой депутаты избрали состав делегации во главе с Лениным. Народный комиссар иностранных дел Чичерин был избран заместителем председателя «со всеми правами председателя на тот случай, если обстоятельства исключат возможность поездки товарища Ленина на конференцию».

Через четыре дня Александр Ставров был вызван в отдел связи комиссариата. Руководитель отдела, пожилой коммунист-фронтовик Снегирев, еще не успевший снять военную гимнастерку, пристально посмотрел на Александра и усмехнулся:

— Неказистый у тебя вид, товарищ Ставров.

— Как? — смутился Александр. — Я не понимаю.

— А что ж тут понимать? До сих пор не можешь расстаться с гимнастеркой, с сапогами. Тебе не надоело?

Заметив на лице Александра улыбку и, видимо, вспомнив, что он сам, руководитель отдела, сидит в такой же гимнастерке, Снегирев махнул рукой:

— Ладно. Надо тебе, Ставров, немного приодеться.

Он снова засмеялся:

— Ты когда-нибудь носил галстук, шляпу, ну и прочие там штуки в этом роде?

— Нет, не носил, — признался Александр.

— Ну так вот, — торжественно сказал Снегирев, — ты, Ставров, поедешь с товарищем Чичериным в Геную! Понятно?

— Как? Один? — испугался Александр.

— Почему один? Разве на такую конференцию посылают одного дипкурьера? Мы отберем группу. Надо только приодеться, основательно подготовиться.

Он черкнул карандашом в блокноте, оторвал листок и подал Александру:

— На вот, иди к товарищу Семенцову, он тебе все устроит. Потом я вызову всю вашу группу для беседы...

В комнате дипкурьеров началось волнение. Снегирев вызывал их одного за другим и отсылал с записками к Семенцову, который тотчас же направлял каждого в мастерскую, где уже были оформлены заказы на костюмы и пальто.

Всю группу отобранных для поездки в Италию дипкурьеров разбили на пары. Александр очень жалел, что в помощники к нему Снегирев назначил не Ивана Черных, как они оба того хотели, а Сергея Балашова, красивого русокудрого комсомольца, сына известного профессора-революционера, погибшего в ссылке. Балашов держал себя несколько особняком, ни с кем близко не сходился, с товарищами разговаривал надменно, и его за это не любили.

Услышав, что его назначили в пару к Ставрову, Балашов подошел к Александру и сказал:

— Ну что ж, если надо, поедем вместе...

Однажды вечером Снегирев созвал отобранных дипкурьеров и заговорил строго:

— Вы знаете, что народ, боясь за жизнь Владимира Ильича, высказался против его поездки в Геную. Но, оставаясь в Москве, Ленин должен быть в курсе всех событий на конференции. Все секретные донесения товарища Чичерина Ленину будете доставлять вы... Все указания Ленина нашей делегации также будете отвозить в Геную вы... Каждый из вас понимает, что это значит. Вам будут вверены документы огромной государственной важности... За грани-

цей, — продолжал он, — найдется много охотников похитить, отбить или хотя бы прочитать нашу дипломатическую почту. Они уже готовятся к этому. Вы должны оберегать почту как зеницу ока, не должны оставлять ее без охраны ни на одну секунду, а в случае необходимости до последней капли крови защищать ее силой оружия...

Он говорил долго, так же строго, как и начал. А потом шагнул вперед и закончил совсем тихо:

— Вот что, ребята. Почти все вы знаете, что такое война, бывали на фронте. Так вот, запомните: не было в вашей жизни задачи более сложной и тонкой, чем эта. Надо ее решать по-большевистски. Ясно?

Дипкурьеры ответили:

— Ясно, товарищ Снегирев. Выполним...

Перед отъездом Александру Ставрову посчастливилось. Ему вручили пригласительный билет па открытие XI партийного съезда, и он слышал доклад Ленина.

Съезд начался двадцать седьмого марта. Уже накануне Александр волновался. Он никогда не видел Ленина и готов был отдать все за то, чтобы хоть издали посмотреть на любимого вождя, человека, о котором говорил сейчас весь мир.

Когда Александр, подтянутый и взволнованный, прошел в огромный зал заседаний, он увидел, что у всех делегатов съезда не сходит с лица то же выражение радостного волнения. Зал был битком набит. Тут собрались коммунисты со всех концов страны — молодые и пожилые рабочие, крестьяне, празднично приодевшиеся для этого дня, фронтовики в аккуратно подпоясанных гимнастерках, закаленные в трудной борьбе люди — цвет партии, созданной и воспитанной Лениным.

— Говорят, Ильич будет открывать, — сияя глазами, сказал Александру молодой рабочий в косоворотке.

— Вы точно знаете? — спросил Александр.

— Точно, мне сегодня в Цека сказали.

И вот раздался внезапный, как степной вихрь, грохот аплодисментов. Люди вскочили с мест, застучали стульями, закричали в восторге. К столу президиума шел Ленин.

Александр сидел далеко, но сумел подробно рассмотреть его. Невысокая крепкая фигура. Ленин немного склонил голову вперед и к левому плечу; он точно пробирался сквозь какое-то видимое только ему препятствие. Когда он встал за столом и нетерпеливо взмахнул рукой, пытаясь прекратить овацию, Александр ясно увидел резко очерченное ленинское лицо — рыжеватые усы, подстриженную бородку

и неотразимые, пристальные, с характерным прищуром глаза.

— Товарищи! — сказал Ленин. — По поручению Центрального Комитета партии объявляю Одиннадцатый съезд Эр-Ка-Пэ открытым.

Охваченные единым порывом, люди снова поднялись с мест, снова по залу прогрохотали громовые раскаты аплодисментов. Ленин коротко сказал о трудностях минувшего года, напомнил о росте мирового коммунистического движения и выразил уверенность в том, что большевики, сохраняя единство партии, победят все трудности.

После того как были выбраны президиум съезда, секретариат и мандатная комиссия, Ленин начал свой доклад. Его слушали шестьсот восемьдесят семь делегатов и гости-коммунисты, слушали прибывшие приветствовать съезд зарубежные коммунисты. Ленин рассказал о предстоящей Генуэзской конференции, высмеял заграничную газетную трескотню и уверенно заявил, что через Геную или помимо Генуи, но торговые сношения между Советской республикой и капиталистическим миром неизбежно будут развиваться. Потом Ленин перешел к новой экономической политике.

— Задача нэпа, основная, решающая, все остальное себе подчиняющая, — сказал Ленин, — это установление смычки между той новой экономикой, которую мы начали строить — очень плохо, очень неумело, но все же начали строить на основе совершенно новой, социалистической экономики, нового производства, нового распределения, — и крестьянской экономикой, которой живут миллионы и миллионы крестьян...

...Наша цель, — продолжал он, — восстановить смычку, доказать крестьянину делами, что мы начинаем с того, что ему понятно, знакомо и сейчас доступно при всей его нищете, а не с чего-то отдаленного, фантастического, с точки зрения крестьянина, — доказать, что мы ему умеем помочь, что коммунисты в момент тяжелого положения разоренного, обнищалого, мучительно голодающего мелкого крестьянина ему сейчас помогают на деле.

— Слыхал? — задыхаясь, спросил Александра его сосед, степенный партизан-украинец с сивыми усами. — Правильно он говорит. Здорово. Хлебец продавать, детей приодеть. А мужик не дурак, он все чисто разберет...

— Правильно, правильно, — отмахнулся Ставров, не сводя глаз с Ленина, боясь пропустить хотя бы одно слово.

— Мы год отступали, — сказал Ленин. — Мы должны теперь сказать от имени партии: достаточно! Та цель, кото-

рая отступлением преследовалась, достигнута. Этот период кончается или кончился. Теперь цель выдвигается другая — перегруппировка сил...

Он заговорил о необходимости научиться управлять государством, рассказал, как мыслится партией перегруппировка сил, призвал к тому, чтобы коммунисты учились руководить торговлей, заниматься повседневными хозяйственными делами.

Последнее Ленин подчеркнул особенно резко.

— Сейчас народ и все трудящиеся массы видят основное для себя только в том, чтобы практически помочь отчаянной нужде и голоду и показать, что действительно происходит улучшение, которое крестьянину нужно, которое ему привычно. Крестьянин знает рынок и знает торговлю. Прямого коммунистического распределения мы ввести не могли. Для этого не хватало фабрик и оборудования для них. Тогда мы должны дать через торговлю, но дать это не хуже, чем это давал капиталист, иначе такого управления народ вынести не может. В этом весь гвоздь положения...

Когда вместе с другими делегатами Александр Ставров вышел из зала заседаний, над Москвой синел свежий мартовский вечер. Уличные фонари неярко освещали облепленные инеем и сверкающие ледяными сосульками деревья. Небо над огромным городом было сине-розовое, оно трепетало отсветами огней, и в его туманной глубине, где-то над крышами высоких домов, звонко каркая, носились вороны, чуявшие приближение весны.

Все в Москве оставалось таким же, как было утром: на тротуарах с метлами и железными ломиками в руках работали одетые в валенки и полушубки дворники; так же проносились в извозчичьих пролетках деловитые нэпманы; так же клянчили, бегая у магазинных витрин, беспризорники. Все как будто оставалось прежним. Но Александру показалось, что после того, как он услышал Ленина, все в городе стало иным. Каждой частицей своего сознания он вдруг почувствовал, что в самом недалеком будущем все это исчезнет — и голодная раскрашенная проститутка на перекрестке, и сытый нэпман в мягкой касторовой шляпе, и крикливые вывески частных магазинов.

Александр и сам не знал, откуда у него появилось это щемяще радостное, неизведанное чувство, чувство, которое охватывает пассажира на перроне, когда вот-вот должен подойти сверкающий курьерский поезд дальнего следования.

Сдвинув буденовку на затылок, Александр шел, улыбался встречным, и ему казалось, что он сейчас услышит призывный паровозный гудок, сядет в вагон и содрогающийся от быстрого движения поезд помчит его, товарищей, Марину в смутно-прекрасный мир.

Он знал, что этот мир еще не создан, еще не существует, но после доклада Ленина он уже навсегда поверил в то, что люди создадут иной мир. Теперь он понимал и верил, как никогда раньше, что в темных, жестоких недрах старого мира, подобно весеннему прорастанию живого семени, совершается неимоверно трудное, невиданное на земле рождение: рождается новый, счастливый век человечества.

2

Над давно не паханными полями, над лиловыми, заснеженными по ложбинам перелесками низко плывут косматые, как нечесаная овечья шерсть, облака. Ночами и рано поутру в затверделых выбоинах полевых дорог белеет ломкий ледок, а днем, когда с юга потянет ветер, земля мякнет, темнеет от влаги, невидимо впитывает струйки талой воды. На покатых буграх, по гребням извилистых балок все больше обнажается бурый суглинок, и только в лесу, накрытый желтой опавшей листвой, еще держится тяжелый снег.

В один из таких ростепельных дней, как раз на Герасима-грачевника, в Огнищанке остановился на привал кавалерийский полк. Три недели этот полк шел от польской границы. В полковом обозе уже давно не оставалось фуража, и сотни коней подбились, спали с тела, а потом один за другим стали околевать на дороге. Командир полка, неразговорчивый, угрюмый латыш с наголо обритой головой, решил оставить несколько десятков коней огнищанским мужикам.

Не слезая с тачанки, он откинул забрызганный грязью плащ, поманил пальцем стоявшего возле хаты деда Силыча и сказал, дожевывая ржаной сухарь:

— Дед! Мы оставим тут тридцать коней. Скажи людям, чтоб развели их по домам.

— Это как же? — не понял Силыч. — Насовсем или же временно?

Командир полка, скрипнув ремнями, махнул рукой:

— Да, дед, насовсем. Все равно подохнут.

Пока толстые кашевары раздавали красноармейцам ячменную кашу, два обозника выпрягли из телег разномастных коней и, размахивая руками, загнали их в рауховский

парк. Кони были мореные, с набитыми до крови холками, от худобы у них остро выпирали ребра, а подогнутые, с распухшими коленями передние ноги дрожали.

Услышав, что командир позволил любому, кто хочет, забирать коней, Андрей и Рома кинулись в парк, с помощью оголтело лаявшей Кузи отогнали от табуна двух крайних меринов и, ухватив их за стриженые челки, повели в конюшню. Андрей вел каракового монгольского конька с большой головой и широкой, растертой хомутом грудью. Ромке достался рыжий поджарый дончак с жидкой гривкой и вислым задом, на котором выступали обтянутые иссеченной кожей мослы.

Кони покорно шли за ребятами, хлопали полуоторванными подковами, спотыкались на каждом шагу. Кузя бежала сбоку, принюхивалась, недоверчиво ворчала и с удивлением посматривала на хозяев.

У конюшни ребята напоролись на отца.

— Куда вы? — спросил Дмитрий Данилович.

— Командир, тот, который в тачанке сидит, подарил нам, — неуверенно пробормотал Андрей.

Рома счел нужным добавить:

— Они загнали в парк коней и сказали: «Пусть берет кто хочет».

Дмитрий Данилович пошел к воротам, поговорил с командиром полка и вскоре вернулся.

— Ну что ж, — сказал он, — пусть остаются.

Через час полк ушел, а огнищане сбежались к парку и разобрали коней. Три мерина лежали под деревьями, не смогли подняться, а к ночи издохли. Дед Силыч молча снял с них исполосованные кнутами шкуры.

Рослого гнедого жеребца облюбовал себе Антон Терпужный. Он подошел к парку позже других, бегло осмотрел лошадей и, не говоря ни слова, подошел к жеребцу, лежавшему в отдалении, ударом сапога подпял его на ноги. Но с Антоном столкнулся Николай Комлев. Он тронул Терпужного за руку, приблизил к нему злое лицо и бросил сквозь зубы:

— Отпусти коня, дядя Антон.

— Это ж почему? — набычился Терпужный.

— Потому что у тебя дома добрая пара коней, а у меня ни одного нет. Понятно?

— Ну дак что? — не отпуская конскую гриву, прогудел Терпужный. — Какое мое дело? Я до этого жеребчика подошел первый, значит, он мой. Чего ты встреваешь?

Вокруг них стали собираться мужики. Терпужный выдавил некое подобие усмешки, повернулся к ним:

— Видали вы хлюста? Я веду коня, а он на́ тебе, перебежал дорогу и за грудки хватает!

— Ты зубы не скаль, — тихо, но настойчиво сказал Комлев. — Я покудова миром тебя прошу: брось коня и вали до дому.

К Терпужному подошел чернобородый дядя Лука. Он положил руку на шею гнедого, слегка толкнул его.

— В самом деле, Антон, отдай человеку коняку. У тебя ж пара кобылиц стоит, и обе жеребые, а у Николая ветер шумит в конюшне. Это ж не по правде выходит.

— Ты, Сибирный, не лезь, — озлился Терпужный.— Вона фершал взял пару коней, ему, значится, можно, а мне нельзя? Это по правде получается?

— У фершала семь душ семьи, а хозяйства никакого, — вмешался дед Силыч, — чего же ты, голуба моя, до фершала равняешься? Ты лучше слушай, чего тебе люди доказывают. Передай коня Кольке и не шебурши.

Озираясь, как затравленный волк, Терпужный размахнулся, изо всей силы ударил кулаком по конскому храпу. Жеребец вскинул голову, попятился, закряхтел от боли. А Терпужный сунул руки в карманы и пошел прочь, загребая сапогами влажные, затоптанные в грязный снег листья.

— Сволочь! — пробормотал Комлев.

Командир полка, как видно, поздно, уже на марше, известил о лошадях председателя Длугача, и тот прибежал в парк, записал каждого, кто взял лошадь, предупредил:

— Ежели только узнаю, что кто-нибудь зарезал или же дуром покалечил коня, так и знайте — отдам под суд ревтрибунала безо всякой пощады. У нас надвигается посевная, а тягловой силы черт-ма. Значит, надо держать курс на этих дарованных нам коней, ими обрабатывать поля.

— А чем же их кормить до посевной? — робко спросил кто-то.

— Можно загнать в лес, нехай пока питаются палым листом, — сказал Длугач, — а там, как зазеленеют травы, другой разговор пойдет.

— От такого питания, как палый лист, конь не только, тоис, плуга, а самого себя не потянет, — проворчал Павел Терпужный.

Но другого выхода не было. У огнищан давно истощились последние запасы сена и соломы, давно был прирезан голодный скот. Только и оставалось, что увести разбитых

полковых коней в лес, кормить прошлогодними листьями и этим поддержать до первой травы.

Дмитрий Данилович Ставров разрешил Андрею и Роме ходить в лес вместе с Силычем. Старику тоже удалось добыть худющего булано-пегого меринка, и счастливый дед пообещал ребятам разыскать лучшие места для кормежки.

— Ничего, голубы, — сказал он, — мы этих конячат выходим. Перво-наперво, им надо поскидать подковы, подлечить холки, почистить, как полагается, а самое главнейшее — кормить хоша бы листом и поить вовремя.

Андрей и Рома не отходили от коней ни на шаг. Прикусив губы, они следили за тем, как дед Силыч большими клещами сорвал с побитых конских копыт истертые подковы, как осторожно намазал дегтем вспухшие, кровоточащие, потерявшие шерсть холки, как бережно и ласково стал чистить меринов куском рваной мешковины.

— Копыта у них потрескались — видно, по мощеным дорогам ходили, — озабоченно сказал Силыч. — Надо бы коровьим маслицем копыта смягчить, ну да где же ты ныне масло найдешь? Смажем покудова дегтем да аккуратночко обобьем долотцом...

Вертясь вокруг каракового мерина, робко оглаживая его ладонью, Андрей нащупал привязанную к подрезанному конскому хвосту фанерную бирку, на которой расплывшимися фиолетовыми чернилами было написано «Бой» и стоял номер — 369.

— Это, значит, такое его прозвание, кличка то есть, — объяснил Силыч. — Ты его, Андрюха, так и зови. Войсковые кони завсегда до своего имени-прозвания привычны.

— А у моего тоже есть досточка, и написано «Жан»! — с восторгом сообщил Рома.

— Ну дак что ж, раз написано, значит, Жан и есть, — снисходительно кивнул дед.

Ему, должно быть, очень хотелось узнать кличку своего чубарого, но он для солидности помедлил, а потом не выдержал и сказал ребятам:

— Давайте до моего сходим, поглядим, какая у него фамилия.

Они пошли в низкую дедову конюшенку, ощупали пышный хвост понуро стоявшего мерина, но, кроме привязанного к пасме белых волос обрывка шпагата, ничего не нашли.

— Смотри ты, какая оказия получается, — сокрушенно развел руками Силыч, — где-то, видать, угораздило его по-

терять бирку. Ну, не беда. Мы ему покрасивше фамилию дадим, чтоб не обидно было...

На рассвете дед побудил ставровских ребят, и они, позевывая и ежась от холода, пошли в конюшню. При их приближении оба мерина тихонько заржали. Силыч надел на них сшитые ночью недоуздки, ласково чмокая, вывел коней во двор, вложил в руки ребят веревочные поводья.

— Ведите, да помаленьку. На дороге склизко, а я их расковал, как бы ишо не попадали.

Дед забежал домой, вывел своего чубарого и пошел с Андреем и Ромкой к лесу. Кони шагали осторожно, часто останавливались и подолгу стояли, тяжело дыша и опустив головы.

— Загнанные конячата, — огорченно сказал Силыч, — и на передок покалечены. Это от запала. Тут уже ничего нельзя поделать, ноги им сгубили...

Когда пришли в лес, совсем рассвело. В лесу не было ветра, остро пахло влажной дубовой корой. На первой же поляне Кузя подняла тощего русака, и он, желтея сбитой на лежке шерстью, высоко вскидывая зад, понесся по ложбинке в кусты и пропал в белесом тумане. Над густыми зарослями молодого дубняка взлетели и потянули в низину первые грачи.

Силыч снял с коней недоуздки, свистнул, махнул рукой:

— Нехай идут! Ежели бы они на коней были похожи, их надо бы спутать, а эти, бедняги, никуда от нас не денутся. Им небось и ходить трудно.

Он повернулся к ребятам:

— Замерзли? А мы сейчас костерок разожгем, погреемся. Ну-ка, собирайте сушняк!

Через полчаса на поляне жарко горел костер. Сухо потрескивали сучья, пахучий дымок белым столбом поднимался к небу. Андрей и Рома согрелись, отодвинулись от костра.

Кони походили, пофыркали, стали нехотя подбирать палые листья, шевеля их мягкой подвижной губой.

— Так-то, голубы мои, — глядя на огонь, сказал дед Силыч, — каждая живая тварь все чисто понимает, только сказать не может. Вот возьмите, к примеру, эти конячата или же ваша Кузя. Встрелись они на вашей дорожке, ласку от вас получили и от разу вроде породнились с вами. Ить у них все устроено аккурат так же, как и у вас: и печенка работает, и сердце стукает, и кровь течет по жилам. Ежели у них боль какая, они стонут и даже плачут, ежели радость —

смеяться могут, это по ихним глазам видать. Так же они и деток родят, все равно как и люди, так же трудную свою службу справляют, а когда смерть приходит, помирают, однако, как и мы...

— А мой Жан приведет лошат? — спросил Ромка, заглядывая деду в глаза.

— Дурачок ты, Роман, — засмеялся Силыч. — Ить твой Жан мерин, жеребец холощеный, а для рождения лошат матка требуется, кобылица...

Лежа на отцовской стеганке, Андрей вдыхал запах коры, дымка, солоноватого конского пота, вслушивался в то, что говорил дед Силыч, и сам не мог понять: отчего все кругом так хорошо, почему хочется валяться на прожженной, пропахшей гарью телогрейке, хочется смотреть, как в сизом, совсем близком небе, свиваясь в темные клочья, набухают влагой, медленно плывут куда-то по-весеннему низкие облака? Он лежал, шевелил хворостиной обгорелые сучья в костре, переворачивался на живот и украдкой, чтоб не видели дед и Ромка, жадно принюхивался, как пахнет сырая, еще не отмякшая, белеющая множеством корешков земля.

— А ты, Андрюха, чего землю носом роешь? — усмехнулся дед Силыч. — Земля, она, голуба моя, тоже живая. Правда, правда! Она ить и воду пьет, и родит, и спать на зиму ложится, а весной обратно просыпается...

Кроме деда и ставровских ребят в лес водили коней многие огнищане — Николай Комлев, дядя Лука, Павел Терпужный, Кондрат Лубяной. Они часто сходились где-нибудь на поляне, сгребали кучи листьев, расстилали армяки и полушубки и, усевшись поудобнее, заводили разговор о разных делах: о недавней войне, о земле, о трудном времени.

А время действительно подходило трудное. Чем теплее пригревало мартовское солнце, чем ближе к весне подходили дни, тем беспощаднее и острее давал себя знать голод.

На огнищанском кладбище каждую неделю кого-нибудь хоронили. Из Пустополья приезжал одряхлевший, желтый, как свеча, поп Никанор. После прошлогоднего ранения у него плохо двигалась правая рука. Он судорожно махал погасшим кадилом, угрюмо читал молитвы и уезжал, не сказав никому ни слова.

Зато отец Ипполит никогда не пропускал случая поговорить с людьми. Стоя над гробом, он вдруг поворачивался к толпе и ронял как бы невзначай:

— Вот... сбывается все, что сказано в писании... Забыли небось? А ведь в писании писано: «И стал я на песке мор-

ском и увидел выходящего из моря зверя. И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана была ему власть». Слышите? И дальше сказано, что зверь имеет рог и начертание на правой руке...

Ипполит горестно смотрел на посинелое лицо мертвеца, вслушивался в бабий вой и говорил, картинно подняв руку:

— Разве не сбылось это всё? Вышел на нас зверь, и рог у него на суконной шапке, а начертание на рукаве — багряная звезда. Вы сами видите, богохулен этот зверь, и власть ему дана, и губит он голодом всех христиан...

Бабы плакали, целовали отцу Ипполиту пахнущую душистым мылом руку и расходились по домам, уныло опустив закутанные платками головы.

— Правильно поп говорит, все пропадем, — всхлипывали они.

В ночь под благовещенье, двадцать пятого марта, в Огнищанке произошел случай, который чуть не стоил жизни председателю сельсовета Длугачу. Виною всему была старая Шабриха, жена многодетного бедняка Евтихия Ивановича Шаброва.

Евтихий Шабров жил в низкой, длинной, как сарай, избенке. Старший сын Шабровых, Петр, только недавно вернулся из армии, спутался с гулящей соседской девкой Даркой и ушел с нею в деревню Калинкино. Средние дочки-подростки, Лизавета и Васка, помогали по хозяйству, а четверо малых детей невылазно сидели на печи.

В доме хозяйничала Шабриха, изнуренная трудной жизнью, злая баба. Высокая, сгорбленная, с тонкими, как палки, ногами, она целый день возилась то в избе, то в подворье, сердито покрикивала на безответного мужа, смертным боем избивала детей и никогда ни с кем из огнищан не говорила ни слова. Если ей случалось встретить кого-нибудь на улице, она закрывала платком бескровные, плотно сжатые губы и отворачивалась.

Огнищанские старухи в один голос говорили, что Шабриха ведьмует, что она все может — накликать на человека порчу, отнять у коровы молоко, сглазить младенца.

Эта самая Шабриха, когда у нее в один день померли двое меньших мальчиков, затеяла страшную историю. Вечером под благовещенье она ходила по дворам, вызывала к воротам старух и бормотала угрюмо:

— Надо опахать деревню... Запречь в плуг беременную бабу и на ней опахать. Иначе подохнем... Я знаю... Мне видение было...

Старухи плакали, шушукались, всплескивали руками, бегали по избам, что-то готовили.

В эту ночь почти все мужики ушли в лес с конями. Снег уже стаял, и земля лежала черная от влаги, вязкая и холодная. С вечера над прудом взошла красная луна, но потом из-за леса подул ветер, и по звездному небу загуляли темные обрывки туч.

Дед Силыч с Андрюшей Ставровым пасли своих меринов на ближнем краю леса. Ромка на этот раз остался дома. Андрей, прижавшись к Силычу, сладко спал под теплым дедовым армяком. Неподалеку в гущине монотонно пофыркивали кони.

Вдруг Андрею показалось, что где-то очень далеко зазвучал и растаял слабый, дребезжащий звук. Он толкнул локтем Силыча:

— Деда! Что это?

Силыч зевнул, скинул с себя армяк, прислушался. В деревне кто-то яростно бил по жести. Сквозь голые ветви дубков видно стало, как возле Огнищанки, на выгоне, замельтешили огни.

— Что за нечистый дух? — протер глаза Силыч. — Чего там стряслось? Может, пожар? А тут, как на грех, все мужики далеко ушли. Чего ж нам делать, Андрюха?

Он вскочил, растерянно затянул ремешок на штанах.

— Давай-ка побежим, поглядим, чего там деется. Кони никуда не уйдут, а мы мигом назад.

Сунув тяжелый армяк под кусты, они побежали в деревню. За ними кинулась встревоженная собака.

Добежав до кладбища, дед Силыч и Андрей остановились как вкопанные.

Мимо кладбища, освещенная конопляными факелами, с вилами и косами медленно двигалась толпа огнищанских баб. В середине глухо гудевшей толпы, просунув голову в хомут, наклонясь вперед и волоча за собой плуг, шла голая Матрена Кущина, жена уехавшего в лес Петра. Волосы ее растрепались, закрыли лицо, одна рука сжимала ременную постромку, а другая, бессильно опущенная, моталась, как неживая. Матрена была беременна, на шестом месяце, ее выпуклый живот жутко розовел, из-под хомута выпирали тугие, тяжелые груди. Четыре худые женщины, припряженные с боков, по две с каждой стороны, помогали Матрене тащить плуг. Одна, в разорванной кофте, простоволосая, придерживала плуг за чепигу и пригоршнями бросала в борозду зерно. Остальные бежали вприпрыжку, колотили кулаками в

тазы, в ведра, в облупленные чугуны, размахивали зажженной конопляной куделью, хлопали кнутами.

Сзади всех, семеня босыми ногами по темной нити борозды, шла старая Шабриха. Задрав голову, обратив к небу залитые слезами глаза, она сипло, натужно подвывала:

— На крутой горе высоко-ой кипят котлы кипучие... В тоих котлах кипучи-их... горит огнем негасимым... всяк живот поднебесный...

Шабриха спотыкалась, тонкими руками ловила воздух, в груди у нее клокотало, хрипело, а из открытого рта вырывался всхлипывающий вой:

— Вокруг котлов кипучи-их стоят старцы старые... Поют старцы старые... про живот, про смерть, про весь род человечий...

Женщины с плугом медленно прошли мимо кладбища, и следом за ними по затоптанным бурьянам потянулась еле заметная в темноте кривая борозда.

— Чего это они? Побесились? — испуганно зашептал дед Силыч.

Андрей окаменел возле кладбищенского плетня. Перед его глазами, освещенная огнями, все еще стояла страшная, пугающе-прекрасная фигура запряженной в плуг Матрены. Впервые в жизни он так близко увидел голую женщину, ее живот, плечи, ноги. Он слышал истошные крики, хлопанье кнутов, нудное дребезжанье ведер, и ему захотелось кинуться в воющую толпу, припасть к Матрене, снять с ее шеи тяжелый хомут и, плача от гнева, бежать с ней куда-нибудь в лес, подальше от этих криков и грохота.

Когда женщины повернули от кладбища к деревне, к ним подбежал полураздетый Илья Длугач. Он остановился, поднял руки и закричал:

— Стойте! Куда ж это вы? Очумели? Стойте, вам говорят!

Он кинулся на толпу, попытался остановить передних, отшвырнул кого-то в сторону. Вдруг среди стуков, сопения и возни раздался пронзительный женский вой:

— А-ааа! Вот он самый, зверь рогатый! Бе-ей его!

Среди пляшущих огней мелькнули косы, вилы, топоры. Длугач метнулся назад, сбил кого-то с ног и, преследуемый ревущей, осатанелой толпой женщин, побежал в деревню.

К утру все стихло. Вокруг Огнищанки, от пруда до рауховского парка, через старые огороды и лощинки, по скату холма, опоясывая избы замкнутым кругом, чернела неглубокая борозда.

— Ноне через эту борозду до нас не пройдет ни смерть, ни мор, ни голод, — облегченно вздохнула старая Шабриха.

На заре из леса вернулся с лошадьми Петр Кущин. Ему рассказали обо всем, что произошло ночью, и он смертным боем избил Матрену. Илья Длугач попробовал поговорить с женщинами, но они, завидев его, надвигали на глаза платки и отворачивались.

3

В просторном бревенчатом бараке тускло светит подвешенный к потолку керосиновый фонарь. На стенах барака вытертые до блеска пилы, в углу свалены грудой тяжелые топоры, ломы, лопаты. На широких деревянных нарах тощие, залежанные матрацы, а под матрацами русские и австрийские винтовки, немецкие карабины, казачьи клинки, брезентовые подсумки с патронами.

Вокруг барака, на крутых склонах гор, чернеет непроходимый лес, а в заваленной снегом лесной чащобе вырыты низкие, дымные землянки. В землянках вповалку спят, ворочаются наморенные казаки.

В офицерском бараке тоже дымно и темно. Но тут от стены до стены протянулся стол, в углу стоит самодельный жестяной умывальник, рядом вешалка, на которой висят шинели, плащи, стеганки, а слева сложенная из дикого камня печка.

Сидевший у печки человек в защитном френче зевнул, подошел к нарам:

— Не спишь, Максим?

— Какой там, к черту, сон! — глухо отозвался с головой накрытый шинелью Максим Селищев. — В боку лемит — сил нет. Должно быть, простыл я давеча. Надо бы спирта с перцем хлебнуть, да где его возьмешь?

Он откинул с худого смуглого лица полу шинели.

— А ты, Гурий, чего не ложишься?

Высокий Гурий Крайнов почесал густо заросшую светлыми волосами грудь, стиснул большие губы, зашагал по бараку.

— Не спится мне, Максим. Осточертело все, тошно глядеть на этот дурацкий лес, на каторжную работу, на всю нашу вшивую казару [1]. На кой мне ляд братушки болгары и их лесные промыслы? На Лемносе и то веселее было, там

[1] Казара — пренебрежительное прозвище донских казаков.

хоть подобие армии оставалось — форма, поверки, звания. А тут казаки превратились в батраков-лесорубов.

— Мы ведь сохранили оружие,— сказал Максим, зевая.

— А что толку? — отмахнулся Крайнов.— Ходишь по просеке и оглядываешься, как бы тебе какой-нибудь казачок не всадил пулю в спину, как есаулу Самсонову... Нет, братец мой, благодарю покорно! Пройти всю германскую и гражданскую, а потом сковырнуться от пули нашего раздорского или кочетовского [1] обормота не очень заманчиво. Будь они прокляты!

— Что ж ты думаешь делать? — равнодушно спросил Максим.

Крайнов скинул с плеч засаленные от пота подтяжки, присел на нары, наклонился к Максиму:

— Думка у меня такая: послать к чертовой матери эти болгарские леса и мотнуться в Сербию. В пограничной страже служат кавалеристы нашего генерала Барбовича, они любого пропустят за бутылку ракии [2].

— Ну а в Сербии что ты будешь делать?

— В Сербии, братец мой, дело найдется, — оживился Крайнов. — Там поселился наш верховный, он, говорят, что-то готовит. Во всяком случае, у него можно получить стоящую работу.

Максим вздохнул:

— Ложись спать, Крайнов, завтра рано вставать...

Он повернулся на бок, прикрыл голову шинелью, долго слушал, как по бараку шагает есаул Крайнов, и невеселые, тягучие, как смола, мысли стали одолевать его. «Пусть делает что хочет, — подумал он о Крайнове, — все равно один конец. Видно, наши косточки тут погниют...»

После трехмесячного пребывания на острове Лемнос, где на сыпучих песках и на красной глине покатых холмов осталось много казачьих могил, сложенных из дикого камня, бывший хорунжий Гундоровского полка Максим Селищев вместе со всеми донцами попал в Болгарию. Болгарское правительство согласилось принять эмигрантов-белогвардейцев с одним условием — чтобы они разоружились, распустили войсковые соединения и жили на положении «свободных беженцев». Эти условия были приняты, но белогвардейские части припрятали винтовки и пулеметы и под видом «рабо-

---

[1] Раздорская, Кочетовская — казачьи станицы на нижнем Дону.

[2] Ракия — болгарская водка.

чих команд» сохранили роты, эскадроны и даже полки. Правительство смотрело на все это сквозь пальцы, полагая, что «белые руснаки» помогут ему в борьбе против коммунистов.

В Великом Тырнове разместился штаб генерала Кутепова. Сам генерал снял в тырновском предместье маленькую дачу, но в городе, на стене дома № 701 по улице Девятнадцатого февраля, приказал в назидание солдатам и казакам прибить вывеску на французском языке: «Tribunal militair du 1-er corps de l'armée Russe»[1]. Этот «tribunal militair» приговаривал к расстрелу любого «добровольца», осмелившегося покинуть официально не существовавшую армию.

В Севлиеве расположился со своим Дроздовским полком двадцатисемилетний генерал Туркул, недавний юнкер, человек сатанинской отваги, жестокости и наглости. Он держал с собой «безрукого черта», генерала Манштейна, который помогал ему устраивать в Севлиеве дикие оргии.

Полуголодные солдаты и казаки разбредались по Болгарии в поисках куска хлеба. Они работали на угольных шахтах Перника, строили шоссе в Татар-Пазарджике, рубили лес в Балканских горах близ селений Гебеш и Джефер, обрабатывали свекловичные плантации в Дольней Ореховице. Они мотались по нищенским болгарским околиям, одетые в мундиры и френчи всех армий мира, озлобленные, пьяные, плачущие горькими слезами странников-попрошаек.

И все же донской атаман генерал-лейтенант Африкан Богаевский держал казаков в узде, вылавливал и расстреливал бегунов, под видом рабочих артелей посылал на лесные промыслы целые эскадроны. Он разослал по полкам секретный приказ, в котором писал:

«Невзирая на все невзгоды и тяжелые испытания, русская армия, в состав которой неразрывно входит Донской корпус, сохранила свои кадры. Когда Россия призовет к исполнению святого долга, в ее стальные ряды вольются все, кому дороги честь и свобода родины, все, которые с оружием в руках готовы идти на ее защиту. Поэтому приказываю немедленно произвести регистрацию всех военнослужащих и списки их направить мне».

Африкан Богаевский, сидя в комфортабельной квартире, болтал о родине, свободе, чести, то есть произносил самые высокие по смыслу слова, но те, к которым он с ними обращался, перестали верить атаману, потому что главным для

---

[1] Военный суд 1-го корпуса Русской армии.

них было добыть пищу, постирать белье и вернуться к покинутым в России семьям.

— Нехай господин атаман сам воюет, — хмуро говорили казаки, — а мы нынче и без него обойдемся...

— Он нам хлеба не даст...

— И детишков наших не воспитает.

— Пущай он повесится на осине вместе с атаманшей...

Так думали казаки-станичники, так думал и хорунжий Максим Селищев. Каждое утро он делал одно и то же: поднимал в землянках недовольных казаков, вместе с ними выпивал кружку заправленного свекольным соком кипятку, съедал черствый огрызок кукурузной лепешки и уводил взвод в лес, на делянку. Максим не отказывался от работы, как другие офицеры-гундоровцы. Он сам брал пилу, звал своего напарника, старого усть-медведицкого казака Никиту Шитова, и до вечера пилил с ним толстые, неподатливые ели и сосны.

Вокруг неумолчно стучали топоры, вжикали пилы. На затоптанный снег падали сырые, пахнущие смолой опилки. На полянах дымились костры, в них потрескивала, сгорала зеленая хвоя. Максим закрывал глаза, всей грудью вдыхал горьковатый смолистый запах и вспоминал о рождественской елке, о детстве, о далекой придонской станице, милой и отныне недоступной.

— Ну что, Шитов, — спрашивал он молчаливого урядника, — не скучаешь по станице?

Шитов вытирал ладонью пот, гладил рукой рыжеватую с проседью бороду и вздыхал, как запаленный конь.

— Как же, Максим Мартыныч, не скучать? — угрюмо говорил он. — Известное дело, скучаю. Ить она у меня одна, Усть-Медведицкая станица. Там ить баба осталась, дочка, там родители схоронены...

— Ничего, Арефьич, — ронял Максим, — ты-то, может, и увидишь когда-нибудь свою станицу, а вот я — никогда.

— Это отчего?

— Ну как же... Ты простой казак, тебя красные простят, а я офицер, хорунжий. Куда мне? Сразу скажут: «Золотопогонная сволочь, контра, палач...»

— Да ить ты, Мартыныч, ни в каких карателях не состоял, — резонно замечал Шитов, — чего ж тебя палачом именовать? Обратно же, и казаки поручительство за тебя дадут. Ты ить ни разу никого не ударил, не обидел, работаешь с простым народом...

Максим посматривал на суровое, каменное лицо старика, спрашивал с дрожью в голосе:

— А что, Шитов, казаки наши небось собираются до дому, только про это, должно быть, и думают?

— Так точно, Максим Мартыныч, — признавался Шитов, — казаки думку имеют вернуться. Есть, известно, такие, которые боятся красных, а мы про Дон день и ночь гадаем. Нам без земли и без родни невозможно...

Так думали казаки. Они писали домой письма, месяцами ждали ответа, тихо и упорно говорили о возвращении.

Иначе вели себя офицеры. Вечером, после работы, собираясь в бараке, они заводили бесконечный разговор о близком походе на Россию. Особенно горячился при этом одностаничник Селищева командир третьей сотни Гурий Крайнов. Грубоватый, резкий, он бегал по бараку, кричал притихшим товарищам:

— Вы трусы, холопы! Вам бы только бабу под бок, канарейку и гитару. Смотреть на вас тошно! Красные нахлестали вам морды, и вы заскулили, стали погоны сбрасывать, на работу пошли, как самые завалящие батраки...

— Ты там полегче на поворотах, — увещевал Крайнова лысоватый сотник Юганов. — Не забывай, что перед тобой офицеры, а не шпана!

Крайнов багровел.

— Офицеры! Дерьмо вы, а не офицеры! В лес попрятались, рабочими стали. Вот генерал Покровский собирал охотников для десанта в Совдепию — хоть один из вас пошел? Ни один. Я не мог идти, потому что меня тиф корежил, а вы почему в кусты полезли?

— А ты иди сейчас, — усмехался Максим. — Покровский еще не начал свою операцию. Он все к моторной яхте прицениватся и команду набирает. У тебя время еще есть.

Крайнов сердито махал рукой:

— Нет, братцы, теперь я иное задумал. Ну его к черту, Покровского, у него масштабы не те. Допустим, высадится он в Одессе или Новороссийске, перережет десяток большевиков и умотает сюда, в Болгарию. Какой из этого толк?

Он яростно швырял на нары френч и оглядывался на дверь.

— Тут другое намечается. Я получил письмо из Сербии. Молодой сербский король Александр не случайно пригрел в Белграде эмигрантов. Он ведь родственник нашего покойного Николая, воспитывался в Петербурге.

— Ну и что?

— Теперь Александр мечтает о русском троне. — Крайнов понижал голос до шепота: — Он сговаривается с Врангелем о походе. Мне писал один друг по фронту: вали, говорит, Гурий, к нам, мы с Врангелем не пропадем...

Офицеры посмеивались, недоверчиво покачивали головами, говорили о генералах, о России, о водке и женщинах, но никто не выражал желания отправиться с Крайновым в Сербию.

— Твой Врангель балда! — вспылил однажды Максим.— Уж если он просадил Крым, имея огромную армию, то с кучкой пьяных бездельников и подавно ничего не сделает. Все это пустая болтовня...

К полночи в бараке становилось тихо. В печке потрескивали дрова, под потолком, в сизом облаке табачного дыма, тускло светился фонарь. Стоял крепкий, как спирт, запах мужского пота, влажных портянок, немытого тела. Максим долго ворочался, думая о Марине, о станице, вспоминал обидные слова Крайнова. «Нет,— думал он,— старый Шитов прав, надо собираться домой, хватит! А Крайнов? Что ж, Крайнов по-своему тоже прав. У него ненависть к большевикам, у меня ее нет. Зачем мне Врангель? Пусть Крайнов идет к Врангелю, а мне пора домой, в станицу...»

Он думал так, и вместе с тем страх леденил его грудь, черной кошкой скреб сердце, шептал на ухо: «Иди, иди! А чекисты свяжут тебя, увезут в поле и шлепнут, как бешеную собаку. Если тебе этого хочется — иди...»

Лежавший рядом с Максимом Крайнов тоже мучился бессонницей. Но он думал не о России, не о жене, которую оставил в далекой Кочетовской, не о друзьях. Его беспокоило другое: как пробраться в Сербию, увидеть Врангеля и сразу попасть в привычную с детства обстановку полковой жизни? Есаул Крайнов искренне верил в свое высокое назначение и считал, что никто другой не сумеет помочь Врангелю начать большую игру, в которой снова будут боевой азарт, свобода, вино — все, к чему привык и что больше всего на свете любил молодой есаул.

С мыслью о Врангеле Крайнов засыпал...

Барон Врангель действительно готовился, но совсем не к тому, о чем мечтал в лесном бараке незнакомый ему есаул.

Потеряв армию, Врангель поселился в Топчидере, дачном пригороде Белграда, где приобрел похожую на дворец вил-

лу. Генерал мог не стеснять себя — в руках у него оказались неисчерпаемые средства.

Еще в 1917 году в кубанский город Ейск была эвакуирована петроградская ссудо-сберегательная касса. Сокровища этой кассы — золото, серебро, хрусталь, картины — по приказанию Деникина увезли из Ейска в югославский порт Катарро. Тут ценности поступили в распоряжение бежавшего в Сербию барона Петра Николаевича Врангеля. Барон решил распродать все эти ценности — от золотых иконных риз до серебра Петроградского монетного двора.

Маклерами были барон Тизенгаузен и князь Долгоруков. Они быстро нашли покупателей. Англичане купили семьдесят ящиков серебра по пятнадцать пудов каждый, а богатые американцы решили приобрести основные ценности. Но, боясь огласки, предупредили Врангеля:

— Все драгоценные изделия надо обратить в лом, чтобы не осталось никаких следов.

— Хорошо, — сказал барон, — мы все превратим в лом.

Для этой секретной «работы» Врангель пригласил сорок строго проверенных офицеров, и они трудились два месяца — ломали золотые часы, сплющивали топорами кофейники, портсигары, вазы, подносы, гнули клещами ножи и ложки, вынимали из иконных риз изумруды и рубины, разбивали молотами похоронные венки. Американский пароход увез из Катарро в Нью-Йорк семьсот ящиков. Барон Врангель получил за это пятьдесят миллионов франков и начал исподволь осуществлять свой тайный план.

Топчидерская дача Врангеля стала центром секретной деятельности русских белогвардейцев. Тут проводили ежедневные совещания ближайшие помощники «верховного главнокомандующего» — ведающие врангелевской контрразведкой генералы Климович и Глобачев, полковники из контрразведки Рязанов, Тарасевич, Кашкин. Сюда приезжали Кутепов, Богаевский, Улагай, Покровский, Туркул.

На этой скрытой от людских взоров даче была организована террористическая группа «Белая рука», перед которой Врангель поставил цель уничтожать деятелей Советского государства. Генерал Улагай создал тут «отряд 69» — банду отпетых авантюристов — для «наиболее важных операций», то есть для убийств, диверсий, поджогов, провокаций.

Сюда, на топчидерскую дачу, протянулись нити из Парижа, Лондона, Берлина, Нью-Йорка, Харбина. Здесь знали всё: чем закончился съезд монархистов в Рейхенгалле и с какой лекцией выступил профессор Милюков, приглашен-

ный для антибольшевистских докладов в Америку; чем занимается в мюнхенском имении майора Кохенгаузена донской генерал Краснов и за что китайцы посадили в тюрьму сибирского атамана Бориса Анненкова; здесь были в курсе сложной, скрытой возни на всех политических задворках Европы, Азии и Америки.

Время от времени «верховный главнокомандующий» назначал приемы. В большой зал топчидерской дачи съезжались бывшие сенаторы, генералы, фрейлины, царские дипломаты. Престарелый митрополит Антоний у раскладного алтаря служил панихиду по убиенному российскому самодержцу и всем членам царского дома, павшим от руки «крамольников».

Перед панихидой стройный ротмистр-адъютант распахивал тяжелую внутреннюю дверь и возглашал, мягко грассируя:

— Его высокопревосходительство!

Барон Врангель входил в зал в белой черкеске с золотыми газырями, с малиновыми отворотами на рукавах, высокий, молчаливый, недоступный. Чуть позванивая шпорами, он становился впереди и задумчиво опускал голову с сияющим пробором. Лицо у него было длинное, строгое, с беспощадными темными глазами и резким, оттененным усами ртом.

— Бог мой, какой рыцарь! — шептали дамы, посматривая на статную фигуру «верховного».

— Он поведет нас и победит...

— Он спасет бедную, заблудшую Россию...

Истово воздевая руки, молился митрополит Антоний, изящно кланялись и крестились дамы, шептали молитвы одетые в мундиры и фраки старики, и всем им казалось, что благоухающий духами человек в белой черкеске только скажет слово — и сразу вернется доброе старое время: повалятся на колени покорные русские мужики, молча поплетутся в тюрьмы революционные рабочие, исчезнет Ленин...

На банкете Врангель поднимал наполненный шампанским хрустальный бокал с императорским вензелем и говорил резким голосом:

— Верьте, господа! Верьте в то, что распятая большевиками Россия будет снята с креста. Так будет, господа, ибо светлое знамя белого движения держат чистые руки...

А после банкета, когда расходились по домам подвыпившие гости, Врангель уединялся в кабинете и диктовал почтительно изогнувшемуся генералу Климовичу:

— Пишите, генерал: «Ввиду того, что советские представители приглашены на конференцию в Геную... у нас появилась возможность... ликвидировать видных большевистских деятелей — Чичерина, Воровского, Литвинова, Красина и других... Соответственно с прилагаемым списком...»

Врангель поднимал к глазам руку, сгибал пальцы и, рассматривая остро подрезанные ногти, продолжал тихо:

— Наша рука... должна стать карающей десницей... Поименованных в списке большевистских эмиссаров мы уничтожим любым способом: взрывом поезда, который будет следовать в Геную через Германию... или надлежащими действиями отдельных лиц, вооруженных револьверами с разрывными пулями...

Однажды вечером генерал Климович доложил Врангелю, что прибывший из Болгарии есаул Гундоровского казачьего полка Гурий Крайнов просит принять его по весьма важному делу.

— Я с ним беседовал, — сказал Климович. — Этот человек может принести немалую пользу. Он готов на все и желает только получить личное одобрение вашего высокопревосходительства.

— Хорошо, — кивнул Врангель, — попросите его.

Не вставая из-за стола, барон протянул вошедшему Крайнову руку, зорко взглянул в изможденное лицо есаула и сказал, значительно растягивая каждое слово:

— Мне доложили о вас. Я ценю ваше желание послужить делу спасения родины. Мы предоставим вам возможность совершить святой подвиг.

Он повернулся к стоявшему у стола генералу Климовичу:

— Выпишите есаулу три тысячи динаров, прилично оденьте его и познакомьте с этим...

— Слушаюсь, ваше высокопревосходительство! — щелкнул каблуками генерал Климович.

В этот же вечер Крайнова вежливо проводили в отдельный флигель, скрытый в глубине сада. Там его встретил высокий человек с лошадиным лицом и водянистыми, безжизненными глазами. С трудом ворочая длинной челюстью, поглаживая зализанные остатки белесых волос, человек сказал Крайнову деревянным голосом:

— Мы поедем вместе с вами. Меня зовут Морис Морисович Конради. Заходите, пожалуйста.

В то время мыкался, скитался по земле бедствующий народ. Тысячи немцев, чехов, австрийцев, китайцев, болгар, эстонцев бежали за океан, в Америку, а там их томили в карантинных тюрьмах на острове Элис-Айленд, прозванном «Островом слез»... Тысячи эмигрантов — итальянцы, японцы, французы, ирландцы, сербы — умирали от дизентерии в Бразилии, Канаде, Аргентине. Тощие, как скелеты, покорные судьбе, тысячами гибли голодные индусы. Мексиканцы, негры, поляки откочевывали в Оклахому, Техас, Миссури, жили в товарных вагонах, умирали под мостами от тифа. Американцы-батраки бродили по картофельным полям Вайоминга и Монтаны, ползали в воде на плантациях Хеммонтона, питались гнилой требухой, спали в ящиках на берегу озера Мичиган.

Многие люди верили в то, что всемогущий бог в незапамятные времена сотворил мир. Они чтили священные книги, в которых было написано, что бог создал мужчину и женщину и сказал им: «Наполните землю и господствуйте над ней, и обладайте рыбами морскими, и зверями, и птицами небесными, и злаком, порождающим семя, и деревом плодоносящим».

Однако люди не обладали ничем — ни землей, ни рыбами, ни злаками. Всеми богатствами владели немногие, те, у которых были деньги и власть. Для того чтобы удержать в своих руках земные блага, эти немногие сталкивали народы, затевали войны, убивали, калечили, грабили, истязали людей.

Устами своих священников, философов, учителей они внушали людям, что существующий строй установлен господом богом, и сотни миллионов разрозненных, забитых, голодных, бесправных людей долго и тщетно искали выход.

Выход был найден в России. Русская революция зажгла для человечества первую путеводную звезду.

Мировая буржуазия хотела убить революцию «крестовым походом» четырнадцати держав, вооруженными до зубов белыми армиями, бесчисленными бандами, террором. Это не удалось. В кровавых сражениях свободные народы России отстояли свою страну. Тогда буржуазия окружила молодую республику «санитарным кордоном», попыталась удушить ее голодом. Но и это не сломило силу и волю сбросившего ярмо народа. В нечеловеческих страданиях и нищете советский народ начал творить на своей разоренной земле новый

мир. Капиталисты предприняли третью, не менее губительную попытку: пользуясь голодом и разрухой, они решили навязать Советской России колониальный режим, опутать ее бывшими царскими долгами, концессиями, арендами, кабальными договорами, сбить с социалистического пути, «переродить», вновь повернуть на путь буржуазного развития.

Для этого советская делегация была приглашена на Генуэзскую конференцию.

Двадцать седьмого марта московские рабочие и красноармейцы вышли на вокзал проводить советских делегатов. Делегация должна была следовать по заранее установленному маршруту: Рига — Берлин — Генуя.

Стоял ясный, холодный вечер. Мостовые и тротуары сверкали скользкой наледью. На розовом небе бледно светились звезды. С хрустом давя тонкий ледок, по улицам проносились редкие автомобили.

Александр Ставров, одетый в просторное драповое пальто и шляпу, приехал на вокзал раньше срока. Он поставил небольшой саквояж в купе и вышел на перрон.

По перрону в одиночку и группами прогуливались рабочие, молодые красноармейцы. По всем направлениям рыскали дотошные продавцы пирожков, булок, баранок.

Красноармеец с забинтованной рукой, заметив стоявшего у вагона Александра, подошел к нему и спросил грубовато:

— Ты, товарищ, делегат или же из публики?

— Я не делегат, но еду с делегацией, — неохотно сказал Александр.

— А кто ж ты будешь?

Чувствуя себя стесненно в непривычной одежде и досадливо поглядывая на красноармейца, Александр объяснил:

— Я дипкурьер.

— Понятно, — кивнул красноармеец.

Он подошел ближе, провел здоровой рукой по начищенной до блеска медной ручке вагона и тронул Александра за рукав:

— Так вот что я тебе скажу, товарищ. Вы там, это самое, ворон не ловите. Я эту буржуйскую сволочь знаю. Гляжу вот на вас и думаю: едут ребята к черту в пасть, как бы чего не случилось.

Голос его потеплел, и он, заглядывая в лицо Ставрову, стал с ним прощаться, как, наверно, прощался с друзьями перед близким боем:

— Ну ладно, товаришок, ладно. Езжай. Ни пуха ни пера!

Мы и отсюдова будем подпирать вас всем народом, чтобы вы там покрепче себя чувствовали...

К вагону в окружении засуетившихся людей прошла группа делегатов в черных пальто и мягких касторовых шляпах: смуглый, с нервным, подвижным лицом Чичерин, худощавый, с кудрявой белокурой бородой и чистыми, ясными глазами Воровский, слегка сутуловатый Красин, грузный, тяжело шагающий Литвинов.

Александр видел, как окруженный рабочими Воровский, поблескивая золотыми очками и мягко улыбаясь, говорил что-то, от чего люди тоже улыбались и одобрительно кивали головами. Александр подошел ближе, и до него сквозь гомон и шум донеслись слова Воровского:

— Мы это знаем, товарищи. Без этого нам было бы очень трудно. Спасибо. Вашу поддержку мы будем чувствовать каждую минуту...

Сняв шляпу и помахивая ею, Воровский вошел в вагон. Провожающие тоже замахали кепками, треухами, руками, выкрикивали напутственные слова, перебивая друг друга и теснясь у подножек вагона.

Раздался пронзительный свисток паровоза. Александр вскочил на подножку. Старый рабочий в фуфайке, чисто выбритый, строгий, поддерживая стоявшего в тамбуре Воровского за полу пальто, заговорил быстро и возбужденно:

— Вы им там напомните всё: и колчаковские расстрелы, и голод, и то, как японцы грабили Сибирь, а англичане да американцы — Мурманск. Нечего с ними разводить церемонии. Так прямо и доложите: мы вам, дескать, такой счет предъявим за все наши муки, что у вас капиталов не хватит расплатиться... У меня у самого сына в Одессе греки повесили, а жена и дочка с голоду померли... Разве за это можно расплатиться?

Лязгнули буфера. Мерно подрагивая на стыках, поезд медленно тронулся, а старый рабочий все еще шагал рядом с ним, держал Воровского за пальто, и Воровский, грустно и ласково улыбаясь, слушал его...

Сергей Балашов позвал Александра в купе:

— Иди, Ставров, там проверяют документы.

Балашов умел носить штатский костюм: пиджак на нем сидел превосходно, галстук был подвязан безукоризненно, брюки не теряли ровно отглаженную складку. Зато на Ваню Черных жалко было смотреть: стесненный своим костюмом, он неподвижно сидел в углу купе, боясь вытянуть руку, ше-

вельнуться, привстать, чтобы, не дай бог, не измять брюк или не замарать белый воротничок крахмальной сорочки.

— Скинь ты воротничок к черту, Ванюшка, — засмеялся Александр, — до Риги далеко, разве ты выдержишь?

— Ох, не говори! — вздохнул Черных, ворочая белобрысой стриженой головой. — Это же наказание какое-то. На кой ляд мне сдалась эта окаянная крахмалка? Что я, с Керзоном за ручку здороваться буду или Ллойд Джордж меня на чай позовет?

— Как знать, может, и позовет, — серьезно сказал Балашов.

Черных осторожно снял с себя пиджак, брюки, сорочку, прыгнул на верхнюю полку и улегся, наслаждаясь ощущением свободы. Балашов сел у столика с книгой в руках. Александр выкурил папиросу, походил по вагону, потом тоже прилег и уснул.

Утром поезд долго стоял на какой-то крупной станции, дожидаясь смены паровоза. На станции не оказалось угля, и потому сменный паровоз опоздал на три с лишним часа. Александр проснулся, умылся заледеневшей водой и прошел в соседний спальный вагон.

Поезд медленно полз среди засыпанных снегом лесов. У окна, откинув зеленую шелковую штору и прижав ее плечом, стоял Воровский. Он задумчиво смотрел на мелькающие за окном белые деревья, глаза у него были устало прищурены, а на высоком лбу лежала резко очерченная морщина.

Александр поздоровался. Воровский кивнул, движением головы указал на окно:

— Март месяц, а смотрите — зима.

— В этом году зима продержится долго, — почтительно отодвигаясь, сказал Александр, — так говорят старики.

Воровский провел рукой по седеющим волосам.

— А я, признаться, больше всего люблю весну... Веселое время... С детства люблю весну, такую, знаете, чтоб вода шумела, чтоб зеленели деревья и небо чтоб было синее-синее...

Он вздохнул застенчиво и радостно.

— Хорошо!

Обдавая заснеженный лес черным облаком дыма, поезд полз все дальше на запад...

В Риге и Берлине советская делегация задержалась на несколько дней. Выполняя указания Ленина, народный комиссар иностранных дел Чичерин принял участие в корот-

кой конференции Прибалтийских государств, а затем должен был вступить в переговоры с германским правительством по вопросу о предстоящей Генуэзской конференции.

Представители Финляндии уклонились от встречи в Риге, заявив, что «лед на Финском заливе непрочен», а делегаты Польши, Латвии и Эстонии два дня маневрировали, спорили по каждому пункту переговоров, но все же Чичерину удалось уговорить — после длительных диспутов они признали желательным «согласование действий» на Генуэзской конференции.

В субботу первого апреля поезд с советскими делегатами прибыл в Берлин. Чичерин попытался сразу же встретиться с официальными лицами, но те, очевидно, не торопились; они явно выжидали чего-то.

Утром в воскресенье Ставров с Балашовым и Ваней Черных бродили по Берлину. Посмотрели музей искусств на Александерплац, кайзеровский дворец, тяжеловесный памятник Вильгельму I; они прошли к Бранденбургским воротам и, задрав головы, долго разглядывали высоченный обелиск Победы, на вершине которого сияла золоченая статуя женщины с венком в руках.

Проходя Кёпеникерштрассе, Александр почувствовал голод и предложил Балашову и Черных где-нибудь позавтракать. Они быстро отыскали закусочную и расположились за угловым столом. Это было одно из многочисленных заведений Ашингера — низковатый, но чистый, прохладный зал с деревянными столами и высокой стойкой, за которой молча посасывал трубку неторопливый немец в белом колпаке.

В зале держался устойчивый запах пива и табака. Справа у окна чинно восседала чопорная семья: пожилой, похожий на чиновника мужчина в роговых очках, высокая женщина с большими руками и двое детей — мальчик и девочка. Когда на их столе появилась тарелка с двумя окутанными паром сосисками, мужчина в очках, аккуратно оттянув рукава пиджака, взял нож, вилку, прищурил глаз, точно прицелился, и стал сосредоточенно делить сосиски. Себе он положил самый большой кусок, жене — поменьше, а покорно ожидавшим детям — совсем маленькие кусочки.

— Danke, Vater[1], — в один голос сказали вежливые мальчик и девочка.

Семья начала завтрак. Мужчина придвинул к себе круж-

---

[1] Благодарю, отец (*нем.*).

ку с пивом, жене — поменьше, а детям — третью, маленькую кружку.

— Стесненно живут! — сказал Ваня Черных. — У нас в Сибири котята больше едят.

— Ваши сибирские котята не платят репарационных налогов, — заметил Балашов. — У них же налоги на все: на сосиски, на театры, на табак.

Ваня пожал плечами:

— Невеселая жизнь! Значит, придется им с Чичериным договор подписывать, иначе куда они подадутся?

Канцлер Вирт и министр иностранных дел Ратенау приняли Чичерина в понедельник. Они пригласили советских делегатов на официальный завтрак, были очень любезны, сочувственно говорили о бедственном положении России и Германии, но от переговоров пока воздержались, видимо надеясь на то, что в Генуе «ситуация прояснится».

Прощаясь, Чичерин сказал Ратенау:

— Вы напрасно надеетесь на так называемую гуманность Ллойд Джорджа или Пуанкаре. Оба они весьма деловые люди.

Все же на встрече в Берлине советские и германские представители договорились, что в Генуе «обе делегации будут поддерживать тесный контакт».

В ночь на четвертое апреля советская делегация выехала из Берлина в Геную.

Чем дальше на юг шел поезд, тем ярче бросались в глаза первые признаки весны. Уже перед Мюнхеном исчезли последние пятна снега. В небе сияло теплое солнце. На влажных ветвях деревьев неясно зазеленели почки. На каждый паровозный гудок в лесистых холмах откликалось, откатываясь и утихая, звонкое эхо.

На широком перроне мюнхенского вокзала вагоны, в которых ехала советская делегация, окружила гогочущая орава фашиствующих молодчиков. Не обращая ни малейшего внимания на невозмутимых шуцманов, подвыпившие парни в ярких кашне и шляпах выкрикивали ругательства, плевали на стекла закрытых окон.

В этой толпе вместе со своим кузеном Конрадом Риге оказался и Юрген Раух. Он стоял, широко раздвинув ноги, сунув руки в карманы, и под свист и улюлюканье товарищей скандировал по-русски:

— Красно-пу-за-я сво-лочь! Бан-ди-ты!

Генуя встретила русских нестерпимо синим, сияющим морем, жарким солнцем, лилово-зелеными гребнями гор,

острым запахом пряных цветов и гниющих водорослей. Зажатый крутыми склонами Лигурийских Апеннин, город с его мрачной готикой высоких дворцов, узкими, кривыми переулками, покрытыми мхом крепостными стенами словно приник к заливу. Он вонзился в морские просторы острыми белыми молами, маяками, карантинами.

В Генуе с тревогой ждали приезда советских делегатов. Это были первые посланцы «загадочной и страшной страны», которая задалась целью разрушить старый мир и звала за собой всех трудящихся. Прибывшие в Геную «послы Ленина» вызывали у итальянских правителей острое любопытство, ненависть и страх.

Боясь того, что «ленинские делегаты» заразят генуэзских рабочих большевизмом, итальянский премьер Факта увеличил военный гарнизон Генуи на 25 тысяч карабинеров, королевских гвардейцев, гусар и драгун. Для того чтобы пресечь всякую возможность общения генуэзцев с опасными большевиками, советскую делегацию разместили отдельно от всех, далеко от города, в приморском курорте Санта-Маргарета.

— Мы выбрали для вас самое очаровательное место Италии, — сказал Чичерину господин Факта, прижимая руку к сердцу.

В течение нескольких дней Генуя превратилась в центр мира. Сюда съехались представители тридцати четырех стран. Они прибыли с бесчисленными переводчиками, секретарями, корреспондентами, военными и гражданскими разведчиками, сыщиками, наблюдателями. За ними потянулись сотни дельцов, заокеанских и европейских владельцев нефтяных промыслов, коммерсантов, маклеров. Никем не приглашенные, сюда из разных городов мира притащились алчущие реванша белогвардейские политики, бывшие русские фабриканты, помещики. Точно на богатый курорт, слетелись стаи модных красавиц, проституток. В мрачных и глухих закоулках поселились готовые ко всему террористы.

У беломраморных фасадов Palazzo Ducale, Palazzo Rosso, на широкой площади собора San Lorenzo, вокруг бронзовых памятников Колумбу и Мадзини шумела, кружила бесчисленная толпа людей, ожидавших важных событий.

Генуя, вся Италия, весь мир ждали: что скажут, как поведут себя «послы Ленина», которых предусмотрительно поселили в Санта-Маргарета? Ведь их позвали сюда для того, чтобы обуздать, связать, поставить на колени...

Десятого апреля 1922 года, в три часа пополудни, в большом зале генуэзского дворца Сан-Джорджо итальянский премьер Факта открыл пленум конференции. После него, шаркая подагрическими ногами, медленно поднялся на трибуну главный инициатор и устроитель конференции Ллойд Джордж.

Сутулый, широкоплечий, с белой как снег головой и розовыми, до блеска выбритыми щеками, он постоял, щуря умные светло-голубые глаза, потом заговорил веско:

— Европа, истощенная яростной борьбой, страшными убытками и потерей крови, еще и сейчас несет колоссальное бремя недавней войны. Законная торговля, коммерческая деятельность и промышленность везде и повсюду находятся в состоянии упадка и дезорганизации. На Западе безработица, на Востоке голод и чума...

Он посмотрел в сторону советских делегатов и продолжал, нажимая на слова:

— Страдают народы всех рас, страдают все классы.

Заметив мелькнувшую на лице Чичерина улыбку, Ллойд Джордж добавил:

— Одни страдают больше, другие меньше, но так или иначе страдают все. Европа нуждается в отдыхе, тишине и спокойствии. Иными словами, ей нужен мир...

Ллойд Джордж красиво, внушительно говорил об экономической разрухе, о голоде, о страдании многих народов, о мире, и по тому, как внушительно и красиво он говорил обо всем этом, видно было, что старый умный человек озабочен тем, чтобы тонкая и сложная игра, которую он начал, закончилась выгодно для него и его партнеров.

После Ллойд Джорджа, бесцветно и тускло жонглируя общими фразами о мире и единении, выступили французский министр иностранных дел Луи Барту, представитель Японии виконт Исии и делегат Бельгии Тенис. Затем взял слово германский канцлер Вирт. Похожий на пастора, Вирт говорил о непосильной тяжести наложенных на побежденную Германию репараций, причем говорил так долго, что Балашов тихонько толкнул под бок Александра Ставрова, сидевшего с ним на верхней галерее:

— Слышишь? Как видно, канцлер Вирт решил перенести всю тяжесть германских репараций на своих слушателей.

Наконец председатель Факта с любезной улыбкой на лице объявил на английском языке:

— The chief-delegate of Soviet Russia mister George Chicherin [1].

По огромному залу словно волна морского прибоя пробежала. Зашелестели бумаги, задвигались стулья, и вдруг мгновенно воцарилась гробовая тишина.

На трибуну всходил посол самой загадочной для правителей Европы страны мира.

Множество перекрестных взглядов остановилось на Чичерине. Он был внешне спокоен, но по выражению напряженности на его подвижном лице все почувствовали, что советский делегат взволнован.

Чичерин поднял оттененную белой манжетой сухую смуглую руку. Вероятно, в эту минуту он вспомнил напутствие Ленина: «Не произносите страшных слов, не пугайте их. Самое главное — прорвать кольцо вокруг нас и вернуться хотя бы с одним торговым договором...»

— Оставаясь на точке зрения принципов коммунизма,— сказал Чичерин, — российская делегация признает, что в нынешнюю историческую эпоху, делающую возможным параллельное существование старого и нарождающегося нового социального строя, экономическое сотрудничество между государствами, представляющими эти две системы собственности, является повелительно необходимым для всеобщего экономического восстановления...— И, повысив голос, он бросил в притихший зал: — Идя навстречу потребностям мирового хозяйства, Советская Россия готова предоставить богатейшие концессии — лесные, каменноугольные и рудные. Имеет она возможность сдать в концессию и большие пространства сельскохозяйственных угодий.

— Вы слышали? — встрепенулись корреспонденты.

— Это интересно!

— О нефти он не упомянул?

— Кажется, нет...

И вдруг делегат большевистской страны, которую все обвиняли в разрушительных тенденциях, в подготовке «вооруженного нападения на цивилизованные страны», заявил на широкой международной конференции:

— Российская делегация намерена предложить вам всеобщее сокращение вооружений и поддержать всякое предложение, имеющее целью облегчить бремя милитаризма, при условии сокращения армий всех государств и дополнения

[1] Глава делегации Советской России господин Георгий Чичерин (англ).

правил войны полным запрещением ее наиболее варварских форм: ядовитых газов, воздушной вооруженной борьбы и других, в особенности же применения средств разрушения, направленных против мирного населения...

Это заявление Чичерина было встречено молчанием. Поднялся только Луи Барту — тот самый, который только что произносил красивые слова о мире.

— Вопрос о разоружении не стоит в порядке дня, — раздраженно сказал он. — И если русская делегация предложит рассматривать этот вопрос, она встретит со стороны французской делегации не только сдержанность, не только протест, но точный и категорический, окончательный и решительный отказ.

Журналисты на корреспондентских скамьях оживились. По выражению лиц Барту понял, что его заявление было бестактным, излишне откровенным и раздражающим. Ллойд Джордж попытался шутками и остротами рассеять неприятное впечатление от речи своего коллеги, но никакие остроты не смогли затемнить главного — Франция резко выступала против предложения советского делегата сократить вооружение.

На следующий день началась работа комиссий и подкомиссий. Советским делегатам был предъявлен заранее составленный доклад лондонских и парижских экспертов о путях «восстановления России и Европы». Требования экспертов сводились к тому, чтобы Советская Россия уплатила не только все царские долги, но и долги сбежавшего из страны Керенского, чтобы все национализированные предприятия были возвращены их владельцам, чтобы Советское правительство отменило монополию внешней торговли и создало для иностранцев привилегированное положение. На этих условиях англичане и французы согласны были предоставить России заем и вести с ней торговлю.

— Далекий прицел, — сказал Чичерин, прочитав объемистый доклад.— Они явно хотят установить у нас колониальный режим.

— Это, если хотите, ничем не прикрытая экономическая интервенция, — возмутился Литвинов, — то есть прямое продолжение разгромленной нами военной интервенции, но только в новых, более тонких и опасных формах.

Перелистывая толстые папки, Воровский постучал пальцами по столу:

— Доклад экспертов не является официальным докумен-

том. Они, очевидно, считают его базой для обсуждения. Но это равносильно ультиматуму.

Перед вечером к Литвинову были вызваны дипкурьеры Черных и Фролов. Они получили пакеты с донесениями Ленину и ночью выехали в Москву.

Конференция продолжала работу, но весь механизм ее напоминал плохо настроенный орга́н: как обычно, заседали комиссии и подкомиссии, комитеты и подкомитеты, писались протоколы, отправлялись сотни шифрограмм, устраивались пресс-конференции, но все это вертелось на холостом ходу, так как советская делегация потребовала времени для детального ознакомления с пресловутым докладом экспертов.

Между тем Ллойд Джордж с ворчливым добродушием уговаривал Чичерина:

— По-моему, у вас нет никаких причин для беспокойства. Сейчас все мы признали, что внутреннее устройство России есть дело самих русских и никого не касается. Во время Французской революции для такого признания потребовалось двадцать два года. Вы добились его на четвертом году. Так ведь?

— Подобное признание, — улыбаясь, ответил Чичерин, — исключает только одну форму вмешательства — военную интервенцию, которая, кстати, исключена нами помимо желания ее недавних инициаторов. Однако есть другие, не менее острые формы вмешательства.

Щеки Ллойд Джорджа зарумянились.

— Допустим. Но ведь в данном случае я имею в виду пожелания экспертов — мы не ставим цели изменять избранный Россией социальный строй.

— Об этом в докладе, конечно, ничего не говорится, — ответил Чичерин, — но это напрашивается как неизбежный вывод.

На вилле «Альбертис», где со своими секретарями разместился Ллойд Джордж, почти каждый день устраивались официальные завтраки, обеды, ужины. Веселые лакеи-итальянцы, размахивая фалдами фраков, сияя белоснежными пластронами, разносили вина, засахаренные фрукты, макароны с сыром. Тут, на вилле «Альбертис», Ллойд Джордж пытался поодиночке уговорить неподатливых делегатов. Он был в курсе всего, держал все нити политики в своих руках. Он упрашивал, угрожал, произносил то пышные, то сентиментальные речи.

Однажды в минуту откровенности он прямо сказал несговорчивому Луи Барту:

— Я не допущу развала конференции. Когда я вернусь в Англию, два миллиона безработных тотчас же спросят меня, что я для них сделал.

— Согласен, — сердито возразил Барту. — Но англичане имели в России гораздо меньше предприятий, чем мы. А вот я если вернусь в Париж с пустыми руками, то тысячи держателей русских ценностей спросят меня, что я для них сделал...

По всему было видно — конференция заходила в тупик. Делегаты малых стран тщетно искали встреч с сильными мира, забрасывали их секретарей униженными просьбами, выпрашивали подачки. Американский наблюдатель мистер Чайлд аккуратно высиживал на всех заседаниях, следя, как коршун, за тем, чтобы, не дай бог, кто-нибудь не перехватил у русских бакинскую нефть и не лишил «Стандард ойл» возможных солидных доходов. Истеричные меньшевики-эмигранты, клевеща на Советскую Россию, писали Ллойд Джорджу бесконечные меморандумы. Демонстративно одетые в черкески и папахи, грузинские и азербайджанские беглецы во главе с Ноем Жордания бегали по виллам, ловили министров в коридорах и запальчиво требовали «полного отделения Кавказа». Террористы в темных закоулках сосредоточенно тянули коньяк, дожидаясь условного сигнала.

Вся эта пестрая орава хлопотливых, юрких, злобных политиканов носилась в автомобилях, в колясках, сговаривалась в кулуарах конференции, шантажировала, клеветала.

Хуже других чувствовала себя германская делегация. Молчаливый, холодный Ратенау жалел о том, что не договорился с советской делегацией в Берлине. В глубине души он еще надеялся на то, что секретный план его соотечественника генерала Гофмана будет встречен благоприятно, но с каждым днем надежда эта таяла.

— На фантастическом плане Гофмана надо поставить крест, — заявил Ратенау в разговоре с Виртом. — Англичане и французы не захотят ввязываться в новую войну против Советов. Нам следует искать другие пути, чтобы не оказаться в полной изоляции. Если мы не найдем этих путей, Германия погибнет...

— Что ж, подписывать договор с Чичериным? — угрюмо спросил Вирт.

Ратенау безнадежно махнул рукой:

— Я боюсь этого договора как огня.

Как и все делегаты, немцы нетерпеливо ждали: что ответит Чичерин на те дерзкие, непомерные требования, ко-

торые были предъявлены России в докладе экспертов? Каждый понимал, что от ответа советского делегата зависит судьба конференции.

Наконец ответ был оглашен. Если союзники предъявили Советской России счет на восемнадцать миллиардов рублей (причем всякими махинациями превысили действительную сумму царских долгов ровно на одну треть), то Советское правительство огласило свои контрпретензии, потребовав уплату за все разрушения и убытки, причиненные России интервентами.

— Какая же сумма вас удовлетворит? — нетерпеливо воскликнул Ллойд Джордж.

— При самых скромных подсчетах, округляя цифры, мы требуем уплатить нам тридцать миллиардов золотых рублей, — спокойно ответил Чичерин.

— Вами названа поражающая сумма! — возмутился Ллойд Джордж. — И я полагаю, что с такими предложениями вам незачем было ехать в Геную...

На вилле «Альбертис» снова начались узкие совещания, на которые не были допущены представители прессы.

Германская делегация была совершенно подавлена. Итальянские журналисты сообщили Вирту и Ратенау, что, по всем данным, Россия пришла к соглашению с Англией и Францией, а Германия осталась в полном одиночестве.

Бледный как смерть Вальтер Ратенау сказал Вирту:

— Если все это верно, мы погибли...

Германские делегаты Вирт, Ратенау, Мальцан, Симонс, Гаус весь вечер совещались в гостинице и в полночь, растерянные, разошлись по своим комнатам.

В два часа ночи лакей разбудил советника Мальцана:

— С вами желает говорить по телефону джентльмен с очень странной фамилией.

— Кто же? — уныло спросил Мальцан.

— Он назвал фамилию: Тши-тше-рин.

— Чичерин?!

Мальцан вскочил с кровати, накинул черный халат и кинулся к телефону.

Подняв трубку, он услышал голос Чичерина и, волнуясь, не сразу понял его слова:

— Господин Мальцан? Если вам ничто не помешает и у вас будет желание, приглашаю вас посетить меня в воскресенье... Думаю, что мы сумеем обсудить возможности соглашения между Германией и Россией.

Решив, что Чичерин потерпел на вилле «Альбертис» не-

удачу, Мальцан взял себя в руки и ответил безразлично-вежливым голосом:

— Благодарю, господин Чичерин, но... дело в том, что в воскресенье день святой пасхи... Я, как религиозный человек, должен пойти на богослужение.

— Смотрите, — засмеялся Чичерин, — в погоне за царством небесным вы, господин Мальцан, можете утерять блага земные. Дело в том, что до известного времени у вас еще есть возможность получить для вашей страны право наибольшего благоприятствования в России.

— В таком случае, — меняя тон, проговорил Мальцан,— ради блага отечества я пожертвую своими религиозными обязанностями и в воскресенье буду у вас...

Мальцан взволнованно взбежал наверх и постучался в комнату Ратенау. Министр не спал. Желтый, с темными тенями под глазами, он расхаживал по комнате в полосатой пижаме. Открыв дверь Мальцану, Ратенау спросил с безразличием отчаяния:

— Вы, вероятно, принесли мне смертный приговор?

— Нет! — воскликнул Мальцан. — Я принес вам известие совершенно противоположного характера. Только что мне звонил Чичерин!

Задыхаясь от волнения, Мальцан передал свой разговор с Чичериным.

Краска медленно приливала к мертвенно-бледным щекам Ратенау. Глаза его заблестели. Он глубоко вздохнул и воскликнул:

— Сейчас я поеду к Ллойд Джорджу! Я расскажу ему все и, несомненно, приду с ним к соглашению.

— Погодите! Надо предупредить канцлера.

— Да, да! — крикнул Ратенау. — Немедленно пригласите канцлера и членов делегации.

Через несколько минут в комнату вошли сонный Вирт с узором от наволочки на щеке, Симонс, Гаус. Все они, как и Ратенау, были в пижамах и в туфлях на босу ногу. Началось совещание, которое досужие мемуаристы позже окрестили «пижамным совещанием».

Германские делегаты вели сложную игру. Они встретились с Чичериным и тотчас же сообщили об этом свидании Ллойд Джорджу. Но хитрый Ллойд Джордж на этот раз перехитрил самого себя, — слабо веря немцам, он не придал никакого значения их информации и подумал: «Нет, этим они меня не возьмут...»

Видя, что Ллойд Джордж не собирается изменять свою линию, понимая, что германская делегация танцует на острие бритвы, Вирт и Ратенау решили подписать договор с Чичериным. Другого выхода у них не оставалось. Повергнутая на колени Версальским договором, прижатая к стене грабительскими репарациями, Германия стояла на краю пропасти.

Шестнадцатого апреля Чичерин пригласил немцев в ближний приморский городок Рапалло для подписания договора.

Когда Ратенау спускался вниз, чтобы ехать в Рапалло, его догнал на лестнице молодой секретарь и сказал, с трудом переводя дыхание:

— Господин министр! Только что звонил Ллойд Джордж...

— Что ему нужно? — сдавленным голосом спросил Ратенау.

— Он, господин министр, сказал так: «Я желал бы возможно скорее увидеть Ратенау. Удобно было бы ему — то есть вам, господин министр, — прийти сегодня на чашку чая или завтра утром к завтраку?»

Сложная игра не прекращалась.

Ратенау в глубоком раздумье постоял на лестнице, потом махнул рукой и ответил ничего не понявшему секретарю:

— Поздно, молодой человек. Вино налито, надо его пить...

В теплый весенний день в отеле, из окон которого было видно ясное, густой синевы море, советским дипломатам, выполнявшим указания Ленина, удалось пробить первую брешь в железном кольце врагов — они подписали договор с Германией. По этому договору Советская Россия и Германия взаимно отказывались от возмещения всех расходов и убытков, причиненных войной. Они немедленно устанавливали дипломатические отношения и соглашались применять принцип наибольшего благоприятствования в торговых и хозяйственных отношениях. Германия при этом отказывалась от своего требования возвратить национализированную промышленность в России бывшим германским собственникам...

Рапалльский договор потряс всех участников Генуэзской конференции. Никто из союзников не ожидал такого резкого поворота событий. Генуя стала похожа на потревоженный муравейник.

«В Генуе наступило глубокое остолбенение», — телеграфировал обозреватель «Ревю де Монд» месье Пинон.

«Рапалло» — это чудовищный пинок конференции», — резюмировала «Таймс».

«Большевики союзников надули!» — кричал американец Стид.

«Что поразило всех — это почти дерзкая смелость, с какой большевистскими дипломатами было проведено это дело», — признавался англичанин Сэксон Миллз.

Мировая печать была полна самых фантастических, крикливых и тревожных сообщений о Рапалло.

Один из ближайших сотрудников Ллойд Джорджа, мистер Грегори, заявил прямо:

— Из-за Рапалло нами в самом начале генуэзских переговоров были потеряны все шансы на единый фронт против большевизма...

Ратенау, боясь шума, который может произвести опубликование Рапалльского договора, попытался смягчить впечатление, произведенное этим договором на Ллойдж Джорджа, и стал просить Чичерина аннулировать договор, но тот спокойно и твердо возразил:

— Договор подписан, и вряд ли есть смысл вести вокруг этого излишние дискуссии. Я советую вам, господа, не нервничать и не ставить себя и Германию в неловкое положение...

Под давлением Барту и Ллойд Джорджа восемнадцатого апреля немцам была направлена нота протеста, в которой Вирт и Ратенау обвинялись в том, что они «тайно, за спиной своих коллег, заключили договор с Россией».

В этот же вечер Александр Ставров был вызван к Воровскому.

— Вот вам пакет, — сказал Воровский, протягивая Ставрову белый, прошитый и покрытый печатями конверт, — вы сегодня повезете его в Москву и лично вручите товарищу Ленину.

Он поднял затуманенные усталостью глаза:

— Вам все понятно? Лично товарищу Ленину.

— Так точно, — по-военному ответил Александр.

Ночью дипкурьеры Александр Ставров и Сергей Балашов выехали в Москву.

6

Проводник вагона, в котором ехали дипкурьеры, мускулистый смуглый генуэзец с веселыми, лукавыми глазами,

сказал Балашову, немилосердно коверкая французские слова:

— Камраде! В селении Санта-Маргарета, где поселили русских, каждый вечер шляются какие-то бродяги. Я тоже живу в Санта-Маргарета и видел этих типов своими глазами. Слоняются вокруг отеля, все что-то высматривают и не вынимают лап из карманов.

— Но ведь там охрана? — поднял брови Балашов.

Веселый проводник подморгнул темным, как маслина, глазом:

— О, конечно! Ваших охраняют и карабинеры, и отряд королевских гвардейцев. Еще бы! Только я сам видел, как две подозрительные личности шушукались с синьором Стурцо, командиром карабинеров.

Прикрыв за собой дверь, проводник присел на диван и сказал, понижая голос:

— Камраде, меня зовут Пьетро Синни, я коммунист и знаю, что говорю. Рабочие и матросы Генуи не допустят, чтобы какая-то рвань стреляла в посланцев Ленина или поставила адскую машину в отеле «Санта-Маргарета». Уж этого-то мы не позволим, можете мне поверить!

Глядя на Балашова и Ставрова влюбленными глазами, застенчиво и почтительно притрагиваясь смуглой ладонью к их рукам, Пьетро сообщил им с гордостью:

— Вы, конечно, не знаете, что наши пикеты днем и ночью дежурят вокруг отеля «Санта-Маргарета». Нас много, камраде. Матросы военной гавани Дарсена-реале незаметно охраняют вас при выходе из дворца Сан-Джорджо. Шоферы такси, посадив в машины девушек-цветочниц, сопровождают вас из города в отель. Мы, железнодорожники, несем охрану ночью. Этого не знает никто: ни король, ни его гвардейцы, ни вы сами...

Веселый Пьетро долго тряс руки советским дипкурьерам, пожелал им доброй ночи и счастливого пути, а на прощание сказал:

— Вы спите спокойно, на границе я передам о вас нашим товарищам, они так же будут охранять вас в дороге...

Дипкурьеры горячо поблагодарили славного парня, но спать не легли. Рядом с ними на полке лежала драгоценная почта, за которую они отвечали своей жизнью, — опечатанная кожаная сумка, а в ней письмо Ленину.

Всю ночь Александр и Сергей Балашов не смыкали глаз. Окно купе было наглухо закрыто. Наверху, на потолке, неярко светила лампочка; под полом монотонно и глухо посту-

кивали тяжелые колеса. За окном одна за другой проплывали станции, обозначая себя лучами света, мелькавшими в узких просветах коричневой оконной шторы.

— Знаешь, Сергей, — раздумчиво сказал Александр, — вот прожили мы в Италии три недели, а мне кажется, что я не был дома давно-давно. И жил я как во сне: все здесь не такое, как у нас, все представляется таким, будто я вычитал это в какой-то старой книжке.

Привалившись плечом к стенке вагона, покачиваясь от толчков, Александр вспоминал Огнищанку, брата Дмитрия, Марину.

День прошел спокойно. В десятом часу Александр разрешил Балашову (Балашов ехал с ним как помощник) поспать не раздеваясь. Балашов слегка распустил галстук, сунул под подушку браунинг и мгновенно уснул. Поезд шел по узкой равнине, зеленеющей стрелками молодой травы. Бело-розовые на вершинах, бурые и лиловые внизу, сияли Альпы.

Посматривая на сумку, лежащую рядом с ним, Александр думал о Генуе, о Чичерине, о Воровском. Он повторял себе слова Воровского: «Пакет передайте лично товарищу Ленину» — и пытался представить, как он, дипкурьер Ставров, войдет в кабинет Ленина, как будет рапортовать о прибытии из Италии и что при этом скажет Ленин.

«Только бы довезти пакет, только бы ничего не случилось в дороге», — с тревогой думал Александр.

Когда стемнело, он разбудил Балашова, задернул шторой окно. Они открыли коробку консервов и неохотно поели.

— Ты бы прилег, — сказал Балашов, — а то вид у тебя пикудышный. Того и гляди, с ног свалишься.

Александр упрямо мотнул головой:

— Нет, посижу. Дома отосплюсь, когда сдам пакет...

Заметив на лице Балашова выражение досады, он добавил мягко:

— Ты не обижайся, Сережа. Я тебе доверяю, а только, понимаешь, не могу я заснуть. Вдруг что-нибудь случится? Лучше я посижу, хотя бы до нашей границы.

— Не сходи с ума! — вспылил Балашов. — Что я, маленький мальчик? До границы еще двое суток, не меньше. Разве ты выдержишь?

— Выдержу, — проворчал Александр.

После полуночи кто-то едва слышно постучал в дверь купе. Балашов, поглядывая на Александра и загородив со-

бой вход, слегка приоткрыл дверь. В коридоре стоял проводник-немец, сменивший на границе веселого генуэзца Пьетро.

Посвечивая фонарем, немец пробормотал:

— Геноссен!

Он не знал, как объяснить русским, что произошло, тыкал рукой по направлению к входной двери вагона, поднимал два пальца вверх, потом опасливо кивал на никелированные задвижки купе.

— Немец говорит, что два каких-то человека следят за нашим купе, — бросил через плечо Балашов. — Он просит, чтобы мы заперли двери и никуда не выходили.

— Ja, ja [1], — обрадованно кивнул проводник.

— Это, наверное, те самые, что выслеживали нас в Санта-Маргарета, — сказал Александр. — Надо держать ухо востро!

Ставров был прав. В полутемном тамбуре соседнего вагона, одетые в щегольские серые пальто, стояли есаул Гурий Крайнов и его новый друг Морис Конради. На протяжении ночи они несколько раз подходили к запертой двери купе советских дипкурьеров, прислушивались, курили сигары. Но всякий раз, как Крайнов и Конради входили в вагон, хмурый проводник-немец просил их выйти и занять места, обозначенные на билетах. И они, перешептываясь и усмехаясь, выходили.

В Мюнхене проводник вызвал Александра из купе. Рядом с проводником в коридоре стоял пожилой, сурового вида немец — машинист. На его крупном носу поблескивали стальные очки, под носом, жесткие, прокуренные, лохматились седые усы. Увидев Александра, машинист скупо улыбнулся и, с трудом подбирая слова, заговорил по-русски:

— Товарищ! Я есть старый рабочий, и я знаю, как плохо живут русские дети, у которых нет хлеба. Я хочу передавать им мой маленький подарок. Прошу вас, пожалуйста, взять это... Больше я передавать не могу... у меня ничего нет...

Он расстегнул черную фланелевую куртку, достал из внутреннего кармана массивные серебряные часы с толстой цепочкой и с вырезанной на крышке надписью.

— Вот, — сказал машинист, подняв часы на ладони. — Это мне давали за двадцать пять лет моей работы. Тут написано мое имя — Якоб Ольбрих. Так меня зовут. Прошу вас передавать эти часы русским детям.

---

[1] Да, да (*нем.*).

Заметив, что Александр колеблется, машинист багрово покраснел и смущенно и торопливо открыл обе крышки часов.

— Прошу посмотреть. Тут ничего плохого нет. Это честный подарок.

Александр, встретив взгляд машиниста, взял часы и крепко пожал руку старика.

— Спасибо, товарищ Ольбрих, — сказал он, — я передам ваш подарок.

— Я прошу еще, — помедлив, проговорил машинист,— передавать от немецких рабочих привет товарищу Ленину...

Оба старика чопорно поклонились Александру и вышли из вагона.

До Москвы дипкурьеров никто не беспокоил, но Александр так и не успел выспаться. Уже переехав границу, он попытался лечь и уснуть, но, закрыв глаза, тотчас же вскакивал и смотрел, цела ли сумка. Как Балашов ни успокаивал его, он отмахивался и бормотал:

— Ладно, Сережа, ладно. Вот вручу пакет, тогда уж отосплюсь за все дни.

На московском вокзале их встретил приехавший из наркомата Снегирев. Как ни старался он казаться невозмутимым, широкая улыбка выдавала его радость. Он обнял Александра, потом Балашова, похлопал их по плечам и закричал:

— Молодцы, ребята! Поехали!

Старенький, раздерганный «бенц» с пробитыми стеклами, немилосердно гремя оборванными подкрылками и посапывая поршнями, помчал их в Кремль.

— Отправляйся прямо к Владимиру Ильичу, Ставров, — сказал Снегирев. — Мы с Балашовым подождем тебя в приемной.

Оформление пропусков, длинный путь к вымощенному камнем кремлевскому двору, короткие ответы Снегирева на вопросы сидящих за столами людей — все это показалось Александру сном.

— Счастливый ты, — со вздохом тронул его за рукав Балашов.

— Ладно! — сочувственно посмотрел на него Снегирев. — Идите вместе, а я вас подожду.

Лицо Балашова расцвело румянцем. Он легонько ударил Александра по плечу:

— Слышишь, Саша? Вместе пойдем!

В небольшой, скромно обставленной приемной пожилой секретарь сказал негромко:

— Придется подождать немного. У Владимира Ильича товарищ Дзержинский.

— А вы доложите, — посоветовал Снегирев, — пакет от товарища Чичерина, и очень срочный. Приказано вручить тотчас же.

Через минуту секретарь вышел из кабинета.

— Прошу...

Взяв пакет и от волнения не видя идущего рядом Балашова, Александр открыл дверь.

Ленин сидел в отодвинутом от письменного стола кресле, положив ногу на ногу и охватив руками колено. Рядом с ним, у окна, в защитной гимнастерке, подпоясанной ремнем, стоял Дзержинский. Они обернулись на стук двери и замолчали, выжидая.

— Товарищ Ленин! Дипкурьеры Александр Ставров и Сергей Балашов, — громко отрапортовал Александр, и ему показалось, что он не слышит своего голоса.

— Здравствуйте, товарищи, — приветливо сказал Ленин.

— Разрешите вручить дипломатический пакет, переданный для вас лично народным комиссаром иностранных дел товарищем Чичериным.

— Слышите? — засмеялся Дзержинский. — Фронтовая выучка сразу видна.

Он подошел ближе и спросил у Александра:

— На каком фронте были, товарищ?

— На царицынском, товарищ Дзержинский, потом на северном и на польском, — смущенно и радостно ответил Александр.

Ленин вскрыл пакет, посмотрел на Дзержинского, усмехнулся:

— То самое, чего мы с вами ожидали. С благословения американцев союзники ведут к тому, чтобы свернуть конференцию или хотя бы перенести ее на дальний срок.

— Это естественно, — сказал Дзержинский. — Им надо время, чтобы перетасовать карты. Рапалло спутал им всю игру.

— Разрешите, товарищ Ленин? — ужасаясь своей смелости, проговорил Александр.

— Что скажете? — спросил Ленин.

Александр вынул из кармана часы.

— Когда мы стояли в Мюнхене, немец машинист Якоб Ольбрих просил передать вам привет, а эти часы — на хлеб голодным детям...

Дзержинский взял часы, поднес их к глазам.

— «За двадцатипятилетнюю службу», — задумчиво обронил он. — Старый рабочий.

— Спасибо, товарищи, — сказал Ленин, поднимаясь с кресла. — Идите отдыхать. У вас впереди очень много работы. Завтра вы поедете обратно в Геную...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1



иолетово-черный, с вороненым подгрудьем грач каждое утро раскачивался на вершине корявого вяза. Влажный апрельский ветер обдувал грача со всех сторон, лохматил мягкое, с дымчатым пухом подхвостье, валил птицу с тонкой ветки. Переступая чешуйчатыми, крытыми жесткой роговинкой лапами, гибко сжимая когтистые пальцы, грач цепко держался за ветку, гортанно кричал в небо. Железного оттенка, острый как нож клюв, белесые залысины до самых глаз — след долгой работы землекопа — говорили о том, что крепкая, видавшая виды птица не первую весну встречает в этих, чуть всхолмленных покатыми высотками, изрезанных балками и синими перелесками полях.

На вершине вяза хорошо пахли тугие пупышки нежных почек, пятнилась, набухала избытком соков бурая кора. Внизу, испещренная белым пометом, подсыхала, источая сырой запах прели, красноватая листва. На ближних и дальних деревьях хлопотали, возились, неумолчным гомоном славили солнце птицы. А вокруг неоглядно синело давно не паханное поле, и на нем сквозь редкий, ломкий старник уже пробивались бесчисленные стрелки молодой травы.

Среди множества крикливых спутников далекого, трудного перелета грач давно приглядел себе веселую, говорливую грачиху. Они вдвоем натаскали на толстый вязовый развилок обломки сучьев, уложили их крестовинами, вымостили ошметками палой коры, мягкими корнями подсохшей на межах наволочи. После свадебной игры грачиха положила в теплую падину гнезда шесть зеленоватых, усеянных пепельно-коричневым крапом яиц.

— Ну-ка, Андрюха, бери котелок да поедем в лес за грачиными яйцами, — щурясь на солнце, сказал дед Силыч. — Грач, сынок, он без капризов, все равно что курица. Ты вы-

бери из его гнезда яйца, он их опять нанесет, не покинет свое гнездовье. А нам с тобой питаться куды как надо. Вот, значит, и заявимся мы в лес яичек собирать.

— Может, там уже грачата есть? — усомнился Андрей.

Дед мотнул головой:

— Не, для грачат рановато. Яйца сейчас свеженькие, хоть на базар неси.

Захватив алюминиевый солдатский котелок, Андрей и Ромка сели на коней и шажком поехали в лес. Сзади всех трусил на своем чубаром дед Силыч. За последний месяц кони понемногу стали набирать силу. Они еще были худы, как скелеты, но холки их зарубцевались, заросли розовой, молодой кожей, ввалившиеся глаза повеселели, движения стали более уверенными.

Лес оживал с каждым днем, и всякий раз ребята замечали в нем новое, то, чего не видели вчера. В кустарниках, как звезды, замелькали цветы ядовитой пролески. Под густым слоем прелой листвы выткнулись головки ранних грибов. Вчера еще на голых осинах лихо торчали вверх тугие, бахромчатые, с пурпурным рыльцем сережки, а сегодня они вытянули тонкие стерженьки, поникли, прикрывая собою пыльцу. Только недавно ребята бродили с дедом по холодным супесям лесной опушки, и там ничего не было, а через неделю на сугреве голубыми и синими огоньками засветились цветы медуницы.

— Смотри, Ромка, какой я гриб нашел! — кричал Андрей, вороша ногами листву.

— А я видел гадюку на пеньке, — с видом заговорщика шептал Ромка. — Скрутилась в кольцо и выгревается на солнце.

Дед Силыч добродушно посмеивался:

— Это уж ты брешешь, голуба! Гадюка полезет, когда земелька по-настоящему согреется.

Подвязав через плечо котелки — один свой, другой дедов, — мальчишки лазили на деревья, под оглушительный крик тучей летавших грачей выбирали из гнезд яйца, в кровь обдирали колени, вдоль и поперек располосовывали сшитые из мешковины брючишки. Дед Силыч, разложив костер, жарил на сковородке яишенку, сдабривал ее крупной, смешанной с махорочными крошками солью, которую он выгребал из карманов своей заплатанной стеганки.

Уплетая вкусную, заправленную разными кореньями яичницу, слушая дедовы рассказы, ребята все больше привыкали к лесу и полю. Им не хотелось возвращаться домой, и

они готовы были построить на опушке шалаш и коротать тут дни и ночи.

Дед Силыч не смолкал ни на минуту. Истосковавшись в одиночестве, он крепко привязался к ставровским ребятам, исподволь приучал их к тому, что считал нужным и важным.

Если они бродили в осиннике, дед, колупая ногтем свинцово-зеленоватую молодую кору, бубнил назидательно:

— Из осины можно выделывать добрую дранку, крыть ею дома... И колесный обод из этой осины хоть куда, и оглобли, и санные полозья, скрозь она пользу человеку приносит.

Попадался Силычу желтый цветок мать-и-мачехи, он склонялся над ним и подзывал ребят:

— Вы небось не знаете, откудова эта травина прозвание свое получила? Таким именем люди ее окрестили за листочки. Листок у нее позднее проклюнется — сверху зеленый, гладкий и холодный, вроде мачехи, а снизу троньте — будто беловатым войлочком подбитый, теплый да ласковый, прямо сказать, мама родная. Так, значит, и назвали травину — мать-и-мачеха. Она здорово от кашля помогает. Выпей ее настой — и любую простуду как рукой снимает...

Лежа где-нибудь на солнечном склоне лесного овражка, вслушиваясь, как неподалеку кони хрумкают пырейной свежинкой, дед Силыч любил рассказывать о том, как его родная Огнищанка жила в старое время.

— И лес этот, и все поля кругом, — говорил дед, — все было бариново. Франц Иваныч был тут хозяином надо всем чисто. Сам он, конечное дело, жил не тужил: свой конный завод держал, обратно же продажей скота занимался, овечек выгуливал. Хотя домок у него и старенький был — вы теперь в нем живете, — а было в этом дому все: и кресла с бархатом, и ковры на полах позастелены, и граммофоны скрозь стояли — в какой хочешь, в такой и играй... А наш брат мужик, — вздыхал Силыч, — только, можно сказать, концы с концами сводил. И темнота у нас была такая, что ни один подписать свое имя-фамилию не мог, кресты на бумагах ставили.

Чаще всего дед жаловался на то, что в Огнищанке неправильно поделена земля, и грозился написать об этом Ленину.

— Вы прикиньте, как ноне у нас получается, — со всей серьезностью говорил он ставровским ребятам. — Вроде у барина землю сконфисковали, а пользы никакой. Лучшие поля у Антона Терпужного или же у Тимошки Шелюгина оказались. А наш брат бедняк, обратно, на солотинах да на

балках крутиться должон. Разве ж это правильно? Разве ж такое указание Ленин давал нашим партейным товарищам?

— Ленин стоит за бедняков, — решил Андрей. — Значит, и земля у них должна быть самая лучшая.

— То-то и оно...

Через несколько дней деду Силычу пришлось и словом и делом участвовать в переделе земли.

Из волости в Огнищанку прибыла землеустроительная комиссия. В нее входили волпродкомиссар Берчевский, землемер Звигунов, флегматичный, носатый, как ворона, старик, и вечно пьяный волостной агроном Шпак.

Берчевский собрал на сход всех огнищан и объявил:

— К нам от огнищанских граждан стали поступать письма с жалобами на неправильное распределение земли. Хотя перед самой посевной и не очень хотелось бы заниматься этим делом, волисполком решил провести у вас новый передел земли из расчета полторы десятины на каждого едока.

Оглядев лица огнищан, не предвещавшие ничего хорошего, Берчевский решил разговаривать поменьше и предложил:

— В нашу землеустроительную комиссию надо кооптировать двух местных граждан. Мы совместно с ними набросаем наметки нового передела, а сход потом утвердит. Нет возражений? Тогда называйте выборных.

И, не дожидаясь ответов, забормотал невнятной скороговоркой:

— Есть предложение членом комиссии избрать товарища Терпужного Антона Агаповича. Я думаю, что никаких возражений против этой кандидатуры...

— Погоди, голуба, не шебурши,—досадливо стукнул палкой дед Силыч. — Зацокотал вроде сороки и гонишь невесть куда. Тут, мил человек, штуковина сурьезная, кандидатурой не обойдешься.

— Чего ж ты хочешь, дед? — еле ворочая осовелыми глазами, басом спросил агроном Шпак.

Дед Силыч поднялся, протиснулся из задних рядов вперед.

— А то я хочу, дорогой товарищ-гражданин, чтоб мы, значит, сами свою земельку по едокам разбили. Мы, голуба моя, без кандидатуры разберемся, иде у нас драгоценное поле, на котором чего хочешь вырастет, а иде завалящая солотина или же балка такая, что любой конь ноги повыломает...

— Следовательно, вы комиссии не доверяете? — возмутился Берчевский.

— Так точно, именно не доверяем! — радостно подтвердил Силыч. — С какой же милости мы ей должны доверять, ежели мы ее не знаем? Тут, товарищок, надо обмозговать всем скопом: пройти по полям, списки с собой взять, сажень изготовить, перемер скрозь поделать, а тогда разбить по дворам — кому чего выпадет по жеребкам или же по общему голосованию...

— Правильно, дед, правильно! — закричали со всех сторон.

Несколько наиболее зажиточных огнищан во главе с Антоном Терпужным попытались было поддержать Берчевского, но сход заволновался, поднялся шум, и председатель сельсовета Длугач сказал нетерпеливо:

— По-моему, надо выполнить желание граждан! Нехай они сами пройдут по всем полям и на месте обсудят, кому какой участок выделить.

Утром мужики отправились в поле. Шли нестройной толпой. Месили грязь на оттаявших промежках, бубнили, сговариваясь друг с другом, и каждый думал: «Кабы мне лучшая земелька припала...»

Впереди, в ватной стеганке и добротных, смазанных дегтем вытяжках, с деревянным сажнем в руках, степенно шагал Тимоха Шелюгин. Всю войну Тимоха пробыл на фронте, имел четыре «Георгия», потом служил в Красной Армии, а по возвращении женился и, не отделяясь от зажиточного вдового отца, стал хозяйничать в доме. Был он мягок, покладист, вежлив, от долгой солдатчины сохранил аккуратность в одежде.

Когда подошли к кустарникам, правее которых лежали лучшие рауховские земли — ровные как стол поля, — Тимоха Шелюгин и молчаливый дядя Лука обмерили весь участок. В нем оказалось шестьдесят три десятины.

— Ну чего же, аккурат тютелька в тютельку, — удовлетворенно сказал дед Силыч, — с семейством фершала у нас получается двадцать одно подворье. Значится, каждый хозяин могёт получить по три десятины.

Потом Шелюгин с Лукой обмерили неудобную для пахоты Солонцовую балку. На ее пологих склонах Раух когда-то выгуливал телят и овец. Тут с одной и другой стороны намерили девяносто шесть десятин, но распределять их решили позже.

Из Солонцовой балки, обогнув кладбище и налитый по самую вершину насыпи голубой пруд, перешли на северные холмы, выше примыкавшего к пруду негустого леса. На хол-

мах насчитали шестьдесят девять десятин годной для обработки земли и тридцать десятин твердой целины, изрытой сурчиными норами и закиданной сухими лепехами коровьего помета.

— Всего получается двести пятьдесят восемь десятин, — подняв карандаш, сказал агроном Шпак, — да вокруг деревни наберется десятин тридцать толоки. Вот и мозгуйте, как эту вашу землицу распределить.

Мужики присели на сухом, задымили цигарками, помолчали, раздумывая.

— По-моему, разбить ее всю по жеребкам, — поднял рыжую бороденку Павел Терпужный. — Порезать, тоис, бумажки, номерочки понаписывать и тянуть, кому чего пощастит.

— Бабу свою потяни! — сердито оборвал его Комлев. — Какое же это распределение, вслепую? Тут надо все чисто учитывать. Вот, скажем, мне с бабой положено всего три десятины. Вытяну я целину, а у меня конишко только-только на ноги стал. Чего я с ней должен делать, с этой целиной?

Пьяно икая, жмурясь, как кот на солнце, агроном Шпак предложил:

— Сделайте так: каждый участок разбейте по количеству хозяев на отдельные поля, а потом раздавайте эти поля по списку.

Предложение приняли. Снова, опираясь на выломанные в ближнем лесу палки, деловито зашагали к кустам.

Дмитрий Данилович Ставров тоже ходил вместе со всеми. Он решил взять на свою семью положенную земельную норму и этой же весной засеять хоть часть земли. Расстегнув куртку, он медленно брел рядом с Длугачем, еле выволакивая из вязкой грязи рваные сапоги.

Участок за лесом поделили быстро и без всяких споров. Как и всем другим, Ставровым досталось тут три десятины рядом с дядей Лукой и похожим на цыгана, беспутным Акимом Турчаком, который недавно переселился в Огнищанку из Мертвого Лога и женился на вдове Акулине. На этом участке отрезали всю норму удобной земли беднякам — Николаю Комлеву, Илье Длугачу, вдове Лукерье Липец, Капитону Тютину, деду Силычу и жившему возле рауховского поместья деду Исаю Сусакову, у которого, кроме кособокой хибарки, ничего не было.

Свара началась в Солонцовой балке. В верхней части ее пологих склонов с грехом пополам можно было пахать, а внизу, возле темного провалья глубокой водомоины, склоны переходили в такую крутизну, что плуг там не пошел бы.

Начали распределять сверху и добавили по четыре с половиной десятины к норме Ставровых, Тимофея Шелюгина, братьев Кущиных, Кондрата Лубяного, лесника Фотия Букреева и двух братьев Терпужных — Антона и Павла. Внизу, у крутой кромки водомоины, наметили участки Евтихию Шаблову, дяде Луке и Исаю Сусакову на внука-сироту.

— Красиво получается! — засопел Силыч. — Себе Антон Терпужный верховинку взял, а Шаброва или же безногого деда Исая в провалье отпихнул?

— Какого тебе черта надо? — сплюнул Терпужный.—Получил свой шматок и заткни глотку.

Силыч вызывающе задрал сивую бороденку, забегал кругом, толоча грязь.

— Нет, голубы мои, так оно не пойдет! Это не по правде! У гражданина Сусакова сын погиб в Красноармии, никакой скотинки у него нету, а старика в провалье скинули.

— Не твоего ума дело! — полыхнул гневом Терпужный. — Ты завсегда суешь свой нос в каждую дырку. Раз общий сход решил — значит, так тому и быть.

Сухой, с длинной шеей дед Исай поскреб пальцами бороду, заныл плаксиво:

— Милости прошу перерешить, граждане... Куды ж я денусь? Ить тут, по-над этим провальем, и на карачках не пролезешь...

— Надо перерешить! — крикнул Длугач.

Все загалдели, сдвинулись ближе. Огоньком всполыхнула ругань. Размахивая карандашом, Берчевский попытался утихомирить самых крикливых, но это только подлило масла в огонь.

— Ты, товарищ уполномоченный, до нас не мешайся! — загремел Николай Комлев. — Мы сами разберем, где правда, где неправда.

Тихон Терпужный, племянник Антона, крикнул из-за чьей-то спины:

— Колька Комлев разберет! Он только овечков красть мастер!

— А чего ты его овечкой укоряешь? — вскинулся крохотный, похожий на юркого хоря Капитон Тютин. — У вас, гадов ползучих, не то что овечку — все надо со дворов позабирать.

Антон Терпужный набычился:

— Замолчь, голодраный!

Тут-то дед Силыч и закрутил все дело. Он терпеть не мог лодыря Тютина, сам за глаза называл его «тютьком», но сей-

час почему-то решил заступиться за него. Не замечая того, что шея Терпужного наливается кровью, а под пухлыми скулами перекатываются желваки, Силыч подскочил к нему и завизжал, брызгая слюной:

— Ишь ты какой! Привык, сукин кот, в карательной сотне зверствовать — и тут свои законы установляешь?

Терпужный действительно два месяца таскался с белыми, его нарядили к ним подводчиком, но в карательной сотне он не был. И потому, услышав истошный крик Силыча, он размахнулся и двинул деда по уху своим волосатым кулаком. Сзади, как коршун, налетел на Антона Николай Комлев. Озлобленный за самосуд, он изо всей силы хряснул коренастого Терпужного по затылку, ударом по скуле сбил его с ног. Вокруг заорали, кинулись один на другого.

Началась общая свалка. Вытаптывая грязь, рассвирепевшие мужики хватали один другого за грудки, рвали телогрейки, били куда попало кулаками, палками, ногами.

Отскочив в сторону, Илья Длугач выхватил наган, выстрелил вверх, заорал хрипло:

— Сто-о-ой, храпоидолы! Перестреляю всех как собак!

И, уже сатанея, с белой пеной на усах, разрядил весь барабан над головами бесновавшихся огнищан. Мужики один за другим разбежались, стали отряхивать штаны и стеганки от грязи, и хотя еще перебранивались, хотя и грозили издали кулаками друг другу, но уже присмирели, будто их облили водой.

— Черт полоумный! — пробормотал, опасливо поглядывая на Длугача, Кондрат Лубяной. — Ты ж на самом деле мог пострелять людей.

— И пострелял бы! — сплюнул Илья. — Разве ж вы люди? Вы свора, кобели цепные. Зерна у вас черт-ма, сеять нечем, скотина на ноги не встает, а вы за каждый клочок земли готовы глотку перегрызть один одному.

Все замолчали. Стояли потупившись, неловко отряхивая с ног липкие комья грязи. Только неугомонный Силыч, посмотрев на избитого Терпужного, заключил:

— Оно правильно, товарищ председатель, а только при Советской власти нет такого права лишать неспособных бедняков удобной земли или обзывать их всяко и старым людям ухи рвать. За это дело мы еще посчитаемся...

Как ни сопротивлялся Терпужный, четыре с половиной десятины у него отобрали, включили их в норму деда Исая Сусакова и Евтихия Шаброва. Терпужному нарезали участок внизу, возле провалья.

Казалось бы, после драки в Солонцовой балке все должно было завершиться тихо и мирно. Но, как видно, этот сияющий апрельский день оказался для огнищан несчастливым. Как только покончили с переделом и носатый землемер Звигунов подписал акт о распределении земли, раздраженный, нахохленный, как кобчик, Длугач объявил:

— Поскольку все жители Огнищанки налицо и к тому же присутствует комиссия из волости, надо поговорить, чего мы будем делать с семенным фондом...

Он выждал немного и заговорил, опустив глаза, ни на кого не глядя:

— Зима, будь она трижды проклята, подобрала у нас все до зернинки. Не только скотина, люди и те полову ели. Зараз на всяких подачках сидим. Старики и детишки нового хлебушка ждут не дождутся...

— Известное дело, не дождутся, — горестно вздохнул дед Исай.

Длугач сердито дернул плечом:

— Погодите... И все же, это самое... кой у кого из наших огнищан зернишко есть... по ямам захоронено. Не то чтобы много, а так, для посева. Так вот, граждане, имеется предложение: у кого есть зерно, хоть самая малость, нехай его сдадут в сельсовет, мы его разделим, чтоб для каждого было. Конечно, это добровольно, без принуждения.

— А государство ничего не дает для посева? — спросил Шабров.

Волпродкомиссар Берчевский блеснул глазами, поправил ремень на кожанке.

— Государство подкинет немного. Нашей волости занаряжено три вагона семенного зерна — пшеницы, овса и ячменя. Но это много ли? Надо собрать то, что осталось у крестьян, и распределить зерно поровну, чтоб у всех поля были засеяны...

— Говорите, у кого есть, — сказал Длугач.

Все молчали. Только Тимоха Шелюгин — в драке он не участвовал и потому стоял опрятный, как всегда, — переступил с ноги на ногу, тронул пальцем ржаной ус и проговорил тихо:

— У меня тридцать пудов яровой пшеницы захоронено. Я и не знал про это, батька вчерась признался. Смудровал старик, заготовку для посева сделал.

— Ну? — вскинул глаза Длугач.

— Половину берите, — улыбнулся Тимоха, — пусть люди сеют, а мне аккурат на три десятины останется.

— У меня есть маленько, — сказал дядя Лука, — должно, пудов двадцать наберется. Аж из Сибири на верблюдах вез. Одного верблюда дорогою зарезал да съел, а зерно сберег.

— Ваша как фамилия? — спросил Берчевский.

— Горюнов моя фамилия, Лука Иванович Горюнов, — объяснил дядя Лука. — Я только осенью с Сибири прибыл. Сам я с этих мест, а там жил годов десять.

Берчевский черкнул что-то в блокноте.

— Надо половину зерна отдать, товарищ Горюнов. Десять пудов вы себе оставьте, а десять пудов сдайте в сельсовет.

На темном лице Луки мелькнуло выражение растерянности и страха.

— Это как же, товарищ комиссар? Я ж не один. Баба у меня хворая. Два сына со мною живут — Иван да Ларивон, с армии только пришли. Дочек то же самое две. Куда же я с ними денусь? Мне ж засеять надо земельку.

— Все равно зерно придется сдать! — махнул рукой Берчевский. — У вас двадцать пудов, а у другого ничего нет. Вот, получите квитанцию на десять пудов.

После полудня Берчевский взял двух понятых — заполошного Капитошку Тютина и мрачного, неразговорчивого лесника Фотия Букреева — и начал обыски во всех огнищанских дворах. Кроме Шелюгина и Луки зерно показали еще трое: худой, с острыми скулами мужик Кузьма Полещук, по прозвищу Иван Грозный, и двое братьев Кущиных — Демид и Петр. Берчевский отобрал у каждого из них половину зерна, а взамен выдал квитанции.

Илья Длугач помогал ему, но, когда они с Берчевским остались одни, сказал, почесывая затылок:

— По-моему, мы неправильно делаем. Силком отбирать зерно нельзя. Это же получается опять вроде продразверстки.

— Ничего, — усмехнулся Берчевский, — надо ликвидировать идиотизм деревенской жизни. Это не я говорю, это сказал Карл Маркс. Коммунизм надо строить, а не прятаться по закуткам со своим зерном.

Против Карла Маркса Илья возражать не стал, но где-то в глубине души его скребло сомнение. «Бес его знает, — подумал он, — комиссар-то человек ученый, ему виднее, что к чему...»

В сельсовет свезли шестьдесят пудов пшеницы и поставили Капитоша Тютина стеречь ее до раздачи. Но с раздачей

Илья Длугач медлил, потому что Лука Горюнов и Демид Кущин прямо сказали ему:

— Теперь нет такого закона — по ригам да по погребам шастать. Мы пойдем в волость жалиться...

Через два дня председатель Пустопольского волисполкома Долотов отменил произведенную Берчевским конфискацию зерна и приказал Длугачу вернуть пшеницу хозяевам. В дополнение к отправленным ранее трем вагонам волость получила еще шесть вагонов отборной семенной пшеницы, овса, ячменя, кукурузы и подсолнуха.

Вместе со всеми окрестными селами и хуторами огнищане начали весенний сев.

2

Изжелта-алой полосой пылает утренняя заря. Сквозь неясную синеву редких, еще не одетых листвой деревьев, чистое, глубокое, огненно-розовое, светится небо. Все светлеет оно, все щедрее разбрасывает свою живую, мерцающую позолоту, и вот уже трепещут, как бесчисленные свечи, горят забрызганные росой, одетые тугими почками ветки высоченных дубов. Никнут, прячутся по степным низинам лиловые и сизо-голубые тени, холодит босые ноги обильная роса на бурых бурьянах и на нежных стрелочках густо усыпавшего поле молодого пырея. Торжественно всплывает над вершинами деревьев солнце, и, осиянная его теплым весенним светом, невыразимо прекрасная, сверкает, курится призрачными туманами прохладная, свежая земля.

По всему полю, сколько видно глазу, рассыпались люди. Худые кони, сгорбленные, чудом оставшиеся в живых коровы с трудом тащат тяжелые плуги, часто останавливаются, хрипло сопят, спотыкаются, падают, но за ними все шире темная полоса пахоты, на которой уже хлопочут черные землекопы — грачи. Машут концами вожжей, просительно покрикивают пахари, ласковыми именами называют своих отощавших коней — лишь бы только дотянуть, допахать трудное поле. А по пахоте, надев подвязанные по углам мешки, медленно бредут старики. Широко занося руки, разбрасывают, сеют дорогое пшеничное зерно.

Ставровы, дядя Лука и Аким Турчак договорились обсеяться вместе. У Ставровых было два мерина, у дяди Луки — высокая, тощая и облезлая верблюдица, в которой душа еле держалась, у Турчака — трехлемешный плуг.

— Супрягой будет легче, — сказал дядя Лука, — а иначе ничего не выйдет.

На поле пришли рано утром толпой: Дмитрий Данилович с Андреем и Ромкой, дядя Лука с сыном Ларионом и дочкой-подростком Ганей, Аким Турчак с двумя пасынками — Колькой и Санькой.

Долго возились с запряжкой — то укорачивали веревочные постромки, то налаживали хомуты, то крутились возле плуга, звенели гаечными ключами, ставя лемехи на самую мелкую пахоту.

Ставровских меринов запрягли в плуг, между ними протянули цепь и впереди припрягли безучастную покорную верблюдицу. К меринам поставили Андрея, к верблюдице — диковатую черноглазую Ганю. У плуга стали Аким Турчак и Дмитрий Данилович с чистиком в руках. Вначале хотели было брать все три поля одним заходом, но Аким воспротивился.

— На черта это дело? — сердито сказал он. — При таком заходе ни одной межи не будет видно и не угадаешь, где чье поле. Не, добрые люди, давайте мы каждое поле по отдельности вспашем, межи отобьем честь по чести, чтоб, значит, прийти и знать: «Это мое, а это соседово...»

— Ладно, давайте так, — согласился Дмитрий Данилович.

Начали со ставровского поля и пахали до полудня.

Дядя Лука подошел к телеге, насыпал из бочки зерно в связанный двумя углами мешок. Когда пересыпал, долго ворошил пшеницу, словно ласкал ее загрубелыми руками.

— Доброе зерно, — сказал он растроганно. — Абы только дождик на него...

Потом дядя Лука надел через плечо мешок, перекинул его справа налево. Сунул руку в горловину мешка, помедлил, пошевелил пальцами сыпучее зерно и незаметно перекрестился мелким крестом. Все смотрели на него, молчали. Люди были убеждены: все, что сейчас делает и говорит невысокий, коренастый человек с седоватой бородой, очень важно и нужно, что иначе нельзя.

— Ну, пущай бог помогает, — торжественно сказал дядя Лука. — В добрый час...

Захватив горсть зерна, он уверенным движением, красиво и ровно бросил его на вспаханное поле и неторопливо пошел вперед.

Когда дядя Лука дошел до дороги и повернул на левую сторону поля, Аким Турчак поднял изуродованную руку с загнутым пальцем.

— Айда! — надувая щеки, крикнул он.

Звякнула цепь, застучали вальки. Напряглись, подаваясь грудью, смирные кони. Взмахнула головой верблюдица.

— Давай, давай! — закричал Аким.

Плуг медленно пополз вперед, с легким потрескиванием разрезая корни.

— Пошла! Пошла! — запричитала Ганя, похлопывая верблюдицу по песочно-линялому боку.

Ганя вела борозду умело, весело покрикивала, ее смуглые пятки мелькали впереди. Земля была влажная, пахла сырыми корнями, и этот запах, смешиваясь с острым запахом конского пота, бередил душу, радовал шагавших по полю людей.

— После посева надо следком же заборонить, чтобы землица не сохла, — довольно крякая, сказал Аким.

Оба его пасынка — головастый сероглазый Колька и суматошный Санька с озорными глазами — вместе с Ромкой бегали из одного конца поля в другой: то помогали флегматичному Лариону подносить ведрами зерно, то, ухватив ведерко, мчались к роднику за водой.

В этот день на поле работали почти все огнищане: дед Силыч в супряге с братьями Кущиными, Кондрат Лубяной с Шабровыми, Илья Длугач с лесником Букреевым и Полещуком; Антон Терпужный на паре раскормленных вороных кобылиц помогал брату Павлу; здоровенный Комлев на своем гнедом жеребце — деду Исаю Сусакову и вдове Лукерье.

Только Тимоха Шелюгин работал один. Он ходил за плугом, а его повязанная платком молчаливая жена Поля водила коней.

— Трудятся мужики, — махнул рукой Турчак, — скучили по работе.

Дмитрий Данилович Ставров вышагивал рядом с Акимом, чистил отвалы плуга, бормотал под нос какую-то песню — был доволен и счастлив.

— Ты ж чего мурчишь, будто боишься кого? — засмеялся Турчак. — Давай уж споем на всю!

И, широко открыв рот, затянул неожиданно чистым, высоким голосом:

Ой, на горе, горе
Буйный ветер веет...

Ганя, оглянувшись, улыбчиво сверкнув терново-черными глазами, повела тоненько и жалобно:

Вдова молодая
Там пшеничку сеет...

Стародавняя песня звенела над полем, ветер понес ее по низинам, по балкам, и уже подхватили ту песню Букреев с Длугачем, и далеко отозвалась плачем — про себя пела — в подоткнутой юбке идущая за плугом вдова Лукерья.

Уроди мне, боже,
Ярую пшеницу
Для убогих деток
И для вдовьей доли...

В полдень сели отдыхать. Скотину пустили на попас, сами сошлись, сели кто с кем хотел, вынули из корзинок, платков, кувшинов завтрак — луковицу, ячменную лепешку с лебедой, мятый соленый огурец.

После завтрака Андрей и Колька, ухватив ведерко, помчались в лес.

— Там есть старая копанка, — с хозяйской гордостью сообщил Колька, — вода в ней, как слеза, чистая и холодная, аж за зубы берет...

Раздвинув кусты, они выбежали на поляну. Возле копанки, склонившись к воде, сидела круглолицая красивая девчонка лет тринадцати. Носик у нее был маленький, кнопочкой, глаза карие, из-под белого платка выбились растрепанные русые волосы. Присев на корточки, заголив круглые колени, девчонка отмывала от засохшей пшенной каши алюминиевую миску.

— Не можешь дальше отойти? — грубо закричал Андрей. — Чья ты такая хитрая? Не видишь, что все в копанку течет?

— Я ее знаю, — сказал Колька, — это дяди Павла Терпужного дочка. Танька зовут ее. — Тронув Андрея за локоть, он деловито предложил: — Давай отдубасим?

— Ну ее, — сморщился Андрей, — хныкать начнет.

Они набрали воды и пошли к своим. Два раза Андрей оглянулся. Девчонка сидела на том же месте и не смотрела на них. Андрей поймал себя на мысли, что ему хочется оглянуться в третий раз, но дернул плечом, залихватски сплюнул и, борясь с искушением, пошел быстрее.

До этой встречи Андрей относился к девчонкам с плохо скрытым презрением, а тут вдруг, стыдясь и негодуя, почувствовал, что ему хочется вернуться, сесть и, ничего не говоря, смотреть на эту проклятую Таньку с ее облепленной пшеном миской, на которой играет солнце.

Пока мальчишки бегали в лес, Аким Турчак сцепился с братьями Кущиными. Участок старшего Кущина, Демида,

граничил с участком Турчака, и разъяренный Аким, помахивая перед носом смирного Демида беспалой рукой, с пеной у рта доказывал, что Кущины первой же бороздой отхватили чуть ли не сажень его, Акимовой, земли.

— Рази же это по-соседски? — клокотал Турчак. — Вы ж, сволочуги, какую дугу по границе загнули? Почти четверть десятины оттяпали!

— Какую там дугу? Ты протри глаза да погляди получше, — слабо оборонялся темноусый, с бритым подбородком Демид. — Ну, может, кобыленка чуток и прихватила, разве ж ты ей разум вставишь?

— В самом деле, Аким, чего ты пристал к человеку? — вмешался степенный Тимоха Шелюгин. — Обедняешь ты этим аршином межи или же богатство на нем сберешь?

Но Турчаку уже попала вожжа под хвост. Черный, щербатый, с растрепанной бородой, он крутился возле Демида Кущина и костерил его на чем свет стоит:

— Жаба зеленая! Черт бесхвостый! Я у тебя эту землю из глотки выдеру! Все едино перепашу все по граням, так и знай!

— Да перепахивай, будь ты неладен, — сплюнул Демид.

Ссора уже начала было утихать, но тут, как на грех, подошли два меньших Кущина — Игнат и Петр. Все три брата походили друг на друга, как близнецы: невысокие, коренастые, с кривыми ногами и темноусыми, аккуратно выбритыми лицами. Кущины жили в одном доме и все собирались строиться. Им нужны были деньги, они заранее прикинули, сколько придется продать пшеницы, отпахали сажень Турчаковой земли на всю длину загона и думали, что Аким этого не заметит. Теперь, услышав крики и сразу поняв, что происходит, они решили помочь Демиду выкрутиться из неприятного положения.

— Чего тут такое? — блеснув белыми зубами, спросил Петр Кущин. — Шуму много, а драки нет.

Осатанелый Турчак стеганул его руганью, заорал хрипло:

— Погоди чуток, будет и драка! Я вам, паразиты, всем троим ноги поперебиваю, только суньтесь на мое поле!

— Тю на тебя! Чего ты верещишь? — попятился Петр. — Мы, брат, и сами парни не слабые. Так настукаем, что кровью враз умоешься!

Долго еще они переругивались, кляли один другого, грозились до тех пор, пока дед Силыч, сняв ременный поясок, не перемерил ширину их полей. Дед заявил смущенно:

— Ежели, голубы мои, правду сказать, то малость, конечно, прихватили. Так не годится. По-моему, пускай Аким вернет вам затраченное на этот кусок зерном и отпашет свое поле ровно, как положено по закону.

— Да ить я что? Пускай пашет! — махнул рукой Демид Кущин.

Разошлись обозленные и недовольные друг другом. Через полчаса снова зазвучали крики погоняльщиков, взвизгнули немазаные плужные колеса. Старики, нагрузив свои торбы, отправились досеивать поля.

К вечеру ставровский загон почти кончили, работы осталось на десяток кругов. В деревню возвращались разморенные, молчаливые. Андрей и Ромка ехали на конях, остальные шли пешком. Дядя Лука остался с зерном возле плуга.

Дома Дмитрий Данилович сказал жене:

— Ребят корми побыстрее, пусть едут пасти коней. Завтра начнем до света.

— Взял бы да повел сам, — жалея детей, посоветовала Настасья Мартыновна. — Посмотри, на кого они похожи. Им вымыться да поспать надо.

— Ничего, — буркнул Дмитрий Данилович, — не маленькие, выспятся в поле. Ночи сейчас не холодные.

Андрею очень не хотелось умываться. Лицо его горело, руки и ноги одеревенели от усталости. Но он попросил Таю слить ему на руки, умылся и жадно съел приготовленный матерью горячий кулеш.

— А там волков нет? — спросила его рыжая, похожая на отца сестренка Каля.

— Где?

— В лесу, куда ты лошадей поведешь.

— Есть и волки, и медведи, и тигры, — протянул сонный Ромка.

После ужина ребята напоили остывших лошадей, подождали деда Силыча и, накрыв конские спины попонами и полушубками, все вместе поехали к лесу. Хотя Ромка и не верил в медведей и тигров, но в темноте его одолевал страх, и он, сбивая своего коня, все время прижимал Андрею колено.

На опушке леса коней спутали, постелили на землю попоны и, накинув на себя полушубки, легли.

— Ну, ребятки, первый день поработали, — сладко позевывая, сказал Силыч. — Да и завтра денек будет ясный — по звездам видать...

Звезды сияли вовсю. Из лесу тянуло ночной сыростью.

Пофыркивая, хрумкали где-то вблизи невидимые кони. Протяжно и тонко свистела лесная птица.

Прижавшись к теплой спине брата, согнув колени, Андрей закрыл глаза. И сейчас же его закружило, подняло вверх и понесло куда-то. Перед глазами прошло все, что он пережил и видел за сегодняшний день: круп шагавшей впереди верблюдицы, запах конского пота и влажной земли, девчонка с миской, пшеничные зерна — много-много янтарно-желтых, полновесных, рассеянных по земле зерен.

— Спишь, Андрюха? — Силыч поднял голову.

— Сплю, деда, — блаженно улыбаясь, ответил Андрей. И в это же мгновение уснул, как будто поплыл по тихому, теплому и ласковому морю.

3

Путаной была жизнь бывшего сотника Степана Острецова. Единственный сын богатого казака, владевшего землей в необжитом Задонье, он решил посвятить себя военной службе. Уже во время войны молодой Острецов был выпущен из училища и назначен в лейб-гвардии атаманский полк. Как и все другие атаманцы, он исправно нес привычную и легкую службу при дворе, а на досуге кутил в недорогих ресторанах, встречался с опереточными хористками, участвовал в парадах и скачках, то есть жил так же, как жили люди того незнатного круга, к которому он принадлежал.

Слабого по характеру, недалекого и невзрачного царя Острецов не любил. Неся караул во дворце, он кое-что подмечал в придворной жизни и презирал Николая. Однако тотчас же после революции и особенно после расстрела императора и его семьи Степан Острецов переменил свой взгляд и пришел к убеждению, что лучшего царя в России не было, что он, Острецов, обязан жестоко мстить «красной сволочи», которая одним ударом разрушила все, что составляло «гордость и славу родины».

Пока молодой Острецов отсиживался в отцовском зимовнике за Манычем, раздумывая, что ему делать и куда идти, чабаны и табунщики в один из холодных осенних дней появились в цимлянской усадьбе Острецовых, кольями выгнали из дому старика и старуху, а в огромном острецовском доме поселили полтораста детей-сирот.

С этого дня жизнь Степана Острецова завертелась как бешеная карусель. Ему удалось тайком отправить отца и

мать к дальним родичам, а сам он, несмотря на слезы и просьбы стариков, решил примкнуть к белым.

— Пока я не расправлюсь с подлой бандой, у меня не будет покоя, — сказал он отцу.

Вместе с Корниловым Острецов, командуя ротой, участвовал в «Ледяном походе», был дважды ранен. На Кубани, возле немецкой колонии Гначбау, Острецов с пятью пьяными офицерами хоронил убитого Корнилова: ночью зарыли завернутое в бурку задубевшее тело, сровняли могилу с землей и, взяв под уздцы лошадь с бороной, тщательно заборонили поле, чтобы никто не знал, где нашел последнее успокоение тот, кто хотел стать русским Наполеоном...

Потом началась деникинская вакханалия — беспрерывные бои, пьянство, ругань, расстрелы, виселицы. Постоянная игра со смертью опустошила Острецова, покрыла его душу корой тупого безразличия к своей судьбе.

Под Новороссийском, в те дни, когда, теснимые красными, массы белогвардейцев, давя друг друга, с боем брали корабли, Острецов случайно встретил знакомого калмыка контрразведчика Улангинова и схватил его за портупею:

— Слушай, капитан! У тебя нет какого-нибудь удобного документа?

Желтолицый Улангинов остро взглянул на него узкими, косо посаженными глазами, хлопнул ладонью по полевой сумке:

— Как не быть? Все есть, сотник. Не только документы, чистые бланки есть с большевистскими штампами и печатями.

Он прищурил глаза и оскалился вызывающе:

— Это будет стоить недорого: вы мне дадите кольцо, которое у вас на пальце, и две золотые десятки.

— Двух десяток у меня нет, — заволновался Острецов. — Возьмите серебряный портсигар, он массивный, с золотыми монограммами...

— Ладно, ладно, давайте портсигар, — согласился Улангинов.

Он протянул Острецову аккуратно сложенные бумаги:

— Получайте. Тут два незаполненных бланка и одна чистая красноармейская книжка. Вписывайте что хотите.

— Спасибо, — буркнул сотник. — Я найду что вписать.

Вечером, натянув на уши фуражку с кокардой, Острецов неподвижно просидел на берегу на чугунном кнехте и видел агонию убегавшей белой армии. Видел, как донцы поджигали и грабили пристанские лавки, как топули сотни

людей, добираясь вплавь до барж, катеров, транспортов. Морщась от боли и презрения, он наблюдал, как по-ребячески плачут брошенные на пристани двадцатилетние полковники и капитаны. Он слушал гулкие взрывы провиантских складов, истошный вой волынок, под аккомпанемент которых грузились на крейсер шотландские стрелки в желто-красно-зеленых юбочках. Слышал он и тот погребальный салют белой Вандее, который был дан со всех башен стоявшего на рейде английского сверхдредноута «Император Индии»...

Сгорбившись, уже не глядя на то, что делается у моря, Острецов побрел в темный переулок, сорвал с себя погоны, кокарду, вышвырнул в открытый люк канализации офицерские документы и пошел из города навстречу красным. В кармане его френча лежало удостоверение на имя командира взвода Отдельной имени Коминтерна кавбригады Степана Алексеевича Острецова.

Так сотник Острецов стал командиром красного взвода. Вскоре он попал в конницу Буденного, командовал эскадроном, был ранен в грудь на польском фронте. В киевском госпитале он познакомился с умиравшим от ран красноармейцем Федотом Пещуровым, который просил товарища Острецова заехать в деревню Костин Кут и передать деньги и узел с одеждой Устинье Пещуровой.

— Это моя жинка, — с трудом ворочая очугуневшим языком, сказал Пещуров. — Прошу тебя, друг, передай ей мое барахло... Пусть живет да помнит...

В ту же ночь Пещуров умер. В госпиталь приехал выдавать отпускные удостоверения помощник киевского коменданта Погарский. Когда в кабинет был вызван Острецов, они тотчас же узнали друг друга: Константин Сергеевич Погарский был в старой армии полковником и не раз встречался с атаманцем Острецовым в Петрограде.

— Любопытная история, — усмехнулся седоголовый, угрюмый, как старый коршун, Погарский. — Значит, это вы и есть? Давненько мы с вами не видались. Выдавать вас я, конечно, не собираюсь, но выходить из игры вам не советую. Игра, дорогой сотник, еще продолжается...

Он коротко сообщил Острецову о строго секретной деятельности офицерской организации, связанной с Борисом Савинковым. Хмуря густые, не потерявшие молодой черноты брови, Погарский сказал:

— Вы отправляйтесь в этот самый Костин Кут, а оттуда

пришлите мне письмо. Нам важно иметь в тех краях свои явочные квартиры...

Так Острецов стал членом савинковской террористической группы. После памятной встречи с «главнокомандующим зеленой армии» Борисом Савинковым он организовал убийство двух пустопольских комсомольцев-уполномоченных и двух следователей-чекистов, с которыми погибла и сожительница Острецова Устинья Пещурова.

Потом Острецов решил сделать передышку. Уж очень опасно стало оперировать в одной волости. Длительной передышкой он хотел надолго замести следы своего отряда. Именно для этого все острецовские сподвижники с помощью отца Ипполита были собраны в церкви глухого села Мажаровки. Острецов предупредил их о том, что операции временно прекращаются, что люди должны надежно спрятать оружие и ждать сигнала.

Было еще одно неудобство, мучившее Острецова, — его одинокое житье в доме убитой Устиньи Пещуровой. Это каждому бросалось в глаза, вызывало бабские пересуды и разговоры. Надо было или уходить, или жениться, чтоб показать свою домовитость и степенность. Острецов решил жениться и выбрал дочь Антона Терпужного Пашку, смазливую распутную девку.

В вербное воскресенье, выждав, когда огнищане вернулись из пустопольской церкви, Острецов побрился, надел новые галифе, френч, начистил сапоги и пошел к Терпужному. Антон Агапович обедал в кухне с женой и дочкой. Увидев стоявшего у ворот Острецова, кинул дочке:

— Ступай, Пашка, проводи.

Одетая в праздничное голубое платье, Пашка сунула босые ноги в калоши, выскочила во двор, щелкнула щеколдой калитки.

— Пожалуйте, пожалуйте, — выставляя грудь и весело блестя нагловатыми серыми глазами, сказала она. — Можете идти спокойно, у нас в Огнищанке ни одной собаки не осталось...

Острецов пошел за ней, равнодушно и холодно посматривая на незагорелые, полные икры девушки, на ее туго обтянутый платьем зад, на упавший на затылок густой узел волос, отливающих красноватой ржавинкой. «Божья коровка», — подумал он тупо и зло.

В горнице, куда хозяйка перенесла из кухни постный обед, Острецов сидел чинно, изредка бросая односложные

фразы о погоде, о себе, лениво ковырял вилкой недоваренный горох.

«Какого черта ему надо! — думал Терпужный. — Пришел и сидит, вроде сказать совестится».

Посмотрев на стоявшую возле печки Пашку, у которой с губ не сходила вызывающая улыбка, Острецов наконец сказал:

— Я, Антон Агапович, насчет вашей дочки хотел поговорить, насчет Паши...

— Чего? — не понял Терпужный.

— Да вот, как вам сказать... вы же знаете, вдовцом я остался... Ну, и это самое... хотел предложить Прасковье Антоновне...

Пашкины щеки залил румянец. Она обожгла Острецова острым взглядом, торопливо вышла. Терпужный откинулся на спинку стула, захохотал:

— Тю на тебя! Какой же дурак в великий пост про свадьбу разговор заводит? Надо ж это по-людски делать, до осени подождать...

— Ждать я не могу, — сухо сказал Острецов. — От Устиньи осталось хозяйство — кони, телка, овечка. Да и в доме порядка нету. Одним словом, мне нужна хозяйка.

— Да ведь поп-то венчать сейчас не будет, — развел руками Терпужный.

Антону Агаповичу льстило, что его дочку сватает такой культурный и уважаемый человек, как товарищ Острецов, но в то же время, встречая пустой и холодный взгляд светло-голубых острецовских глаз, Терпужный весь сжимался и думал, почесываясь: «Черт его знает, что у него на уме. Глядит так, будто сейчас плюнет тебе в харю или же куснет, как змей...»

— Убей меня бог, не знаю, что тебе сказать, товарищ Острецов. Дочка у меня одна, совсем еще дитё, даже двадцати годов нету. Дюже все это внезапно получилось. Надо бы мне со своей старухой поговорить.

— Что ж, говорите, — равнодушно сказал Острецов, скользя взглядом по фотографиям на стенках.

— Мануйловна! — крикнул Терпужный. — Войди-ка, мать, на часок!

Расплывшаяся, как тесто в деже, Мануйловна уже все узнала от Пашки. Она вплыла в горницу с независимым видом, присела на край выкрашенного желтой охрой табурета, выжидательно поджала губы.

— Вот, мать, Алексеич-то сватает Пашку, — усмехнулся Антон Агапович. — Да чего-то больно спешит, даже пасхи ждать не хочет...

— Без венчанья я дочку не отдам, — важно проговорила Мануйловна, — а батюшка постом венчать не станет.

Острецов, подумав, уже хотел было сказать, что он согласен подождать до мая, но тут хлопнула дверь и в горницу влетела Пашка. Брови и ресницы ее были уже подведены углем, на ногах красовались хромовые сапожки с низким, окаймленным лайкой голенищем.

— Обойдется дело и без попа, — сверкнув белыми зубами, засмеялась Пашка. — Нужно это аж некуда! Теперь вот в городе и без венчанья сходятся, расписались в Совете и живут.

В тот же вечер Пашка ушла к Острецову, захватив с собой сундучок с платьями и шалями.

Уход Пашки обескуражил старого Терпужного. Первый день он злился на дочку, доводил до слез Мануйловну, а на второй день, хватив кружку самогона, отправился в Костин Кут к своему богоданному зятю, как он в горести своей и злобе окрестил Острецова.

Увидев на пороге подвыпившего Терпужного, Острецов поднялся с лавки и, протягивая руку, сказал:

— Вы не горюйте, Антон Агапович. Я и Паша уже договорились с отцом Ипполитом. После праздника он обвенчает нас в пустопольской церкви.

Терпужный тронул рукой никлый ус:

— Да мне пес с ним, в вашим венчаньем. Тут, брат Алексеич, поважней дело.

Он хлопнулся на лавку, поднял жилистую руку и уставился на нее тронутыми пьяной мутью глазами.

— Полторы Пашкиных десятины у меня отберут: на кой, скажут, ляд деду да бабке такое хозяйство? Возьмут и, чего доброго, конфискуют.

— Что ж вы хотите? — спросил Острецов.

Сидевшая у стола Пашка хмыкнула:

— Они хочут, чтобы я заместо батраков век на них работала да скотину ихнюю глядела. Вот чего они хочут.

— Ты там нишкни, дура, — огрызнулся Терпужный,— не твоего ума это дело. Я вот своего богоданного зятя желаю поспрошать, чего он мне на всю эту музыку присоветует.

Острецов прошелся по комнате. Его раздражали и приход Терпужного, и препирательство кулака с глупой доч-

кой, и вся эта позорная затея с женитьбой, превратившая его, Острецова, в любовника деревенской дуры.

— Я одно могу вам посоветовать, — сказал Острецов,— возьмите из волостного детского дома двух парней-сирот и усыновите их. Они будут вам отличными батраками: почетно и безопасно. Впрочем, усыновление можно и не оформлять. Подберите парнишек поздоровее и зарегистрируйте их как членов семьи. Это и земельную норму вам сохранит, и глаза вам колоть не станут за то, что держите у себя рабочих.

— Ох и голова-а! — восхищенно протянул Терпужный. — Ну, дочка, с таким мужиком, как твой Степан, не пропадешь. Он так тебе все обмозгует, что комар носу не подточит.

Антон Агапович просидел у дочки до вечера, выпил с Острецовым штоф самогона и, окончательно захмелев, побрел домой.

Не зажигая лампы, не раздеваясь, Острецов пролежал весь вечер. Он слушал нудное верещанье Пашки, курил и думал о своей изуродованной, разбитой жизни.

После полуночи, когда Пашка раздела спящего мужа и любовно стала закрывать его стеганым одеялом, она вдруг услышала, как он забормотал что-то звонко и часто, как будто говорил на чудном, нерусском языке:

— La cavalerie rouge... possède de mousquetons et de baïonnettes — ces pour le combat á courte distance...[1]

— Начитался, дурачок, разных книжек и сны страшные видит, — жалостно вздохнула Пашка, откидывая жаркое одеяло и приникая к мужу.

4

Как только посеянное пахарем доброе зерно уляжется в землю, в нем возникает новая жизнь. Смоченное весенней влагой, оно мякнет, набухает, под тонкой оболочкой образует соки, которые жадно впитывает маленький живой зародыш. Он растет каждую секунду, и, разрушенная его непреодолимой силой, лопается тесная оболочка, а зародыш выпускает в мягкую пахоть почти невидимые нити корешков. Вслед за корешками из животворного зародыша начинает выдвигаться стебель. Пробивая земную плотность и тьму, стебель тянется все выше и выше и вдруг выходит

[1] Красная конница... вооружена карабинами и штыками для боя на короткой дистанции (*франц.*).

на поверхность огромной, прекрасной, согретой солнцем земли.

Если у пахаря светлая голова и сильные, работящие руки, он сбережет и вырастит то, что посеял: семя не тронет черная грибная болезнь, а густые всходы не умертвит злой суховей, не забьют сорняки. Над нивой прольются обильные дожди, и зеленые всходы вытянутся в трубку, выдвинут из листового канальца духовитый, сочный колос. Оденется колос нежным цветеньем, пышно заколышется под ветром, и зародятся в нем новые, вначале молочно-жидкие, а потом все более твердые, отмеченные восковой зрелостью дети-зерна.

И уже ничто на свете не сможет вернуть к исходу течение жизни, ни одна клетка нового зерна не возвратится к начальному состоянию — таков вечный закон всего сущего...

Подобно тлетворному суховею, все злые силы земли окружили Россию, чтобы умертвить пустивший там живые корни, но еще не окрепший зародыш нового мира. Правители разных стран начали кровавую расправу со своими народами, чтобы казнями, тюрьмами, пытками отбить у людей желание жить по-человечески.

В Америке, субсидируемая магнатами капитала, стала действовать изуверская террористическая организация Куклукс-клана. Возглавил ее авантюрист из Атланты, «полковник» и «пастор» Уильям Джозеф Симмонс, получивший большие деньги от текстильных фабрикантов штата Теннеси.

Террористы-клансмены задались целью воскресить самую мрачную пору средневековых убийств и пыток. Они установили зловеще-бутафорские церемонии приема в клан: ночью уводили посвящаемого в лес и там под освещенным факелами крестом брали с него клятву бороться «за принципы американизма», «за мировое господство англосаксов», «против африканизации» и «красного большевизма». Темные и свирепые участники этой банды назвали клан «невидимой империей», а главаря клана Джозефа Симмонса — «имперским магом». Они образовали совет вождей — кленселей, выбрали во всех штатах клановских руководителей — клорлов, по строгой иерархии присвоили своим сочленам звания «драконов», «гиен», «волков» и составили тайные списки рядовых участников клана — куков, которых набралось до ста тысяч.

Надев белые балахоны с нашитыми на остроконечных капюшонах крестами и ромбами, шайки куков отправля-

лись в ночные налеты. Чаще всего пьяные куки нападали на беззащитные негритянские поселки, где, по их мнению, гнездилась страшная «коммунистическая зараза». Размахивая факелами, они поджигали дома, десятками вешали на деревьях ни в чем не повинных негров.

При всем своем пристрастии к средневековью отряды Ку-клукс-клана имели самое современное оружие — от ручных пулеметов до бомб со слезоточивым газом — и располагали множеством быстроходных автомобилей, на которых мчались в любом направлении, где по приказу клорла, кленселя или «имперского мага» требовалось осуществить ту или иную «операцию». И везде, где они появлялись, тотчас же дымились деревни, судорожно корчились истязуемые люди, не прекращались крики и плач.

Куки громили местные рабочие организации, разгоняли профсоюзы, убивали «слишком левых», с их точки зрения, учителей, редакторов, общественных деятелей.

Бок о бок с Ку-клукс-кланом действовал «Американский легион», в котором объединились бывшие офицеры-фронтовики, получавшие средства от промышленников-миллионеров. «Посты» легиона, подобно щупальцам спрута, были разбросаны по всем штатам и поставляли капиталистам добровольных полисменов, штрейкбрехеров, соглядатаев.

Миллионы полунищих бродяг скитались по штатам в поисках работы и хлеба.

В эту пору в Америку попал есаул Гурий Крайнов.

После неудачной поездки в Геную Крайнов вторично был вызван на топчидерскую виллу Врангеля, и там лысый генерал Климович вручил ему увесистый, тщательно запечатанный пакет.

— Главнокомандующий оказывает вам, есаул, высокое доверие, — ощупывая Крайнова зорким взглядом полузакрытых глаз, сказал Климович. — Вы отвезете этот пакет в Америку и вручите человеку, который встретит вас в Нью-Йорке. Он вас доставит куда нужно и познакомит с нужными людьми. Там вы подождете ответ и возвратитесь сюда.

— А господин Конради? — осмелился спросить Крайнов.

Климович побарабанил пальцами по столу, сухо проговорил:

— Поскольку конференция отложена и будет продолжаться в Гааге, Конради отправится туда для выполнения прежней задачи.

Он поднялся, протянул Крайнову руку с массивным обручальным кольцом на пальце:

— Счастливого пути, есаул. Зайдите к полковнику Кашкину и возьмите у него паспорт с визой и деньги. Все это давно оформлено, поэтому в дороге у вас никаких неприятностей не будет...

В ту же ночь Гурий Крайнов уехал на французском пароходе в Катарро, добрался до Гавра, пересел на огромный океанский пароход «Мэй флауэр», а на пятые сутки, одетый в макинтош и кепи, с желтым чемоданом в руках вышел на нью-йоркской пристани «Френч Лайн».

В огромном таможенном зале вместе с вежливым чиновником, бегло взглянувшим на открытый чемодан, к Крайнову подошел маленький человечек с длинным носом и черными глазами.

— Господин Крайнов? — тихо спросил он по-русски.

— Да, — так же тихо ответил есаул, — к вашим услугам.

Болезненный человек ткнул Крайнову холодную, влажную руку.

— Меня зовут Борис Бразуль. Я получил письмо Климовича и подготовил все, что необходимо. Сейчас мы поедем в отель, там отведена комната для нас обоих.

Уже сидя в чистом, но безвкусно обставленном номере огромной гостиницы, Бразуль многозначительно предупредил Крайнова:

— О делах поговорим в автомобиле. Тут даже стены имеют уши. Давайте выпьем по стакану гай-бола и познакомимся.

По его звонку одетый в сюртучок негр принес в никелированном ведерке лед и бутылку виски. Он поставил ведерко на стол, молча остановился у дверей. Бразуль отсчитал десять долларов, протянул их негру и, заметив удивленный взгляд Крайнова, усмехнулся:

— В Штатах действует сухой закон, поэтому за дрянное виски приходится платить втридорога.

Уткнув нос в бокал, Бразуль с наслаждением потянул обжигавшую крепостью и холодом жидкость и проговорил слабым голосом:

— Удивительная страна Америка! Тут все не так, как у нас. Шесть лет живу здесь и никак не могу привыкнуть.

Он вытянул ноги, задумался.

— Да, много воды утекло. Я ведь тут с шестнадцатого года. Был отправлен из России с особым поручением. А ког-

да у нас началась эта фантасмагория, так и остался в Америке. Генерала Климовича я знавал в лучшие времена. Мы с ним не раз встречались в Петербурге, он был тогда директором департамента полиции. Постарел, должно быть? Нет? Крепкий человек...

Несмотря на свое предупреждение не говорить о делах, Бразуль, быстро захмелев, пододвинул стул к Крайнову и забормотал, лихорадочно поблескивая глубоко впалыми глазами:

— На Европу вы не надейтесь. Там все истощены войной — и люди и средства. Смертельный удар большевикам нанесет Америка, хотя поднять ее на это очень нелегко. Средние американцы — торговцы, мелкие дельцы — мало интересуются политикой. В них крепко сидит убеждение: человек создан господом богом для того, чтобы делать деньги. Большевиков они ненавидят потому, что большевики отвергают этот принцип. Зато у американцев, в отличие от ваших обанкротившихся европейцев, есть сила, только надо ее разбудить. И за искоренение красных они взялись по-настоящему, по всем штатам паленым пахнет. Тут не любят разводить антимоний: раз — и на дерево...

Бразуль тоненько, как будто его щекотали, захохотал.

— Чудаки! Имеют передовую технику и прочее, а погромы устраивают грубее и примитивнее, чем наши киевские или одесские черносотенцы. Напялят на себя простыни с крестами, воют, как черти, и вешают негров на любом подходящем суку. И знаете, если у нас устраивали погромы недалекие юдофобы мясники да лавочники, то здесь этими штуками занимаются люди подчас с высшим образованием.

Он долил в бокал виски, и Крайнов заметил, что его дряблая рука дрожит.

Посмеиваясь, возбужденно щелкая суставами пальцев, Бразуль вскочил и забегал по комнате.

— В позапрошлом году, весной, в штате Массачусетс агенты Федерального бюро арестовали двух итальянцев — рабочего-обувщика Николо Сакко и мелкого торговца-рыбника Бартоломео Ванцетти. Им предъявили обвинение в том, что они ограбили и убили кассира обувной фабрики в Саут-Брэйнтри. Это дело тянется второй год. И я вас уверяю, что, несмотря на протесты мировой общественности, судья Тейер и прокурор Кацман усадят Сакко и Ванцетти на электрический стул.

— А они виновны в убийстве?— Крайнов вскинул брови.

Бразуль захохотал, нервно потер потные ладони.

— Как юрист, я интересовался этим делом и могу в течение часа неопровержимо доказать, что оба злосчастных итальянца так же не виновны в убийстве этого кассира, как и мы с вами. Но сила американского суда именно в том и состоит, что в случае политической необходимости он не побоится публично изобличить любого невиновного и отправить его на тот свет. И наоборот...

— Что наоборот? — не понял Крайнов.

— Оправдать бесспорных преступников и оградить их от всяких неприятностей, как это сделали со знаменитым чикагским бандитом Аль Капоне, который до сих пор спокойно ходит в театр и, садясь в ложе, кладет рядом с собою ручной пулемет.

Крайнов недоверчиво улыбнулся:

— Серьезно?

— Очень серьезно. И объясняется это тем, что гангстер Аль Капоне успел награбить семь миллионов долларов, что позволяет ему разговаривать с полицией и с судом на языке банковских чеков... Между прочим, карьера человека, к которому мы с вами завтра поедем, немного напоминает карьеру Аль Капоне.

— Какого человека?

— Его зовут граф Анастас Андреевич Вонсяцкий,— брезгливо кривя бескровные губы, сказал Бразуль.— Он такой же граф, как я принц Уэльский. Я не люблю этого типа, так как мне известна вся его подноготная. Но сейчас у него огромные деньги, связи, и он может помочь нам.

— А что он собой представляет?

На испитое лицо Бразуля набежала неуловимая тень, он будто задумался на секунду: рассказывать или нет?

— Это длинная история,— ответил Бразуль.— Вонсяцкий служил у Врангеля, был захудалым корнетом, а после эвакуации белых остался в Крыму, спутался с татарами и собрал довольно большую шайку. Они уволакивали в горы людей и требовали за их освобождение выкуп. Этим и жили. Тех, за кого выкупа не давали, конечно, уничтожали. Потом Вонсяцкому удалось сбежать в Париж. Там с ним познакомилась богатая старуха американка миссис Стивенс и немедленно купила его со всеми потрохами.

— То есть как купила?

— Женила смазливого корнета на себе. Вы скоро увидите его. Действительно, красавец парень. Ну, бабу и потянуло на красавца. Она увезла его с собой в Америку, купила ему американское гражданство и сделала миллионером и вла-

дельцем богатейшего поместья в штате Коннектикут. Туда мы завтра и отправимся, и вы будете иметь удовольствие лицезреть очаровательных супругов...

Борис Бразуль, подливая из бутылки и потягивая виски, долго рассказывал Крайнову о русских эмигрантах в Америке. Он с удовольствием сообщил, что им организован довольно широкий «Союз царских офицеров армии и флота», с которым многие чиновники Штатов очень считаются.

Однако, несмотря на опьянение, он не счел нужным сообщить есаулу о самом важном: о том, что он, Борис Бразуль, является крупным агентом ФБР, имеет кличку-обозначение «Б-1» и обязан постоянно информировать Федеральное бюро о планах и действиях русских эмигрантов-белогвардейцев. Впрочем, для есаула в этом не было ничего опасного, так как Бразуль с одинаковым рвением служил и ФБР и Врангелю.

На следующий день есаул Крайнов вместе с Бразулем выехал из Нью-Йорка в штат Коннектикут, где близ городка Томпсон находилось поместье Вонсяцкого. Автомобиль вел Бразуль. Он не сказал своему гостю, откуда у него длинный, бутылочного цвета «кадиллак». Он вел машину безукоризненно, как будто всю жизнь сидел за рулем.

Только в ту минуту, когда грохочущий, сверкающий миллионами реклам, повитый дымом и копотью Нью-Йорк остался позади, Крайнов вздохнул свободно.

— Фу, черт! — сказал он, вытирая потный лоб. — Ну и город, будь он проклят! В нем, наверно, ни один человек не умирает своей смертью.

— Почему? — спросил Бразуль. — Многие считают, что лучшего города нет в мире.

— А, хай ему грец! — отмахнулся есаул. — Чертище, а не город...

После сумасшедшей гонки по широкой пригородной автостраде, с ее свистом и шумом, с пестрыми указателями и беспрерывно мелькающими газолиновыми станциями, «кадиллак» выбрался наконец на более спокойную дорогу.

— Вы знаете, кому адресован пакет, который мы везем? — покосился на есаула Бразуль.

— Нет, Климович мне ничего не сказал, — признался Крайнов.

— Он адресован очень высокопоставленному официальному лицу. И мне кажется, Климович сделал это неосмотрительно. Врангель, конечно, ждет ответа, а это лицо, по свое-

му официальному положению, не сможет ответить, так как будет опасаться возможной огласки.

Бразуль замедлил ход автомобиля, бросил веско и коротко:

— Письмо Врангеля адресовано одному из крупнейших деятелей Штатов. Этот человек ненавидит большевиков и не считает нынешнюю Россию цивилизованной страной, но он педант и не станет себя компрометировать письменным обсуждением международных вопросов с частным лицом, каковым, к сожалению, сейчас является Петр Николаевич Врангель...

— Что же делать? — растерянно спросил Крайнов.

— Придется просить жену Вонсяцкого, — подумав, сказал Бразуль. — Она имеет связи, ее знают в Вашингтоне. Может быть, удастся получить ответ через подставное лицо. А потом вы все объясните Климовичу.

В поместье Вонсяцких приехали перед вечером. У чугунных ворот обширного поместья бесновались, захлебываясь в лае, здоровенные доги. Молодой индеец-привратник, заглянув в машину, увел собак в караулку, открыл ворота. Пока шли к высокому, облицованному мрамором дому, Крайнов бегло осмотрел пламенеющие огненно-красными цветами клумбы, бассейн с белой фигурой Психеи, теннисную площадку, а за ней розоватую гладь окаймленного подстриженными кленами пруда. «С размахом живет корнет, повезло человеку», — с легкой завистью подумал Крайнов.

Гостей встретила хозяйка поместья миссис Марион Стивенс, или, как она себя теперь именовала, графиня Мария Вонсяцкая. Это была невысокая, коренастая старуха с гладко причесанными, окрашенными в рыжий цвет волосами, с ослепительным рядом фарфоровых зубов и карминово оттушеванным ртом, в котором дымилась пахучая сигарета. Графиня говорила густым басом, но глаза у нее были молодые и веселые.

Узнав, что один из гостей не владеет английским языком, миссис Мария довольно бегло, хотя и с акцентом, заговорила по-русски:

— Я очень рада видеть друзей графа, но, к сожалению, его сейчас нет. Он выехал на два дня в Кливленд.

Скользнув беглым взглядом по фигуре рослого Крайнова, графиня Вонсяцкая любезно улыбнулась, затянулась дымом сигареты.

— Впрочем, я думаю, господа, что вы не будете скучать, если останетесь здесь и подождете мужа.

— Если вы позволите, мы останемся, — поклонился Бразуль.

5

Истертой по краям, пропахшей табаком записной книжке Максим Селищев поверял все свои невеселые думы. После того как из лесного барака сбежал Гурий Крайнов, Максиму показалось, что оборвалась последняя тоненькая ниточка, которая еще связывала его с родным домом. С уходом Крайнова в Гундоровском полку не осталось ни одного кочетовца. Теперь уже не с кем было Максиму поговорить о родных и соседях, о Лебяжьем озере, о хуторе Бугровском, в садах которого росли пахучие сочные яблоки, не с кем было перебрать в памяти все то невозвратно-далекое, милое, как минувшая молодость, все, что напоминало о доме, хотя бы только в долгих ночных разговорах.

Охваченный тоской, Максим, боясь того, что он загинет в этих чужих лесах и никто не узнает его горьких мыслей, завел записную книжку. По ночам, когда усталые офицеры засыпали, он пристраивался у печки и писал. Он подолгу думал, подолгу грыз карандаш: ему хотелось высказать самое главное, сокровенное, чтобы все люди знали, как ему тяжело.

«Душа моя похожа на потравленное поле, по которому пробежали, протопали бешеные кони, — писал Максим. — Нет на этом поле ни колоса, ни цветка — все затоптано копытами, поломано, прибито серой степной пылью. Там, на родине, люди строят непонятный мне новый мир, которого я никогда не увижу и не узнаю. Я рос с этими людьми. Мы вместе купались в Дону, вместе пели наши песни, вместе любили хороших красивых девчат. Потом пришло то великое и страшное, что развело нас по разным дорогам и разлучило навеки, рассекло надвое так, как острый клинок рассекает живую вербовую лозу. Сейчас дорогие друзья моего детства — мои враги — где-то там, далеко, идут своей дорогой. А я остался только свидетелем кровавого крушения старой России и умер при жизни...»

«Где ж ты, моя любимая? — писал он дальше, вспоминая Марину. — Мы и года с тобой не прожили, как судьба уже развела нас. Даже дочки своей я не видел, так и не знаю: какая она? Я бы все отдал, чтобы хоть одним глазом на вас посмотреть. Давно уже хочу я забыть вас, вытравить из памяти, чтобы напрасно не тревожить душу, но не могу. Сколько времени прошло, а вы обе живете в моем сердце, и нельзя мне оторвать вас от себя...»

Только поздней ночью, когда дрова в печке догорали и под темной золой тускнел жар, Максим со вздохом закрывал свою книжку, молча укладывался на нары. Офицеры не раз видели, как Селищев писал, заметили, что он тщательно прячет записную книжку, и переполошились.

— Черт его знает, кому он пишет! — сердито сказал войсковой старшина Жерядов. — Может, он насчет нас Богаевскому строчит да всякие пакости придумывает?

— Навряд, — усомнился кто-то из молодых. — Хорунжий Селищев порядочный человек.

— Все мы порядочные, — буркнул исполосованный шрамами пьяница Жерядов, — а при первом удобном случае наша порядочность летит ко всем чертям!..

Обитатели барака решили проверить, что пишет Селищев и нет ли в его писаниях опасности для товарищей. Веселый, никогда не унывающий сотник Юганов вызвался добыть селищевскую книжку и однажды на рассвете вытащил ее из кармана Максима и тихонько разбудил офицеров. Они вышли из барака и при свете фонаря прочитали все, что написал Максим. Книжку опять засунули в карман Максима, а когда он проснулся, окружили его со всех сторон, оглушили насмешками и раздраженными упреками.

— Из вас, хорунжий, Лев Толстой не получится! — посапывая, сказал Жерядов. — Вы напрасно портите бумагу и нервы.

— Никто твою затоптанную конями душу не пожалеет!

— И милую свою ты не увидишь ни одним, ни двумя глазами.

— И памятник тебе не поставят.

Максим вскочил, смущенный и злой. Между темными его бровями напряженно двигалась глубокая морщина, обтянутые смуглой кожей скулы тронул румянец гнева.

— По-моему, вы совершили поступок, недостойный офицеров, — хрипло сказал он. — Как вам не совестно! Докатиться до того, чтобы залезть в чужой карман? Где же ваша воинская честь, господа?

— Брось, Максим! — засмеялся Юганов. — Чего ты ерепенишься? Ну, товарищи пошутили, подурачились от скуки. Что ж тут такого?

— Нет, погоди!

Скинув ноги с нар, Максим надел сапоги, застегнул френч на все пуговицы, заложил руки за спину и медленно подошел к Жерядову.

— Если вы, войсковой старшина, — дрожа от злобы, сказал он, — как старший в звании, немедленно не извинитесь передо мной за... за ту подлость, которую вы совершили, то я...

— То он тебя, Степан Маркелыч, вызовет на дуэль, — перебил Юганов.

— То я, — не обращая на Юганова внимания, закончил Максим, — или покину полк, или при первом удобном случае пристрелю вас в лесу.

— Вот так загнул! — закричали офицеры.

— Крепко!

— Смотри, как бы тебя самого не пристрелили!

Чистенький, аккуратный подъесаул Сивцов, подняв подбритые брови и улыбаясь краешком губ, проговорил вкрадчиво:

— Господа! Я, собственно, не понимаю: почему мы все это обращаем не то в шутку, не то в семейную драму! Тут ведь вещи более серьезные. Хорунжий Селищев — вы все читали его дневник — очень подозрительно разглагольствует об экспериментах большевиков. Больше того, хорунжий даже жалеет, что он не увидит результатов этих экспериментов. Что это такое, позвольте вас спросить, как не открытая большевистская агитация? По-моему, записной книжкой хорунжего должны заниматься не мы, а военно-полевой суд...

Офицеры переглянулись. Краска медленно сползла с лица Максима: его худые щеки покрылись восковой бледностью. Он повернулся, достал из-под набитой травой подушки маузер, молча сунул его в карман. Потом вытащил полинялый вещевой мешок, накинул на плечи шинель.

— Куда ты, Максим? — закричал Юганов. — Подъесаул Сивцов шутит, а ты на стенку лезешь!

— Какие там шутки! — так же улыбаясь, пожал плечами Сивцов. — Этим не шутят.

Максим неторопливо прошел мимо него, обернулся и сказал:

— Прощайте, я ухожу... Не поминайте лихом... А тебя, Сивцов, мне жалко, потому что всех нас жизнь учит, а ты как был дураком, так и остался...

Хлопнув дверью, Максим вышел. Его никто не задерживал. Только подъесаул Сивцов кинул ему вслед:

— Ничего, хорунжий, мы с вами еще увидимся!

Возле крайней землянки, где спали казаки третьего взвода, Максим увидел урядника Шитова. Скинув сорочку и расставив ноги, старик умывался из солдатского котелка.

— Куда ты поспешаешь, Мартыныч? — спросил он, заметив Селищева.

— Ухожу я отсюда, — сказал Максим и протянул урядпику руку. — Бывай здоров, Шитов... Не злобись на меня, если чем обидел, и казакам поклон передай...

У Шитова выпала из рук тряпица, которой он вытирал мокрую бороду.

— Постой, постой! Как же ты уходишь? Куда? А начальство?

— Куда-нибудь! — махнул рукой Максим. — А начальство — что ж... не век с ним жить.

Пожав руку обескураженного казака, он поправил вещевой мешок и зашагал по лесной тропинке. Солнце еще не взошло, но утренняя заря уже осветила лес красноватым светом. В густых ветвях разлапистых дубов верещали птицы. Черно-белый дятел с ярко-малиновым пятном на подвижной голове и с таким же малиновым подхвостьем деловито постукивал по стволу дикой яблони, ронявшей лепестки. Правее тропинки, между бархатисто-зелеными замшелыми камнями, вился чистый как слеза ручеек.

Максим шел все быстрее, пробирался через покатые лесные холмы, обходил глубокие, пропахшие сыростью ущелья, и странно-радостное чувство какой-то легкой отчужденности и свободы волновало его. Ему хотелось забыть все, чем он жил до этого часа, и вот так шагать без конца по лесу, вдыхая острый запах молодой коры, влаги и тот прелый дух умирания, который сладко тянулся от слежавшейся за зиму палой листвы.

«Черт с ними, с белыми, с красными, — думал он, — надоели они все до смерти!.. Зачем это мне? Буду вот так бродить по лесам да по селам, буду работать. Кусок хлеба я везде найду. А там увидим. Может, когда остынет это клятое пожарище и люди забудут про кровь и убийства, я вернусь домой. Может, найду Марину, дочку и заживу по-человечески хоть под старость...»

Он не знал, что в эти же самые минуты подъесаул Сивцов с десятком казаков уже рыщет по лесу, чтобы найти, схватить его и доставить в военно-полевой суд как большевика и дезертира. Но Сивцов опоздал. На шестой версте Максим успел свернуть с дороги на боковую тропку, перевалил через каменистую отрожину, далеко обошел лесные делянки казаков-платовцев и направился в дальние, глухие хутора, где жили болгары-пчеловоды.

Там, на этих безымянных хугорах, Максим прожил четверо суток. Он обменял новые, еще не стиранные подштанники и кожаный солдатский ремень на три буханки хлеба и головку овечьего сыра, отдохнул, помылся, поел меду и, провожаемый старыми пчеловодами, пошел дальше в поисках работы.

В Пловдиве на толкучем рынке он продал за тысячу левов свою измятую офицерскую шинель и взамен купил старенькую суконную куртку и потертую шапчонку черного смушка. За слегка поношенные хромовые сапоги пловдивский комиссионер-турок заплатил сто левов и дал в придачу добротные, выделанные из сыромятной бычьей кожи чуни.

Теперь никто не узнал бы хорунжего Гундоровского казачьего полка Максима Селищева. Заросший темной кудрявой бородой, обветренный и загорелый, он ничем не отличался от болгарской «мизерии» — бродившей по стране босоты, которая не брезговала никакой работой, а при случае крала оставленное без присмотра белье, уводила в горы овец и коз.

Максим стал бродячим надничаром — поденщиком. На один-два дня он нанимался на работу к какому-нибудь купцу или помещику, выполнял что требовалось и, получив заработанные гроши, уходил дальше.

Он опрыскивал купоросом виноградные лозы, чистил хлева, стриг овец, полол табак, чинил двери и окна в болгарских кештах [1] и нигде не засиживался больше трех дней. Получив деньги и выпив предложенную хозяином стопку горьковатой терновой ракии, Максим прощался и тотчас же переходил в другую деревню. Многие богатые селяне, любуясь, как спорится работа в руках молчаливого руснака, предлагали ему остаться на год; не одна румяная чернобровая булка [2] украдкой заглядывалась на стройного ласкового надничара и приглашала пожить у нее в батраках; но Максим отклонял все предложения и бродил по обширным околиям, как будто его толкала вперед непреодолимая сила.

После многолетних фронтовых мытарств, после грязных бараков и бесконечных споров пьяных товарищей, после всего горького и тяжелого, что было пережито в чаталджинских овечьих кошарах и за колючей проволокой лемносского лагеря, Максиму показалось, что он впервые народился на свет.

---

[1] Кешта — изба.
[2] Булка — молодуха.

«Будь оно все проклято! — безмятежно думал он, шагая по дорогам. — К старому возврата нет. Так лучше—отработал, поел и иди дальше, не задерживайся, чтобы снова не загородили от тебя солнца...»

И все же в одном из селений Казанлыкской розовой долины, близ голубой реки Тунджи, Максим Селищев задержался. Виною этой задержки было многое: теплое весеннее солнце, блеск реки с зелеными берегами, райский запах великого множества цветущих роз, а самое главное — молодая приветливая вдова Цола, во дворе у которой Максим со старым одноглазым цыганом распиливал березовые бревна.

То ли стосковался Максим по женской ласке, то ли захотелось ему отдохнуть и побаловаться с маленьким Петком, Цолиным сыном, поваляться с ним на плоской крыше увитого виноградом дома, но он уступил горячим просьбам Цолы.

Две недели Максим прожил как в раю. По ночам, лежа на широкой кровати и поглаживая ладонью полные плечи прильнувшей к нему женщины, Максим вдыхал пьянящий, как вино, запах розовых лепестков, исступленно целовал ласковые Цолины руки, а потом, уткнув лицо в подушку, беззвучно глотал слезы.

Женским сердцем почувствовав состояние Максима, Цола шептала ему с ревнивым подозрением:

— Ты, Максим, ергенин? [1]

Максим не понимал, что это значит, и отвечал бездумно:

— Йа, Цола, ергенин...

Днем он сидел на ступеньках, жмурился от солнца, мастерил черноглазому Петку кораблик с мачтой и, усадив на плечи счастливого мальчишку, уносил его на берег Тунджи. Каждый день к Цоле заходил добродушный, похожий на смирного борова стражарь [2]. Тяжело дыша от духоты, кинув на колени немецкий палаш, толстый стражарь распивал с Максимом кувшин хмельной прохладной сливянки, лениво рассказывал о деревенских новостях.

От него Селищев узнал, что по околии ездят разные вербовщики, зовут руснаков в Бразилию, в Аргентину, в Марокко, что многие тырновские и севлиевские офицеры-руснаки завербовались в Иностранный легион и уехали в Африку. «Далеко ж их закинула злая судьба!» — с грустью и горечью подумал Максим.

---

[1] Ергенин — неженатый, холостяк.
[2] Стражарь — полицейский.

Как-то раз, приканчивая сливянку, стражарь лукаво прищурил полусонные глаза, вынул из кармана сложенную вчетверо газету, протянул Максиму и усмехнулся:

— Читай! Сын мой с фабрики принес!

Это был «Работнический вестник» — отпечатанная на плохой оберточной бумаге газета болгарских коммунистов. Легко разбирая доступные и понятные слова, Максим прочитал статью о казаках и солдатах-белогвардейцах, которые стали работать на заводах, пошли батраками и надничарами.

«На производстве белый солдат лучше уразумеет свою судьбу, — писали коммунисты. — Он увидит, что и над ним тяготеет господство ненасытного капитала, который русские рабочие и крестьяне сбросили в революционной борьбе. Вчерашний враг революции, а сегодняшний батрак и пролетарий, белый солдат хотя бы теперь поймет, какое страшное преступление против своего народа он совершил. Бесправный, голодный, нищий надничар, он теперь поймет, что на его родине совершается невиданное на земле дело — построение нового, счастливого мира, в котором все люди будут иметь равные права, в котором навсегда исчезнут кровавые войны, голод, нищета...»

— Ну, Максиме, каково? — обмахиваясь платком, спросил стражарь.

Максим в глубокой задумчивости протянул ему газету:

— Что ж тут можно сказать? Правильно пишут... Я все это понемногу начинаю понимать...

Если бы Максим послушался Цолу и хотя бы до осени пожил в ее небольшом гостеприимном доме, с ним не случилась бы та беда, в которую он так глупо и случайно попал. Но он стал тосковать, все чаще уходил на Тунджу, усаживался где-нибудь на берегу и часами смотрел, как, радужно сверкая на солнце, убегает вдаль прозрачная речная вода. Все реже ласкал он шумливого Петка, подолгу смотрел на Цолу, как будто не видел ее, и снова погружался в думу...

Теплым пасмурным утром Максим поднялся с кровати, молча оделся, умылся, старательно подвязал свои чуни, снял с гвоздя пустой дорожный мешок. Потом он откинул край стеганого одеяла, неслышно коснулся губами Цолиной шеи, увитой темными прядями волос. Осторожно притворил дверь, взял палку и ушел.

К вечеру Максим добрался до Казанлыка. Там купил билет и сел в ночной софиевский поезд. Утром на станции Стара Загора он вышел на перрон и стал разыскивать станци-

онный буфет — купить хлеба. В узких дверях буфета с ним нос к носу столкнулся подъесаул Сивцов.

Сивцов был не один. С ним шли два корниловских офицера с трехцветными шевронами на рукавах, в погонах и в фуражках с кокардами. Один из них, тихий и спокойный капитан Гладышев, знал Максима еще по «Ледяному походу».

— Ба, Селищев! — радостно закричал он.—Здорово, Максим! Ну, брат, тебя и родная мать не узнает, так ты переменился!

Подъесаула Сивцова будто кто подбросил стальной пружиной. Он выхватил из кобуры парабеллум, ткнул им Максима в грудь и закричал суетливо:

— Скорее, господа, зовите нашего шофера! Хорунжий Селищев — опасный большевистский агент и дезертир!

Через десять минут разбитый «форд» увозил Максима из Старой Загоры в Тырново, где стоял штаб первого корпуса генерала Кутепова.

— А почему вы везете меня в Тырново? — сквозь зубы процедил Максим. — Ведь я офицер Донского казачьего войска и не подлежу суду Добровольческой армии.

— Там разберутся, какому суду вы подлежите, — напряженно улыбаясь, сказал Сивцов.

К ночи Максима привезли в Тырново и посадили в темный подвал огромного дома № 701 по улице Девятнадцатого февраля. Утром подъесаул Сивцов разыскал дачу Кутепова, был введен часовым во двор и здесь же, в цветнике, вручил генералу заявление, в котором хорунжий Селищев был представлен как советский шпион и дезертир.

Низкий, квадратный, похожий на каменного идола, Кутепов, присев на корточки, пересаживал лилии. Бегло прочитав заявление, он повернул вверх дном садовую лейку, положил на нее сивцовскую бумагу, написал размашисто:

«Судить военно-полевым судом и расстрелять...»

Максим с первых минут понял, что его ждет. Лежа на холодном заплеванном полу, он нащупал в полусгнившей доске ржавый гвоздь и нацарапал на стене:

«Прощай навеки, моя дорогая Марина. Вот где довелось мне закончить мою горькую, никому не нужную, непутевую жизнь! Максим Селищев».

С мыслью о Марине он уснул.

6

Перед майскими праздниками заведующая пустопольской трудовой школой Аникина разрешила Марине Селищевой

съездить на три дня в Огнищанку. Марина разыскала попутную подводу и выехала рано утром. Вез ее знакомый огнищанский лесник Фотий Букреев, который приезжал в Пустополье за двумя ученицами — своей дочкой Улей и соседской девчонкой Соней Полещук. Букреев намостил в легкой арбе огромный ворох прошлогоднего лесного сена, усадил своих пассажирок и неторопливо поехал по подсохшей проселочной дороге.

Степь красовалась молодыми, изумрудно-зелеными травами, вся была во власти той радостной, хлопотливой и шумной жизни, какая бывает только весной. Где-то под самым небом, то падая, то снова взмывая, неумолчно звенели, заливались жаворонки. По синеватому склону дальнего кургана важно разгуливала пара дудаков, и видно было, как усатый красавец дудак, по-индюшиному распуская пестрые, с яркой рыжинкой перья пышного хвоста, горделиво вытянув пепельно-розовую, длинную, как у страуса, шею, охаживает свою молодую подругу. Впереди в редкой прозелени затравевшего проселка мелькали шустрые суслики. По голубым низинам, в налитых полой водой озерцах призывно и нежно высвистывали невидимые чирки.

Повязав косынкой густые золотисто-рыжие волосы, Марина лежала на арбе, смотрела в небо, слушала звонкое, как переливы серебряных труб, курлыканье журавлей. Ей ни о чем не хотелось думать, хотя на душе у нее лежала какая-то смутная грусть.

За два дня до отъезда в Огнищанку Марина получила письмо от Александра Ставрова. В этом письме, как и во всех других, он ни слова не говорил о любви. Но, читая его длинное, на шести страницах, письмо, Марина поняла, как чисто и глубоко полюбил ее этот человек, и он вдруг показался ей необыкновенно близким и дорогим.

О Максиме она уже почти не вспоминала. Слишком много времени прошло с тех пор, как они расстались. Марина успела забыть голос мужа, его глаза, привычки. Лишь изредка его образ являлся в ее памяти, как, бывает, является скрытый молочно-белым туманом и на миг освещенный солнцем степной курган.

Так и теперь. Лежа в арбе, вытянув маленькие ноги в позеленевших от сенной пыли туфлях, Марина почему-то вспомнила, как однажды поехала с Максимом на сенокос. Они еще не были женаты. Тогда тоже пахли травы в степи, так же, не смолкая, заливались жаворонки, так же неторопливо шагали кони. Максим кинул вожжи, приблизил к Марине

молодое, румяное лицо, спросил тихо и тревожно: «А ты всегда будешь любить меня?» Она засмеялась, поцеловала его горячие, оттененные темным пушком губы и сказала: «Всегда...»

«Да, я так сказала тогда, — подумала она, закрыв глаза, — и вот как все получилось. И Максима нет, и любовь, которая была, ушла куда-то далеко, пропала как дым. Только Тая и напоминает о том, что все это было...»

Сидевшие сзади девчонки шептались о чем-то своем. Неразговорчивый, привыкший к одиночеству Букреев лениво пошевеливал веревочные вожжи, молча дымил махорочной скруткой. Только перед самой Огнищанкой он покосился на вытянутые Маринины ноги, вздохнул и заговорил из вежливости:

— К дочке, стало быть, едете?

— Да, Фотий Иванович, к дочке, — оживилась Марина.— Соскучилась я по ней, полтора месяца не видела.

— А фершал Ставров кем же вам доводится? Сродственник, что ли?

— Его жена, Настасья Мартыновна, моя золовка, — объяснила Марина, — я была замужем за ее меньшим братом.

— Угу,—кивнул лесник.—Мужа, стало быть, у вас нету?

Марина приподнялась, натянула на колени юбку.

— Мужа нету, без вести пропал в двадцатом году...

— Трудновато без мужика, — помахивая кнутом, заключил Букреев, — кажный заклевать может, кому не лень.

Как только перевалили через бугор и стали спускаться к рауховскому парку, Марина увидела дочку. Быстро перебирая босыми смуглыми ногами, в коротком белом платьишке, Тая несла на коромысле ведра с водой. Сзади с корзиной в руках шла Каля.

— Доченька! — закричала Марина. — Мама твоя приехала! Родная моя!

С грохотом кинув ведра, охнув от неожиданности, мокрая, взлохмаченная, Тая стремглав кинулась к арбе.

— Ой, мамочка! — завизжала она. — Дорогусенькая! Какая ты красивая! Как я соскучилась по тебе! Ну слезай же скорее! Пойдем!

Все в доме Ставровых показалось Марине иным, чем было раньше. За весну подросли и вытянулись старшие мальчишки, как будто загорел и повеселел Дмитрий Данилович. На окнах появились белые марлевые занавески. У крыльца не смолкал гулкий собачий лай. Только Настасья Мартыновна осталась прежней. Так же суетливо носи-

лась она по деревне, выменивая тряпки на скудные продукты, запыхавшись, прибегала домой и с плохо скрытым выражением радости возилась возле плиты.

— Ты все такая же, Настя, — улыбаясь, сказала Марина.

— А что делать? Детишки сейчас работают в поле, коней водят в ночное. Вернутся и смотрят на тебя жадными глазами. Поневоле побежишь без оглядки, лишь бы достать стакан крупы или горсть кукурузной муки...

Укладывая на сковородке тонко раскатанные кружочки ячменного теста, Настасья Мартыновна повернула к невестке зарумянившееся от жары лицо.

— Теперь, слава богу, немного легче стало. У людей уже ранние овощи есть, редиска, лук. И в лесу все зазеленело. Дед Силыч привозит нам лесные травы, научил меня зеленый борщ варить из них. Ничего, получается. Какой еще наваристый выходит!

Хотя в этом не было никакой надобности, Марина нагрела воды, внесла в комнату деревянное корыто и принялась купать Таю. Долго терла ей плечи, мыла пушистые кудрявые волосы. Пряча нежность и ненасытное желание целовать мокрую Таину спину, приговаривала тихонько:

— А ты у меня худенькая, Тайка. Ножонки как хворостины, и на плечах косточки торчат. Зато фигура у тебя славная, будешь красивой девушкой...

— Да ну, ма-ама! — капризничала Тая. — Хватит, мама! Больно!

Марина счастливо и радостно засмеялась, кинула дочке полотенце:

— Вытирайся, драный котенок!..

Расчесывая гребенкой Таины волосы, Марина вплетала ей в тонкие косички оторванные от старой косынки алые тесемочки, рассказывала Настасье Мартыновне по-женски пространно и обстоятельно:

— Работается мне легко. Я занимаюсь в пятых классах. Столовая у нас своя. Это Григорий Кирьякович Долотов, председатель волисполкома, постарался. Ты бы видела, как открывали эту столовую! Смех и грех! Ни одной тарелки, ни одной ложки, только чугунный котел на плите и мешок овсяной крупы. А он, Долотов, созвал всех родителей, речь произнес на полтора часа. После речи председателя начали торжественно кормить молодое поколение овсяной кашей, а ложек и тарелок нет. Пришлось бедной поварихе ждать, пока каша остынет и загустеет, взяла наша старуха одну-един-

ственную ложку и стала накладывать овсянку прямо в руки...

Тряхнув головой, Марина усмехнулась.

— Долотов стоит красный, сердитый, а мимо него наши ученики шествуют, руки и картузы к поварихе протягивают... И что ж ты думаешь? Через два дня в столовой было полно всего — и разных тарелок, и вилок, и ложек. Долотов собрал. По всему Пустополю комсомольцы бегали — там ножик выпросят, там кружку или миску. Сейчас у нас все есть, и кормить стали сытнее: супы варят, каши, а по праздникам даже молоко к чаю выдают...

Настасья Мартыновна, слушая невестку, подумала: «Это она Таю хочет забрать к себе».

И действительно, когда косички были заплетены, Марина легонько вытолкнула Таю за дверь, поднялась и обняла Настасью Мартыновну.

— Спасибо тебе, Настя, за дочку. Возьму я ее с собой. Довольно. Пусть ходит в школу. Да и мне скучно без нее.

— Напрасно, — вздохнула Настасья Мартыновна.— Оставила бы девчонку до осени. Тут и воздух лучше, и огород мы свой посадили...

Марина задумалась. Она знала, что встретит со стороны Настасьи Мартыновны деликатный, но твердый отпор. Настасья Мартыновна очень любила племянницу, чем-то неуловимо похожую на ее пропавшего брата Максима. В слепой любви к брату Настасья Мартыновна после исчезновения Максима считала Таю круглой сиротой, была уверена, что Марина выйдет замуж и забросит дочку.

Скрывая вспыхнувшую враждебность к Марине, Настасья Мартыновна повторила мягко:

— Нет, правда, Мариша, оставь Таю с нами. И она к нам привыкла, и мы к ней привязались... Девочке у нас будет лучше...

Если бы Настасья Мартыновна не сказала последней фразы, Марина, возможно, и оставила бы дочку до осени. Но эта фраза обидела и обозлила ее.

— Почему это лучше? — нахмурилась Марина. — Что ж я ей, чужой человек, что ли? Или буду присматривать за ней хуже, чем ты? Пусть едет!

Настасья Мартыновна отвернулась, проговорив:

— Как хочешь... Я ведь хотела, чтоб хорошо было...

Когда о намерении Марины рассказали Дмитрию Даниловичу, тот отнесся к этому равнодушно.

— Ну что ж, — сказал он, — я вмешиваться не буду, у меня своих дел по горло.

Пришлось Настасье Мартыновне смириться. Не найдя поддержки у мужа, она притихла, сделала вид, что согласилась с невесткой, но в душе у нее осталось смутное, недоброе чувство. Уже вечером, когда все легли спать, а они с Мариной возились на кухне, она спросила как будто невзначай:

— А как Александр?

— Что? — Марина покраснела.

— Он писал нам, что был в Италии на какой-то конференции. А тебе он пишет?

— Я получила от него одно письмо, — солгала Марина, не желая признаться в том, что ею получено шесть длинных писем.

— Что ж он пишет?

Марина потянулась к плошке, поправила чадивший фитилек.

— Так, ничего особенного. Пишет, что здоров, работает.

— А мне третьего дня Максим снился, — посматривая на Марину, сказала Настасья Мартыновна. — Будто он, как бывало в станице, через Дон плыл. Вода в Дону мутная, почти черная, с какими-то красными плешинами. И вот Максим доплыл до середины и стал топуть. А кругом никого нет, он один. Это плохой сон.

Прислонившись к стенке, Марина сидела, ничего не отвечая.

— Ты веришь снам? — спросила Настасья Мартыновна.

— Нет, не верю.

И, потянувшись к золовке, Марина коснулась ладонью ее щеки:

— Чудачка ты, Настя. Совсем как старая бабка. И про этот сон ты выдумала. Просто тебе хочется, чтоб я не забывала Максима, чтоб Тайку тебе оставила. Вот ты и заходишь то с одной стороны, то с другой. Правду я говорю или нет?

— Да, Мариша. — Настасья Мартыновна потупилась. — Мне очень тяжело, что ты забываешь Максима. Я знаю, что иначе не может быть, а сердце у меня болит. Выйдешь ты замуж, нарожаешь детей, а Тая будет расти как бурьян при дороге.

Она убавила огонек в плошке, устало потянулась и, присев на широкий, сбитый из досок топчан, стала раздеваться. Марина долго молчала, думала о чем-то, потом прошептала, снимая туфли:

— Кто его знает, как оно все сложится. Тая — моя дочка, не могу же я бросить ее! Пойми это, Настя, и не обижайся...

Утром начались сборы. Известие об отъезде Тая приняла весело. Она взвизгнула, повисла у матери на шее, вылетела во двор, закричала:

— А я уезжаю! А я уезжаю!

Радовалась она потому, что ей предстояло ехать тридцать верст по степи, увидеть новые места, поселиться на новой квартире, и она, как любой ребенок, безмятежно обрадовалась этому.

Андрей решил доставить Тае удовольствие. Он только что с братом напоил лошадей и верхом на своем Бое возвращался от колодца. У двора он остановился, снял с акации веревочные путы и, увидев Таю, тоном взрослого сказал ей:

— Мы с Ромкой будем отводить коней на толоку. Хочешь с нами? А назад вернемся пешком.

— Ой, Андрюшечка, милый, конечно, хочу! — заверещала Тая. — Возьми меня, пожалуйста, а то я уеду и верхом не покатаюсь.

— Ладно, пойдем...

Он подвел ее к мерину, подставил руку и сказал:

— Становись ногой и влезай!

Тая взмахнула пушистыми, как одуванчик, кудряшками.

— О-ой, стра-ашно!

— Иди, иди! — рассердился Андрей.

Она подняла босую ногу, оперлась ею о ладонь Андрея, мелькнула белыми штанишками и, поеживаясь от страха, смешно надувая губы, взгромоздилась на коня. Подхватив поводья, Андрей уселся сзади.

— Поехали! — крикнул он Ромке.

Миновав серебристо-зеленые заросли ивняка, кони стали медленно подниматься в гору. Правой рукой Андрей держал ременный повод, а левой бережно придерживал Таю, обняв ее и слегка наклонив в сторону.

— Вот хорошо, правда? — завертелась Тая. — Давай поедем быстрее.

Она стала понукать коня, бесстрашно ударила его голыми коленями.

— Сиди смирно, — сказал Андрей, — выберемся на гору, тогда поскачем.

Таины волосы пахли горьковатым полынком, они щекотали Андрею лицо, ему было жарко и неловко, но вдруг, как там, в лесу, где он увидел Таню Терпужную, сидевшую над копанкой, у него появилось смутное и непонятное желание, которое обозлило и напугало его: ему захотелось поцеловать Таю. Он засмеялся, потянул ее к себе и крепко поцеловал горячую, чуть солоноватую от капелек пота тонкую шею девочки.

— Ой! — взвизгнула Тая. — Дура-ак!

— Сама ты дура! — глупо и восторженно улыбаясь, крикнул Андрей. — Теперь держись, а то слетишь!

Перевалив через холм, конь фыркнул, пошел резвой рысью, а потом, прижав уши, понесся галопом по зеленому ковру толоки. Его с лаем обогнала суматошная Кузя, сзади звонко заржал Ромкин рыжий Жан. Подпрыгивая на худой конской спине, вцепившись в жесткую гриву, Тая пискливо хохотала, больно ударила Андрея головой по носу, потом из глаз ее брызнули слезы, и она закричала:

— О-ой! Упаду!

Андрей придержал коня. Так же восторженно улыбаясь, он снял внезапно отяжелевшую Таю, встретил ее насмешливо-вызывающий, озорной взгляд и отвернулся, сбивая с шага весело фыркавшего Боя.

Обратно шли молча. Тая рвала разбросанные на промежке сине-лиловые ирисы, подолгу стояла, шевеля ногой теплый песок на сурчинах, растирала в ладонях струйчатые листья гулявника.

Уже перед самым двором она посмотрела на Андрея, усмехнулась и протянула лукаво:

— А вот я расскажу дяде Мите и тете Насте, ты тогда увидишь...

— Можешь рассказывать, дура! — буркнул Андрей.

Но она никому ничего не рассказала. Вечером все сидели у стола, вспоминали свои скитания по станциям, переезд в Огнищанку, смерть деда Данилы — все, что было пережито в эту суровую, трудную зиму и что теперь, с приходом весны, уходило из жизни, как страшный сон.

Рано утром Антон Терпужный, с которым Дмитрий Данилович договорился накануне, заехал за Мариной и Таей. Они обе всплакнули, простились с семьей Ставровых, уложили на телеге узелок с Таиными вещами и уехали в Пустополье.

1



Как ни бесновалась на разоренной земле смерть, сколько ни вырывала она из холодных изб человеческих жизней, как ни опустошала измученные, ободранные, безмолвные, точно кладбища, села, а все же чем жарче пригревало солнце, тем более неодолимо и радостно давала о себе знать неумирающая, пробужденная весенним теплом жизнь.

Получив от государства семенную ссуду, обсеялись миллионы крестьян. Хоть и мало полей было запахано и засеяно в эту весну, потому что семян не хватало и в голодный год много пало или было съедено коров и коней, все же люди сделали все, что смогли. Они посеяли рожь и пшеницу, ячмень и овес, вручную вскопали и засадили огороды; злаки и овощи взошли, выгнали густые стебли, стали радовать глаз сочной и яркой зеленью.

Осенью, зимой, весной, каждое в свой час, отгуляли томимые зовами жизни, уцелевшие во время голода животные. Нагуливая на молодых травах жирок, восстанавливая силу и резвость, они стали вынашивать в себе зачатых детенышей. И уже можно было видеть, как по утрам, весь сияя, тщетно пряча выражение нежности на загрубелом лице, выходит из коровника молчаливый мужик и на руках у него бессильный, горячий и влажный, окутанный утробным паром теленок бессмысленно таращит подернутые голубой мутью глаза. Мужик заносит новорожденного в хату, осторожно кладет на расстеленную у печки солому и говорит, радостно вздыхая:

— Ну, в добрый час...

После пасхи ожеребилась гнедая кобылица Демида Кущина, потом принесла крупную телочку сытая корова Шелюгиных, стали котиться овцы и козы Терпужных, Шабровых, Полещуков.

В ставровском доме тоже прибавилось хозяйство — ощенилась неугомонная Кузя. Никто не знал, где она нагуляла себе потомство: в Огнищанке за зиму не осталось ни одной собаки. Ранней мартовской ростепелью Кузя как-то убежала из дому, где-то пропадала четверо суток, а потом вернулась виноватая и присмиревшая. После этой прогулки она

вела себя как обычно, а в начале мая неожиданно произвела на свет шестерых бурых, с желтоватым подпалом щенят. Когда Дмитрий Данилович, услышав писк под крыльцом, нагнулся и приоткрыл низкую дверцу, Кузя уже успела управиться — перегрызла всем щенкам пуповину, подгребла их к теплому брюху и лежала, слабо повиливая куцым обрубком хвоста.

— Слышишь, Настя? — усмехаясь, закричал Дмитрий Данилович. — Начала наша живность плодиться и размножаться.

Дети, особенно Каля и Федя, часами просиживали у крыльца. Они наблюдали, как похудевшая Кузя кормит щенят, таскали ей все, что могли: кукурузные лепешки, остатки борща, кусочки добытого Настасьей Мартыновной творога. И Кузя, ласково поглядывая на них темными, орехового оттенка глазами, деликатно съедала лакомые подачки.

Как-то в воскресный день соседка Ставровых, бабка Сусачиха, толстенькая шустрая старуха, жена деда Исая Сусакова, принесла из Костина Кута добытую по просьбе Настасьи Мартыновны пеструю наседку и два десятка яиц, обменяв все это на старые рубашонки Ромки и Феди. Смирная курица как ни в чем не бывало заходила по кухне, оправляя измятые бабкой крапчатые перья, помахивая чуть подмороженным листовидным гребнем, застучала по полу острым аспидным клювом.

— Наседочка добрая, — промолвила бабка, — и хлуп у нее без пуха, и сережки темнеть стали, хоть сейчас ее усаживай.

Бабка Сусачиха, щуря тусклый, с тяжелым веком глаз, пересмотрела на свет все яйца, приготовила плетенку, намостила туда соломы, аккуратно уложила на солому горку яиц и посадила в гнездо наседку.

— Нехай сидит с богом, — сказала она Настасье Мартыновне, — а ты ей водичку ставь, сыпь зерна, дробленого уголька подсыпай. А гнездо посыпь золою, чтобы воши не завелись...

На двадцатый день крапчатая курица вывела пушистых желтых цеплят. Их сначала отсадили в решето, поставили возле печки обсохнуть, а потом, когда они засуетились, запищали, подложили под наседку.

Теперь у порога обжитого дома не смолкали пискливые голоса бегавших в траве цыплят и квохтанье наседки; под крыльцом басовито ворчали, поскуливая, Кузины щенки; утром и вечером двор оглашался ржанием набиравших жи-

рок меринов. В неприютном, покинутом Раухом доме началась новая жизнь.

Как это обычно бывает после долгого и мучительного голода, после многих смертей и страданий, у людей появилось жадное желание посеять, вырастить побольше хлеба, вывести побольше птицы, видеть в своем дворе горы зерна, слышать крик разной живности.

Дмитрий Данилович все чаще уходил в поле осматривать свои посевы. Он подолгу стоял на межах, прикасался пальцами к зеленым пшеничным стрелкам и думал: «Ну вот, пережили мы самое страшное, теперь жизнь пойдет по-другому. Если бог пошлет урожай, к осени куплю телочку, пару хороших поросят, заведу свой плуг, телегу, чтоб ни у кого не просить, а работать по-человечески...»

На троицу Дмитрий Данилович вместе с другими огнищанами съездил в уездный городишко Ржанск на ярмарку.

На ржанской ярмарке было много людей. Со всего уезда сюда съехались мужики, которые привезли с собой мешки обесцененных денег; бойкие, предприимчивые нэпманы навезли мыла, гвоздей, соли, цветастого ситца, на широкой площади раскинули свои палатки, стали зазывать степенных, недоверчиво посматривавших на давно не виданные богатства мужиков; все кругом шумело, стучало, звенело.

Тут же с лотком в руках вертелся испитой ловкач-спичечник и орал истошным голосом:

— Спички шведские, головки советские!

Тощий одноглазый старик шагал в толпе, помахивал пузырьками, в которых постукивали камешки для зажигалок, и причитал, проглатывая гласные:

— Кымшк зжга... Кымшк зжга...

Ражий румяный детина с подбритыми по-английски усиками покалывал наглыми глазами табунившихся возле него баб, сверкал золотом вставных зубов, ворковал как голубь, надувая сизый кадык:

— Навались, навались, у кого деньги завелись! Давай бери, бабочки, давай бери! Ситчики-сатинчики! Ленточки-булавочки! Забирайте, бабочки!

Бабы смеялись, толкали одна другую локтями, перешептывались, робко щупали цветастые ткани, а сбоку, склонив к разбитой гармони безглазую голову, тонко и хрипло пел, бередил жалостливую женскую душу одетый в солдатскую шинель слепец:

Как пошла война буржуазная,
Одичал, озлобился наро-од —

И по винтику, по кирпичику
Разнесли мой родимый заво-од...

Ржанские щеголихи, пощелкивая деревянными, похожими на апостольские сандалии стуколками, помахивая короткими, выше колен, юбками, носились по ярмарке, набрасывались на туалетное мыло, кремы, помаду. Черные, как угольщики, цыгане вздымали босыми ногами горячую пыль, с гоготом и свистом гоняли по площади взмыленных коней. Трое старых монахов, в порыжелых рясах и засаленных скуфьях, продавали латунные крестики, лампады, яркие, как конфетная этикетка, иконки.

— А откуда монахи взялись? — спросил удивленный Дмитрий Данилович.

Демид Кущин, поглаживая темные усы, объяснил:

— Тут же, Данилыч, два монастыря есть: один женский, другой мужской. Старинные монастыри. Ты кого хочешь спроси про ржанские монастыри, тебе каждый скажет. До революции монахи здорово жили, землю свою имели, сушеной фруктой торговали, и людей тут завсегда было полным-полно.

— А сейчас?

Демид махнул рукой:

— Сейчас их трошки прижали. Слыхал я, вроде выселили всех монахов, а в монастырях коммуны пооткрыли. Правда или нет, не знаю...

Средний Кущин, Игнат, как две капли воды похожий на брата, только усами посветлее, рассказал на ходу:

— Там так было дело. В мужеском монастыре коммуна открылась еще прошлый год. Монахи, которые поздоровше, разбежались, а старикам власти позволение дали остаться, монастырский флигель для них выделили и церковку одну прикрепили. Молитесь, говорят, божьи инвалиды, сколько вашей душе потребуется, только агитации своей не разводите, чтоб коммуна была сама по себе, а вы сами по себе.

— Ну и что же? — усмехнулся Дмитрий Данилович.

— Так, говорят, и живут: коммуна весь монастырский двор занимает, главное здание, конюшни, сараи, а монахи в уголочке двора приткнулись, в своем флигеле орудуют — крестики из винтовочных патронов штампуют, лампадки из водочных шкаликов режут, иконки печатают, тем и живут. Перед пасхой сюда и пустопольский батюшка отец Никанор переселился, тот самый, которого зимой поранили. На временном отдыхе тут находится.

— А коммуна как?

— Ни черта из этой коммуны толку нету! — вмешался идущий сзади Аким Турчак. — Я у них тут был, знаю. Собрались самые голодранцы. Сбились в монастырском дому, столовую свою открыли, а работать нечем. Потом бабы у них сцепились, стали одна другой высчитывать, кто сколько ложек припес, волосья друг на дружке порвали, котел на кухне расколотили. Не желаем, говорят, в этой коммуне жить, распускайте нас по домам!..

Огнищане долго бродили по ярмарке, покупали по мелочи всякую всячину — кто соли, кто колесной мази, кто гвоздей. Наконец встретили подвыпившего деда Силыча и пошли выбирать косы. Дед перебрал сотни кос. Гладил пальцами их полотно, нажимал на пятку, вызванивал жестким ногтем по лезвию, чуть ли не на язык пробовал и говорил вдохновенно и важно:

— Косу, голубы мои, надо знать. Ежели она желтым цветом отливает, это значит, сталь на ней твердая, не скоро затупится, а крошиться будет. Ежели в косу при закалке синь пущена, коса будет помягче и точить ее надо чаще. Носочек в косе должен быть востренький, загнутый, пятка крепкая, особливо в шейке, а жало, как молонья, блескучее и тонюсенькое, с волосок...

Пока дед Силыч выбирал косы, юркий Капитон Тютин, поблескивая глазами, сообщил только что услышанную новость:

— Граждане! После полудня в монастыре будут мощи вскрывать, давайте глянем. Это ж интересно — как наши святые попики народ дурили...

Огнищане Капитона не любили. Это был неисправимый лодырь, несусветный ябедник и пьяница. Он жил на иждивении своей жены Тоськи. Капитон Тютин дезертировал из всех армий, которые действовали в гражданской войне, и, кроме голубей, ничего не свете не признавал. На ярмарку он явился вместе со своим кумом Гаврюшкой, выменял пару каких-то диковинных голубей-вертунов и успел здорово хватить самогона.

— Слышьте, граждане! — повторил Тютин. — Давайте глянем на вскрытие нетленных мощей. Тут же недалеко, три версты. Кум Гаврюша уже побег туда. Надо же своему деревенскому уму просвещение сделать, с темнотою борьбу вести.

— Чего же? Может, сходим? — улыбнулся Тимоха Шелюгин. — И вправду, надо поглядеть, какие там нетленные мощи.

Антон Агапович Терпужный отказался наотрез:

— Ступайте сами, а я на такой грех и паскудство не ходок.

Его оставили на ярмарке, уложили в телеги свои покупки, заскочили в чайную, выпили по стопке самогона — дошлый продавец держал самогон под стойкой — и целым обозом поехали в монастырь.

Там уже было полно народу. Празднично одетые люди расхаживали по двору. Расстелив косынки и подвернув юбки, чинно сидели под дубами молодые и старые бабы. Полузгивая семечки, гуляли с девушками наголо остриженные красноармейцы. В сторонке, на длинной лавочке, грелись на солнце пять дряхлых монахов с клюками в руках. С ними сидел и пустопольский поп Никанор, понурый и невеселый. Так же как и на других монахах, на нем был черный подрясник, оттенявший прозрачную, восковую желтизну его лица.

— Батюшка-то наш похудал как! — сказал дед Силыч.

— Может, решение принял: уйти перед смертью от мира...

В третьем часу все повалили в храм. Люди по привычке сняли шапки, столпились у стен, замолкли, ожидая. С левой стороны храма, неподалеку от северных покомарских врат, стояла темная, с облупленной полудой рака, в которой покоились мощи преподобного Зосимы, первого настоятеля ржанского монастыря. Святитель Зосима, как гласила надпись, скончался в 1569 году, в царствование государя и великого князя Ивана Васильевича.

Когда все стали на места и наступила тишина, заведующий уездным паробразом Миротворский, бывший ссыльный, сын ржанского протоиерея, маленький, корепастый человек в очках, сказал торжественно:

— Товарищи! По постановлению общего собрания граждан, утвержденному местным Советом, сейчас будет вскрыта рака с мощами святителя Зосимы. Церковники утверждают, что эти мощи нетленны. Сейчас мы это проверим. Для того чтобы... так сказать... не осквернять религиозных чувств и... это самое... не вызывать подозрений, мы попросили иеромонаха Иннокентия Стрыгина заняться вскрытием мощей в присутствии выбранной комиссии и народа...

Он вытер платком потный лоб, поправил очки и повернулся к стоявшему рядом строгому иеромонаху:

— Гражданин Стрыгин, приступайте.

Два дюжих пожилых мужика помогли иеромонаху снять тяжелую крышку, открыли белевший в раке деревянный

гроб, заглянули в него и, сложив на животе жилистые руки, стали неподалеку. Иеромонах перекрестился, пошевелил губами, осторожно вынул из гроба верхний, шитый позументами покров. Под вторым, линяло-голубым покровом появились неясные очертания человеческой фигуры. Молчаливый иеромонах размотал черную ленту в ногах покойника, снял еще два покрова, зеленый и синий. Под ними лежала увитая бинтами фигура. Иннокентий ножницами распорол бинты, вынул и положил на крышку клочья ваты, два толстых шеста — они заменяли ноги. Потом он разбинтовал истлевший череп и поднял коричневое тряпье, из которого вылетело множество моли.

— Все, — глухо сказал он, — там ничего нет... только тряпки и пыль...

Народ молчал. Бледный, тяжело опираясь на клюку, стоял у стены поп Никанор. Глаза его были опущены. Он ни разу не взглянул на иеромонаха Иннокентия.

— Ну вот, — сказал Миротворский, — все ясно. Народ своими глазами увидел обман. Ничего нетленного в раке не было. Святитель Зосима состоял из бинтов, двух палок и черепа. Сейчас наша комиссия составит точный протокол осмотра, а вы, товарищи, расскажите у себя в деревнях, чему молились темные, обманутые люди...

Фельдшер Ставров слушал оратора с ленивой усмешкой. В бога он давно перестал верить, с того памятного года, когда его взяли в военно-фельдшерскую школу и он вместе с другими учениками впервые в жизни вскрыл труп умершего от пьянства бродяги. Война утвердила безверие молодого фельдшера. Он с некоторым цинизмом стал говорить о том, что любого человека можно разобрать и собрать по косточкам, сшить и распороть, как солдатские штаны.

Не без любопытства следил Ставров за тем, как восприняли вскрытие мощей огнищане. Стоявший рядом Демид Кущин только натужно поводил головой, точно ему мешал воротник праздничной сорочки. Вертлявый Тютин одобрительно покрякивал. Дед Силыч сосредоточенно почесывал бороденку и ронял, ни к кому не обращаясь:

— Значит, вот оно какое дело...

— Что, сосед, дошло? — спросил его Ставров. — Видал, из чего святые мощи сделаны?

Силыч махнул рукой:

— Оно ведь как сказать! Брехне про мощи я и сам не дюже доверял, а вот насчет бога каждому надо своим умом до правды доходить.

— Бог все едино есть, — отозвался степенный Демид Кущин.

Дед Силыч посмотрел на него строго и сказал:

— Это дело мы тоже проверим...

Огнищане заночевали в монастыре. Они познакомились с председателем ржанской коммуны «Маяк революции» Саввой Бухваловым, и тот разрешил им осмотреть хозяйство коммуны.

— У нас пока глядеть нечего, — сердито сказал он, — неважное хозяйство. Впрочем, глядите. На прямую дорогу мы все равно выйдем... рано или поздно.

Коренастый, присадковатый, с наголо обритой головой, на которой синели глубокие шрамы, Савва Бухвалов появился в Ржанске совсем недавно. Лет пятнадцать он проработал в донецких шахтах, дважды был заживо погребен в штреках во время обвалов. Потом ушел в армию. В первые дни революции Бухвалов вступил в партию, стал комиссаром полка, несколько раз был тяжело ранен. После демобилизации вернулся на шахту, работал отбойщиком, потом был вызван в Москву и направлен в Ржанск. В Ржанском укоме ему предложили должность заведующего паробразом, но он насупился и сказал секретарю укома:

— Брось дурочку из себя строить! Какой из меня наробраз, если я в каждом слове три ошибки делаю! Прислали к вам рабочего человека для смычки с крестьянством — вы и направляйте его куда следует...

Уком направил строптивого шахтера в коммуну.

Огнищанские мужики походили по конюшням, критически осмотрели полсотни разномастных коней, зашли в огромный монастырский коровник, в котором бродили низкорослые коровенки, постояли в сарае, где хранились машины — три старые лобогрейки, три веялки, несколько буккеров и ржавый, кособокий триер.

— А скажи, голуба, сколько ж у вас в коммуне землицы? — поинтересовался дед Силыч, колупая на сеялке отставшую сыпь ветхой краски.

— Земли у нас хватает, — сдвинул брови Бухвалов, — нам передали всю монастырскую землю, две с половиной тысячи десятин. Да разве с нашими силами можно эту землю обработать? Четыреста десятин мы кое-как освоили, а остальную оставили под сенокос.

Демид Кущин усмехнулся:

— Разве ж вам выкосить столько?

— Известно, не выкосить, — прямодушно сказал Бухвалов. — Придется брать косарей со стороны и отдавать им каждую вторую копну.

Сидевший на лобогрейке Тимоха Шелюгин похлопал по голенищам, тронул пальцем белесый ус:

— Сотню десятин и мы могли б вам выкосить. С половины. У наших огнищан скотинки на осень прибавится.

— Скажите, — задумчиво протянул Дмитрий Данилович, — для чего ж организовывать коммуну, если такая штука получается? Ну, поработают люди год-два, а потом все равно разбегутся.

Бухвалов помрачнел, строго глянул на фельдшера:

— Ерунду ты мелешь, товарищ. Тут надо в самый корень смотреть, течение жизни понимать надо. Все равно мужики к этому пути придут, им некуда деваться, потому что безлошадный бедняк не управится с землей, которую ему дали, и обратно кулаку под ноготь попадет. Значит, одно ему спасение — в коммуне.

— Вы же сами говорите, что в коммуне у вас плохо, — возразил Дмитрий Данилович, — на черта ж тогда огород городить?

Грузный Бухвалов побагровел, медленно провел тяжелой рукой по колючей щетинке обритой головы.

— Напрасно ты так рассуждаешь, — сказал он, посматривая на мужиков. — Идея у нашей партии правильная, красивая идея: чтоб крестьяне-хлеборобы общим трудом хозяйство подняли, себя и весь народ накормили, чтоб все равными стали. Конечно, такую великую идею враз не поднимешь. Взять вот нашу коммуну: одни круглыми сутками в поле трудятся, а другие на печке лежат, получают же все одинаково и едят в одной столовой. Правильно такое положение? Думаю, что неправильно, а новый порядок установить не умею. Опять же и машин у нас для такой агромадной земли не хватает.

Лукаво ткнув Бухвалова под бок, дед подморгнул ему:

— Тяжину надо по силе подбирать. Не вырос еще, нет силенки — не надрывайся, погоди чуток. Сегодня не сдюжаешь, завтра не сдюжаешь, а придет час — сдюжаешь...

— Ты, видать, дедок, образованный, — усмехнулся Бухвалов.

Огнищане договорились с председателем коммуны о том, что они возьмутся скосить часть сена за половину и приедут через неделю.

Возвращались довольные поездкой. Почти всю дорогу говорили о коммуне, покачивали головами.

Постепенно разговор затих. На степь надвигалась темная ночь. Справа, за длинной полосой леса, погромыхивало. Теплый ветер принес резкий и свежий запах влаги. Сильнее зафыркали кони, прибавили шагу. Но гроза, как видно, приближалась медленно, тяжело...

В эту душную грозовую ночь многие не спали. Не спал и отец Никанор. Сидя на табурете в темной келье, он думал о близкой смерти, о том самом значительном, что, как ему казалось, было гораздо важнее жизни или смерти, — он думал о боге. Уже давно в сердце старика закрались беспокойные, устрашавшие его сомнения, и он, тревожно и смятенно всматриваясь в живое трепетание молний, жаловался себе на то, что перестал чувствовать его, всеблагого, вечного, как он верил, бога.

— Наг и обнажен предстаю пред тобою, сердцеведче господи, — шептал он привычные, давно знакомые слова, в которых как будто появился новый, страшный смысл. — От тяжести грехов моих не могу воззрети и видети высоту твою небесную... не могу, слабый, лукавый, грешный... не могу, окаянный, слепой и темный...

С наивной страстной надеждой Никанор вдруг начинал верить, что всемогущий бог явит свой лик ему, старому, умирающему человеку, который много лет служил богу. Но не являлся божий лик. Были только багряные зарницы, духота и тьма...

И тогда старик впервые в жизни, страшась своих слов, обратился к богу с гневным упреком:

— Напрасно, господи, отвращаешь лик твой от меня!.. Напрасно обходишь меня, как вода!.. Молчание твое возмущает!..

2

Борис Бразуль и есаул Крайнов ждали Анастаса Андреевича Вонсяцкого четыре дня. Он приехал усталый, недовольный и, не повидавшись с гостями, отправился отдыхать. Только в десятом часу вечера миссис Стивенс передала через лакея, что «его сиятельство» готов принять русских друзей.

Когда Бразуль и Крайнов вошли в большой, роскошно обставленный кабинет, навстречу им поднялся с кресла довольно высокий, слегка полнеющий брюнет с низко остри-

женными волосами и самодовольным лицом, которое время от времени подергивал нервный тик.

Учтиво поклонившись, Вонсяцкий сказал:

— Я в курсе всего. Графиня передала мне о вашем желании вручить письмо высокому лицу. Думаю, что это легче всего сделать через мистера Генри. Завтра мы вместе поедем к нему.

По манерам, по интонациям голоса, по движению рук трудно было угадать в Вонсяцком человека, который всего год назад рыскал по Крымским горам, грабил проезжих, выкрадывал богатых людей. Трудно было поверить, что сидевший в кожаном кресле красивый джентльмен не более как мелкий бандит и шантажист. Посматривая на «графа», Крайнов был уверен, что Вонсяцкий скрывает свое прошлое. Но тот в разговоре, не стесняясь миссис Стивенс, дважды повторил:

— Это было, когда я гулял с отрядом в горах и собирал дань с перепуганных дураков...

После ужина Анастас Андреевич заговорил с гостями о перспективах борьбы с большевиками.

— С каждым днем это становится все труднее, — сказал он. — И не только потому, что большевики укрепляют свои позиции, но главным образом потому, что наши силы разрознены, распылены по всему миру и при нынешних порядках не могут объединиться для удара.

— Какие порядки вы имеете в виду? — осторожно осведомился Бразуль.

— Политические, — отрезал Вонсяцкий.

Вертя в руках нож из слоновой кости, он сказал хмуро:

— Противоречия между капиталистическими странами и между отдельными капиталистами, к сожалению, действительно существуют. Все они грызутся, как собаки. Наш дряхлеющий мир требует омоложения, иначе большевики сметут нас в ближайшие же годы. Умные люди понимают это, и кое-где начинается процесс омоложения.

Крайнову было скучно, он с трудом удерживал зевоту, но для приличия спросил:

— Какого омоложения?

— Вы что-нибудь слыхали о фашизме? — повернулся к нему Вонсяцкий. — Я недавно был в Италии и познакомился с инициатором этого движения Бенито Муссолини. Любопытный человек. Сын кузнеца из местечка Предаппио. Кажется, был учителем, одно время якшался с социалистами. В начале войны дезертировал, сбежал в Швейцарию,

там, говорят, бродяжничал, нищенствовал. Во всяком случае, из Лозанны его выслали как человека без определенных занятий. После войны Муссолини в Италии начал сколачивать кружок, а после версальской комедии организовал боевые союзы. В них валом повалили люди вроде нас с вами: отставные офицеры итальянской армии, мелкие и крупные помещики, зажиточные крестьяне — словом, все, кому стал поперек горла русский большевизм. Главное же, господа, заключается в том, что Бенито Муссолини отлично видит ветхость старого доброго капитализма и ожесточенно борется за новые формы социального строя, который спасет мир от большевизма. Он хочет создать власть сильных и поставить на колени разнузданную толпу голодных итальянцев, которые уже сейчас кричат: «Да здравствует Ленин!»

Вонсяцкий зажег сигару, пододвинул сигарный ящик поближе к гостям и продолжал, выпустив густое облако дыма:

— Для того чтобы завоевать доверие толпы, Муссолини не брезгует демагогией и работает, сукин сын, так, что все льют воду на его мельницу. Утром он требует конфискации военных прибылей капиталистов и обложения их огромными налогами, а вечером получает субсидии от тех же капиталистов. Он, как хороший музыкант, играет на всех чувствах толпы: предлагает разделить землю между помещиками и крестьянами, расширить избирательные права, увеличить заработок рабочих. Все это нужно ему, чтобы подчинить страну одной воле. Он добивается диктаторской власти для объединения антибольшевистских сил и добьется ее, я вас уверяю...

— Одна Италия ничего не сделает, — уныло протянул Бразуль.

— Муссолини не одинок! — живо откликнулся Вонсяцкий. — В Германии зарождается аналогичное движение, но пока оно слабо. В Англии фашистские идеи начинает проповедовать молодой, но влиятельный член парламента сэр Освальд Мосли. У нас в Штатах довольно близок к этим позициям мистер Генри, вокруг которого уже собираются силы...

Разговор о политике наскучил Крайнову. Он никогда не любил и не понимал смысла словесных прений, предпочитая дела, не требующие напряжения ума. Сидя сейчас в кабинете, он внимательно слушал все, что говорил хозяин, но не потому, что хотел разобраться в сложных политических

комбинациях, а потому, что его интересовал сам Воисяцкий, человек с неправдоподобной судьбой.

Крайнову не терпелось увидеть мистера Генри, промышленного короля, о котором он очень много слышал. Он знал, что старик фантастически богат, что этот сын фермера основал свое коммерческое предприятие в захудалом сарае и за тридцать лет построил мощные заводы, дающие колоссальную прибыль. Слышал есаул и о ненависти всесильного миллиардера к большевикам и надеялся, что этот делец при желании столкнет дело с мертвой точки и сможет многим помочь Врангелю.

Выехали на следующий день на автомобиле.

Беспрестанно болтая, кокетливо закатывая глаза, миссис Стивенс вела тяжелую, но послушную и мягкую машину с искусством первоклассного шофера — лихо пугала встречных тройным сигналом, почти не сбавляла скорости на поворотах и успевала говорить с тремя мужчинами одновременно. Еще дома она настояла на том, чтобы ехать кружным путем, на Рочестер и Торонто, и осмотреть берега озера Гурон.

— Не все же вам заниматься политикой, — сказала графиня, — мне хочется повеселиться. Я единственная среди вас представительница прекрасного пола, и вы меня слушайтесь...

В дороге Крайнов совсем захандрил. Он смотрел, как серебрится, колышется в степи густая трава, и думал: «У нас тоже весна... Дон, должно быть, разлился, ерики стоят голубые, и ковыль волнуется на курганах, и жаворонки вьются над дорогами... У нас лучше, чем тут. Жизнь бы отдал, чтобы еще раз взглянуть на зеленую Тополиху, на плакучие вербы у Татарского ерика, послушать, как вечерами поют станичные девчата».

— Почему у вас такие глаза, мистер Крайнов? — засмеявшись, спросила графиня.

— Какие? — Крайнов вздрогнул.

— Обиженные, как у мальчика, у которого отняли игрушку.

— Вы правы, миссис, — глухо сказал Крайнов, — у меня отняли больше, чем игрушку, — родину, семью, все, чем я жил...

— Ничего, не унывайте, — усмехнулась миссис Стивенс. — Мы с графом Анастасом поможем вашему Врангелю прогнать большевиков, и вы получите назад свою игрушку, обиженное дитя.

Крайнов вежливо улыбнулся. Но чувство оторванности и свинцово-тяжкой тоски не покидало его за все время дороги. Он был молчалив, подавлен и угрюм. Несколько раз у него шевельнулась испугавшая его мысль: «Может быть, Максим Селищев прав и лучше было бы вернуться туда, в Россию?» Он хмурился, злился, отгонял от себя эту непрошеную мысль, но она снова и снова беспокоила его.

Промышленный король принял русских друзей миссис Стивенс в одном из своих поместий — в небольшом домике близ озера Мичиган. Одетый в простой рабочий комбинезон, коренастый, с обветренным, медно-красным лицом и седой головой, он крепко, по-крестьянски, пожал руки посетителям, тотчас же согласился передать письмо Врангеля, хотя и сказал с добродушной усмешкой:

— Я только один раз использовал свой авторитет в политических целях: когда надо было заставить конгресс принять билль о защите перелетных птиц, варварски истребляемых охотниками.

— Мы сейчас тоже перелетные птицы, — с неожиданной резкостью перебил Крайнов, — и нас истребляют не менее варварски, гонят с родной земли...

Неловко улыбаясь, миссис Стивенс перевела его слова.

— Да, конечно, — согласился хозяин, — хотя и есть существенная разница. Те птицы, которых я защищал в конгрессе, не имели ни пулеметов, ни пушек и, кроме того, занимались полезным трудом, очищая поля от насекомых...

Миссис Стивенс сочла нужным перевести только первую половину этой грубовато-простодушной фразы и сгладила ядовитый намек миллиардера.

Промышленный король уже давно привык к тому, что тысячи людей приезжали сюда только для того, чтобы посмотреть его, «гениального неуча слесаря» — так, захлебываясь восторгом, писали о нем газеты, — и узнать от него секреты сказочного обогащения. Он уже привык поучать надоедливых предпринимателей, прогоревших банкиров, искателей наживы и раз навсегда избрал тот грубоватый тон проповедника, который так нравился его поклонникам.

В последние годы, особенно после русской революции, богатый промышленник решил, что его метод организации производства будет вполне пригоден и для организации всего человеческого общества, которое, по милости глупцов политиков, находится в состоянии анархии и почти полного банкротства.

Как и всегда, он не пригласил своих посетителей в дом, а, разгуливая с ними по дорожкам великолепных цветников, произнес речь, которая, как ему казалось, должна была просветить умы ленивых и жадных дураков и спасти планету от большевистского вандализма.

— Беда нашего строя состоит в том, что он лишен плана, — сказал старый промышленник, — но и та плановость, которую предлагает для человечества Ленин, требует всесторонней практической проверки. Тут мы имеем право быть скептиками. Скептицизм, совпадающий с осторожностью, есть компас цивилизации. Русская революция не выдержит проверки временем, потому что она представляет собою сплошной митинг, но не поступательное движение... Три столпа, на которых стоит любое современное государство, — это земледелие, промышленность и транспорт. Если хоть один из этих столпов разрушен, общество начинает терпеть бедствие. В России разрушены все три столпа, и потому она превращена в мертвую пустыню. Это сделано ради нелепой и вредной идеи равенства людей. Но в обществе нет двух равных людей, так же как в природе нет двух абсолютно одинаковых предметов. Большевики же пошли за непроверенной идеей равенства только потому, что она предполагает новые формы социального строя. Однако вместо поисков нового, неизвестного строя лучше совершенствовать старый строй, как я это делаю с моделями моторов и станков, ежедневно улучшая тысячи раз испробованные детали...

Он говорил неторопливо, внушительно, точно читал доклад перед огромной аудиторией, милостиво предлагал рецепты спасения мира, известные только ему одному и многократно проверенные в его заводских цехах. Время от времени он останавливался, поправлял палкой тонкий стебель гвоздики или розы и продолжал таким же докторальным тоном:

— Наспех снаряженные армии интервентов не уничтожат большевизма. Они только подольют масла в огонь и возмутят миллионы эксплуатируемых людей мира. Нам надо сначала объединить свои усилия и, наоборот, разъединить, разобщить рабочих, как это сделано на моих заводах. У меня рабочие одного цеха совершенно изолированы от рабочих другого, они не знают, что делают их соседи, и не должны знать. За этим следит моя полиция. Чтобы работать, нет надобности любить друг друга или делиться с соседями своими мыслями. Это только мешает. Когда мы да-

дим занятие и хлеб множеству безработных людей мира и разделим их, на планете восторжествует порядок.

Сияя сохранившими молодой блеск глазами, старый миллиардер сказал с гордостью:

— У меня есть люди, которые десять лет изо дня в день выполняют одно и то же: берут стальным крючком деталь, болтают ею в бочке с маслом и кладут в корзину рядом с собой. Движения этих людей всегда одинаковы. Они находят деталь на определенном месте, делают всегда одно и то же число взбалтываний и опускают деталь в ту же корзину. Им некогда заниматься политикой, они заняты только тем, что тихонько двигают руками взад и вперед, а потом идут спать... Я заставляю работать даже тех, которые лежат в моих больницах. Им расстилают на постелях черные клеенки, и они, эти больные, прикрепляют винты к маленьким деталям, работая ничуть не хуже, чем здоровые рабочие, выполняющие то же самое в цехах завода. У больных после этого улучшаются сон и аппетит, работа идет им на пользу...

...Если мы, — заключил старик, — займем человечество рационально организованной работой подобного типа и дадим ему кусок хлеба, башмаки и ночлег, оно перестанет бунтовать и на всех языках произносить имя Ленина. Любой завод, любая ферма будут для сытых людей раем...

На есаула Крайнова вдруг напала такая тоска, что он, как о самом светлом и радостном, вспоминал о деревянном бараке в лесу, о запахе снега и хвои, о бесконечных разговорах, которые заводили у костров казаки-эмигранты. Он вспомнил и о своем одностаничнике Максиме Селищеве и в тот же вечер написал ему большое письмо.

«Дорогой односум! — писал Крайнов. — Я в данный момент нахожусь в Америке, в штате Мичиган. Живу тут и сам дивлюсь тому, куда меня занесла судьба. Да, брат! Эти самые Штаты не похожи ни на Кочетовскую, ни на болгарскую планину, где ты рубишь лес. Чего-то мне стало тут муторно и нудно. Прошу тебя, Максим, черкни мне письмишко и сообщи, как там, на планине, живут наши донцы, не собираются ли до дому. А о себе скажу одно — живу я, как в песне поется: «Поехал казак на чужбину далеку, ему не вернуться в отеческий дом...»

3

Максима Селищева судили ночью. Военно-полевой суд заседал в табачной сушилке, скудно освещенной висевшим

под потолком фонарем. В состав суда входили три офицера, известные в белой армии своей жестокостью: полковник-юрист Тарасевич, командир Дроздовского полка генерал Туркул и его сподвижник, безрукий генерал Манштейн. Для того чтобы суд над Максимом сильнее воздействовал на людей, в сушилку, по приказу Кутепова, вызвали большую группу офицеров, по три от каждого полка. Из Донского корпуса были приглашены только войсковой атаман Богаевский и генерал Гусельщиков, командир Гундоровского полка, того самого, в котором служил Максим.

Когда два молоденьких прапорщика с карабинами наперевес ввели и поставили Максима неподалеку от шаткого деревянного столика, за которым сидели судьи, тщедушный полковник Тарасевич, покашливая и сморкаясь, быстро прочитал обвинительное заключение. В нем говорилось, что хорунжий Гундоровского казачьего полка Максим Селищев под влиянием большевистских агитаторов изменил русской армии, продался большевикам и, будучи их агентом, восхвалял коммунистический строй, называл его «новым миром» и высказывал сожаление, что он, хорунжий Селищев, не принимает непосредственного участия в построении этого большевистского мира. Полковник сообщил, что вещественные доказательства — записная книжка Селищева, отобранная у него при аресте на станции Стара Загора, и два неотправленных письма жене — находятся при деле. Далее в обвинительном заключении говорилось, что Селищев дезертировал из полка и склонил к этому же своего одностаничника, есаула Крайнова, который тоже бежал в неизвестном направлении.

— Признаете себя виновным? — спросил полковник, взглядывая на Максима сердитыми, красными от бессонницы глазами.

— Нет, не признаю, — коротко и глухо ответил Максим.

Не поднимая головы, он исподлобья оглядел сидевших перед ним людей. Чернобровый, похожий на румына генерал Туркул равнодушно поглаживал прильнувшую к его ногам серую овчарку. Пьяный Манштейн сосредоточенно раскуривал трубку. Только председатель суда, полковник Тарасевич, держался подтянуто и перебирал листы в тонкой папке. Сзади, левее того места, где стоял Максим, на внесенной в сушилку садовой скамейке сидели атаман Богаевский и генерал Гусельщиков. Максим видел алые лампасы на их шароварах, начищенные сапоги, брошенные на колени руки. Он слышал покашливание, невнятный шепот

стоявших за спиной офицеров, и чувство враждебности к ним все больше захлестывало его. Они, эти люди, снова стали поперек его дороги, и только за то, что он не захотел идти с ними дальше, они предадут его смерти.

— Подсудимый Селищев, — обратился к нему Тарасевич, — расскажите суду о красных агитаторах, с которыми вы были связаны.

— Я ни с кем не был связан, — сказал Максим.

Тарасевич полистал записную книжку, прищурился:

— Передо мной лежит ваш дневник. Вы говорите в нем о друзьях своего детства, которые, как вы выражаетесь, строят сейчас новый мир. Кто именно? Кого вы имеете в виду? Назовите суду фамилии.

— Я имею в виду тех, кто остался там, в России, — устало и нехотя сказал Максим. — Их очень много, и фамилии их не имеют никакого значения, потому что я расстался с ними до революции и никого с тех пор не встречал.

— Хорошо, — кивнул Тарасевич, — тогда мы перейдем к самому главному — к выяснению того, какой смысл вы вкладываете в слова «новый мир». Объясните суду, как вы понимаете существо этого нового, с вашей точки зрения, мира и в чем вы видите разницу между новым миром и старым.

Максим молчал. Да и как он мог ответить полковнику? Он и сам не знал, что это за новый мир, почему к новому миру потянулось великое множество людей, а он, Максим Селищев, так же как желчный полковник или предатель Сивцов, так же как эти озлобленные и одинокие люди, оказался на чужбине, в изгнании...

— Почему вы молчите, подсудимый? — спросил генерал Туркул, перестав почесывать овчарку. — Вы офицер старого времени?

— До революции я был урядником, господин генерал, — ответил Максим.

— На фронте были, награды имели?

— Так точно, господин генерал! Был на австрийском фронте, три раза ранен. Награжден Георгиевским крестом и двумя медалями.

— Когда и кем вам присвоен офицерский чин?

— В восемнадцатом году, покойным атаманом Калединым, в городе Новочеркасске.

— Почему же вы молчите? — нахмурился Туркул. — Председатель суда задал вам ясный вопрос, от которого за-

висит ваша жизнь: как вы понимаете новый мир, упомянутый вами в дневнике?

Максим тяжело вздохнул. Ему показалось, что в черных глазах Туркула мелькнуло любопытство, а в голосе даже послышались нотки человеческого участия. Очевидно, молодому Туркулу захотелось спасти своего одногодка хорунжего. Так понял генерала Максим. Он много слышал о жестокости Туркула, знал, что этот вчерашний прапорщик отличается бесшабашной удалью, храбростью и одинаково ненавидит как большевиков, так и «недорезанных буржуев».

— Ну что же вы молчите, хорунжий? — повторил Туркул.

— Мне трудно говорить, — сказал Максим, — трудно не потому, что я чувствую за собой вину. Все, что тут обо мне написано, неправда. Я не знаю, какой мир строят большевики, мне не довелось его увидеть. А беспокоит и тревожит меня только одно...

— Что же именно?

На лицо Максима легла тень растерянности.

— Мне непонятно одно, — растягивая слова, проговорил он, — почему за большевиками пошел весь народ? В России сто пятьдесят миллионов людей, и эти миллионы не захотели уходить от большевиков. За нами пошла только малая горсточка, о которой и говорить не стоит...

— Что ж из этого следует? — спросил Манштейн, постукивая по столу протезом. — Вы не стесняйтесь, договаривайте.

— А почему вы задаете мне этот вопрос? — спросил Максим, подняв глаза на Манштейна. — Я не знаю, что из этого следует. Я только хочу понять, кто прав и кто не прав. Свой дневник я никому не показывал и про новый мир писал для себя, ни с кем об этом не говорил...

— Ты не финти, сволочь! — сорвался Туркул. — Ты отвечай на вопросы.

Максима передернуло. Он побледнел и стиснул зубы.

— Я знаю, что вы меня расстреляете. Но если вы, господин генерал, будете так со мной разговаривать, я не скажу больше ни слова. Приговор еще не вынесен, офицерского звания меня никто не лишил. Поэтому, будьте любезны, обращайтесь со мной как офицер с офицером.

— Правильно! — хрипло крикнул Гусельщиков. — Нечего распоясываться!

Тарасевич примирительно махнул рукой:

— Успокойтесь, подсудимый. Объясните суду, как вы понимаете упомянутый вами новый мир и почему вы сожалеете (полковник подчеркнул слово «сожалеете»), что вам не пришлось принять участие в его построении...

Хотя Максиму надоела эта комедия и он знал, что дальнейший разговор бесполезен, он все же решил сказать этим людям, с которыми три года делил горе и радость, все, что он думает.

— Вот вы меня спрашиваете, как я понимаю, почему сожалею, — сказал Максим, помолчав. — Это я вам могу сказать, раз вы меня вынуждаете. Но вы меня не можете судить за мои мысли, понятия, чувства, потому что я никогда никому о них не говорил и не собирался говорить. Что ж, если вас интересует, сейчас скажу...

Он помолчал и впервые внимательно обвел взглядом сидевших и стоявших в сушилке людей. Словно проглотив застрявший в горле ком, заговорил тихо:

— Не знаю, за что меня можно судить. Может быть, за то, что я люблю родную землю? Я оказался на чужбине, среди вас, потому, что верил вам, считал, что вы несете правду, которую ищет народ. Меня не остановили даже грабежи и зверства нашей армии, я знал, что при пожаре руки не бывают чистыми. Первое сомнение закралось ко мне в ту пору, когда нас, голодных и раздетых солдат, загнали за колючую проволоку в чаталджинском лагере.

Максим пристально взглянул на Туркула.

— Вы, господа генералы, не изведали этого. Вы жили как люди. Вас не заедали вши, не косил тиф. Вас не кормили гнилой морковью. Вы терпеливо ждали и сейчас ждете того часа, когда безропотная солдатня своей кровью вернет вам ваши земли, богатства, власть — все, что у вас забрали большевики! А мне нечего было ждать. У меня не было ни богатства, ни власти. И я начал раздумывать: за чьи грехи должны мучиться люди вроде меня? Почему мы обречены на гибель за колючей проволокой? За кого? За вас, генерал Туркул? За вас, генерал Манштейн? Или за вас, господин войсковой атаман?

С трудом переведя дыхание, Максим обронил еще тише:

— Вы меня назвали большевиком за то, что я записал свои раздумья о новом мире. Какой я большевик? Но кем бы я ни был, кем бы ни были вы, расстреляете ли вы меня или сделаете генералом, — ничто от этого не изменится. Тот мир, которого вы так испугались, будет построен без нас с вами, потому что его строит весь народ...

— Прекратить эту большевистскую агитацию! — взвизгнул Туркул.

Максим с пренебрежением махнул рукой:

— Теперь уж потерпи, ваше превосходительство. Хотел услышать, что я думаю, — слушай. В расход ты меня пустишь легко, да не велика заслуга. Я только об одном жалею: расстреливать меня будешь ты, а не те, против которых я с тобой шел. Они имеют на это полное право...

Стукнув стулом, полковник Тарасевич крикнул:

— Довольно, подсудимый! Суд удаляется на совещание.

Пока трое судей негромко переговаривались за стеной сушилки, а офицеры, гудя и покашливая, задымили папиросами, Максим стоял, молча глядя в угол. В темном углу, озаренная фонарем, золотилась паутина. Сквозь большую дыру в плетеной крыше видна была неяркая голубая звезда. Легкий ветер доносил откуда-то острый запах перегретого навоза, горьковатый душок полыни. Максим расстегнул на рубахе две верхние пуговицы, глубоко вздохнул, закрыл глаза, и ему на мгновение показалось, что он стоит где-то в поле, что кругом, невидимый в темноте, раскинулся бесконечный степной простор Донщины...

— Именем единой, неделимой... — донесся до его сознания высокий голос Тарасевича, — а также руководствуясь принципом сохранения... военно-полевой суд в составе... приговорил хорунжего Селищева Максима Мартыновича... к смертной казни через расстреляние. Приговор подлежит утверждению командиром Первого корпуса русской Добровольческой армии.

На этот раз не два, а четыре офицера подошли к Максиму, и один из них, высокий, с перевязанной носовым платком шеей, сказал, подняв потертый наган:

— Пошли!..

Максима отвели в тот же подвал, где он сидел раньше, и поручик-корниловец с перевязанной шеей сунул ему в руку кусок хлеба и пачку дешевых сигарет:

— Возьми...

Щелкнул дверной засов, все ушли. Максим нащупал в темноте место посуше, прилег. У него — он это помнил — оставались в изломанной коробке только три спички, и он не хотел тратить их, чтобы закурить только тогда, когда будет уж совсем невмоготу. Вскоре он уснул.

Утром тот же корниловец снова принес ему хлеба, ничего не сказал и ушел. Пока он закрывал дверь, Максим в

щель успел увидеть слабую, едва заметную полоску дневного света и подумал: «Сейчас день. Днем они не осмелятся это сделать. Значит, будут ждать ночи. Вероятно, побоялись будить Кутепова, и тот еще не подписал приговор...»

Он побродил по подвалу, тихонько посвистал, несколько раз постучал в стены в разных местах. Никто не отозвался. Максим закурил первую за этот день сигарету и лег, подложив руку под голову.

«Ну вот, парень, — подумал он о себе, как о чужом человеке, — отгулял, отжил. Не очень долго походил ты по земле и радости не много видел, только подразнила тебя жизнь — и все. Хватит, дескать, пора кончать...»

С лихорадочной быстротой и удивительной ясностью мелькали перед ним картины пережитого. То он видел высокий, поросший репьями яр над излучиной Дона и на яру Марину в белом платье, такой, какой она была шесть лет назад, веселой и живой. То, затемняя смеющееся лицо Марины, наплывал глубокий окоп в карпатской долине, и Максим ясно видел дождевые лужицы на его глинистом дне, чуял запах ружейного масла, размокшего хлеба и крови. То вдруг начинала сверкать радостная болгарская речка Тунджа, на берегу которой бегал маленький Петко, смеялся и плакал...

— Да, — вздохнул Максим, — вот тебе и новый мир!..

Так же, как вчера в сушилке, он заговорил тихо и строго:

— Чудаки... Объясни, говорят, что такое новый мир. Разве ж я могу рассказать правду о нем, если я вместе с этой сволочью — с Туркулом, Богаевским, Кутеповым — жег этот мир, душил его, заливал своей и чужой кровью, пакостил, как мог?!

И Максиму вдруг ясно представился мир, о котором он никак не умел рассказать: зеленое поле, и по нему идет множество молодых, красивых людей, а над ними чистое, синее, необычайной глубины небо.

Он просидел в подвале еще один день и еще одну ночь. К исходу второго дня он поседел, не зная об этом. За ним все не приходили.

Максим не знал, что на следующий день после суда в болгарское Народное собрание поступил запрос коммунистов, в котором было сказано следующее:

«Болгария допустила на свою территорию 17 тысяч врангелевцев. Эти белые войска составляют чуждую нам вооруженную силу под начальством чуждых Болгарии генералов и чуждого правительства. Эти войска открывают у нас свои

военные училища, создают свою полицию, которая действует как самостоятельно, так и в связи с болгарской полицией. Наконец, эти белые войска имеют свои военные суды, которые выносят смертные приговоры, приводимые в исполнение на болгарской территории. Так, недавно в городе Тырнове по приказу генерала Кутепова расстрелян ротмистр Марковского полка Сергей Успенский, труп которого зарыт у шоссе, на 33-м километре. Сейчас приговорен к расстрелу хорунжий Гундоровского полка Максим Селищев, который ждет казни в том же Тырнове, в подвале дома № 701, по улице Девятнадцатого февраля. Коммунистическая фракция просит правительство ответить: на основании каких договоров Болгария фактически оккупирована чуждыми войсками и до каких пор это будет продолжаться?»

Премьер-министр ответил на запрос депутатов-коммунистов:

— В Болгарии нет врангелевской армии как таковой. У нас нашли приют десять тысяч несчастных русских беженцев, которым, по соображениям гуманности, обязана помочь любая цивилизованная страна. Что касается фактов расстрела двух русских офицеров, то наш военный министр полковник Топалджиков получил распоряжение взять под надзор господина Кутепова и немедленно расследовать указанные депутатами факты...

На третью ночь Максим услышал скрежетание дверного засова, вскочил и сжал кулаки. Несмотря на все перенесенные им муки, слепой и могучий инстинкт жизни заставил его оборонять себя до конца.

В подвал вошел знакомый Максиму офицер, командир первой сотни гундоровцев, войсковой старшина Хоперсков.

— Выходи, казак! — смешливо кинул он в темноту.

— Куда выходить? — глухо отозвался Максим.

Хоперсков засмеялся:

— Не к стенке, не бойся! Я тебе правду говорю. Выходи. Твои дружки-коммунисты выручили тебя из беды. Запрос сделали в парламенте насчет расстрелов и всего прочего. И тебя, конечно, упомянули. Не знаю, кто им сообщил.

Еще не доверяя, зверовато поглядывая на тщедушного Хоперскова, Максим вышел из подвала. На него пахнуло свежим ночным ветром. Возле дома никого не было, даже часового.

— Ты скажи по-честному, что произошло? — держась за стенку, чтобы не упасть, спросил Максим.

Взяв его под руку, Хоперсков пошел с ним по улице.

— Да я же тебе сказал, чудак! Ты же знаешь, что Кутепов глаза намозолил коммунистам. Они давно зубы точат на всю нашу братию. У них загодя был готов запрос, а тут еще, говорят, наш батя, Гусельщиков, через кого-то подкинул насчет тебя. Обиделся на Кутепова за казаков. Ну, эта бражка и шарахнула Стамболийскому свою, как ее, к черту, интерпелляцию, что ли? Сейчас Кутепов поехал в Софию, к Топалджикову, а тебя приказал выгнать к чертовой матери, чтобы следов твоих не осталось.

Он стиснул Максиму руку и усмехнулся беззлобно:

— Ну, большевистский агент, куда ж ты теперь махнешь?

— Я и сам не знаю, — сказал Максим. — Будь все трижды проклято! Найду дыру, чтоб меня никто в ней не нашел, и буду жить...

4

Глубокой осенью 1920 года в Москву приезжал известный английский писатель Герберт Уэллс. Его влекло в Россию напряженное и острое любопытство художника. Уэллс хотел своими глазами увидеть «фантастов», которые в разоренной стране начали, как они сами говорили, великое сотворение свободного и счастливого мира. В Москве Герберт Уэллс посетил Ленина. В тот вечер за стенами Кремля лежала осенняя мгла. Собеседник Ленина ничего не увидел в России, кроме этой холодной, неласковой мглы. Он так и назвал свою книгу — «Россия во мгле».

«Ленин увлекается электрической утопией, — писал Уэллс. — Он всеми силами поддерживает план организации в России гигантских электрических станций, которые должны обслуживать целые области светом и двигательной силой... Можно ли вообразить более смелый проект в обширной плоской стране, с бесконечными лесами и неграмотными мужиками, с ничтожным развитием техники и умирающими промышленностью и торговлей? Вообразить применение электрификации в России можно лишь с помощью очень богатой фантазии. Я лично ничего подобного представить себе не могу, но Ленин, по-видимому, может...»

Уэллс назвал Ленина «кремлевским мечтателем» и с улыбкой скептика поведал людям о том, какие «фантастические утопии» развивал в тот мглистый вечер вождь большевиков.

Со времени этой встречи прошло не более полутора лет.

Но уже, по призыву Ленина, выполняя гигантский план электрификации, работали сотни тысяч людей. На Шатурском торфяном болоте, на Черном озере сооружались электростанции; началось строительство Каширской станции, которую вскоре ввели в действие; землекопы стали рыть котлованы и сооружать плотину для Волховской гидростанции; развернулись работы по электрификации Подмосковного угольного бассейна и нефтяных промыслов Баку. Уже были электрифицированы десятки городов страны — Руза, Клин, Коломна, Волоколамск, Ельня, Велиж, Шенкурск, Пинега, Илецк, Чаусы, Мещевск... Почти каждый месяц открывались местные станции в сотнях деревень, использовались для электроустановок водяные и паровые мельницы, впервые в истории освещались деревенские хаты и улицы.

В России началось всенародное движение за выполнение ленинского плана. Тысячи людей выходили после своего обычного трудового дня на общую работу: натягивали провода, убирали мусор, закладывали фундаменты, выгружали вагоны, пилили бревна, устанавливали машины. Так они работали много дней, работали по доброй воле, бескорыстно, потому что впервые в жизни получили возможность трудиться для себя и пользоваться плодами своего труда.

Это было лишь начало великого дела, которое народу предстояло совершить в будущем. Но начало было положено. Большевики показали стране путь, по которому надо было идти. И народ пошел по этому пути.

Летом 1922 года ужасная полоса голода кончилась. Народ вздохнул свободно и по-настоящему принялся за выполнение начертанных Лениным планов.

В эту пору в Москве шел суд над эсерами, и буржуазные газеты всего мира снова закричали о «варварстве большевиков», требовали сочувствия к «несчастным жертвам красного террора». На процесс эсеров в качестве добровольного защитника прибыл «социалист» Эмиль Вандервельде, миллионер, которому всюду чудились «ужасы ЧК». Вначале он аккуратно посещал судебные заседания Верховного трибунала ВЦИК, а потом отправился восвояси, поняв наконец, какими делами занимались в течение ряда лет его «подзащитные».

На процессе было установлено, что лидеры эсеров Чернов и Авксентьев — оба они задолго до процесса сбежали за границу — давно уже поставили своих боевиков-террористов на службу буржуазии. Эсеры организовали ряд восстаний против Советской власти — ярославское, ишимовское, алтай-

ское, тамбовское. Эсеровские руководители — крупный промышленник Гоц, владелец меховой фирмы Рабинович, торговец бриллиантами Фундаминский, владелец чайных плантаций Зензинов и такие авантюристы, как Герштейн, Семенов, Гендельман-Гробовский, Агапов, Ратнер-Элькинд, Лихач, Альтовский,— на протяжении нескольких лет тайно получали через различные иностранные миссии гремучую ртуть, пироксилин, револьверы, запалы, адские машины с часовыми механизмами. Под руководством этих авантюристов эсеры грабили советские банки, почтовые отделения, пассажиров в поездах, а деньги отдавали своему центральному комитету.

Они пускали под откос воинские поезда, бросали бомбы, убивали деревенских бедняков-активистов. Они направили руку террориста Сергеева, убившего Володарского, террористки Фанни Каплан, стрелявшей в Ленина.

Московский процесс эсеров с исчерпывающей полнотой показал, куда скатилась эсеровская партия, называвшая себя «революционной» и «социалистической».

После неудачи в Генуе Ллойд Джордж и его сподвижники решили продолжить конференцию в Гааге, превратив ее в неофициальное «совещание экспертов». Однако и летняя Гаагская конференция не принесла европейским политикам желанных плодов. Все их усилия поставить Советскую республику на колени разбились о твердую позицию, которую заняли советские дипломаты.

Александр Ставров только один раз съездил в Гаагу с дипломатической почтой. Больше он не выезжал из Москвы. Как и его товарищи, вечера он проводил на субботниках. Наконец-то после долгих лет разрухи началась в стране созидательная работа.

— Ты, Саша, сияешь как новый пятак, — подшучивал веселый Черных, перетаскивая какое-нибудь бревно или чугунную болванку.

— Ты тоже сияешь, — откликался Александр, — на луну похож.

— Отчего бы это?

— Оттого, что жизнь у нас началась настоящая. — Присев на кирпич, Александр мечтательно смотрел в небо, жмурился от горячего солнца и говорил другу: — Мы теперь, Ванюша, как улей весной. Не видел? У моего покойного батьки была когда-то пасека. Так вот, пока стоит зима, в улье нудно и мертво. Пчелы сонные, внизу, на дне улья, полно трупов, соты заплесневели от сырости, а запах такой

дурной, что близко стоять противно. А как только пригреет солнце и из темного омшаника перенесут улей на точок, сразу закипит работа. Пчелы чистят улей, каждую соринку из него выносят, чинят соты, тащат с поля пахучую пергу, кормят детву́ — сплошной гул стоит на точке́. Вот так и мы, Ваня, всем народом начали чистить свой улей.

— Знаешь, что меня радует?

— Что?

— Мы теперь всему миру покажем, как большевики умеют строить! — засмеялся Черных. — Буржуи зовут нас разрушителями. Большевики, дескать, только ломать умеют, а создавать — на это пороху не хватает...

Александра с каждым днем охватывало все большее нетерпение. Ему хотелось, чтобы сразу задымили все заводские трубы, чтобы на глазах росли новые электростанции, чтобы мгновенно исчезли нищие, сироты, голодные, чтобы веселые отряды пионеров и комсомольцев маршировали с красными знаменами среди цветов и зеленых деревьев.

Но вчерашний день давал себя знать на каждом шагу. Однажды, разбирая разрушенный дом возле Казанского вокзала, сотрудники Наркоминдела вспугнули в подвалах этого дома десятки беспризорников. Тут были мальчишки и девчонки, грязные, покрытые копотью, одетые в какую-то истлевшую ветошь и совсем голые, худые, как скелеты, покрытые язвами и чесоточными расчесами. Они спали прямо на кирпичах, сбившись в кучи, как щенки, грея друг друга своими телами. Они питались тем, что им удавалось найти в мусорных ящиках, отнять у собак или украсть у людей. Многие из них умирали от голода, и те, кто остался в живых, стаскивали трупы в дальний угол подвала и заваливали их кирпичами.

Когда Александр Ставров с фонарем в руках проходил по катакомбам подвала, у него сердце сжималось от боли.

С помощью милиции обитатели подвала были собраны, помыты в бане, одеты и накормлены. Их всех разбили на группы и увезли в детские дома. Но в таких же подвалах, на улицах, под паровозами, в угольных ямах жили и умирали сотни тысяч беспризорников. Их надо было спасать. И партия взялась за спасение несчастных детей. На борьбу с детской безнадзорностью были брошены лучшие сыны партии во главе с Дзержинским.

«Знаете, Марина, — писал Александр, — меня потрясли эти дети до глубины души. Отцом я никогда не был, особой чувствительностью не отличался, а вот посмотрел на это ско-

пище маленьких погибающих людей и, поверьте, заплакал. Взял бы, кажется, их всех, прижал бы к груди и понес куда-нибудь к реке, где цветы, теплый песок, чистый воздух...»

Но Александр видел, что страна возрождается. Все лучше работали железные дороги. Уже действовали многие шахты Донбасса. На полях зрел обильный урожай, и специалисты предсказывали, что к осени народ будет иметь запас зерна. Заграничные пароходы доставляли в советские порты новые станки, автомобили, тракторы, уголь, а увозили лес, нефть, пушнину. С каждым часом росли государственные предприятия, на которые нэпманы посматривали с беспокойством и тревогой.

Гайк Погосович Тер-Адамян, хитро улыбаясь, сказал как-то своему жильцу:

— Знаете, Александр Данилович, у меня сильное желание сменить концессионную контору на какое-нибудь советское учреждение.

— Что так? — спросил Александр.

Тер-Адамян подморгнул ему черным лукавым глазом:

— Я, дорогой мой, скромный юрист. Работаю там, где мне платят. Сейчас я вижу, куда клонится дело, и хочу отступить на заранее подготовленные позиции, то есть найти себе спокойную и выгодную службу в каком-нибудь советском учреждении...

Вскоре Тер-Адамян действительно покинул концессионную контору и получил место юрисконсульта в Народном комиссариате земледелия.

5

Хорошо спать на молодом сене! Чуть привядшее, тронутое горячим солнцем, оно еще не утеряло легкости, блеклой травяной зелени, еще источает горьковатый и немного грустный запах степи. Ляжешь на сено, и на тебя сразу повеет неизъяснимо влекущим ароматом чебреца, духовитого вьюночка-березки, и уже ласково щекочут твою шею сизые с красниникой колоски пырея, а от сбившихся в пучки метелок манника тянет сладковатой сыростью прохладных низин. Тот, кто в детстве или в юности косил травы, слушал веселое и ладное вжикание кос, торопился перед грозой выметать копны, дремотно раскачивался на высоченном возу с сеном, спал на сене душными июльскими ночами, никогда не забудет лугов. Пройдет много лет, и, где бы ни был такой человек, если он увидит медленно плывущий воз сена и об-

сыпанных сенной трухой коней, на него мгновенно повеют незабываемые запахи и ему на миг покажется, что нежданно-негаданно вернулась к нему далекая, беззаботная, как вьюнок-березка, юность...

Андрей и Ромка спали на сене возле амбара. Еще не занялась заря, когда Дмитрий Данилович поднялся, подложил коням половы, слегка отклепал притупившиеся косы и, глянув на зарозовевший восток, крикнул сыновьям:

— Вставайте, ребята! Пора!

Сыновья, ворча, потягиваясь спросонья, поднялись, отнесли в амбар подушки и попоны, умылись возле бочки и поехали поить коней. Настасья Мартыновна уже давно не спала. Она наварила и налила в ведро заправленный салом кулеш, положила в корзину только что вынутый из печки хлеб, узелок с солью, разбудила младших детей и вышла на крыльцо.

— Мы готовы, Митя, можно ехать.

Ребята выкатили из-за стога купленную у деда Исая разбитую тележку, сложили косы, грабли, корзину с харчами, поставили бочонок с водой, запрягли коней, и вся ставровская семья выехала в поле, примкнув дверь вилами.

Жатва была в полном разгаре. Ставровы выехали в поле еще до восхода солнца, но многие огнищане уже работали. Издалека виднелась слинявшая красная сорочка Тимохи Шелюгина, который уже выкладывал снопы на телеге. Неумолчно стрекотала лобогрейка Терпужного. Сам Терпужный сбрасывал с площадки, а конями правил сидевший на переднем сиденье Острецов. Еще дальше, размахивая косами, косили братья Кущины, Шабровы, Полещуки, дед Силыч, дед Исай, Букреевы. На голых стернях паслись спутанные кони, жеребята.

— Поздненько поднимаетесь, соседушки! — вытирая пот и приветливо улыбаясь, крикнул дядя Лука. — Я уж до света начал, третий заход кончаю.

— Ребята поморились, — сказала Настасья Мартыновна, — жалко было будить. В их-то годы только и поспать на зорьке!

Дядя Лука добродушно кивнул:

— Правильно, Мартыновна, правильно, а только с росой косить куда легче...

Ставровы выпрягли коней, отогнали их на стерню. Дмитрий Данилович и Андрей взяли косы. Настасья Мартыновна с меньшими стала крутить перевясла. Андрея дед Силыч выучил косить в ржанской коммуне, куда почти все огни-

щане ездили на сенокос. И теперь он, горделиво оглядываясь, смотрят ли на него черноглазая Ганя и закутанная в платок, как кукла, Таня Терпужная, далеко отведя косу с деревянными грабельками, срезал первые полукружья пшеницы. Он шел впереди отца, торопливо и равномерно размахивая косой.

— Держи косу ровнее! — закричал Дмитрий Данилович. — Не видишь разве, что у тебя носок землю порет?

Краснея и посапывая, Андрей надавил на пятку и начал косить быстрее, чтоб отец отстал. Вначале коса казалась ему легкой, и он играючи прошел первый заход. Потом, когда солнце поднялось и пригрело, Андрею стало казаться, что коса тяжелеет, что длинное косье наливается свинцом, а грабельки все больше путаются в пахучей повители. Срезанная пшеница валилась слева ровным рядком, босые ноги покалывала острая щетина стерни, в сухом и горячем горле перекатывался клейкий комочек слюны, но Андрей все косил и косил, не оглядываясь и не замедляя движений.

— Ну как? — насмешливо надувая губы, спросил Дмитрий Данилович, когда Андрей с косой на плече медленно возвращался к началу захода.

— Что? — отозвался Андрей.

— Упарился?

— Ничего, вытяну, не маленький.

— Ну-ну, давай! — засмеялся отец.

Ромка, Каля и Федя помогали матери вязать снопы. Они выбирали пучки пшеницы, где было больше зеленой, неломкой травы, соединяли два пучка колосьями и, зажимая локтями то один, то другой конец, крутили тугие перевясла, складывали скошенную пшеницу в валки, а Настасья Мартыновна, высоко подоткнув юбку, надавливала коленом каждый валок и туго завязывала его перевяслом.

Детишки скоро уморились, начали баловаться, выкрикивать прозвища друг другу, значения которых и сами не понимали, но которые давно и прочно пристали к ним. Ромку называли Кожаном, рыжую Калю — Кизей, Федю — Жуком, а Андрея, хотя и побаивались его, именовали Цимбой.

— Кизя провалилась в сурчину! — орал Ромка.

— Молчи, Кожан!

— А ты, Жук, чего еще лезешь?

Разлохмаченная Каля хохотала, восторженно потряхивая своей золотисто-рыжей гривкой. Потом она крикнула:

— Смотрите, какой наш Цимба мокрый, будто его купали!

— Эй, ребята, без баловства! — закричал Дмитрий Данилович. — Если будете дурака валять и не свяжете скошенное, никому есть не дам, так и знайте!

Чем сильнее пригревало яростное июльское солнце, тем труднее было работать. Андрей давно уже весь взмок. Пот струйками бежал по его ногам, по спине, заливал глаза и рот, разъедал разгоряченную кожу. Андрей снял сорочку и продолжал косить. Но с каждым заходом взмахи его косы становились медленнее, руки деревенели, колени дрожали. Уже не вытирая пот, он косил и косил; высокая пшеница как будто наплывала на него, обступала со всех сторон, и ему казалось, что он, выбиваясь из последних сил, плывет в душном пшеничном море.

Но близок отдых. Уже выпрягает коней Антон Терпужный. Уже, присев у копны, вынула белую влажную грудь и кормит ребенка Лукерья Комлева. Уже начал клепать косу дядя Лука, а Таня Терпужная кинулась с котелком в лес.

— Э-гей! — закричал Дмитрий Данилович. — Давайте шабашить!

Ребята давно уже уложили на телеге рядочек снопов — устроили тень. Настасья Мартыновна вынимает из корзины ведро, разливает по мискам кулеш. Вся семья усаживается кружком. Часто, вразнобой постукивают ложки. Кисловатой свежестью отдают круто посоленные, чуток примятые помидоры. Трещит под ножом захолодавший в тени, чуть недозрелый арбуз, и уже по ребячьим щекам, подбородкам, сорочкам обильно льется сладкий прохладный сок.

Потом у одной телеги сходятся бабы и девки-соседки, у другой — заядлые курцы — мужики с парнями. Писаная красавица Лизавета Шаброва, ведьмина дочка, подложив руки под голову и раскинув стройные, исцарапанные стерней ноги, молча смотрит в небо, хмурит черные, как галочье перо, злые брови. Судачат о чем-то тихая Поля Шелюгина, жена Тимохи, и толстенькая Мануйловна, жена Антона Терпужного. Они накрыли лица белыми платками и лежат в сторонке, шепчутся.

А над тем местом, где отдыхают мужики, столбом стоит махорочный дым. Сидя на корточках, раз за разом, после каждой затяжки, сплевывает сивоусый Сидор Плахотин. Плетет небылицы неугомонный Капитон Тютин. Сладко посвистывают носами растянувшиеся под телегой дед Исай и дед Силыч. Лениво и устало роняют люди несложные слова:

— Ноне добрые хлеба уродились...

— Абы только градом не побило, гляди, духота какая. Это перед грозой.

— Молотилку с Волчьей Пади притянем...

— И кукуруза над провальем в рост поднялась, я глядел...

— Вот продадим хлебушек да прикупим к зиме скотинку...

Потом разговоры становятся все ленивее, смолкают совсем, и слышен только храп умореиных косарей под телегами. Немилосердно жжет солнце. По всему полю тянется душок хлебной пыли и прогретой соломы. На стерне, пофыркивая, мотая головами и хвостами, отбиваются от слепней разомлелые сытые кони.

Но как только спадет жара и начнут вытягиваться, удлиняться тени высоких копен, все пробуждается. Вновь стрекочут лобогрейки, монотонно посвистывают косы, шуршат снопы под загорелыми руками вязальщиц. И так до поздней ночи, изо дня в день — пока не закончится жатва и не раскинутся без конца и края голые белесые стерни, над которыми парит, разыскивая мышей-полевок, одинокий коршун.

Ставровы скосили свой надел позже других, когда на краю Огнищанки уже началась молотьба. За четверо суток Дмитрий Данилович с Андреем и Ромкой перевезли уложенные крестцами суслоны в подворье и начали, как это издавна установилось в деревне, ходить по дворам — помогать в молотьбе.

Молотилку и локомобиль огнищане взяли у ржанского арендатора Дашевского. К арендатору ездили Илья Длугач, Антон Терпужный и неразговорчивый Кузьма Полещук. Долго торговались, чесали затылки, ругали арендатора на чем свет стоит. Но сквалыга Дашевский все-таки выговорил три фунта зерна с каждого обмолоченного пуда. Скрепя сердце подписали договор.

Молотьбу начали с того конца, где жил Кузьма Полещук. Его хлеб обмолотили за сутки, потом перешли к леснику Букрееву, Демиду Кущину и Николаю Комлеву. Дмитрий Данилович с Андреем вышли в тот день, когда молотилку установили во дворе Павла Терпужного. Под клунями, у сарая, в тени высокого плетня, сидели и лежали люди: мужики с черными, запыленными лицами, бабы, закутанные так, что в прорези платков видны были только глаза. Старичок машинист, то и дело вытирая замасленные руки, сквозь очки поглядывал на манометр локомобиля, а здоровенный кочегар пихал и пихал солому в разверстую раскаленную топку. Ти-

хонько шипел пар, по забитому скирдами току тянулся запах горячего металла, перегорелой золы, хлебной пыли.

Андрей видел, как из клуни в хату дважды пробежала, мелькая босыми ногами и озабоченно помахивая рукой, Таня Терпужная. Ему очень хотелось, чтобы она заметила его, но она не замечала, а все бегала с кувшинами и ведрами, отворачивая румяное лицо.

— Ну, давайте! — сказал машинист.

Он дернул цепочку. Раздался сиплый, всхлипывающий свисток. Все зашевелились, взяли вилы, грабли, кнуты. Звякнули тележные вальки, скрипнули ярма. Машинист повернул рычаг. Огромный маховик завертелся. Похлопывая, извиваясь как змея, побежал сшитый во многих местах приводной ремень, и тотчас же, вздымая полову, пыль, соломинки, загрохотала всей своей утробой молотилка: жадно зарычали тяжелые била барабана, застучали решета, соломотряс. Поблескивая круглыми шоферскими очками, Илья Длугач подал в барабан первый развязанный бабами сноп.

— Давай, давай! — закричал он стоявшим на скирде парням.

Те заработали быстрее. В пыльном облаке замелькали снопы. Люди стали по местам, замахали вилами, граблями.

— Ты, сынок, ступай в половню, будешь утаптывать полову,— сказал Андрею суматошно бегавший Павел Терпужный. — Беги попроворней, а то там никого нет.

Следом за Андреем он послал в половню и Лизавету Шаброву. Как и все девчата, она была обвязана платком, из-под которого поблескивали ее злые красивые глаза.

— Иди, иди, — хохоча крикнул Андрею в спину Колька Турчак, — Лизавета научит тебя в половне ведьмовать! С ней же никто не гуляет, так она, гляди, на тебя кинется.

— Не дуракуй! — огрызнулся Андрей.

В длинной глинобитной половне было темно, пахло мышами и плесенью. Как только застучала молотилка, шесть девчат стали вносить туда на широких ряднах мягкую пшеничную полову. Андрей и Лизавета подгребали ее деревянными вилами в угол. Ворох половы рос с каждой минутой. Уже несколько раз Андрей лазил наверх, утаптывал ее, но рядна сыпались одно за другим.

— Какого же вы черта толчетесь внизу! — сердито закричал заглянувший в половню Павел Терпужный. — Лезьте наверх и топчите полову как надо, а двое девчат нехай кидают вилами повыше!..

Лизавета попробовала залезть наверх, но полова сыпалась ей за пазуху, проваливалась, раздавалась под ее ногами, как гора пуха.

— Подсади! — сказала она Андрею.

Андрей смутился, багрово покраснел, но подошел к ней и подставил колено и руки.

— Лезь!

Она занесла ногу, стала ему на колено и, чихая от пыли, полезла наверх, потом протянула руку, и Андрей влез следом за ней. Поставленные хозяином девчата стали кидать вилами полову: Андрей и Лизавета, проваливаясь и спотыкаясь, утаптывали ее. Тут, наверху, стоял душный полумрак, облаком вздымалась едкая пыль, к потному телу липли жесткие остья. Снизу доносился ровный, с подвыванием, гул молотилки.

Лизавета сняла платок, вытерла потное лицо, перекинула платок через плечо. Ее темные, присыпанные половой волосы растрепались.

— Фу-у, жарко! — вздохнула она и в первый раз усмехнулась, обнажая ровные, ослепительно белые зубы.

Андрею почему-то стало не по себе. Он вспомнил насмешливые слова Кольки Турчака и спросил смущенно:

— Это правда, что с тобой никто не гуляет?

— А тебе чего? — нахмурилась Лизавета. — Не все равно? Нос вперед утри, а потом спрашивай!

Андрей совсем смутился:

— Я просто так... Жалко стало тебя, вот и спросил...

Она ничего не сказала, отвернулась. Внизу хохотали, заталкивая друг друга в полову, дурашливые девчата. Требовательно подвывая, неумолчно гудел барабан. Солнце, как видно, поднялось высоко, и в половне стало невозможно дышать от насыщенной пылью духоты.

— Хватит! — сердито крикнула Лизавета. — Сил больше нету!

Она, как видно, хотела сойти вниз, но споткнулась, схватила Андрея за плечо и упала вместе с ним в темный угол. Поднимаясь на колени, она засмеялась звонко и заразительно:

— Вот так кавалер! Девку удержать не можешь.

И вдруг, притянув Андрея к себе, она на мгновение прильнула к нему потным, горячим телом, крепко поцеловала, легонько ударила по щеке и, содрогаясь от душившего ее смеха, соскользнула вниз.

— Тю, будь ты проклята! — пробормотал Андрей, вытирая губы.

Внизу кипела работа. Серый от пыли Длугач, развертывая веером снопы, один за другим совал их в пасть барабана. Двое дедов старательно отгребали от гудевшего соломотряса ворохи соломы. Тихон Терпужный с Ларпоном Горюновым подводили к соломе запряженных в волок коней, закидывали бревно и, прижимая соломенный ворох цепью, тащили его в глубину двора, к скирде. Там четверо мужиков — среди них был и Дмитрий Данилович, — орудуя вилами с длиннющими держаками, подавали солому на верхний прикладок, где дядя Лука, дед Силыч и молодой Демид Плахотин аккуратно вывершивали скирду. По всему двору, затоптанному и заглаженному до блеска, сновали люди: носили полову, зерно, подавали на молотильную площадку снопы. Солнце жарило вовсю, и люди и кони были покрыты пóтом и пылью.

Андрей подошел к стоявшему у весов хозяину и сказал:

— Павел Агапович, пошлите кого-нибудь в половню, там долго не выстоишь от духоты.

— Ладно, — кивнул Павел, — бежи, тонс, на горище, возьми лопатку и поворошп трошки зерно.

На горище орудовал Колька Турчак. Он успел стащить в клуне несколько арбузов, присыпал их зерном и время от времени доставал арбуз, разбивал его залихватским ударом кулака и лакомился сочной, прохладной мякотью.

— Ешь, Андрюха, — милостиво разрешил он, заметив завистливый взгляд мокрого от пота Андрея.

Отфыркиваясь, вытирая сорочкой липкие щеки и руки, Колька радостно сообщил:

— А я захоронил в зерне сапоги Миколы Комлева. Микола с дядькой Кузьмой пшеницу сюда носит. Ему жарко стало, он скинул сапоги и поставил на боровке, а я их в зерно. Вечером кинется за сапогами, вот смеху будет!

Но Андрей плохо слушал Кольку. Он умаялся в половне, и из головы у него не выходила беспокойная мысль: «Для чего Лизавета так сделала? Просто ей скучно, и она это от нечего делать, дуреха...» Он злился на Лизавету за то, что она ударила его по щеке. Ему казалось, что он до сих пор ощущает влажный, солоноватый вкус ее губ.

«Дуреха, — чуть не вслух повторил Андрей, — ведьмина дочка и сама, видно, ведьма!..»

К закату обмолотили все скирды Павла Терпужного. Когда старичок машинист остановил горячий локомобиль, а

девчата смели на току и на молотильной площадке все зерно, усталые люди кинулись к бочкам с водой. Умывались торопливо, небрежно, отряхивая одежду от пыли. Парни, смешливо фыркая, обливали девчат. Замужние молодухи, глядя на них, посмеивались и, отойдя в сторонку, вытирали лица исподними юбками. Каждый посматривал на длинную клуню, у которой уже белели расстеленные на земле рядна и постукивали глиняные миски.

Тетка Арина, хозяйка, повязанная чистым платочком, вышла на ток, низко поклонилась:

— Спасибо вам, дорогие соседушки, за помощь. А теперь прошу всех отобедать, покушать чего бог послал...

Чинно, даже как будто нехотя, чтобы никто не заподозрил в жадности, люди двинулись к ряднам, постояли, давая место старшим, и степенно расселись кругом, по-степному скрестили ноги. Павел Терпужный вышел из клуни, держа в руках белую чайную чашку с выщербленным краем. Тихон и Таня несли за ним четыре бутыли самогона.

— Ну, работнички, — истово и весело сказал Павел, — потрудились на совесть — значит, надо, тоис, выпить за хозяина и за хозяйку.

Он выпил первый, утер усы и пустил чашку по кругу. Тетка Арина уже наливала в миски горячий густой борщ.

В дни молотьбы, когда во двор вваливалась для помощи вся деревня, ни одна огнищанская хозяйка не обходилась без борща. Если вместо борща подавалось что-нибудь другое, пусть даже вкусное и сытное, люди переглядывались, ели нехотя, ухмылялись, а потом до самой зимы трезвонили, что тетка Лукерья, или Мануйловна, или, скажем, бабка Сусачиха поскупились и не подали борща. Поэтому тетка Арина постаралась вовсю: борщ был густой, со свининой, с молодой картошкой, свежей капустой, заправлен помидорами и так сдобрен жгучим красным перцем, что люди только крякали.

— Вот это борщец! — Дед Силыч покрутил головой. — Ежели бы в него еще зеленого щавеля подкинуть да ложку сметаны, то куда там — царская еда!..

Тетка Арина развела руками:

— Извиняйте, Иван Силович. За щавелем надо бы в лес сбегать, да все ж время нету, а сметаны бог не послал. Вот осенью, может, купим коровку, тогда и сметана будет.

— Дед завсегда наводит критику, — усмехнулся захмелевший Антон Терпужный, — одно знает: бубнит про цар-

скую еду, будто весь век с покойным царем Николашкой чай пил.

— Ты чего человеку рот закрываешь? — накинулась на мужа рыхлая Мануйловна. — Сметана борщу не помеха, абы только была!

Терпужный мирно кивнул:

— То-то и оно. А только для чего ж контру всякую разводить про царскую еду? Вон сидит председатель Советской власти товарищ Длугач Илья Михайлович, нехай он скажет.

— Ладно, ладно! — засмеялся Длугач. — Нашли контрреволюционера — деда Колоскова! У него, окромя гашника, ничего нет...

Люди улыбались, ели наваристый борщ, похваливали хозяйку. В стороне, за столиком, потчуя старенького машиниста, восседал ушастый тонкогубый весовщик, представитель арендатора Дашевского.

После ужина вереница коней потащила молотилку во двор Антона Терпужного. К Андрею и Кольке подошла Таня. Встряхивая волосами и улыбаясь всем своим румяным круглым лицом, она протянула им нагретые ладонями недозрелые яблоки и сказала тоненьким, как колокольчик, голоском:

— Нате, кушайте...

Душная ночь показалась Андрею короткой. Домой он вернулся поздно, заснул на сеновале как убитый, а на рассвете отец разбудил его сердитым окриком:

— Вставай! Чего вылеживаешься? Пора идти к Терпужному!

Наскоро умывшись, на ходу дожевывая малосольный огурец, Андрей взял вилы и пошел в деревню.

Во дворе у Антона Терпужного уже гудела молотилка. Тут, в этом дворе, все было не таким, как у других: на просторном току высились огромные скирды немолоченого хлеба, на сараях висели смазанные жиром замки, яблони в садике были побелены, дорожки чисто подметены.

— Справно живет дядя Антон. — Колька Турчак подморгнул Андрею. — А в избе у него полным-полно: там и зеркало от пола до потолка, и стульцы бархатные, и музыка в ящике — называется фисгармония. Терпужный выменял ее у городских, пуд ячменя отдал прошлой зимой.

— Да, богато живет, — кивнул Андрей.

Андрея и Кольку поставили к молотилке носить зерно. Хлеб у Антона Терпужного уродился добрый, густой, и пшеница сыпалась из молотильных рукавов непрерывным ру-

чьем. Парни не успевали относить в амбар наполненные мешки, бегали рысью и сразу же так вспотели, будто их кто искупал. Им решил помочь дед Исай Сусаков. Конечно, не стариковское это было дело — таскать на немощной спине тяжелые мешки, но дед Сусак рискнул.

— Поддайте-ка мне, ребята, — сказал он парням.

На спину ему взвалили шестипудовый мешок, и дед поковылял к амбару, едва передвигая заплетавшиеся ноги. Кругом засмеялись.

— Гляди, старый, килу наживешь! — закричал Аким Турчак.

Дед уже почти добрел до амбара, но поскользнулся на влажной траве и упал. Пшеница посыпалась в траву.

К Сусаку подошел хозяин, Антон Терпужный. В синей полинявшей сорочке и таких же подштанниках, раздвинув босые клешнятые ноги, он стоял перед дедом красный от злости, надутый, как индюк.

— Или тебя, дурака старого, черти мордовали? — заорал Терпужный. — Сгубил мне пшеницу, чертяка! Выбирай теперь ее из травы, хоть носом выклевывай, а чтоб собрано было до зернинки!

Дед Сусак сделал тщетную попытку подняться, закряхтел, оперся на руку, но вновь растянулся на сыпучем зерне.

Терпужный с силой схватил его за плечи, встряхнул, поставил на ноги и зашипел, сатанея:

— Сбирай зерно, говорят тебе! Иначе я за эту пшеницу два мешка с тебя стребую!

И вдруг смирный дед Сусак, от которого никто в деревне злого слова не слыхал, старательно сложил из заскорузлых пальцев кукиш, ткнул его в нос Терпужному и зачастил шепелявой скороговоркой:

— На-кася, выкуси! Разве ж ты человек! Ты тигра бездушная! И отец твой такой же хамлюга был, и дед, и прадед. Знаю я всю вашу ненасытную породу, кровососы! Полвека на земле Терпужных спину гнул! А теперича тебе не по нраву стала моя трудящая спина, идол проклятый? Теперича ты с меня два мешка пшеницы сорвать желаешь?

— Тю на тебя, старый пень! — Терпужный попятился. — Чего ты глотку дерешь? Раз наделал человеку шкоды, значит, убирай за собой. Понятно тебе?

Но деду Сусаку как будто вожжа под хвост попала. Не обращая внимания на то, что вокруг стали собираться бабы и мужики, а машинист вынужден был остановить молотилку, дед затоптался на пшенице, как спутанный конь, завизжал:

— Ишь чего захотел! Два мешка пшеницы! Привык с бедняков шкуру драть! Не-е-е, хватит! Не те времена! Ты не думай, что люди слепыми остались. Придет пора, мы тебе, хаму, все припомним, все в святцы запишем: и как ты бедняков обирал, как голодных батрачек своих обманывал, как земельку у неимущих за бесценок в аренду брал! То-то!

— Ладно! — буркнул Терпужный. — Нечего меня стращать, я уже пуганый. Бери мешок и вставай, а зерно девчата соберут. Это дело не по твоей силенке...

Дед Сусак постоял, почесал затылок, сплюнул и поковылял к молотилке.

— Пожалел волк кобылу! — пробормотал он про себя.

— Ничего, голуба моя, — утешил его дед Силыч, — ты его правильно продрал, с песочком, нечего с такими бугаями в поддавки играть!

Андрей и Колька с любопытством слушали стычку возле амбара. Оба они были на стороне хилого деда Сусака, но не знали, как защитить его.

— Знаешь что, — привскочил Колька, — давай Терпужному мешок песка в зерно насыплем или же конского навоза накидаем!

— Ну его! — отмахнулся Андрей.— Крепко мне это надо!

Сгибаясь под тяжестью мешка, посапывая, он носил и носил пшеницу в амбар, следил, как в амбаре растет гора янтарного, полновесного зерна, и думал: «Крепко же, должно быть, насолил Терпужный таким, как дед Сусак, дед Силыч, Комлев, Длугач, если все они чертом на него смотрят...»

Обессиленному ежедневной трудной работой Андрею казалось, что молотьбе не будет конца, но через полторы недели огнищане закончили работу по всем дворам.

На опустевших полях началась ранняя вспашка зяби, уборка огородины. Рачительный Тимофей Шелюгин посеял на слегка перепаханной стерне суданку, чтобы успеть скосить ее до холодов на корм скоту.

Каждое воскресенье огнищане ездили в Пустополье, возили на базар зерно, помидоры, арбузы, собирали деньги к осени, чтобы купить скотину и одежду. Ставровы тоже ездили на базар, продали три мешка пшеницы и купили рябую телочку и поросенка. В Пустополье Андрей увидел Таю. Она немного вытянулась, похудела, бегала в белых туфельках, в новом розовом платье и потому показалась Андрею чужой и скучной.

Когда возвращались из Пустополья, Дмитрий Данило-

вич, ссутулившись, смотрел, как у сытых меринов сбивается под шлеями мыло, и говорил самому себе:

— Осенью меринов продадим, а купим молодых кобылиц.

— Зачем? — испугался Андрей. — Разве Бой и Жан плохие кони?

Дмитрий Данилович в задумчивости поиграл кнутовищем.

— Кони они добрые, выносливые. И я знаю, что тебе их жалко, потому что вы с Романом выходили их, чуть ли не всю весну провели с ними в поле. Но в хозяйстве они не годятся.

У Андрея будто что-то застряло в горле. Он глядел сквозь слезы, как раскачивается в шагу потный круп его любимца Боя, слышал, как по привычке пофыркивает поджарый, тонконогий Жан, и, отворачиваясь от отца, сказал тихо:

— Мы ими все наши поля вспахали, весь хлеб свозили, а теперь возьмем да и выгоним!

— Глупый ты! — досадливо сморщился Дмитрий Данилович. — Что мы их, резать собираемся, что ли? Я ж тебе толком говорю — мерины в хозяйстве не годятся. Ноги у них побиты, силы маловато, приплода от них никакого. А мы купим кобылиц-полукровок, случим их с хорошим жеребцом на племконюшне, приведут они жеребят — совсем другое дело будет...

После этой поездки Андрея будто подменили. Он ничего не сказал Роману о намерении отца, но ходил как в воду опущенный. Дмитрий Данилович решил на деляне у леса посеять озимую пшеницу. Эти три десятины надо было поглубже вспахать, заборонить так, чтобы не осталось ни одного сорняка.

Каждое утро Андрей и Роман уезжали в поле. Они настраивали купленный отцом сакковский однолемешный плуг, запрягали коней и начинали работу. Зеленую полосу леса уже тронула первая желтизна. Погода стояла теплая, но жары не было. По воздуху реяли серебристые нити паутины почти невидимых паучков-кочевников. На проволочных проводах телеграфных столбов табунились белогрудые стрижи: старые неподвижно сидели кучками, а молодые подлетывали, распластав острые крылья, неумолчно щебетали, готовились к далекой дороге. Грачи тоже сбива-

лись в стаи, лениво бродили по бороздам, с криком носились над лесом.

Андрей неторопливо шел за плугом, слушал, как веселый Ромка покрикивает на коней, думал об отлетевших птицах, о Бое, о себе, и ему было жалко и себя, и запотевшего коня, и Ромку, который вприпрыжку бежал впереди и не знал, что он скоро расстанется со своим Жапом.

Когда поле возле леса было запахано и засеяно, а с участка у провалья свезена кукуруза, Дмитрий Данилович сказал ребятам:

— Кормите коней как следует: в воскресенье я поведу их на базар.

Ромка, мигая длинными ресницами, посмотрел на отца, на мать, заревел и кинулся к Жану. Андрей молча ушел в парк и ходил там до темноты.

В воскресенье он проснулся на рассвете, оделся и побежал в сарай, где стояли кони. Оба мерина повернули к нему головы, тихонько заржали. Он засыпал им овса, почистил скребницей и щеткой, огладил шерсть чистой тряпкой, потом подошел к Бою и обнял его за шею.

— Ну, Боюшка, — сказал он тихо,— прощай, милый...

Давясь слезами, он поцеловал коня в теплую бархатную губу, тронул ладонью Жана и побрел за сарай, в поле. Там он лег животом вниз, уткнул лицо в траву и затих. Только в полдень разыскал Андрея зареванный Ромка, уселся рядом и проговорил мрачно:

— Пойдем домой. Мы за этими кобылами все равно смотреть не станем...

Дмитрий Данилович вернулся в понедельник утром. Он приехал на новой, окрашенной в зеленый цвет телеге, в которую были запряжены две статные вороные кобылицы. Они высоко вскидывали тонкие ноги, пугливо поводили ушами; шерсть их лоснилась, как шелк. Третья кобыла, серая, в мелкой грече, огромного роста, с тяжелой головой, была привязана сзади.

— Эй, орлы! — издали закричал Дмитрий Данилович. — Идите выбирайте себе коней по вкусу! Я уж сразу трех взял, чтоб потом не возиться! Перестаньте реветь и распрягайте своих вороных! А серую мы с Федюнькой за собой оставим.

Из дома выбежали Настасья Мартыновна, Каля и Федя. Все окружили лошадей, стали их осматривать, а Дми-

трий Данилович, гордый и счастливый, сказал жене и детям:

— Не кони, а золото! Обе полукровки, молоденькие, по три года. А старую я случайно добыл. Видите, у нее тавро на задней ноге, буква «Р»? Это рауховского завода, страшенной силищи. Ей уже тринадцать лет, но она черта потянет...

До наступления холодов Ставровы построили просторную конюшню. Они разобрали полуразрушенный кирпичный флигель, выбрали бревна из развалившейся стены сарая и пристроили конюшню прямо к дому. Дмитрий Данилович прорубил из кухни в конюшню маленькое окошечко, сделал раздвижную рамку и аккуратно застеклил ее.

— Так будет лучше, — пробормотал он. — Если какая кобыла жеребиться станет, окошко откроем, сразу все видно. Да и сволочь всякая по лесам шляется, зимние ночи долгие — разве убережешь, если конюшня далеко будет?

Он сам сделал добротные ясли с решетками, обшил досками денники, утрамбовал пол, прокопал стоки для навозной жижи. Тут же, в конюшне, Дмитрий Данилович отделил место для телки. Он заказал в кузне тяжелые дверные задвижки, купил массивный замок с двумя ключами.

— Ну вот, — удовлетворенно сказал он ребятам, — это совсем другое дело. Теперь можно хозяйничать по-настоящему. А то стоят в разоренном сарае два бракованных мерина, и ни плуга у тебя, ни повозки — хоть криком кричи!..

Так Дмитрий Данилович начал входить во вкус своего малого хозяйства. Он гордился тем, что оно было приобретено собственным трудом, дружной работой всей семьи и с каждым днем незаметно вырастало. В дощатом курятнике пел голосистый петух, кудахтали неугомонные куры; под накатом стояла новая, со звонкими тарелками на ступицах телега; рядом с ней лежал смазанный на зиму плуг; в свинарнике похрюкивал поросенок; в конюшне, нетерпеливо перебирая ногами, фыркали кони, и старая жеребая кобыла, любимица Дмитрия Даниловича, когда шла к водопою, осторожно несла свой громадный круглый живот.

Стоя на крыльце, поглядывая на грузную кобылу, Дмитрий Данилович думал: «Если серая благополучно ожеребится, на следующий год продам одну кобылицу и кабана и куплю лобогрейку. Буду хозяиновать как надо, чтоб не страшны были ни голод, ни холод...»

1


орозный иней затянул стекла густым елочным узором. Накрытые снегом холмы, темные перелески, крыши деревенских изб — все залито голубоватым холодным сиянием луны. Огнищанка не спит в новогоднюю ночь: то со смехом и песнями пройдет по улице гурьба горластых парней, то забрешут, зальются хриплым лаем потревоженные пьяным прохожим собаки, то, кутаясь в пуховый платок, выскочит к воротам девушка, снимет с ноги развязанный башмак, кинет на дорогу и стремглав бежит смотреть, куда повернут носок башмака, с какой стороны дожидаться суженого.

В каждой хате прибрано. Сыроватой глиной подмазаны полы, на окнах белеют марлевые занавески, за обтянутую вышитыми полотенцами божницу заткнуты сухие пучки лимонно-желтых бессмертников. На столе, в красном углу, на блюде обложенный корешками хрена студень, пышные пшеничные хлебы, неизменная четверть самогона. Сегодня все огнищане дома — сидят на лавках в новой одежде, сложив на коленях тяжелые темные руки, переговариваются степенно и неохотно, будто смущены праздничным бездельем. Только молодежь на гулянках — разошлась по избам, поет песни, гадает о счастье.

Жарко натопленная горенка тетки Лукерьи заполнена так, что уже негде сидеть. Девчата упросили хозяйку позволить им собраться погадать. За девчатами, как тени, появились парни. Вездесущий Колька Турчак привел Андрея Ставрова. Они постояли в сенцах, послушали голоса за дверью, отряхнули сапоги и вошли, робко став у порога.

— А вы, сопляки, чего? — спросил их косоглазый Тихон Терпужный. — Куры уже давно спят по курятникам, марш и вы до дому!

— Нехай сидят, — усмехнулась тетка Лукерья. — Чем они хуже других?

— Заходите, заходите! — запищали девчата.

Тут были и Ганя Лубяная, и Ганя Горюнова, и веснушчатая остроносая Соня Полещук, и Таня Терпужная, и хмурая Лизавета, которая сидела на кровати, не снимая платка и черной бархатной кацавейки. На длинной лавке, у окон,

восседали принаряженные парни — Иван и Ларион Горюновы, Тихон Терпужный, Демид Плахотин, какие-то пьяные ребята с Костина Кута. Махорочный дым густыми клубами вился под низким потолком, сизым туманом обволакивал слабый огонек лампадки в углу. Андрей и Колька огляделись, присели на опрокинутом табурете.

Ганя Лубяная, высокая, статная девушка с пышной пепельно-русой косой, тряхнула кружевцами голубой кофты, прошлась по хате, растянув, как птичьи крылья, накинутую на плечи косынку.

— Тетя Лукерья, — сказала она, ласкаясь к хозяйке,— давайте миску, погадаем, а то, ей-богу, скучно так сидеть.

— Гадай не гадай, все равно твой Раух не вернется, — ядовито ухмыльнулся Тихон Терпужный. — Он, поди, такую немку отхватил себе в Германии.

— Ну и пускай! — огрызнулась Ганя, сердито посмотрев на Тихона. — Без тебя как-нибудь обойдемся!

Погремев в сенях посудой, тетка Лукерья внесла в комнату глиняную, покрытую глазурью миску, налила в нее воды, поставила на стол.

— Гадайте на здоровье!

Девчата вскочили с мест, стали снимать с себя серьги, брошки, кольца.

— Чье же будет заветное? — спросила похожая на цыганку Ганя Горюнова.

— Мое! Мое! — отозвалось несколько голосов.

Беленькая Уля Букреева, лесникова дочка, с трудом стащив дешевое колечко, протиснулась к столу и затараторила:

— У меня кольцо с красным камушком, на базаре в Ржанске вытянула на счастье. Там дедок ходил с попкой и с музыкой, так мне попка подал конвертик, а в конвертике колечко.

— Сама ты попка! — захохотал Тихон. — Два вершка от горшка, а туда же, про женихов думает.

— Мне уже семнадцатый пошел, — с достоинством сказала Уля. — И про женихов я совсем не думаю. Раз все гадают, значит, и мне можно.

— Ладно, Уля, твое будет заветное, — успокоила смутившуюся девушку Ганя Лубяная.

Она собрала все кольца, серьги, брошки, опустила в миску с водой, накрыла белым платком, несколько раз повернула миску, сунула под платок руку, спросила:

— Кому?

— Таньке! Таньке! — закричали девчата.

Таня Терпужная, и без того румяная, зарделась как маков цвет.

— Что я, одна, что ли? Только меня и увидели?

Разжав мокрый кулак, Ганя засмеялась:

— Не выйдешь ты замуж в нонешном году, погуляй еще, Танюшка.

После Тани девчата, подталкивая одна другую и посмеиваясь, закричали:

— Лизе Шабровой! Лизавете! Лизке!

Та повела плечом, отвернулась, как будто все, что делали девчата, ее нисколько не занимало и она сидела здесь просто так, от скуки, и даже не сочла нужным снять свою кацавейку. А девчата сгрудились вокруг миски, завизжали, и Ганя Лубяная, расталкивая всех, выбежала на середину хаты.

— Вот оно, Улино заветное, с красным камушком! Слышишь, Лизавета? Готовься встречать жениха, вышивай ему полотенце, платочек — все, что надо. Давайте, девочки, песню!

Восторженно улыбаясь, блестя терново-черными глазами, Ганя Горюнова завела, а девчата подхватили песню, подали молча сидевшей Лизавете вынутое из миски кольцо:

Кому вынется,
Тому сбудется,
Не минуется...

Лизавета затеребила конец старенького пухового платка, слегка побледнела, и от этого ее темные, с крутым изгибом брови стали еще красивее.

— Забрало ведьмину дочку, — Колька толкнул Андрея, — так и стреляет глазами. А только кто на ней женится? Может, тот, кто Шабриху не знает.

— Отстань! — буркнул Андрей.

Он смотрел на бледное лицо Лизаветы, вспоминал ее неожиданную, испугавшую его выходку в половне, и в нем снова шевельнулась участливая жалость к ней.

Целый вечер парни и девушки просидели у тетки Лукерьи. Они пели песни, играли в колечко, дурачились. Тихон Терпужный старался побольнее ущипнуть кого-нибудь из девушек, сжать ей руку так, чтобы побелели пальцы. Он расходился все больше, пока мускулистый, тонкий в пояснице, но ловкий и сильный Демид Плахотин не ударил его по шее.

Демид только осенью вернулся из армии. Он служил в конном корпусе Котовского, был награжден орденом Красного Знамени и с явным удовольствием щеголял в малиновых галифе с галуном и в калошах, надетых на серые шерстяные носки. Демид был вежлив, к девчатам относился с предупредительностью городского кавалера и считался в Огнищанке первым женихом. В последнее время он явно начал ухаживать за Ганей Лубяной. Поэтому, пока Тихон измывался над меньшими девчатами, Демид морщился, но молчал. Но как только рука Тихона сдавила Ганино плечо, взбешенный Демид закатил парню такую оплеуху, что тот под общий смех отлетел в угол и опрокинул табурет.

— Так ему и надо, идолу! — запищали девчата. — А то привык свою силу показывать!

На этом и закончились посиделки. Расходились веселой, шумной толпой. Под ногами скрипел голубой снег. Чистые звезды мерцали особенно ярко и трепетно — должно быть, к сильным морозам. Вся деревня спала, ни в одном окне не светился огонь. Демид Плахотин приотстал с Ганей Лубяной. Андрей и Колька шли следом за меньшими девчатами, забрасывали их снегом. Лизавета шла одна, сунув руки в карманы кацавейки, ни на кого не глядя. Ларион Горюнов, смуглый длинноносый парень, дойдя до колодца, сложил руки рупором и, напрягая грудь, закричал пронзительно и резко, с долгими переливами:

— И-ии-хо-хо-хо!

Его крик, идущий откуда-то из глубины живота, прорвал тишину зимней ночи, как призывный вой веселого дикого зверя. И тотчас же за синими, залитыми лунным светом сугробами, на холме, за ледяным прудом и черным лесом затихающими перекатами пронеслось, прокатилось эхо: «И-ии-ооо...»

Андрей тоже расставил ноги и, соревнуясь с Ларионом, завел на самой высокой волчьей ноте:

— И-иии-ии!..

Он кричал, краснея от натуги, от рвущей боли в горле, кричал до спазм, истошно, бесконечно, бешено, наслаждаясь звериным криком, снежным простором, розоватым кругом луны, румяными девчатами — всем, что составляло сейчас его молодую, беззаботную жизнь. Потом он умолкал и, склонив голову, долго слушал, как отзывается на его голос голубая, морозная, звонкая земля...

С утра по всей Огнищанке ходили подвыпившие посевальщики. Ввалились они и к Ставровым — пьяный дед

Силыч, братья Горюновы, Демид Плахотин, Тихон и орава костинокутских парней. Они сразу нагнали холода, натоптали в комнатах, стали обсыпать всех пшеницей. Загудели нестройным хором:

— Сею-вею, посеваю, с Новым годом поздравляю!

Пшеничные зерна летели на все стороны, с шорохом падали на пол, сыпались в расставленные на столе тарелки. Настасья Мартыновна угостила посевальщиков новогодним мясным пирогом, а Дмитрий Данилович поднес им по чарке купленного у бабки Сусачихи самогона-первача.

Торжественно подняв граненую чарку, Силыч сказал:

— Чтоб счастье было в дому, чтоб земелька рожала, чтоб скотинка плодилась и чтоб не было дурного глаза!

Силыч выпил самогону, утер губы и тронул за руку Настасью Мартыновну:

— Спасибо, хозяюшка и хозяин! Пшеничку вы с полу сметите, поставьте ее на сухонькое, а весною в посевное зерно подмешайте, она вам добрый урожай даст...

Все эти дни Огнищанка гуляла. Люди переходили из избы в избу, ели и пили, а потом старые и малые принимались плясать, да так, что звенели стекла и на столе падали рюмки. Подгибая колени и неловко размахивая руками, плясал даже дед Сусак, бабы поддерживали его, чтобы не упал и не растерял свои ветхие кости.

За два дня до крещения дед Сусак пришел в сельсовет и стал просить у Длугача разрешения соорудить на пруду «иордань» и сотворить освящение воды с крестным ходом.

— Поскольку, значит, уличное шествие у нас будет, — объяснил дед Сусак, — ты нам, пожалуйста, дай дозволение. Очень тебя старые граждане просят, как мужики, так же, обратно, и бабы.

Длугач почесал затылок.

— Пора бы уже, товарищ Сусаков, забыть про эту старорежимную дурость, — сказал он. — Я же вам сколько раз на сходке разъяснение делал, что религия — это есть опиум для народа и, окромя вреда, ничего путного в ней нету.

— Это ты правду говоришь, — согласился дед Сусак. — Я ж тогда тоже за опиум руку поднимал, а только богу-то молиться все одно надо, от этого никуда не денешься. Обратно же, и водокрещение не мне нужно: это же не я, а Исус крестился в ярдани, — значит, и надо ему праздник светов соорудить...

Длугач вспомнил прошлогоднее происшествие с бабами и сердито махнул рукой:

— Ладно, делайте свой праздник светов, будьте вы неладны! Темные вы все, как лес. Шестой год Советская власть вас уму-разуму учит, а вы, извиняюсь, навроде дубовых пеньков, хоть чурки на вас коли...

— Это верно! — обрадовался Сусак. — Я им, дуракам, то же самое толковал, так они и ухом не ведут, давай им ярдань — и все дело...

Вечером дед Сусак и Мануйловна, жена Антона Терпужного, пошли к Капитону Тютину договориться о том, чтобы он искупался в проруби, так как без этого освящение воды будет неполным. Капитон жил возле колодца, в кособокой халупе, про которую огнищане говорили, что она ветрами накрыта и держится на курьей ноге. Когда крещенские делегаты вошли в халупу, Капитон спал, свернувшись калачом, на жарко истопленной печке. Его жена Тоська, грудастая баба с чистыми, по-детски наивными глазами, резала на столе лук. В углу на шаткой деревянной кровати лежал квартирант Тютиных, Тоськин любовник, Гаврюшка Базлов. Он держал перед собой осколок зеркала и старательно делал прическу-бабочку.

Дед Сусак и Мануйловна стряхнули веником снег с валенок, присели на лавку.

— Вставай, Капитон! — закричала Тоська. — Люди до тебя пришли!

Тютин покряхтел, позевал, спустил с печи ноги.

— Чего там такое? — недовольно пробурчал он, всматриваясь в темные фигуры на лавке.

— Это мы насчет ярдани, — сказал дед Сусак. — Пришли, значит, договориться, чтобы ты взялся купание сделать в проруби!

Тютин бросил коротко:

— Тридцать пудов пшеничной муки и овечку. Это все вперед, а на ярдань чтоб четверть первача принесли и шубу с валенками наготовили.

— Ты чего, Капитон, без памяти или же шуткуешь с нами? — изумился дед Сусак. — Где ж такое видано, чтоб человек сиганул в воду на один, можно сказать, секунд и за это дело тридцать пудов муки потребовал и к тому же овцу и четверть самогона?!

Тоська моргнула мужу, повернулась к деду:

— А чего же он вам, за спасибо в прорубь полезет?

— Сигай сам, ежели тебе моя цена не подходит, — заключил Тютин.

Второй делегат, Мануйловна решила вмешаться и воззвать к религиозным чувствам Тютина. Она пожевала губами, укоризненно качнула головой:

— Это же святое дело, Капитон Евсеич. Ты же, как Исус Христос, во иордани крещение от батюшки получишь. За такое дело можно и на пяти пудиках сойтись. А самогону мы тебе бутылочку поставим.

— Видали вы ее? — захохотал Капитон. — Как Исус Христос! Это же все обман и юринда. Лезай ты в таком случае сама, — может, за богородицу сойдешь, — а я за пять паршивых пудов мараться не стану.

Гаврюшка Базлов закончил наконец замысловатую прическу, поднялся с кровати и заговорил, снисходительно улыбаясь:

— Напрасно вы, граждане, торг ведете. Вы же поймите своей легкомыслящей головой: Капитон Евсеевич при соприкасании с такой морозной температурой очень просто может мозговой удар или же иную простуду получить. Какой же интерес ему из-за мешка муки рисковать физическим и моральным состоянием? Это даже странно с вашей стороны — настаивать на такой зловещей эксплуатации здоровья.

— Иди ты подальше! — рассердился дед Сусак. — Не встревай не в свое дело! Тарахтишь, чертов пустозвон, слова не даешь сказать!

Глянув на Тоську, Базлов поднял руку:

— Погодите, товарищ Сусаков. Спробуйте все же при всех ваших ограниченных способностях понять, что Капитон Евсеевич не имеет никакого страстного желания за один мешок муки-размола опускать в холодную прорубь свой болезненный организм, да еще в голом и обнаженном виде. Он, конечно, сбавит назначенную вам цену процентов на пятьдесят, но не станет подвергать свою супругу Антонину Карповну страшной опасности быть в заключение осиротелой вдовой.

— Тьфу, будь ты проклят! — сплюнул дед Сусак. — Где у него только эти слова берутся? — И, схватив Тютина за ногу, сказал возмущенно: — Мы разговор ведем с тобою или же с этим балабоном?! Ты мне только скажи: согласный ты за пять пудов? Ежели не согласный, то мы на Костин Кут пойдем, там найдутся охотники.

— Ладно, — мрачно махнул рукой Тютин, — давайте

шесть пудов пшеничного размола и две бутылки самогона. Только все несите вперед, а то вас потом и с фонарем не найдешь.

Гаврюшка укоризненно, с сожалением цыкнул языком.

— Примитивный вы коммерсант, Капитон Евсеевич, и ума у вас, как у зародыша, на полкопейки. Имейте себе в виду, что мы с Антониной Карповной, ежели вы в этой проруби достанете хронический туберкулез, отнюдь не будем для вас милосердными сестрами. Это вы зарубите на вашем уважаемом носе.

Все же сошлись на шести пудах муки и на двух бутылках первача. В ту же ночь дед Сусак доставил Тютину муку, а самогон пообещал принести прямо к проруби.

На крещение, как всегда, ударил свирепый мороз. На деревьях сверкал иней. Снег скрипел под ногами на всю улицу. Вокруг багряно-желтого солнца светились белесые морозные столбы. Огнищане с утра отправились на пруд. Дед Сусак с дедом Силычем еще загодя вырубили на ледяной глади круглую прорубь, водрузили над ней высокий ледяной крест. Отражая желтоватые лучи низкого солнца, крест радужно мерцал, играл мириадами искр, переливался золотыми отсветами, на него больно было смотреть. От свинцово-темной воды в проруби поднимался едва заметный, призрачный парок. Вокруг с криком и гамом носились красноносые мальчишки на коньках, катались на салазках девчонки, толпились мужики и бабы. У многих мужиков были в руках старые охотничьи шомполки. Бабка Сусачиха придерживала ногами плетенку, в которой трепыхались белые голуби.

Возле креста с независимым видом расхаживал Капитон Тютин. На нем были надеты огромные стоптанные валенки Миколы Комлева и длинная, до пят, крытая синим сукном шуба Антона Терпужного.

Дмитрий Данилович тоже пришел на пруд со всеми ребятами и стоял в сторонке, слушая возбужденного и злого Длугача.

— Вот, — пожал плечами Длугач, — можешь, товарищ фершал, полюбоваться этой картиной! Люди у нас как детишки малые. Те вон снежную бабу у пруда слепили, а эти соорудили крест из леда, дурачка Капитошку сагитировали, и он для ихнего удовольствия в прорубь нырять зачнет. — Он повернулся к Ставрову, тронул его за рукав дубленого полушубка. — Ты бы, Данилыч, лекцию им прочитал, что ли. Разъяснить им надо, как земля устроена, как

из обезьяны человек вывелся, чтоб они этой дуростью не занимались. А то у нас в деревнях ни школы, ни политпросвета — ничего. Один отец Ипполит господствует над народом. Хотя бы ты взялся за это дело! Говорят, что с осени в Калинкине школу откроют, тогда легче будет, а сейчас хоть криком кричи!

— Хорошо, — сказал Ставров, — я достану книжек, подготовлюсь немного и сделаю какой-нибудь докладик, а то на самом деле некрасиво получается...

— Батюшка едет! — закричали мальчишки. — Батюшка!

Возле кладбища остановились сани. С них сошли растолстевший отец Ипполит, псаломщик и дряхлая монашка с корзинкой. Народ сгрудился возле креста. Надев поверх овчинного тулупа епитрахиль, отец Ипполит быстро и весело начал обряд водоосвящения. Он походил вокруг креста, помахал кадилом. Над прудом потянулся запах ладана.

Наконец пришло время вступать Тютину. Отец Ипполит взял кропило, спросил шепотом:

— Готов?

Тютин скинул на руки Гаврюшки шубу, вылез из валенок и стал стаскивать с себя несвежее, застиранное бельишко, норовя стать босыми ногами не на лед, а на кучу соломы. Бабы и девушки сделали вид, что усиленно рассматривают вершину креста, на которой поблескивал ледяной голубь.

Стащив подштанники, Тютин отыскал глазами деда Сусака и, сутулясь, зябко подрагивая всем своим тощим телом, зашипел яростно:

— А иде самогон? Без самогона не полезу!

— Ты хоть срам-то прикрой,— сурово буркнул Сусак.— Здесь твой самогон, вот он, у меня в кармане.

Зажмурив глаза, Капитон бултыхнулся в прорубь, охнул, зацарапал пальцами лед и, сбивая колени, выскочил наверх. Зубы его стучали, от сизо-лилового тела шел пар. Гаврюшка подал ему валенки, накинул на плечи шубу, дед Сусак налил огромную кружку самогона.

— Будь ты проклят, сукин кот, с твоей мукой! — выбивая зубами дробь, запричитал Тютин. — Тут с вами, дурошлепами, жизни лишишься раньше сроку. — Он одним дыханием выглотал самогон, захрипел Терпужному: — Вези до дому!..

Гаврюшка Базлов встретился взглядом со Ставровым, засмеялся и, презрительно выпятив губы, закатил глаза:

— От варвары! Форменные гутентоты! Это же полное нарушение физики и морали!

А над прудом уже гремели выстрелы, летали выпущенные бабкой Сусачихой голуби, бесновались мальчишки.

— Пойдем, фершал, — поморщился Илья Длугач, — не могу я такой дурости видеть! Гляжу и гадаю: как мы с этими божьими телка́ми социализм будем строить? Их же надо еще годов десять конской скребницей чистить, да так, чтоб клочья летели...

— Ничего, — сказал Ставров, — это чепуха, Илья Михайлович. Молодежь не очень тянется к этим штукам, так, из интереса, смотрит.

В деревню они шли вместе. Закинув руки за спину, Длугач слушал поскрипывание снега под сапогами и говорил угрюмо:

— Нет, брат Данилыч, это дело сурьезное. По-моему, куда легче царя скинуть и всяких деникиных расколотить, чем новые мозги людям вправить. Я вот, когда мы добивали в Крыму Врангеля, думал: кончим этого паразита — враз мировую революцию зажгём и карьером в коммунизм поскачем. А потом поглядел на нашу жизнь и уразумел, что это, милый человек, не так легко и просто: пока до коммунизма доживем, много воды утечет.

Он подумал, покрутил ус и усмехнулся:

— Надо закатывать рукава и работать. За нас коммунизма никто не сделает. Может, конечно, и сделают когда-нибудь, да ведь им придется все сначала начинать, а у нас уже есть добрая закалка. Значит, надо работать.

2

— «Три дня езжу с Сухаревки на Смоленский и с Зацепы на Трубу и не могу насытить свои голодные глаза обилием пищи, снова взлелеянной, всхоленной и вынесенной на торжище для человеческой потребы... Рыба, рыба! Целые севрюги, осетры! Сухие снетки и лещи! Резаные головы наложены грудою. Свинина, баранина, жирная говядина. На десятичных весах горою навалены телячьи туши, еще целые, в шубах. А вот и ободранная туша, белая от сала. Пухлые, гладкие почки, как женские груди. Сальная рубашка, обтянутая, как трико. Милый теленок! Не знаю, кто вырастил тебя. Но знаю и чувствую, что в тебе воскресла и выросла мистика жизни, мистика плоти, цветущей и тучной... Из этой груды мяса исходит какая-то буйная сила, стихийная

и пьяная. Она заражает меня... Ешь и объедайся, душа, вплоть до дизентерии».

Сергей Балашов швырнул на стол измятый журнальчик и крикнул игравшим в шахматы Ставрову и Черных:

— Ну? Как вам нравится эта нэпманская «Илиада»?

— Сволочи! — коротко отозвался Александр.

— Нет, вы подумайте! — заговорил Балашов, шагая по комнате. — В мире совершаются такие события, идет борьба не на жизнь, а на смерть, а эта шпана молится телячьей туше и разводит такую пошлятину, что тошно становится!

Ваня Черных постучал пешкой по шахматной доске:

— А как они справляли масленицу? Не хуже старорежимных сибирских купцов! Вся Москва гудела. Тройки носились по всему городу, а в ресторанах дым столбом стоял.

— Неужели они не чувствуют своей обреченности? — Балашов поднял брови. — Пора бы уже понять, что песенка у них короткая.

Александр встал из-за стола, потянулся, похлопал Балашова по плечу:

— Нет, Сережа, они уверены как раз в обратном.

— В чем же?

— В том, что наша песенка спета. Конечно, дальновидные понимают, что к чему, но таких среди них немного. Эта орава убеждена, что Ленин только маневрирует и что у нас началось возрождение капитализма. Их укрепляет в этой уверенности и поведение некоторых наших видных работников, которые тоже утверждают, что мы перерождаемся и спускаем революцию на тормозах.

— Это правильно, —кивнул Черных. —Предложил же на днях Троцкий закрыть Путиловский завод, Брянский завод, прямо на съезде предложил! Они, говорит, не приносят никакой прибыли.

— А может, они и в самом деле не приносят прибыли? — спросил Балашов. — Троцкому-то виднее, чем нам с тобой, он наверху сидит.

Александр нахмурился, кинул резко:

— Это мнение Троцкого, а не партии! Ты хорошо знаешь, что съезд не принял его предложение. Разве дело только в прибыли? Закрыть такие заводы — значит обезоружить себя и сдаться на милость врагу...

— Человек, который сказал «а», скажет «б», — перебил Черных. — Троцкий предлагал закрыть заводы, а Радек призывает сдать эти заводы в концессию иностранцам. Разве это правильно?

— Подождите, что вы на меня напали? — покраснев, сказал Балашов. — Я ведь не поднимаю руку за предложение Троцкого или Радека. Я только хочу сказать, что нам трудно об этом судить, потому что мы с вами знаем меньше, чем они.

Черных вскочил со стула.

— Меньше знаем! Я не член ЦК, но, когда мне доводилось идти против колчаковцев с охотничьей берданкой, я уже тогда знал, что нам нужно иметь свое оружие! Так можем ли мы закрыть Путиловский завод или сдать его в концессию?

Очевидно, спор в дежурной комнате продолжался бы бесконечно, но Александра Ставрова вызвали наверх. Озабоченный, чем-то недовольный Снегирев сказал ему:

— Иди, Ставров, получай паспорт и курьерский лист, поедешь в Лозанну, к товарищу Воровскому.

— Почта будет большая? — спросил Александр.

— Какая там почта! Два пакета.

В ночь под шестое мая Александр выехал из Москвы в Берлин. Он знал всю историю Лозаннской конференции, которая недавно возобновилась после длительного перерыва. Сейчас конференцию направлял лорд Керзон. После отставки Ллойд Джорджа он получил наконец возможность проводить в отношении СССР «наступательную политику», открыто декларированную им в парламенте. Керзон добивался такого решения вопроса о черноморских проливах, какое постоянно держало бы СССР под угрозой нападения с моря. Именно поэтому Керзон всеми путями препятствовал появлению в Лозанне советской делегации и заседания комиссий проводил энергично и торопливо, чтобы избежать вмешательства русских. Полномочный посол СССР в Италии Воровский послал из Рима секретариату конференции официальный запрос: почему советская делегация не была уведомлена о работе конференции? Не получив никакого ответа, Воровский по указанию Наркоминдела выехал в Лозанну.

Александр очень любил Воровского. Он знал блестящий ум и широкую образованность этого талантливого советского дипломата. Воровский привлекал людей своей необычайной мягкостью и ровностью обращения; казалось, он согревал все, к чему прикасался, и постоянно излучал какую-то особую человеческую теплоту.

Сейчас, направляясь в Лозанну, Александр радовался предстоящей встрече с Воровским и вспоминал первый отъезд советской делегации в Геную.

«Да, — подумал Александр, — невесело ему, должно быть, в Лозанне среди враждебных дипломатов...»

В Берлине, в советском посольстве, где Александру должны были оформить дипломатическую визу на проезд в Швейцарию, атташе сказал неуверенно:

— Ну, теперь швейцарская миссия вряд ли даст визу.

— Почему? — спросил Александр.

Атташе удивленно поднял брови:

— Разве вы ничего не знаете?

— Ничего не знаю, я ведь давно в дороге.

— Сегодня Керзон предъявил нам ультиматум с десятидневным сроком для отъезда. Вот, прочитайте сообщение берлинских газет и нашу радиограмму.

Он пододвинул к Александру папку и вышел из комнаты. Перелистав вырезки из газет и отпечатанную на машинке радиограмму, Александр понял все. Лорд Керзон предпринял первую акцию против СССР.

Повод для этого был найден. Еще в марте судебная коллегия Верховного суда начала слушать дело римско-католического архиепископа Цепляка и шестнадцати подчиненных ему ксендзов, которые не только утаили подлежавшие сдаче церковные ценности, но и выполняли задания английской разведки. В это же время в Северном Ледовитом океане, в четырех милях от берега, то есть в запретной зоне, два сторожевых советских катера — «Соколица» и «23-й» — задержали и отконвоировали в порт Ниха английский траулер «Лорд Астор», команда которого занималась ловом рыбы в советских водах и попутно вела фотографические съемки. Английское министерство иностранных дел сочло оба факта достаточными для предъявления беспримерно резкого по тону ультиматума.

Восьмого мая лорд Керзон предъявил этот ультиматум СССР. Он обвинял Советское правительство в антибританской пропаганде, брал под свою защиту контрреволюционных церковников, требовал немедленного освобождения траулера, а также компенсации за расстрелянного в 1920 году английского шпиона Девисона. При этом он ссылался на явно придуманные, лживые факты — например, на то, что в Ташкенте якобы велась подготовка группы индусов для свержения английского владычества в Индии.

Очевидно вспомнив свой прошлый сан вице-короля Индии и полагая, что он может повелевать Советским Союзом, как колониальной страной, Керзон не остановился перед

тем, чтобы потребовать немедленного отзыва советских послов из Афганистана и Персии.

Александр понял: ультиматум развяжет руки всем антисоветским силам за границей.

Как и предполагал атташе, швейцарская миссия категорически отказалась выдать советскому дипкурьеру визу для проезда в Лозанну. Из Москвы же пришла шифрограмма, в которой, наряду с целым рядом других указаний, предписывалось: дипкурьеру Ставрову временно сдать почту в посольство и дожидаться дальнейших распоряжений в Берлине.

Александр около месяца безвыездно прожил в Германии.

Из газет он узнал, с каким гневом и возмущением встретил советский народ ультиматум Керзона. По всем городам и селам прокатилась волна многолюдных митингов. Люди требовали дать отпор твердолобому лорду и в течение нескольких дней собрали огромные суммы денег на строительство воздушного флота. Рабочие и крестьяне в назидание буржуазным политикам предложили назвать первую эскадрилью будущих самолетов «Ультиматум».

— Вот это правильно! — радовался Александр. — Это понашему, по-советски!..

Между тем, что и следовало ожидать, ультиматум Керзона был воспринят белогвардейщиной как прямой сигнал к действию. Первой жертвой разнузданных белых убийц оказался Вацлав Вацлавович Воровский. Только через две недели после лозаннской трагедии Александру по газетным сообщениям и по рассказам очевидцев удалось восстановить все, что произошло в Лозанне.

Воровский приехал в Лозанну с дочерью-подростком и двумя сотрудниками. Остановился в гостинице «Савой». У всех были на памяти резкие столкновения Воровского с Керзоном осенью, на первых заседаниях конференции. Теперь, несмотря на то что официально приглашенная на конференцию советская делегация не была извещена о возобновлении ее работы, ненавистный Керзону Воровский прибыл в Лозанну и с достоинством потребовал своего места за делегатским столом.

Вначале советского посла решили запугать. Он стал получать анонимные письма с угрозами: «Если не покинете Лозаннскую конференцию, будете убиты». Кантональные власти, извещенные об этих угрозах, бездействовали. Три десятка местных фашистов из «Национальной лиги» устроили возле гостиницы «Савой» хулиганские демонстрации. По-

ползли слухи о предстоящей расправе над послом «большевистской России».

Воровский не покинул свой пост. Он заявил в печати о том, что его готовятся убить, но он не покинет Лозанну, так как его неучастие в работе конференции будет оскорблением великой социалистической державы, которую он представляет и которая является участницей конференции.

Тогда приступил к действиям Морис Конради, сын бывшего петербургского шоколадного фабриканта, тот самый, которого есаул Гурий Крайнов встретил на топчидерской даче Врангеля. Мориса Конради сопровождал из Варшавы в Цюрих врангелевский офицер Аркадий Полунин. Они остановились на квартире уполномоченного Красного Креста доктора Лодыженского, которому Полунин доводился племянником.

Там, на квартире Лодыженского, Полунин показал Конради фотографии Воровского. Перебирая фотографии крупными руками, Конради сказал угрюмо:

— Я его видел в Генуе...

Поздно вечером, когда хозяева квартиры легли спать, Полунин и Конради ножовкой слегка надпилили концы пистолетных пуль, увеличив их разрывную силу. Покончив с этим, Конради вложил обойму в новый вороненый браунинг.

— Ты не волнуйся, — сказал Полунин, — в этом деле заинтересованы очень высокие лица. Они присутствуют на конференции. А со стороны кантональной полиции никакой помехи не будет...

Конради повел лошадиной челюстью, кивнул головой и проговорил деревянным голосом:

— Очень хорошо... Завтра отправимся в Лозанну...

Воровский каждый день бывал в городе. Закинув руки за спину, он ходил по узким, кривым улицам, любовался увитыми виноградом террасами, легкими виадуками, слушал журчание рассекавших город речонок и подолгу стоял на холме в старинном квартале, у древнего епископского замка.

Несколько раз он отправлялся с дочкой на берег Женевского озера, жадно вдыхал запах молодой зелени, смотрел, близоруко щурясь, как по ясной лазури неба проплывают розоватые облака.

— Вот уничтожат люди зло на земле, — задумчиво говорил он дочке, — и не будет тогда ни войн, ни голода, и еще прекраснее станет природа. Ты, милая, доживешь до

этого времени и не раз вспомнишь трудную пору сотворения мира...

Двадцать третьего мая, вечером, Воровский с дочкой и сотрудниками сошел вниз, в ресторан отеля «Савой». Старик швейцар, увидев русского посла, который обычно обедал в шестом часу, почтительно поклонился, гостеприимно распахнул дверь.

Ресторан был пуст. Только слева, у колонны, сидел за кружкой пива и с газетой в руках высокий человек с лошадиной челюстью и пустыми, водянистыми глазами. Он мельком взглянул на вошедших и равнодушно уткнулся в свою газету.

Воровский и его спутники прошли в глубь зала и заняли столик в пяти шагах от колонны, возле которой пил пиво одинокий посетитель. Воровский сел к нему спиной, девочка в белой матросской блузке — слева от отца, а сотрудники — справа и напротив.

Когда молодой кельнер, беспрерывно кланяясь и расшаркиваясь, подал первое, дочка тронула Воровского за рукав.

— Папочка, — сказала она, — я хочу чего-нибудь холодненького.

— Vous êtes certainement dèja habitué à nos petits caprices, — улыбаясь, сказал Воровский кельнеру. — Apportez-nous, s'il vous plaît, une tasse de chocolat avec du lait glacé [1].

Кельнер понимающе кивнул головой и побежал, взмахнув полотенцем.

В эту секунду Конради бесшумно поднялся, оперся левым плечом о колонну и, выхватив из-под газеты браунинг, выстрелил в Воровского.

Тоненько и жалобно вскрикнула объятая ужасом девочка. Роняя стулья, вскочили оба сотрудника. Воровский упал, тяжело заваливаясь на бок. Пуля попала ему в затылок, он был убит наповал, но Конради выстрелил в него еще два раза. Потом он стал стрелять по сотрудникам посла. Оба они упали, обливаясь кровью, потянув за собой скатерть. Раздался звон разбитой посуды. Смертельно перепуганные, метались вдоль стен бледные кельнеры. Девочка в матросской блузке неподвижно застыла у окна. Широко раскрыв глаза, подняв худенькую детскую руку, словно ею можно было за-

---

[1] Вы, наверное, уже привыкли к нашим маленьким капризам... Дайте, пожалуйста, чашку шоколада с замороженным молоком... (*франц.*)

щититься от смерти, она молча смотрела на стоявшего у колонны Конради. Он бегло взглянул на нее, положил браунинг на стол, достал из кармана сигареты, зажег спичку. Огонек спички запрыгал в его дрожавших пальцах. Конради бросил спичку на пол, зажег другую, прикурил и сказал кельнерам:

— La police ne viendra donc jamais? Conduisez-moi à la magistrature... [1]

На следующий день швейцарская миссия в Берлине дала дипкурьеру Александру Ставрову визу на выезд в Лозанну. Теперь те бумаги, которые вез с собой советский курьер, не представляли опасности для конференции. Посол Ленина Воровский больше не существовал. Он лежал с размозженной головой в лозаннской кладбищенской капелле. Лорд Керзон мог безнаказанно вызвать к себе в отель турецкого представителя Исмета-пашу и продиктовать ему любой режим для проливов (что и было сделано). Пуанкаре мог позволить Керзону сделать это, как в свое время Керзон позволил Пуанкаре оккупировать Рур и грабить немецкий народ. Теперь они оба, и Керзон и Пуанкаре, могли сговариваться с Муссолини о совместных действиях против слабых народов мира. На конференции никто не разоблачал их закулисных сделок, некому было поднять голос протеста против их хитроумных махинаций — Конради «устранил» советского посла.

Вместе с группой товарищей Александр Ставров выехал из Берлина в Лозанну, чтобы сопровождать прах Воровского на родину. Он был настолько взволнован и подавлен, что ни с кем не разговаривал, ничего не ел. День и ночь он стоял у окна вагона и курил папиросу за папиросой. За окном расстилались зеленые луга, редкие клочья паровозного дыма тянулись над ними и таяли, бесследно исчезая в синеве горизонта.

«Вот он лежит там, мертвый, — думал Александр о Воровском, — такой одинокий в чужой стране. Теперь он никому не страшен на конференции. Узнав о его смерти, конференция даже не прервала очередного заседания, делегаты не пришли, хотя бы из приличия, почтить прах погибшего...»

Но Воровский не был забыт на чужбине. К дверям кладбищенской капеллы беспрерывно подходили толпы людей.

Шли рабочие-литейщики, пивовары, работницы табачных и шоколадных фабрик, пекари, женщины, дети из рабочих

---

[1] Почему нет полиции? Ведите меня в магистратуру... (*франц.*)

кварталов. Они шли в напряженном и строгом молчании, чтобы поклониться тому, кто отстаивал новый мир.

Когда Александр Ставров подошел к затянутому красным гробу, он не сразу узнал покойного. Воровский лежал странно помолодевший, без очков, в которых все привыкли его видеть, бледный, но такой живой и прекрасный, что казалось, он сейчас встанет, заговорит и на весь мир прозвучит его грудной, ласковый голос.

Нет, дипкурьер Ставров ошибся, думая об одиночестве Воровского на чужбине. Сто пятьдесят тысяч людей ждали вагон с прахом погибшего на Ангальтском вокзале в Берлине. Двести тысяч неподвижно стояли, запрудив окрестные улицы. Все уличное движение было приостановлено.

Министр путей сообщения Германской республики генерал Гренер, выполняя распоряжение своего правительства, отдал шифрованный приказ, чтобы траурный вагон еще до подхода к Ангальтскому вокзалу задержали где-нибудь в пути и только к исходу суток прицепили к другому поезду. Гренер думал, что массы людей не станут ждать на улицах семь-восемь часов. Но люди ждали. Они не разошлись и к вечеру, когда над Берлином разразился грозовой ливень. Все промокли насквозь, но никто не ушел, пока к перрону не подошел вагон с прахом Воровского.

Старые рабочие на руках вынесли гроб, положили на катафалк, и человеческое море двинулось на Унтер-ден-Линден, к зданию советского посольства. Там гроб установили в большом зале, возложили венки, множество цветов, а ночью при свете факелов бесконечное шествие направилось вслед за гробом к Силезскому вокзалу.

Дождь лил по-прежнему, заливал факелы, но взамен одного погасшего факела люди зажигали десятки новых и шли, освещенные их багряным светом. На перекрестках шествие останавливалось, звучали короткие речи, потом все шли дальше.

Александру запомнилась речь уже немолодого немецкого коммуниста Вильгельма Пика. Он забрался в кузов стоявшего у тротуара грузовика, снял кепку и сказал громко и внятно:

— Сердце большевика Воровского перестало биться. Его остановили подлые убийцы, враги человечества! Но сердце революции бьется, живое, гневное сердце! Его не пробить пулями, не умертвить. Дело, за которое отдал свою жизнь товарищ Воровский, бессмертно...

По лицу Вильгельма Пика, как слезы, бежали струйки дождя; черное небо озарялось голубоватыми вспышками молний; по теплым камням мостовой яростно шумели потоки воды, а вверху, буйный, грозовой, грохотал гром.

Александр плохо слышал то, что говорили стоявшие на грузовике люди, но всем сердцем чувствовал, что в их речах, как и в грохоте грома, как и в яростном шуме воды, слышится голос народов, уже начавших долгий и тяжелый труд сотворения нового неба и новой земли...

3

Обсаженная по краям тремя рядами кукурузы, ставровская бахча зеленела на пологом склоне холма, за прудом. Слева и справа лежали участки Антона и Павла Терпужных, Тимохи Шелюгина, Плахотиных, деда Силыча.

Еще в июле Дмитрий Данилович с сыновьями привез сюда жерди, воз овсяной соломы и соорудил просторный крутоверхий шалаш. В шалаше остро пахла чуть потемневшая, с медным отблеском солома, постоянно держалась прохлада, и Андрей с Ромкой дни и ночи проводили в поле, гоняли прожорливых ворон, пекли кукурузу, а в полдень отлеживались в шалаше, читая добытые по случаю книги.

Дни стояли сухие, жаркие. Внизу нестерпимо, слепя глаза, сверкал отражающий солнце пруд. Из шалаша видно было, как к пруду одна за другой подходили бабы и, зажав коленями юбки, принимались за стирку. Они яростно терли песком бельишко, раскладывали его на прибрежных бурьянах, проворно раздевались и, оглядываясь, повизгивая от удовольствия, лезли в воду. Чуть позже, к полудню, возле пруда появлялись мужики со скотиной. Укрывшись в тени кладбищенского плетня, они молча курили, а быки и кони подолгу стояли в воде, отмахиваясь от злых, назойливых слепней.

К вечеру снизу, от пруда, медленно наплывала прохлада. Над степью вставала большая, мерклая, красноватого оттенка луна. Незаметно бледнея, разливая ровный голубой свет, луна поднималась, плыла к лесу, и все вокруг становилось тихим, торжественным и светлым.

Андрей и Ромка блаженствовали на бахче. С утра они собирали на лесной опушке хворост, высекали кресалом огонь, раскладывали костер и начинали печь кукурузу. Молодые кукурузные початки подрумянивались на костре, пускали клейкий сок, потом начинали тихонько потрескивать.

И ребята, обжигая пальцы, причмокивая черными от пепла губами, грызли початки, старательно затаптывали костер и отправлялись метить арбузы самодельными, наточенными на камне ножами.

— Моя метка будет крест, а твоя — черточка, — предложил Андрей Ромке, — давай наметим арбузы, потом увидим, чьи будут слаже.

— Ладно, — согласился простодушный Ромка, — давай...

Он и не подозревал, какой коварный замысел лелеет его старший братец. Бродя по бахче, Ромка старательно метил черточкой отысканные им лучшие арбузы, а хитроватый Андрей ходил следом и украдкой перекрещивал Ромкину черточку второй чертой, присваивая себе братнины находки.

Как только солнце начинало пригревать, на поле прилетали вороны. Они опускались за гребнем крайней борозды, прокрадывались между тронутыми желтизной кукурузными стеблями и торопливо клевали арбузы.

В темном углу шалаша у ребят стояла изъеденная ржавчиной берданка. Мушки у нее давно не было, на шейке сломанной ложи белели куски прибитой гвоздями жести, затвор открывался с трудом, но громоподобный выстрел из старого ружья казался Андрею и Ромке пределом земного счастья. Вместе с берданкой они нашли на чердаке рауховского дома коробку пороха, берегли ее как зеницу ока, а вместо дроби заряжали патроны нарубленными кусками ржавых гвоздей.

Ребята стреляли поочередно, но Ромка не отличался охотничьим азартом и потому был почти равнодушен к воронам. Его занимал только выстрел. Зато Андрей горел желанием убежать с берданкой в лес и хотя бы раз выстрелить по куропаткам. Он уже безошибочно определял лежки кочующих по жнивью зайцев, знал хрипловатое кряканье чирка в камышах, и, когда на лесной опушке из-под ног мальчишек вдруг с частым хлопаньем, с тонким посвистом крыльев срывался табунок куропаток, Андрей вздрагивал и долго следил, как проворные птицы исчезают в зеленых зарослях.

Первой жертвой охотничьей страсти Андрея стал смирный кулик-поручейник на затоптанном конскими копытами берегу пруда. Заметив темноголового, с охряно-белесой грудкой кулика, Андрей поднял тяжелую берданку, прижмурил глаз и выстрелил. Когда рассеялся дым, он увидел, что раненый кулик, завалившись на бок, судорожно взмахивает

острым, с белым исподом крылом и, волоча перебитую ногу,ползет к воде.

Андрей догнал кулика, схватил его за крыло и, замирая от жалости и восторга, ударил головкой об ложу ружья. Сверкающий, подернутый влагой глазок кулика померк, потускнел, на конце темного клюва вздулся и тотчас же лопнул розовый пузырек.

— Вот! — издали закричал Андрей брату. — Видал?

Ромка на четвереньках выполз из шалаша.

— Что это?

— Не видишь что? Кулик. На пруде стукнул!

— Зачем?

— Как зачем? — удивился Андрей. — Сейчас мы его сварим, тащи котелок!

— Котелок занят, Каля только что принесла завтрак...

Говорил Ромка хмуро, как будто был недоволен чем-то, а на распростертого на земле кулика старался не смотреть. По белесоватой грудке мертвой птицы ползали два муравья, вокруг напористо и нагло кружилась зеленая муха. Ромка переступил с ноги на ногу и, посвистав, пошел бродить по бахче. Он явно не одобрял лихого выстрела брата, и в его карих с желтизной глазах не было сейчас ничего, кроме сострадания и скрытого упрека.

— Ну и черт с тобой! — сердито буркнул Андрей.

Схватив кулика, он размахнулся и закинул его далеко в кукурузу. «Не хочешь — и не надо, слюнтяй!» — подумал он, глядя па Ромку.

Нет, сейчас в душе Андрея не было жалости или раскаяния. Но сложное, еще не изведанное им чувство вдруг больно кольнуло его. Это было чувство недоумения и страха смерти, которую Андрей увидел в глазах добиваемого кулика...

Вечером между братьями произошел первый в их жизни серьезный разговор. Они лежали в шалаше, слушали звонкое верещание сверчков, всматривались в розоватое свечение выплывающей из-за деревни луны.

— А куда после смерти уходит душа? — задумчиво глядя на луну, спросил Ромка.

— Разве кто-нибудь это знает? — отозвался Андрей.

— А человек умирает весь или что-нибудь остается?

— Дурак, — проговорил, шевельнувшись, Андрей. — Что ж, по-твоему, сердце умирает, а ухо или глаз останутся? Вон видал, кулик? Раз — и готово!

Видимо, Ромка не мог согласиться с таким выводом. Он вскочил на колени и забубнил сердито:

— Сам ты дурак! Если в человеке все, как есть, умирает, для чего ж тогда ставили на окно миску с водой, когда кончался дед Данила? Помнишь? Я спрашивал у мамы. Она сказала, что воду ставят для души, чтоб душа от грехов обмылась и улетела чистой.

— А ты видел, как она улетала, дедова душа? — Андрей насмешливо сплюнул сквозь зубы. — Видел? А как она мылась в миске — с мылом или без мыла? И потом, дед был здоровенный, а миску поставили махонькую, из которой борщ едят. Что ж, дедова душа — котенок, что ли? Как ей мыться в такой мисочке? Тогда уж целое корыто надо ставить.

Но Ромка не сдавался. Он снова улегся, поерзал на соломе, посмотрел в темную синеву усеянного звездами неба.

— Зачем же в поминальный день на могилу кутью носят? Дед Силыч говорит, что души мертвых едят кутью и вспоминают всех живых.

— Крепко он знает, дед Силыч! Ты небось помнишь, как ел наш дед Данила, когда еще живой был? По три тарелки супа враз съедал. Он и помер от голода. А мы с тобой понесли ему на могилу блюдечко кутьи, да и то по дороге весь изюм поели...

Некоторое время ребята лежали молча. В залитых прозрачным лунным светом полях неумолчно трещали сверчки. У пруда лениво и сонно гукала выпь. По небосклону, прочертив угасающую дугу, скатилась и пропала в лесной темени неяркая звезда. Ромка проводил ее взглядом, вздохнул:

— Ребята говорят: когда падает звезда, кто-то умирает.

— Помнишь, дед Силыч рассказывал, что у каждого человека есть своя звезда? Пока она светит, человек живет.

— Вот если бы нам знать, где наши звезды! — встрепенулся Ромка. — Можно было бы по вечерам смотреть на них, правда?

Андрей ничего не ответил. Впервые в жизни его удивил и напугал простой, как ему раньше казалось, вопрос: для чего человек живет и что с ним происходит, когда он умирает? Слегка отвернувшись от брата, Андрей вспоминал те немногие смерти, которые ему довелось видеть: тифозную девочку-беспризорницу, которую раздавил маневровый паровоз на одной из забитых беженцами узловых станций; голодную кобылу, которую зарезал дед Силыч в огромном сарае; угрюмого деда Данилу, который умирал долго, трудно и

страшно; убитого сегодня кулика, у которого медленно гасли, словно покрывались негустым туманом, темные бисеринки прекрасных глаз. Андрей вспоминал все это и думал: «Вот, говорят, душа после смерти уходит в рай или в ад. А кто это видел? Кто побывал там и вернулся, чтобы рассказать людям: так, мол, и так, я видел в раю сад, и цветы, и ангелов? Нет, наверно, это все брехня. Ничего на том свете нет, и человек умирает точно так, как сегодняшний кулик».

Подумав так, Андрей тотчас же испугался этой мысли и заворочался в странном томлении: «Если нет бога, нет рая, если дед Данила и кулик одно и то же, для чего ж я живу? Кому это нужно? Зеленой мухе, которая будет ползать по мне? Для чего ж тогда живут отец, мать, Ромка, Каля, для чего живут все люди? Так просто, ни для чего?»

Над шалашом трепетно светилось, величаво играло звездным мерцанием недоступно далекое небо. Издали едва доносился монотонный шум леса. Зеленоватыми бликами переливался, сверкал пруд внизу. Огромный мир — с белой луной, с полями, криком сверчков, травами, запахами, светом и тьмою — раскинулся во все стороны. Но кто в этом мире мог сейчас ответить лежавшему на земле мальчишке: для чего он живет?

Андрей уснул беспокойно, словно забылся, но снился ему не бог, не дед Данила и не кулик. Снилась круглолицая, румяная Таня Терпужная, будто она бежала по траве, мелькая белыми ногами, а Андрей догонял ее и никак не мог догнать...

Утром Ромка разбудил брата легким пинком в бок:

— Вставай! Вон твоя Танька идет!

— Где? — встрепенулся Андрей и зажмурился от яркого солнца.

— Ослеп, что ли? Сегодня ж воскресенье, они обещали прийти в поле. Вон идут Колька, Сашка, Танька — все...

В самом деле, по протоптанной коровами тропинке поднималась гурьба огнищанских ребят и девчонок. Впереди вприпрыжку бежал Колька Турчак.

— Го-го-о! — закричал он. — Вставайте, пойдем за ежевикой!

В лесу разбрелись кто куда. Вначале Колька шел рядом с Андреем. Склонив набок большую, круглую, как арбуз, голову, он бормотал скороговоркой:

— Шабриха у коровы Петра Кущина молоко отняла. Крест меня побей! Я слышал, как тетка Зиновия во дворе голосила. Это, говорит, Шабрихино дело. Соседи, говорит, видали, вроде Шабриха в красного телка обернулась — такого телка во всей Огнищанке нету, — кинулась в хлев и все молоко у коровы высосала. Теперь, говорят, у Кущиной коровы молока не будет...

— Чепуху ты городишь, Колька, — засмеялся Андрей, — бабы сказки рассказывают, а ты и трезвонишь, балабон!

Колька Турчак всегда знал все деревенские новости. При взрослых он умел держаться в тени, на задворках, но его большую остриженную голову можно было встретить везде — у колодца, под плетнем, на улице, в соседских дворах. Он совал свой нос всюду, и сейчас, отстав от девчат и пробираясь с Андреем сквозь густые заросли молодых дубочков, он торопился выложить все, что успел узнать за вчерашний вечер.

— Дядька Тютин пару голубей из Ржанска привез — красавцы! Двухчубные вертуны, белые. Говорит, три пуда пшеницы за них отдал. А землю его берет в аренду Антон Агапович. Вчерась я разговор ихний слышал, Антон дает Тютину по четыре копны с десятины.

— А Тютин что будет делать? — спросил Андрей.

— Откуда ж я знаю? У него скотины нету, обработать нечем, он и хочет сдать землю в аренду. А Гаврила, Тоськин квартирант, стишки складывает. Я сам слышал. Подошел под окошко, гляжу — Тоська на лежанке лежит, а квартирант по хате ходит, читает стишки.

Андрей хмыкнул:

— Какие ж стишки он читал?

— Я их наизусть заучил, складные стишки, — похвастался Колька. — Хочешь, прочитаю?

— Ну-ка, прочитай!

Придерживая рукой дубовую ветку, Колька стал в позу, ту самую, в какой, должно быть, стоял Гаврила Базлов, и нараспев начал читать:

Тося, душка, глянь в окошко:
Буду я тонуть в реке
В белой вышитой рубашке
И с гармонией в руке...

Глянув на ухмыльнувшегося Андрея, Колька разъяснил:

— Это он вычитывал жалобно, потом обернулся до Тоськи и стал читать про любовь:

Ах ты, милая браслетка,
Тося, душечка моя,
Шоколадная конфетка,
Ах, как я люблю тебя!..

Андрей уже держался от хохота за живот, повизгивал от удовольствия.

Наверно, Колька Турчак еще долго развлекал бы Андрея рассказом о стишках Гаврилы Базлова, но поблизости, на поляне, раздались голоса девчат. Одна из них, бедовая Васка Шаброва, раздвинула кусты и запричитала обиженно:

— Ну во-от!.. Звали гулять, а сами где-то хоронятся!..

Ребята вышли на поляну. Девчонки, по-взрослому подобрав подолы праздничных юбок и выставляя кружевные оборки исподних, чинно сидели под кустом. Их было четверо: кареглазая Таня Терпужная, веселая Соня Полещук с длинным носом, беленькая Уля Букреева и Васка Шаброва, сестра красавицы Лизаветы. Вытянув босые загорелые ноги, девчонки тихонько переговаривались. Неподалеку лежали Ромка и Санька Турчак.

— Ну, чего будем делать? — спросил Колька.

— Давайте в колечко поиграем! — оживились девчонки.

Играли не очень долго, потом медленно побрели по лесу искать ежевику. Заметив, что Таня Терпужная пошла направо, Андрей увязался за ней. Он догнал ее у овражка. Таня стояла, вороша ногой палую листву, слушала, как на дне узкой замшелой ложбины течет вода.

— Танюшка! — тихонько позвал Андрей.

Она не обернулась, только ниже наклонила голову, быстрее затеребила листву, но все же отозвалась так же тихо:

— Чего?

Андрей подошел ближе. Не зная, что сказать, он сломал попавшую под руку веточку, швырнул ее в воду, посвистал. Искоса он смотрел на Таню, видел ее румяную, как яблоко, щеку, маленький носик, и ему хотелось обнять ее, сказать ей, что она ему нравится, но он, переминаясь с ноги на ногу, только слегка дернул ее за русую косичку.

— Чего ты? — сердито вскрикнула девочка.

— Будешь гулять со мной? — брякнул Андрей и сам удивился своей смелости.

Она густо покраснела, стала сбрасывать ногой камешки в ложбинку, повернулась к нему спиной. А он, преодолевая

смущение и страх и подчиняясь охватившему его волнению, отрубил:

— Я тебя спрашиваю: будешь гулять со мной?

Таня наклонила голову, сделала шаг в сторону, готовясь убежать, но Андрей загородил ей дорогу, схватил ее маленькую, вспотевшую от волнения руку.

— Брось! Слышишь? — нахмурилась Таня.

Но он не оставлял ее руки и заговорил зло:

— Я тебя спрашиваю, Танька, — значит, отвечать надо! Понятно? Ты мне одно скажи: будешь ты со мной гулять или нет?

— Буду... Оставь!

Подняв глаза, она посмотрела на Андрея, как будто впервые видела его, и вдруг ясная, открытая улыбка тронула ее губы. Ослабив напряжение руки, она разжала кулачок и неловко погладила ладонь Андрея своей жестковатой потной ладонью.

— Ну, хватит, пошли!

— Постоим немного! — взмолился Андрей.

— Не, пошли, девчата будут смеяться.

Вырвав руку, Таня бросилась бежать. Косыночка свалилась у нее с шеи, зацепилась за ветку шиповника, но Таня на бегу подхватила ее и побежала в ту сторону, где слышались визгливые голоса Ули и Сони. Андрей, сдерживая опалившую его горячую волну радости, пошел налево и натолкнулся на Кольку Турчака.

— Где ты блукаешь? — недовольно закричал Колька. — Пошли на пруд, искупаемся.

На берегу пруда уже купались, чуть поодаль друг от друга, взрослые парни и девчата — Иван и Ларион Горюновы, Демид Плахотин, Ганя Лубяная, Лизавета. Прибежавшие из леса подростки присоединились к ним — ребята к парням, девчонки к девушкам.

У кладбищенского плетня сидели Тихон Терпужный и Гаврюшка Базлов. Одетый в розовую рубаху, подпоясанный ремешком, тщательно расчесанный, Гаврюшка лениво тренькал на балалайке и тянул, поглядывая на купавшихся в пруду девчат:

— Природу я люблю, от нее никуда не денешься, а только мечтается мне в город перебраться, ближе до культуры... Тут мне при моем развитии трудно, почти что невозможно. Я не привык вдыхать аромат коровячих блинов, это не услада для души...

Искупавшись, Андрей подложил под голову башмаки и улегся на горячей от солнца, чуть тронутой желтизной траве. Скосив глаза, он видел, как, приподняв и придерживая рукой сорочку, бродит по воде Таня. Сейчас он замечал в ней все: незагорелые выше колен ноги, еще не густую, отроческую курчавинку рыжеватых волос под мышками, обозначенную мокрой сорочкой маленькую грудь. Андрей смотрел на Таню, рассеянно слушал гоготание парней, визг девчат, но все это — так же как ветер, теплота солнца, треньканье Гаврюшкиной балалайки — доходило до него со стороны, а рядом была только она одна, девочка с круглым, румяным лицом и стройными ногами, которые брели куда-то по веселой голубой воде...

Уже сидя возле шалаша, Андрей читал затрепанную, неизвестно как оказавшуюся в Огнищанке книгу, в которой рассказывалось о любви, и удивлялся и радовался тому, что какой-то далекий человек, никогда не видя и не зная его, Андрея Ставрова, сумел высказать все, что он думал в этот вечер. И он перечитывал, захлебываясь от восторга:

«О, если бы мне даровано было счастье умереть за тебя! Пожертвовать собой за тебя, Лотта! Я радостно, я доблестно бы умер, когда бы мог воскресить покой и довольство твоей жизни. Но, увы! Лишь немногим славным дано пролить свою кровь за близких и смертью своей вдохнуть в друзей обновленную, стократную жизнь...»

Так упивался своим счастьем Андрей, так он радовался своей любви и не знал, что судьба уже приготовила ему первое испытание.

Перед вечером на бахчу приехал Дмитрий Данилович. Он распряг кобыл, поправил солому в телеге и крикнул Андрею и Ромке:

— Помогите-ка мне набрать арбузов!

Вышагивая по бахче, осторожно обходя пышные, кое-где еще цветущие плети, Дмитрий Данилович постукивал согнутым пальцем по арбузам, отбирал по глуховатому звуку самые спелые, обрывал их, а сыновья носили в телегу.

Когда телега была наполнена, Дмитрий Данилович вздохнул, потянулся, по-хозяйски осмотрел шалаш, закурил и сказал, метнув взгляд на Андрея:

— Тебе надо помаленьку собираться.

— Куда? — не понял Андрей.

— Как это «куда»? В школу. Или ты думаешь оставаться неучем?

Сбив с папиросы пепел, Дмитрий Данилович почесал затылок и снова посмотрел на сына.

— Оно бы давно надо отправить тебя, да время такое приспело — то голод, то помощь требовалась в хозяйстве...

— Я ж окончил четыре класса! — обиженно возразил Андрей.

Дмитрий Данилович усмехнулся:

— Подумаешь, четыре класса! А потом полтора года не учился, баклуши бил, черт знает чем занимался! Нет, брат, сейчас на четырех классах далеко не уедешь. Учиться надо. Осенью отправим тебя, а на следующий год Романа. Так что собирайся.

— Куда ж я поеду? — Голос Андрея дрогнул.

— В Пустополье. Там есть трудовая семилетняя школа. Завтра я съезжу туда, поговорю с теткой Мариной. Пока поселишься у нее, а там видно будет...

Когда отец уехал, Андрей побродил по полю, долго смотрел на опустевший, розовый от солнечного заката пруд, ничего не ответил на Ромкины расспросы и лег в шалаше. Он понял, что сегодня, в этот памятный день, закончилось его детство, что завтра его ждет что-то иное — школа, жизнь без отца и без матери, новые люди, новые товарищи. Там не будет бахчи, не будет коней, покрытого росою поля, не будет этого кисловато-терпкого, но такого милого запаха расклеванных воронами арбузов... Там не будет Тани... Да, да, это самое главное: не будет Тани!

Уткнувшись лицом в землю, Андрей неслышно прошептал:

— «О, если бы мне даровано было счастье умереть за тебя! Пожертвовать собой за тебя, Лотта!..»

4

После счастливого избавления от смерти Максим Селищев по приказу войскового атамана Богаевского был возвращен в Гундоровский казачий полк, который по-прежнему рубил лес на отрогах Старой Планины. Перед отправлением в полк Максима вызвал к себе генерал Гусельщиков. В Тырнове у генерала не было своей квартиры, он жил у местного адвоката, на улице Девятнадцатого февраля, неподалеку от того дома, где размещался кутеновский трибунал.

Когда Максим явился по указанному адресу, его встретил молодой адъютант генерала, подъесаул Панотцов, невысокий юноша, одетый в казачьи шаровары и английский френч. Тряхнув темным чубом, Панотцов приветливо сказал:

— Минуточку подождите. — И добавил, посматривая на Максима: — Ведь мы с вами земляки. Я сам из хутора Ещеулова, он почти рядом с Кочетовской.

— А откуда вы знаете, что я из Кочетовской? — спросил Максим.

Блеснув зубами, подъесаул засмеялся:

— Ну как же... Мне известно ваше преступление. Генералу присылали из суда ваше дело, и я читал протоколы допроса и даже вещественное доказательство — отобранную у вас записную книжку.

Не скрывая доброжелательной усмешки, Папотцов внимательно осмотрел истрепанную крестьянскую свитку Максима, залоснившиеся на коленях домотканые штаны.

— Боюсь, хорунжий, что вам крепко влетит за эти маскарадные отрепья. Генерал не любит таких штук...

Однако Гусельщиков не обратил никакого внимания на одежду Максима. Он сам вошел в комнату в измятой ночной сорочке и в чириках на босу ногу. Слегка кивнув, он движением головы выпроводил адъютанта и, помолчав, буркнул хрипловато:

— Ты что ж это, братец, вздумал испохабить Гундоровский полк? Большевиком стал, что ли?

— Никак нет, господин генерал! — хмуро ответил Максим. — Все обвинение было построено на записи в дневнике, который я никому не показывал...

Гусельщиков раздраженно махнул рукой. Его жесткий, небритый подбородок задрожал, а красные от беспробудного пьянства глаза уставились на Максима.

— Погоди. Все это мне известно. Меня интересует другое: как мог ты, казачий офицер, гундоровец, стать бабой и написать такую чушь в дневнике?

Он шагнул к Максиму, положил ему руку на плечо, дохнул в лицо крепким запахом коньяка.

— Вот что, хорунжий, — сказал он, не спуская с Максима глаз, — тебе хорошо ведомо, что я не палач из этого самого трибуналь-милитэр и вообще... не сволочь. Я боевой офицер, казак, и мне ты можешь сказать правду. Так вот и ответь мне начистоту: как, по-твоему, проиграно наше дело или нет?

Максим молчал, исподлобья поглядывая на нетрезвого генерала. Он давно знал Гусельщикова, уважал его за отвагу, но слышал и рассказы о том, как свирепый командир полка своей собственной рукой чинил над виновными суд и расправу.

— Что ж ты молчишь? Говори! Проиграли мы свою игру?

— Так точно, господин генерал! — тряхнул головой Максим. — По-моему, все ясно. Нам большевиков не одолеть.

— Ну и что ж? Значит, надо сдаваться красным?

— Не могу знать, господин генерал! — отчеканил Максим. — Но мне думается, что ни один человек не захочет помирать зря...

Шаркая сбитыми чириками, Гусельщиков заходил по комнате. Он почесывал седеющую шерсть на груди, кашлял и, казалось, не обращал больше на Максима никакого внимания. Потом он остановился и заговорил с плохо скрытой угрозой:

— Вот что, братец, придется тебе твой позор искупить. Иначе ты от кары не уйдешь. А что касается России, то Россию ты скоро увидишь, войдя в состав боевой десантной группы. Это мой приказ! Понятно?

Сдвинув брови, понимая, что протестовать бесполезно, Максим ответил упавшим голосом:

— Так точно, господин генерал!

Гусельщиков бросил отрывисто:

— Ты генерала Покровского знаешь?

— Который действовал вместе с генералом Шкуро на Кубани?

— Да, да!

— Я слышал о нем, господин генерал.

— Так вот, — понизил голос Гусельщиков, — Покровский готовит в Варне десант. Под его командованием вооруженная офицерская группа отплывет на шхуне к берегам Совдепии. С заданием эта группа познакомится, уже находясь в открытом море. Ты отправишься с генералом Покровским, для того чтобы выполнить на Дону особое поручение войскового атамана. А сейчас поезжай в полк и жди вызова в Варну.

Протягивая Максиму руку, Гусельщиков усмехнулся:

— Ты должен благодарить атамана за то, что он дает тебе возможность взглянуть на большевистский рай. Ты сдуру восхвалил его в своем дневнике.

Уже стоя в дверях, Максим вдруг спросил, не скрывая насмешки:

— А если я не вернусь из России?

Гусельщиков подошел к нему.

— Слушай, Селищев, — сказал он тихо, — это я, спасая твою дурную голову, предложил атаману отправить тебя

с Покровским. Я же и поручился за твое согласие. Сейчас, братец, у тебя выбора нет. Если ты не отправишься с десантом, тебя поставят к стенке. Так что не мудри. — Веселая ухмылка смягчила одутловатое лицо генерала. — А что до возвращения, то это, братец, твое дело. Но я уверен, что ты не захочешь подставить себя под чекистскую пулю, и потому я сам позабочусь о том, чтобы ты вернулся. Ты знаешь, рука у меня длинная, она, братец, достанет и до России...

Так неожиданно повернулась судьба Максима. В полк его сопровождали два офицера — войсковой старшина Хоперсков и лысый сотник Юганов. Оба они знали историю злополучного хорунжего и, безусловно — он был уверен в этом, — шли с ним не случайно.

— Вы что же, конвойными ко мне приставлены? — спросил Максим у Хоперскова, когда они подходили к тырновскому вокзалу.

Хоперсков обиделся:

— Зачем конвойными? Что ты, на самом деле! Просто мы возвращаемся в полк, так же как и ты.

Больше Максим не разговаривал на эту тему. Предстоящая поездка в Россию, хотя бы и в составе боевого десанта, страшила и радовала его. Страшила потому, что ему не хотелось ступить на родную землю с оружием в руках, и радовала потому, что осуществлялось наконец его желание: он мог разом избавиться от горестных скитаний по чужбине, найти Марину, дочку. «Хоть одним глазом на них гляну, а там пусть делают со мной, что хотят!..»

По возвращении в полк Максим поселился в том же бараке, из которого ушел в начале лета, и стал ждать вызова в Варну от генерала Покровского.

При формировании десанта выбор не случайно пал на такого человека, как Виктор Покровский. Бывший летчик, пьяница и сумасброд, он в пору боев на Кубани превратился в совершенного бандита: сам себе присвоил генеральское звание, испепелил десятки станиц, а вешал и расстреливал так жестоко, что даже головорез Шкуро просил: «Ты, Витя, трошки полегче, прямо глядеть на тебя сумно...»

После бегства из России Покровский некоторое время жил в Константинополе, потом переехал в Сербию, затем оказался в Варне и поселился в скромном особняке сербского консула. Генерал Покровский был инициатором организации десанта, и «верховный» одобрил эту затею.

— Это будет очень своевременный демарш, — сказал Врангель.

Однако при формировании десанта Покровский натолкнулся на целый ряд трудностей. Дело в том, что правительство болгарского «Земледельческого народного союза», гостеприимно приютив на территории Болгарии значительную часть армии Врангеля — примерно около тридцати тысяч человек, — хотя и оговорило необходимость ее разоружения, но не беспокоило врангелевских генералов Кутепова, Шатилова, Витковского и других требованием сдать оружие. Правительство рассматривало вооруженных врангелевцев как запасной козырь в борьбе против болгарских коммунистов, с одной стороны, и против «блокарей» — блока махрово реакционных буржуазных партий — с другой. Но чем дальше шло время, тем большее недовольство народа вызывали бесчинства белых «орлов». Наиболее дальновидные люди сознавали, что Болгария при попустительстве ее правителей может стать плацдармом для нападения на Советский Союз и в конце концов окажется втянутой в очередную авантюру барона Врангеля.

Коммунисты потребовали немедленного разоружения врангелевских полков и отправки рядовой массы белогвардейцев на родину. Они привели при этом ряд неопровержимых доказательств шпионской и заговорщической деятельности белых, направленной против Болгарии. Премьер Стамболийский отдал приказ о разоружении врангелевцев. В общежитиях и казармах белых начались повальные обыски. Полки расформировывались и небольшими группами направлялись на работу в разные местности Болгарии. Командир Первого врангелевского корпуса генерал Кутепов был арестован и выслан в Сербию. Белогвардейцы лихорадочно зарывали в землю пулеметы, винтовки, патроны. В Болгарию прибыло советское представительство Красного Креста для репатриации желающих вернуться в Россию белоказаков. Дом в Софии, где разместилось представительство, осаждался тысячами беженцев.

В соглашении, подписанном Наркоминделом РСФСР и доктором Фритьофом Нансеном, который взял на себя организацию возвращения белоэмигрантов на родину, было сказано:

«Подлежат репатриации только уроженцы Дона, Кубани и Терека, так как лишь в этих областях экономическое и санитарное положение является благоприятным...

Русское правительство подтверждает полную амнистию уроженцам этих областей, рядовым участникам гражданской войны; служившие же на ответственных должностях должны исходатайствовать себе личную амнистию...»

Как ни пугали генералы рядовых казаков «ужасами чрезвычайки», как ни стращали «красным террором» в России, пытками, расстрелами, голодом, истосковавшиеся по семьям люди заявляли о желании ехать домой. «Россия № 2», как называли врангелевские генералы полуголодную орду эмигрантов, стала медленно распадаться. Первые пароходы с репатриантами отплыли из Болгарии в Советскую Россию.

В такой обстановке генерал Покровский задумал организовать вооруженный десант. Он встретился с Врангелем, донским атаманом Богаевским и заявил им прямо:

— Мне осточертело ждать, осточертело смотреть на все, что делается вокруг! Деникин сидит в Лондоне, как суслик в норе. Кутепов занимается цветоводством. Андрюшка Шкуро бродит по миру с какой-то кафешантанной шлюхой. Краснов объезжает коней у немца-помещика. Романовского шлепнули его же подчиненные. Слащев, как нашкодившая сука, смылся и лижет большевикам сапоги. Вояки! Генералы!.. Сидите и смотрите, как ваша доблестная армия уплывает в Совдепию.

— Что же вы хотите? — поморщился Врангель. — Возьмите да уговорите союзников начать вторую интервенцию.

— Какую там интервенцию! Вы хотя бы десант организовали, чтоб можно было пройтись по Дону да по Кубани, чтоб люди знали: отыскался след Тарасов! Большевики тогда не дюже охотно принимали бы нашу подлую казачню, а то битком набитыми пароходами увозят...

Так был решен вопрос о десанте. Покровский получил у Врангеля деньги и тотчас же уехал в Варну, где через грека-комиссионера купил быстроходную парусно-моторную шхуну, начал искать опытных моряков и собирать оружие...

Максим Селищев ждал дней десять. В один из холодных осенних вечеров в барак, где жили офицеры-гундоровцы, вошел здоровенный детина в полушубке. Он спросил хорунжего Селищева, назвал себя сотником Моисеем Власовым и сказал, что генерал-лейтенант Покровский приказывает хорунжему выехать в Варну. Ночью Максим и приезжий сотник покинули лесной барак.

На улицах Варны Максим увидел множество русских. Они слонялись по городу группами и в одиночку, сидели в порту с мешками, толклись возле двухэтажного домика, на

дверях которого была прибита картонка с надписью «Уполномоченный Красного Креста РСФСР».

Когда сотник Власов и Максим проходили мимо этого домика, из дверей вышел высокий, стройный офицер без погон, одетый в защитную гимнастерку и галифе. У него было открытое смуглое лицо, на губах играла веселая улыбка. Как только он вышел на крыльцо, его тотчас окружили десятка полтора казаков.

— Видали? — скривился Власов. — Это самый главный провокатор и шпион, войсковой старшина Агеев. Он был адъютантом у вашего донского генерала Сидорина, а потом, сволочь, ездил из Турции в Москву — просить у Ленина, чтобы казакам позволили домой ехать...

Власов дернул плечом, с плохо скрытой ненавистью посмотрел на Агеева и засмеялся.

— Теперь, сучий сын, мотается по всей Болгарии, уговаривает казаков возвращаться в Совдепию. Ну да ладно! Для него уже не одна пуля готова...

В тот же вечер генерал Покровский принял Максима. Увидев его, Максим удивился. По внешности Покровский ничем не напоминал свирепого палача и садиста. Был он молод, подвижен, чернобров, говорил приветливо, звучным голосом. Пожалуй, только тени под нижними веками да странная манера прикусывать губы говорили о разнузданности и нервозности этого незаурядного авантюриста.

Покровский расхаживал по консульскому кабинету в расстегнутом генеральском кителе и чистил пилочкой ногти. У окна на диване сидел добродушный толстый офицер с сонным выражением лица и белыми бабьими руками. Это был начальник контрразведки группы Покровского полковник Муравьев.

Как только Максим вошел в кабинет, Покровский, отрывисто роняя слова, сказал:

— Хорунжий Селищев? Я пригласил вас в числе первых потому, что предпочитаю иметь дело с младшими офицерами. Все наши старшие превратились в слюнтяев. Вместо того чтобы бить красную сволочь, они греют зады в чужих гостиницах и выпрашивают грошовые подачки.

Круто повернувшись, он спросил:

— В вашей сотне приличные винтовки есть? Надеюсь, вы не все сдали братушкам болгарам?

— Нет, сейчас у нас почти не осталось оружия, — сказал Максим. — Часть сдали по требованию, часть выменяли у

пастухов на мясо и брынзу, а небольшую часть спрятали, каждый на свой риск, потому что боятся наказания.

Сунув руки в карманы, Покровский крикнул Муравьеву:

— Слышали? Вот она, ваша информация, хрен ей цена! Храбрые сыны славного Дона винтовки на брынзу меняют, дрожат при виде болгарского стражаря, а вы мне твердите, что в Гундоровском полку есть оружие! Не разведчик вы, а тюфтяй, ощипанная ворона!

Полковник Муравьев виновато заморгал глазами, поежился, стал глядеть куда-то в угол.

— Вы что-нибудь знаете о предстоящей операции? — спросил Покровский, осматривая Максима с ног до головы.

Максим решил уклониться от ответа.

— Ничего не знаю. Генерал Гусельщиков от имени войскового атамана приказал мне прибыть в ваше распоряжение. Остальное мне неизвестно.

Покровский кивнул, походил, посвистывая, по кабинету, потом сказал:

— Идите, хорунжий. Завтра утром вы незаметно проводите сотника Власова на вокзал, доложите мне о том, что он благополучно сел в поезд, и будете свободны дня четыре до его возвращения.

Максим поклонился и вышел. А Покровский, презрительно усмехаясь, бросил Муравьеву:

— Ступайте, Шерлок Холмс. Из-за вас я вынужден посылать с Власовым письмо в Сербию, к генералу Боровскому, — без пулеметов и без винтовок десант не сформируешь...

Ночью генерал написал длинное письмо, в котором излил всю свою горечь и злость. В письме было написано:

«Дорогой Александр Александрович! Обстоятельства так сложились, что я вынужден вновь командировать к тебе Власова. Дело в том, что мы столкнулись с крайней затруднительностью, вернее — почти невозможностью достать приличное оружие в нужном нам количестве. Запасы оружия, переданные мне терцами, оказались в ужасном виде: паническая публика зарывала это оружие в землю без всяких предохранительных мер, и, естественно, оно после этого годится лишь в музей. Необходимых нам пулеметов и ручных гранат не оказалось вовсе. Всевозможные добровольческие начальники, к которым я обращался, от выдачи оружия уклонились, ссылаясь либо на отсутствие такового, либо на незнание мест хранения. Большинство этих господ не выдает оружия из трусости, боясь, что сведения об этом просочатся

в их части, где уже нельзя никому доверять. Необходимо шифрованное распоряжение Кутепова или Витковского.

Теперь о здешних делах. Купили очень приличную парусно-моторную шхуну, которую с сегодняшнего дня приспосабливаем к плаванию... Я очень прошу тебя подыскать опытного моряка (военного, лучше всего черноморского), моториста и умелых, бесстрашных матросов. Последних можно брать только из казаков-рыбаков Таманского или Ейского отделов... Погода сейчас на море идеальная, и как обидно, что время уходит из-за всех хозяйственных задержек! До начала зимы я все же успею перебросить к месту моей веселой прогулки две-три сотни отборных людей со старшими начальниками.

Должен сказать, что у нас, видимо, где-то есть какие-то щели и скважины. Во всяком случае, отдельные сведения о моей работе просачиваются. Принимая это во внимание и имея причины быть недовольным за такое неряшество на Муравьева, я, вероятно, опущу на него свою тяжелую руку.

У меня был разговор с Богаевским. Он предложил мне содействие, и я согласился исполнить его просьбу — перебросить на Дон тридцать донцов.

Посланы ли наши представители к Муссолини? Виделся ли ты с болваном Науменко? [1] Вот прохвост!

Необходимо захватить в орбиту начинания больше денег; будь то американские или русские — это вопрос второго порядка. Надо поехать в Берлин, хоть к черту на рога, но создать финансовый фундамент. Надо иметь бумагу, на которой можно писать векселя, а на бесштанной, голой... их никто не пишет...

Здесь от добровольческого корпуса остались только отдельные офицеры. Ни корпуса, ни вообще какой-либо военной организации нет и в помине. Это вина Врангеля и Кутепова, струсивших использовать свои силы для переворота в Болгарии. За то их и разгромили...

Несколько десятков тысяч динар (в запечатанном конверте) можно спокойно послать с Власовым. Пусть зашьет в сапог. Итак, всего доброго. Жму руку. Помогай бог.

Твой Виктор Покровский».

Рано утром Максим Селищев, выполняя поручение Покровского, подошел к дому сербского консула, остановился поодаль и видел, как из дверей вышел сотник Власов. Дер-

[1] Науменко — наказный атаман Кубанского казачьего войска.

жась на расстоянии, Максим медленно пошел за Власовым на вокзал. У самого вокзала Власов затерялся в толпе, и Максим подошел ближе, чтобы посмотреть, сядет он в поезд или нет. Но в большом неопрятном зале, справа от двери, Максим увидел Власова, окруженного болгарскими жандармами. Двое жандармов надевали на него наручники, а третий поспешно обыскивал.

С этой минуты судьба Покровского покатилась под откос.

Не дожидаясь развязки, Максим без оглядки бежал из Варны и уже ночью оказался в бараке своей сотни. «На черта я буду отдавать голову за такого палача, как Покровский?» — подумал он, вспоминая события последних дней.

Однако самозваный генерал и организатор несостоявшегося десанта Виктор Покровский не так просто сошел со сцены. По его приказу был «ликвидирован» полковник Муравьев. Полковника пригласили на морской «пикник», тяжелым веслом размозжили ему голову, а труп незаметно опустили в море. Через неделю, выполняя указания Покровского, прапорщик-черкес Азан Байчоров на одной из самых многолюдных софийских улиц застрелил войскового старшину Агеева, как «предателя белого движения».

Найденное у Власова письмо было опубликовано в газетах. Болгарские власти отдали приказ об аресте «генерала». Ночью группа жандармов явилась арестовать Покровского. Он стал отстреливаться и в темноте был убит наповал.

В лесном бараке на Старой Планине потекли нудные, томительные, похожие один на другой дни. Под холодным дождем, в сером полумраке, в слякоти голодные казаки пилили лес, и казалось, что над их жизнью, подобно тяжелому осеннему небу, навсегда нависла беспросветно-пасмурная, злая судьба, от которой не было спасения. Вначале люди отмечали время зарубками на стволах сосен, потом бросили, махнули рукой: все равно просвета впереди не было.

Когда первый снег лег белым ковром на звонкую, тронутую морозом землю, легкими хлопьями повис на ветвях деревьев, из третьего взвода исчез старый урядник, усть-медведицкий казак Никита Арефьевич Шитов. Был он тих, молчалив, аккуратен, никогда ни с кем не ссорился, очень редко и будто неохотно вспоминал свою большую семью, оставленную в далекой станице.

Максим знал, что Шитов ездил в Варну, разговаривал с кем-то из советских представителей Красного Креста. По возвращении, посапывая и вздыхая, хмуро обронил:

— Так что, Мартыныч, возврата нам не будет. Гутарил я с энтим красным гражданином-товарищем. Уважлпвый, неплохой, видать, человек. А сказал оп мне так: вы, говорит, не рядовой казак, вы урядник, вас мы проверить обязаны, так что пока погодите, ничем не могу вам помочь...

После исчезновения Шитова подъесаул Сивцов — оп все еще жпл в бараке, но с Максимом не разговаривал — сказал злобно, потирая руки:

— Шитов сбежал к большевикам. Небось пз наших взводов ни один человек не ушел. Шитов — подчипенный хорунжего Селищева. Раз командир бегает, почему ж урядпику не дезертировать? Он небось уже к Новороссийску подплывает, так что вы его не ищите...

Но Шитова нашли на четвертые сутки. Захлестнув горло сыромятным конским поводом, он повесился на кривой, понуро склоненной над темным провальем, засыпаппой снегом ольхе. Старик висел раздетый, босой. Сбоку, аккуратно сложенные, укрытые палой листвой, лежали его заплатанные штаны, мундир и новые, подбитые гвоздями добротные американские башмаки. Как видно, старый урядник решил оставить вещи однополчанам и перед смертью снял с себя все, чтоб не затруднять казаков раздеванием промерзшего трупа.

Максим воспринял смерть своего урядника особенно тяжело. Пять лет Шитов не расставался с молодым хорунжим: они вместе были на австрийском фронте, вместе лежали в госпитале, ненадолго расстались перед бегством с Дона, потом судьба снова свела их в чужих, неприютных, далеких от родины местах...

Ни с кем не разговаривая, Максим с рассветом уводил взвод на отведенную лесную делянку, работал с казаками, а вернувшись в офицерский барак, наскоро с отвращением глотал оставленную ему в котелке теплую похлебку и молча укладывался на нары.

Так прошла зима. Весной Максим получил письмо от есаула Крайнова из Канады. Крайнов писал, что там, за океаном, легче жить и работать, и приглашал, не откладывая дела в долгий ящик, выехать в Оттаву. «Решай скорее,— писал Крайнов, — и сообщи мне, я вышлю визу и выеду тебя встречать...»

«Что ж тут решать? — подумал Максим. — Если уж старого Шитова не пустили в Россию, то меня и подавно не пустят. Поеду, а там видно будет».

Он дождался визы, продал последние свои вещи, купил

билет, простился с товарищами и теплым весенним днем покинул леса Старой Планины.

Уже после его отъезда, 9 июня 1923 года, фашисты-блокари Александра Цанкова с помощью вооруженных белогвардейцев врангелевского генерала Ронжина свергли правительство Стамболийского и установили в Болгарии фашистскую диктатуру. Стамболийский был убит. Начались зверские преследования коммунистов.

5

С середины лета стали перепадать частые дожди. Почти каждый день с запада медленно ползли тучи, охватывали полнеба, а ночами бушевали грозовые ливни. Огнищане успели скосить и свезти хлеба, вывершили на токах высокие скирды, но молотьба из-за дождей шла медленно. С утра приходилось раскладывать на просушку верхние ряды снопов, выбирать из середины сухие и подбрасывать их к молотильному барабану. Владелец молотилки Дашевский, бабник и гуляка, злился, упрекал огнищан за простои, но ничего не мог поделать — дожди, как назло, не прекращались.

После молотьбы в Огнищанку приехал председатель ржанской коммуны «Маяк революции» Савва Бухвалов. Он привязал взмыленного жеребца возле сельсовета и, похлопывая плетью по голенищу, пошел к Длугачу. Выждал, пока Илья Длугач закончил разговор с какой-то глухой старухой, а потом смущенно погладил свою исполосованную шрамами, наголо обритую голову.

— Прошу помощи, дорогой товарищ! — проговорил Бухвалов.

Длугач поднял брови:

— Какой помощи?

— Не управляемся мы с хлебами. Еще и косовицу не кончили, копны гниют в поле, молотить некому, прямо не знаю, что делать.

— А где ж твои коммунары?

— Разбегаются, как мураши. Не выходит, говорят, с коммуной. Люди, мол, за два года свое хозяйство справили, каждый по своему вкусу живет, а мы по-солдатски в одной столовке харчуемся да лапшу по расписанию едим. Так один за другим и смываются, бегут без оглядки...

Невеселая усмешка тронула влажные губы Длугача. Он покрутил ус, с сожалением глянул на Бухвалова:

— Здорово! А у нас тут слух прошел, что до тебя не сегодня завтра закордонные гости пожалуют, не то шведы,

не то американцы. В волисполкоме с вашими ржанцами был такой разговор, не знаю, правду они говорили или брехали.

Бухвалов махнул рукой:

— Какой там брехали! Каждый день жду этих гостей, а так и не знаю, откуда они. Бумажку из губисполкома получил: встречай, товарищ Бухвалов, профсоюзную делегацию, не ударь, дескать, лицом в грязь!

— Да-а... — протянул Длугач. — Интересно получается, закордонные рабочие приедут советскую коммуну глядеть, а в коммуне развал.

— То-то и оно! Хлеб возить некому, копны в поле гниют, народ разбегается. Сам не знаю, чего делать.

Почесывая затылок, Бухвалов несколько раз вздохнул.

— Вот объехал четыре волости, чуть не на коленки вставал перед каждым человеком: езжай, товарищ, помоги, твоя помощь край как нужна, ты ж, мол, сознательный, сам понимаешь, как из-за непорядков красивая идея погибнуть может!

— Ну и как? Много людей насбирал?

— Десятка три, не боле. Нам, говорят, не до коммуны, дай бог со своим хозяйством управиться, а коммуна нехай у сознательных помощи просит!

— Ишь паразиты проклятые! — воскликнул Длугач. — Они небось рады были б, если б коммуна сквозь землю провалилась.

Ему жалко было смотреть на Бухвалова: тот сидел как пришибленный, мял могучей рукой полинялую буденовку, обиженно посапывал. Но, жалея Бухвалова, огнищанский председатель не знал, как ему помочь: деревня начала сев ранних озимых, все люди в поле и, конечно, не согласятся бросить свою работу и ехать в Ржанск.

— Ладно! — решился Длугач. — Я тебе сразу все хуторское кулачье откомандирую с конями и с повозками. Нехай поработают, сволочи, во славу революции!

Бухвалов двумя пальцами растерянно почесал уголки жестких, обветренных губ, остро глянул на Длугача:

— Как бы ты не вляпался с этим делом. Сейчас насчет всяких мобилизаций не дюже позволяют разыгрываться. Так шею намнут, что родного батьку не узнаешь...

— Волков, кажут, бояться — в лес не ходить, — с яростным озорством сказал Длугач. — А я этих своих волков сроду не боялся, они у меня еще не так попляшут...

Через два часа на Ржанский тракт выбрался собранный с четырех деревень обоз. На передней телеге, нахохленный,

злой, как намокший сарыч, сидел Антон Терпужный. Сзади на сене полулежали Тимоха Шелюгин и Острецов. День был пасмурный, хмурый. Влажный ветер лениво гнал по оголенным скатам холмов темные клочья перекати-поля, и с дороги казалось, что поля заполнены суматошными отарами бегущих куда-то овец.

Движением плеча поправив свитку, Тимоха протянул задумчиво:

— Ты разъясни мне, товарищ Острецов, человек ты ученый, должен все это понимать... Почему кажная власть обманывает мужика, на мужичьем горбу выезжает? Ведь вот как получается! При царе нас душили и ныне дыхать не дают. Разве ж это дело? Когда надо было от Деникина обороняться или же замерзать на колчаковском фронте, Советская власть рай мужикам сулила: дескать, крестьянин — наш друг и союзник. А теперь что выходит? Как мы были в ярме, так и остались, голодранцы да беднота помыкают нами...

Острецов вытянулся поудобнее, шевельнул тонкой бровью, сказал:

— Это получается только потому, что у зажиточного крестьянства нет никакой организации. Каждый живет сам по себе, как жук в навозе копается.

— Какой же тут выход может быть? — покусывая травинку, спросил Тимоха.

— Уж этого я не знаю. — Острецов зевнул. — Выход можно найти, если его искать, а если всю жизнь подставлять спину, то, сам понимаешь...

Терпужный сердито рубанул кнутовищем окованный железом передок телеги. Вишневое кнутовище сломалось.

— Вот такой вам и выход, — хрипло пробормотал Антон Агапович. — Перехватить где ни на есть этого гада Илюшку Длугача да стукнуть его по поганой башке, чтоб людям не застил белый свет.

Темная бровь Острецова снова вздрогнула.

— Ну, это вы напрасно, папаша, — улыбнулся он, — за такие штуки большевики вам спасибо не скажут.

— Да ведь ты гляди, чего он, сукин сын, творит! Согнал людей с поля, обсеяться не дал и, как батраков, заставил в коммуну ехать...

— А чего ж? — ухмыльнулся Тимоха. — То мы на барина Рауха работали, а теперь новые баре у нас объявились — лодыри из коммуны, бесштанная наволочь.

Он скользнул взглядом по сутулой фигуре ехавшего позади Бухвалова.

— Вот, видали? Советский господин. Жрать нечего, люди от него разбежались, как черти от ладана, а он в ус не дует, племенного жеребца оседлал и скачет по деревням, дураков в свою экономию силком загоняет.

— Это еще цветики, товарищ Шелюгин, — проговорил Острецов, — ягодки впереди будут...

Скрывая ненависть, он отвернулся от Тимохи и подумал с тоской: «Так вам и надо, проклятое хамье! Сами же, мерзавцы, жгли наши усадьбы, били зеркала, топорами рубили картины... Сами пронеслись по России оголтелой ордой, а теперь хнычут в кулак, прохвосты, спасителей дожидаются... Дожидайтесь! Мы вам принесем такое спасение, что у внуков и правнуков спины будут чесаться».

Запахнув полы брезентового дождевика, Острецов закрыл глаза и затих. После прошлогоднего убийства двух следователей-чекистов и Устиньи Пещуровой ни один человек из острецовского отряда не участвовал ни в каких налетах. Люди отсиживались по домам, спрятав в застрехах австрийские обрезы и замотанные в промасленные тряпки обоймы с патронами. Наступила полоса затишья. О Савинкове ничего не было слышно, полковник Погарский тоже молчал, — значит, как полагал Острецов, нужно было выдержать паузу. Сейчас, когда восемнадцать зажиточных хозяев из Огнищанского сельсовета были мобилизованы для работы в коммуне, Острецов решил поехать с тестем в Ржанск и, если представится удобный случай, напомнить кое-кому о своем существовании.

В коммуну приехали ночью. По приказанию Бухвалова огнищан проводили в большой зал неуютного, холодного клуба. Клуб коммунаров размещался в одной из монастырских церквей. На стенах алели кумачовые плакаты, а из-под плакатов видны были на облупленных фресках желтые ноги святых.

Когда худощавая старуха внесла в клуб охапку соломы и стала стелить на сдвинутых к стенам скамьях, Острецов подошел к ней и сказал, посмеиваясь:

— Что, бабушка, небось бога-то жалко?

— Он меня не жалел, чего ж я его буду жалеть? — отвечала старуха. — Нехай он будет сам по себе, а я сама по себе.

— Бабка, видать, сознательная! — подмигнул Тимоха.

Не удостоив его взглядом, старуха затянула узлом накинутый на голову шерстяной платок.

— Был бы и ты сознательный, если бы у тебя двух сынов шомполами до смерти забили.

Она пошла к дверям, тяжело ступая больными ногами.

— Спите спокойно. Как услышите два удара в колокол, идите в столовую на завтрак. Столовая тут рядом, рукой подать.

Острецов долго не мог уснуть. По темным углам огромного клуба носились стаи крыс. К запаху сырой плесени примешивался крепкий запах мужского пота, портянок, махорки. За высоким окном, во дворе, раскачивался тусклый керосиновый фонарь. На стене, против окна, освещенная трепетным светом фонаря, чернела неумело намалеванная фигура красноармейца с винтовкой и с красным знаменем в руках. Перед ней на крючке светился обрывок лампадной цепи.

«Большевистский архистратиг, — злобно подумал Острецов, — самый популярный святой двадцатого века... Ну, ничего... Мы тебе засветим лампаду...»

Рано утром Бухвалов поднял всех приезжих вместе с коммунарами. Соседние волости прислали в коммуну добровольных помощников, и столовая была битком набита людьми. Не снимая домотканых свиток, дождевиков, курток, они сидели вокруг длинных столов, разложив привезенные с собой харчи, и с ухмылкой посматривали на коммунаров, которые завтракали за отдельным столом.

Тимоха Шелюгин, с хрустом отгрызая жирные куски зажаренной баранины, подтолкнул Острецова локтем:

— Полюбуйся, чем их, дурачков, кормят! Незаправленная ячменная каша. Одна водичка синеет, а крупина крупину догоняет. Вот это, брат, харч! На таком харче не поработаешь, родную жинку забудешь...

— Меня это мало трогает, — сухо отрезал Острецов.

После завтрака все коммунары и мужики из волости были собраны на короткий митинг в монастырском дворе. На митинге выступил приехавший на забрызганной грязью тачанке секретарь укома партии Резников. Он был в желтой кожаной куртке, казался усталым и сердитым. Сняв шапку, Резников вытер платком лысеющую голову, окинул беглым взглядом нестройную толпу людей и заговорил быстро и уверенно, как обычно говорят привыкшие к выступлениям ораторы. И хотя люди сразу почувствовали, что стоявший на подножке тачанки секретарь равнодушно произносит при-

вычные, много раз говоренные слова, ему самому казалось, что он говорит горячо и красиво и потому обязательно увлечет и поднимет на подвиг молчаливых, угрюмых мужиков.

Вначале Резников говорил об «акуле капитализма», о «кровавой борьбе», о «пожаре мировой революции», потом провел языком по пересохшим губам и перешел наконец к ржанской коммуне:

— В нашем уезде прорастает первое зерно коммунизма — коммуна «Маяк революции». Надо помочь коммунарам убрать и обмолотить хлеб. Это дело нашей революционной совести. Убрав хлеб, мы с гордостью двинемся дальше, к светлым высотам мирового социализма. Вперед же, товарищи крестьяне!

По-ученически подняв руку, Тимоха крикнул:

— Вопросик можно задать?

Резников посмотрел на часы.

— Вопросик? Давайте ваш вопросик, только побыстрее: мне надо ехать.

— Вот нам, дорогой товарищ, интересно знать,— растягивая слова и оглядываясь по сторонам, сказал Тимоха, — ежели мы, к примеру, организуем коммуну в своей деревне Огнищанке, вы тоже подмогу будете нам присылать?

Раздался сдержанный смех. Председатель коммуны Бухвалов багрово покраснел. Резников нервно задергал пуговку расстегнутой кожанки.

— Какую подмогу? О ком вы говорите?

— О нас, — вызывающе сказал Тимоха. — Про других я говорить не могу, а про себя скажу. Я сам недавно с армии пришел, хозяйство свое паладить задумал, а меня вот вместе с конями оторвали от сева и силком погнали за шестьдесят верст в коммуну. Разве ж это позволено?

— Подождите! — прервал его Резников. — Мне все ясно.

Он сошел с тачанки и медленно подошел к Тимохе.

— Как ваша фамилия? Шелюгин? Вы можете отправляться домой, гражданин Шелюгин, нам не нужны белогвардейские агитаторы и кулацкие подпевалы. Мы надеемся на братскую помощь трудовых крестьян, а вы рассуждаете как закоренелый враг революции.

Когда Резников уехал, Савва Бухвалов, который не переставал испытывать гнетущее чувство неловкости и смущения, сказал, почесывая затылок:

— Вы не обижайтесь на коммуну, граждане. Вы ж все знаете, коммуна строится на пустом месте, неполадок тут сколько хочешь. Машин у нас нету, а люди общим трудом

жить непривычны, каждый на свой шматок поля глядит. Вот и получается, брат, такая трудность. Нонешний год хлеба у нас уродились добрые, а убирать некому. По этой причине мы и просили вас, как соседей, подмогните, поддержите коммуну, — может, придет час, и мы вам окажем помощь.

— Ладно, хватит! — крикнул кто-то из толпы. — Пора идти в поле, а то мы тут до вечера будем разговоры вести.

— Правильно, — поддержали другие. — Разговорами хлеба не уберешь!

Бухвалов закрыл митинг. Люди запрягли коней, и длинный обоз потянулся по проселочной дороге на неубранные поля.

Белесоватые барашки облаков, расходясь веером с востока, покрывали все небо, но ветер утих. За ночь дорога подсохла, телеги со стуком и звоном прыгали по глубоким колеям. Справа, желто-багряный, высился монастырский лес, и даже издали в нем были видны над редеющей листвой оголенные ветви неподвижных вершин. По обе стороны дороги стояла бурая, потемневшая от дождей и ветров, невыкошенная пшеница. Видно, не раз уже травил ее безжалостный скот, жировали в ней озорные зайцы, прибивали к земле холодные осенние ливни, и перезревшая, ломкая пшеница стала ронять зерно, замерла, грустно раскачивая утерявшие живую тяжесть омертвелые колосья.

— Ишь до чего довели хлебушек! — жалостно вздохнул Антон Терпужный. — Сколько добра пропало...

Острецов рассеянно слушал бормотание Антона Агаповича, его не покидало гнетущее чувство злобы и ожесточения. Он лежал на боку и думал: «Все вы стадо, рабы... Вон Шелюгин расходился, издевательские вопросы стал задавать, а сам как ни в чем не бывало запряг коней и поехал в поле вместе со всеми...» Думая о Шелюгине, о тесте, обо всем, что произошло с ним, Острецовым, в этих хмурых местах, он вспоминал свое веселое отрочество в небольшой отцовской усадьбе, Петербург, красивых женщин, офицеров полка, одетых в синие казачьи мундиры, смотры на Марсовом поле — все то, что еще совсем недавно составляло его жизнь, а теперь казалось безвозвратным сном.

«Ну, нет, — тряхнул головой Острецов, — игра не окончена. Как это когда-то говорил полковник Погарский: «Гвардия умирает, но не сдается». Будем продолжать игру».

Когда Бухвалов развел всех по местам, Острецов покорно сел на чугунное сиденье жатки-самоскидки, взял вожжи и стал погонять заморенных гнедых коней.

— В добрый час, — растроганно сказал Бухвалов. — Магарыч будет за нами.

Над ухом Острецова нудно заверещали шестерни самосидки, перед глазами, однообразно бурая, землистого оттенка, бесконечной полосой поплыла пшеница. Со всех сторон покрикивали люди, стучали телеги. На току возле леса стала вырастать гигантская скирда хлеба.

— До ночи почти все закончим, — крикнул проходивший мимо Бухвалов, — а к утру притянем на ток молотилку!

«Нет, нет, пора! — напряженно думал Острецов. — Они считают, что все кончено, надо им напомнить о себе...»

Он взглянул на длинную скирду, к которой слева и справа подъезжали арбы с пшеницей. На высоком прикладке скирды, взмахивая вилами, работали полтора десятка мужиков, среди которых Острецов разглядел коренастую фигуру Антона Агаповича и розовую рубаху Тимохи Шелюгина.

Вдруг Острецов почувствовал, что его бросило в жар. «Ну конечно! — чуть не вслух сказал он себе. — К ночи весь хлеб будет свезен на ток, молотилку притянут только утром. С вечера все уснут. Зажигалка со мной. Одна секунда — и готово...» Он даже засмеялся от радости. «Подождите самую малость, товарищи, я вашу коммуну накормлю хлебом! Я вам устрою карнавал!»

Целый день Острецов молча косил, изредка останавливая усталых коней и отдыхая. Несколько раз сквозь белую толщу туч робко просвечивало негреющее, низкое солнце, но тотчас же пряталось, и на поля снова ложилась ровная синева. Вдали, над лесом, носились несметные стаи воробьев. На жесткой стерне в одиночку и группами щетинились колючие, кровяного оттенка головки поломанного жатками татарника. Всюду стоял крепкий запах подсохшей, уже тронутой тлением соломы.

Кончили косить в сумерки. Люди сошлись возле скирды, выпрягли и пустили на стерню коней, наспех поужинали и стали укладываться под скирдой, намащивая под бок солому, накрываясь с головой свитками и дождевиками.

Острецов тоже прилег, выбрав место между Бухваловым и говорливым стариком, который долго рассказывал о коммуне. Уже все спали, уже богатырски всхрапывал Бухвалов, а над ухом Острецова тоненько, по-комариному зудел монотонный старческий голос:

— Мы и сами не знали, не ведали, какое житье будет в коммуне. Люди на смех нас поднимали, хаханьки над нами справляли: дескать, голозадые бедняки порешили трудиться

артельно, вошами пахать, а блохов в пристяжку ставить. А оно, ежели, скажем, понятие про все иметь, то и судьбу бедняцкую определить можно. Ни бедность наша, ни смех людской уже не могли сбить нас с дороги. А через что? Через то, что думка у нас была одна: раз глаза наши на правду открылись, значит, мы сообща с рабочим классом пойдем — они нам машины разные дадут, одежу, обувку, а мы им хлебушка подкинем, так и построим новое житье.

Старик вздохнул, замолк, засопел тоненькой фистулой. Привстав на колени, Острецов прислушался. Все спали. На небе, затушеванном черной пеленой туч, слабо угадывались зеленоватые отсветы невидимого лунного сияния. С севера, от леса, тянуло слабым ветерком.

Нащупав в кармане зажигалку, Острецов поднялся, постоял немного, потом бесшумно обошел скирду, опустился на колени, закрылся полами дождевика, уверенно тронул тугое колесико зажигалки. Когда солома загорелась и по ней побежали языки пламени, Острецов не торопясь вернулся, перешагнул через старика и осторожно лег, прижавшись к Бухвалову.

Скирда пшеницы вспыхнула, как огромный факел, озаряя темноту низкого неба дымно-розовым светом.

Кто-то вскочил, захлебнулся в нечеловеческом, диком крике.

6

Председатель Пустопольского волисполкома Григорий Кирьякович Долотов жил с женой и приемным сыном на самом краю села, в доме бывшего стражника Солощина. Солощин был расстрелян в 1918 году, а его жена с двумя сыновьями-подростками бежала из волости, и никто не знал, куда она скрылась. Небольшой дом Солощина был накрыт цинковой крышей, его окружал яблоневый садик.

Григорий Кирьякович редко бывал дома. Он неделями ездил по волости, а когда возвращался в Пустополье, то с утра до ночи просиживал в волисполкоме, где его дожидались десятки людей. Немудреное домашнее хозяйство вела Степанида Тихоновна, она же воспитывала пятилетнего приемыша Родю, отец которого, балтийский моряк, погиб под Касторной, а мать умерла от голода. Родя очень смутно помнил родителей, и Долотовы легко убедили мальчика в том, что он их родной сын.

Как только Григорий Кирьякович появлялся дома, для Роди и Степаниды Тихоновны наступал праздник. Родя стремглав кидался к калитке, повисал на ноге отца, а невысокая полнеющая Степанида Тихоновна, вытирая фартуком руки, ласково улыбаясь, блестя карими глазами, дожидалась мужа на крыльце.

Но сегодня Долотов сразу нарушил радость встречи. Он сердито хлопнул калиткой, отстранил Родю и еще издали закричал Степаниде Тихоновне:

— В ржанской коммуне кулаки сожгли хлеб, все дотла!

— Как же это? — всплеснула руками Степанида Тихоновна. — Что же люди смотрели? Разве не было сторожей?

На ходу снимая потертую кожанку, Долотов отрывисто бросил:

— Какие там сторожа! Вокруг сотни полторы людей — со всего уезда съехались. Все они спали вокруг скирды, а перед рассветом скирда загорелась.

— Может, кто окурок бросил?

— Черт их знает! Вряд ли. Больно много там кулачья было. Тут, конечно, злой умысел. Сейчас гепеу занимается этим делом.

Долотов помыл под жестяным рукомойником испещренные татуировкой руки, походил по маленькой столовой и взглянул на жену.

— Подозревают, что скирду поджег огнищанский кулак Тимофей Шелюгин. Говорят, он выступил на митинге в коммуне с контрреволюционной речью. Понимаешь? Схватился с Резниковым, заявил, что у нас крестьяне работают на коммуну, как на помещика.

Помолчав немного, Григорий Кирьякович сказал тихо:

— Час тому назад я послал людей арестовать Шелюгина и доставить в Ржанск...

— Но ведь его вина не доказана? — возразила Степанида Тихоновна.

— В Ржанске разберутся. А церемониться с этой братией мы не станем, иначе они еще похлестче номера выкинут.

В этот день обед у Долотовых прошел почти в полном молчании. Неугомонный Родя пытался заговорить с отцом, но тот неохотно отвечал «да» или «нет», и мальчик притих.

После обеда Григорий Кирьякович выкурил, как всегда, две папиросы и, кашлянув, поднялся.

— Опять уходишь на ночь глядя, — с легким укором сказала Степанида Тихоновна. — Когда у меня этот страх кончится, один только бог знает...

— Бог, Стеша, тоже под страхом живет, — усмехнулся Долотов.

Натянув кожанку и по привычке ощупав карман — на месте ли браунинг, — Григорий Кирьякович вышел на улицу. А Степанида Тихоновна долго еще стояла у окна, вздыхала, молча всматривалась в ночную темноту. Уже много лет, с первого дня войны, ее ни на секунду не покидало состояние тревоги и страха. То она боялась, что Гриша утонет вместе с подводной лодкой или взорвется на мине, то два с половиной года ждала мужа, пока он бил деникинцев, петлюровцев, махновцев, гонялся с кавалерийским отрядом за бандами Тютюнника и Заболотного. Но больше всего страхов натерпелась Степанида Тихоновна, когда Долотова назначили в охрану Ленина. Тут она стала волноваться вдвойне — и за Ленина и за мужа. Злодейский выстрел Каплан, убийства Урицкого, Володарского — все это ужасало Степаниду Тихоновну, не выходило у нее из памяти. Григорий Кирьякович часто сопровождал Ленина в прогулках по Москве, выезжал с ним на митинги в ближние и дальние деревни, и каждый раз Степанида Тихоновна, оставаясь с маленьким Родей, украдкой молилась, чтобы бог спас и сохранил Ленина и Гришу.

В один из ростепельных весенних дней Ленин вместе с Григорием Кирьяковичем зашел на квартиру Долотовых. Степанида Тихоновна навсегда и во всех подробностях запомнила это неожиданное посещение. Она стояла у стола, месила в эмалированном тазике темное ржаное тесто. За окном белели пятна последнего снега, с деревьев одна за другой падали ледяные сосульки. Родя, семеня худыми ножонками, носился по комнате. Вдруг дверь открылась, вошли Григорий Кирьякович и Ленин. Степанида Тихоновна сразу узнала Ленина. Он был в шапке-ушанке, короткой меховой куртке и высоких, выше колен, охотничьих сапогах. «Здравствуйте, Степанида Тихоновна!» — приветливо сказал Ленин. Она даже не успела удивиться, откуда Ленин знает ее имя и отчество, как он поймал Родю, вскинул его на руки и стал что-то говорить, быстро и весело. Потом он спросил у Степаниды Тихоновны, хорошо ли им с мужем и Родей живется, подошел к столу, взглянул на тесто и сказал: «На хлеб?» «Нет, Владимир Ильич, на пирожки, — радостно смущаясь, ответила Степанида Тихоновна. — Гриша очень любит пирожки с капустой...» «Я тоже люблю, — засмеялся Ленин. — Вот мы вернемся с охоты и заедем к вам на горячие пирожки...» Заметив, что Григорий Кирьякович успел переодеться — снял

шинель и надел ватную стеганку, — Ленин стал прощаться. Тут Степанида Тихоновна не выдержала и поделилась с ним своими страхами. «Вы как-нибудь там поосторожнее, — потупив голову, попросила она, — а то мне всегда боязно и за вас и за Гришу: то одно примерещится, то другое... Уж очень много у нас злых людей...» Лицо Ленина стало серьезным, задумчивым, и он сказал отрывисто: «Да, злых много, но добрых гораздо больше. Значит, Степанида Тихоновна, бояться нечего».

С тех пор в жизни Григория Кирьяковича многое переменилось. Он окончил краткосрочные курсы при ВЦИКе и был назначен председателем исполкома в Пустопольскую волость. Степанида Тихоновна часто вспоминала Ленина, любила повторять его слова, но страхи ее не прошли. И тут, в глухой Пустопольской волости, не было покоя: то кого-нибудь убьют, как убили двух чекистов у балки или комсомольцев в огнищанском лесу, то поднимут стрельбу в церкви, кого-то зарежут, что-то сожгут.

— Нет, — прошептала Степанида Тихоновна, — не скоро, должно быть, одолеем мы злых людей... Вот ушел Гриша, и я теперь не засну, пока он не вернется. А ему, конечно, все равно, он и не думает про меня и про сына...

Действительно, Долотов думал о другом. Сидя в исполкомовском кабинете, он просматривал кипу бумаг и резким, угловатым почерком писал в памятной книжке: «Построить мост у Волчьей Пади, нарядить три подводы с лесом и людей с инструментами. Проверить ремонт волостной больницы, послать комиссию. Зайти в школу, поговорить с учителями. Направить начальника милиции в Костин Кут: там много самогонщиков. Принять со станции партию беспризорных детей и отправить в коммуну...»

Слегка чадила керосиновая лампа, стекло на ней было разбито, и кто-то услужливо заклеил дыру кусочком бумаги. За дверью надрывно кашлял секретарь волисполкома Шушаев — его мучила астма. Слышно было, как Шушаев вздыхал, плевался, стонал и кряхтел от удушья. Это мешало сосредоточиться, и Долотов подумал с жалостью и раздражением: «Экий чудак, сколько лет терпит такую чертовщину и не хочет лечиться!» Долотов уже хотел было позвать секретаря и поговорить с ним, но в кабинет вошел председатель Огнищанского сельсовета Длугач. Стряхнув с шапки капли дождя, он остановился у порога, переступил с ноги на ногу и сказал:

— Тимофея Шелюгина доставили, Григорий Кирьякович.

Долотов нахмурился, постучал карандашом по столу.
— Где он?
— Сдали в милицию. Завтра, говорят, повезут в уезд.
— Так.
Посмотрев на Длугача, Долотов кивнул головой.
— Иди сюда ближе, бери стул и садись.
Длугач, осторожно ступая по вымытому полу, присел на стул.
— Ты хорошо знаешь Тимофея Шелюгина? — спросил Долотов.
— А то как же! Мы с ним из одной деревни, смалочку возрастали вместе. Я и старика батьку его добре знаю, и все семейство.
— Как ты считаешь... — Долотов помолчал немного, подбирая слова, — мог Шелюгин, это самое, поджечь скирду или не мог?
Поглаживая мокрую шапку, Илья Длугач молчал.
— Ну, чего ж ты молчишь?
— Тут сразу не ответишь, — сказал Длугач. — Шелюгины и Терпужные — первые огнищанские кулаки, от этого никуда не денешься. Правда, Тимоха в Красной Армии два года служил и сам по себе человек аккуратный. А только раз у него середка кулацкая, значит, он чего угодно может натворить...
— Ты насчет середки не ерунди! — сердито перебил Долотов. — В середку ты к нему не влезал! Ты насчет поведения его скажи: как он себя держал в Огнищанке?
— Справно себя держал.
— Он уже обсеялся?
— Мабудь, не обсеялся, потому что дюже не хотел в коммуну ехать.
Григорий Кирьякович нахмурился:
— Не хотел? Разве ты их силком заставлял ехать?
— Не то чтобы силком, а так, согласно диктатуры: приказал с некоторым предупреждением, — объяснил Длугач.
— А кто тебе это позволил? — вспыхнул Долотов. — Ты что, партизанщину разводишь? Бухвалов предупреждал тебя, что людей можно посылать только по строгой добровольности?
— Так точно, предупреждал!
— Ну а какого же черта ты начал мудрить? Власть свою показывать вздумал?! Ты знаешь, какое недовольство это может вызвать в народе?

— Так ведь то коммуна, а это кулаки!—возмущенно возразил Длугач. — Не мог же я по своей партийной совести допустить, чтоб в коммуне все хлеба пропали, а кулаки в этот час крутились на своих полях?

Долотов стукнул ладонью по столу:

— Коммунары не должны пользоваться чужим трудом, понятно? Нечего, в самом деле, превращать коммуну в помещичью экономию! Кроме смеха и злобы, это ничего не вызовет. Если уж в коммуне была неуправка, значит, надо было помочь, но только не так, как ты помог. Запомни: своей дурацкой мобилизацией ты подорвал авторитет коммуны, который у нее и без того не слишком высок! Ты думаешь, один Шелюгин плохо думает о коммунарах? Нет, после твоих фортелей многие ваши мужики так думают...

Он помолчал и махнул рукой:

— Иди, Длугач. Завтра я поеду в Ржанск и сам проверю дело вашего Шелюгина. Это не шуточное дело. А ты, товарищ председатель, прежде чем решать что-нибудь, головой думай и смекай: пользу это принесет Советской власти или вред? Решать же так, тяп-ляп, не годится. Не те времена. Это тебе, товарищ Длугач, не двадцатый год. — Смягчая голос, Долотов добавил с усмешкой: — Понятно?

— Понятно, Григорий Кирьякович. Только вы меня не виините, я с кулаками под ручку гулять не желаю и потому, бывает, ошибки по своей прямоте допускаю, оскользаюсь, как кабан на льду.

— Ладно, ладно, иди!..

Отпустив председателя сельсовета, Долотов задумался.

Два года, которые прошли после голодной зимы, неузнаваемо изменили волость. По воскресеньям на пустопольский базар съезжались сотни крестьян с зерном, овощами, всякой живностью. Частные и кооперативные лавки на базарной площади ломились от разных товаров; там можно было купить все что хочешь. И все же — Долотов это знал—крестьяне были недовольны: цены на зерно падали с каждым днем все больше, а цены на товары росли. «Ежели так и дальше пойдет,—сказал один пустопольский крестьянин Долотову,— мы вовсе не станем продавать хлеб, а то чего ж получается: чтобы купить катушку ниток или же, скажем, железную лопату без держака, мужик должен продать чуть ли не пуд пшеницы».

Долотов пробовал говорить об этом в укоме, но секретарь укома Резников высмеял Григория Кирьяковича и даже назвал его уклонистом. «Мы должны иметь побольше прибы-

ли от продажи товаров, — сказал Резников, — иначе нам индустрии не наладить». Он обругал тогда Долотова за «отсталость» и объяснил, что насчет цен есть специальная директива ВСНХ за подписью Пятакова. «Ты мне мозги не забивай, — отмахнулся Долотов, — а вот если мужики перестанут покупать товары, будет нам тогда директива!..»

Прошло не больше двух месяцев, и Григорий Кирьякович убедился, что его опасения оправдались. Крестьяне все меньше вывозили хлеб на базар и в лавках почти ничего не покупали. «Это товар не по нашему карману, — говорили они хмуро, — нехай он сгниет, раз вы запрашиваете такую безбожную цену!» В субботние и воскресные дни хуторские мужики толпились возле бакалейного магазина пустопольского торговца Веркина. Умный и пронырливый Веркин быстро оценил положение и снизил цены на все товары. В окне магазина он выставил ярко раскрашенный рекламный щит, на котором написал всего три слова: «Тут все дешево!» И крестьяне повалили к нему. Рядом с магазином Веркина уныло пустовал длинный, как казарма, магазин пустопольской кооперации. Его широкая амбарная дверь была постоянно распахнута настежь, а толстый, добродушный заведующий Бобчук сидел у порога на опрокинутом ящике и, поплевывая, лузгал семечки.

— Что, товарищ Бобчук, отдыхаешь? — сердито спросил его Долотов.

— Ничего не поделаешь, Григорий Кирьякович, — вздохнул Бобчук, — отказался от меня народ, все прут к Веркину. Я уж не знаю, что делать. Из города каждую неделю идут к нам обозы с товарами, а их никто не берет. Мы уж весь склад забили кроватями, боронами, чем хотите. Подвал у нас до потолка завален материей, ее уже моль начала бить. И разве ж это только у нас? Такая же ерунда и в Ржанске получается, и в губернии. Вы представить себе не можете, какой это страшенный убыток для государства!

— Нет, — буркнул Долотов, — я это очень хорошо представляю!

Сейчас, сидя в кабинете, Григорий Кирьякович напряженно думал: «Кто же виноват в этом? Неужто там, наверху, не понимают, что такое бестолковое хозяйничание приведет черт его знает к чему? Одно из двух: или я стал дураком и ни в чем не разбираюсь, или в центре кто-то перемудрил».

Закончив чтение бумаг, Долотов хотел было позвонить по телефону в милицию, чтобы к нему привели арестован-

ного Тимофея Шелюгина, но в соседней комнате раздались шаги. В кабинет без стука вошел секретарь волостной партийной ячейки Маркел Трофимович Флегонтов.

За два года работы в Пустополье Долотов успел хорошо узнать и полюбить Флегонтова. Маркел Трофимович был старым членом партии, с дореволюционным стажем, дважды сидел в тюрьме, но в людях разбирался плохо, так как в каждом человеке видел только хорошее. Бывший шахтер, он остался малограмотным и серьезно, даже с оттенком гордости, говорил: «Нутро у меня пролетарское, и я разберусь в делах лучше грамотных профессоров...»

Маркел Флегонтов был огромного роста, грузный, с тяжелыми, жилистыми ручищами и рыжеватыми вислыми усами. Он вошел в кабинет, плотно притворил за собой дверь и проговорил густым басом:

— Здорово, Гриша!

— Здравствуй, Трофимыч, — кивнул Долотов.— Проходи, садись, гостем будешь.

— Какое там гостеванье! — угрюмо проворчал Флегонтов. — Тут, брат, голова гудит, как чугунный котел, не знаешь, за что браться...

Осторожно отодвинув лампу, Флегонтов присел на стул, и Долотов заметил, что секретарь ячейки взволнован: он хмурился, напряженно теребил на коленях черную барашковую шапку.

— Ты ничего не слышал про Ленина? — спросил Флегонтов, поднимая серые навыкате глаза и наваливаясь могучей грудью на край стола.

Долотов почувствовал, что бледнеет.

— Ничего не слышал. А что?

— Ленин очень болен.

— Это я знаю. Но разве ему стало хуже?

— Говорят, стало хуже, — с трудом выговорил Флегонтов.

Вскочив со стула, Долотов зашагал по кабинету. Половицы поскрипывали под его ногами. Огонек лампы вздрагивал, выбрасывал вверх острые языки копоти.

Флегонтов смотрел на пол.

— Только что мне звонили из укома, сказали, что Ильичу плохо. Понимаешь? Так и сказали: «Ему стало плохо».

Опустив голову, Флегонтов сипло вздохнул. Так он сидел долго, охватив колено руками и слегка раскачиваясь, потом проговорил с запинкой:

— Д-да... Случись чего, осиротеем мы, Гриша... Вся пар-

тия осиротеет... Трудно нам будет без Ленина, ох как трудно!..

Почти не слыша Флегонтова, Долотов шагал из угла в угол. Острая память воскрешала в нем все, что было связано с Лениным, и он, казалось, видел каждое движение Ленина, отчетливо слышал его резковато-высокий, неповторимый голос.

— Нет, нет, этого не может быть, — пробормотал Долотов. — Как же мы без Ленина? Об этом нельзя даже и думать!

Распахнув пальто, Флегонтов вытащил из бокового кармана сложенные вчетверо листы серой бумаги и протянул Долотову:

— Почитай, Григорий, чего смутьяны творят.

Долотов развернул стянутые скрепкой листы и, с трудом разбирая забитые литографской краской строки, стал читать. Бумага была без грифа, без обращения и была составлена как обвинительный приговор партии.

Удивляясь и негодуя, Долотов прочитал уверения, будто после X съезда в партии сложился режим фракционной диктатуры, что политика ЦК партии неизбежно приведет страну к катастрофе.

— Что это такое?! — возмущенно вскрикнул Долотов, стукнув кулаком по столу. — Что за ерунда, не могу понять! Какая-то белогвардейская сволочь распоясалась!..

— Ты посмотри подписи, — перебил Флегонтов, — там в конце стоит сорок шесть подписей.

Склонившись к столу, не веря своим глазам, Долотов вслух начал перечислять фамилии подписавших заявление:

— «Преображенский, Пятаков, Муралов, Серебряков, Смирнов...»

Он переводил взгляд от бумаги к лицу Флегонтова и бросал, пожимая плечами:

— Ни черта не понимаю! По-моему, это провокация! Ты смотри, чего тут накручено!

Глотая слова, ероша жесткие волосы, Долотов прочитал наглые выступления против политики, которую ведет ленинское руководство как в области хозяйства, так и в области внутрипартийных отношений.

— Подожди-ка, Трофимыч! — теряя самообладание, закричал Долотов. — Если бы не ты дал мне эту чертовщину, я бы подумал, что передо мной листок какой-нибудь подпольной контрреволюционной организации! Это же Деникин

свободно мог подписать! В каком сорнике ты подобрал такую пакость?

Стул под Флегонтовым заскрипел.

— Ты чего, спятил, Григорий? — гневно прогудел он. — Сегодня вечером из Ржанска приехал Берчевский, ему под расписку выдали эту бумагу в укоме и велели обсудить ее на ячейке.

— Кто выдал?

— Как кто? Сам Резников, секретарь укома. Бумага, говорит, получена из Москвы в четырех экземплярах. Он прямо сказал Берчевскому: «Соберите закрытое партийное собрание и обсудите этот документ, а в уком срочно пришлите протокол собрания с резолюцией».

— Не знаю, — махнул рукой Долотов, — я с семнадцатого года член партии, и мне кажется, что уком может и должен рассылать по ячейкам только те документы, которые написаны в Цека или в губкоме, а это — частное письмо сорока шести человек. С какой стати мы будем обсуждать их заявление? Пусть пишут в Цека, а если им не нравится руководство Цека, они имеют право обратиться к партийному съезду. Правильно или нет?

— По уставу правильно, — согласился Флегонтов, — а только как тебе сказать, Григорий... Я солдат революции, и, если мне приказывает уком, значит, я, как солдат, должен выполнить приказание. Вот и все.

Он аккуратно сложил злополучную бумагу, сунул ее в карман и пробасил смущенно:

— Не пойму, хоть убей, что у нас делается.

— Партия разберется, — сказал Долотов.

Флегонтов расправил шапку, протянул руку:

— Ладно, до завтра, Гриша. Завтра в двенадцать соберем ячейку и поговорим обо всем. Ты же сам понимаешь, что указание укома — для меня закон...

Домой Григорий Кирьякович возвращался один. Село было погружено в глубокий сон. На небе холодно и строго сияла полная луна. Залитые лунным светом, голубели дома, и на утоптанной дороге лежали их черные, резко очерченные тени. Справа, за редкими, уже оголенными деревьями, серебристой полосой светилось поле. Кое-где на нем темнели едва заметные полоски вспаханной зяби, а дальше все тонуло в неясной синеве тихой осенней ночи.

Долотов сотни раз ездил по волости и сейчас, медленно шагая по безмолвной улице, представил себе петлявшие среди холмов узкие проселки, одинокие, неподвижные ветряки,

колодезные журавли, соломенные крыши хат, в которых спали молодые и старые, хорошие и плохие, удивительно разные, не похожие один на другого люди. А еще дальше, за деревнями, протянулся Ржанский тракт, по которому, наверно, уже ползут, поскрипывая колесами, тяжелые возы мужиков, спозаранку выехавших на базар.

И вдруг в воображении Долотова на секунду возникла ослепительно ясная картина необъятной страны, его родины: степи без конца и края, непроходимые леса, далекие города, великое множество сел и деревень, еще более великое множество людей. Он представил себе эту исполинскую землю и подумал о том, что сейчас все земные дороги, большие и малые, все человеческие судьбы сходятся в одной точке — там, где борется со смертью Ленин.

«Да, люди осиротеют, если Ленин умрет, — подумал Долотов. — Но разве то, что сделал Ленин, может умереть? Разве это можно убить, похоронить, забыть? Никогда!»

Долотов шел, держась теневой стороны, всей грудью вдыхал чистый, прохладный воздух ночи. То торжественные, то по-молодому радостные, то печальные мысли тревожили его.

«Кто-то сомневается, кто-то боится, кто-то уходит в кусты, — думал он. — Кто-то точит нож, чтобы ударить в спину... таких тоже немало. А партия все же сильнее, чем ее враги. Партия все одолеет, победит...»

Григорий Кирьякович дошел до своего двора. В узкой щели между ставнями тускло поблескивал огонек. Степанида Тихоновна, как всегда, дожидалась мужа. Услышав его стук, она побежала к двери, подняла крючок и тотчас же прильнула к плечу Долотова. Он обнял жену, коснулся щекой ее теплой щеки и проговорил тихо:

— Ленину очень плохо...

Она ничего не сказала, только сильнее прижалась к нему. Уже сидя в низкой горнице и неохотно допивая кружку молока, Долотов стал говорить шепотом, чтобы не разбудить разметавшегося на кровати Родю:

— Трудные времена наступают, Стеша... Я вот шел из исполкома и думал: большая наша земля, больше ее на свете нету, и люди у нас разные — одни кровь проливали за революцию, в самых ее глубинах перекипали, а другие кружились, как листья в поле. И в партии у нас такие есть: мудрят, ноют, спорят, забивают людям мозги всякой дрянью, сочиняют всякие платформы, пишут коллективные заявления, баламутят. Как будто назло делают, чтобы своими сварами и паникой укоротить дни больного Ленина.

Степанида Тихоновна внимательно слушала все, что говорил муж, а перед глазами у нее стоял Ленин, такой, каким она его видела в своей маленькой квартире: веселый, живой, в распахнутой куртке и высоких охотничьих сапогах. Трудно, невозможно было представить, что Ленин болен и ему очень плохо.

Опустив тяжелый подбородок, Долотов долго смотрел на мерклый огонек лампы.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1



наступлением осенних дней в семье Ставровых началась суматоха. Старший сын, Андрей, на всю зиму уезжал в пустопольскую школу, его надо было одеть, обуть, приготовить ему харчи. Дмитрий Данилович уже ездил с сыном в Пустополье. В школе Андрея проэкзаменовали и приняли в шестой класс.

После возвращения мужа и сына из Пустополья Настасья Мартыновна с ног сбилась. Она бегала по соседям, стряпала, пекла какие-то диковинные пряники, шила сыну рубашки, раскладывала по мешочкам сало, муку, сахар, точно Андрей ехал не в соседнее село, а на край света.

— Чего ты суетишься? — урезонивал жену Дмитрий Данилович. — Зачем ему столько снеди? Мы же часто будем ездить в Пустополье.

— Не путайся, ради бога, в ногах, — отмахивалась Настасья Мартыновна. — За зиму все может случиться, а ребенок будет без призора.

Слыша, что его называют «ребенком», Андрей злился, дерзил матери и убегал из дому. Ему шел шестнадцатый год, он вытянулся, возмужал, казался старше своих лет. Говорил он ломким, срывающимся голосом, потихоньку от родных курил папиросы. В характере его появились новые черты — отцовская вспыльчивость и диковатая застенчивость, которую мальчишка унаследовал от матери. Он часто смущался, беспричинно краснел и тотчас же прикрывал свое смущение какой-нибудь резкой выходкой.

Настасья Мартыновна не раз огорчалась поведением своенравного сына, но по-матерински жалела его, скрывала его

озорные шалости и не уставала любоваться своим первенцем. Был он высок, тонок в талии, голубоглаз, его густые волосы слегка вились, и он по-деревенски начесывал на висок светло-русый, с едва заметной рыжинкой чуб.

Смуглый, горбоносый, похожий на грузина Роман явно завидовал старшему брату; он бродил за ним как тень, мрачнел и задолго до отъезда Андрея начал скучать. Роман еще на год оставался в Огнищанке и должен был ходить в четвертый класс костинокутской школы. Предстоящая разлука с братом угнетала Романа. Они были очень дружны: вместе работали в поле, вместе гуляли с девчонками, вместе без разбору читали взятые в деревенской избе-читальне книги. Конечно, сестренка Каля и маленький Федя не могли заменить Роману Андрея.

— Ты, Андрюша, будешь мне письма писать? — робко спросил он, взглянув на брата влюбленными глазами.

— А как же? Если будет время, конечно, напишу, — снисходительно пообещал Андрей. — Только я знаю, что времени у меня будет мало...

Сам Андрей крепился до последнего дня. Он по нескольку раз бегал к деду Силычу смотреть, как старик шьет для него белую барашковую шапку с малиновым дном, и одолевал невозмутимого Силыча все одной и той же просьбой: чтоб шапка была высокая, не ниже, чем у Котовского, которого Андрею удалось однажды повидать в Ржанске.

— Не бойсь, Андрюша, — утешал мальчика Силыч, — папаху тебе сошьем геройскую, только вот шерсть на овчине дюже длинная, и сдается мне, что ты в этой папахе будешь смахивать на старого киргиза...

Но в день отъезда Андрей пригорюнился, умолк, обошел весь двор, подолгу стоял в разных углах, опустив голову. Лишь теперь, в последнюю минуту, он понял, как близка ему каждая мелочь на этом кусочке земли. Постояв у сарая, он тронул пальцем острый, отполированный, как зеркало, лемех плуга. Еще позавчера этим плугом Андрей пахал зябь у леса, а вот сегодня надо ехать.

Украдкой, чтоб никто не видел, Андрей простился с верной Кузей, с кроткой коровой Динкой, которую незаметно чмокнул в пахнущий сенной трухой лоб, потом пошел в конюшню и ласково огладил вороную кобылу Нельку, купленную после продажи его любимца Боя. Нелька была жеребая. Она осторожно переступила ногами, стуча по деревянному настилу, чуть слышно заржала, уткнула голову в ясли и стала хрумкать овсом.

«Скотина, — обиженно подумал Андрей. — Если б это был Бой, он ни на шаг от меня не отошел бы».

Из конюшни Андрея позвали к матери. Она подвела его к разложенным на кровати гимнастерке и брюкам галифе и сказала:

— Одевайся, сынок, пора.

Через час Андрей стоял у крыльца во всем новом. На плечи он небрежно набросил короткий дубленый полушубок, лихо заломил сшитую Силычем папаху. Папаха действительно получилась геройская: высоченная, мохнатая, она белела на голове Андрея, как раскиданный ветром овсяный сноп.

— Что за бандитская шапка? — рассердился Дмитрий Данилович. — Ты в ней на басмача похож!

Стоявший сбоку дед Силыч испуганно заморгал глазами и решил защитить злополучную папаху.

— А чего ж тут такого? — пролепетал он, хихикнув. — Шапочка вышла красавица, хоть на выставку. Что высоковата немного, так это на рост делалось...

Обернувшись к Андрею, дед взял его за шею, слегка пагнул голову, ткнул холодным красным носом в щеку и пробормотал растроганно:

— Прощевай, голуба моя! Станешь ученым человеком — не забывай нашу Огнищанку и деда Колоскова не забывай, чуешь?

— Не забуду, ладно, — отрывисто сказал Андрей.

Он уже видел слезы на глазах матери, братьев, сестры. Видел соседей, которые шли проститься, и ему самому захотелось всплакнуть так же, как сейчас плакал, хоронясь за бричкой, Роман. Но Дмитрий Данилович легонько ударил его кнутовищем по полушубку и сказал:

— Садись, басмач, а то вот-вот нюни распустишь.

Андрей вскочил на бричку, сел за спиной отца. Кони с места рванули машистой, резвой рысью, звончатым перебором застучали колеса, мелькнул журавель колодца, возле которого с коромыслом на плечах стояла закутанная в пуховую шаль Таня Терпужная. Андрей знал, что она вышла проводить его, и ему захотелось крикнуть ей что-нибудь, но он постеснялся отца и только махнул рукой. Не опуская тяжелых ведер, девочка степенно, по-бабьи поклонилась ему...

Через несколько минут Огнищанка скрылась за покатым холмом. Пустив коней шагом, Дмитрий Данилович достал из кармана кисет, оторвал кусок газеты, свернул толстую

папироску и закурил. Андрей сидел молча. Дорога шла лесом. Снега еще не было, но после первых морозов земля затвердела, и ветер нес по лесным полянам палые медно-желтые листья. Они кружились, оседали в сухих водомоинах, в лощинах, шуршали среди тонких стволов молодых дубочков, насаженных вдоль дороги. Слева, в полях, рыжей щетиной мелькали полоски сломанных подсолнухов, где-нибудь в бурьянах белел оставленный хозяином каменный каток или высились бурые кучи стянутой к межам наволочи.

Все это было давно знакомо Андрею, он молча смотрел по сторонам и весь был полон сладко-щемящим чувством светлой грусти и торжественным ожиданием чего-то значительного и важного. Самым значительным было то — и Андрей это понимал, — что он впервые в жизни надолго оставлял отцовский дом, уезжал от родных, что сегодня, в этот пасмурный осенний день, где-то там, за покатым огнищанским холмом, осталось его детство, а впереди, за синеющим лесом, ждет юность.

— Ты что нос повесил? — спросил Дмитрий Данилович.

Андрей покраснел, сразу же постарался принять независимый, несколько вызывающий вид — закинул ногу за ногу, подтянул голенище и сплюнул сквозь зубы.

— Домой захотел? — подзадорил отец.

— Вот еще скажешь — домой! Просто сижу и думаю.

Дмитрий Данилович усмехнулся:

— О чем же ты думаешь, интересно?

— Мало ли о чем можно думать! — уклончиво ответил Андрей. — У тебя свои мысли, а у меня свои.

Лицо отца стало серьезным. Он внимательно посмотрел на сына и, подумав, сказал:

— Ну вот что... Ты, брат, теперь самостоятельный парень. Помощи тебе ждать не от кого. Если сам не будешь трудиться, пропадешь. Знаешь, есть такая поговорка: «Всяк своего счастья кузнец». Вот и добывай свое счастье сам, за ручку никто тебя к нему не поведет. Есть у людей и другая поговорка, запомни ее на всю жизнь: «Что посеешь, то и пожнешь».

Полагая, что две поговорки исчерпали его отцовское напутствие, Дмитрий Данилович шевельнул вожжами, еще раз оглянулся и счел нужным спросить:

— Ты меня понял?

— Понял, — коротко ответил Андрей, — не маленький!..

На этом их разговор окончился. В Пустополье Дмитрий Данилович остановил коней на площади, возле большого

приземистого дома с флигелем. Вокруг дома высился деревянный частокол. Это была уже знакомая Андрею трудовая школа.

— Прибыли, — сказал Дмитрий Данилович, — можно выгружаться...

Встреча с Таей заставила Андрея забыть Огнищанку. Тая выбежала из комнаты в красном, сшитом по-городскому платье. Ее пушистые, подстриженные сзади волосы разметались, а смуглое лицо сияло радостью. В день экзамена Андрей не видел Таю и сейчас удивился тому, как выросла его двоюродная сестра. Она стала выше, но казалась совсем тоненькой; острые плечи ее были слегка приподняты, из выреза платья наивно выглядывали туго обтянутые загорелой кожей ключицы.

— Андрюша приехал! Андрюша приехал! — захлопала в ладоши Тая и сразу же зазвенела смехом. — Ой, какая у тебя дурацкая шапка, прямо смотреть страшно!

— А ты не смотри! — огрызнулся Андрей.

Прибежавшая с уроков Марина наспех угостила всех чаем, поговорила, поглядывая на старенький будильник, с Дмитрием Даниловичем и заторопилась. Накинула пальто, платок, схватила с шаткого, покрытого газетами столика кипу тетрадей.

— Извини, Митя, мне надо идти, уже звонят.

— Я тоже поеду, — сказал, поднимаясь, Дмитрий Данилович, — а то доведется плутать в темноте.

— Поезжай, — кивнула Марина. — Завтра с утра Андрюша пойдет в свой класс.

Она поправила в волосах дочки алую ленту, сунула ей в руку книжки:

— Побежали, Тая, опоздаем...

Дмитрий Данилович походил по комнате, надел полушубок и подошел к сыну. Стыдясь вдруг нахлынувшего на него чувства любви и жалости, нахмурился, положил на плечо Андрея крепкую руку и сказал серьезно:

— Ну, смотри ж тут... Я поехал...

Стоя у окна, Андрей видел, как отец отвязал лошадей, вскочил на бричку и скоро скрылся за поворотом. И снова у Андрея защемило сердце, и он показался себе одиноким, оторванным от всех сиротой. Между тем нашли тучи, и вскоре начал моросить мелкий холодный дождь. Затоптанный сотнями ног школьный двор заблестел; по стеклам окна, пробивая слой пыли, побежали дождевые струйки.

Андрей вынул из фанерного сундучка стопку книг, тетради, пересмотрел их, очинил и положил в карман гимнастерки карандаши.

Вернулись Марина и Тая.

— Приготовился? — спросила Марина.

Голос у нее был усталый. Она разделась, посидела немного и попросила Андрея принести воды. Он принес. Марина повела его в маленькую, похожую на клетушку кухоньку с подслеповатым оконцем. Возле плиты стоял длинный ящик.

— Тебе, как мужчине, придется спать тут, — сказала Марина, — а мы с Таей останемся в той комнате. На ящике устроим постель, будет удобно, правда?

Андрей вежливо кивнул головой:

— Конечно...

Рано утром Марина разбудила Андрея и Таю, заставила их выпить по стакану молока и поторопила:

— Идите! Через три минуты звонок.

Когда Андрей был уже у дверей и надевал полушубок и шапку, Марина спросила:

— Ты знаешь, где твой класс?

— Знаю, мне показывали на экзаменах, — ответил Андрей.

Он быстро перебежал залитый лужами двор и вошел в темный, гудящий как улей коридор школы. В коридоре стояли группками, бегали, ходили парами и в одиночку ученики — мальчики и девочки. Никто из них не снимал пальто и калош. Как только Андрей переступил порог и, всматриваясь в толпу учеников, сдвинул на затылок папаху, раздался чей-то пронзительный, насмешливый голос:

— Гляньте, батька Махно прибыл!

Второй голос, справа, загудел:

— Это новый, в шестой класс!

И уже со всех сторон посыпались выкрики:

— Курносый! Рыжий! Галифе надел!

— А шапка! Поглядите на шапку!

— Я ж вам сказал: батька Махно!

Андрей стоял смущенный, пунцово-красный и чувствовал, что наливается тяжелой злостью. Уже оглушительно прозвенел звонок, когда Андрей, не выдержав, вдруг закатил оплеуху лупоглазому мальчишке, который скакал вокруг него на одной ноге и приговаривал: «Махно-оо! Махно-о!» Кто-то накинулся на Андрея сзади.

Приход учителя прервал жаркую схватку. Скинув папаху, Андрей вместе с другими пошел в класс. Лупоглазый, потягивая носом и прикрыв воротником щеку, плелся сбоку.

В классе было холодно. Не зная, где ему сесть, Андрей остановился у дверей. Молодой учитель, то и дело поправляя криво сидевшее пенсне, подошел к нему и спросил:

— Как фамилия?

— Ставров, — ответил Андрей.

— Иди садись на заднюю парту, к Завьялову!

Красивый парень с бледным лицом и темными волосами поднял большую руку, крикнул издали:

— Я Завьялов, топай сюда!

Он с готовностью отодвинулся в угол, дал место Андрею, с любопытством взглянул на него:

— Молодец, Ставров, ловко стукнул этого дурака Лизгунова!

Сердито двинув плечом, Андрей ответил:

— Меня лучше не трогать...

Урок начался. Кутая шею длинным шарфом, учитель расхаживал возле придвинутой к стене черной доски, куском мела рисовал на ней схемы физических приборов и простуженным голосом диктовал ученикам разные формулы. Время от времени он заглядывал в журнал, вызывал когонибудь из учеников, задавал вопросы и, по-птичьи склонив голову, внимательно слушал. Андрей не любил и не знал физики и математики и потому, встречая взгляд учителя, опускал глаза и весь сжимался, боясь, чтобы его не вызвали к доске.

Длиннолицый красавец Завьялов, улыбаясь ярким ртом, успел сообщить Андрею, что его зовут Виктор, что он, наверно, бросит школу, так как ему не на что жить. Рассказывая это, Виктор ежился и поминутно натягивал на красные руки слишком короткие рукава перешитой из шинели курточки.

— А где работает твой отец? — косясь на шагавшего по классу учителя, спросил Андрей.

— Отец служит в банке счетоводом, а мачеха больна, — тихо сказал Завьялов, — потом, у нас семейка дай бог, а разве на отцовские копейки проживешь? Вот отец и советует мне идти куда-нибудь — в слесарную мастерскую или на водокачку.

Выждав, когда учитель отвернется, Завьялов прикрыл рот ладонью и зашипел в ухо Андрею:

— Знаешь, сколько у нас в классе нэпачей и спекулянтов? Лизгунов, которого ты стукнул, сын пустопольского лавочника. У отца этого одноглазого, что сидит впереди — его фамилия Брусков,— вальцовая мельница, живет как бог. Девчонка, которая стоит возле доски, дочка богатого бакалейщика. Теперь ихние батьки в почете, всю торговлю в своих руках держат.

— А учитель как, ничего? — спросил Андрей.

Завьялов презрительно усмехнулся:

— Этот? Адриан Сергеевич? Он бывший офицер, собственной тени боится. Жена у него толстая, как тумба. Говорят, лупит своего Адриана каждый вечер, чтоб за девчонками не ухаживал...

Второй и третий уроки были отведены истории и русскому языку. То и другое преподавала Екатерина Семеновна Мезенцева, миловидная пышногрудая женщина с мягкими завитками волос на висках и добрыми, приветливыми глазами. Всех учеников она называла по именам, ласково улыбалась, и было видно, что весь класс ее очень любит.

На перемене она подозвала к себе Андрея, по-матерински поправила ему ворот гимнастерки и спросила, щуря глаза:

— Ты, новенький, откуда приехал?

— Из Огнищанки.

— Как же тебя зовут?

— Андрей Ставров.

Учительница посмотрела на него внимательно и сказала:

— После уроков, Андрюша, останься, будем приводить в порядок наш класс.

Перед концом занятий Завьялов толкнул локтем Андрея и спросил, скосив глаза в сторону Екатерины Семеновны:

— А эта тебе нравится?

— Нравится, — признался Андрей.

— Еще бы! Ты знаешь, кто был ее муж? Герой, комиссар дивизии. Он убит под Воронежем. А сама она тоже коммунистка, служила в Красной Армии простым бойцом, ранена была разрывной пулей.

— Откуда ты знаешь? — удивился Андрей.

— Екатерина Семеновна рассказывала моей мачехе, они вместе лечатся в больнице...

Когда закончились уроки, в классе остались Андрей, Завьялов, его друг, молчаливый чернобровый парень, и толстая белесая девчонка, которая все время смеялась и жмурилась, как кот на солнце. Через минуту Андрей узнал,

что чернобровый парень — Павел Юрасов, сын механика, а толстая Люба Бутырина — дочь пустопольского дьякона, у которого свой сад и огромная пасека.

— Приходите к нам, я вас угощу липовым медом, — любезно улыбнулась Люба, посматривая на мальчиков.

Екатерина Семеновна вошла в класс, нагруженная кистями, карандашами, банками с краской. Она поставила все это на передней парте и подозвала к себе ребят.

— У нас в классе голые стены, — сказала Екатерина Семеновна, — надо сделать хорошие рисунки и написать лозунги. Кто из вас умеет рисовать?

— Я умею, — заявил Андрей.

— Вот и хорошо! — обрадовалась Екатерина Семеновна. — Ты нарисуешь между окнами земной шар с серпом и молотом, а Виктор с Павлом напишут лозунг. Бумаги у нас нет, придется рисовать прямо на стене. Я принесла клеевую краску, надо только подлить в нее воды.

— А я что буду делать? — осведомилась Люба.

— Ты будешь помогать мальчикам.

Люба обиделась:

— Вот еще, крепко надо! Пусть они сами делают!

Все же она осталась, и через мгновение работа закипела. Андрей скинул полушубок, залез на парту, проворно начертил углем на стене огромный круг. Он стал искать коричневую и голубую краску, чтобы отделить на земном шаре твердь от воды, но в принесенных учительницей банках оказалась только зеленая краска.

— Ничего, — посоветовал невозмутимый Павел, — валяй зеленой, какая разница?

Андрей стал старательно закрашивать круг зеленой краской. Прикусив язык, он водил кистью по стене, забрызгал гимнастерку, измазал лицо, но земной шар все же нарисовал. Виктор Завьялов и Павел Юрасов к тому времени справились с огромными буквами лозунга: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Екатерина Семеновна зашла в класс, усмехнулась при виде зеленого круга, но похвалила ребят и сказала, что все сделано хорошо.

Когда Андрей вернулся домой, его встретила Тая. Марина была на заседании педагогического совета. Тая как гостеприимная хозяйка подогрела суп и соус, покормила Андрея, вымыла посуду и стала убирать комнату. Андрей зажег лампу, достал из сундука учебник истории.

— Я почитаю немного, Тая, — сказал он.

— Читай, а я буду вышивать, — согласилась девочка.

Она вынула из мешочка розовый лоскуток, присела рядом с Андреем, и в ее проворных пальцах замелькала игла. Иногда Андрей чувствовал на себе пристальный взгляд девочки. Он заболтал ногой и спросил с оттенком досады:

— Что ты все время смотришь на меня? Сказать что-нибудь хочешь?

— Да, — храбро ответила Тая, — я хочу тебе сказать про самое главное.

— Ну, говори!

Тая разгладила лоскуток на колене и, краснея, сказала:

— Андрюша, хочешь, я выйду за тебя замуж?..

— Ты что, дурочка, с ума сошла? — опешил Андрей.

— Почему с ума сошла? — рассердилась Тая. — Ты ж меня целовал в Огнищанке? Целовал. Значит, я могу выйти за тебя замуж. То, что мы двоюродные брат и сестра, ничего не значит. Мне девочки говорили, что нас могут повенчать в церкви.

Таины щеки разрумянились, черные глаза блестели. Она стала коленками на стул и заговорила с обидой в голосе:

— Ты, наверное, ждешь, чтоб я сказала, что я тебя люблю, а я хоть и люблю тебя, но никогда, никогда не скажу, потому что ты противный. Понял?

— Понял, — засмеялся Андрей. — Ты же только что сказала, что любишь.

— Ничего я не сказала, это просто так.

Она надула губы, отвернулась и, положив голову на руки, притворилась спящей. Андрей подошел к ней и, сам удивляясь своей нежности, погладил Таины пушистые волосы.

— Ложись спать, Тайка! Когда мы вырастем, то обязательно поженимся.

— Правда? — оживилась Тая.

— Конечно правда...

Пожелав друг другу спокойной ночи, они разошлись по комнатам и улеглись спать, не дождавшись Марины. В эту ночь Андрею снились Огнищанка, дед Силыч, который почему-то рисовал на земле громадный круг, а на круге росла густая зеленая пшеница...

Так началась новая жизнь Андрея Ставрова. Он добросовестно ходил в класс, на уроках сидел тихо, но по-настоящему ничем не интересовался, кроме естествознания, которое преподавал старый учитель-горбун Фаддей Зотович Турышев. Правда, Екатерина Семеновна все время хвалила

Андрея за сочинения, но он так увлекся естествознанием, что ничего другого знать не хотел.

В одном из школьных флигелей у Турышева хранился гербарий, а по углам, в клетках и ящиках, сидели ежи, кролики, крысы. Иногда Андрей с Турышевым входили в этот отодвинутый в глубину двора флигелек и просиживали там до ночи.

Скоро начались проливные осенние дожди. По улицам Пустополья растеклась глубокая жидкая грязь. Пешеходы бродили в грязи по колено, а забрызганные кони, с подвязанными по самую репицу хвостами, увязали на перекрестках, как в липком болоте.

По воскресеньям, вечерами, в школе занимался хоровой кружок, которым руководил физик Адриан Сергеевич. Много раз Виктор Завьялов и Павел Юрасов пытались затащить Андрея в зтот кружок.

— Там весело, честное слово, — заверял его Виктор. — Мы познакомим тебя с такой девочкой, что ты сразу помрешь от любви.

— Что за девочка? — равнодушно спросил Андрей.— И с какой стати я должен помирать от любви? Вы же не умерли?

Виктор удивленно поднял брови:

— Как не умерли? От нас только тени остались. Ты знаешь, что за проклятая зта девчонка! За ней вся школа бегает.

— Можешь быть уверен, что я не побегу, — угрюмо сказал Андрей.

— Ха! Слышишь, Пашка? — засмеялся Виктор.

Флегматичный Павел, приминая черную мохнатую шапку, раздвинул в улыбке пухлые губы и промямлил невесело:

— Побежишь, Андрюша, аж пыль столбом встанет.

— Приходи в воскресенье, мы тебя познакомим с этой девочкой, — сказал Виктор. — Ее зовут Еля Солодова, она учится в нашей школе, в пятом классе, и если ты не умрешь, то я дурак и ничего не понимаю...

Андрей ухмыльнулся:

— Можешь заранее себя считать дураком!

— Посмотрим! — зловеще сказал Виктор.

В воскресенье, как было условлено, Андрей, наспех поужинав, натянул полушубок, папаху и пошел в школу. Дождя не было. Установился тихий лиловый вечер. Тонкая корочка изморози поскрипывала под ногами. В воздухе пахло снегом, и Андрей почувствовал на разгоряченном лице

трепетное прикосновение первой одинокой снежинки. Он остановился среди двора, взволнованный, радостный, возбужденный неизъяснимо прекрасным ощущением жизни, как будто слетевшая с неведомых высот снежинка впервые дала ему познать красоту и счастье того, что он живет на земле, дышит чистым воздухом, может полюбить и полюбит ту, которая станет для него самой лучшей...

Андрей вошел в класс. Адриана Сергеевича еще не было. На партах и подоконниках сидели, негромко переговариваясь, ученики. Вечер уже затемнил большую комнату, наполнил ее сумерками, только на одной стене, против окна, еще угадывались розовые, еле заметные отсветы угасшего дня.

— Это ты, Андрей? — раздался голос Виктора. — Иди сюда!

Распахнув полушубок, Андрей подошел к крайнему окну. Виктор чиркнул зажигалкой и сказал совсем тихо:

— Чего же ты стоишь? Иди знакомься! Вот Еля Солодова.

Освещенная неверным светом зажигалки, у окна стояла стройная девочка в сапожках, в синем пальто и серой вязаной шапочке. У нее было светлое, нежной белизны лицо, чуточку большой, но красиво и мягко очерченный рот, круглый капризный подбородок. Из-под шапочки, сбившись набок, свисала негустая темно-каштановая коса, повязанная лиловой лентой. Пряди слегка вьющихся волос не закрывали чистый выпуклый лоб девочки. Но самым удивительным в ней были глаза: светло-серые, с темными ресницами, с быстрым и пристальным взглядом.

— Что же вы молчите? — сдерживая смех, спросила девочка. — Меня зовут Еля, Елена... а вас?

— Он уже не может отвечать! — торжественно, но не без злорадства возгласил Виктор. — Он умер и приглашает всех нас на свои похороны!

Еля засмеялась, и ее звонкий, как серебряный колокольчик, смех больно резанул Андрея по сердцу.

— Нет, как видите, я не умер, — грубо ответил он. — До свидания. Зовут меня Андрей, фамилия Ставров, если вас это интересует. Желаю вам весело провести время с вашими живыми покойниками.

Он сорвал с себя шапку, шутовски раскланялся и, натыкаясь на парты, пошел к выходу. Остановился далеко от школы, в глухом, незнакомом переулке. Тут была строгая, нерушимая тишина осеннего вечера. Андрей постоял не-

много, злой и смущенный, но, вспомнив холодную снежинку и смеющийся рот сероглазой Ели, улыбнулся:

«Так тебе и надо...»

Когда Андрей вернулся домой, он увидел, что Марина сидит на кровати в слезах, а Тая, забившись в угол, бесцельно перелистывает книжку.

— Что ты, тетя Мариша? — испугался Андрей. — Что-нибудь случилось?

Марина вздохнула, провела мокрым платком по лицу.

— Ничего особенного, мальчик. Ты все равно ничего не поймешь...

Она поднялась с кровати, села у стола и, придвинув лампу, занялась тетрадями. Андрей пошел к себе в кухоньку готовить уроки. Через несколько минут, неслышно ступая по полу босыми ногами, к нему вошла Тая. В глазах ее застыло выражение злого упрямства.

— Ты знаешь, почему мама плачет? — прошептала Тая. — Она получила письмо от дяди Александра... Наверно, дядя Александр хочет, чтобы мама вышла за него замуж, а она боится, думает, что папа еще вернется.

— Может, твоего папы давно в живых нет, — возразил Андрей. — Сколько лет уже прошло, как он пропал!

Глаза Таи сверкнули.

— Неправда, папа жив! Только он, наверно, где-нибудь очень далеко, так далеко, что и письма оттуда не доходят.

Из соседней комнаты донеслось приглушенное всхлипывание Марины.

— Пусть плачет! — дернула худым плечиком Тая. — Я знаю, что папа жив, и буду ждать его, пока не умру...

На секунду задумавшись, Тая схватила Андрея за руку и зашептала, заикаясь от волнения:

— Знаешь что?.. Я сейчас напишу папе письмо... Может быть, почта найдет его. Завтра я сама сбегаю на почту, попрошу, чтобы папу хорошенько поискали.

Вырвав из тетради листок бумаги, она прижалась к углу стола и, прикусив кончик языка, стала писать: «Милый мой, дорогой папочка! Где ты живешь? Почему ты ни одного словечка не напишешь нам с мамой? Если бы ты знал, милый папа, как я скучаю по тебе и жду тебя каждый день, ты бы хоть одну строчечку написал, что ты жив и вернешься домой...»

Тая уже не могла сдержать себя. На письмо закапали слезы, оставляя на шершавой в клеточку бумаге водянисто-лиловые кляксы. Сердито размазывая слезы смуглым ку-

лачком, Тая закончила письмо, пожевала хлебный мякиш, заклеила листок и сверху написала:

«Дорогая почта всего Союза Советских Социалистических Республик! Я ищу папу. Пожалуйста, помогите мне, вручите ему это письмо. Его имя, отчество и фамилия — Максим Мартынович Селищев».

2

На дальнем Севере, между мысом Уэлен и мысом Уэльс, посредине Берингова пролива, есть два острова — Большой Диомид и Малый Диомид. Их разделяют пять с половиной километров неприветливо-хмурой, оловянного оттенка воды, которая кажется пестрой от множества льдин и несомых волнами комьев тяжелого потерявшего цвет снега.

Пустынны угрюмые воды пролива. Редко-редко пролетит над ними странно белесая, гонимая ветром птица. Тут часто бушуют снежные метели, встают густые туманы. Но если заплывет в эти суровые места одинокое судно, перед глазами людей в призрачной дымке, как два брата, встают острова Диомида. Темными остриями ножей поднимаются из воды их косо срезанные, одинаково крутые берега. Вершины прибрежных холмов покрыты снегом.

Всего пять с половиной километров разделяют острова Диомида, но именно тут, в этом месте, пролегла помеченная на картах мира резкой чертой государственная граница: остров Большой Диомид принадлежит СССР, остров Малый Диомид — Америке.

В пасмурный осенний день в эскимосском чуме на Малом Диомиде у дымного очага сидели три человека. Грубо выложенный каменный очаг чадил, не давая никакого тепла, люди не снимали меховых унтов и шапок, терли окоченевшие на морозе руки и передавали друг другу термос с подогретым спиртом. Хозяин чума, молчаливый эскимос-охотник, по собачьей упряжке и по обветренным лицам людей определил, что путники прибыли издалека. Все трое валились с ног от усталости и успели зарасти бородами.

Это были Максим Селищев, Гурий Крайнов и их недавний приятель, пожилой американец-рыбопромышленник Джемс Хент. Веселый сангвиник с медно-красным лицом и мускулистой фигурой боксера, мистер Хент летом встретился с казачьими офицерами в поместье графа Вонсяцкого, где их познакомил вездесущий Борис Бразуль. Русские, по мнению Хента, оказались хорошими парнями, и он предло-

жил им ехать вместе с ним на Аляску, где ему предстояло совершить крупную коммерческую операцию. «Вместо нудной работы на какой-нибудь плантации, — сказал мистер Хент, — отправляйтесь со мной, и вы вернетесь в Штаты с кучей долларов в кармане».

Крайнов и Селищев согласились. Они приехали с Хентом в Фербенкс, спустились по Юкону до Котлика, а оттуда моторная шхуна доставила их вместе с собачьей упряжкой на остров Малый Диомид.

Когда хозяин-эскимос подбросил в очаг мерзлого мха, а крепкий спирт зарумянил щеки путников, мистер Хент осклабился и спросил, слегка коверкая русский язык:

— Можно надеяться, что вы отогрелись?

— Теперь немножко легче, а то дышать было трудно, — отозвался Крайнов.

— Аляска — неласковая страна, особенно осенью и зимой, — помедлив, сказал Хент. — Чтобы жить тут, надо иметь привычку.

Затем мистер Хент повернулся к хозяину чума и повелительно заговорил с ним по-английски:

— Парень из бухты к тебе заходил?

— Да, сэр, — поклонился эскимос. — Он был на нашем берегу четыре дня назад.

— Он что-нибудь оставил для меня?

— Он принес много песцовых шкурок и просил их передать человеку по имени Джемс Хент, — объяснил эскимос. — Он сказал, что Джемс Хент приедет из форта Котлик и возьмет шкурки.

— Еще что он говорил?

— Ничего, только дал мне пять долларов.

— Хорошо, — кивнул американец. — Я Хент и прибыл из форта Котлик. Вечером отдашь мне шкурки, которые принес человек из бухты.

Робко отодвинув звонкие от мороза оленьи шкуры, в чум вошла коренастая эскимоска, а с нею трое скуластых ребят, от которых издалека несло запахом рыбьего жира. Скосив на гостей темные глаза, женщина молча прошла в дальний угол чума и утащила за собой ребят.

— Не люблю эскимосов, хотя и жалею их! — сморщился мистер Хент. — Бедный и грязный народ. Они живут на земле только для того, чтобы распространять инфекционные болезни.

Ему никто не ответил, и он, завернувшись полами лисьей дохи, задремал. Крайнов тоже вскоре уснул. Хозяин чума,

подвернув под себя ноги, разжег длинную трубку и закурил. Синеватый дымок его трубки, смешиваясь с дымом очага, потянулся к верхнему отверстию чума с краями, закопченными до черноты.

Максим не спал. Глухое, но навязчивое беспокойство не оставляло его. Летом, покидая Болгарию, он был уверен, что отыщет в Америке тихий угол, где можно будет спокойно дожить до счастливых времен и вернуться на родину, к семье. Но с первого же дня приезда он понял, что его надежды разлетаются как дым. Приехал он в Америку без гроша и вынужден был попросить денег у Крайнова. Тот охотно дал Максиму триста долларов.

Крайнов намекнул Максиму на то, что с помощью Хента им безусловно удастся пробраться в Россию. «Как пробраться? Нелегально?» — спросил Максим. Крайнов ответил: «Почему нелегально? Хент — один из директоров рыболовной концессии на Камчатке и отлично знает кое-кого из видных советских хозяйственников. Он сможет устроить наше возвращение вполне легально». Уверенный в том, что одностаничник и однополчанин не подведет товарища, Максим согласился ехать с Хентом на Аляску.

Теперь, лежа в дымном эскимосском чуме, он думал о том, как повернется его судьба и какую роль может сыграть в этом добродушный, веселый Хент.

«Ладно, завтра разберемся, — ворочаясь, размышлял Максим. — Говорят, утро вечера мудренее. Ни на какую аферу я не соглашусь, а если это случится, вернусь с этого проклятого острова в Штаты — и все...»

Ночь показалась Максиму бесконечной. Он то ненадолго забывался в беспокойном сне, то усаживался у очага, смотрел на неподвижного эскимоса и курил отсыревшие сигареты.

После полуночи, вынув из мешка вязку оттаявшей рыбы, Максим вышел к собакам. Была темная, беззвездная ночь. Крутила снежная метель, где-то слева, неподалеку, бесновалось, шумело море. Нажав кнопку карманного фонаря, Максим провел лучом по снегу и увидел полузасыпанных снегом собак — они лежали, сбившись в кучу, только свирепый, похожий на волка вожак лежал в стороне. Учуяв Максима, он поднялся, навострил уши и заворчал.

— Урс, ко мне! — позвал его Максим.

Все собаки вскочили. Максим раздал им рыбу и, подождав, пока они, грызясь и скуля, доели ее, пошел в чум.

Уснул он только перед рассветом, закрыв лицо пахнувшей дымом оленьей курткой.

Утром, выпив горячего кофе с коньяком, мистер Хент вынул из рюкзака большой бинокль и предложил Максиму и Крайнову совершить прогулку.

— Пойдемте, джентльмены, я покажу вам вашу несчастную родину, — серьезно, без улыбки, сказал Хент.

Они пошли к берегу. Ветер утих. Все вокруг было белым от глубокого снега, только небо, холодное, тусклое, отливало матовой желтизной. Над четырьмя чумами, стоявшими поодаль, столбами вился сизый дым.

На высоком берегу мистер Хент и его спутники остановились. Внизу, испещренное плывущими по свинцово-зеленоватой воде льдинами, грохотало о прибрежные скалы неутихающее море.

Хент протянул Максиму бинокль и сказал торжественно:

— Мистер Селищев! Взгляните на вашу родную землю! Вот она, совсем близко, в трех милях от вас!

Сердце Максима дрогнуло и сжалось, будто кто-то сдавил его железными клещами. Он молча взял бинокль.

Да, это сияла его земля, земля его отцов и дедов. Белая, повитая легкой морозной дымкой, она мерцала снегами, синеватыми тенями холмов; и над ней прекрасно и строго светилось такое же неяркое небо. Три года прошло с того дня, как Максим покинул свою землю, но ему казалось, что прошла вечность. Нет, он ни разу в жизни не бывал на этом незнакомом ему острове, на который сейчас смотрел, не видел его темных, железного оттенка скал, его снегов, этих островерхих чумов, над которыми вьется едва заметный дымок. Но он знал — это была его земля. Где-то там, за белыми холмами, далеко-далеко, у реки, которая называется Дон, на тихом станичном кладбище темнеют неприметные бугорки — могилы его деда, отца, братьев. Там, в станице, должно быть, и сейчас стоит старый, с двумя крылечками дом, в котором смуглая женщина-казачка тридцать лет назад родила его, Максима Селищева, и он называл ее ласковым словом «мама», теперь уже забытым... Неведомо где живут сейчас оставленные им самые дорогие, самые близкие ему люди — его жена и дочь...

— Я понимаю ваше горе и сочувствую вам, — сдержанно сказал мистер Хент, касаясь рукой локтя Максима.

Подумав и сдвинув брови, точно сдерживая в себе внезапно нахлынувшие чувства, он заговорил:

— У вас только одно препятствие, мешающее вам соединиться с близкими. Это препятствие — большевики. Они лишили вас родины, заставили скитаться на чужбине, разлучили с семьей. Они поработили ваш народ, разрушили святыни, породили голод, страх и унижение. Большевики должны быть уничтожены, и цивилизованный мир уничтожит их. Это произойдет не очень скоро, но вы должны помочь честным людям выполнить их святую миссию.

— Прошу извинить, мистер Хент, — глухо сказал Максим, — но я уже потерял способность бороться и вышел из строя.

Хент засмеялся, покровительственно похлопал Максима по плечу.

— Мы это понимаем и отнюдь не собираемся заставлять вас бороться. Ваша задача будет гораздо скромнее. Вы уедете на свою родину как американский гражданин и будете работать в управлении нашей концессии. Свою жену вы безусловно найдете, а американский паспорт гарантирует от посягательств чекистов. А через два-три года вы с семьей, если пожелаете, вернетесь в Америку. Вот и все.

Он выжидательно помолчал, но, поняв, что Максим сейчас не в состоянии говорить, повернулся к стоявшему в стороне Крайнову:

— А вы что скажете на это, мистер Крайнов?

Тот пожал плечами:

— Каждый из нас отвечает за себя, мистер Хент. Мой друг еще будет иметь время подумать, не правда ли? Что касается меня, то я поеду хоть к черту на рога, лишь бы не сидеть сложа руки и не быть на положении кролика.

— Хорошо, джентльмены! — сказал Хент. — Давайте вернемся в чум и там продолжим разговор, а то я, по правде говоря, продрог.

Движением руки Хент удалил из чума хозяев, уселся поудобнее и заговорил, обращаясь преимущественно к Максиму:

— Человеку одинокому, не имеющему за спиной поддержки, трудно рисковать собой даже ради самых высоких идеалов. У русских, кажется, есть такая поговорка: «Один в поле не воин». Это умная и правильная поговорка. Я понимаю, почему вы, Селищев, разочаровались в борьбе. После разгрома белых армий вы, как и все ваши товарищи, почувствовали себя слабым, не пригодным ни к чему человеком и решили выйти из борьбы и ждать в сторонке. Я даже думаю, что вы стали колебаться и спрашивать себя: не

правы ли большевики? Все это произошло только потому, что вы солдат разгромленной армии.

Он понизил голос, сказал, жестко отделяя фразу от фразы:

— И большевики и мы просчитались. Большевики ждали мировой революции и думали, что вся планета мгновенно станет красной. Как известно, этого не произошло. Мы же полагали, что большевизм в России рухнет под первыми нашими ударами, как карточный домик, и на земле восстановится порядок. Увы, этого также не случилось. Мир оказался расколотым, как грецкий орех. Оба противника готовятся к длительной, многолетней борьбе, в которой нужны не только силы, но и хитрость, выдержка, злость, терпение, изворотливость, а самое главное — организация.

Хент потер ладонь о ладонь, прищурил острый голубой глаз.

— Теперь война против большевиков примет иные формы, гораздо более сложные. Вы знаете, что такое древоточец? Этакая буровато-серая бабочка с полосатым брюшком. По вечерам, когда стемнеет, она летает в лесу и кладет в кору деревьев яйца, много яиц — до тысячи. Из яиц древоточца потом образуются тихие, незаметные шестнадцатиногие гусеницы мясного цвета. Они втачиваются под кору дерева и выгрызают в стволе длинные кривые щели. Понимаете? Щель за щелью — сегодня, завтра, послезавтра. По виду этого не заметно, а в один прекрасный день могучее дерево рушится и пропадает. Тысячи таких тихих людей-древоточцев скрытно экспортируются в Советскую Россию. Они, как гусеницы, уже втачиваются, проникают на заводы, в учреждения, в села, в города, в Красную Армию.

Есаул Крайнов, который почти все время молчал и был угрюм и раздражен, сказал сердито:

— Такая скрытая борьба может растянуться на десятилетия, а у нас, русских, в народе говорят: «Пока взойдет солнце, роса очи выест».

Хент повернулся к нему:

— Ничего не поделаешь. Тем не менее бороться надо, потому что не только Россия, но и все цивилизованные страны могут оказаться перед катастрофой...

Максим вслушивался в то, что говорил сидевший у очага Хент, позевывал и думал с отвращением: «Ишь ты! Древоточцы! Не хочу я быть древоточцем, гусеницей, мокрицей! Ну ее к черту, эту их камчатскую концессию! Никуда я не поеду...»

Один за другим потянулись пасмурные, нудные дни. Дожидаясь известий с Камчатки, Хент объезжал остров, встречался с охотниками-эскимосами, за бесценок скупал у них шкурки голубых песцов, разные фигуры из кости, амулеты и украшения. Иногда его в этих поездках сопровождали Максим или Крайнов. Иногда же Хент доверял Максиму самостоятельные поездки, заботливо укладывал на длинные нарты бутылки виски, ящики с патронами и предупреждал, посмеиваясь:

— Вы только филантропией не занимайтесь. Любую сделку начинайте стаканами виски и помните о коммерческой выгоде. Цена у меня стандартная: за песцовую шкурку — пять патронов, за хорошее изделие из кости — полстакана виски...

С глубоким раздумьем, грустью и жалостью наблюдал Максим убогую жизнь эскимосов. В какой бы чум он ни заезжал, везде он видел одно и то же: разъеденные трахомой глаза детей и взрослых, изжеванные цингой десны, унылые, обветренные лица, дымные углы, грязь. Он понимал, с каким трудом доставалась эскимосу драгоценная шкурка песца, за которую по приказу Хента надо было платить пять копеечных патронов, и ему было стыдно за Хента, за себя, за всех людей, которые допускали этот жестокий, бессовестный обман. Понимая свое бессилие, Максим покорился тому, что есть, и решил выжидать.

Непредвиденный случай снова — в который раз! — круто изменил судьбу Максима.

Однажды, выехав из отдаленного эскимосского стойбища, он был застигнут страшным бураном. Собачья упряжка мчалась по снежной равнине, и Максим решил положиться на чутье ее вожака. В лицо Максиму бил резкий, обжигающий кожу ветер. Вокруг бесновалась белесая мгла. Меховые унты, шапка и куртка сразу покрылись снегом, глаза стали слезиться. «Неужто не вынесу? — испугался Максим. — Если только окоченею, погибну...»

Расстилаясь в волчьем поскоке, серый вожак мчался все быстрее, и за ним, окутанная облаком взвихренного снега, неслась вся упряжка. Два или три раза Максим едва удерживался на узких нартах. Это испугало его. Он слышал от Хента, что выпавший из нарт путник никогда не сумеет вернуть собак и наверняка замерзнет в снежной пустыне.

Он не знал, сколько времени продолжалась сумасшедшая скачка, но по замедлявшемуся бегу собак понял, что

они устали и что пришло время дать им отдых. Проехав еще минут пятнадцать, он остановил собак и бросил им по одной рыбе. Но они не стали есть, а стояли, опустив головы, высунув языки, и надрывно, с перебоями дышали. Потом они съели рыбу и стали выгрызать на лапах намерзший между пальцами снег.

Максим сидел на нартах, положив на колени карабин и поглядывая назад. Сзади вился едва заметный следок узких полозьев, ветер гнал снежную гриву поземки.

— Пошли! — крикнул Максим, торопливо взмахнув шестом, и послушная упряжка понеслась по равнине.

Утеряв направление, Максим, не зная этого, дважды сбивал собак с правильного пути. С каждой минутой ему все труднее становилось дышать; он лежал, закрыв глаза, вслушиваясь в свист ветра, в повизгивание собак.

Обрывками мелькали у него мысли о родной земле, которую он видел совсем близко, о Марине, о своей нерадостной, злой судьбе. Ему уже так надоело бороться с этой судьбой, что на какой-то миг появилось желание плюнуть на все, соскочить с нарт, распластаться на снегу и умереть. Но он отогнал нелепое, испугавшее его желание и, подбадривая себя, закричал на собак:

— Га-ааа! Поше-оол!

И собаки помчались на север...

Временами сознание оставляло Максима. Он лежал на животе, бессильно уронив голову, и ему казалось, что он проваливается куда-то в багряную пустоту. Он уже не чувствовал, как собаки, повизгивая, спотыкаясь и падая от усталости, доволокли нарты до обледенелой береговой кромки и остановились.

Неподалеку от берега курсировало небольшое судно — американский рыболовный сейнер «Святой Фока». Один из матросов заметил на берегу собачью упряжку и доложил капитану. Пожилой капитан-норвежец долго наблюдал за упряжкой в бинокль, а потом приказал спустить моторный бот и узнать, что происходит на острове. Матросы отправились на берег и привезли на судно потерявшего сознание человека, трех собак, нарты и заряженный карабин. На берегу, как доложили матросы, остались четыре мертвые собаки.

В эту же ночь сейнер «Святой Фока» покинул Берингов пролив, в темноте обогнул остров Малый Диомид и взял курс на юг — к Алеутским островам.

3

За два года Юрген Раух послал в Огнищанку немало открыток и писем. Он писал Гане Лубяной, ее отцу, бабке Ольке — жене деда Сусака, которая до революции служила у Раухов стряпухой, дважды он посылал открытки братьям Терпужным, Шелюгину, Кущиным, но огнищане молчали — то ли потому, что от Мюнхена до глухой русской деревни путь был длинный и письма терялись, то ли никто не хотел отвечать.

За все это время Юрген получил из России только одно письмо. Оно не вызвало у него ничего, кроме боли и тупой тоски. По просьбе Антона Агаповича Терпужного письмо было написано под диктовку пустопольским священником, отцом Ипполитом. Украшая каждую строку вычурными завитушками, священник сообщал, что «известная особа», то есть Ганя Лубяная, собирается выходить замуж за «некоего» Демида Плахотина, который недавно вернулся из армии и сделал «упомянутой девице» предложение.

В конце пространного послания отец Ипполит писал: «Ваше, Юрген Францевич, родовое гнездо стало погорелым пепелищем. Крыша конюшни провалилась, одна стена обрушилась. Прочие службы разорены. Забор весь разломан и разворован. В доме, где вы родились и где прошло ваше безмятежно счастливое детство, находится огнищанская амбулатория. Она занимает большую комнату, где находился зал (что выходит окнами на подворье Сусака), а все другие комнаты отданы семье фельдшера Ставрова, который еще с голодного года занялся хозяйством и пробил из одной комнаты окно в конюшню, пристроенную им, Ставровым, к дому...»

Письмо заканчивалось лирически: «Вырезанные вами на тополе инициалы, две буквы, «Ю» и «Р», еще можно различить, но они кривеют и скоро исчезнут по причине роста упомянутого тополя...»

Юрген читал это письмо, сидя в аптеке, окруженный белыми фаянсовыми банками, бутылями, склянками с разноцветными этикетками, нудными запахами карболки, йодоформа, эфира, сверканием однообразно убогих реклам, и думал: «Вот и все... Там, позади, ничего не осталось, а впереди только одно — великая идея, которой надо отдать всю свою жизнь без остатка...»

Сбоку, за стойкой, неподалеку от Юргена, озабоченно пощелкивал костяшками счетов чистенький, с глянцевой лы-

синой дядя Готлиб. За спиной Юргена бесшумно двигался одетый в белый халат ученик Ганс. Наверху, в душной, затемненной шторами спальне, медленно умирал отец — старый Франц Раух. Он покорно принимал назначенные врачами лекарства, молча отворачивался к стене и затихал. Последнее время его уже ничто не раздражало, даже пронзительный, куриный крик глухонемой Христины, которая с утра до ночи слонялась по комнатам и разговаривала со стенами.

В душе Юргена уже давно начался мучительный процесс, который постоянно держал его в напряжении и заставлял бесконечно задавать себе один и тот же вопрос: «Что делать дальше? Зачем жить?» Здесь, в Мюнхене, он вдруг по-особому остро почувствовал потерю огнищанского поместья и возненавидел «красную банду», отнявшую у него землю, скот, дом. Испытывая страх и ненависть к большевикам, он решил мстить им тут, в Германии, где, как он видел, красные стали набирать силу.

Вместе с кузеном Конрадом Риге Юрген часто бывал на тайных собраниях национал-социалистов, два раза слышал полные угроз выступления Адольфа Гитлера, но все еще колебался, кому отдать предпочтение: офицерам-монархистам, с которыми его свел бывший адъютант высланного в Голландию кронпринца, барон фон Хюнефельд, или национал-социалистам — к ним его настойчиво тащил Конрад Риге.

— Плюнь ты на этих высокопоставленных бездельников! — презрительно морщился Конрад. — Все они вместе со старым кайзером и кронпринцем не стоят подтяжек Гитлера.

— Однако народ до сих пор помнит и любит кайзера, — не очень уверенно возражал Юрген, — а добровольческие корпуса, которые хоть немного сдерживают натиск красных, сплошь состоят из монархистов.

Конрад только презрительно смеялся.

— Ерунда! — говорил он. — Кайзер проворонил Германию, и немцы не простят ему этого никогда, а все командиры добровольческих корпусов пойдут за Гитлером: и Эрхардт, и Россбах, и Лютцов, и Эпп, и Оберланд, и все прочие. Они не дураки и понимают, на кого опираются национал-социалисты.

Закрыв дверь и прижав Юргена в угол, Конрад сообщил ему, что Гитлера поддерживают крупнейшие коммер-

санты и финансисты Германии: Гуго Стиннес, Фриц Тиссен, Крупп, Феглер, Флик.

— Должен тебе сказать, что связи Гитлера не ограничиваются промышленными королями Германии — они простираются далеко за наши границы и даже за океан...

— Как? — не понял Юрген.

— Ты видел в нашем штабе портрет старика? — в свою очередь спросил Конрад. — Ты знаешь, кто это? Один из самых крупных денежных тузов Америки. Он прислал Гитлеру свой портрет и такой куш денег, который нам с тобой и не снился...

Разговоры с Конрадом Риге и собрания национал-социалистов сделали свое дело. Медлительный, тугой на подъем, Юрген Раух уверовал в Гитлера, как жаждавшие божьего чуда фанатики верили в мессию.

«Да, — решил Юрген, — с этим неистовым человеком, солдатом-пророком, связано все — и судьба Германии, и моя собственная судьба...»

В эту осень Юргену довелось еще раз услышать Гитлера в той самой пивной «Гофброй», где два года назад он впервые встретил этого «первого барабанщика национальной революции». На этот раз никого из посторонних в пивной не было. Дюжие ребята в клетчатых кепи бесцеремонно вытолкали из зала публику, встали у дверей двумя шеренгами и пропускали только своих. Юрген прошел по рекомендации Конрада.

У одного из столов Юрген увидел Гитлера. В полурасстегнутом потертом солдатском мундире с Железным крестом, он сидел, угрюмо глядя в пол, и слушал стоявшего за его спиной худощавого белокурого парня, который, изогнувшись и поглядывая по сторонам, говорил ему что-то.

— Кто это с ним? — шепотом спросил Юрген.

— Твой земляк, — усмехнулся Конрад. — Он из Ревеля, учился в Москве, а тут живет года четыре и знает всех русских эмигрантов. Его зовут Альфред Розенберг. По-моему, тебе стоит с ним познакомиться, он умен, как сто чертей, но помешался на одном пункте.

— На каком же?

— На евреях. Уверяет, что евреи корень мирового зла, и уже год возится с какими-то тайными протоколами сионских мудрецов.

Прикрывая ладонью рот, трясясь от смеха, Конрад прошептал:

— Готов биться об заклад, что он и сейчас советует Гитлеру провозгласить истребление евреев...

Когда просторный зал наполнился, Розенберг сел на свободный стул, а Гитлер встал, долго и упорно смотрел на людей, потом заговорил хрипловатым, напряженным голосом, точно сдерживал палившую его ярость:

— Французские торгаши и мародеры не унимаются. По приказу Пуанкаре они расширили зону оккупации в Руре, заняв Бохум, Дюссельдорф, Дортмунд. Галльская банда подлых насильников сдавила горло Германии, отняла у нее уголь, чугун, железо, а наше трусливое правительство все еще проповедует политику пассивного сопротивления. Только слепые идиоты не видят того, что Германия накануне большевистского переворота. Августовская всеобщая забастовка, создание нолукрасных правительств в Саксонии и Тюрингии — это зловещие предгрозовые тучи...

Голос Гитлера постепенно повышался, лицо покрылось испариной. Он остервенело рванул воротник. В напряженной тишине все услышали, как стукнула о пол и покатилась оторванная от воротника пуговица. А каркающий голос уже бесновался в истерических выкриках:

— Довольно! Хватит! Если надменные плутократы мира и жадные евреи вынуждают нас, немцев, взять в руки нож, мы его возьмем! Мы остро отточим этот нож и пустим его в дело! Мы совершим национальную революцию и избавим Германию от дикого хаоса большевизма, от галльской сволочи... от социал-демократической слякоти... от евреев тузов-плутократов...

Тусклые, полузакрытые припухшими веками глаза Гитлера были устремлены в потолок, рот судорожно кривился, худая рука, то сжимаясь в кулак, то толчком разгибая нервные пальцы, металась в синеватом облаке табачного дыма.

Юргену казалось, что гнев Гитлера, исказивший его лицо, пронзительный голос, яростная убежденность отрывают его, Юргена Рауха, от стула, поднимают, влекут за собой, и он, оглядываясь направо и налево, понял, что не он один испытывает это странное и сладостное чувство возбуждения: сидевшие за столиками парни в пестрых кашне, небритые офицеры в полувоенных костюмах, полупьяные студенты сжимали кулаки, ерзали на стульях, бешено аплодировали.

Эта ночь решила судьбу Юргена Рауха. Тут же, в зале «Гофброй», после полуночи он был принят в партию нацио-

нал-социалистов. За него поручились Конрад Риге и ревельский эмигрант, архитектор Альфред. Розенберг, с которым пронырливый и ловкий Конрад успел познакомить своего застенчивого кузена...

Конрад тешил себя надеждой, что со временем он сделает из медведя Юргена настоящего человека. По вечерам ненадолго появляясь дома, он издевался над долговязой фигурой и провинциальным костюмом своего родственника, высмеивал его крестьянскую скуповатость, его сентиментальную, смешную любовь к какой-то неграмотной огнищанской девке. Почти насильно он свел Юргена со своей знакомой, веселой вдовой Гертой Герлах.

— Ты знаешь, что это за штучка! — восклицал Конрад. — Она полгода жила в Дортмунде, и парижские лейтенанты генерала Дегутта привили ей вкус к любовным делам. Ты пристанешь к ней, как пластырь...

Тонкая, игривая Герта понравилась Юргену своим откровенным бесстыдством и мягким характером. Сидя в ее тесной, обклеенной открытками комнатке, задумчиво лаская ее шелковистые, как у кошки, огненно-рыжие волосы, Юрген с какой-то злобной покорностью отдавался новому для него чувству обладания женщиной. Ему нравилось, что легкомысленная Герта ни о чем его не расспрашивала, ничем не укоряла, ни на что не жаловалась. Она непринужденно и мило болтала о всяких пустяках, умела вовремя замолчать, а когда Юрген задумывался и мрачнел, она отвлекала его от беспокойных мыслей своей неистощимой веселостью и такой же неистощимой страстью.

— Зачем унывать? — щебетала Герта. — Это скучно и неинтересно. Надо жить так, чтобы человеку каждый день было приятно, а это очень просто: полюби женщину, слушайся ее и ни о чем не думай...

Иногда, лежа с Гертой в ее чистой, пахнувшей одеколоном постели, Юрген лениво поглаживал плечо женщины и думал беззлобно: «Наверно, так же она лежала с Конрадом, с этими... лейтенантами... а еще раньше с мужем. Ну и черт с ними, мне до этого нет никакого дела!..»

Недалекая, даже глуповатая, Герта каким-то безотчетным женским инстинктом умела угадывать мысли своего любовника и, прижимаясь к нему, шаловливо теребя его волосы сухой маленькой рукой, лепетала:

— Не смей ни о чем думать, противный мальчишка! Слышишь? Я не люблю, когда люди думают! Это вредно, честное слово! Лучше поцелуй меня...

Она закрывала ему рот теплой ладонью и тянула капризно:

— Ну... поцелуй один пальчик... Теперь другой... Теперь третий...

И он послушно целовал ее пальцы, заглушая навязчивую мысль о Гане, о своей юности, об Огнищанке, которая уже казалась Юргену невозвратным сном. Тут, в полутемной комнатке Герты, в чередовании ласк и легкого, бездумного отдыха, Юрген забывал не только прошлое, но и настоящее, все то тягостное, бередившее душу, что оставалось за запертой дверью комнаты Герты: больного отца, кудахтанье дуры Христины, нудного дядю Готлиба, тяжкую, полную крови и горя жизнь, которую, как надорванные кони на борозде, волочили за собой озлобленные люди.

Вечерами, идя к Герте, Юрген думал: да, правы те, кто говорит, что Германия накануне революции. Правда, общегерманское правительство штыками разогнало рабочие правительства Саксонии и Тюрингии, но в народе шло брожение.

Двадцать третьего октября, на рассвете, в Гамбурге вооруженные отряды рабочих внезапно заняли городские предместья, обезоружили полицейских и начали строить уличные баррикады. Промышленники, купцы, крупные чиновники перепуганным стадом ринулись из города, вопя на всех перекрестках:

— Агенты Москвы начали революцию!

— Гамбург в огне!

— Рабочие установили в Гамбурге власть коммунистов!

Во главе гамбургского восстания встал сын голштинского батрака, солдат-фронтовик, портовый рабочий Эрнст Тельман. Три дня и три ночи он руководил ожесточенными уличными боями, и восставшие рабочие бесстрашно и упорно сражались против войск генерала рейхсвера Леттов-Форбека, против социал-демократической полиции и артиллерии военных кораблей.

Конрад Риге, который накануне восстания поехал по просьбе дяди Готлиба за партией закупленных в Гамбурге медикаментов, был свидетелем всех событий и рассказал о них Юргену.

— Понимаешь, кузен, это уже не шутка, — бегая по комнате и опасливо поглядывая в окно, говорил Конрад, — это самая настоящая революция! Творилось черт знает что! Счастье наше, что Форбек удушил повстанцев пушками и пулеметами. Иначе — конец.

Сунув руки в карманы, Конрад остановился против сидевшего на кушетке Юргена и закричал раздраженно:

— Ты знаешь, что правительственные войска не поймали ни одного повстанца?

— Как?! — изумился Юрген.

— Очень просто. Все они ушли, будто сквозь землю провалились. Это дело Тельмана. Мне рассказывали о нем. Он расставил своих людей не только на улицах, но и в проходных дворах, на чердаках, на крышах домов. Они дрались, как дьяволы, а потом, когда их прижали со всех сторон, Тельман приказал им спрятать оружие и разойтись по квартирам. Войска нашли на баррикадах только расстрелянные гильзы, а красные растворились среди жителей да к тому же сохранили свое оружие.

События в Гамбурге напугали всех. Дядя Готлиб стал запирать аптеку в шестом часу вечера и, плаксиво сморкаясь в батистовый платочек, ругал Эберта и канцлера Штреземана за нерешительность, недостойную социал-демократов. Сухопарая экономка Роза часами стояла у окна и, завернувшись шторой, вслушивалась в каждый звук на улице. Даже Христина и та притихла и жалась к Розе, не понимая, что происходит.

Юрген рассказал обо всем этом Герте Герлах, но его легкомысленная любовница только посмеялась:

— Какое нам дело, милый, до красных, желтых, синих? Поверь, если бы они умели любить женщин, им некогда было бы заниматься ерундой...

Он хотел было возразить ей, хотел возмутиться, сказать, что, к сожалению, отношения людей и их борьба не зависят от женской любви, но ничего не сказал.

— Пусть люди делают что хотят, — вздохнула Герта, — а мы будем счастливы нашей любовью.

Однако Юргену недолго пришлось наслаждаться любовью веселой вдовы. Через неделю после гамбургских событий его вызвал командир местного отряда национал-социалистов, владелец ювелирного магазина Ахим Коссак, и, с трудом ворочая буйволиной шеей, спросил угрюмо:

— У вас, герр Раух, есть оружие?

— Какое оружие?

Тучный Коссак неопределенно побарабанил пальцами.

— Какое-нибудь — револьвер, ружье, нож?

— У меня ничего нет, — сказал Юрген, поглядывая на Коссака и ожидая, что будет дальше. По выражению узень-

ких, хитрых глаз ювелира можно было понять, что он собирается сообщить нечто не совсем обычное.

— Жаль, — пробурчал Коссак. — Дело в том, что я получил секретный приказ фюрера находиться в боевой готовности. Как видно, фюреру надоело ждать. Наведайтесь ко мне завтра, я постараюсь достать для вас хороший парабеллум.

Помедлив немного и решив, что разоренный русскими большевиками молодой помещик заслуживает полного доверия, Ахим Коссак наклонился к Юргену и прохрипел:

— Восьмого ноября государственный комиссар Баварии фон Кар будет выступать в зале ресторана «Бюргерброй». Там, конечно, соберутся все мюнхенские сливки — генералы рейхсвера, чиновники, офицеры. Фюрер решил тайно провести в «Бюргерброй» группу вооруженных людей, арестовать всю социал-демократическую верхушку во главе с фон Каром, образовать собственное общегерманское правительство, а потом начать поход на Берлин.

— А войска рейхсвера? — опешил Юрген. — Они же сомнут горсть наших людей в одну минуту!

Коссак пожал круглым бабьим плечом.

— Это нас не касается. Воля фюрера — закон. Приходите завтра утром, я вам выдам пистолет, а вы напишете расписку...

На следующий день Юрген пришел в ювелирный магазин «Ахим Коссак и сыновья» и владелец магазина торжественно протянул ему тяжелый парабеллум:

— Получите и действуйте во славу новой Германии...

Юргену очень хотелось посоветоваться с Конрадом, но тот уехал на три дня в Штеттин и должен был вернуться только седьмого вечером. Говорить же о таких серьезных делах с дядей Готлибом или с Гертой не было никакого смысла, и Юрген бродил как потерянный, не зная, принимать ли всерьез слова Коссака или отнестись к ним как к шутке.

Приезд Конрада разрешил все. Он вернулся оживленный, слегка пьяный и, выслушав кузена, махнул рукой:

— Какие там шутки! Завтра мы покажем этим демократам, что такое настоящие немцы. Они у нас попляшут!

Восьмого с утра моросил мелкий дождь, потом ветер разогнал тучи, зашумел на бульварах палой листвой, понес по улицам обрывки бумаг. К вечеру похолодало. На западе, окаймленная двумя полосами темных неподвижных облаков, меркло сияла сизо-багряная заря.

Вместе с двумя сотнями молчаливых, вооруженных пистолетами и ножами парней Конрад и Юрген долго стояли неподалеку от ресторана «Бюргерброй», подняв воротники пальто и дожидаясь своей очереди. Полицейские, как и было заранее условлено, чтобы не вызвать подозрения, пропускали в зал по двое, по трое парней. Наконец и Конраду с Юргеном удалось протиснуться в ресторан.

В огромном зале с высоким лепным потолком было сильно накурено. Люди не раздеваясь сидели у столиков, на подоконниках, стояли вдоль стен. Сидевшие за столами пили пиво из больших кружек, и те, кто столпился у стен, с завистью посматривали на них.

На полукруглой эстраде стоял длинный стол. За ним, сгрудившись кучкой, сидели коренастый, неповоротливый фон Кар, начальник баварского рейхсвера Лоссов и вертлявый остроносый начальник мюнхенской полиции Зейсер.

— А где же фюрер? — прошептал Юрген, склонившись к уху Конрада.

Тот неопределенно повел головой:

— Там, возле первого столика.

Когда полицейский офицер закрыл массивную дверь зала, государственный комиссар фон Кар вышел на край эстрады, оправил лацкан черного пиджака и произнес:

— Господа! По поручению президента я пригласил самых уважаемых граждан Мюнхена, чтобы сообщить о намерениях...

В эту секунду из-за первого столика вышел Гитлер и в сопровождении высокого, слегка располневшего офицера направился к эстраде.

— Кто это с фюрером? — замирая, спросил Юрген.

Конрад незаметно вытащил и положил на колени финский нож.

— Замолчи! — прошипел он. — Это капитан Герман Геринг...

Не сводя глаз с поднимавшихся по ступенькам людей, фон Кар сделал шаг назад и пробормотал растерянно:

— Господа! Я не понимаю, как вы можете...

Но Гитлер не дал ему договорить. Выхватив из кармана браунинг, он выстрелил в потолок и закричал высоким фальцетом:

— Довольно! Национальная революция началась! В зале находится шестьсот человек, вооруженных с головы до ног. Вверху, на хорах, установлены мои пулеметы. Казармы

рейхсвера и полиции уже заняты нами, и солдаты идут сюда под знаменем национал-социалистской свастики!

Губы Гитлера судорожно подергивались, и весь он был как на пружинах, метался по эстраде, кричал. Наконец, заложив руку за борт солдатского мундира, он приказал:

— Господин Кар, господин Лоссов, господин Зейсер! Тут, рядом, есть комната. Прошу вас пройти туда со мной для переговоров.

Трое сидевших за столом испуганно переглянулись и пошли вслед за Гитлером. На эстраде остался только Геринг. Он улыбался и, подбирая грузный, затянутый серым мундиром живот, теребил пальцами пряжку широкого офицерского пояса. Подождав немного, Геринг поднял руку и сказал напряженным, взволнованным голосом:

— В соседней комнате сформировано центральное имперское правительство новой Германии в следующем составе: глава правительства — Адольф Гитлер, главнокомандующий национальной армией — генерал Людендорф, министр полиции — Зейсер...

Парни из нацистских отрядов стали бешено аплодировать. Радуясь и удивляясь тому, что все прошло так гладко, Юрген тоже бил в ладоши и кричал Конраду:

— Здорово получилось! Молодцы наши!

Но его радость оказалась преждевременной. Комендант Мюнхена генерал Даннер, которому уже успели доложить о путче в ресторане «Бюргерброй», рассвирепел, обозвал генерала Лоссова бабой и заявил, что завтра же «партизанский путч проходимца Гитлера» будет ликвидирован.

Из ресторана разошлись мирно. Ночью Юрген вместе с группой парней из своего отряда расклеивал на площади Одеон подписанные Гитлером воззвания, а утром начались вооруженные схватки между частями рейхсвера и путчистами. Синий от холода и страха, Юрген бежал вдоль стен в цепи штурмовиков, прятался в воротах, стрелял куда-то из своего парабеллума. Он видел только бежавших рядом с ним толстого Коссака и какого-то одноглазого парня с маузером в руке и не знал, что происходит в городе.

После полудня перестрелка стала стихать. Кучка нацистов, в которой был Юрген, сбилась у закрытых дверей галантерейного магазина. Через минуту появился маленький человечек в шляпе и, сверкая черепаховыми очками, сказал:

— Все кончено. Фюрер арестован. Его увезли в комен-

датуру. Приказано разойтись по домам и надежно спрятать оружие.

Так завершился первый акт начатой Гитлером драмы.

Юрген прибежал домой. Там дядя Готлиб и Роза, сокрушенно вздыхая, перевязывали Конраду легко раненную руку. В углу, с ужасом глядя на них, хныкала Христина.

— Ничего, — сквозь зубы проворчал Конрад, — смеется тот, кто смеется последним... Мы еще им покажем!..

Придя в себя, Юрген стал мучительно искать причины столь неожиданного и постыдного поражения. Иногда вечерами он заговаривал об этом с Гертой. Глядя в потолок, морщась, как от зубной боли, он жаловался на неорганизованность нацистских отрядов, на недостаток оружия, даже на ветер, который дул в лицо штурмовикам и мешал им вести меткий огонь.

Юрген не знал только одной причины: того, что Адольф Гитлер начал путч, не испросив на то разрешения своего покровителя Гуго Стиннеса, который как раз в эти дни вел сложные переговоры с французами о судьбе Рура, то есть о том, кто будет выжимать из рурских рабочих последние соки и обогащаться их трудом — Франция или он, владелец двух с половиной тысяч заводов, тайный властелин Германии? Нацистский путч едва не испортил Стиннесу всю игру. Именно поэтому путч был ликвидирован с такой молниеносной быстротой.

Почти никто из рядовых участников путча не был наказан. Герману Герингу удалось бежать в Швецию. Гитлера судили за государственную измену и приговорили к пяти годам тюремного заключения. Но благодаря заступничеству весьма уважаемого социал-демократами баварского принца Рупрехта половина этого срока была признана «условным наказанием». В ландсбергской тюрьме Гитлеру была приготовлена удобная, хорошо меблированная камера, и он, накапливая силы для будущих схваток, начал писать книгу «Моя борьба».

Боясь ареста, Юрген Раух три недели прятался у Герты. Изо дня в день шли нудные, наводившие тоску дожди. Из окошка затерянной на седьмом этаже мансарды были видны только кирпично-красные крыши домов и край залитой лужами пустынной улицы. По утрам Юрген пил разогретый Гертой несладкий кофе, играл с нею в карты или часами шагал по комнате, не зная, чем заняться.

Иногда вечерами забегал Конрад. Перевязанную кисть

руки он предусмотрительно засовывал в карман драпового пальто, но держался бодро и даже вызывающе.

— Не вешай нос, кузен, — посмеиваясь, говорил он Юргену, — относись ко всей этой музыке как к неудачной репетиции, в которой молодые актеры сыграли не очень-то умело! Спектакль еще впереди, я тебя уверяю...

К Герте Конрад относился с милой простотой старого друга: целовал ей ладони, подтрунивал над нею и Юргеном, называя их мужем и женой, и шутливо допытывался, не пришла ли пора подарить очаровательной фрау пестрый капот.

— Нет уж! — отшучивалась Герта, щуря глаза. — Мы предпочитаем чистую любовь, без свидетелей, хотя бы и маленьких...

Первое время Юрген ревниво следил за Конрадом и Гертой, всматривался в выражение их глаз, но поймал себя на мысли, что ему, в сущности, совершенно безразличны отношения его любовницы и кузена. Гораздо интереснее были те новости, которые сообщал ему вездесущий кузен.

Развалясь в кресле, посасывая сигарету, Конрад говорил убежденно:

— Красные тоже проиграют бой. Среди коммунистов не утихает драка. Сейчас они начинают кусать своего руководителя Брандлера, причем особенно старается гамбургский герой Тельман. Говорят, он в глаза называет Брандлера ренегатом и оппортунистом и даже требует его удаления... Это хорошо. Пусть они дерутся, а мы будем накапливать силы...

Юрген внимательно слушал все, что рассказывал Конрад, и в нем снова нарастало чувство тревожного ожидания. Очевидно, в недалеком будущем предстояли жаркие, жестокие бои, от которых нельзя ни уйти, ни спрятаться.

«Что ж, — думал Юрген, — померяемся силами! Если весь мир сошел с ума, лучше уж быть буйно помешанным, чем смиренно помирать в постылой лечебнице...»

Он решил ждать.

4

Среди живущих на земле людей ни на одно мгновение не прекращалась жестокая то тайная, то явная борьба, потому что все люди в равной мере хотели и имели право пользоваться благами земли, но были лишены этого в силу несправедливых, установленных владыками жизни зако-

нов, закрепивших власть над землей за немногими избранными.

Земля же, как это всегда было, жила по своим, независимым от людей законам, и в ней тоже непрерывно то тайно, то явно происходили могучие процессы, перед которыми были бессильны разрозненные, враждующие между собой люди.

В начале сентября весь мир был встревожен землетрясением в Японии. Колеблемые исполинскими подземными толчками, рушились здания в Токио, Иокогаме, Хамамицу, и под их каменными развалинами гибли тысячи беспомощных мужчин, женщин и детей. Потревоженный океан, выйдя из берегов, затопил города, деревни, понес на волнах жалкие обломки нищенских бамбуковых домиков. Перевернутые невиданно яростным штормом, гибли пароходы. Не могли всплыть на поверхность подводные лодки, в них задохнулись сотни матросов. Широким потоком разлилась внезапно повернувшая вспять река Сумигава. Был засыпан землей курорт Хаканэ. За двести километров было видно зарево пожаров, и небо стало красным, как кровь, — это горели города Кавагучи, Йокосука, Нагоя, Тайохаси, множество прибрежных селений и деревень. Против города Иокогама из морских глубин поднялся новый остров. На военных складах рвались миллионы снарядов, срезая осколками все живое, и земля, разверзая недра, поглощала обгорелые трупы...

Двадцать часов подряд содрогалась земля, и двадцать часов метались ошалелые от страха, потерявшие близких и кров, оставшиеся в живых люди. Сотни тысяч погибли за одни сутки.

Казалось бы, все человечество должно было тотчас же протянуть братскую руку помощи пострадавшим от землетрясения японцам. Но капиталистические страны жили по звериному закону взаимной вражды. «Человек человеку — волк» — так гласил этот не знавший пощады закон.

Только Советский Союз сразу же поддержал японцев. Совнарком СССР вынес решение о немедленном оказании помощи японскому народу в связи с постигшей его бедой. По всей стране начался сбор пожертвований. Многие московские коммунисты были направлены на проведение этой безотлагательной, срочной кампании. В числе их оказался и дипкурьер Александр Ставров.

Две недели Александр ходил на заводы, вел беседы с молодыми и старыми рабочими, посещал многие квартиры.

Ему почти нигде не приходилось уговаривать: он коротко рассказывал о землетрясении, и рабочие охотно отчисляли из своей заработной платы часть денег и просили побыстрее переслать японцам.

Как-то вечером Александру в комиссариат позвонил хозяин квартиры адвокат Тер-Адамян и сказал несколько смущенно:

— Александр Данилович, извините меня, вас тут ждут ваши земляки. Я, конечно, пригласил их в комнату, но дело в том, что мне надо уходить, и я не знаю.

— Какие земляки? — удивился Александр.

— Двое мужчин и девушка. Они говорят, что им обязательно нужно повидаться с вами...

Александр недоуменно пожал плечами:

— Хорошо, иду...

В гостиной адвоката он увидел низенького старичишку в новом смуром зипуне, пожилого крестьянина с рыжей бородой, одетого в такой же чистый, праздничный зипун, и высокую, статную девушку в хорошо сшитом голубом платье. Тер-Адамян, улыбаясь, сидел в качалке и, как видно, развлекал необычных гостей.

— Не угадаете? — поднялся навстречу Александру старик. — А я, голуба, вас угадал.

Он протянул сухонькую руку и заговорил, ухмыляясь в тщательно расчесанную бородёнку:

— Мы, значит, из Огнищанки будем. Привезли вам поклон и письмецо от вашего брата Митрия Данилыча. А сами по другим делам в Москву прибыли — на сельскую хозяйскую выставку закомандированы общим сходом. Я буду по фамилии Колосков, Иван Силыч. Этот гражданин со мною — наш культурный середняк Терпужный Павел Агапыч, а дивчина от сельского комсомола прислана, по фамилии Лубяная.

Сделав такое торжественное представление, дед Силыч откинул полу зипуна, достал из кармана штанов аккуратно завернутое в платок письмо, развернул и подал Александру.

— А это, значит, от брата Митрия Данилыча.

— Очень рад, товарищи, — засуетился Александр. — Садитесь, поговорим, я чайку согрею.

Он кинулся было на кухню, но вернулся и спросил смущенно:

— Может, вам ночевать негде? Так мы попросим Гайка Погосовича...

— Зачем же это? — важно сказал Силыч, поглядывая на хозяина. — Нам всем троим дали кровати с подушками и с одеялами, также и всем крестьянам, которые на выставку закомандированы...

Он тронул за плечо Ганю Лубяную:

— Какое эта улица название имеет?

— Земляной вал, — слегка смущаясь, подсказала Ганя.

— Во-во! — кивнул дед. — На этой улице такой домина стоит. Нас в нем и расквартировали, аж на шестой этаж, спасибо им, поселили, чтоб всю Москву видать было. Так что вы, Данилыч, не хлопочите про это, благодарствуем...

Адвокат любезно предложил Александру угостить земляков в столовой, раскланялся и ушел. Через полчаса, сняв зипуны, огнищане чинно сели за стол. Дед Силыч развязал лежавший па полу мешок, выпул из него замотанный в чистую тряпицу сверток.

— Мы, извиняйте, со своими харчами,— объяснил дед.— Нас как провожали из деревни, так всякой всячины надавали. Может, говорят, там, в московских волостях, голодновато, так вы берите в дорогу свое. Ну и нагрузили гусятиной, да салом, да сушкой разной. А мне, как старику, пирогов с тыквой особо напекли: угощай, мол, там кого хочешь.

Развернув тряпицу, Силыч сконфуженно мотнул головой:

— Скажи, беда какая! С пирогов блины поделались. Должно, спал я на мешке и придавил малость...

— Ничего, ничего! — успокоил старика Александр. — Съедим ваши пироги! Садитесь и пейте чай.

За чаем огнищане рассказали Александру о Ставровых, касаясь главным образом хозяйственных дел: какие добрые кони были куплены Дмитрием Даниловичем, какой у него уродился овес, сколько зерна Ставровы продали на пустопольском базаре и какую купили одежду.

Выпив четыре чашки, Павел Терпужный незаметно перекрестился, степенно разгладил подстриженную, с лисьей рыжинкой бороду.

— Нам, Лександра Данилыч, про новости интересно было б узнать, чего, тоис, на свете делается: не слышно ли про войну или же про чего другое?.. Ты ж, говорят, по разным государствам ездишь, много видишь.

Александр побарабанил пальцем по столу.

— Как вам сказать... За границей народу трудно жить. Поэтому в каждой стране что ни месяц, то рабочая забастовка или какой-нибудь голодный поход. Кое-где люди на-

чинают терять терпение, вооружаются и восстают. Вот совсем недавно в Германии, в городе Гамбурге, было вооруженное восстание. Но его зверски подавили...

— У меня в Германии живет один знакомый, — задумчиво сказала Ганя.

— Да? — взглянул на нее Александр. — Кто ж такой?

Щеки девушки заалели.

— Так, один из нашего села... уже два года, как уехал с отцом в Германию. Он сам немец.

— Нашего огнищанского барина сынок, — подмигнул дед Силыч, — по фамилии Раух... Не встречали, случаем?

— Нет, не встречал.

— Он все Ганечке письма шлет, замуж взять намерен.

— Да уж вы скажете! — совсем смутилась девушка.

Выручая Ганю, Терпужный скрипнул стулом:

— Ну а еще, тоис, чего там делается, на земле?

— Вот недавно было сильное землетрясение в Японии, много людей погибло...

Александр обстоятельно рассказал о землетрясении и, памятуя о своем долге агитатора, закончил:

— Сейчас Советская власть собирает деньги пострадавшим японцам. Надо бы и вам, товарищи, пожертвовать что-нибудь. Там ведь много простых, трудящихся людей пострадало.

— А то как же! — подхватил дед Силыч. — Сколько их там, таких обездоленных! Те рис сеяли, те рыбу в океане ловили, а те шелк на фабрике вырабатывали. Нам в поезде почти что на каждой станции про них рассказывали и денег просили на это самое трясение земли. Ну, мы, конечное дело, не отказывали. Я, можно сказать, все деньжишки свои отдал...

Силыч хитровато улыбнулся:

— Выходит, голуба, напрасно ты нас агитировал. Ну да ладно, мы ж понимаем, что людям надо помощь оказать, наскребем еще немного...

В воскресенье Александр Ставров побывал с огнищанами на Сельскохозяйственной выставке. Обширная территория выставки, еще не совсем благоустроенная, удивила и обрадовала его светлыми павильонами, праздничной нарядностью диаграмм, множеством экспонатов, доставленных почти из всех республик Союза.

На выставке толпами ходили оживленные, веселые люди. Среди темных и серых армяков, украинских свиток, красноармейских шинелей мелькали пестрые халаты узбе-

ков, таджиков, лохматые папахи горцев. Кое-где, особенно у стендов с каракулем, беличьим мехом, кожами, у витрин с пшеницей и рожью, стояли кучки иностранцев — молчаливых, делового вида мужчин в беретах и шляпах.

Дед Силыч, всю жизнь проживший в пастухах, целый день не выходил из обширного отдела животноводства. Распахнув полы своего зипуна и важно заложив руки за спину, он любовался конями, коровами, овцами, свиньями и одобрительно причмокивал губами:

— Добрящая скотина, ничего не скажешь!..

По просторным вольерам расхаживали и лежали на земле, лениво пережевывая жвачку, пестрые ярославские, красные бестужевские, горбатовские коровы. В денниках, гладкие как атлас, ржали донские, кабардинские, башкирские, вятские кони; подобные горам, стояли на слоновых ногах тамбовские и воронежские битюги.

Совершенно пленили деда овцы. Слегка приоткрыв рот, он восхищенно оглядывал черных волошских овец, белых балбазов, мазаевских, бокинских, цыкал, манил их рукой, заходил с одной стороны, с другой, точно собирался купить всю выставочную отару.

Дед повернулся к Павлу Терпужному:

— Вот, Павел, нам бы в огнищанскую отару одного такого баранчика — через два года мы бы своих овечек не узнали!..

С улыбкой слушая Силыча, Александр не переставал удивляться тому, как много сделано в России за шесть лет. Ведь еще недавно казалось, что раны, нанесенные двумя войнами, разрухой, голодом, не залечить и за полвека. А вот поди ж ты, завод АМО уже выставил свой первый грузовой автомобиль, уже сверкают яркими красками косилки, сеялки, маслобойки, конные грабли — десятки машин, только что выпущенных советскими заводами. Уже веселые, крепкие люди по-хозяйски осматривают богатства, собранные ими за такой короткий срок.

«Что ж, если у нас положено такое начало, — с горделивой радостью подумал Александр, — то лет через десять мы, пожалуй, сами не узнаем свою страну».

Конечно, Александр видел на московских улицах толпы безработных, которые выстраивались вереницами перед открытыми для них столовыми; он часто ездил и видел из окон вагона много унылых, разрушенных вокзалов, депо, фабрик; он знал, что, несмотря на все старания правительства, еще много беспризорных детей скитается по стране.

Но первый шаг уже был сделан, республика стала подниматься из руин, люди вздохнули полной грудью...

На поле, примыкавшем к территории выставки, стоял окрашенный в голубой цвет биплан. Курносый летчик в лихо сбитом на затылок кожаном шлеме ходил чуть поодаль и, сверкая белыми зубами, покрикивал:

— Давайте, граждане, прокачу по воздуху! Подниму до самых небес и покажу выставку сверху! Давайте, не стесняйтесь! Все удовольствие стоит один червонец! Сбор в пользу беспризорных детей!

Дед Силыч долго стоял возле биплана, слушал разбитного летчика, а потом решительно повернулся к спутникам:

— Полечу!

— Ты чего, одурел?— накинулся на него Павел Терпужный. — Разве ж на этакой хлипкой штуковине можно рисковать! Небось как сорвется да стукнет об землю — костей не соберешь!

— А мне что? — храбрился дед, чувствуя, что на него начинают посматривать. — Бабки у меня нема, голосить по мне некому. Возраст мой подходящий, не теперь, так в четверг все одно помру, чего ж бояться!

— Давай, давай, папаша! — подзадорил летчик. — Вернешься до дому — всему селу расскажешь, как ты был вознесен на небо. А уж если доведется падать, скучно не будет — свалимся вместе.

К биплану группами и в одиночку подходили люди, с усмешкой слушали деда. Подошли два американца в светлых плащах, с фотоаппаратами через плечо. Подбежали рабфаковцы в синих спецовках. Дед Силыч становился центром общего внимания.

— Ну что ж, отец, летим?— поторапливал летчик.— Всего один червонец.

Дед ударил по карману:

— Может, на пятерке сойдемся, а?

Задавая этот каверзный вопрос, слегка струсивший дед был уверен, что летчик безусловно откажется лететь за пять рублей и, значит, можно будет без особого стыда тихонечко уйти. Но летчик подумал и махнул рукой:

— Давай, папаша! Все равно, погибать так погибать.

Щеки деда чуточку побледнели. Отступать было некуда. Вызывающе поглядев на публику, он стащил с себя зипун, аккуратно сложил его вдвое и кинул на руки ошеломленному Терпужному:

— Возьми, Павел, случаем чего — отдашь призорным

ребятишкам или же этим, которых там раструсило, — японцам...

Летчик, посвистывая, обошел биплан вокруг, вернулся и пригласил деда в открытую кабину:

— Садись, отец!

— Гроши вперед или как? — осмелился спросить Силыч.

— Садись, садись, потом посчитаемся!

Усадив старика, летчик стал заботливо привязывать его широкими ремнями.

— Постой-ка, голуба! Это ж для какой надобности ты на меня путá надеваешь? Я не дюже норовистый, ты не бойсь, брыкаться не буду.

— Сиди, отец, так надо! — рассердился летчик и полез в переднюю кабину.

Стоявший у биплана парень в черной робе качнул рукой пропеллер, закричал предупреждающе:

— Контакт!

— Есть контакт! — ответил летчик.

Тотчас же взревел мотор, винт бешено завертелся, с шумом взвихривая воздух. Биплан затрясся, проковылял, покачиваясь, как гусак, шагов тридцать, а потом рванулся, понесся по полю и плавно оторвался от земли. Летчик сделал разворот. Перед людьми на секунду мелькнуло иссиня-меловое лицо деда Силыча, и легкий биплан взмыл в чистую синеву неба.

— Ну, теперь деду хватит разговоров до самой смерти! — засмеялась Ганя. — Заговорит всю деревню, спасения от него не будет.

Дед Силыч вернулся триумфатором. Когда биплан сел, а летчик подрулил к месту стоянки, Силыч некоторое время сидел молча, потом сказал летчику тоном приказа:

— Чего дожидаешь? Распутывай меня!

Он медленно сошел с биплана, постоял, охорашиваясь, и небрежно бросил Терпужному:

— Заплати ему там червонец за счет общества. А мне подержи-ка зипун, чего-то вроде похолодало...

Видимо не желая больше разговаривать, дед круто повернулся и зашагал к воротам. За ним пошли Александр, Павел Терпужный и Ганя. Александра все время подмывало спросить у Гани, давно ли она видела Марину, но он стеснялся мужчин. Только в трамвае, усевшись рядом с девушкой, он произнес как бы невзначай:

— У брата в Огнищанке жила их невестка с дочкой. Вы ее встречаете?

— Это Марина Михайловна, Таина мама? — повернулась Ганя.

— Да, да!

— Она в прошлом году уехала в Пустополье, в трудовой школе работает, и Тая с нею.

— А в Огнищанку приезжает?

— Приезжает, я ее встречала раза два или три, — оживилась Ганя. — Румяная такая стала, красивая. Ей бы замуж выйти, да она, говорят, мужа все ждет.

Александр потупил голову:

— Да, я знаю.

Память перенесла Александра к берегу покрытого льдом огнищанского пруда, где он когда-то стоял с Мариной. Она казалась тогда совсем беззащитной, маленькой и жалкой в своем потертом, старом пальтишке, в пуховом платке, а глаза у нее, как у раненой птицы, были подернуты влагой.

«Нет, пора все это кончать, — подумал Александр, — нельзя же человека ждать столько лет, так и жизнь незаметно пройдет, оглянешься, а жизни нету. Я напишу ей обо всем, пусть переезжает в Москву, будем жить вместе...»

На Земляном валу Терпужный и Ганя сошли с трамвая и отправились в общежитие, а дед Силыч поехал к Александру: решил после острых впечатлений отвести душу. Уже сидя в холодноватой комнате и обняв ладонями горячий стакан, дед стал рассказывать об Огнищанке. Говорил долго, обстоятельно, даже с оттенком некоторого удивления, как будто сегодня, поднявшись на биплане, он впервые по-настоящему рассмотрел родную деревню.

— Оно конечно, Советская власть много пользы принесла, — сказал Силыч,— это видно всем. А вот мужики скрозь еще живут по-старому. Возьмите, к примеру, нашу Огнищанку. До революции у нас богато жили только Раух да два мужицких семейства — Шелюгины и Терпужные. Ну, Рауха выгнали, землю у него забрали, роздали людям. А что получилось? Бедняку свою земельную норму обработать нечем, а жить надо. Он и сдает землю в аренду тому же Антону Терпужному или Тимохе Шелюгину, сам же идет батраковать. Где ж тут, извиняюсь, правда?

Он допил чай, аккуратно поставил стакан вверх дном, вытер ладонью усы и проговорил, отодвигая стул:

— Говорят, товарищ Ленин болеет. Это верно?

— Верно, Иван Силыч, — угрюмо ответил Александр, — Ленин болеп.

Старик потоптался, походил по комнате, надел зипун и, стоя у порога, сказал тихо:

— Прощевай. Спасибо за хлеб-соль. Ежели, случаем, тебе пощастит повидать Ленина или же, может, у тебя есть такие товарищи, которые его увидят, нехай ему скажут так: «Огнищанский пастух Иван Колосков летал над городом Москвою, глядел сельскую хозяйскую выставку и посылает тебе, товарищ Ленин, свою ласку и поклон...»

— До свидания, Иван Силыч, — проговорил Александр, обняв старика. — Хороший вы человек.

— Вот, вот... до свидания... А еще нехай скажут, чтоб он не болел, чтоб выздоровлял... Так нехай и скажут: просит, мол, тебя Иван Колосков — не болей, товарищ Ленин, народу без тебя трудно...

5

К югу от Москвы, мягко огибая невысокие, покатые холмы, тянется старая Каширская дорога. Вымощенная диким камнем, обсаженная молодыми деревцами, она пролегла по холмистой равнине с перелесками, по зеленым луговым низинам, по глинистым гребням крутых оврагов.

По обе стороны дороги, недалеко одно от другого, спокон века стоят подмосковные села — Дьяковское, Орехово, Петровское, Шипилово, Ащерино, Расторгуево. Темные, тропутые сизым мхом деревянные домики с коньками на крышах, с резными ставнями и крытыми крыльцами подступают тут к самой дороге. В отгороженных частоколом двориках поскрипывают колодезные барабаны, мирно кудахчут хохлатые куры-пеструшки, сушится на веревках белье...

А вокруг, куда ни глянь, все та же, с припаленными рыжими бурьянами, с травяной зеленью по западинам, русская земля. Где-нигде промелькнет роща древних сосен с корявыми стволами, чисто и молодо забелеют в гущине перелесков редкие березы — и снова поля, извилистые ложбины, крестьянские нивы с бурой наволочью на межах, истоптанная скотом толока, неумолчное грустное гудение телеграфных проводов...

Председателю Пустопольского волисполкома Григорию Кирьяковичу Долотову доводилось бывать в этих местах года три назад, когда он сопровождал Ленина в поездке на речку Северку, где Владимир Ильич охотился на бекасов и дупелей.

Сейчас Долотов сидел молча, откинувшись на спинку автомобильного сиденья, посматривал на своего флегматичного спутника-латыша и предавался воспоминаниям. Белокурый парень-латыш был одет в добротный защитного цвета костюм с малиновыми «разговорами» на груди. Небрежно кинутый на колени маузер в деревянной кобуре он уверенно придерживал затянутой в перчатку рукой. Долотову было неловко за свою потертую кожаную куртку, за полинялый солдатский костюм и тяжелые сапоги. Особенно же неприятно было то, что красивый латыш дважды задержал свой явно неодобрительный взгляд на поросших рыжеватыми волосами руках Долотова. Обе руки пустопольского председателя были украшены замысловатой татуировкой: на правой синел остроклювый морской орлан, на левой загадочно улыбалась обвитая змеей женщина с рыбьим хвостом вместо ног. Оба рисунка Долотову наколол десять лет назад электрик подводной лодки «Тритон» Ваня Бабкин, гуляка и фантазер. За годы войны Ваня так изукрасил всю команду «Тритона», что командир прославленной лодки всерьез решил откомандировать электрика Бабкина в Академию художеств.

Потом, в конце войны, когда в упор расстрелянный немецким эсминцем «Тритон» навеки улегся на дно Балтийского моря, а матрос Долотов в числе немногих добрался вплавь до угрюмого острова Эзель и вскоре стал командиром красногвардейского отряда на родном заводе «Русский дизель», парни-рабочие с такой неприкрытой завистью любовались руками своего лихого командира, что Григорий Кирьякович даже гордился произведением искусства покойного Вани Бабкина и отнюдь не собирался сводить великолепные рисунки.

Впервые смутился он в 1918 году, когда председатель ВЧК Дзержинский вызвал его к себе, сказал, что он, Долотов, по рекомендации партийной ячейки завода направляется в личную охрану Владимира Ильича Ленина и должен ехать в Москву. Разговаривая с Долотовым, Дзержинский скользнул взглядом по его рукам, чуть приметно усмехнулся и сказал:

— Кто же это вас так раскрасил?

— Был у нас на «Тритоне» один электрик, — объяснил Григорий Кирьякович, — он чего хотите мог наколоть. Одному минеру на всю спину нарисовал гибель города Помпеи с открытки художника Брюллова.

— М-да-а... — протянул Дзержинский, отводя от Долотова смеющиеся глаза.

Больше Дзержинский ничего не сказал, но по его глазам, по улыбке, по голосу Григорий Кирьякович понял, что председатель ВЧК отнюдь не в восторге от татуировки и даже как будто не одобряет творение живописца-подводника. С тех пор Долотов начал стыдиться своих рук.

Теперь, скосив глаза на своего спутника-латыша, Долотов сунул руки в карманы куртки и притих. Растрепанный «бенц», подпрыгивая на выбоинах и скрипя рессорами, медленно катился по тряской дороге. Сонный шофер то и дело подбадривал себя оглушительным сигналом и невозмутимо вертел баранку.

— Вы долго пробыли в охране товарища Ленина? — повернувшись к Долотову, спросил латыш.

— Два года, — неохотно ответил Григорий Кирьякович. — Только в разное время, в восемнадцатом и в двадцатом годах.

Латыш поднял на него светло-голубые глаза, поправил маузер.

— Трудновато, наверно, было в восемнадцатом году?

— Да, нелегко.

Старенький «бенц» вкатился на пригорок. Слева и справа зеленели рощи. Их пышная листва кое-где уже была тронута первой желтизной.

— А сейчас где работаете?

Хотя короткие вопросы латыша смахивали на беглый допрос, Григорий Кирьякович не обиделся, — наоборот, голубоглазый малый начинал ему все больше нравиться: по всему было видно — твердый и цепкий товарищ.

— Сейчас работаю в Ржанском уезде председателем Пустопольского волисполкома. В двадцать первом году окончил курсы ВЦИКа, и меня послали в деревню. Позавчера вот в Москве встретил Марию Ильиничну и стал просить: «Можно ли хоть одним глазом глянуть на Владимира Ильича? Уж очень я по нем соскучился». А она говорит: «Что ж, поезжайте, сейчас Владимиру Ильичу лучше».

— Лучше-то лучше, — отрывисто бросил латыш, — а только Владимир Ильич не слушается врачей: и газеты читает, и всякие письма стенографистке диктует, и по телефону чуть ли не каждый час звонит. Разве ж так можно? И главное, никто ничего сделать не может. Сколько уж раз его просили, он только посмеивается: ладно, мол, ладно, уговорили, больше не буду, — а сам опять за свое...

Автомобиль свернул с шоссе влево. Впереди замелькали крыши крестьянских изб. Латыш оправил гимнастерку, передвинул ремень маузера.

— Горки...

Сердце Долотова сжалось, забилось тревожными толчками. Тут, в Горках, живет Ленин. Он совсем близко, вот за этими деревьями.

Деревня такая же, как все другие на Каширской дороге: у склона холма приткнулись деревянные избы, у околицы пасется стадо коров. Вдоль заборов носятся босоногие мальчишки, кудахчут куры. Неярким блеском воды обозначилась крутая излучина Пахры. За деревней овраг, а чуть дальше, за оврагом, в старинном парке, белеет двухэтажный дом с колоннами, с боковыми флигелями и службами.

После выстрела террористки Каплан, после тягот гражданской войны, голодных лет, напряженных трудов, бессонных ночей здоровье Владимира Ильича было подорвано. Все чаще он вынужден был оставлять Москву и жить в Горках.

— Тут ему все же спокойнее, — сказал латыш, поглядывая на Долотова, — но такого, как он, разве кто-нибудь заставит отдыхать?

Автомобиль остановился у высоких ворот. Долотов уже не слышал и не мог слышать, что ему говорит молодой латыш: все внимание Долотова было направлено туда, за эти ворота, к дому, в котором сейчас жил Ленин.

— Что у вас в свертке, товарищ? — донесся до него чужой негромкий голос.

— Как? — встрепенулся Долотов. — Это шерстяные носки и шарф. Жена моя связала, просила передать Владимиру Ильичу. Она еще перчатки такие же вяжет, только не успела довязать, по почте потом пришлет.

— Пожалуйста, проходите...

И вот Григорий Долотов, бывший слесарь «Русского дизеля», бывший матрос подводной лодки «Тритон», трижды раненный красногвардеец, коммунист с 1917 года, председатель далекого Пустопольского волисполкома, побледнев от волнения, смахнув с подбородка внезапно выступивший пот, вошел во двор и остановился.

Прямо перед ним светлый, осененный зелеными кронами деревьев дом, а дальше, точно лес, тихо шелестит листвой вековой парк... Огромный, тенистый, с белыми березами по лужайкам, с раскидистыми липами, с елями. В глубине парка, похожие на бурые обломки скал, темнеют приземи-

стые курганы — стародавние захоронения славян-вятичей. На курганах высоченные, в два-три обхвата, сосны. Видно, год за годом роняли сосны колкие, с краснинкой иглы, и потому земля вокруг источает острый занах сухой хвои.

За парком виден небольшой яблоневый сад. Выбеленные стволы молодых яблонь сверкают меж зелени, как яркая вышивка. Чуть ближе — рощица крохотных вишен. Вишни — совсем младенцы, их стволики подвязаны к кольям.

Долотов секунду постоял, закрыв глаза. Словно озаренные ослепительной вспышкой молнии, возникли перед ним картины: Ленин на заводской трибуне, рука его поднята, тысячи рабочих слушают вождя. К Ленину в кабинет входят рязанские мужики в лаптях, и он, Ленин, поднимается с кресла, идет навстречу оробевшим ходокам, каждому пожимает руку. Ленину докладывают о том, что белогвардейцы взяли Армавир, что английские войска движутся к Онеге, и лицо Ленина становится серьезным, брови сходятся у переносицы, губы крепко сжаты. «Откуда же брались в нем силы, — подумал Долотов, — чтобы вести народ так уверенно и твердо? Ведь он все видит, все знает, все понимает, от него не скроется ничто...»

На порог застекленной террасы вышла Надежда Константиновна. Она в темном платье с узким белым воротником, седеющие волосы гладко зачесаны назад, в руках у нее свернутый в трубку журнал.

— Здравствуйте, товарищ Долотов, — сказала она приветливо. — Что же вы не заходите? Идите, Владимир Ильич вас ждет.

Долотов, еще больше волнуясь, пожал Надежде Константиновне руку, вошел в прихожую, разделся. Радужно светятся разноцветные стекла в окнах, по углам зеленеют цветы в глиняных горшках.

— Сюда, направо...

Дверь в небольшую комнату распахнута. Долотов, не зная, куда девать свой бумажный сверток, замешкался у двери и вдруг услышал телефонный звонок и насмешливый голос Ленина:

— Что такое? Вы народный комиссар связи или доктор медицины? Извольте снять опеку надо мной и наладить телефон! Это архибезобразие! Да, да! Я не могу нормально разговаривать с Москвой. Что? Нужен усилитель? Ставьте усилитель! Ничего не знаю и знать не хочу! Вот, вот!

Раздался стук телефонного рычага. Ленин крикнул из-за двери:

— Надя! А где же Долотов?

— Я здесь, Владимир Ильич, — беспомощно оглядываясь, отозвался Долотов. — Разрешите войти?

— Да, конечно, входите.

Долотов вошел, замер у порога. В комнате у стола, опираясь на палку, стоял Ленин. На нем легкий, просторный френч цвета хаки, черные брюки, мягкие домашние туфли. Верхняя пуговица френча расстегнута, ворот распахнут, так что видна похудевшая шея. Долотов впился взглядом в слегка осунувшееся лицо Ленина, пробормотал радостно и растерянно:

— Здравствуйте, дорогой вы мой Владимир Ильич! Как же рад я, что вижу вас!

— Здравствуйте, товарищ Долотов, — сказал Ленин. — Ну, идите сюда, поздороваемся! Давненько мы с вами не виделись.

— Почти два года, Владимир Ильич.

— Верно, верно, почти два года. А вы, смотрите, все такой же молодец и крепыш. Ничего вас не берет.

Они поздоровались. Долотов смущенно развернул и положил на стол свой сверток.

— Степанида Тихоновна просила подарочек передать вам, сама вязала, шарф шерстяной и носки. Пускай, говорит, Владимир Ильич носит на здоровье. Я, говорит, от чистого сердца, так и скажи.

Темно-карие глаза Ленина заискрились улыбкой.

— Спасибо, спасибо! Она такая же заботливая, ваша Степанида Тихоновна. Помните, как она однажды провожала нас на охоту? А? Все боялась, чтоб с нами чего не случилось. На свете, говорит, много злых людей.

На стене, рядом со столиком, висит старомодный «эриксон» с трубкой на рычаге. Точно вспомнив что-то, Ленин снимает трубку, несколько секунд слушает, склонив голову, потом говорит, стараясь раздельно произносить слова:

— Дайте-ка мне Совнарком. Да, да. Кто? Здравствуйте. Меня интересует такой вопрос: как на Сельскохозяйственной выставке представлены совхозы, коммуны и коллективные хозяйства? Что? В малом количестве? Дело не в количестве, а в колоссальном — слышите? — в колоссальном значении этих хозяйств. Нужно, чтобы выставка стала у нас

живым фактором коммунистической пропаганды в деревне, а не стихийным базаром...

Прищурив глаза, Ленин вслушивается в то, что говорит невидимый собеседник, и прерывает сердито:

— То, что Главсельмаш экспонирует машины, рассчитанные на конную тягу, хорошо, но этого недостаточно. Американскими «фордзонами» нам тоже нечего гордиться, невелика заслуга. Извольте передать, чтобы на самом видном месте были выставлены наши, только что выпущенные два трактора. Это архиважно. Слышите? Н а ш и два трактора! А список представленных на выставке совхозов, коммун и коллективных хозяйств прошу передать мне к завтрашнему дню. Я сам хочу осмотреть выставку. До свидания!

Владимир Ильич повесил трубку, покрутил ручку «эриксона», намереваясь, должно быть, еще с кем-то поговорить, но в комнату, предупредительно кашлянув, вошел бритый старик в черном сюртуке. Это был лечивший Ленина невропатолог. Он посмотрел на Владимира Ильича, укоризненно покачал головой.

Ленин неохотно оставил телефонную ручку, вздохнул с деланным смирением:

— Все, все, профессор. Больше не буду. Сейчас мы пойдем в столовую, будем пить чай, а наш гость, товарищ Долотов, расскажет нам, как живут ржанские крестьяне. Прошу вас!

Двинулись гуськом: сдержанный профессор впереди, за ним Ленин, успевший дважды подмигнуть Долотову, а позади Григорий Кирьякович. У лестницы, ведущей на второй этаж, стоял сегодняшний спутник Долотова, молодой латыш. Когда Ленин поравнялся с ним, латыш зарумянился, помальчишески оттопырил губы:

— Здравствуйте, Владимир Ильич. Разрешите помочь вам.

— Здравствуйте, товарищ Отто, — приостановился Ленин и насмешливо прищурился. — Опять вы со своей помощью? Никакой помощи. Я сам взойду!

Он взялся за внутренние, специально сделанные для него, близко сдвинутые перила, пошел наверх, добрался до последней ступени и погрозил латышу пальцем:

— Видели? А вы мне помощь предлагаете!

Столовая оказалась небольшой комнатой с угловым диваном и столом, накрытым серой в квадратиках клеенкой. На краю стола, распространяя запах древесного угля, уютно вы-

свистывал простой самовар на подносе. Вокруг самовара стояли стаканы, полоскательница, стеклянная вазочка с мелко наколотым сахаром.

Пока Надежда Константиновна разливала чай, Долотов огляделся. В столовой не было ничего лишнего: на дверях недорогие светлые портьеры, на стене три картины русских художников и аршинный, покрытый белой эмалью термометр.

Ленин придвинул ему стакан чаю:

— Ну, рассказывайте, как у вас там народ живет.

Размешал, стараясь не звенеть ложкой, чай, приготовился слушать.

— Сейчас народ живет ничего, — подбирая каждое слово, медленно заговорил Долотов, — после голодного года залечили все раны, про запас зернишко имеют, коровами обзавелись. Мужик сейчас одним недоволен, Владимир Ильич.

— Чем же? — насторожился Ленин.

— Сколько я ни беседовал с мужиками, люди в один голос говорят: хлеб, дескать, дешевый, а товары дорогие. Сапоги, скажем, купить, косу или паршивую катушку ниток, так пшенички надо продать в пять раз больше, чем этим товарам цена. Вот народ и жалуется: обижают, мол, деревню. А есть у нас по хуторам и такие, которые прямо говорят: «Лучше мы зерно скотине скормим или в ямах его захороним, чем задарма заготовителям отдавать». И надо сказать, Владимир Ильич, что не только кулаки такое мнение имеют...

Глаза Ленина сузились, взгляд сделался жестким, колючим.

— Это у нас в ВСНХ такие мудрецы сидят, директивы дают хозяйственникам: вышибайте побольше прибыли от продажи промышленных товаров, повышайте цены сколько влезет, деньги, мол, нам необходимы.

Он повернулся к Надежде Константиновне:

— Прости, пожалуйста. Возьми карандаш. Запиши, пусть передадут по телефону в Цека.

Ленин стал диктовать, и голос его зазвучал твердо и строго:

— Вторично предупреждаю: нэпманский лозунг чиновников из ВСНХ о безудержном повышении цен на товары в конечном счете может привести лишь к сужению базы промышленного производства, кризису сбыта и подрыву индустрии. Проводимая этими чиновниками политика цен не-

избежно нанесет вред смычке с крестьянством. Полагаю, что важнейшим вопросом о ценах надо заняться теперь же, сегодня, немедленно.

Затаив дыхание, Григорий Кирьякович вслушивался в каждое слово Ленина, чтобы все запомнить, ничего не упустить. Мысленно он спрашивал себя: «О чем самом важном, самом главном, основном надо узнать сейчас?» Он тотчас же подумал, что самое важное, самое главное, основное — здоровье Ленина, но спросить об этом не решался, так как видел, чувствовал, что Ленин болен, что он, подавляя страдание, как бы отрывает, стряхивает с себя физическую боль, но продолжает из этого спокойного, тихого, окруженного парком дома руководить партией, страной, гудящей как улей, вынесенный из темного зимовника на залитый солнцем весенний ток.

А Ленин, уловив немой упрек в глазах профессора, уже говорил, примирительно поглядывая на него:

— Все, все. Молчу. Ей-ей! Молчу и слушаю пустопольского товарища.

И, повернувшись к Долотову, спросил:

— Коммуны, артели у вас в волости есть?

— В Пустопольской волости нету, Владимир Ильич, — сказал Долотов. — В нашем уезде есть одна коммуна под Ржанском, называется «Маяк революции», только она на ладан дышит, ничего путного из нее не выходит. Земли коммунарам отвели много, почти что все монастырские поля им прирезали, а работать на этой земле нечем. У них десятка три или четыре подбитых коней да пара поломанных косилок. Вот они и маются. Сенокосы сдают нашим пустопольцам за третью копну, а пахотной земли не осваивают и половины, бурьяны на полях растят. Теперь у них вовсе плохое положение.

— Почему? — спросил Ленин.

Григорий Кирьякович рассказал о поджоге скирды, об аресте Тимофея Шелюгина, о том, что отдельные коммунары ушли из коммуны и поступили на кирпичный завод.

— Я сам с ними беседовал, — закончил Долотов. — Они только рукой машут и говорят: «На беса нам сдалась такая коммуния!»

Ленин задумчиво помешал ложечкой недопитый чай.

— Этого, собственно, следовало ожидать. На подбитых конях крестьянин в коммунизм не въедет. Для крупного же артельного объединения типа сельскохозяйственной коммуны нужны машины, которых мы пока дать не можем.

Он пристально посмотрел на Долотова:

— Вы обязательно посетите Сельскохозяйственную выставку. Там будут показаны два наших, советских трактора. Вот если бы мы могли дать завтра народу сто тысяч таких тракторов, обеспечить их бензином, посадить на тракторы хороших машинистов, то любой ваш ржанский крестьянин сказал бы: «Я за коммунию». К сожалению, это пока фантазия. Но это будет. И в очень недалеком времени. Сама же идея кооперирования крестьянства совершенно правильная, единственно правильная идея: крестьянству надо переходить к хозяйству общественному — в этом выход. Что же касается форм такого перехода, то они не даются готовыми. Партия ищет эти формы — коммуну, артель, товарищество, проверяет их самой жизнью. Тут могут быть и ошибки и срывы. Но путь указан правильный. Единственно правильный...

Ленин расспросил Долотова об урожае, поинтересовался работой сельсоветов, волостной партийной организации и, расположившись в кресле поудобнее, попросил:

— А теперь расскажите-ка, в чем больше всего нуждается волость.

Но, как видно, терпению профессора наступил конец. Старик поднялся, чопорно поклонился Надежде Константиновне, строго сказал что-то Ленину—что именно, Долотов не расслышал, — и Ленин, улыбнувшись краешком губ, проговорил:

— Начальству надо подчиняться, ничего не сделаешь.

Отпуская Долотова, он сказал:

— Вы не вздумайте уезжать без моего разрешения. До завтрашнего дня вам можно задержаться. Товарищ Отто вас устроит.

Сопровождаемый Надеждой Константиновной и профессором, Владимир Ильич ушел отдыхать.

Долотов спустился вниз, присел на скамью под высоким кустом сирени. Стоял теплый полдень. Сирень давно отцвела, но между ее истемна-зелеными листьями еще бурели остатки сухих цветочных кистей с коричневыми коробочками. Над политыми утром клумбами, бесцельно жужжа в лиловых астрах, носились пчелы.

«Да, да, самое главное сейчас — его, Ленина, здоровье,— думал Долотов, вслушиваясь в монотонное жужжание пчел. — Этот врач правильно делает, заставляя Владимира Ильича отдыхать. Но разве его заставишь отдыхать? Он и

тут работает не покладая рук. Каждый из нас, глядя на него, должен работать вдесятеро, тогда и ему будет легче».

Григорий Кирьякович вспомнил, как Ленин спросил его, в чем больше всего нуждается волость. На это надо было ответить со всей серьезностью. В Пустопольской волости многого не хватает: малочисленна партийная организация — один коммунист на две-три деревни; плохо работает прокатный пункт — там пара ветхих триеров, конная молотилка да три сеялки; куда ни поедешь — всюду плохие дороги, мостики вот-вот обрушатся, а средства на дорожное строительство не отпускают; в кооперативные лавки вместо дегтя, гвоздей, мыла, керосина завозят одеколон, зонтики, какую-то никому не нужную дребедень. Да, это все плохо, но ведь есть в волости и хорошее, то, чего там никогда не было, что принесла с собой Советская власть и о чем с чистым сердцем можно сказать Владимиру Ильичу Ленину: получивший землю мужик с каждым днем все крепче становится на ноги, все ближе к сердцу принимает Советскую власть; партийная организация в волости здоровая, до последней капли крови преданная ленинской идее; полным ходом идет по волости ликвидация неграмотности, и уже скоро каждый пустопольский мужик сможет не только сказать, но и написать все, что хочет; мужик все больше начинает верить в силу общего человеческого труда, начинает понимать, что рай надо строить не на небе, а на земле.

«Так я ему и скажу, — заключает Григорий Кирьякович, — все как есть расскажу — и про плохое и про хорошее. Ленину нужно говорить только правду, от него скрывать ничего нельзя».

— О чем задумались, товарищ Долотов? — спросил, присев на скамью, Отто.

— О разном, — уклончиво ответил Григорий Кирьякович.

— Товарищ Ленин только что приказал обеспечить вам ночлег. Если хотите, можете поместиться в нашем флигеле, у нас там есть свободная койка.

— Спасибо, мне все равно.

Обычно молчаливый, латыш на этот раз, по-видимому, решил, что Григорий Кирьякович заслуживает доверия и внимания.

— Вы знаете, как сказал о вас товарищ Ленин? — Латыш коснулся рукой локтя Долотова. — Он подошел ко мне и сказал: «Товарищ Отто, прошу вас обеспечить удобный ночлег герою, который в воде тонул, в огне горел, бил белогвардей-

скую нечисть, а сейчас работает на самом ответственном участке».

— Так и сказал?

— Так и сказал.

Крепкие скулы Долотова слегка порозовели.

— Я действительно тонул на подводной лодке. А в девятнадцатом году под Старым Осколом беляки хотели сжечь меня живьем. Связали руки и ноги телефонным проводом, бросили в горящую хату, дверь замкнули и ушли.

— Ну и как же вы спаслись? — с уважением глядя на Долотова, спросил латыш.

— Перегрыз провод зубами и вышиб оконную раму, — помолчав, сказал Долотов. — Но дело, конечно, не в этом. Дело в том, что Владимир Ильич помнит про каждого из нас, про любого человека помнит.

Отто кивнул:

— Это верно. Он один раз человека увидит — и запомнит его навсегда. Тут, в Горках, он знает почти всех крестьян и рабочих совхоза. Детей их в лицо знает.

Подсев поближе, латыш заговорил с неприкрытой тревогой:

— Все-таки он очень болен, Владимир Ильич.

Долотов смотрел на белокурого латыша и думал: «Неужто мы можем потерять Ленина? Неужто можем остаться без Ленина?»

Перед обедом Ленин расспрашивал Долотова о делах Пустопольской волости. Они сидели на открытой террасе, Ленин — в кресле, а Надежда Константиновна и Долотов — рядом, на стульях.

Перелистывая «Правду», то и дело поправляя очки и посматривая на Владимира Ильича, Надежда Константиновна медленно и негромко читала заголовки корреспонденций:

— «В Дрездене полиция расстреливает демонстрации безработных...», «Французы-оккупанты бросают в тюрьмы коммунистов Рура...», «Генерал Сект запретил деятельность компартии в Германии...»...

Все это, конечно, давно известно Ленину. Все происходит так, как должно происходить в жестоком и подлом мире угнетения: нищета народа, убийства, репрессии, провокации, вечные грызня и злоба — затянувшаяся агония обреченного историей мира.

Ленин постукивает пальцами по ручке кресла.

Надежда Константиновна откладывает газеты, начинает

перелистывать журнал. Ей хочется отвлечь Ленина, почитать что-нибудь легкое.

— Послушай, — говорит она, — молодая учительница, комсомолка, родила дочь и назвала ее Нипель.

Ленин удивленно смотрит на жену:

— Ну и что?

— Нипель, если читать справа налево, — Ленин.

— Скажи пожалуйста, — хмурится Владимир Ильич, — додумаются же! Не понимаю, для чего это... Справа налево! Потом придумают еще сверху вниз или снизу вверх...

Из комнаты, помахивая шелковистым хвостом, вышел красновато-рыжий ирландский сеттер. Он положил голову на колени Владимира Ильича, замер в безмолвной ласке. Ленин задумчиво погладил шею сеттера, легонько отвел его рукой: иди, мол, гуляй.

— Почта разобрана? — спросил Владимир Ильич.

Надежда Константиновна помедлила. Она не может и не хочет говорить, что великое множество получаемых каждый день писем содержит один и тот же тревожный вопрос: как здоровье Ленина? Опубликованные в газетах бюллетени не только не успокоили народ, но внесли еще большие тревогу и волнение. Люди посылали письма и телеграммы со всех концов страны, требуя ответить: как чувствует себя Ленин, кто и как его лечит?..

— Так что же все-таки почта? — повторил Владимир Ильич.

Надежда Константиновна поднялась, отложила на круглый столик газеты и журналы.

— Почту разбирают. Сейчас я узнаю, есть ли что-нибудь важное...

Проводив Надежду Константиновну взглядом, Ленин всмотрелся в глубину парка. Там, меж красноватыми стволами сосен, видимый со всех сторон, темнел громадный, пробуравленный дуплами дуб-титан. Его могучий, опаленный многими грозами ствол был в нескольких местах забинтован брезентом, покрыт смоляными пластырями, но исполинская, точно из чугуна отлитая крона все еще золотилась пышной, пламенеющей багряными бликами листвой.

— Экий богатырь! — с восхищением сказал Ленин, указывая рукой на дуб. — Прямо-таки Илья Муромец! Видите, какая махина? Садовник уверяет, что ему восемьсот лет. Завидный век!

— Я уже любовался им, — почтительно поддержал Доло-

тов, — со всех сторон ходил вокруг него. Красавец! Вот бы человеку столько жить!

— Будет жить, — улыбнулся Ленин, — не столько, конечно, но дольше, чем сейчас живет. Избавится от голода, нужды, болезней, войн, непосильной работы — от всего, что уродует душу, и продлит себе жизнь этак раза в два...

Наклонившись в кресле, Ленин потянулся к столику, взял оставленный Надеждой Константиновной журнал, начал быстро перелистывать его левой рукой, оглядываясь с видом заговорщика.

— Так, так... На Украину прибыли итальянские промышленники, которых интересует металлический лом... Ну, лом, положим, и нас интересует. Надо сегодня же позвонить в Совнарком, чтобы запретили продавать лом... А вот снимок... Поглядите, Долотов, — гора беличьих шкурок, закупленных Америкой. Это, бог с ними, пусть покупают, нам пока можно обойтись без беличьих шкурок. Вот рабфаковец, вчерашний пастух. Очень хорошо.

Бровь Ленина вскинулась, в прищуренных глазах мелькнул огонек. Положив журнал на стол, Ленин на мгновение задумался, потом повернулся к Долотову и заговорил, отсекая каждое слово:

— Единство партии — вот что главное. Наиболее опасно сейчас подлое нарушение единства партии. А у нас есть немало истеричных фразеров, крикунов, оппортунистов, зараженных идиотской болезнью фракционного вождизма. Этих надо беспощадно гнать из партии, выжигать их каленым железом, чтобы следа не осталось, иначе они приведут к катастрофе...

На террасу вошел Отто:

— Владимир Ильич, вас просит к телефону товарищ Дзержинский.

Опираясь на палку, Ленин медленно пошел в дом. Вскоре Долотова позвали в столовую. Перед обедом из Москвы приехала Мария Ильинична. Она села рядом с Лениным и долго рассказывала ему о последних новостях: о строительстве Волховской гидростанции, о письмах рабкоров в редакцию «Правды», о заграничной корреспонденции.

Ленин слушал очень внимательно, а иногда перебивал сестру, обращаясь к Надежде Константиновне:

— Запиши, пожалуйста: об этом надо сегодня же сообщить Михаилу Ивановичу Калинину...

Или:

— Черкни у себя: позвонить Фрунзе...

— Запросить Оргбюро Цека...

— Набросать коротткое письмо в Рабкрин...

После обеда Владимир Ильич ушел отдыхать, и в этот день Долотов больше его не видел. Вместе с Отто и пожилым помощником начальника охраны, бывшим токарем, уральцем, Григорий Кирьякович ходил в совхоз, осматривал поля, парники, с любопытством наблюдал, как приземистый трактор «фордзон», пыхтя, оставляя за собой бурый хвост пыли, нашет зябь.

Рано утром Долотов собрался уезжать. Ему очень хотелось проститься с Лениным, и Отто посоветовал ему подождать.

— Ленин каждое утро ходит в беседку, — сказал Отто, — там вы и попрощаетесь с ним.

В парке было много тихих, тенистых уголков, аллей, ровных, как натянутая струна. Но Ленин особенно любил эту открытую, с белыми колоннами, беседку.

С вершины холма, на котором стоял дом, к беседке сбегала по окаймленному соснами покатому склону узкая аллея. Среди дряхлых, одетых медно-желтой чешуей сосновых стволов едва слышно шелестели ветвями бело-розовые, с накрапом веснушек березы.

Григорий Кирьякович пошел по аллее вниз, остановился неподалеку от беседки и стал ждать. Скоро он увидел Ленина.

С палкой в руке, в наброшенном на плечи легком пальто и кепке, Ленин осторожно спустился к беседке и сел на низкую деревянную скамью. Отсюда, с крутого склона холма, открывалась повитая сизоватой, почти прозрачной дымкой даль. Внизу остро поблескивал голубой пруд. Левее пруда, за рощицей ронявших листья лип и тронутых матовым серебром елей, угадывалась излучина Пахры, а прямо, на ближнем взлобке, разделенные кривыми межами, чернели крестьянские огороды. За рекой, на обширной равнине, пролегала железная дорога — там виднелся наполовину скрытый речным туманом мост.

Ленин молча сидел на скамье, и Долотов не осмелился его беспокоить.

Лицо Ленина было освещено солнцем так ясно, что Долотов видел на нем каждую морщинку. Затаив дыхание, смотрел он на Владимира Ильича, чтобы на всю жизнь запечатлеть дорогие черты, чтобы навсегда запомнить острый прищур темно-карих глаз, резко очерченный, оттененный рыжеватыми усами и бородой рот, неповторимый наклон го-

ловы: чуть набок, словно Ленин вслушивался во что-то, чего не слышит никто.

Кто знает, о чем думал Ленин в этот ранний утренний час? Коммунистическая партия, которую он основал, почти тридцать лет растил и берег, закалилась в боях, повела за собою народ и победила. Великую и трудную дорогу прошла ленинская партия, великой силой стала. Давно прошли те времена — забыть их нельзя, — когда первых борцов-коммунистов пытали в жандармских застенках, отправляли на виселицы, томили в каторжных тюрьмах. Давно прошли годы — разве можно их забыть? — когда ленинскую «Искру» нелегально несли в народ, провозили в чемоданах с двойным дном через границы, слово ленинской правды из уст в уста передавали на тайных собраниях, митингах, маевках.

Ни муки, ни каторга, ни предательство, ни самая смерть ее бойцов не сломили партию, потому что звала она человечество к счастью. Ширились ее ряды, все больше верил ей народ, по всему миру неслась о ней добрая слава...

«Вот и я стою перед ним, перед Лениным, — думал Григорий Кирьякович, — я, слесарь и солдат Долотов, сын рабочего, внук рабочего, и хочется мне подойти к Ленину и сказать: «Дорогой, великий человек! Ты сделал для людей столько, сколько не сделал никто! Никогда не умрешь ты, любимый всеми нами, потому что сердце твое, мысль твоя, каждая кровинка твоя во веки веков будут жить в партии...»

Сняв кепку, Долотов подошел к беседке и сказал:

— До свидания, Владимир Ильич.

Ленин поднял глаза, улыбнулся:

— Едете? Уже?

— Еду, Владимир Ильич, надо ехать. Спасибо вам за все, за все...

— Желаю вам успехов, — сказал Ленин, — желаю счастливого пути.

Ленин привстал, неторопливым движением плеча оправил сползающее пальто, протянул руку:

— До свидания, товарищ.

Долго-долго не мог Долотов оторвать свою руку от его крепкой, теплой, ласковой руки...

6

После путешествия в Москву в характере деда Силыча появилась черта, которой до этого у него никто не замечал, — сосредоточенность. Огнищане заметили, что дед даже

внешне изменился: стал подстригать свою бороденку, ходил медленно, вразвалку, а говорил неохотно, тихо.

О своем полете над выставкой Силыч ничего не рассказывал. Он не рассказал об этом даже на общем сходе, когда делегаты отчитывались о поездке в Москву. А их слушали не только огнищане, но и жители всех окрестных деревень.

— Чего-то наш дед мудрует, — недовольно ворчал Илья Длугач. — Мы от него агитации ожидали, а он — на́ тебе! — молчит, будто воды в рот набрал...

Однако дед Силыч не всегда молчал. Правда, женщин он не удостаивал разговором, только степенно и важно здоровался с ними, а мужикам твердил одно:

— По старинке мы хозяинуем, теперича так не годится. Скот у нас мелкий, безо всякого образования. Пшеничка тоже не дюже добрая, куколя в ней больше, нежели, скажем, зерна. А почему? Потому, что у каждого из нас в отдельности силенки маловато. Значит, голубы мои, надо людям объединение творить, один до одного сходиться; особливо беднякам...

— Это, выходит, в коммуну надо записываться или как? — спрашивали огнищане, с опаской посматривая на деда.

— Зачем в коммуну? — Силыч морщился. — Насчет коммуны я и сам не дюже охочий. А вот, к примеру, триер сообща добыть, чтоб зернишко чистить, или же культурного бугая за общие гроши приторговать — это куда как требуется!

Как-то вечером у пруда, куда Силыч согнал на водопой огнищанское стадо, с ним встретился Антон Терпужный. Был он простужен, весь усыпан чирьями и потому злился на весь свет.

— Ты чего это народ баламутишь? — сердито бросил Антон старому пастуху.

Кустистая бровь Силыча шевельнулась.

— Не разберу я, про чего разговор идет, — сдержанно сказал он. — Разъясни, голуба, как полагается.

— Я вот тебе разъясню, рвань голоштанная! — рявкнул Терпужный. — Ты не думай, что кругом тебя одни дурачки сидят. Мы знаем, чего ты своим овечьим языком мелешь, и я тебе напрямки скажу: ежели ты не угомонишься, мы тебя по-своему угомоним...

На изрытом морщинами, обветренном лице Силыча не дрогнул ни один мускул. Перекинув с руки на руку свитку, дед тихонько хмыкнул, глянул на Терпужного.

— Вот чего, товарищ, или же, вернее сказать, гражданин Антон Агапович Терпужный, — с достоинством проговорил Силыч. — Ты, по всему видать, запамятовал, что акурат шесть годов назад твоего милостивца Колю Романова, это самое, ссадили с трона и даже лишили его права голоса. Так что ты, голуба моя, про старое брось поминать.

Видя, как багровеет, наливается кровью лицо Терпужного, дед неторопливо поднял с земли тяжелую пастушью палку и сказал, усмехнувшись:

— А ежели ты, к примеру говоря, задумаешь чего такое, то знай — Советская власть не только руки тебе топором стешет, а, гляди, и голову отмахнет, да так, что ты и с Мануйловной своей попрощаться не успеешь...

— Ладно, — с угрозой в голосе проворчал Терпужный, — мы этот разговорчик в поминание запишем!..

В тот же вечер Антон Агапович отправился к своему зятю жаловаться на огнищанского пастуха. Острецов встретил его хмуро. Он сидел на лавке, засунув руки в карманы, и нетерпеливо поглядывал на Пашку, которая укладывала в холщовый мешок только что испеченный хлеб, куски засыпанного солью сала, картофель и лук.

— Чего это, собрался куда, что ли? — осведомился Терпужный.

— Так... в одно место надо съездить, — уклонился от ответа Острецов.

— Далече?

— В лесничество, — буркнул Острецов. — Хочу купить десятка два сошек да сарай починить.

— Для чего же тебе столько харчей? — удивился Терпужный. — Тут на целый взвод наготовлено. Или, может, надолго едешь?

Острецов блеснул глазами, жестковато усмехнулся:

— Много будете знать — скоро состаритесь, папаша... У каждого из нас свои дела. Понятно?

— Оно конечно, — заморгал Антон Агапович, — тебе, сынок, виднее. — Он помолчал немного, повертел на коленях смушковую шапку. — А я до тебя по делу, Степан. Пастух наш огнищанский, дед Колосков, чего-то дурить стал, народ с толку сбивать.

— Чем же это? — спросил Острецов, поглядывая на тикающие у окна ходики.

— Как приехал из Москвы, так и зачал свою коловерть. Уговаривает огнищанских голодранцев триер сообща купить, сеялку. Обратно же, и про племенного быка речь за-

водит. А Капитошку Тютина насчет земельной аренды агитировал. Ты, дескать, кулаку Терпужному не сдавай землю, а то мы вовсе ее у тебя отберем...

Дед Силыч действительно разговаривал с Тютиным и ругал его за то, что тот отдал в аренду Терпужному три десятины земли. Болтливый Тютин тотчас же сообщил об этом Антону Агаповичу, и тот, озлившись, решил прижать пастуха.

— Он, сволочь, и про покойного государя всякую пакость городил, — мрачно сказал Терпужный, — а меня прямо обещался топором зарубать...

— Мы еще поговорим об этом, папаша, — поднялся Острецов, — а сейчас мне надо идти, люди ждут.

Он надел потертую кожаную тужурку, взял приготовленный Пашкой мешок и ушел, хлопнув дверью. Пашка посмотрела ему вслед, смахнула со стола крошки, запричитала в фартук:

— Вот так уже третий месяц... Наготовлю ему полный мешок харчей, а он убегает не знай куда... И все по ночам, чтоб люди не видели...

— Может, кралю себе какую завел? — неуверенно сказал Терпужный.

Пашка захныкала:

— Кто его знает... Я уж сама думала, раза два следом за ним ходила, поймать хотела.

— Ну и что ж?

— Да ничего. Идет прямо до Казенного леса, постоит трошки на краю, оглянется разок-другой и пропадет в гущине, будто сквозь землю проваливается...

Антон Агапович не без злорадства глянул на заплаканное, по-прежнему красивое лицо дочери.

— Сама себе мужenька выбрала, сама и кашу расхлебывай, — сказал он и поднялся с лавки. — А я пойду, Паша. Замучили меня проклятущие чирьи. Вся шея ими обсыпана, и на спине, должно быть, пять или шесть, не меньше. Хочу сходить до фершала, нехай поглядит, чего с ними делать...

Шагая от Костина Кута до Огнищанки, Антон Агапович думал о странном поведении зятя и не мог понять, чем вызваны таинственные прогулки в лес, да еще с харчами. «Не иначе как встречается с кем-то, — смекал Терпужный, — а может, и с какими бандюгами спутался... Этого еще нам недоставало...»

В амбулаторию он пришел, когда совсем стемнело. Фельдшер Ставров, выслушав его, недовольно проворчал:

— Какой же это осмотр, при лампе? Вы бы еще в полночь пришли, чтоб я впотьмах ваши фурункулы резал!
— Ты, Митрий Данилыч, не серчай, — заискивающе сказал Терпужный, — нету у меня мочи терпеть до утра. Чего хочешь делай, абы только меня отпустило. А то ни согнуться, ни голову повернуть не могу.
Дмитрий Данилович открыл калитку:
— Заходите, только побыстрее, у меня еще дела есть...
Пока фельдшер, гремя умывальником, яростно тер куском жесткого мыла сильные руки, Антон Агапович сопел и молча рассматривал изуродованные язвами лица, нарисованные на пришпиленных кнопками плакатах, ряды банок в застекленном шкафу и мерцающие на нижней полке инструменты.
— Чем же это у них обличье покорежено? — спросил он, кивая на плакаты.
— Волчанкой, — отрывисто бросил Ставров.
— Скажи ты, какая пакость! Недаром, видать, и волчанкой ее прозвали: морды у людей будто волком покусаны...
Наскоро прокипятив скальпель и несколько пинцетов, Дмитрий Данилович заставил Терпужного раздеться и, морщась от ударившего в нос острого запаха пота, стал промывать спиртом шею и широкую незагорелую спину больного.
— Надо мыться почаще и за бельем следить, — хмуро сказал он, — а то у вас вся спина подтеками грязи разрисована.
Терпужный смущенно крякнул.
— Да ведь мы, Данилыч, навроде меринов, из хомутов не вылазим. Какое там мытье!
— Тогда нечего на фурункулы жаловаться! Вы вот коней своих купаете, а сами, наверно, только на пасху да на рождество моетесь.
Ловкими и точными движениями он вскрыл четыре фурункула, на остальные наложил ихтиоловую мазь и стал забинтовывать Терпужного.
— Ну вот и все, придете послезавтра.
Антон Агапович поднялся, натянул на себя, неуклюже двигая руками, полинялую сорочку и повернулся к фельдшеру:
— А отчего это у меня чирьи так долго зреют? У жинки, скажем, день-два — и готово, а меня, бывает, неделями мучают. Отчего бы это?
— Оттого, что кожа у вас тóлстая, как у борова, — засмеялся Ставров. — Толстокожий вы, Антон Агапович.

Сокрушенно мотнув головой, Терпужный оделся и уже на пороге проговорил, сразу наливаясь злобой:

— А ты слыхал, Митрий, какая у нас в деревне волчанка объявилась? Почище твоих картинок будет!

— Что за волчанка? — поднял брови Ставров. — Где?

— Это я про Колоскова говорю, про деда Силыча, — пояснил Терпужный. — Он, этот чертов дед, прямой волчанкой оказался...

Не скрывая глухой, свинцово-тяжкой злобы, Антон Агапович поднял руку и стал один за другим загибать толстые, обрубковатые пальцы:

— Вековечный он лодырь и голодранец — это раз. Как в Москву его послали, он стал еще дурнее и хамоватее, потому что властишку за собой почуял, — это два. А теперь стал всякими брехнями народ баламутить — это три.

Он доверительно наклонился к фельдшеру и забормотал, касаясь ладонью его плеча:

— Ты, Данилыч, прибег в Огнищанку с голодухи, и не было у тебя ни кола ни двора. Ведь смеялись над тобой люди, когда ты хозяйновать начал с двумя безногими меринами. Ничего, баяли, у него не выйдет. А у тебя, гляди, за два года вон как хозяйствочко выросло: и кобыленки в конюшне стоят, и коровка есть, и свиньи, обратно же, и птица всякая, и детки, слава богу, одеты, обуты. А через что все это? Через то, что руки у тебя работящие и ты честный труд свой к земле приложил. Так вот, имей себе в виду, Митрий Данилыч, что такие забулдыги, как Иван Колосков, со света тебя сживут, в кулаки запишут.

— Ну, уж это ерунда, — засмеялся Ставров. — Какой же я кулак, если весь земельный надел обрабатываю своими руками, ни у кого не арендую ни одной десятины?

Терпужный мотнул головой:

— Про это они у тебя спрашивать не станут. Справно живешь — значится, кулак — и все. У нас ведь человек ничего не стоит. При таких порядках его враз погубить можно. Тимоху Шелюгина за что в каталажке мурыжили? Ни за что. Какой-то бандюга скирду в коммуне поджег, а человека виноватить стали. Хорошо еще, что выпустили, а то и жизни лишить могли.

— При чем же тут дед Колосков? — пожал плечами Ставров. — По-моему, он исправно пасет коров и ни во что не вмешивается.

Прикрыв дверь, Антон Агапович заговорил тише:

— Его, дурака, в Москву послали, он там на ероплане

летал и последних мозгов лишился. А теперь зачал разные козни строить. То до деда Сусака ходит, то до Луки Сибирного или до Кольки-вора, подбивает триер купить на общие гроши. Капитошку Тютина совсем с толку сбил. Зачем, говорит, кулакам землю в аренду сдаешь?..

Очевидно, Терпужный долго изливал бы свои жалобы, если бы Дмитрий Данилович вежливо не выставил его за дверь. Проводив Терпужного до калитки, он кинул руки за спину и медленно пошел к дому.

Слова Терпужного встревожили его. За два года он ни разу не задумывался над тем, что изо дня в день растет его хозяйство. Он пахал землю, сеял и убирал хлеб, ухаживал за конями и не спрашивал себя: сколько ему надо добра — зерна на чердаке, сала, телят, кур? Все это незаметно множилось, заполняло двор, ласкало глаз, и Дмитрий Данилович был доволен собой и семьей. И вот впервые за два года кто-то со стороны подсчитал его, ставровское, хозяйство и даже сказал: тебя, мол, тоже в кулаки запишут.

«Ну их к черту! — махнул рукой Дмитрий Данилович.— Я никого не ограбил, ничьим трудом не пользовался, меня это не касается».

Однако, войдя в комнату и повесив на крюк брезентовый плащ, Дмитрий Данилович огляделся с таким видом, будто зашел в чужой дом.

В печи жарко пылали дрова. Настасья Мартыновна, засучив рукава кофты, месила в деревянном корыте тесто. На широкой кровати безмятежно похрапывали Рома и Федя; их жесткие, как терка, испещренные порезами и трещинами пятки виднелись между прутьями железной кровати. Сонная Каля, сидя у стола, мыла посуду.

— Приготовь фонарь, — сказала Настасья Мартыновна, увидев мужа. — Похоже, свинья вот-вот опоросится, уж очень она беспокойная.

Дмитрий Данилович кивнул, молча поправил свечу в фонаре, зажег ее и пошел в свинарник. Супоросая свинья, отделенная от других деревянной перегородкой, лежала на боку, разметав солому. Голова ее была откинута, по огромному животу пробегала конвульсивная дрожь.

Посвечивая фонарем, Дмитрий Данилович присел на корточки, ласково огладил свинью ладонью. Она тихонько хрюкнула, заморгала утыканным белесыми ресницами розовым веком.

«Нет, нет, — подумал Дмитрий Данилович, — под меня

не подкопаешься, я ни у кого не ворую, это все мое, выращенное мною и моими детьми...»

Почти до рассвета он просидел в свинарнике, дождался, пока свинья родила последнего, девятого поросенка, а на заре накормил коней, разбудил Рому и Федю и выехал с ними в поле пахать зябь.

Стояло ясное, холодное утро поздней осени. Крепкий заморозок опушил стерню белым инеем. Над лесом вставало солнце, и вдалеке, за холмом, над деревней, к небу поднимались ровные столбы розоватого дыма. Кони шли резвым, размашистым шагом. Рома, подпрыгивая на стерне, еле поспевал за ними, а Дмитрий Данилович, одной рукой придерживая чепигу, шагал по борозде и слушал, как потрескивают корни, срезаемые глубоко запущенным лемехом.

В полдень слегка пригрело солнце, на стерне и между вчерашними бороздами растаял иней. Ставровы выпрягли коней, подогнали их к лесу и сели завтракать. К ним подошли дед Силыч и Николай Комлев, которые пахали неподалеку, через балочку, поле деда.

— Бог в помощь! — сказал дед Силыч, снимая шапку.

— Спасибо, — ответил Ставров. — Вам тоже.

Они бросили на землю стеганки, сели в кружок, задымили цигарками. Рома и Федя побежали в лес собирать терн.

— Ну, голуба моя, как твои дела? — спросил дед Силыч, вытягивая ноги и ласково поглядывая на Дмитрия Даниловича.

— Ничего, дела идут, — ответил Ставров. — А у вас как? — Он усмехнулся, похлопал Силыча по плечу: — Есть слух, что вы хотите коммуну в Огнищанке организовать. Верно это или нет?

Дед сосредоточенно погладил бороду, метнул на Ставрова быстрый, нащупывающий взгляд.

— Да оно как тебе сказать, мил человек? Про коммуну гадать страшновато. Не про это речь идет. А вот хозяйство свое подтянуть да бедняков наших на путь наставить — это мне в думку вгвоздилось.

Усевшись поудобнее, Силыч мечтательно посмотрел на плывущие по небесной лазури редкие облака и заговорил, сначала неторопливо, а потом все более и более возбужденно:

— Я, голубы мои, гляжу на наше житье и так рассуждаю. Вот, к слову сказать, скинули мы царя, землю промежду собой поделили, а полной правды все одно не добились,

особливо в крестьянстве. А почему? Да потому, что крестьяне-мужики при старом режиме не одинаковы были: одни побогаче, другие победнее. Так оно и при Советской власти осталось... Взять, к примеру, нашу Огнищанку. Много людей у нас при царе бедовали и теперь бедуют...—Силыч качнул головой, задумчиво погладил острое колено. — Лукерья-вдова, дед Сусак, Коля Комлев, Лука-переселенец — его Сибирным прозвали за то, что он аж в Сибири правду шукал. То же самое и я, грешный... Все мы как были голодранцами, так и ныне ими остались. Только и всего, что земельки нам подкинули да по праву-голосу руки поднимать дозволили. А земельную норму свою нам и обработать нечем, силенки не хватает. Вот и получается, голубы мои, сказочка по белого бычка: обратно требуется до Терпужных да до Шелюгиных в наймы идти, батраками подряжаться.

— Я этому гаду Терпужному своей бы рукой голову свернул! — сумрачно сказал Комлев.

— Погоди, Коля, — поморщился дед Силыч. — Дело не в его голове, а в том, мил человек, что беднота осталась беднотой. Сегодня Капитошка Тютин отдал Терпужному почти всю свою землю за десять пудов жита, завтра Лукерья батрачкой к нему пойдет. Чтобы этого сраму не было, надо нам, беднякам, помощь один другому оказывать.

Комлев сердито махнул рукой:

— Какую там помощь! Один голый да другой голый — будет два голых, и боле ничего.

— Не, голуба, не говори! — убежденно сказал старик. — По червонцу, допустим, сложились — бычка чистых кровей можно купить, скотину свою улучшить или же, к примеру, сообща выписать косилку-самоскидку, которая труд наш облегчит... А этого Терпужного придавить надо покрепче, голоса его лишить, арендную землю вовсе от него отобрать — тогда порядок будет. А иначе на кой же нам ляд Советская власть, ежели мы хозяевами не стали?

Дмитрий Данилович молча слушал старого пастуха и вдруг впервые почувствовал, что в захолустной, маленькой, тихой и мирной на вид Огнищанке, которая спасла от голодной смерти и приютила его, ставровскую, семью, идет глухая, затаенная, но яростная борьба. Он не понимал смысла этой борьбы, она казалась ему давней распрей чего-то не поделивших односельчан, и он с облегчением всегда думал: «Это их дело. Они тут спокон века грызлись, как собаки, за клочок земли, а моя хата с краю, меня это не касается...»

Поднявшись, Дмитрий Данилович отряхнул брюки, окликнул сыновей и вновь зашагал по глубокой, ровной борозде. Отдохнувшие кони пошли легко и резво, слегка наклонив головы и туго натягивая ременные постромки. Хмельным запахом влаги и перепревших корней дохнула отвернутая плужным отвалом свежая земля.

«Чудак! — подумал Ставров, вспомнив деда Силыча. — Косилку, говорит, сообща купить... Я вот сам, если уродит хлеб, куплю косилку, без всякой складчины... На что мне сдалась эта складчина?»

Подгоняя коней, он весело, заливисто засвистал.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1



има началась рано. По первопутку ровной пеленой легли глубокие снега, потом неделями дул северный ветер, бешеная пурга намела в полях сугробы, а к январю ударили свирепые затяжные морозы. Старые люди говорили, что таких морозов не было давно. Звери попрятались в норы, залегли в логовах по лесным оврагам, зарылись в снег. Птицы жались к деревенским избам, искали затишка на гумнах, под скирдами. Скованные обжигающим морозом, жалобно скрипели деревья. Над звенящей, как железо, землей, над обледенелыми натеками у дорог, над селами и деревнями, низкая, бесшумная, клубилась, бесновалась белесая мгла...

В один из таких морозных дней председатель Пустопольского волисполкома Григорий Кирьякович Долотов выехал в Москву, на Всероссийский съезд Советов. Степанида Тихоновна напекла ему шанежек, уложила в матросский, обитый жестью сундучок чистое белье, мыло, табак, а справа, отдельно, положила пару шерстяных рукавичек.

— Это Владимиру Ильичу Ленину, — смущенно и радостно улыбаясь, объяснила она мужу. — Так и передай, Гриша, что, дескать, знакомая ваша Степанида Тихоновна сама вязала из отборной шерсти и просила носить на здоровьечко.

— Что ты, Стеша! — усмехнулся Долотов. — Станет Ленин рукавицы твои носить! Чудачка ты, ей-богу! Только ему и делов рукавицами заниматься. Чего придумала, а!

Степанида Тихоновна обидчиво поджала губы:

— Ничего, ты передай. Твое дело маленькое. И носить рукавицы Владимир Ильич будет, потому что морозы стоят страшенные, а таких рукавиц нигде не найти: они особой вязки и легкие, как пушинка.

— Ладно, если увижу Ленина, передам, не волнуйся...

Однако Долотову не довелось увидеть Ленина и передать ему скромный подарок Степаниды Тихоновны. Сидя на заседании съезда, Долотов, как и другие делегаты, не знал того, что в эти минуты происходит в Горках...

Утром Ленин чувствовал себя как обычно. Он позавтракал, посидел в кресле у окна, поговорил с доктором, попросил почитать ему вслух. Надежда Константиновна принесла томик Джека Лондона и стала читать рассказ «Любовь к жизни». За окном, испещренные лиловатыми тенями заснеженных сосен, белели сугробы. Ленин смотрел на снег, на неподвижные деревья и словно наяву видел трагическую одиссею победившего смерть человека. А голос Надежды Константиновны, казалось, звучал откуда-то издалека:

— «Путник уже не сознавал, когда останавливался на ночлег, когда пускался в путь. Он шел ночью и днем. Отдыхал там, где падал, а когда угасшая в нем жизнь вспыхивала и горела чуть ярче, полз вперед. Как разумное существо он больше не боролся. Его гнала вперед сама жизнь, которая не хотела умирать...»

— Вот, вот, — задумчиво кивнул головой Ленин, — жизнь сильнее всего.

День прошел так же, как проходили в последнее время все дни. А под вечер Ленин слабым движением руки неожиданно попросил, чтобы ему помогли лечь в постель. В шестом часу дыхание его стало неровным, прерывистым. Он потерял сознание. Старый профессор, еле сдерживая дрожь в пальцах, сделал укол.

Прошло несколько минут. Они показались мучительной вечностью. Но вот профессор встал, закрыл лицо руками, бессильно опустился на стул.

— Что?! — вскрикнула Надежда Константиновна.

Ей никто не ответил. Глотая слезы, тяжело передвигая непослушные ноги, Мария Ильинична пошла вниз, к телефону...

На другой день утром в Москве должно было состояться очередное заседание съезда Советов. Григорий Кирьякович Долотов, по деревенской привычке, поднялся рано, наскоро

позавтракал и пришел в числе первых. Он долго ходил по коридору, сидел в курилке, разговаривал с товарищами.

Ровно в одиннадцать часов Калинин открыл заседание. Григорий Кирьякович сидел близко от президиума, в третьем ряду, и, взглянув на Калинина, понял, что случилось что-то очень серьезное.

— Товарищи, прошу встать, — негромко сказал Калинин.

По залу прошел тихий шум. Делегаты съезда поднялись с мест.

Калинин неловко поправил очки, глухо откашлялся.

— Товарищи, я должен сообщить вам тяжелую весть, — сказал он. — Здоровье Владимира Ильича в последнее время шло на значительное улучшение... но вчера... с ним произошел удар, и... Владимир Ильич умер...

На мгновение Долотову показалось, что все это сон, но в ту же секунду он услышал, как в зале, где-то сзади, раздался женский крик. Этот пронзительный, тотчас же оборвавшийся крик отозвался в сердце Долотова острой болью и заставил вслушаться в то, что читал Калинин. «В состоянии здоровья, — доносились до Григория Кирьяковича отдельные фразы, — произошло резкое ухудшение... наступило бессознательное состояние... появились общие судороги... скончался при явлениях паралича дыхательного центра...»

— Что он читает? — деревянным голосом спросил Долотов у стоявшего рядом пожилого рабочего в синей куртке.

— Бюллетень врачей, — ответил рабочий.

Глаза Долотова застлал туман. Охватив руками спинку переднего стула, он стоял молча и все еще верил, что страшный сон закончится. Но по щеке Калинина побежала слеза, голос его захлебнулся.

— Товарищи, нет слов, какие нужно было бы сказать сейчас... Я думаю, самая главная и основная задача, стоящая перед нами, — это сохранить завоевания, главным творцом которых был Владимир Ильич...

Заседание съезда было прервано. Невидимый оркестр начал играть траурный марш. Потом все устремились к столу президиума. Мозг Долотова почему-то сверлила мысль о Стешиных рукавицах: «Она просила передать Ленину рукавицы... если я его увижу... Как же теперь? Я ведь не увижу его...» Долотов вспомнил, что рукавицы с ним, в левом кармане. Он вынул их из сундучка в первый же по приезде в Москву день и носил с собой, надеясь увидеть на съезде Владимира Ильича.

Вместе с другими делегатами Григорий Кирьякович поехал в Горки, чтобы в последний раз проводить Ленина до Москвы.

Двадцать третьего января утром красный с черными лентами гроб вынесли из дома в Горках. Снег вокруг усадьбы был вытоптан тысячами ног. Люди стояли во дворе, в парке, заполнили деревенские улицы. Без музыки, в горестном молчании людской поток устремился через лес и заснеженное поле к станции Герасимовка. Часто сменяя друг друга, четыре версты несли люди гроб с прахом вождя. В час дня траурный поезд прибыл в Москву, на Павелецкий вокзал, где уже стояла несметная масса людей...

Все эти дни запечатлелись в памяти Долотова навсегда. Яростный мороз, снежные сугробы, костры на улицах Москвы, а вокруг костров тысячи, десятки тысяч людей. Многие по суткам не уходили домой, медленно брели от костра к костру, двигались к Дому Союзов, чтобы проститься с Лениным. Вместе с рабочими шли одетые в тулупы и суконные шлемы красноармейцы, дряхлые старики, женщины, дети.

У одного из костров ночью к Долотову подошел высокий военный в кавалерийской шинели, попросил папироску и хрипло заговорил:

— Кого хороним? А? Ленина! Разве ж думал народ, что Ленин может умереть? Я вот на четырех фронтах был, на виселице висел у дроздовцев, петлюровцы жгли меня раскаленными шомполами — звука не проронил, все выдержал. А тут не могу, сил не осталось!

Пока военный прикуривал, выхваченная из костра ветка на миг осветила его посиневшее на морозе, измученное лицо.

— Понимаешь, товарищ, не могу! — Он швырнул горящую ветку в снег. — Не могу представить себе, как мы будем без Ленина...

По улицам текли и текли бесконечные потоки людей. У Долотова замерзли руки, но он не вынул из кармана рукавицы, которые должен был передать Ленину, и шел, горбясь от холода, дыханием согревая окоченевшие пальцы.

Ранним утром Долотов стоял в почетном карауле у гроба Ленина. В Колонном зале остро пахло хвоей, от бесчисленных венков тянулся влажный запах живых цветов. Мягко покачивались расставленные вокруг гроба большие пальмы. Затянутые темным люстры торжественно и строго светились вверху, словно повитые сумеречным туманом планеты.

Живой рекой обтекая алый гроб, двигались и двигались люди — молодые, старые, русские, узбеки, армяне, киргизы, тысячи женщин с заплаканными глазами, — и Долотов думал о том, как непомерно много добра должен был сделать человек, чтобы завоевать такую чистую, святую любовь народа...

Второй съезд Советов СССР посвятил памяти Владимира Ильича Ленина первое свое заседание. Долотов был избран делегатом как Всероссийского, так и Всесоюзного съездов и потому присутствовал на этом историческом заседании.

Двадцать седьмого января хоронили Ленина. Мороз стал еще более свирепым и жгучим. Вся Москва была затянута дымом бесчисленных костров. Темно-бурый, он стоял ровными столбами, но вот, тронутый внезапным порывом холодного ветра, клубился, застилал пеленой улицы, занесенные сугробами парки, многоэтажные дома.

Несмотря на яростный, спирающий дыхание мороз, многотысячные толпы людей наводнили огромный город до самых дальних окраин. Люди стояли вокруг костров, протягивали к огню немеющие от холода руки, топали ногами и незаметно подвигались к Кремлю, к тому месту, где у старой, выбеленной изморозью зубчатой стены, как раз против невысокой Сенатской башни, на расчищенной от снега Красной площади был воздвигнут деревянный мавзолей.

Подобно тому как вылетевший из улья рой кружится, теснясь и сгущаясь там, где пролегает путь матки, так, дрогнув, двинулись массы людей к осененному знаменами алому гробу, который в четыре часа дня вынесли из Дома Союзов.

В мутных сумерках зимнего дня сквозь густую завесу дыма пробивались багряные отсветы костров. Вместе с другими в бесконечном человеческом потоке шел Долотов, одетый в свой длиннополый крестьянский тулуп. Еле сдерживаемые, готовые прорваться в крике рыдания теснили ему грудь, давили горло, но он крепился и шел, сцепив зубы.

Красная площадь. Траурные знамена, скрещенные над входом в склеп. Прощание народа с умершим вождем.

Когда дымный морозный воздух с громовым грохотом разорвали залпы орудий и раздались то низкие и хриплые, то резкие и тонкие, но слитые в один томительно-протяжный звук гудки заводов, фабрик, паровозов, Долотову на мгновение показалось, что уже сейчас начался завещанный Лениным последний решительный бой за всеобщее счастье людей. Уже не раз Долотов испытывал это захватывающее

душу злое, горячее чувство ближнего боя: когда водил в атаку на деникинцев матросский отряд, когда полз по снегу, простреленный шестью махновскими пулями, когда врывался с лавиной всадников на позиции колчаковцев...

Сейчас, в грохоте орудий и мрачном реве гудков, Долотова вновь охватило это знакомое, рвущее сердце, тяжкое, неистовое чувство, и он, не зная, что делать, как сказать о своем безысходном горе, сорвал с себя шапку и прошептал, с трудом разнимая побелевшие на морозе губы:

— Прощай, товарищ Ленин... Мы победим...

2

Ранней весной, в один из свободных от дежурств вечеров, к Александру Ставрову пришел его друг, дипкурьер Иван Черных. За последний год они очень сблизились, особенно во время совместных поездок за границу, и каждый свободный вечер обычно проводили вместе.

Александр лежал на койке. Подсунув под подушку свернутую втрое армейскую шинель и придвинув стул с пепельницей, он читал, окутанный клубами табачного дыма. За неплотно закрытой боковой дверью под чьими-то неловкими пальцами уныло дребезжал рояль.

— Ты что? Спать собрался? — сердито воскликнул Черных, кинув на стол шляпу и усаживаясь на край койки.

Александр отложил книгу, потянулся.

— Почему спать? Читаю интересную книгу, просвещаюсь. Не то что некоторые товарищи.

Между Ставровым и Черных установились хотя и дружеские, но довольно своеобразные отношения. Александр, в самый канун революции окончивший высшее начальное училище, до Красной Армии полгода служил вольноопределяющимся, очень много читал, чуть ли не каждый день посещал лекции и доклады, занимался математикой, уверяя, что в жизни все пригодится. Ваня Черных, флегматичный паренек из-под Иркутска, попал в Москву случайно, прямо из партизанского отряда, заметно скучал и неустанно внушал Александру, что охота на белок гораздо важнее математики. Александр подшучивал над ним, язвил, а иногда без стеснения обзывал Ваню вахлаком и неучем.

— Ты чего читаешь? — спросил Черных.

— Не «чего», а «что», — поправил Александр.

— Один черт!

— Нет. Так не говорят.

Ваня пренебрежительно фыркнул, расстегнул пальто.
— Ладно! Что же ты все-таки читаешь?
— Читаю, Ванюша, книгу, которая называется «Наедине с собой».
— А кто ее сочинил?
— Римский император Марк Аврелий.

Со смешанным чувством жалости и презрения Черных посмотрел на Александра, растерянно повертел в руках пепельницу, потом буркнул:
— И тебе не совестно, Сашка? Коммунист, на фронтах беляков громил, партия тебе такой пост доверила, а ты всякую контру, царскую писанину глотаешь. Противно глядеть на тебя!
— Ты, Ваня, не говорил бы о том, чего не знаешь, — усмехнулся Александр. — Марк Аврелий не только императором был, но и философом, и книга эта философская, хотя, конечно, чуждая нам по духу.

Черных тряхнул рыжими вихрами:
— Вот и я говорю — чуждая. На кой же ляд ее читать? Только голову себе забивать царскими баснями!

Впрочем, боясь насмешек Александра, Ваня предусмотрительно осведомился:
— А чего он пишет, этот самый Марк?
— Не «чего», а «что», — все так же невозмутимо поправил Александр.
— Иди к бесу! — рассердился Черных. — Ты мне толком объясни: что он пишет, твой белогвардейский император?
— Пишет, что жизнь человеческая очень коротка и что человек должен спешить сделать людям побольше добра...

Брови Вани дрогнули.
— Интересный царек... Только смотря кому добро делать: ежели буржуям, то пусть твой Марк на другом лугу пасется.
— Между прочим, Ваня, — засмеялся Александр, — Марк Аврелий и о тебе кое-что написал.
— Обо мне?!
— А вот слушай. Уверяю, это к тебе относится.

И Александр прочитал вслух:
— «Ты должен сознать, что положен предел времени твоей жизни, и если ты не воспользуешься этим временем для своего просвещения, оно исчезнет, как исчезнешь и ты, и более уже не вернется...»

Отложив книгу, Александр вскочил с койки, ударил товарища по плечу:

— Ну как, Иван Карпович, согласен с Марком Аврелием?

— Отстань! — отмахнулся Черных. — Твой Марк по саду гулял да груши околачивал, а у меня дела хоть отбавляй.

Приятели посидели молча, покурили. Каждый думал о своем. Александр тревожился: вторую неделю не было писем от Марины; Ваня Черных мечтал о встрече с Машей, хорошенькой, похожей на цыганку стенографисткой из наркомата. В обеденный перерыв она успела сообщить Ване, что вечером будет с подругой на танцах в наркоматском клубе. Ваня Черных понимал в танцах столько же, сколько в сочинениях Марка Аврелия, но увидеть цыганочку ему очень хотелось. С самым невинным видом он обратился к Александру:

— Вместе того чтобы царские книжки читать, ты бы лучше в клуб со мной пошел. Все больше пользы получишь.

— А что сегодня в клубе? Танцы?

— Какие танцы? — Ваня изобразил на своем лице презрение. — Там, Саня, интересная беседа проводиться будет.

— О чем?

— Говорят, из-за границы вернулся наш торговый агент Беленький. Он чуть ли не во всех странах Европы побывал. Будет рассказывать о том, что видел.

— Уговорил, — подумав, сказал Александр. — Пойдем послушаем Беленького.

В клубе было шумно, весело и суетливо. По обширным, расцвеченным флажками и плакатами фойе прохаживались наркоматские девушки в клетчатых блузках и коротких, очень узких юбках; первыми узнавая о заграничных модах, они любили «задавать тон» москвичкам и, потряхивая помальчишески стриженными волосами, победно разгуливали по клубу, распространяя тончайшие запахи французских духов; за ними ватагой следовали румяные шумливые «краскомы» — красные командиры — вчерашние фронтовики, партизаны, которые вопреки всем законам старой военной науки лихо разгромили отборные армии белогвардейцев, а сегодня по приказу командования сели за парты различных военных академий; хоть и были эти веселые слушатели академий одеты в добротную командирскую форму с нашивками — алыми и синими «разговорами», — а все же остались у них укоренившиеся с детства замашки пастухов, шахтеров,

разухабистых ребят с заводских окраин. Тенью следуя за паркоминдельскими модницами, вызывая то смущенный, то звонкий и откровенный смех, они острым солдатским словцом перебрасывались с девушками, разглядывая их подбритые затылки, стройные ножки в тонких чулках и обтянутые узкими платьями фигуры.

В отдельных комнатах сидели и до одурения спорили юркие, подвижные, пёряшливо одетые в потертые кожанки и стоптанные сапоги оппозиционеры, которых Троцкий исподволь старался объединить для своих пока еще скрытых целей.

Оппозиционеры шныряли по клубам, по общежитиям партийных школ и рабфаков, забегали в заводские цехи, поднимали бесконечные споры, хватали собеседников за пуговицы, за лацканы пиджаков; они пытались убедить людей в том, что страна идет к гибели, что «цекисты-перерожденцы» уже «продали мировую революцию» и представляют собою не более как «термидорьянскую фракцию».

Покачивая головами, политиканы-спорщики на память цитировали целыми страницами Каутского, Троцкого (особенно Троцкого!), назубок знали постановления всех партийных съездов, конференций, пленумов, но совершенно не знали и не желали знать жизни народа, а потому только мутили воду и страстно хотели одного — дорваться до власти над могучим народом, который освободил себя и начал строить новое общество.

Довольно большая группа оппозиционеров — Бубенчик, Борисов, Кусько, Старовойтов, Желудев — с утра до ночи толкались в наркоминдельском клубе. Служащие Наркоминдела, часто видя их там, называли всю пятерку «бубенчиками». Александр и Ваня Черных, как только вошли в клуб, тотчас увидели о чем-то споривших «бубенчиков».

— Ну, приготовься, Саня! — засмеялся Черных. — Эти навозные жуки сядут на нас. Пойдем лучше к девчатам, пока не поздно.

— С каких это пор у тебя завелись дела с девчатами? — удивился Александр.

Ваня поджал губы:

— А что я, монах, что ли? Даже твой император советует помнить, что жизнь коротка.

Они побродили по фойе, заглянули в танцевальный зал, где Ваня познакомил Александра со своей Машей, смуглой полноватой девушкой, которая, очевидно, доплясалась до из-

неможения и теперь стояла у дверей, скрестив на груди руки.

Александр мельком видел эту девушку в наркомате, но не был с нею знаком. Маша улыбнулась ему, кокетливо обмахнула платочком разгоряченное лицо и затараторила, поблескивая карими глазами:

— Вы танцуете танго «Умирающая бабочка»? Пойдемте потанцуем! Это мой любимый танец. Такая музыка! Такие движения!

Александр отшутился:

— По-моему, умирающая бабочка вряд ли способна танцевать. Что-то тут не так. Вот Ваня всю жизнь изучал бабочек и мечтает изобразить, как они помирают, у него это здорово получается.

— Не остри! — огрызнулся Черных. — Ступай лучше на второй этаж да посмотри, не начал ли Беленький свой доклад.

— А ты что? Решил помирать в танго? — ухмыльнулся Александр.

Ваня подтолкнул его в бок:

— Иди, иди, Марк Аврелий!..

Оставив Ваню с Машей, Александр прошел в небольшой лекционный зал на втором этаже. Там уже собрались люди, большей частью пожилые служащие, а тесная группа «бубенчиков», расположившись в первом ряду, неистово хлопала, вызывая лектора. Свободных мест оставалось довольно много, и Александр сел сзади, поближе к дверям, чтобы незаметно уйти, если лекция окажется скучной.

Через минуту из боковых дверей вышел и уверенной походкой направился к кафедре лысый, тяжеловатый мужчина с подбритыми седеющими висками, в отлично сшитом костюме заграничного покроя и желтых остроносых башмаках. Это и был только что вернувшийся из европейской командировки сотрудник Наркомвнешторга Беленький. Ловко надев на переносицу выхваченное из пиджачного кармашка дымчатое пенсне, Беленький заговорил бархатным голосом оперного певца:

— Я, дорогие товарищи, не собирался читать лекцию. У меня нет ни конспектов, ни тезисов, ни заметок. По просьбе администрации вашего клуба я проведу свободную беседу, поделюсь, так сказать, своими мыслями о тех странах, в которых я побывал. Главным образом я буду рассказывать о Франции и Германии, так как довольно долго жил в Париже и в Берлине. Начну с Франции.

Он бегло рассказал о том, как Пуанкаре реорганизовал свой кабинет и выдвинул против депутатов-коммунистов обвинение в государственной измене, как в результате оккупации Рура резко понизился курс франка и увеличились налоги. Потом Беленький начал рассказывать о своих парижских встречах:

— Профессия у меня такая, что пришлось сталкиваться с тысячами людей. В торговом деле нужны связи, а связи могут обеспечить только люди. Поэтому я поддерживал знакомства с самыми, так сказать, неожиданными людьми. Даже двух наших великих князей видел.

— Каких князей? — крикнули из зала.

Беленький самодовольно огладил розовую лысину.

— Один великий князь, Георгий Константинович, по нашему делу работает — в антикварном магазине торгует. Очень красивый мужчина, с определенным влиянием среди аристократов.

— А другой князь? — спросили из зала.

— А другой великий князь — Александр Михайлович. Если вы помните, он был любимцем царя Николая и, так сказать, главным патроном всех скаковых клубов. Сейчас он, конечно, постарел. Седенький такой старичок, довольно аккуратный. Так чем, вы думаете, он занимается? Он пророк. Окружил себя старыми принцессами, графинями и высчитывает с ними, какого числа и в каком месяце погибнет земной шар, а вместе с земным шаром и мы, большевики.

В переднем ряду поднялся раздраженный, лохматый Бубенчик. Сверкнув роговыми очками, он оглядел зал и прокричал тонким голосом:

— Товарищи! Я думаю, нам всем будет интересно послушать о французских и немецких коммунистах. Попросим товарища Беленького рассказать, как зарубежные коммунисты восприняли события последнего времени в нашей стране. Это интереснее, чем информация о князьях, которые уже явно не представляют ни политической, ни коммерческой ценности.

— Что ж, — пожал плечами Беленький, — можно коснуться и этого вопроса. Конечно, как лицо официальное, я с зарубежными коммунистами не общался, но настроение их знаю... Надо сказать, что за границей зорко следят за теми спорами, которые, так сказать, имеют место в нашей партии. В Париже, например, издана брошюра с предисловием такого известного французского революционера, как товарищ Суварин. Я читал это предисловие. В нем говорит-

ся, что Троцкий стал объектом несправедливых нападок. В Германии такого же мнения придерживаются Рут-Фишер, Маслов.

На передней скамье раздались восторженные аплодисменты «бубенчиков». Но сидевший в стороне хмурый рабочий с перевязанной щекой сердито закричал Беленькому:

— Ты не кивай на Суварина! Скажи, что ты сам думаешь!

— По какому вопросу? — любезно осведомился Беленький.

— Вот по этому самому. У нас тут фракционщики против партии выступают, покойного Ленина порочат, а ты юлишь! Про себя скажи!

Негодующий Бубенчик вскочил, будто его подбросило пружиной, угрожающе зашипел:

— Тише! Что за хулиганство, товарищи! Какие фракционщики? Не мешайте слушать! Надо же иметь выдержку!

— Ты там сиди, шпендель! — досадливо огрызнулся рабочий. — Я желаю знать, что сам докладчик думает, и ты не вставай мне поперек дороги!

Обнажив белоснежную манжету, Беленький поднял руку:

— Минуточку! Одну минуточку! Товарищ желает знать, что я лично думаю о дискуссии. Так ведь?

— Вот именно! — подтвердил рабочий.

— Очень хорошо! Вы имеете полное право задать любой вопрос, в том числе, конечно, и этот. Но дело в том, что я не смогу ответить вам по той простой причине, что уже полтора года не был в Советском Союзе и не знаю, что тут происходит. Вас удовлетворяет мой ответ?

— Никак нет! — Хмурый рабочий по-солдатски вскочил с места. — Ежели ты не знаешь, что у нас делается, то и не берись освещать вопрос, а то получается некрасиво. Понятно? Не знаешь — молчи!

— Не зажимайте лектору рот! — хором вскрикнули «бубенчики». — Здесь вам не полицейский участок! Каждый может высказываться как хочет! Продолжайте, товарищ Беленький!

Но, как видно, Беленький решил ретироваться. Он примирительно покашлял, несколько раз оглянулся и потер ладонью о ладонь.

— Напрасно вы пикируетесь, товарищи, — сказал он, посматривая во все стороны и ощупывая цепким взглядом выжидающе молчащую аудиторию. — Собственно, мне и говорить-то не о чем. Скажу только, что многие зарубежные дея-

тели считают, что имя и, так сказать, фигура Троцкого имеют интернациональное значение и что его нельзя давать в обиду. Это их мнение, и я, так сказать, не вхожу в оценку того, правильно это или неправильно.

— Правильно, правильно! — истошно закричали «бубенчики». — Довольно терпеть власть аппаратчиков! Хватит! Мы не за это в тюрьмах сидели.

Рабочий с перевязанной щекой посмотрел с нескрываемым презрением на бесновавшихся «бубенчиков», демонстративно поднялся и пошел к выходу, коротко бросив на ходу:

— Не революционеры вы, а самые что ни на есть гады и оголтелая контра!

— Вот это правильно! — закричали в зале.

Александр тоже поднялся и крикнул громко:

— Бузотеры вы, а не революционеры! Фигура Троцкого имеет значение в глазах раскольников рабочего класса, в глазах капиталистов, ненавидящих наш строй, а не в глазах зарубежного пролетариата. Совестно слушать вас! И докладчик тоже из вашей шайки. Недаром он носит фамилию Беленький. Именно «беленький».

Хлопнув дверью, Александр вышел в фойе. Живя в Москве и довольно часто бывая на различных собраниях, Александр знал, как настойчиво протягивает свои щупальца троцкизм. Это беспокоило и возмущало его.

Сейчас, уйдя с лекции Беленького, Александр разыскал в одной из комнат клуба Ваню Черных и, не смущаясь присутствием Маши, проворчал сердито:

— Затянул меня сюда, а сам развлекаешься? Послушал бы, что плетет твой Беленький.

Маша поднялась с дивана и тронула за локоть Черных:

— Пойдемте, Ваня, у вашего друга очень плохое настроение.

У Александра действительно было плохое настроение. Здесь, в клубе, он с особенной отчетливостью понял, что происходит нечто опасное: люди, которых он, как и многие другие, считал опытными, закаленными в боях, вели тайную политику, делали что-то очень нечистое, нечестное. Хуже всего было то, что этим людям привыкли верить, они до сих пор занимали высокие посты и потому имели возможность влиять на других. У них были свои, вроде этих крикливых «бубенчиков», сторонники не только в России, но и за границей. Мало ли что эти «бубенчики» могли натворить!

Придерживая под руки Машу, Александр и Ваня Черных медленно брели по освещенным московским улицам.

Установилась та влажная, уже наполненная весенним дыханием погода, какая обычно бывает в конце марта. В разлившихся вдоль тротуаров лужах светляками рябило отражение огней. Шустрые девушки-цветочницы на каждом углу протягивали корзинки с первыми подснежниками. В толпах прохожих сновали горластые ребятишки.

Вдыхая запах тающего снега, цветов, вслушиваясь в гортанный крик невидимых грачей над крышами, Александр остро почувствовал свое одиночество и с тоской подумал о Марине. Как она там, в далеком Пустополье? Вспоминает ли о нем? Или успела забыть?

Ваня и Маша деликатно пригласили Александра погулять с ними по набережной Москвы-реки. Но он сослался на головную боль и пошел домой. Не успел он снять пальто, как вошла хозяйская дочь Эмма и проговорила, пряча руки за спиной:

— Вам письмо, Александр Данилович! Пляшите — тогда отдам письмо.

— Что-то мне сегодня не пляшется, — вздохнул Александр.

Он был уверен, что письмо от Марины, сердце его сжалось. Он сказал тихо:

— Отдайте, Эммочка, письмо. Когда-нибудь мы с вами вместе спляшем, а сейчас я очень устал и не совсем здоров.

Она послушно протянула конверт и ушла. Письмо было не от Марины, а от племянника Андрея. Тут же, у дверей, не садясь, Александр прочитал его. Андрей писал, что в Огнищанке все благополучно, отец и мать просят передать привет, а летом приехать к ним в гости. Потом Андрей довольно пространно и не без хвастовства сообщал о своих школьных успехах и только в самом конце приписал: «Тетя Марина и Тая тоже передают тебе самый нежный привет и обе целуют тебя. Они сейчас сидят рядом, а я читаю им вслух то, что пишу, так что насчет поцелуев ты можешь не сомневаться...»

Нет, Александр, конечно, не сомневался. Но отрадного в этом не было ничего. Одиночество его не переставало быть одиночеством.

Он долго сидел у стола, не выпуская из рук испещренное лиловыми кляксами письмо. Потом встал, бросил письмо на стол и проговорил тихо:

— Ладно... Поживем — увидим...

3

Лес стоял зеленый, молодой, весь залитый теплыми лучами солнца, обрызганный прохладной росой. В его непролазной, затянутой паутиной гущине, там, где жались кусты жесткого терновника и тянулся кверху кривыми стволами упрямый, звонкий, как железо, дубок, стоял хмельной запах прелой листвы, влаги, грибов; в узких лесных овражках, окаймленных буйными зарослями валерианы и стрелками куги, еще журчали, убегали куда-то по каменистому ложу весенние воды, слышалось хрипловатое кряканье чирков, а на широких, заросших густым разнотравьем полянах полдневное солнце уже успело припалить сизые накрапы полыни, и вокруг пахло бередящей душу горечью раннего увядания.

Пролетала ли среди тополевой рощицы хлопотливая, желтым платочком мелькавшая иволга, постукивал ли крепким клювом вечный работяга дятел или где-то далеко, на проезжей дороге, глуховато вызванивала телега — на все отзывался лес протяжным, раскатистым отзвуком, незаметно затихающим среди холмов.

В небе изредка появлялись легкие облака, а внизу, по лесным полянам, медлительная, торжественная, проплывала тень...

Андрей Ставров лежал под кустом боярышника, закинув руки за голову. Сапоги его были забрызганы грязью, синяя рубаха распоролась на рукаве. Издалека до Андрея доносились крики товарищей, тонкое повизгивание девчонок, веселые, бестолковые песни. Старшие классы школы еще с утра отправились на экскурсию, и хотя с учениками пошел любимый учитель Андрея, старик естественник Фаддей Зотович, которому нужно было пополнять школьный гербарий, Андрей все время держался в стороне и был мрачен, как никогда.

Странное поведение Андрея заметили все, но в этот весенний день ребятам было не до него. Никто его не звал с собой, и он остался один лежать под боярышником. Только Виктор Завьялов, пробегая мимо, задержался на секунду и спросил равнодушно:

— Ты чего киснешь, рыжий?

— Ничего, — буркнул Андрей.

— Нет, правда! Может, есть какая причина? Ты не дуракуй, скажи!

— Никакой причины нет, просто голова болит...

Андрей солгал товарищу. Причина, конечно, была, и находилась она совсем рядом — Еля Солодова.

В тот вечер, когда он в темном классе сказал Еле грубость, он почувствовал, что его охватило что-то непонятное, влекущее и пугающее. Прежде чем вернуться домой, он долго бродил по улицам.

Всю зиму Андрей боролся с собой. По вечерам он никуда не ходил, подолгу сидел с Таей, пересказывал ей только что прочитанные книги. К школьным занятиям Андрей относился неровно: получал отличные отметки по естествознанию и с грехом пополам одолевал ненавистную математику.

Встречаясь в школе с Елей Солодовой, он старался не смотреть на нее, мрачно отворачивался, но всегда чувствовал ее приближение, узнавал ее по быстрым, дробным шагам и, не глядя, видел, как она, чуть склонив набок голову, потряхивая лентой в каштановой косичке, пробегала в свой класс.

Красавец Завьялов и флегматичный Паша Юрасов тщетно выпытывали у Андрея, как он относится к Еле, нравится ли она ему. Андрей отмалчивался или отвечал какой-нибудь грубостью. Однажды в ответ на их назойливые расспросы он сказал залихватским тоном гуляки:

— Чего вы пристали ко мне с этой Елькой? У меня знаете какая девчонка в деревне? Лучше всех! Ее Таней зовут, она мне письма пишет.

— Ври больше! — усомнился Виктор Завьялов. — Тоже мне жених нашелся.

— Не веришь — не надо, — пожал плечами Андрей.

И все же однажды чуть не попался.

Было это зимой. Мальчишки, налепив кучи снежков, затеяли в школьном дворе баталию. Мимо по улице проходили Еля Солодова и добродушная, толстая Люба Бутырина. Гошка Комаров запустил в них снежком. Угодив Еле в спину, он захохотал, она оглянулась и тоже засмеялась. Тогда Завьялов похлопал Гошку по плечу и сказал предостерегающе:

— Ты, рябой воробей, не заигрывай с Елькой. Она невеста Павла Юрасова, и он тебе набьет шею.

— Чего ты мелешь? — вмешался Андрей. — Какая там невеста!

— Честное слово! — серьезно ответил Виктор. — Родители Павла и Ели — друзья, он — единственный сын, она — единственная дочка, и я сам слышал, как Пашкина мама сказала про Елю: «Это наша невесточка...»

Если бы в эту секунду Виктор взглянул на Андрея, он понял бы все. Андрей стоял бледный, кусал губы и смотрел вслед Еле с таким видом, что только круглый дурак не догадался бы, что с ним происходит. Но Виктор, к счастью, уже сцепился с кем-то из ребят, и тайна Андрея не открылась...

Сейчас, лежа под боярышником, провожая взглядом плывущие по небу облака, Андрей жевал горькую травинку и думал: «Если бы Еля знала, как я люблю ее, она бы не ушла никуда! Но я все равно никогда не скажу ей об этом, пусть делает что хочет». Так он думал, а сам десятки раз шепотом повторял ее имя:

— Еля... Елечка... Елюша... Елочка...

В это мгновение прекрасный, непознанный мир открывался Андрею всеми своими цветами, запахами, теплотой солнца, веселой громадиной зеленой земли — всем, что сверкало вокруг, высвистывало птичьими голосами, маняще мерцало стрекозиными крыльями, шевелилось, вздыхало, пело.

Раскинув ноги, потягиваясь, на мгновение закрывая глаза, Андрей всем телом ощущал трепетное движение этого живого мира, и ему казалось, что он сам неразрывно слит с пыреем, с колючими ветками боярышника, с нитевидными щетинками кем-то примятой пущицы, с пролетевшим мимо жуком-огнецом. Он растворен в этом большом мире. Это в нем, в Андрее, где-то внутри трепещут пьяные лепестки, сладко жужжит красный огнец, пахнет цепкий и ласковый полевой вьюнок.

Андрей удивлялся и радовался не совсем понятному, немного даже гнетущему ощущению полной слиянности с миром, но в то же время чувствовал, что где-то близко существует нечто более важное и красивое, самое главное, то, к чему сейчас тянется все — солнце, розоватый вьюнок, облако, он сам, Андрей. Самое главное, к чему все устремлено, — это сероглазая девочка в белой блузке, в синей юбочке, Еля. Это она, с ее смущенной и вызывающей улыбкой, с ее смешной косичкой, повелевает миром, весной, Андреем. Она властительница всего. Андрею хотелось бы больно ударить ее, обругать за то, что она тянет его куда-то, но он не может ни ударить, ни обругать проклятую девчонку, потому что отравлен, скован, покорен ее властью и пойдет за ней куда угодно.

«Если увижу ее одну, без девчонок,— подумал Андрей,— скажу ей прямо, что я ее люблю». Он попытался предста-

вить себе, как будет говорить Еле о своей любви, и сразу почувствовал робость и страх, но тут же подхлестнул себя: «Подумаешь, большое дело! Вот возьму и скажу, лишь бы увидеть ее одну».

Как видно, судьба в этот весенний день испытывала Андрея. Не успел он подняться и пройти несколько шагов по узкой поляне, как увидел Елю. Она медленно шла вдоль зарослей терновника, останавливалась, опускалась на колени и выкапывала старым кухонным ножом ландыши. В ее левой руке уже был большой пучок ландышей. Сидя на корточках, она тихонько перебирала цветы, добавляла к ним новые, вставала и шла дальше.

«Сейчас подойду и скажу», — решил Андрей. Он пошел к Еле. Но чем ближе подходил он к ней, тем больше мрачнел и тем бесследнее исчезала его решимость. А когда поравнялся с девочкой, остановился, сунул руки в карманы и молча стал смотреть на нее. Еля глянула на него исподлобья, почему-то покраснела, сдвинула измазанные травяной зеленью колени. Стоять истуканом и глаз не сводить с Ели было явной нелепостью, но Андрей не уходил.

— Вы любите ландыши? — спросила Еля, чтобы прервать неловкое молчание.

Андрей удивился тому, что Еля обратилась к нему на «вы», смутился еще больше и, подавляя смущение, ответил резко и насмешливо:

— А вам не все равно, люблю я ландыши или нет?

Девочка наклонила голову ниже.

— Я просто так спросила. Тут много ландышей, а я их очень люблю.

— Серьезно?

— Правда... Они такие хорошие, что их жалко рвать.

— Поэтому вы режете их ржавым ножом? Это, наверно, из жалости?

— Я вовсе не режу, а выкапываю, — с обидой в голосе сказала Еля. — А дома насыплю в ящик земли, посажу, буду поливать...

Посматривая на Андрея, она продолжала орудовать ножом и вдруг тихонько вскрикнула:

— Ох!

— Что вы? — кинулся к ней Андрей.

Думая, что Еля порезала руку, он сел рядом, сорвал свежий кленовый листок и, робея и радуясь, прикоснулся к локтю девочки:

— Давайте перевяжу...

— Что? — вскинула брови Еля.

— Как что? Вы порезались?

Она засмеялась, отодвинулась от него.

— Нет, я не порезалась.

— Отчего ж вы крикнули? — насупился Андрей.

— Нож сломался, смотрите...

Еля показала обломок ржавого ножа. Андрей взял у нее нож, повертел, словно хотел удостовериться, что он действительно сломался. Металлическая ручка ножа была теплой от Елиных ладоней. Еля протянула руку, думая, что он отдаст ей нож, но он не отдал, только проговорил глухо:

— Я думал, вы порезались...

Держа обломок ножа, Андрей повторял про себя: «Елочка... Елочка», смотрел на девочку тяжелым, неспокойным взглядом и, не зная, что для нее сделать, как сказать ей о своей любви, ни с того ни с сего брякнул:

— Хотите, я разрежу себе руку?

— Зачем? — удивилась Еля.

— Низачем... просто так.

Темные ресницы девочки дрогнули.

— Не хватит храбрости.

— У меня? — вспыхнул Андрей.

— Да...

Конечно, это была игра, детская затея, но, как видно, маленькая кокетка, взглянув на угрюмого мальчишку, на его белесые вихры, на опущенные глаза, в какую-то неуловимую долю секунды почувствовала свою власть над ним и, сама себе не доверяя, пугаясь вспыхнувшей вдруг капризной требовательности, сказала:

— Ну, режьте!

Чего не сделает любовь! Подвиг и смешное безрассудство уживаются в ней, и часто неуклюжему подростку с неверным, ломающимся голосом безрассудство кажется возвышенным подвигом, и он совершает глупость ради любви. Отвернув рукав синей рубахи, Андрей быстро и твердо провел острым обломком ножа по сгибу кисти. Его обожгло это резкое прикосновение стали, но он не вздрогнул, не сморщился от боли, не уронил нож. По руке, смешиваясь с грязью, побежали горячие струйки крови.

— Еще? — вызывающе спросил он у Ели.

Безотчетно придвигаясь ближе, девочка не сводила глаз с его руки. Торжество и жалость боролись в ней. Губы ее слегка дрожали.

— Глупый, — отрывисто сказала она.— Надо перевязать.

Андрей ухмыльнулся: подумаешь, какие нежности — перевязать! Уж он-то знает, чем можно остановить кровь без всяких перевязок! Дед Силыч давно обучил его этому искусству. Смахнув с терновника клок паутины, Андрей захватил на конец ножа сырой земли, поплевал на нее, смешал с паутиной и, искоса посматривая на Елю, приложил к ране.

— Боже, какой глупый! — всплеснула руками Еля. — Ведь у вас может случиться заражение крови. Разве можно так?

— Можно... Мне можно...

Сегодня Андрею все можно. Вот справа, совсем рядом, темнеет крутой, глубокий овраг. На извилистой бровке оврага кустится полынь, по отвесным склонам выткнулся колючий репей, а на дне видны стянутые ливнями и подземными водами острые камни. Одно только слово скажи Андрею сероглазая девочка с измазанными коленками, только мигни, шевельни бровью — он головой вниз бросится в страшный овраг и еще будет считать это великим счастьем. Но девочка сосредоточенно молчит, перебирает прохладные, влажные от росы ландыши, даже как будто отворачивается немного. Андрей тоже молчит, не сводит с нее глаз. Черт ее знает, что в ней есть, в этой девчонке! Косичка негустая, коротенькая, подбородок капризный, рот хоть и красивый, но будь чуточку поменьше, было бы лучше. Зато вся она крепкая, стройная, какая-то порывистая и в то же время медлительная и ленивая, словно ей боязно лишним движением расплескать то трепетное, что в ней таится и растет, что она постоянно ощущает, мило склонив голову и как бы спрашивая всех окружающих: «Вы видите, какая я, и я вам очень нравлюсь, правда?»

Конечно, правда, она всем нравится, а больше всех — Андрею. Увидев, что Еля поднялась, стряхивает с колен приставшие былочки, старательно обвязывает травинкой ландыши, Андрей тоже поднимается и ни с того ни с сего говорит:

— Я люблю ландыши... Хорошие цветы... — И требовательно добавляет: — Дайте мне один.

— Вон их сколько кругом, — улыбается Еля, — рвите, пожалуйста.

Нарвать он может хоть целую корзину, может засыпать ее цветами, но как Еля не понимает, что ему хочется одного: чтобы она сама дала ему сорванный ею ландыш! Кажет-

ся, она все-таки понимает: как-никак порезанная и залепленная земляным пластырем рука — это хоть и глупый, но почти героический подвиг, совершенный ради нее, Ели. Отчего же не дать этому отважному мальчишке один ландыш, раз он уж так просит?

Еля надувает губы, как будто нехотя отделяет от пучка один ландыш, самый плохой, и протягивает Андрею:

— Возьмите...

Она уходит не оглядываясь, а он стоит у терновника и только теперь, когда Ели нет, с удивлением начинает замечать, что вовсю светит майское солнце, что грузный шмель жужжит над пурпуровым колоском кукушкиных слезок, что высокий осокорь трепещет молодыми, с беловатым войлочком листами. Андрей стоит, и счастливая, растерянная улыбка блуждает на его лице. Не зная, что сделать с источающим пьянящий запах ландышем, он бережно окутывает его свежим листом лопуха, заворачивает в измятый носовой платок и сует в карман...

Из леса возвращались усталые, красные от солнца и теплого ветерка. Андрей насвистывал что-то сквозь зубы, ни с кем не разговаривал. Изредка он посматривал туда, где, окруженная разноцветными платьями девчонок, мелькала белая кофточка Ели, но сразу же отворачивался.

— Какая тебя муха укусила? — спросил, хлопнув его по плечу, Виктор Завьялов. — Бродишь целый день как неприкаянный, смотреть тошно.

— А ты не смотри, — отрезал Андрей.

После этой прогулки Андрей дважды попытался заговорить с Елей, но она избегала его даже в школе. Больше того — своим подругам Любе Бутыриной и Клаве Комаровой, Гошкиной сестре, она рассказала обо всем, что произошло в лесу. И хотя Еля просила никому не говорить об этом, а Люба и Клава торжественно поклялись молчать как рыбы, в тот же вечер Клава, томимая Елиной тайной, поведала о ней брату, а болтливый Гошка, еле дождавшись утра, ворвался в школу как ураган и еще издали заорал Виктору и Павлу:

— Ребята! Новость! Андрей сохнет по Ельке Солодовой! В прошлое воскресенье в лесу он перед ней руку резал. Честное слово! Вот рыжий! Вы посмотрите, у него и сейчас левая рука перевязана. Она сама рассказывала моей сестренке. Честное слово!

— Брешешь ты, воробей, — усомнился Виктор. — С какой стати он станет руку резать? Крепко ему это нужно!

Кареглазый Гошка забормотал, хихикая:

— Вот чудаки, не верят! Он и ландыш у нее выпросил, и торчал возле нее как пень. Честное слово! Потом у Ельки поломался нож, а он взял ржавый-прержавый обломок и говорит: хочешь, мол, Еля, я себе руку отрежу? А она пищит: «Конечно, хочу, это так интересно!» Рыжий говорит: «Я только для тебя, Елечка, чтобы ты меня любила». А Елька, как принцесса, милостиво разрешила ему: «Валяй, пожалуйста». Он схватил нож — и чик по руке. Честное слово!

Так Андрей стал жертвой невинного коварства, без которого, как он впоследствии не преминул убедиться, не обходится ни одна любовь на свете. Девчонки шушукались, встречая его, лукаво посмеивались, по-своему переживали его душевную драму; мальчишки смотрели на него с нескрываемым сожалением, а некоторые с почтительной завистью: все же человек готов был руку отрезать ради любви. Во всяком случае, история в лесу довольно быстро стала достоянием всей школы.

Проведала о ней и Тая. Она была так подавлена и растерянна, что сначала даже не знала, как себя держать: ходила вокруг Андрея на цыпочках, молча заглядывала ему в глаза, а однажды вечером спросила, с опаской притворив дверь:

— Андрюша! Это правда, что ты хотел зарезаться из-за какой-то девочки из нашей школы?

Видя, что Андрей молчит и, значит, скрывает страшную правду, Тая совсем обмерла. Боль и ревность заставили ее задрожать, но она превозмогла себя и зашептала, прижимаясь к Андрею:

— Ты очень любишь эту девочку? Ее, кажется, зовут Еля Солодова? Я еще не видела ее, она в старшем классе. Говорят, красивая девочка, только задавака и капризуля.

— Отстань, Тая! — буркнул Андрей. — Что ты ко мне пристала? Дураки придумают какую-то чушь, а ты повторяешь, как попугай.

Тая обидчиво тряхнула кудрявыми волосами:

— Ну как же, все девочки из нашего класса говорят, что ты хотел зарезаться из-за какой-то Ели и что ее отец вчера приходил к заведующей Ольге Ивановне.

В Таиной страстной тираде единственной правдой было лишь то, что отец Ели, Платон Иванович Солодов, действительно приходил в школу и справлялся об успехах и поведении дочери. Гошка Комаров указал на него Андрею с шутовской ужимкой:

— Смотри, рыжий, вот папаша твоей Елочки...

Платон Иванович понравился Андрею с первого взгляда. Это был довольно высокий, полнеющий человек с седыми, гладко зачесанными назад волосами, с добродушным, чисто выбритым лицом и большими руками мастерового. Когда-то он плавал машинным квартирмейстером на знаменитом броненосце «Потемкин», потом, после царской расправы с мятежным броненосцем, был изгнан из флота и стал работать мастером на механическом заводе. В голодный год Платон Иванович покинул полуразрушенный завод, уложил на арбу немудрящий скарб, усадил на нее дородную, красивую жену Марфу Васильевну, дочку Елю и вместе с семьей своего давнего друга слесаря Юрасова уехал в Пустополье, где и обосновался.

В Пустополье Солодов и Юрасов долго слонялись без работы, прожили последние вещи; наконец им удалось раздобыть где-то разболтанный токарный станок, моторишко, и они, взяв в аренду теплый сарай, стали кустарничать: чинили мельничные валы, молотильные барабаны, сепараторы — все, что попадалось, вплоть до швейных машинок. Дела их поправились, и друзья решили пожить года два-три в Пустополье, пока дети, Еля и Павел, не окончат школу.

Солодов и Юрасов снимали квартиры на одной улице, по субботам сходились чаевничать или распить бутылку вина, жили дружно и честно. Коренастый, черный, веселый Матвей Арефьевич Юрасов, уступая Платону Ивановичу в мастерстве, относился к нему с нескрываемым уважением, а Марфу Васильевну, жену Солодова, даже несколько побаивался: характер у нее был твердый и властный.

Шуточный слушок о том, что Солодовы и Юрасовы уже давно решили, что Еля и Павел предназначены друг другу, имел серьезное основание. Обе семьи дружили лет двадцать, в пору гражданской войны и голода вместе испытывали тяжкие мытарства и потому не прочь были породниться. Пока Еля и Павел не подросли, говорить об этом всерьез было рановато, но по вечерам, когда друзья собирались перекинуться в картишки, разговор о будущем детей заходил. Особенно старалась при этом Харитина Саввишна, жена Юрасова, дебелая, несколько грубоватая женщина, души не чаявшая в своем сыне.

Матвей Арефьевич, хоть и разделял сокровенное желание жены, тем не менее недоверчиво посматривал на Марфу Васильевну и ухмылялся:

— Ничего из этого не получится, потому что Пашка

тюфтяй, байбак, а Елка в маму пошла — с норовом и с язычком. Она на нашем лошаке без недоуздка ездить будет...

— Уж ты наговоришь! — добродушно посмеивался Платон Иванович. — Тебя послушать, так Елка и в самом деле норовистой покажется. А она девочка добрая, с гонором маленько, ну да это с годами пройдет...

Солодов, надо сказать, до самозабвения любил дочь, всячески баловал ее, на последние деньги покупал ей книги, сладости, заботился, чтобы она была одета как кукла, ласкал ее и твердил постоянно:

— Учись, доченька, сейчас всем дорога открыта. Выучишься — настоящим человеком станешь, не то что мы, мастеровщина...

Что касается Павла и Ели, то они были очень дружны, ласковы друг к другу, но, очевидно, Матвей Арефьевич говорил правду: втайне влюбленный в свою подругу, флегматичный, не по летам медлительный Павел во всем уступал Еле, во всем с ней соглашался. Чем дальше шло время, тем больше он отставал от нее. Книги он не очень любил, предпочитая часами стоять в мастерской и наблюдать за тем, как спорится работа в отцовских руках. Уже не раз Еля принималась экзаменовать Павла, злилась на него за то, что он отмалчивался. Павел только улыбался и покорно моргал глазами...

Виктор Завьялов и Павел настойчиво звали Андрея к Солодовым и к Юрасовым, говорили, что у них по воскресеньям всегда бывают Гоша и Клава Комаровы, собирается много ребят. Но Андрей упорно отказывался.

— Мне там делать нечего, — твердил он. — У них у всех разглаженные носовые платки, галстуки, а от меня на версту конями пахнет.

— Брось бузить! — увещевал Андрея Гоша. — Ни у кого там нет галстуков, честное слово...

Андрей только махал рукой:

— Идите, идите, я все равно не пойду...

Каждое воскресенье он пропадал в школьном флигельке, помогал Фаддею Зотовичу наклеивать листья и травы на картон, вычерчивал тушью надписи, записывал показания барометра и флюгера, часами стоял у клеток, где сидели животные — суслики, зайчата, черепахи.

Сгорбленный, коричневый от старости, как сухой гриб, Фаддей Зотович полюбил любознательного мальчишку. Старик жил бобылем, на отшибе, ни с кем не встречался и потому, приходя во флигель, который он с гордостью име-

новал «кабинетом природоведения», охотно разговаривал с Андреем, давал ему книги, советовал ставить свои опыты.

— Природа, милый юноша, еще не познана человеком,— раздумчиво говорил он Андрею, — она до сих пор полна великих тайн... Ленивые, пресыщенные люди утверждают, что в мире больше нечего открывать. Это ерунда. Сколько еще вокруг нас непознанного, какие силы скрыты в природе, никто не знает. А посему мой вам совет: работайте, трудитесь, изучайте...

Старый учитель неустанно возился со своим добровольным помощником: высаживал в ящиках различные семена, сортировал коллекции минералов, препарировал лягушек, часами торчал над разболтанным, стареньким микроскопом, открывая Андрею невиданный мир живых клеток, микробов, мельчайших существ, которые копошились в капле жидкости, пожирали друг друга, размножались.

— Когда голландец Антон Левенгук два с лишним века назад изобрел примитивный микроскоп, он сделал больше, чем Колумб, открывший Америку! — патетически восклицал Фаддей Зотович. — Ибо Левенгук вооружил человека волшебным глазом и сказал: «Смотри на то, чего ты никогда не видел и о чем не догадывался...»

Фаддей Зотович снисходил даже до того, что иногда доверял Андрею школьные новости, которых ученики не знали. Так, он сообщил, что с будущей весны школу будут перестраивать, что заведующая школой Ольга Ивановна Аникина вступила в партию. А однажды, вернувшись с педагогического совета, сообщил:

— В ваш класс назначают нового преподавателя обществоведения. Только что меня познакомили с ним. Разбитной молодой человек. Зовут Леонид Михайлович Берчевский. Бывший продовольственный комиссар. Говорят, в оппозиции состоит. С чем это едят, мне неизвестно, ибо, милый юноша, в политике я не искушен...

Известие о назначении нового преподавателя мало тронуло Андрея. Обществоведение он знал, бояться ему было нечего, и он не стал думать об этом. Берчевский так Берчевский, не все ли равно?

Думал Андрей о другом: как объяснить Еле свой поступок в лесу? Подаренный ею ландыш он хранил на самом дне своего сундучка, в старом учебнике физики, и никому не показывал, даже Тае. «Нехорошо получилось, — с грустью думал он, — надо бы объяснить Еле». Ему удалось

однажды остановить девочку в школьном коридоре. Он преградил ей дорогу и спросил, глядя в землю:

— Вы на меня обижаетесь?

Еля равнодушно повела плечом:

— За что?

— За то, что я глупо вел себя в лесу, — пробормотал Андрей. — Мне хотелось бы поговорить с вами... Можно?

Подняв руки, точно защищаясь, Еля прошептала:

— Пустите... Не понимаю, что вам нужно...

Как ни упрямился Андрей, он все же пошел как-то с Виктором и с Гошкой к Солодовым, зная, что Платона Ивановича и Марфы Васильевны нет дома. «Я только посмотрю, как Еля живет», — сказал он себе. Но там, в светлой квартире с натертыми полами, с ковриками и белоснежными тюлевыми занавесями, он почувствовал себя чужим, сел на табурет у самых дверей, молча просидел полчаса и, не простившись с товарищами и с Елей, ушел.

Когда Андрей вышел на улицу, острое чувство одиночества охватило его. Он вспомнил свою шумную, безалаберную семью, старый, подпертый бревнами огнищанский дом, пылающую печь, свинью-роженицу, лежавшую в кухне на соломе, и вздохнул. Испытывая странную неприязнь к чистеньким, пахнущим ванилью Елиным комнатам, он злобно засмеялся.

«Вот бы эти разутюженные занавески под свинью подложить, здорово получилось бы...»

Но сердце его ныло.

4

Отсутствие Андрея сильно чувствовалось в ставровском доме. Растущее хозяйство требовало рабочих рук, а их не хватало. Дмитрий Данилович обязан был дежурить в амбулатории, Настасья Мартыновна еле справлялась с домом, поэтому вся тяжесть полевой работы пала на мальчиков — Романа и Федю. Они проработали всю весну, почернели от солнца и ветра, осунулись, не ходили на уличные гулянки и мечтали только о том, как бы отоспаться и отдохнуть.

Характеры у Романа и Феди были разные. Смуглый, подвижный Роман шел в поле из-под палки и не видел в деревенской жизни никакой радости. Он открыто завидовал Андрею и не раз говорил своему другу Саньке Турчаку: «Если батька осенью не отпустит меня в Пустополье, ей-богу, сбегу! Надоело мне хвосты лошадям крутить». Добрый по натуре, но суматошный и взбалмошный, он часто оставлял

коней непоеными, никак не мог отличить посев ячменя от посева пшеницы, зато часами возился с каким-нибудь найденным под кустом диковинным камнем, в свободные минуты шатался по лесным оврагам, пристально разглядывая на крутых срезах причудливые слои разных почв. Начало этому увлечению положил толстый растрепанный учебник геологии, найденный на чердаке ветхого рауховского дома. В учебнике было множество рисунков, и Роман, прячась от всех в гущине парка, по нескольку раз перечитывал одну и ту же страницу, замирая от восторга.

«Я буду учиться на геолога, — писал он старшему брату в Пустополье, — это самая интересная наука, она изучает землю и все, что в ней есть». Одержимый своей идеей, Роман тяготился необходимостью идти в поле, от зари до зари пахать, боронить, сеять. Он злился, хныкал и всерьез подумывал о бегстве из дома.

Двенадцатилетний Федя, самый младший в семье Ставровых, не был похож ни на старшего, ни на среднего брата. Невысокий кудрявый мальчик с карими, немножко грустными глазами, Федя отличался неторопливостью, спокойствием, был крайне молчалив. Он не спрашивал себя, нравится ли ему без конца шагать рядом с могучей серой кобылой по вспаханной ниве, безропотно шел в поле и выполнял работу степенно, добросовестно, чисто, как разумный, неразговорчивый мужичок.

По существу, на Федю после отъезда Андрея в Пустополье легла вся тяжесть работы, и он молча пахал, боронил, пас коней, чистил конюшню, выполнял все приказы отца и полагал, что огнищанская жизнь и не может быть иной.

С коровами, свиньями, птицей управлялась Каля. Она была старше Феди на полтора года, но все еще оставалась неуклюжим, угловатым подростком, была очень обидчива и дерзка. Настасья Мартыновна с трудом расчесывала ее непокорные косы, журила за грубость. Каля росла упрямым дичком, ссорилась с братьями и никому не давала спуску.

С осени Федя и Каля стали ходить в школу. Романа, окончившего четыре класса, пора было отправлять в Пустополье, но Дмитрий Данилович медлил. Настасья Мартыновна не раз заговаривала об этом с мужем, он же стоял на своем: «Вернется Андрей, тогда Роман и поедет, иначе хозяйство прахом пойдет...»

Однажды в воскресный день Настасья Мартыновна зашла в амбулаторию, где Дмитрий Данилович приводил в порядок аптечный шкафчик. Постояла немного и присела на обитый клеенкой топчан.

— Я хотела поговорить с тобой, Митя, — сказала она тихо.

— Что такое? — повернулся Дмитрий Данилович. — Говори.

— Понимаешь, я хотела спросить у тебя... Ты решил навсегда остаться в Огнищанке?

Дмитрий Данилович удивленно посмотрел на жену:

— А куда я могу ехать? Что, для меня где-нибудь золотые горы приготовили?

— Не золотые горы, — замялась Настасья Мартыновна. — При чем тут золотые горы? О детях надо подумать. Дети подросли, учить их надо, а они у нас с поля не уходят.

Глаза Дмитрия Даниловича потемнели. Разговор явно ему не нравился. С раздражением протирая пахнувшую йодом склянку, он проговорил сердито:

— Надо сначала на хлеб да на штаны заработать, а потом идти учиться. Подумаешь, дети! Их у нас не один и не двое, а, слава тебе господи, четверо, и все на отцовской шее. Разве вытянешь ихнее ученье? Шутка ли!

— Может, Митя, тебе в городе место дали бы? — спросила Настасья Мартыновна. — Устроился бы фельдшером в больнице, и с детьми было бы легче: школа под боком. Куда лучше!

— А жрать что? — взорвался Дмитрий Данилович.— Мелешь сама не знаешь о чем! Попробуй прокорми такую ораву, они тебя с потрохами съедят. И так еле концы с концами сводим. Тому сапоги, тому полушубок, тому шапку, душу они из меня скоро вытянут...

Он побегал по комнате, успокоился и заговорил, смягчаясь:

— Насчет детей ты, Настасья, не тревожься, дети будут учиться, только не все сразу. Вот Андрей в будущем году окончит семилетку, вернется домой, побудет у нас год или два, в работе поможет. А Роман тем временем поедет в Пустополье школу кончать. Так они поддержат один другого и в люди выйдут. Иначе у нас ничего не получится — не управимся в поле.

— А если принанять кого-нибудь на время уборки? — робко спросила Настасья Мартыновна. — Вон у Шабровых

сколько девчат, и у дяди Луки людей полон двор — они охотно помогли бы, да и взяли бы недорого.

Дмитрий Данилович вновь налился злостью:

— Хорош фельдшер, который наемной силой пользуется! Нет, Настасья, не суй нос в эти дела, тут я без твоих советов разберусь...

И все же разговор с женой заставил Ставрова задуматься. Его план поочередного отъезда детей был бы хорош в том случае, если б его приняли дети. А они, может, свое запоют. Пока были поменьше, из них любую дурь можно было палкой вышибить. Теперь не то. Андрей почему-то редко стал писать, Роман спит и видит школу, — все может рассыпаться. «Надо поговорить с Длугачем», — решил Дмитрий Данилович.

В субботу, перед вечером, Дмитрий Данилович пошел в сельсовет. Веселый, чуть-чуть выпивший Длугач разговаривал с Гаврюшкой Базловым, квартирантом Тютиных. Празднично одетый Гаврюшка стоял у окна, скрестив на груди руки. На лице его блуждала трусоватая усмешка.

— Садись, товарищ фершал, — Длугач кивнул Дмитрию Даниловичу, — а мы тут с гражданином Базловым разговор кончим.

Он смахнул с красной скатерти крошки махорки, перекинул ногу на ногу и уставился на Гаврюшку:

— Так что, дорогой товарищ, крути не крути, а работать тебе придется. Как же иначе? Сидишь ты на территории Огнищанского сельсовета почти три года, а чем занят — неизвестно.

— Как же так неизвестно? — обидчиво поджал губы Гаврюшка. — Я ежедневно повышаю свое политическое самообразование и к тому же, состоя на квартире у гражданина Капитона Тютина, занимаюсь домашним хозяйством.

Длугач захохотал, завертел головой:

— Видали вы этого типа? Он занимается домашним хозяйством! Ты баба, что ли? Знаем мы твое занятие. Дурачок Капитошка батрачит у кулачков, а ты на Тоську поглядываешь, подкатываешься к ней — вот и все твое домашнее занятие.

— Напрасно вы мне наносите оскорбление, — пробубнил Гаврюшка. — Советская власть не разрешает вмешиваться в такой индивидуально-личный факт, как мои отношения с Тоськой. Это уж моя собственная драма...

Хлопнув кулаком по столу, Длугач закричал:

— Хватит! У меня нету времени слухать эту муру! На

территории Огнищанского сельсовета я не потерплю ни одного паразита! Ясно? Через три дня примай избу-читальню — и весь разговор, а не хочешь — выматывайся с территории, иначе арестую как буржуазного паразита и спекулянта. Понятно?

Базлов постоял, подумал и спросил, шагнув к столу:

— А скажите, пожалуйста, какой денежный оклад мне будет положен за культурное руководство избой-читальней? Это первое. И второе — смогу ли я в этой самой избе, конечно в свободное время, проводить такие политические мероприятия, как модная стрижка, бритье посетителей, массаж, завивка и тому подобное?

— Это дело не мое, — нахмурился Длугач. — Если кругом будет чисто и волосья по полу не будут раскиданы — действуй, все же польза какая-то будет. А что до денег, то получать ты будешь тридцать целковых в месяц. Ясно?

— Вполне. Имею честь кланяться.

Когда Базлов ушел, Дмитрий Данилович с удивлением взглянул на Длугача:

— Вы серьезно хотите поручить избу-читальню этому человеку? Он ведь безграмотный и лодырь.

— Лодырь, это верно, — согласился Длугач, — но человек он грамотный. Слыхал, какие словечки заворачивает? Я и то в таких словах не разбираюсь, а он, гляди, прямо как докладчик разговор ведет.

Дмитрий Данилович не стал спорить.

— Я к вам по делу, Илья Михайлович, — сказал он, — хочу посоветоваться насчет одного вопроса. Детей мне пора отправлять в семилетку, а в поле работать будет некому. Если я весной и осенью принайму человека, не будет ли на это возражения?

— Видишь, товарищ Ставров, — подумав, сказал Длугач, — к тебе, конечное дело, Советская власть отношение имеет особое, поскольку ты фершал, трудящий работник по медицине. Это твое главное занятие, и ты за него ответственный. Значит, в трудный хозяйственный момент ты имеешь полное право нанять человека для помощи по земельному наделу, законно полученному тобою, обратно же, от Советской власти. Ясно? Тут никаких возражений быть не может. А все же я тебе не советую наймать посторонних. Почему? Потому что по всей деревне и по хуторам треп пойдет, что, дескать, огнищанский фершал батраков держит и окулачивается. Ясно?

— На чужой роток не накинешь платок, — попробовал возразить Дмитрий Данилович, — а положение у мень очень трудное. Вернуть вам земельный надел я не могу, этой землей вся семья кормится. Послать детей учиться — работать некому, а держать при себе — дураками останутся, неучами. Что хочешь, то и делай.

Длугач неопределенно хмыкнул. Фельдшер ему нравился, он считал Ставрова умным и порядочным человеком, но в его беде председатель, как видно, ничем не мог помочь.

— Ты попробуй в супряге поработать, — сказал он. — Соседи у тебя вроде ничего, тот же дед Колосков или кто из братов Кущиных. Подмогни им, а они тебе подмогнут, оно дело и пойдет веселее.

— Кой черт веселее! — махнул рукой Дмитрий Данилович. — Весной я засеял весь свой яровой клин за десять дней, а с соседями будешь месяц валандаться, бегать с одного поля на другое...

— Оно так, а только соседи тебе нехватку рабочих рук возместили бы, вам с жинкой и на отработку ходить не довелось бы. Дай Колоскову или же Сусаку своих кобылиц, нехай вспашут ими десятин десять, а сами тебе своим трудом отработают.

— Нет, уж буду как-нибудь выкручиваться один, — сухо сказал Ставров. — А то с соседями только свяжись — хлопот не оберешься. Да и коней загоняют. Что им, жалко, что ли? Не своя же худоба, чужая...

Вздохнув, Длугач, поднялся со стула, провел пальцем по усам.

— У меня, брат фершал, у самого хлопот полон рот, не знаю, за чего браться. Все мосты приказывают поправить, лес надо завезти для ремонта сельсовета, разных сводок да сведений цельную гору понаписать... А тут, как на грех, еще одна хвороба навязалась на мою голову...

Он притворил дверь плотнее и заговорил вполголоса:

— Третьего дня вызывали меня в волость, к товарищу Долотову. Захожу, а у Долотова в кабинете уполномоченный гепеу с уезда сидит. Как только я на порог, он зараз до меня. У вас, говорит, товарищ Длугач, на территории сельсовета крупный контрреволюционер хоронится, один белогвардейский полковник по фамилии Погарский. Будто этот полковник в Киеве жил, и к нему Пилсудский своих агентов из Варшавы засылал. Опосля, мол, след полковника нащупали, и он сбежал с Украины, до нас в уезд перебрался. Те-

перь вроде есть слушок, что он в Огнищанском сельсовете пребывает, будто видали его тут...

Вытащив из кармана висевшей на стуле кожанки кисет с махоркой, Длугач свернул цигарку, сунул ее в неизменный вишневый мундштучок, закурил и уставился на Ставрова.

— Уж я всех наших граждан по пальцам перебрал, прямо не знаю, где его шукать, проклятого полковника. Больше всего у меня подозрение на двоих: на Тимошку Шелюгина и на Антона Терпужного. А я так сам себе думаю: Тимошку не дюже давно из каталажки выпустили, за поджог коммунистической скирды допрашивали, значится, он забоялся бы полковника у себя укрывать, ему уже добре страху нагнали. Остается Терпужный: это гад стопроцентный и еще не пуганый волк. Может статься, полковник сидит где-нибудь у него в погребе или в конюшне.

— В конюшне у Терпужного никого нет, — сказал Дмитрий Данилович. — Утром я у него был, смотрел гнедого жеребчика. У меня кобыла в охоте, думал случить с Антоновым гнеденьким, да отказался: жидковатый конек. Придется на случной пункт вести в Пустополье...

Дмитрий Данилович поднялся, надел картуз.

— Добре, — Длугач протянул руку, — счастливо! Ты только, товарищ фершал, насчет полковника помалкивай, про это ни один человек не должен знать. Ясно?

— Я никому не скажу, — заверил его Дмитрий Данилович.

Из сельсовета он ушел в мрачном настроении и зашагал по верхней, костинокутской дороге. Заходило солнце. На полнеба пылали пурпурные с синевой отсветы заката, предвещавшего назавтра ветреный день. Внизу, меж двух холмов, лежала Огнищанка, вся в красном свете. Под густыми купами деревьев червонели новые, уложенные после голодного года камышовые крыши с ровно подрезанными гребешками. Среди них выделялись две: крытая оцинкованным железом, с двумя фронтонами, коньками и скворечнями крыша дома Терпужного и высокая, выложенная на немецкий манер жженой черепицей — Тимохи Шелюгина.

Отсюда, с вершины холма, Дмитрию Даниловичу хорошо было видно, как дед Силыч поит у колодезного корыта деревенское стадо, а бабы загоняют коров во дворы. По крутой тропинке, мимо двора Петра Кущина, гонит пеструю ставровскую корову Каля. На ней зеленое платьишко, на левом плече она несет коромысло с ведрами, а

длинной, зажатой в правой руке хворостиной подгоняет корову.

«Молодец дочка, — думает Дмитрий Данилович, — разом два дела делает, не ленится... Надо будет ей какого-нибудь цветастого ситчика веселенького на платье набрать да хорошие ленты в косы купить... девчонка растет, пора уже ее одевать как следует...»

Вспомнив недавний разговор с женой, Дмитрий Данилович сердито сплевывает: «Чудачка! Спрашивает, уеду ли я из Огнищанки. Зачем? Менять шило на мыло? Жить впроголодь? Нет уж, спасибо. Лучше я тут век доживу, своим хлебом буду питаться и детей помаленьку до ума доведу».

Все же мысль о детях беспокоит Ставрова. Уж очень им круто приходится. У сыновей лица черные, как голенища, руки в мозолях, пятки потрескались. Дочка тоже не вылезает из работы — то коровы, то свиньи, то птица. Жена от зари до полуночи на ногах — в доме управляется, целый день у печки, с ног валится от усталости. А ходят все обтрепышами — от весны до осени босиком, латки за полверсты видно.

«Нет, нет, — машет рукой Дмитрий Данилович, — надо отделить часть денег да всем добрую одежду и обувь справить, а то людей совестно, да и детишек жалко...»

В отличие от жены, которая не знает цены ни деньгам, ни домашним запасам и раздает на сторону все, что под руку попадет, Дмитрий Данилович расчетлив, бережлив, даже несколько скуповат. Прежде чем истратить копейку, он сто раз подумает, взвесит и тратит очень неохотно, точно совершает перед самим собой преступление. Но сегодня у него возникает желание чем-то отблагодарить жену и детей за их тяжелый труд.

«Обязательно, — решает он, — в первое же воскресенье поеду в Ржанск, накуплю разной материи, пусть шьют что хотят. Андрей заказные сапоги и суконные брюки галифе целую зиму выпрашивал — пусть делает, парню шестнадцать лет, пора уж...»

Не доходя до дому, Дмитрий Данилович завернул к Петру Кущину. Тот просил зайти осмотреть жену: по его словам, жена третьи сутки не поднимается с кровати и ничего не ест.

В недостроенной хатенке Кущина пахнет глиной и сосновыми досками. У печки, за дощатой перегородкой, нетерпеливо стучит ногами рыжий телок. Жена, худощавая мо-

лодая женщина, лежит на широкой деревянной кровати, откинув голову набок, и дышит, как рыба, выброшенная на песок.

Дмитрий Данилович помыл руки под жестяным рукомойником, присел на край кровати.

— Что с тобой, Мотя? — спросил он, наклоняясь к больной.

— Не знаю, голубчик Данилыч, ничего не знаю, — простонала женщина и глянула на Ставрова темными, неподвижными глазами с расширенными зрачками. — Рвет меня всю ночь, желчью рвет, и голова болит, прямо разламывается.

— Дай-ка руку...

Он пощупал пульс, поставил градусник. Пульс был слабый, замедленный, рука безжизненная.

— Давно это у тебя?

— О-о-ох! — заметалась женщина. — Как с арбы упала, так меня и взяло. Сено мы с Петром возили, он подавал, а я выкладывала... Кони возьми да дерни, спужались, видно, чего-то... Я и упала, думала, убилась...

— Головой ударилась?

— Головой, голубчик, — всхлипнула больная. — Кабы не головой, может, легче было бы...

Дождавшись Петра, Дмитрий Данилович сказал ему:

— У твоей жены, сосед, сотрясение мозга. Ей нужен полный покой. Теленка придется тебе из хаты убрать, чтоб тут не было никакого шума, окна надо немного притемнить. Больная не должна подниматься с постели ни в коем случае. Я сейчас схожу за шприцем, сделаю ей укол и лекарство дам против рвоты. Если не полегчает, надо будет везти в больницу: дело это нешуточное.

— Раз надо, значится, надо, — сказал, повесив голову, Петр, — а только теленка мне девать некуда, забор в коровнике я разобрал, чинить его надо. Так что, Митрий Данилыч, теленочка я в хате оставлю, он никакого вреда не принесет, он же не заразный, чистый телок.

— Ты дурака не валяй! — прикрикнул на Петра Дмитрий Данилович. — Что тебе дороже — жинка или теленок? Он тут такой грохот поднимает, что не только у больного, у здорового голова отваливается. А Матрене нужна полная тишина, чтоб никакого шума не было, понял?

Весь вечер Дмитрий Данилович провел у Кущиных, а когда вернулся домой, дети уже спали. Настасья Мартынов-

на поставила на стол подогретый борщ, вареники и присела рядом с мужем.

— Сегодня пришли два письма, одно от Александра, другое от Андрюшки, — сказала она. — Александр все про Марину спрашивает, бывает ли она у нас, как живет, с кем встречается. Как видно, только ею он и интересуется.

— Это его дело, — равнодушно ответил Дмитрий Данилович. — Мне уже осточертели разговоры об Александре. Можно подумать, он тебе весь свет застил.

— Почему застил? Просто они поженятся, я давно это чувствовала.

— Ну и пусть женятся, что тебе, жалко, что ли? Или ты хочешь, чтобы Марина до старости ждала твоего брата? Может, его косточки давно уже сгнили, а ты людям поперек дороги становишься, ввязываешься не в свое дело.

Настасья Мартыновна задумчиво подперла щеку рукой.

— Ни во что я не ввязываюсь. Мне только обидно, что Марина так быстро забыла Максима, будто и не жила с ним. Она и на дочку не обращает внимания, а у Таи тоже душа есть, девчонка мучается.

— Погоди! — поморщился Дмитрий Данилович. — Ты рассуждаешь так, вроде Александр уже живет с Мариной. Для чего эта болтовня, не понимаю. — И, чтобы прекратить разговор, спросил коротко: — А у Андрея что?

— Андрюша пишет, что у него все благополучно, — посветлела Настасья Мартыновна. — Занимается хорошо, купил себе два новых учебника, с Таей не ссорится...

Дмитрий Данилович отодвинул тарелку, закурил.

— Будешь ему писать — скажи, что сапоги и брюки, которые он хотел, я ему справлю, пусть только не лодырничает. И остальным всем куплю, что надо, а то дети совсем обтрепались.

Его голос смягчился, он ласково тронул жену за плечо:

— Да и ты, Настя, рано в старухи записалась. Вот поедем вместе в Ржанск, купи там себе на платье, закажи туфли, пальто, приоденься немного. А то ты совсем обабилась, на Сусачиху скоро будешь похожа...

Настасья Мартыновна удивленно подняла глаза, но ничего не сказала. В последние годы ее отношения с мужем становились все более сухими и далекими. Она все свое время, внимание, труд отдала четырем детям, не оставив на долю мужа почти ничего. А он, вначале обиженный этим, высмеивал жену, кричал на детей, потом привык к таким отчужденным, холодным отношениям, примирился с ними,

как с неизбежностью, и понял, что тягостную обстановку, сложившуюся в семье, изменить невозможно. Так они и жили: часто ссорились, упрекали друг друга, иногда неделями не разговаривали, но, связанные детьми и пережитыми вместе бедами, уже не представляли себе жизни один без другого и потому считали, что их отношения нормальны, что эти отношения не лучше и не хуже, чем у всех других людей. Минуты скупой, сдержанной ласки просветляли их ненадолго, стыдливо радовали, а потом все начиналось сначала, и этому не было конца...

Весь вечер Ставровы проговорили, сидя у стола и прикидывая, сколько ячменя, отрубей, сала они продадут в Ржанске, чтобы одеть детей и одеться самим. Когда лампа стала чадить, а в курятнике пропел первый петух, супруги улеглись спать.

Рано утром Дмитрий Данилович разбудил ребят, велел засыпать коням половы и спросил, позевывая:

— Кто из вас хочет съездить верхом в Пустополье? Надо кобылу вести на случку. Я напишу записку ветеринарному врачу. А в Пустополье часок можно побыть у тетки Марины, с Андреем повидаться.

— Я поеду, — сказал Федя. — Ромка не любит верхом.

— Ну что ж, поезжай ты, — согласился Дмитрий Данилович. — Скажи матери, чтоб дала тебе позавтракать, подсыпь кобыле овса и поезжай. На обратной дороге остановишься в Казенном лесу, попасешь кобылу. Да не гони ее, пусть шажком идет, помаленьку...

Через час Федя взял войлочную попонку, накинул ее на серую кобылу, подтянул стремена и выехал со двора. Он привык выполнять приказания отца, и, хотя ему очень хотелось проскакать по лесной опушке галопом, он ехал шагом. Жарко пригревало солнце. Слева, в зелени овсов, звонко щелкал перепел, ему отвечал другой, третий... В воздухе кружилась мошка. Вынув из стремян загорелые босые ноги, Федя подремывал, думал о встрече с Андреем и Таей, припоминал, сколько возле леса осталось выкосить сена.

В Пустополье он разыскал Андрея — брат был в кабинете природоведения, — и они вместе повели кобылу на случной пункт. Там, в деревянных денниках, на диво вычищенные, с атласной шерстью, раскормленные и важные, стояли три жеребца. Одного из них, каракового красавца по кличке Ворожей, знакомый Ставровым ветеринарный врач отобрал для случки.

— От этого у вашей кобылицы не жеребенок будет, а змей-горыныч, — сказал он ребятам.

— Ничего, мы и со змеем справимся, не впервой, — с достоинством ответил Федя, посматривая на старшего брата.

После случки кобылу поставили в тенистом углу школьного двора. Андрей, ничего не говоря, перескочил через забор в соседский двор, перекинул оттуда охапку сена и подбросил его кобыле, ласково оглаживая ее чуть вспотевшую шею.

Тая крутилась возле мальчиков, потом позвала их в комнату чай пить. Андрей уже привык к Пустополью, а Федя вошел смущенно, с опаской взглянул на свои запыленные ноги и робко присел на край стула.

— Ой, как ты вырос, Федюша! — воскликнула Марина. — Ну, иди сюда, я тебя поцелую.

Она прижала к груди вихрастую голову Феди, засмеялась:

— Весь пропах сеном и лошадью.

Все дети Ставровых очень любили Марину, но после ее отъезда из Огнищанки Федя отвык от нее и потому сейчас дичился, посматривал украдкой на ее маленькие розовые руки и не знал, куда девать свои, жесткие от мозолей, грубые и неловкие.

Марина напоила детей чаем, велела Феде подождать, вышла куда-то и вернулась с большим свертком.

— Это возьмешь с собой, — сказала она Феде. — Тут халва и печенье, полакомитесь с Калей и Ромой.

— Мама, можно мне подарить Кале куклу, которая в розовом платье? — спросила Тая, прижимаясь к плечу Марины.

— Конечно, можно, — улыбнулась Марина. — Раз тебе так хочется, дари, пожалуйста. Каля будет очень рада.

Андрей закричал из соседней комнаты:

— А я хочу передать Роману книжки и коробку с минералами, я выпросил для него у Фаддея Зотовича!..

Довольный своим пребыванием в Пустополье, Федя выехал домой в третьем часу. Левой рукой он придерживал перевязанный посредине и уложенный на холке лошади мешок с подарками. Хотя обратный путь, как это всегда бывает, показался ему гораздо длиннее, он по-прежнему ехал тихо, жалея кобылу.

До Казенного леса, который невдалеке от Огнищанки тянулся по холмам и лощинам верст на пятнадцать, Федя добрался перед закатом солнца. Помня приказание отца, он

решил отдохнуть немного и попасти кобылу. У опушки трава была сбита скотом и припалена солнцем. Федя поехал в глубь леса, посматривая влево и вправо и отыскивая пырей посочнее. Возле узкой, густо заросшей дубняком лощины оказалась подходящая полянка с нетронутым зеленым пыреем.

Разнуздав кобылу, Федя повел ее к траве, некоторое время походил рядом с кобылой, потом вдруг почувствовал, что ему стало страшно. В лесу стояла тишина. На вершинах дубов еще червонели отсветы солнца, а внизу, из лощины, наползали прохладные сумерки. Где-то очень далеко раздумчиво, с перебоями куковала кукушка.

Федя знал, что кривую лощину огнищане называли Волчьей падью: верстах в шести от нее была расположена глухая деревенька Волчья Падь. «А что, если на меня наскочат волки? — подумал Федя. Замирая от страха, он вскочил на лошадь. — Если что случится, я ускачу на разнузданной, а мешок брошу», — решил он.

Но все было тихо. Спокойно пофыркивая, кобыла ела пырей и медленно продвигалась вниз, к лощине.

Вдруг Федя услышал голоса. Совсем близко, за кустами колючей дерезы, разговаривали два человека. Голос одного из них показался Феде знакомым. Мальчик вслушался в разговор, стараясь уловить, о чем идет речь.

— Только вчера мне передали от Савинкова письмо, — говорил мужчина, голос его напомнил Феде кого-то из огнищан. — Он пишет, что собирается к нам и будет здесь в середине лета. Не знаю, как ему удастся пройти через границу. Сейчас на границе очень строго.

Второй голос, низкий и сиплый бас, ответил:

— Такой, как Савинков, пройдет везде.

— Он хотел перебраться через польскую границу. Вероятно, помимо встречи с Пилсудским, его интересуют в Польше Булак-Балахович и Тютюнник.

— Кто?

— Тютюнник.

Тот, что говорил сиплым басом, засмеялся.

— Вы, батенька мой, плохо читаете советские газеты. Полгода назад доблестный генерал-хорунжий Тютюнник пробрался на Украину вместе с неким Дорошенко, председателем подпольной организации «Высшая войсковая рада». Покрутились они оба по украинским городам и весям и убедились, что от их рады остались рожки да ножки — все разбежались. Ну, Тютюнник предстал перед красными вла-

стями, ударил челом и в знак благодарности за прощение передал им чуть ли не весь петлюровский архив.

— Все бегут, сволочи! — мрачно проговорил знакомый голос. — Оцениваю я наши перспективы, и тоскливо мне становится... Пропала культура, исчезает цивилизация, место мыслящего человека занял дикарь, темное, двуногое существо — большевик. Слово-то какое! Боль-ше-вик!

— Положим, у этих самых большевиков тоже не очень благополучно. Сейчас от них откалывается Троцкий, завтра отколется Зиновьев, и начнется всеобщая свалка. Вот тут-то, друг мой, мы и должны быть наготове. Ради этого стоит жить.

— Я умирать не собираюсь. Но мне надоело идиотское ожидание. Пришло время мстить...

Порыв ветра заглушил окончание фразы. Федя сидел неподвижно, вслушиваясь в странный разговор. Его подмывало объехать дерезу и посмотреть, кто это говорит знакомым голосом, но он остался на месте, понимая, что его попытка увидеть говоривших может окончиться плохо.

— Между прочим, вам, Константин Сергеевич, следует быть начеку, — сказал человек, который говорил о мести.— Мне известно, что нашего председателя сельсовета Длугача вызывал к себе уполномоченный гепеу. Я не знаю, о чем у них шел разговор, но жена Длугача сказала моей так называемой жене, что гепеу ищет какого-то белогвардейца.

— Что же вы раньше об этом не сообщили? — прохрипел бас. — Такие вещи, сотник, не оставляют под конец разговора...

Он помолчал и заговорил тише:

— Далеко уходить мне нельзя. Примерно в этом районе должна состояться моя встреча с человеком, посланным Врангелем, и если удастся, то и с Савинковым.

— Что же делать?

— Не думаю, что чекисты догадаются искать меня в лесу. Если вы ни разу не допустили неосторожности, доставляя мне продукты, никому не придет в голову рыскать по лесу в поисках одного человека. Агенты гепеу будут обыскивать хаты, но только не лес.

— Как знать...

— Что же вы советуете? — спросил бас.

— Я думаю, нам на какое-то время надо прекратить наши встречи. В ночь под субботу я привезу вам побольше

муки и сала и не стану появляться до самого приезда Савинкова.

— Захватите с собой четверть хорошего самогона, — сказал бас. — Что может быть приятнее в моем положении! Кроме того, не забудьте привезти спичек и какой-нибудь полушубок или одеяло. Ночи все же прохладные.

— Оружие у вас надежное?

— Два браунинга и маузер.

— А патроны?

— Обоймы рассованы по всем карманам.

— Значит, вы решили остаться в этой землянке? — помедлив, спросил знакомый Феде голос.

— Нет, из леса я пока уйду, — твердо ответил бас.

— Куда?

Обладатель баса засмеялся:

— Об этом не спрашивают, сотник. Я привык полагаться только на самого себя и в случае опасности не открываю места своего пребывания даже самым лучшим друзьям. Это вернее.

— Но может возникнуть необходимость обязательно увидеться с вами, если Савинков появится скорее, чем мы думаем. Как быть тогда?

— В этом случае...

Серая кобыла, подняв голову, заливисто заржала. Обезумевший от страха, Федя, придерживая мешок, ударил ее пятками босых ног и погнал вскачь.

Уже выехав на дорогу и увидев внизу Огнищанку, он перевел дух, пустил кобылу шагом и стал мучительно вспоминать, где же он слышал голос одного из лесных собеседников. Но так и не вспомнил.

5

Стоя вполоборота у трехстворчатого зеркала в ореховой раме, Пепита легкой пуховкой припудривала шею. Сегодня на ней не было ни бриллиантов, ни ее любимого платья. Тем не менее она одевалась тщательно, точно вечером ее ожидало всегда по-новому волнующее выступление на сцене лондонской оперетты. Пепита уже потянулась к тонкому, как паутинка, кулону с крупным опалом, но опустила руку, вспомнив, что она не в Лондоне, а в парижской гостинице, что в театр ей ехать не нужно и что ее новый, второй по счету муж, капитан Джордж Сидней Рейли, просил ее одеться как можно скромнее. Он прибавил, что в девятом часу их будут ждать очень влиятельные лица.

Нет, Пепита не была довольна ни мужем, ни платьем. Джорджу надо бы знать, что любое влиятельное лицо знает ее, Пепиту, а она в этом дурацком лиловом платье, прикрывшем ее прославленные поэтами колени, скорее похожа на жену захудалого клерка.

— Вы готовы? — раздался за дверью нетерпеливый голос мужа.

— Да, войдите, — покорно вздыхая, ответила Пепита.

В комнату вошел капитан Рейли в сером костюме. Рассеянно оглядев туалет жены, он приоткрыл дверь:

— Прошу...

Они вышли на улицу. У подъезда гостиницы, сверкая хромированным радиатором, стоял огромный «роллс-ройс». Пожилой шофер с кирпично-красным лицом и седыми волосами небрежно поклонился Пепите и не пошевельнул и пальцем, чтобы помочь войти в машину ей и ее мужу. Даже дверцу не открыл. Удивило Пепиту и то, что шофер не спросил Джорджа, куда ехать, дал сигнал и повел машину по ярко освещенной улице.

— Джордж, мне сегодня не нравится ваше поведение,— сказала Пепита. — И если мое несчастное платье вызовет...

— Простите, — перебил Рейли, — я забыл представить вас друг другу. Моя жена миссис Рейли, сэр Гарри...

Не оглядываясь, шофер кивнул головой. Даже под слоем пудры можно было заметить, что Пепита побледнела. Как же она сразу не увидела, что на плечи шофера накинут легкий, серебристого цвета плащ, а рядом, на сидепье, лежат его шляпа и дорогая трость? Так вот он какой, некоронованный король, знаменитый нефтяной магнат. Говорят, самый богатый человек империи. Пепита слышала, что сэр Гарри настолько уверен в близком падении советского режима, что совсем недавно купил у русских эмигрантов Манташева и Лианозова бакинские нефтяные промыслы. Джордж рассказывал, что у сэра Гарри и жена русская, какая-то умопомрачительная красавица из эмигранток, и что он уже подарил ей Баку. «Вот это подарок!» — вздохнула Пепита, украдкой посматривая на крепкий, ровно подбритый затылок шофера.

Автомобиль пролетел глухими, темными улицами и остановился у высоких, тяжелого литья ворот. Ворота открылись, «роллс-ройс» бесшумно вкатился во двор. Сидней Рейли подал жене руку:

— Прошу вас...

Вместе с Пепитой он прошел мимо большого, скуповато освещенного дома в боковой флигель, где их встретил горбоносый, оливково-смуглый лакей в желтом бешмете, с кинжалом на поясе, почтительно поклонился и проводил в круглую, увешанную текинскими коврами комнату.

— Что за экзотика! — воскликнула Пепита, сняв шляпу и оправляя волосы. — Тут нет даже зеркала, только ковры и подушки...

— Это дом Леона Манташева, — ответил Рейли. — Вы слышали о нем — русский эмигрант, нефтяник. Собственно, он не русский, а из восточных кавказцев, богач. Недавно Манташев умудрился получить от сэра Гарри девятнадцать миллионов франков за нефтяные участки в Советской России.

— А сейчас чем он занимается? — с наивным любопытством спросила Пепита.

— Покупает и продает скаковых лошадей, — улыбнулся Рейли, но тотчас же погасил усмешку и взял Пепиту за руку. — Я не хочу скрывать от вас ничего, — серьезно и строго сказал он, целуя слабо пахнувшую духами ладонь жены. — Так же как и я, вы ненавидите русских большевиков. Целью моей жизни является их уничтожение. Мы с вами приехали на совещание, которое должно определить наши ближайшие шаги. На совещании будут присутствовать руководители русского Торгпрома Денисов, Рябушинский, Лианозов, Манташев, Чермоев, Третьяков, а также сэр Гарри и неофициальный представитель генерального штаба одной из держав. Кроме того, в совещании примут участие — разумеется, без оглашения этого — ответственные сотрудники некоторых посольств...

— А ваш друг Борис Савинков? — спросила Пепита. — Он тоже здесь?

Рейли кивнул:

— Конечно, Савинков — наша главная ставка в очень-очень крупной игре. Скоро мы с вами проводим его в Советскую Россию. Он все подготовит для выступления, а мы нанесем решающий удар и к зиме покончим с большевиками.

Пепита погладила руку мужа, приложила ее к своей щеке, глянула на Рейли прекрасными, искусно подведенными глазами.

— Мне, мой друг, не совсем понятна цель моего присутствия здесь...

— Это желание нашего соотечественника сэра Гарри, —

сказал Рейли. — Его жена сейчас у Манташева, и он не хочет оставлять ее одну.

— Разве Манташев не женат?

— Какой там! — махнул рукой Рейли. — Он меняет любовниц, как скаковых лошадей...

Через четверть часа сэр Гарри представил супругов своей жене, выкурил трубку и, взглянув на часы, повел массивной челюстью:

— Пора.

Рейли поклонился дамам и сказал:

— Надеюсь, у вас найдутся общие интересы и вы не будете скучать...

В большом зале, где были расставлены столы с закусками и винами, уже сидели и стояли участники предстоящего совещания. Они знали, что исполнители их решений найдутся, что сами они, властители жизни, не будут подвергать себя опасностям, а потому могут оставаться спокойными, выдержанными и элегантными. Ждали только Савинкова. Он опаздывал. Если бы это сделал кто-нибудь другой, денежные воротилы возмутились бы, но в данном случае пришлось смириться: опаздывал не простой смертный, не рядовой исполнитель их воли, а будущий диктатор обновленной России...

Савинков вошел в зал без доклада, угрюмый и злой, похожий в своем наглухо застегнутом черном сюртуке на агента похоронного бюро. Он небрежно поклонился и сел в углу, в тени густой пальмы.

Совещание открыл председатель Торгпрома Николай Хрисанфович Денисов, маленький чернобородый человек с ядовитой усмешкой на губах и нетрезвыми, но внимательными глазами.

— Руководители Российского торгово-промышленного и финансового союза решили в ближайшее время осуществить самые радикальные меры по восстановлению хозяйственной жизни в России, — осторожно подбирая слова, сказал Денисов. — Как известно, после смерти Ленина в большевистской партии начался разброд, что мы обязаны использовать. Именно для этого в Советскую Россию должен отправиться человек, объединяющий все звенья обширного плана...

Денисов посмотрел в сторону Савинкова и продолжал речь тем же деревянным голосом:

— Отнюдь не предрешая форму государственного устройства России, мы, господа, очевидно, согласимся все, что

диктатура, возглавляемая лицом, снискавшим особую популярность своими беспощадными действиями против большевиков, будет вначале наиболее приемлемой для всех нас формой правления...

— Почему вначале? — усмехнулся сидевший на диване красавец Манташев. — Не только вначале... без диктатуры мы наш народ в руках не удержим.

Денисов поднял маленькую сухую руку:

— Как только особая группа будущего нашего диктатора, привлекая на первых порах на свою сторону оппозиционеров-троцкистов, начнет восстание против Центрального Комитета, Англия, Франция, Польша, Румыния, Югославия и Финляндия официально заявят о непризнании большевистского правительства и начнут военные операции против Советов. Одновременно, по нашему сигналу, подпольные группы меньшевиков поднимут в Грузии вооруженное восстание против Москвы... Об этом мы договорились здесь, в Париже, с господином Жордания, и он уже отправил в Грузию соответствующий приказ своим подчиненным...

Легким движением руки Денисов придвинул к себе рюмку с коньяком, полюбовался ее янтарным отсветом на белой скатерти и снова отодвинул на прежнее место.

— Что касается государственных границ будущей России, то они, вероятно, подвергнутся некоторому пересмотру, но мы вряд ли сможем сейчас определить рамки этого пересмотра.

Трубка дремавшего в кресле сэра Гарри погасла. Внезапно он приоткрыл глаза и проговорил отрывисто:

— Перед моим отъездом в Париж мне было сообщено, что проблема Кавказа уже рассматривалась вами и вы решили соблюсти интересы мирового хозяйства, связанные с нефтью. Как понять это заверение?

— Да, относительно Кавказа был разговор, — ответил Денисов, — и мы пришли к единогласному решению: отделить Кавказ от России и объявить его независимой Закавказской федерацией... разумеется, с соблюдением интересов Англии и Франции.

— А как вы распорядитесь нефтяными источниками? — с грубой прямотой спросил сэр Гарри.

— Нефтяные источники, как и все национализированные большевиками ценности, немедленно будут возвращены прежним владельцам, — твердо сказал Денисов. — В этом не может быть никакого сомнения...

Сэр Гарри, усмехаясь, повел плечом в сторону Манташева:

— А если прежние владельцы, находясь в эмиграции, уже успели продать свои промыслы иностранцам?

— Мы, слава богу, признаем, в отличие от большевиков, законность торговых сделок, — улыбнулся Денисов. — Конечно, в таких случаях известные ценности будут переданы тем лицам, которые по завершении соответствующей сделки оказались новыми законными владельцами указанных ценностей.

Манташев добродушно захохотал:

— Одним словом, сэр, мои нефтяные промыслы стали вашими. Это так же верно, как то, что ваши деньги стали моими.

В зале засмеялись. Кто-то сдвинул кресло, потянулся к шампанскому. Зазвенели бокалы.

— Очевидно, господа, наше совещание еще не закончено? — раздался глуховатый голос Савинкова. — В данную минуту меня не столько интересует результат нашей борьбы, о которой здесь излишне много говорилось, сколько практическая подготовка к этой борьбе.

— Мы вас слушаем, Борис Викторович, — сказал Денисов.

— Я прошу ответить: разработан ли соответствующими военными штабами план операции против Советов и готовы ли их вооруженные силы точно в срок выполнить этот план?

Денисов посмотрел на пожилого, с нафабренными усами, щегольски одетого француза:

— Может быть, господин генерал, вам угодно будет ответить Борису Викторовичу?

Француз поднялся, откинул полу смокинга, достал из кармана небольшой пакет и заговорил, коверкая английский язык:

— Все разработано, месье Савинков, стратегический план находится у меня в руках, а будущие операции скоординированы с командованием наших союзников. Мы при этом учли не только оборонительную силу Красной Армии, но и все возможные резервы московских большевиков. Удар будет нанесен нами наверняка, но не должен называться интервенцией. Только для этого нам желательно восстание в Советской России и мгновенная, может быть даже телеграфная, просьба вождя восстания прийти на помощь русскому народу.

— Это мне ясно, — сказал Савинков. — Но меня в не меньшей мере интересует социальная ориентация инициаторов нашего совещания. На какие силы в Советской России будем мы опираться? Какую положительную программу предложим русскому народу уже в самом начале восстания?

Франтоватый генерал развел руками и, бросив взгляд на Денисова, пробормотал по-французски:

— Это меня не касается.

Тщедушный, с расчесанными на пробор реденькими волосами, Лианозов обронил вяло:

— Наша социальная ориентация, как изволил выразиться Борис Викторович, достаточно обширна: зажиточные слои крестьянства, чиновничество, партийная оппозиция, буржуазия, все обиженные Советской властью — это наши союзники. А программа... что ж программа? Свержение узурпаторской власти большевиков, равенство для всех и, самое главное, восстановление священного права собственности — вот и вся наша программа...

— Последний пункт вашей краткой программы вряд ли удобно провозглашать, — насмешливо сказал Савинков. — Вы, очевидно, забыли о том, что собственников в России осталось немного...

— Каждый живой человек хочет быть собственником, — возразил скуластый, желтолицый азербайджанец Тапа Чермоев, потерявший в Баку богатейшие нефтяные участки. — Живой и здоровый человек стремится владеть домом, женщиной, землей... так бог создал мир, и никто не может изменить вечный закон жизни...

Не выходя из своего укрытия, Савинков презрительно пожал плечами:

— Безземельному мужику, получившему от большевиков землю и власть, такая отвлеченная философия не нужна, ему плевать на философию. Вы скажите в программе ясно и недвусмысленно: оставите вы мужику отобранную у помещиков землю или вернете ее прежнему владельцу? Это для мужика важнее, чем пресловутое равенство или прадедовские афоризмы о собственности...

На некоторое время в зале воцарилось неловкое молчание. Никто не хотел вступать с Савинковым в спор, но ответить на его резкий и прямой вопрос было необходимо: все знали, что в России Савинкова об этом спросят. Однако Денисов сидел молча, играя серебряным кольцом от салфетки, другие только переглядывались.

— По-моему, Борис Викторович прав, — сказал все время молчавший Рябушинский.

Он отодвинул ногой кресло, подошел к Савинкову и заговорил твердо и властно, тоном приказа:

— Не слушайте отставших от жизни людей. Новую Россию можно построить только при помощи народа, и народ должен знать, куда мы его ведем. Да, мужику надо торжественно заявить: помещичья земля тебе дана навсегда, и никогда, нигде, ни при каких условиях она не будет отобрана... Конечно, мы скорбим при виде разоренных дворянских гнезд, нам жаль былого... И все-таки, в отличие от дворянства, торгово-промышленный класс пойдет в ногу со временем...

— Я не знаю, господа, согласны ли вы с этим? — перебил Денисов, удивляясь тому, что сказал Рябушинский.

Тот дернулся, сердито скривил губы.

— Подождите, Николай Хрисанфович, я не закончил. Кроме сказанного, мы обязаны заявить рабочему, что он будет участвовать в наших прибылях. Это один из назревших вопросов частной промышленности, и, конечно, мы на это пойдем... Давно пора опрокинуть вульгарный взгляд на хозяина как на притеснителя, и рабочий, если мы будем достаточно дипломатичны, поймет всю предвзятость такого взгляда в новых условиях.

Рябушинский снова опустился в кресло и закончил устало:

— Отвергнуть эти два предложения — значит заранее обречь себя на провал.

— Вы рассматриваете ваши тезисы как тактический маневр или искренне убеждены в необходимости их осуществления? — лукаво спросил добродушный московский купец Третьяков, подталкивая локтем Рябушинского.

— На это я вам отвечу после нашей победы, — грубо отрезал разозленный Рябушинский.

Общий хохот покрыл его слова, зазвенели бокалы, участники совещания по приглашению Манташева стали придвигать кресла к столам.

— Вино — лучший советник! — закричал Третьяков. — Оно поможет нам решить самые запутанные вопросы...

Савинков давно и хорошо знал этих людей и приучил себя презирать их ровным, холодным презрением. Но он знал и другое: эти фантастически богатые люди постоянно снабжали его большими деньгами для того, чтобы он вел борьбу, которая была им нужна для свержения больше-

виков, а он пользовался их деньгами для организации убийств, тайных собраний, явок, покушений и мятежей.

Конечно, Савинков был не только профессиональным террористом и убежденным заговорщиком, не только наемником презираемых им богатых людей, но и злобно, тяжело ненавидел коммунистов. Его жгучая ненависть усугублялась тем, что он, как наблюдательный литератор и человек действия, лучше, чем кто-либо другой, видел ничтожество белой эмиграции и с каждым днем испытывал все более тягостное одиночество, бесился от сознания своего бессилия в борьбе с коммунистами...

После совещания супруги Рейли пригласили Савинкова на прощальный ужин.

— Я хочу по-дружески проститься с вами, — сказал Сидней Рейли. — Кто знает, когда нам доведется встретиться...

— Поедемте, угрюмый человек, — кокетливо добавила Пепита. — Мне всегда приятно быть с вами и думать, что когда-нибудь я все-таки сумею привлечь внимание такого отшельника, как вы...

На лице Савинкова мелькнула вежливая улыбка.

— Вряд ли увядший лист сможет украсить ваш лавровый венок, — равнодушно сказал он. — Впрочем, как и всегда, я рад провести с вами вечер...

Они бродили по аллеям парка Монсо. Савинков молчал, а Сидней Рейли все время говорил о Наполеоне, жизнь которого изучил не хуже, чем свою собственную.

— Очевидно, Борис Викторович, вы мне нравитесь еще и потому, что у вас есть сходство с Бонапартом, — полушутя сказал он. — Вы, мой друг, напрасно улыбаетесь. Посмотрите, Пепита, — у него наполеоновские глаза, тот же нос и те же губы, даже знаменитая прядь волос...

— Только судьба не та, — усмехнулся Савинков.

— Почему не та? Если хотите, у вас есть преимущество перед Наполеоном: тот начал безвестным и неопытным артиллерийским офицером, а вы всходите на свою вершину мастером политики, имеющим десятки тысяч верных единомышленников и друзей.

— Благодарю вас, — скрывая зевоту, сказал Савинков. — Но вместо слишком лестных для меня аналогий я предпочел бы ужин и стакан доброго вина...

— О, я знаю восхитительный кабачок, — оживилась Пепита, — там очень вкусно готовят и, кроме того, всегда выступают ваши земляки — русские певцы и актеры. В про-

шлом году, когда я была в Париже на гастролях, меня затащили туда. Очаровательно!

Кабачок оказался самым захудалым, третьеразрядным заведением с безвкусно размалеванной эстрадой и четырьмя румынами скрипачами, которые добросовестно пилили бразильские танцы входившего в моду Мийо и тут же, в антрактах, ловко раскидывали засаленные колоды карт: за пять сантимов они брались предсказать судьбу всем желающим...

Савинков и его спутники отыскали удобное место в углу и осмотрелись. В низком, наполненном дымом кабачке сидели захмелевшие студенты с подругами, несколько офицеров в расстегнутых мундирах, какие-то бесцветные старики и старухи, три пьяных матроса с молоденькой проституткой.

— Где же ваши русские актеры? — спросил Савинков.

Пепита погрозила ему пальцем:

— Какой нетерпеливый! Пейте шабли и покорно ждите...

В двенадцатом часу ночи носатый конферансье с алой гвоздикой на лацкане измятого фрака торжественно возгласил:

— Господа! Сейчас вы будете иметь счастье видеть прекрасную хореографическую группу русских девушек-босоножек, воспитанниц императорского Смольного института.

Раздались жидкие аплодисменты. Рассовав по карманам карты, скрипачи запилили неизменного Мийо. На эстраду гуськом вышли шесть босых женщин. Две из них — они мелкими шажками семенили впереди—были молоды и красивы, остальные скорее походили на приговоренных к смерти: на их усталых лицах застыла угодливая улыбка, на худых, покрытых слоем крема и пудры боках резко обозначались ребра. Полуголые женщины равнодушно, как деревянные манекены, поднимали руки и ноги, сбегались к середине эстрады, разбегались, потом, подчиняясь замедленному ритму и тягучему, дикарскому вою скрипок, вертели бедрами, выпячивали груди, с унылым цинизмом проделывали бесстыдные движения. Особенно старалась при этом самая пожилая и самая некрасивая из танцовщиц.

— По-вашему, это искусство? — сквозь зубы сказал Савинков.

Пепита состроила гримасу.

— Чтобы любоваться искусством, приезжайте в Лондон и осчастливьте своим присутствием наш театр...

После того как босоножки-смольнянки, вымученно улы-

баясь, униженными поклонами ответили на аплодисменты и легкой рысью удалились с эстрады, носатый объявил:

— Для уважаемых русских посетителей будет читать стихи популярная поэтесса госпожа Нора Лидарцева.

— Браво! Браво! — закричали пьяные офицеры.

Один из них, вертлявый драгун с щегольскими усиками и эспаньолкой, налил бокал нюи и пошел к эстраде. На подмостки поднималась невысокая женщина в клетчатом платье. Лицо у нее было молодое, милое и жалкое, но глаза с оттушеванными синими ресницами вызывающе поблескивали.

— Браво, мадам Лидарцева! Браво, крошка! — завопил драгун. — Я пью за нашу любовь!

Картинно отставив руку, он выпил вино и под общий смех поплелся к столу. Госпожа Лидарцева провела кончиком языка по накрашенным губам, сложила на груди руки а-ля Монна Ванна и начала читать, щуря глаза, слегка картавя, с подвыванием и дрожью в голосе:

Подрисованные женщины нежнее
Кажутся при свете фонаря.
Я толпе в глаза смотреть не смею
Без отчизны, дома и царя...

Она и в самом деле опустила синие ресницы, по-детски скривила губы и с еще большим надрывом стала выпевать строки:

Я шаги ускорила невольно.
Магазины весело горят...
И никто не знает, как мне больно
Без отчизны, дома и царя...

— Именно без царя, без царя в голове, — зло усмехнулся Савинков. — Это, к сожалению, очень заметно. Какая-то несусветная чушь — ностальгия с горящими магазинами. Нет, как хотите, а мне этот балаган надоел. Давайте лучше завершим сегодняшний вечер в ресторане нашего отеля...

Пепита отказалась идти в ресторан, и они снова прошлись по ночным парижским улицам. Потом Сидней Рейли проводил жену в номер и постучал в дверь Савинкова.

— У вас нет сомнений в успехе намеченного нами предприятия? — неожиданно спросил Рейли.—Мне почему-то кажется, что вы в чем-то сомневаетесь.

— Да, сомневаюсь, — ровным голосом ответил Савинков, — и, представьте себе, очень во многом.

Сидней Рейли покачал ногой.

— В чем же, если это не секрет?

Медленно шагая по комнате, Савинков заговорил с раздражением:

— Прежде всего я сомневаюсь в том, что мы можем рассчитывать на серьезную помощь со стороны белой эмиграции. Это конченые, морально уничтоженные люди, нравственные калеки, которые, разумеется, охотно вернулись бы в Россию, если бы их туда пустили. Какие из них солдаты? Красные разгромят их в первом же бою.

— Но армия генерала Врангеля не будет сражаться в одиночестве, — возразил Рейли. — Основной удар нанесут не эмигранты, а отлично вооруженные европейские войска. Можете быть уверены, что они не повторят ошибок двадцатого года.

— И в этом я сомневаюсь, — упрямо сказал Савинков.

— В ударной силе европейских войск?

— Нет, в том, что их вообще смогут заставить идти на фронт. Это нелегкая задача, особенно сейчас. Народу осточертела война. Разве вы не видите, не чувствуете этого?

Незаметно наблюдая за выражением лица своего друга, Рейли как бы невзначай обронил:

— С таким настроением, Борис Викторович, трудно выполнить то, что вы собираетесь сделать в России. Я бы на вашем месте подумал, стоит ли вам ехать туда, по крайней мере сейчас...

Савинков повернулся, презрительно махнул рукой:

— Я игрок, дорогой мой Рейли, и больше всего на свете люблю острые комбинации. Чего мне бояться в Советской России? Смерти от руки чекистов? Ареста? Ссылки? Я много раз испытал все это: сидел в камере смертников, приговоренный к повешению, руководил революционным террором эсеров, убивал князей и прочую человеческую дрянь, постоянно играл со смертью, играл азартно. В России меня сейчас интересует только крестьянство. Допусти большевики крупную оплошность в отношении крестьян — и весь их режим полетит к чертовой матери. Вот такой оплошности большевиков я и буду ждать в России и использую ее мгновенно. Тогда-то мне и понадобятся ваши вооруженные войска, дорогой Рейли...

— Когда вы думаете ехать? — спросил Рейли, задумчиво постукивая пальцами по хрустальному графину на столе и вслушиваясь в его тонкий, протяжный звон.

— После встречи с некоторыми деятелями Англии, — твердо ответил Савинков. — Сейчас я выеду с вами в Лон-

дон, чтобы услышать подтверждение договоренности. Оттуда — в Польшу, где у меня назначена встреча с Пилсудским, а из Польши под именем Степанова направлюсь к границе и перейду ее примерно на минском направлении...

На следующий день Савинков и супруги Рейли выехали в Лондон. А через четыре дня Савинков был уже в Друскениках, на берегу Немана, в поместье Юзефа Пилсудского, который принял его как старого знакомого. Более полутора лет Пилсудский был не у дел. После неудачной киевской авантюры Пилсудский покинул Бельведерский дворец главы государства, снял свою кандидатуру на выборах президента и отсиживался в тихих Друскениках, дожидаясь лучших времен. Однако и в эту пору Пилсудский был тайно связан с тысячами единомышленников, принимал на даче своих агентов, искусно плел невидимую политическую паутину против Советского Союза. Савинков много раз встречался с Пилсудским и всегда относился к нему двойственно: с одной стороны, искренне восхищался энергией маршала, его жестким характером, негибким, но острым умом; с другой стороны, зная, что Пилсудский всю жизнь мечтал о разгроме России, держался настороженно и думал про себя: «Ну что ж, пан Пилсудский, давай продолжать игру, посмотрим, кто кого переиграет...»

Сейчас Пилсудский был нужен Савинкову для того, чтобы позондировать почву. Савинкова интересовала организация польских антисоветских легионов; кроме того, он хотел обеспечить себе безопасный переход через границу.

— Польские добровольные легионы — чистая фантазия, — сердито сказал Пилсудский. — Для этого нужны годы и нужно другое правительство. А что касается вашего перехода через границу, то я сегодня же отдам приказ своим людям, они выделят проводников и переправят вас.

— Разве нынешнее польское правительство уклонилось от того пути, который был проложен вами? — осторожно спросил Савинков.

По лицу Пилсудского промелькнула неуловимая тень.

— Оно не имеет никакого пути и плавает, как навоз в проруби...

Вечерами, перед закатом солнца, Пилсудский уходил на берег Немана, расстилал на траве старый военный плащ, ложился и часами смотрел на синевшую за рекой литовскую землю. Легкокрылые ласточки носились над лугом, по мелким болотцам изнывали в тоскливом крике черно-белые чибисы, однозвучно постукивал где-то вдали топор дровосека,

теплый летний вечер насыщен был запахами реки, молодого сена, рассыпавшихся по долине цветов.

Не докучая Пилсудскому, Савинков бродил по аллее тенистого парка или, охваченный беспокойными мыслями, сидел на скамье, положив на колени мягкие, как у женщины, руки. Впервые в жизни темное предчувствие томило его. «Нет уж, что будет, то будет, — говорил он себе,—но с половины дороги я никогда не возвращался». А другой, чужой, назойливый голос нудно повторял где-то слышанную Савинковым фразу: «Игра сделана, ставок больше нет»... «Русского мужика, русскую бабу, — говорил себе Савинков, — ты не знал и не знаешь... Ставок у тебя больше нет, твоя игра сделана...»

Темной, безлунной ночью четверо одетых в штатское молодцов приехали в Друскеники на тачанке и увезли с собой Савинкова и его секретаря с молодой красивой женой. А перед рассветом, когда стали бледнеть звезды и в низинах забелели туманы, они на бесшумной резиновой лодке переплыли реку, простились с проводниками и медленно пошли на восток.

Был тот ранний предутренний час, когда на земле стоит ничем не потревоженная тишина, а каждый предмет — дерево, куст, стог сена — только начинает обозначаться во мгле, приобретая смутные, расплывчатые очертания. Редкая перекличка петухов в ближних деревнях, таинственный посвист птичьих крыльев вверху, невнятные, почти неслышные звуки пробуждающегося леса словно таяли вдали, бесследно пропадали, поглощенные невидимым пространством равнины, и казалось, нет у этой громадной равнины пределов, так же как нет пределов тому, что впервые в истории стали свершать живущие тут беспокойные, упрямые, объединившие все свои силы и помыслы люди.

6

Земля расстилалась по обе стороны поросшей бурьяном проселочной дороги — желтела густыми стернями только что скошенных хлебов, тускло серебрилась на целине старой полынью, синела ближними и дальними низинами, перелесками, была наполнена слитыми в невнятный, едва различимый гул звуками полевой жизни. Шумели присушенные летней жарой травы, пели птицы, стрекотали бесчисленные кузнечики, поля были залиты утренним светом щедрого августовского солнца.

Бережно неся в руках плетенку и самодельные, подшитые кошмой тапочки, тетка Лукерья босиком шла по проселку. Одетая в темное, пахнущее сундуком платье, повязанная чистым белым платком, она до рассвета вышла из Огнищанки, чтобы успеть на освящение меда и яблок в пустопольской церкви. Лукерья любила солнечный, духовитый праздник второго спаса, господнего преображения на неведомой Фаворской горе, когда увидели люди, как просияло внезапно божье лицо и осенило их светлое облако, а из облака раздался глас, глаголящий: «Се есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение...»

В двухнедельный спасов пост, по старой родительской заповеди, тетка Лукерья не ела скоромного, исправно молилась и теперь шла в церковь с легким сердцем, дыша хлебным, чуть горьковатым воздухом полей и светло вспоминая всю свою нелегкую жизнь. Как будто совсем недавно бегала она востроглазой девчонкой, пасла барских гусей, росла на лугу и в полях, выходила к пруду, где ее ждал под цветущими вербами ныне покойный Петр... а сколько полой весенней воды утекло с той поры, сколько раз расцветала и отцветала памятная верба!..

Всю жизнь они с Петром трудились на чужой, рауховской земле: он смотрел за лошадьми, пахал, косил, а она ходила за птицей, стирала, стряпала — и все это не на себя, а на чужих. Разве у тетки Лукерьи не было сынов возлюбленных? Были сыны, трое сынов, и к ним было ее благоволение, не меньше, чем к господу, стоявшему на Фаворской горе. А только растеряла тетка Лукерья сыновей в трудной жизни: одного, старшего, зарезало на пахоте трехлемешным плугом — он стал на колени — совсем еще был дурачок, — чтоб почистить лемехи, а бешеные барские кони рванули, накрыли дитя остро отточенными лемехами и понесли... Второй сын, уже взрослый, красивый, чернобровый парень, за которым бегали все огнищанские девчата, погиб на войне, у реки Неман, в бою под местечком Друскеники, — прямо в сердце ему попала разрывная пуля... Последний сын, меньший, уцелел в двух войнах, хотя и не раз был ранен. Он и сейчас служил в Красной Армии, где-то на польской границе, и, хотя все сроки его службы вышли, не захотел уходить из полка, вступил в партию и остался на заставе.

А муж Петро? Кто может сказать, что она ему была плохой женой? Разве не прошли они всю жизнь вместе, разве не пережили голод и войны, пожар и гибель детей? Всё они вынесли, всё пережили, даже вековое, с дедовских времен,

безземелье. Из года в год гнули спину на чужой ниве, выходили в поле, скуповатой мужичьей лаской ласкали на ладони землицу, смотрели: вон ее сколько кругом, всем бы людям хватило, да стережет землю злая неправда, владеют ею немногие — Раухи, Терпужные, Шелюгины... И все же дождались мужики — так же, как весна ломает лед на реке, голубеет разливом, так сломал человек по имени Ленин злую неправду и сказал Петру и Лукерье: «Вот она, ваша земля, огнищане. Берите ее, работайте для себя, для всего народа...» Казалось бы, жить да жить им теперь обоим, любоваться белым светом хоть на старости лет. Так нет, и тут судьба послала Лукерье тяжкое испытание. В девятнадцатом году, когда выбрали Петра в Огнищанский комбед, дождливой осенней ночью подкараулили его кулаки. Один ударил по темени железной занозой, а другой насквозь пропорол вилами-тройчатками. С той осени и вдовеет Лукерья, живет без мужа, без детей, одна управляется и в поле и дома.

Подняв к глазам ладонь, тетка Лукерья останавливается, вздыхает — до чего ж хорош божий мир! Будто розовое озеро, мерцает вдали, тихо светится марево. Солнце кинуло червонную позолоту на вершины высоченных скирд. Распласталась над полями, мельтешит, трепещет крылами ржавчато-рыжая пустельга. У самой дороги взвивается смирный хохленок-жаворонок. Вон, видать, за скирдами дед Силыч пасет огнищанское стадо. Коровы разбрелись по стерне, деловито выбирают не тронутую косами лебеду, а дед сидит, поджав ноги, — должно быть, мастерит что-нибудь, руки у него никогда не бывают без дела: то ложку старик вырезывает из грушевого корневища, то лапоть плетет, то замысловатую корзинку из вербовой лозы.

«Пойду к нему, напьюсь воды», — думает Лукерья. Она сворачивает с дороги. Босые ноги привычно покалывает, холодит чуть увлажненная росой стерня. Лукерья слегка замедляет шаг и смотрит на Силыча. Дед привстал, приглядывается: кто это, мол, такой ранью в поле пожаловал?

Лукерья усмехается краешком губ. Чудной человек дед Силыч! Тоже бедовал, маялся всю жизнь, а не поддался судьбе. Дед и отец его были крепостными генерала Зарицкого, а он сам, Иван Силыч, годов десять бурлаковал на Волге, пас скот у барина Рауха, только и было у него что шиш в кармане да вошь на аркане — так за свой век и не нажил ничего. Покойную жену его, Меланью, тетка Лукерья хорошо помнит: ладная баба была, работящая, смиренная. Как

раз перед японской войной она затяжелела, была уже на пятом месяце, и довелось ей поднять в погребе кадку. Дитё после этого она скинула безвременно, а сама изошла кровью и померла. Силыч долго горевал, остался вдовцом-бобылем, молчаком, пас барский скот, а как-то, перед самой революцией, задумал уйти в монастырь, на Новый Афон, — видно, допекла человека злая недоля. Попрощался он с огнищанами, закинул торбу за плечи, взял посошок и ушел из деревни. Не слыхать его было с полгода, потом он вернулся и на все расспросы только рукой махал: нехай, моя, монахи сами молятся, а мне эти монастырские порядки не по нраву! А теперь, гляди, — землю получил, хатенку себе слепил, плечи распрямил, вроде даже голос у него погромче стал...

Подойдя к старику, тетка Лукерья степенно поклонилась:

— С праздником вас, Иван Силыч!

— Спасибочко, голуба моя, — кивнул дед, помедлил маленько и отложил на стерню опорок с наживленной тремя гвоздями подметкой.

— А я собралась в Пустополье, к обедне хочу поспеть, — объяснила тетка Лукерья. — Гляжу, наши коровки по стерням ходят, значит, думаю, Иван Силыч тут, можно у него водой разжиться, а то в горле все чисто пересохло.

— Как же не быть воде! Есть водица. Ступай вон под ту копешку — там, в холодочке, моя долбленка захоронена, тыковка, бери и пей на здоровье.

Оставив возле Ивана Силыча завернутую в рябенький платок плетенку и тапочки, тетка Лукерья пошла к прибитой дождем и ветрами копешке, разгребла солому и долго пила прохладную, пахнущую тыквенными семечками воду. Потом, уложив все как было, вернулась к деду, присела рядом, аккуратно подвернув подол платья.

— Отдохну маленько да пойду, — сказала она.

— Отдохни, — согласился Силыч. — Тебе еще версты четыре шагать...

Помолчали. Дед раз или два, не сходя с места, окрикнул отбившихся от стада коров, и те, подняв лобастые головы, вслушались в дедов окрик и вернулись назад.

— Слухается тебя худоба, — с одобрением сказала Лукерья. — Иной пастух одно знает — бегает кругом, палку кидает. А ты раз сказал — и скотина поняла.

Силыч самодовольно почесал бороду.

— А чего ж тут мудреного? Животина голову имеет, разумом действует — значит, и разбирает любой разговор.

Тетка Лукерья отыскала глазами свою краспую, с лысиной корову.

— Моя как, пе балует?

— Чего ей баловать? Коровенка славная, молодая, знай себе жует да жует.

— Хлебушко ныне добрый скрозь,—счастливо вздохнула Лукерья, оглядывая высокие стерни. — Антон Терпужный, говорят, чуть не полпуда с каждого снопа взял.

Дед слегка помрачнел, потянулся к оставленному опорку, повертел его в руках.

— Как же ему не взять, ежели он пахал пар на две четверти глубипою да навоз позабрал почти что со всей Огнищанки! Такой возьмет! Сеет он не вручную, а сеялкой, убирает самоскидкой, прополку хлебам делает. А наши мужички, заместо того чтоб своему наделу пользу припесть, помогают Терпужному. Навозу, мол, тебе надо — бери, нам все одно выкидывать... Участок тебе обменить — приплати червонец и забирай мой ровный, а мне, значит, давай на балке или же на солонцах — мне, мол, так и так хлеба не видать...

Притворной зевотой Силыч прикрыл свое возмущение.

— Глупой у нас пapод, Лукерья, дикий народ. Советская власть землю дала всем мужикам одинаково, даже самая голь и та получила свою норму. Кажись, ежели ты человек с умом, бери и работай. Мочи не хватает, тягла нету? Спрягайся, голуба моя, с соседом, таким же бедняком, и трудись, двоим легче управиться. А мы почти что все навроде дурачков — нехай, дескать, сосед свою землю палкой пашет, а я на своей буду ковыряться этим же макаром...

— Никола Комлев каждый год помощь мне оказывает, — сказала Лукерья, — то коня даст для пахоты, то хлеб скосит, снопы до дому свезет, а я ему помогаю полоть, вязать, все, чего надо.

— То-то и опо...

Снова наступило молчание. Дед взял опорок, ткнул его шилом раз-другой и, поглядывая на Лукерью, стал пришивать подметку. Тетка Лукерья, которой, видно, хотелось поговорить, стала выкладывать деревенские новости, резонно полагая, что Силыч, кочующий со стадом с рассвета до ночи, может их не знать.

— Про ведьмину дочку слыхал?—спросила она, поджав губы.

— Которую?

— Лизавету.

— А чего такое?

Тетка Лукерья понизила голос:

— Есть слух, что нагуляла она себе. Вчерась ведьма Шабриха полосовала ее сыромятной постромкой, за косы тягала, всю в пылюке вываляла, а она, скажи ты, хотя бы крикнула или заплакала. Только, говорят, побелела с лица и губу зубами прикусила...

— С кем же она нагуляла? — удивился Силыч. — Огнищанские парни и не подходили до нее, небрегли, сукины коты, знаться с нею не хотели.

— Разве ж теперь узнаешь с кем! Матерь целый час ее допытывала: «Признавайся, с каким волочаем путалась!» А она, скажи, как воды в рот набрала.

В слезящихся дедовых глазах мелькнула жалость.

— Вот беда-то! А дивчина она хоть куда... Чего ж они теперь делать будут?

— Вчерась Лизавета, говорят, бегала до фершала, до Митрия Данилыча, — сказала Лукерья, покусывая соломинку, — просила, должно, чтоб ослобонил он ее. А фершал поглядел и говорит: «Ничего не могу сделать, поздно уж...»

Увязав половчее свою плетенку, тетка Лукерья поднялась.

— А про меньшего фершалова сына ты тоже ничего не знаешь?

— Про Федю?

— Про него. Обратно вчерась же батька его Митрий Данилович до председателя ходил в сельсовет. Вроде Федька ехал прошедшим воскресеньем с Пустополья, остановился в Казенном лесу попасти кобылу и наткнулся на бандитов, весь их разговор слыхал.

— Каких таких бандитов? — поднял голову Силыч.

— Кто их знает! Одного, говорят, вся волость разыскивает, чи полковника, чи генерала, а другой вроде из наших, только не могут узнать кто. Сегодня до света душ десять в Казенный лес подались на конях — председатель Длугач, Демид Плахотин, Коля Комлев, Павло Кущин, все с ружьями. И фершал с сыном поехали, чтоб, значится, место указать, где хлопчик разговор слышал.

— Про чего ж разговор был у этих самых бандитов?

— Будто про то, чтоб Советскую власть скинуть, а царя обратно установить.

— Обормоты! — сплюнул Силыч. — Пеньки дурноголовые! Никаким родом не возьмут в понятие, что руки у них до плеч обрубили и некуда им соваться. Разве ж народ от-

даст теперь свою власть? Он ведь, народ, хозяином стал, чего ж ему обратно в ярмо-то идти?

Тетка Лукерья поклонилась деду:

— Прощевай, Иван Силыч. Солнышко поднялося...

Через час она дошла до Казенного леса, но никого там не встретила — ни огнищан, ни бандитов. В лесу вместе с прохладой и свежим запахом трав ее окутало безмолвие, и она, пробираясь напрямик по тропинке, подумала, что ставровский мальчишка чего-нибудь напутал и люди переполошились напрасно.

В церковь тетка Лукерья пришла как раз вовремя — дряхлый отец Никанор закончил литургию и вышел с причтом во двор, на освящение. Во дворе, справа от церкви, в тени густых акаций, двумя рядами расположились прихожане, большей частью старухи. Они сидели на примятой траве, и перед каждой из них был расстелен головной платок, на котором румянились горки яблок, груш, янтарно желтели разложенные по глиняным мискам медовые соты. После страдных летних месяцев люди принесли в церковь земные дары, чтобы воздать в этот день благодарение богу за его щедроты и окропить свяченой водой все, что уродила кормилица земля. Люди еще верили, что не их труд, не их затвердевшие от мозолей руки создали эти блага, а божье слово, которому все послушно на земле и на небе...

Акация бесшумно роняла листья; в воздухе лениво жужжали пчелы; женщины с темными, строгими лицами терпеливо дожидались священника, тихонько говорили о своих семейных делах.

Отец Никанор, блестя золоченым шитьем фелони, склонив голову в потертой лиловой скуфье, пошел к людям, и за ним табуном двинулись растолстевший отец Ипполит, дьякон с кадилом, псаломщик, ктитор. Женщины закрестились, закланялись, суетливо оправили расстеленные на траве платки.

Слабым, деревянным голосом прочитал Никанор положенные молитвы, влажным кропилом легонько обрызгал мед, яблоки, поклонился и, волоча ноги, пошел в церковь. Бабы загомонили, завязали свои узелки, плетенки, торбочки и разошлись по домам.

Тетка Лукерья решила немного отдохнуть в церковной ограде, ослабила узел платка, присела на широкой скамье в тени, а рядом положила узелок. Она видела, как из церкви выбежал отец Ипполит. Псаломщик нес за ним туго набитый мешок с приношением. Потом вышли сутулый, вечно

пьяный дьякон Андрон и ктитор, седоусый старик в соломенной шляпе.

Отец Никанор вышел последним. Он постоял на паперти, огляделся, подошел к Лукерье и присел рядом, вздыхая и покашливая.

— Благословите, батюшка, — поклонилась Лукерья.

— Бог благословит, — отрывисто сказал поп, и женщина, конфузясь, поцеловала пахнущую воском старческую руку с толстыми венами и коротко подстриженными ногтями.

— Из Огнищанки, кажется? Лукерьей звать? — покосился Никанор.

— Лукерьей, батюшка, — радуясь тому, что старый священник помнит ее имя, ответила Лукерья.

— Верующая? — сурово допрашивал отец Никанор.

— А то как же! Верующая, посты все сполняю, говею, в церковь хожу.

Пунцовый, с мелкими крапинками жучок сел на руку священника, деловито пополз под широкий рукав черной рясы. Никанор отвернул рукав, бережно снял жучка, опустил его на землю и следил за ним, пока он не скрылся в траве.

— Как у вас там, в Огнищанке, не обижают верующих? — спросил отец Никанор.

— Кто, батюшка?

— Власти.

— Обижать не обижают, а разговор против бога ведут, — запинаясь, сказала Лукерья.

— Какой же разговор?

— Что, дескать, никакого бога нету, что его, мол, цари да богачи выдумали, а люди по своей темноте веруют.

— И про попов говорят?

Тетка Лукерья смутилась, недоуменно посмотрела на Никанора.

— Разное говорят.

— Что же?

— Вы сами знаете, батюшка, — вконец растерялась Лукерья, — что попы... что вы, дескать, нетрудящие люди, полезной работы не делаете, народ в обман вводите...

Ей странно и неловко было рассказывать это, и она даже подумала, что поп издевается над ней, но лицо Никанора было печально и строго, глаза какие-то пустые, невидящие, как у тяжело больного человека. Он посидел молча, неподвижный, задумчивый, точно рядом с ним никого не было,

потом неторопливо повернулся к тетке Лукерье и проговорил:

— А ты сама что думаешь, Лукерья?

— Про чего, батюшка?

— Про бога. Есть он, бог, или нет?

Тетка Лукерья боязливо отодвинулась, заморгала растерянно.

— Разве ж я могу знать? — пробормотала она. — Разумные люди говорят, что есть, стало быть, есть... Где ж мне, темной да неграмотной, знать это...

Седая борода отца Никанора затряслась.

— Умные люди! Одни умные люди утверждают, что есть, а другие, не менее умные, доказывают, что нет. Кому ж из них верить? Надо самой думать, Лукерья, самой до правды доходить...

С острым любопытством всматриваясь в темное, изборожденное морщинами лицо женщины, отец Никанор спросил:

— Ты смерти боишься, Лукерья?

— Известно, боюсь, батюшка, — залепетала тетка Лукерья, — кто ж ее не боится? Все люди ее боятся...

— А почему? Ведь в писании сказано: если жил ты праведно, тебе уготовано царство небесное. Так, что ли?

— Так-то оно так, а только боязно, батюшка... может, там и нет ничего?

Тетка Лукерья поднялась со скамьи, подхватила свой узелок, вынула из плетенки только что освященное яблоко, протянула попу:

— Пора мне, батюшка... Ты возьми вот яблочко, скушай на здоровье, это из моего садочка, покойный Петр сажал...

Отец Никанор машинально взял прогретое солнцем яблоко, кивнул Лукерье:

— Спаси Христос. Иди с миром...

«Не иначе как умом тронулся поп, — подумала тетка Лукерья, выходя из ограды и с испугом оглядываясь на сидевшего под акацией священника. — Глаза у него ровно у младенца, а речи неподобные, грешные... Должно, зашел у старого ум за разум...»

Тетка Лукерья не могла знать и не знала всего, что в последнее время происходило в душе отца Никанора. Между тем уже довольно давно, почти три года, с того самого дня, когда в него стреляли за то, что он отдал голодающим церковные ценности, в отце Никаноре непрерывно, не только в долгие часы старческого бодрствования, но даже во сне, происходило нечто очень важное, пугающее его самого. Отец

Никанор стал сомневаться в существовании бога. Вначале он не только устрашился этих сомнений, но счел себя великим грешником, хотел оставить священство и уйти в монахи, чтоб не обманывать людей, а наедине с собой решать неразрешимый вопрос о боге. Потом он отогнал от себя эту мысль, полагая, что уход в монастырь будет бегством, жалкой попыткой спрятаться от того мучительного испытания, которое, как он думал, было ниспослано богом для укрепления его слабой и шаткой веры.

Отец Никанор видел в Пустополье, в Ржанске, даже в отдаленных глухих хуторах, как молодые парни-комсомольцы, девушки-учительницы, пожилые рабочие, школьники с веселой насмешкой жгли на площадях вынесенные из хат иконы, плясали, пели разухабистые песни о непорочном зачатии, о рождестве и воскресении Иисуса, о святых, о попах. Было в этом что-то вызывающе-сильное, пугающее и непонятное. Но уличные пляски и грубое ряженье не пугали отца Никанора, пугало его другое.

Старика ужасало то, что многие люди, приходя к нему на исповедь, все чаще говорили о своих сомнениях, все чаще и откровеннее задавали вопросы о несуразностях и противоречиях в священном писании, и он, вместо того чтобы так же прямо и откровенно сказать, что он сам сомневается и страдает, что ему трудно, невозможно ответить, есть ли бог или нет, длинно и скучно говорил о необходимости верить не размышляя, молиться и каяться в грехах. Он даже накладывал на прихожан суровые епитимии — заставлял их бить несчетные поклоны, стоять в притворе, поститься в неурочное время, а сам по ночам часами стоял на коленях, готовый принять весь грех людской на себя. До рассвета говорил он с богом, в которого уже не мог верить, но еще надеялся на что-то.

— Аз бо един, владыко, ярость твою прогневах, — бичевал себя старый поп, — аз един гнев твой разжегох, аз един лукавое сотворих, превосшед вся от века грешника... Се аз ввергаю себя пред страшное и нетерпимое твое судилище, и якоже пречистым твоим ногам касайся, из глубины души взываю ти: очисти, господи, прости благоприменителю, помилуй немощь мою, поклонися недоумению моему, вонми молению моему и слез моих не примолчи... Да будут познаны во тьме чудеса твоя и правда твоя в земли забвенней...

Прижавшись лбом к холодному затоптанному полу, Никанор все ждал чего-то, вслушивался в нудную возню голод-

ных крыс, и перед его глазами вновь и вновь возникала вся никчемно, как теперь ему казалось, прожитая жизнь.

Подняв голову, пристально всматриваясь в темный лик бога на старой иконе, отец Никанор говорил ему с грустной укоризной:

— Ты отринул еси и уничижил помазанного твоего, разорил еси вся оплоты моя, и аз бысть поношение людям... Ты возвеселил вся враги моя, отвратил от мене помощь меча своего и облиял мою голову стыдом... И ныне слово мое грешное обращено к тебе: всуе создал еси вся сыны человеческие...

Так и теперь, отпустив тетку Лукерью, дряхлый поп одиноко сидел на скамье и думал свою невеселую думу. Хромой сторож прошел к церкви, неся ведерко с краской. Он прислонил к стене лесенку и стал красить водосточную трубу. Трое босоногих мальчишек забрались с улицы на каменную ограду, накинулись на акациевые стручки, но увидели священника, с визгом попрыгали вниз и убежали.

Оставленное теткой Лукерьей яблоко источало слабый винный запах, матово светлело сизым налетом. Никанор вспомнил, что в церкви, за престолом, у горнего места, висит старинная икона неведомого письма, а на иконе изображен бог-судия с яблоком — земным шаром — в руке. Вспомнив божье яблоко-землю, отец Никанор подумал о том, что вот сейчас, как и всегда, плывет и вечно будет плыть кудато в голубом пространстве планета Земля — и никто не знает: кем она сотворена, для чего, кто создал на ней людей, птиц, деревья и зачем все это нужно, какой всеблагой цели подчинено? Творением вездесущего бога привык человек считать солнце, землю, все живое, а вот выходит, что бога нет, а существует лишь великое, полное тайн самосоздание. Так говорят нынешние ученые люди. А чем это доказано? Чьим разумом установлена целесообразность совместной жизни человека и глисты, яблоневого лепестка и мельчайшей тли? Кому это нужно? Разве знаем мы, немощные люди, что существует за пределами досягаемости наших чувств? Может, где-нибудь в бесконечных глубинах Вселенной скрыто святое, недоступное взору обиталище бога? Может, там предстают перед творцом души усопших? «Так-то оно так, а только боязно, батюшка... может, там и нет ничего?» Это только что сказала неграмотная огнищанская баба Лукерья.

— Может, там и нет ничего, — тихо повторил отец Никанор, — а есть только то, что окружает людей на земле...

1


риближались летние школьные каникулы. Андрей хорошо сдал все экзамены и каждый день уходил на луга, где обычно собирались ребята, с которыми он за зиму успел подружиться, — Виктор Завьялов, Павел Юрасов, Гоша Комаров. В затравевшей низине сверкала тихая речушка, больше похожая на вытянутые, соединенные друг с другом болотца, а на пологих ее берегах густо росли старые, корявые вербы. Стволы верб давно были выжжены кем-то, чернели глубокими, покрытыми копотью дуплами, но между корой и обугленной сердцевиной, должно быть, еще сохранялись живые клетки, по которым струились соки, и оттуда, от этих невидимых клеток, вытянулись тонкие зеленые лозинки, одетые сизыми, с пушочком, молодыми листьями.

Ребята валялись, расстелив куртки, в прохладной тени верб, читали вслух, боролись, бродили, завернув штаны, по речушке, вылавливали раков. Виктор Завьялов приходил к речке реже других. Минувшей зимой он вступил в комсомол и довольно часто задерживался на собраниях или уезжал с группой комсомольцев в деревни. Уже не раз Виктор заводил с товарищами разговор о комсомоле, но все трое отнекивались, причем у каждого из них были на то свои причины: Гошка Комаров, сын зажиточного арендатора мельницы, знал, что его в комсомол не примут, Павел Юрасов боялся политграмоты и увиливал от лишних нагрузок, Андрей же в ответ на предложение Виктора вступить в комсомол отвечал, посмеиваясь: «Подожду немного, меня все равно выгонят за норовистый характер...»

По воскресеньям к вербам выходили девочки — смуглая, с полуприкрытыми глазами Гошкина сестра Клава, смешливая толстушка Люба Бутырина и Еля Солодова. Любин отец, тучный дьякон Андрон, жил у самой речушки в просторном доме, имел сад, большую пасеку, и девчонки-школьницы бегали к Любе лакомиться засахаренным медом, яблоками и грушами.

Как только девочки показывались у речки, Виктор, Павел и Гошка подходили к ним, все усаживались рядком и начинали веселую болтовню. Только Андрей, если с девочками была Еля, оставался в стороне и делал вид, что увле-

чен чтением книги. Андрей уже привык к тому, что при появлении Ели весь мир переставал существовать для него: не было ни деревьев, ни трав, ни птиц, ни запахов цветов — ничего, была только она, сероглазая девочка, немножко манерная, «капризуля и задавака», как называла ее Тая. И он, Андрей, в школьном ли коридоре, на улице ли глаз не спускал с «капризули», слушая ее звонкий, тоненький голос, на лету ловил каждое ее слово, даже не глядя на нее, чувствовал: вот она ловким движением пальцев заплетает свою косичку, вот перелистывает тетрадку, вот — постоянная ее милая и смешная привычка, — сидя на траве, беспрерывно натягивает на голые колени короткую юбчонку, из которой давно выросла...

Андрей не раз удивлялся тому, как легко Виктор и Гошка разговаривают с Елей. Что касается до Павла, то понятно: он, счастливец, рос вместе с нею, каждый день бывает у Солодовых, а эти, Виктор и Гошка, как ни в чем не бывало подходят к Еле, дурачатся, шутят, болтают о каких-то пустяках, как будто это так просто. Андрей в присутствии Ели терялся, мрачнел, уходил в себя или прикрывал свое мучительное смущение вызывающей грубостью и фатовством. Он много раз уговаривал самого себя: «Что ты глупишь? Подходи и заговаривай с ней. Что она, не такая же девчонка, как Люба или Клава? Чего ж ты молишься на нее?» Однако все эти самоуговоры не помогали, и Андрею оставалось только мечтать о том, как он будет разговаривать с Елей подобно всем другим...

Когда закончился последний день занятий, Гошка и Павел пригласили девочек посидеть у речки. Андрей уже был там, читал, прислонившись к вербе. Виктор должен был прийти позже, его задержали на собрании.

— Что-то наш рыжий совсем загордился, — хихикнул Гошка, усаживаясь с девчонками.

— Какой это рыжий? — спросила Еля.

— Разве ты не знаешь? Андрюшка Ставров. Вон, полюбуйся, расселся под вербой, и лучше не подходи к нему — изобьет.

Еля искоса глянула на Андрея, засмеялась:

— Так это его вы называете рыжим? А то я слышу: «рыжий, рыжий» — и не знаю, кого вы так окрестили.

— И вовсе он не рыжий, — вмешалась Клава, — он беленький, как Люба, только курносый и злой.

Лежавший чуть поодаль Павел сказал, вытягивая ноги:

— Я знаю, почему Андрюшка пасмурный.

— Почему? — спросила Люба.

Павел посмотрел на Елю, хмыкнул:

— Елка ему нравится, вот он и ходит как в воду опущенный.

— Дурак! — вспыхнула Еля. — Как не стыдно?

Клава сломала сухую травинку, пощекотала ею колено Ели.

— А ты не злись, Елочка, чего злишься? Может быть, это правда? Смотри какая ты красивая — разве ж можно в тебя не влюбиться? Вот, хочешь, встану сейчас, подойду к Андрею и скажу: «Андрюша, это правда, что тебе нравится наша Елочка?»

Елины щеки залил румянец. Хотя ей не мог быть неприятен этот разговор, она обиделась, ударила Клаву по руке:

— Перестань, Клава, надоело! Вы ни о чем другом говорить не хотите... Пусть лучше Павлик и Гоша расскажут, как они получили двойку по обществоведению, это интереснее...

— Что ж тут интересного? — дернулся Гошка. — Обыкновенная двойка, и получена вполне нормально. Зачем же портить день воспоминаниями о двойке?

— Это ваш любимец Берчевский постарался, — сказал Павел, — сел возле меня, надулся как индюк и спрашивает: «Что такое перманентная революция?» Я думал, думал и говорю: «Пролетарскую революцию я знаю, а перманентную забыл». Ну, Берчевский взъерепенился и вкатил мне двойку, даже карандаш свой поломал...

— Он всем задает этот вопрос, — подтвердил Гошка.

Лениво потягиваясь, Клава ущипнула Елю за руку, проговорила тихо:

— Ну вас! Я все-таки пойду позову Андрюшку, он хоть ругаться начнет — и то веселее будет.

Она поднялась, отряхнула платье, медленно пошла к Андрею, постояла возле него немного и спросила вкрадчиво:

— Интересная книга, Андрюша?

— Интересная, — не очень общительно ответил Андрей. — «Северная Одиссея» Джека Лондона.

Клава присела рядом, тронула Андрея за рукав:

— Почему ты всегда убегаешь от нас? И экзамены ты отдельно сдавал, в одиночку готовился. Мы на тебя обижаемся, Андрюша, нехорошо так делать.

— Кто это обижается?

— Все девочки, — прищурилась Клава. — Люба, я, Еля.

— Еля? — недоверчиво покосился Андрей.

— Ну да, и Еля тоже...

Карие Клавины глаза-щелочки хитровато блеснули. Она поиграла кончиком косы и спросила почти равнодушно:

— Скажи, Андрюша, тебе очень нравится Еля? Только не скрывай, правду скажи. Про это ни одна душа знать не будет...

Андрей оглянулся. Еля сидела в пятнадцати шагах, чуть склонив голову, свертывая в трубку и развертывая тетрадь в черной клеенчатой обложке. Прядь волос все время спадала на щеку, и Еля отбрасывала ее свернутой тетрадкой. Что мог сказать сейчас Андрей? Что Еля лучше всех на свете? Это, конечно, все знали и без него. Что он впервые в своей жизни начал понимать, что такое любовь, и, наверно, полюбил Елю навсегда? Но ведь об этом почему-то стыдно говорить, да и не нужно. Андрей почувствовал, что язык его стал как чугунный и он ничего не может выговорить.

— Что же ты молчишь, Андрюша? — подзадорила его Клава. — Завтра ты уедешь в свою Огнищанку, вернешься только осенью, а Елин папа хочет, кажется, переезжать из Пустополья в город, я слышала у них дома такой разговор...

Отбросив книгу, Андрей приподнялся на колени и вдруг отчеканил:

— Да, я люблю Елю, слышишь, Клава? Люблю! Вы думаете, что меня можно назвать мальчишкой и дурачком за то, что я разрезал руку в лесу? Вы все думаете, что я не понимаю, зачем ты пришла сюда? Так вот, знай: все равно я Елю никому не отдам, никогда. Слышишь? Пусть ее увозят куда хотят, я найду ее. Вот! Получила удовольствие? Выслушала меня? Теперь беги, пожалуйста, и трезвонь об этом кому хочешь...

По тому, как притихли Павел и Гошка, как поднялась и, уронив тетрадку, убежала Еля, Андрей понял, что все слышали его слова. Ну что ж, тем лучше. Не будут больше приставать.

Ни с кем не простившись, Андрей пошел домой, сложил в сундучок книги, старательно увязал в одеяло белье, а на следующее утро вместе с Таей уехал в Огнищанку. Вез их Петр Кущин, который приезжал в волостную больницу за женой. Мотя, его жена, была еще слаба после сотрясения мозга, она лежала на сене, вытянув похудевшие руки, блаженно улыбаясь, жмурясь от жаркого летнего солнца.

Как только выехали за село, Петр стащил с ног запыленные сапоги, бережно прикрыл их сеном и, свесив босые ноги,

стал неторопливо и обстоятельно рассказывать Моте все, что произошло в Огнищанке за время ее отсутствия.

— Кукурузу я посадил в балочке, сажал через три борозды в четвертую, чтоб пропашник прошел, — тихо бубнил Петр. — А капусту нонешний год над прудом сажал, там, где были помидоры... И Сусачиха над прудом посадила, и Лука Сибирный, и Тоська Тютина... Гаврюшку, Капитонова квартиранта, забрали в избу-читальню, он и парикмахерскую там открыл, а только к нему никто не идет, один Длугач захаживает да Степан Острецов, Пашкин мужик...

Вслушиваясь в монотонный голос Петра, Андрей подремывал, и перед его глазами вставала тихая, спрятанная меж двух холмов Огнищанка, к которой он уже привык и где знал каждое деревце. Сейчас Андрею особенно не терпелось. Вороные Петровы кобылицы, мотая головами, шли неторопливым шагом. Андрей же испытывал беспокойное желание скорее увидеть приземистый дом на холме, родных, соседей, услышать скрип колодезного журавля, пробежаться босиком по холодноватой от росы стерне.

Тая тоже вертелась на утоптанном сене, посматривала по сторонам, то и дело кричала Андрею:

— Какое красивое деревце, во-он, па краю леса!.. А скворцов сколько — не сосчитать, целая туча пролетела... Воздух такой чистый, аж дрожит, как вода переливается.

В самом деле, за длинным рядом ржаных копен, за полосами еще не скошенных овсов трепетно струились прозрачные волны воздуха, и Тая вскрикнула от восторга, вздохнула всей грудью, затеребила Андрея:

— Как тут хорошо! Век бы отсюда не ушла!

— Сиди, стрекоза, — лениво отмахнулся Андрей.

Вдоль дороги на телеграфных проводах, сидя смирно, рядочком, гулко ворковали дымчато-розовые горлицы. Склонив крохотные, с коротким клювом головы, они провожали телегу настороженными взглядами и вновь заводили перекличку тонким, протяжным воркованием. Андрей слушал горлиц, покусывал сухую травинку и не переставал радостно удивляться тому, что сразу забыл школу, Пустополье и весь потянулся к Огнищанке. Когда большой Казенный лес остался позади и показалась окруженная зеленым ковром толоки Огнищанка, он по-мальчишески заерзал, схватил за рукав Кущина:

— Поехали быстрей, Петр Евдокимович!

— Не терпится? — Петр ухмыльнулся в усы. — Скучил, поди, по своим?

— Давно не был, вот и соскучился...

К воротам, заслышав звон телеги, сбежалась вся семья. На дорогу выбежали Роман и Федя, закричала Каля, между ними волчком завертелась Кузя. Андрей и Тая переходили из объятий в объятия, отбивались от Кузи, на ходу выслушивали новости.

— Динка недавно отелилась!

— Телочку привела, вся в нее...

Вскинув на плечо снятый с телеги сундучок, Роман приглушенно загудел в ухо:

— Федька, когда ездил в Пустополье, напоролся в Казенном лесу на бандитов, весь разговор их слышал. Потом Длугач ездил с нашими огнищанами на облаву, они никого не поймали, только землянку нашли возле Волчьей Пади — с печкой, с дверцами, и солома на полу примята, вроде спали на ней...

Федя шел рядом, застенчиво улыбался, но всем своим видом как будто говорил: «Да, представьте себе, это я отыскал бандитское логово, и мне это ничего не стоит. Так что вы не удивляйтесь...»

В сопровождении Романа и Феди Андрей обошел весь двор. Постоял в тени акаций, где у деревянных яслей, роняя белую пену, ели овес разномастные кобылы, сходил в парк, посмотрел старый тополь, на котором по-прежнему темнели заплывшие натеком коры инициалы «Ю. Р.».

До вечера Андрей помогал отцу устанавливать под арбу тележный развод, смотрел, как мать с девчонками убирала ток для скирды: всю траву они соскребли железными скребками, вымели сор, потом Настасья Мартыновна легонько смазала чистый ток глиной и отогнала девчонок подальше:

— Ну, не ступайте, пока не засохнет, а то следы останутся и глина потрескается...

На рассвете Дмитрий Данилович выехал с сыновьями в поле. Он стоял на арбе, широко расставив ноги и помахивая кнутом. От конской упряжи пахло дегтем, кони бежали резвой, разгонистой рысью, и в телеге, подпрыгивая, вызванивали вилы и грабли. Андрей и Роман сидели рядом, Федя — в сторонке, прижимая к животу узкогорлую глиняную банку с водой. Как только спустились в Солонцовую балку, справа и слева зеленой стеной встали кукурузные поля. Над ровными рядами высоких стеблей чуть шевелились махровые султаны, густо белели крупные початки, а в глубине похожих на лес полей стоял ровный зеленоватый полумрак.

— Видал, кукурузка? — восхищенно сказал Андрею Роман.

— Чья это?

— Справа Тимофея Шелюгина, а слева Терпужного Антона Агаповича. Они в Ржанск ездили за семенами, привезли какую-то американскую кукурузу и посеяли. Называется «миннезота-экстра», говорят, сладкая как сахар...

Пока кони шли шажком под гору, Роман подмигнул Андрею; они соскочили с телеги, сломали десяток кукурузных початков, рассовали их по карманам и успели вскочить на телегу, так что отец не заметил.

— На развод будет, — тихонько сказал Роман. — А то, подумаешь, хвалятся Шелюгин с Терпужным: «миннезота», «миннезота», — будто и мы не можем ее посадить.

— Как же ты посадишь? — отозвался Федя. — Такой кукурузы ни у кого нет, и Шелюгин сразу узнает, что мы у него наломали.

Роман цыкнул на брата:

— Не твоего ума дело! Мало ли где можно достать кукурузу! Вот ехали, нашли на дороге наломанные початки и подобрали. Понятно?

Он повернулся к Андрею:

— У таких сквалыг, как Шелюгин, среди зимы льда не выпросишь. Месяц тому назад Шелюгин потравил лошадьми нашу озимую и даже разговаривать не захотел, только покрутил ус и сказал: «Требуйте с лошадей, я за них не ответчик».

— Хитер! — ухмыльнулся Андрей.

Федя подсел ближе, сплюнул по-взрослому и махнул рукой:

— Тут издавна такая мода — выкармливать скотину на чужом. Один раз дед Исай Сусаков подогнал своих коров к ячменю лесника Букреева, пасет на ячмене да еще приговаривает: «Кушайте, буренушки, кушайте...» А Букреев вышел с опушки да как свистнет деда по шее...

Братья засмеялись, представив постную, иконописную физиономию Сусакова.

— Ну а дед Исай что? — спросил Андрей.

— Ничего, почесал затылок и пошкандыбал с чужого ячменя...

Когда приехали на поле и остановили коней у крайней копны, Дмитрий Данилович с Федей остались на телеге укладывать снопы, а Роман и Андрей взяли вилы и стали на подачу. Снопы были большие, тяжелые, тугой, добротной

вязки. Ребята с трудом поднимали их на вилах. Пока укладывались нижние ряды, сноп можно было сваливать ударом вил по драбине телеги, а когда стали вершивать, ребятам пришлось туго.

Андрей, отвыкший от работы, быстро умаялся, вспотел, но не отставал от Романа. Колючие остья и соломенная труха сыпались за воротник рубахи, прилипали к мокрому телу, лицо горело. Он яростно насаживал сноп за снопом на деревянные, с косыми зубьями тройчатки, натужившись, поднимал тяжеленный сноп и кидал его на телегу.

— Берите грабли и подгребайте аккуратнее, чтоб ни один колос не пропал! — крикнул сверху Дмитрий Данилович.

Снопы на телеге затянули толстой веревкой, огребли на боках, и Дмитрий Данилович с Федей поехали домой. Андрей и Роман решили ждать их в поле. Выпив воды, они растянулись в тени высокой копны.

— Ты еще не куришь? — небрежно спросил Андрей, доставая из кармана измятую коробку дешевых папирос.

— Не пробовал.

— Может, попробуешь?

— Давай.

Они закурили, и Андрей с любопытством наблюдал, как младший брат, стоически выдерживая суровое испытание, захлебывался дымом, кашлял и вытирал кулаком слезы.

— Не тошнит? — спросил Андрей.

Роман отрицательно качнул головой:

— Чего ради? Табак плоховатый.

Андрей и сам научился курить не так уж давно, но старался показать, что он заправский курильщик и без доброй затяжки не может жить.

— У вас, поди, и папирос не достанешь, — проговорил он, пуская замысловатые кольца дыма. — Придется махорку тянуть или самосад...

Отдохнув, Андрей стал рассказывать брату о Пустополье, о школе, о новых товарищах, но ни словом не упомянул о Еле.

— Когда ты вернешься, поеду учиться я, — мечтательно растягивая слова, сказал Роман. — Стану геологом и махну куда-нибудь в Сибирь или на Камчатку. Здорово, правда?

— Ничего, неплохо, — согласился Андрей.

— А ты кем хочешь быть?

Секунду подумав, Андрей ответил твердо:

— Агрономом. Меня давно тянет к этому делу, и Фаддей Зотович, наш учитель, советует: иди, говорит, Ставров, в агрономы, это самая благородная специальность.

Воткнув недокуренную папиросу в землю, Роман упрямо сжал губы.

— Нет, я только в геологи. Сейчас мне пятнадцать лет, за шестой класс я сдам сразу, окончу школу, на рабфак пойду, а потом буду ездить по всему свету...

Андрей с удивлением заметил, что в характере и даже во внешности младшего брата произошли изменения: известный плакса, Роман возмужал, раздался в плечах, его смуглая шея по-прежнему была тонкая, мальчишеская, но руки окрепли и загрубели.

— Отец все сильнее влезает в хозяйство, — хмуро заговорил Роман, обрывая вокруг себя колючую щетину стерни. — В амбулатории ему делать почти нечего, огнищане сами лечатся, дома. Вот он и ударился в хозяйство — завел четырех свиней, индюков, кур. А на черта нам все это сдалось? И так уж мы с Федькой батраками заделались, только и знаем что коней да свиней, и больше нет ничего...

— А ты думаешь, ему легко? — возразил Андрей. — Разве мы смогли бы учиться без хозяйства? Ты, Ромка, видно, успел забыть, как мы с голоду дохли, вороньи яйца жрали. Что ж, опять хочешь на лебеде да на кукурузных лепешках сидеть?

Роман досадливо поморщился:

— Почему на лепешках? Я не про это. Пусть себе хозяйство, только бы по нашим силам. А отец удержу не знает: есть корова — давай ему другую. Вывели полсотни индюков — выводите еще полсотни. До каких пор всю эту обузу нести? Что он, Терпужного догнать хочет или Шелюгина? Тогда пусть батраков нанимает, а мне осточертело гнуть спину день и ночь...

Вдали показалась ставровская телега, и Роман умолк.

Со звоном и грохотом телега подъехала к копне. Дмитрий Данилович соскочил с нее, повернулся к сыновьям, коренастый, загорелый, пропахший дегтем и по́том.

— Чего ж вы разлеглись? Делать нечего? Подгребли бы россыпь вокруг копен, колоски у мышиных нор собрали бы да сложили на попону.

Он потянул рукой брошенную возле копны попону, увидел под ней кучу сложенных ребятами кукурузных початков, наклонился, очистил один почато́к и озверело кинул его Роману под ноги:

— Зачем шелюгинскую кукурузу ломали, сукины сыны?!

— Мы на развод, — бормотнул Андрей, предусмотрительно отступая от разъяренного отца. — Это «миннезота-экстра», у нас такой нету.

— На воровстве выезжать думаете? — гремел Дмитрий Данилович. — Краденую кукурузу садить? Кто вас учил этому, а? Вы горбом своим заработайте, а потом и делайте что хотите. Разве нельзя было обменять у Шелюгина кукурузу на наши початки? Чего ж вы на чужое поле полезли?

Сбивая кнутовищем приставшие остья, он заговорил спокойнее:

— Привыкайте к тому, чтобы любую кроху добывать собственным трудом. А то сегодня вам чужой початок понравится, завтра еще что-нибудь — и покатитесь под откос... Лиха беда — начало. Потом и оглянуться не успеете, как залезете в трясину...

Братья стояли потупившись, не глядя на отца.

— Давайте накладывать воз!—закричал Федя.—Солнце уже над лесом...

Работа продолжалась весь день. Поле все больше пустело, на месте копен оставались лишь темные крестовины прелой стерни да присыпанные трухой норы мышей-полевок. Неподалеку от леса, правее Ставровых, заканчивал косить озимую Павел Терпужный. Припадая на ногу, он широко размахивал косой, за ним шел Тихон, а сзади, закутанная белой косынкой, часто наклоняясь и ловко скручивая перевясла, вязала Таня.

— Танька твоя совсем заневестилась, — отплевываясь от соленого пота и хитровато посматривая на Андрея, сказал Роман. — По субботам на вечерках гуляет, а в воскресенье вырядится в длинную юбку, возьмет в руки цветы, платочек с кружевом и шляется по хуторам с парнями.

— С кем же она гуляет? — равнодушно спросил Андрей.

— Да ни с кем. Бегает со всеми, как телушка на выгоне, песни поет, полечку в избе-читальне пляшет.

— Ну и пусть ей бог помогает.

В Андрее шевельнулось чувство обиды и неприязни к Тане, но он тотчас же забыл об этом, предвкушая уже не раз испытанное наслаждение — ехать с последней телегой в деревню.

Уже совсем свечерело. На поле легли синие сумерки, от леса потянуло влажным холодом. Андрей и Роман подгребли и подали на телегу остатки розвязи, потом, держась за веревку, полезли наверх, улеглись на снопах. Дмитрий

Данилович шевельнул вожжами. Сытые кони разом вытянули увязшую на стерне телегу и неторопливым шагом пошли по набитому проселку.

Раскинув онемевшие от усталости руки и ноги, Андрей лежал на спине, смотрел в чистое, чуть розоватое от вечерней зари небо, на котором неярко засветились первые звезды. Телега убаюкивающе скрипела, покачивалась, на каждый толчок колес отвечала мягким колыханием, и Андрею казалось, что он тихо плывет между небом и землей, по теплому, напоенному запахом трав воздуху. Все в этот вечер было хорошо: и колкая, щекочущая спину пшеничная розвязь, и мирное пофыркивание коней, и однотонный звон колес, и, самое главное, ласковое, колыбельное колыхание телеги, отдаваясь которому Андрей каждой кровинкой наморенного тела ощущал покой.

Детским, сильным и звучным голосом Федя, сидевший рядом с Андреем, затянул протяжную песню, отец и братья подхватили ее, и старинная щемяще-грустная песня понеслась над покатыми степными холмами:

Ой, да скатилася звезда-зорька с неба
И упа-а-а-ала над водой...

Подпевая брату, Андрей пристально всматривался в темное небо, в едва заметное мерцание звезд и думал о том, как он бессилен и мал в сравнении с тем, что происходит там, наверху, в неясном свечении далекой туманности. Это гнетущее ощущение бессилия не вызывало в нем страха. Он только позавидовал тем людям, которые когда-нибудь, вероятно очень не скоро, но обязательно разгадают, поймут и объяснят великую работу, которая беспрерывно свершается в еще не познанных глубинах бесконечной Вселенной. Он думал об этом, а звездный мир мерцал над ним, покачивался, как звонкая телега, навевая смутный, сладостный сон...

Все эти дни, пока шла возовица, Андрей ни разу не побывал в деревне и ни с кем не повидался. Отец дважды спрашивал его, что он намерен делать по окончании школы. Андрей, скрывая недовольство, неизменно отвечал:

— Год побуду дома, а там видно будет...

Дмитрий Данилович чувствовал его настроение и старался убедить сына в необходимости помочь семье.

— Ты не горюй, — говорил он. — Год пролетит незаметно. Зато и сам приоденешься, и Романа поддержишь. Глядишь, оба вы на ноги станете...

В воскресенье, перед молотьбой, Андрей с Романом и братьями Турчаками выбрались наконец из дому и побрели к тетке Лукерье, в доме которой всегда собиралась молодежь. Они шли по деревенской улице обнявшись, сбив набекрень новенькие фуражки и негромко напевая песню. Андрей бегло оглядывал каждый двор. Казалось, с его отъездом в Огнищанке ничего не изменилось: возле ворот Антона Терпужного по-прежнему лежал разбитый мельничный жернов, тот же суковатый пенек был подвязан цепью на колодезном журавле, те же астры цвели во дворе у Комлевых, в тех же малиновых галифе и в калошах на босу ногу разгуливал говорливый, приветливый, как всегда, Демид Плахотин.

Вместе с Демидом подошли к избе тетки Лукерьи. За избой, под старой грушей, на застеленной рядном лавочке чинно сидели девчата—Ганя Лубяная, Ганя Горюнова, Уля Букреева, смешливая Соня Полещук, нагловатая Васка Шаброва. Рядом с ними, небрежно положив на колени гармошку, развалился косоглазый Тихон Терпужный, а на траве теспой кучкой лежали, мурлыкали что-то себе под нос здоровенные Иван и Ларион Горюновы и Тришка Лубяной.

— Держись, девки, городской жених прибыл! — закричал Тихон, увидев Андрея. — Вот мы ему проиграем полечку!

И, раздувая мехи гармошки, Тихон отчаянно рванул диковатую, с визгливым подвыванием польку, которую музыкант, ничего больше не умевший играть, именовал непонятными словами «полечка с поднавесом».

Свою «полечку с поднавесом» Тихон играл раз шесть или семь, но Андрей не стал танцевать. Расстегнув воротник вышитой сорочки, он сел с Колькой Турчаком на бревно, закурил папиросу и наклонился к Кольке:

— А что с Лизаветой?

— С ведьминой дочкой? — издеваясь, спросил Колька.

— Ну да.

— Она, брат, на цепи сидит. Шабриха выстроила для нее конуру и на цепь посадила.

— Чего ты мне голову морочишь, балда? — рассердился Андрей. — Я тебя толком спрашиваю, а ты дурость плетешь!

Колька хлопнул Андрея по колену:

— Не верит, чудак! Лизавета теперь не бывает на гулянках, с ней беда стряслась, и ее никуда не пускают.

— Какая беда?

— Набегала она себе, а с кем — никто не знает, Шабриха била ее смертным боем. Теперь Лизка лежит в закутке, как собачонка...

Андрей вспомнил душную половню, разгоряченную работой Лизавету, ее неожиданный поцелуй, и острая жалость к ней охватила его. «Как все в жизни получается, — подумал он, — вот взяли и заплевали человека ни за что ни про что, так и пропадет...»

Из всех огнищанских девушек Андрею больше всего хотелось увидеть Лизавету и Таню Терпужную, но ни та, ни другая к тетке Лукерье не пришли. Андрей поговорил с Колькой, кликнул Романа и уныло побрел домой.

— Кто поведет коней в ночное? — спросил Дмитрий Данилович, увидев сыновей. — Вы бы сменили Федю, а то он уже месяц не ночевал дома. Пускай бы помылся да отдохнул.

— Я поведу, — сказал Андрей.

Он приготовил туго сплетенные волосяные пута́, попону, наскоро пообедал и засветло уехал к лесу. Ехал шагом, вслушиваясь в заливистое посвистывание сусликов и отгоняя плетью назойливых слепней. Место для ночевки он выбрал за лесом, возле Дроновой могилы — старого, поросшего полынью кургана, на котором, как рассказывали огнищане, Илья-пророк в незапамятные времена убил громом грешного злодея Дрона, прадеда братьев Терпужных. Когда-то на вершине кургана стояла каплица с божничкой, сейчас от нее осталось только трухлявое, в моховой прозелени бревно да раскиданные вокруг дикие камни.

Спутав коней, Андрей стянул к кургану влажные от дегтя недоуздки, постелил попону, отцовский армяк, насбирал колючих стеблей сухого татарника, кизяков, зажег костерок, чтобы не донимали комары, и прилег возле.

Солнце близилось к закату, озаряя пустеющие поля ровным желтоватым светом. Из-под вросшего в землю бревна стремительно выскочила ящерица, глянула на Андрея яхонтовым глазком и пугливо юркнула в глубокую расселину. «Нашла себе место в могиле, — усмехнулся Андрей, — на Дроновых костях устроилась». Он стал думать о том, как погиб старый Дрон, вспомнил все, что слышал о нем в деревне. «От Дрона у Терпужных и все богатство пошло, — рассказывал как-то дед Силыч. — Был он разбойник и конокрад, обижал мужиков, пьянствовал по деревням, почтовика на дороге убил, а сумку с деньгами захоронил в Пеньковом лесу». Андрей попытался себе представить, каким он

был, этот убитый громом Дрон, и решил, что Дрон, наверно, был похож на Антона Агаповича Терпужного: такой же кряжистый, хмурый, с воловьей силой и с жесткими, кошачьими усами.

На закате к Дроновой могиле подъехал Острецов. Был он невесел, угрюм, сидел на мерине сгорбясь, задумчиво лохматил овчину кинутого впереди полушубка. Второй мерин с завязанным на шее сыромятным чумбуром понуро шел сзади.

Кивнув Андрею, Острецов стащил со спины мерина попону, полушубок и прилег рядом.

— Куришь? — спросил Острецов.

Андрей немного помедлил:

— Курю.

— На, закуривай.

Он протянул никелированную коробку из-под шприца, в которой лежали мелко нарезанный табак и тонкая бумага. Андрей свернул цигарку, вежливо поблагодарил и подал Острецову зажженную спичку. Молча закурили.

— На каникулы приехал? — спросил, ложась на бок, Острецов.

— Ага.

— В каком же ты классе?

— В шестом, через год кончаю.

— Молодец...

Андрей с любопытством присматривался к Острецову. Этот человек нравился ему аккуратностью, умением носить полинялую военную гимнастерку, скупыми жестами, быстрым и пронзительным взглядом. Именно такой облик, в представлении Андрея, должен иметь красный командир-кавалерист.

— А вы какую школу окончили? — спросил Андрей, подвигаясь к Острецову.

Тот улыбнулся краешком губ:

— Я дома учился. Отец мой служил на железной дороге, книги домой приносил, заставлял читать. Потом меня доучила война.

— На войне вы, должно быть, многое повидали, — с уважением сказал Андрей.

— Да уж, довелось горя хлебнуть...

— Расскажите, как вы колотили беляков.

На тронутое загаром лицо Острецова легла неуловимая тень. Он прибил плетью горячий пепел на краю костра, задумался, опустив голову.

— Мы их колотили, и они нас колотили, — проговорил он неохотно. — Всего не расскажешь, да лучше и не вспоминать про это.

— А у белых были боевые генералы? — спросил Андрей.

Острецов подложил под голову полушубок, вытянул ноги, хлопнул плетью по сапогам.

— Был один: Корнилов... Этакий крохотный человечек с лицом пастуха-азиата... Сейчас он лежит па Кубани, между станицами Медведовской и Новотитаровской, и на нем растет пшеница. Впрочем, на нем ничего не растет. Когда Екатеринодар был взят красными... нами... труп Корнилова вырыли, сожгли на городской площади, а пепел развеяли по ветру...

— Кто же это сделал?

— Нашелся один такой, Сорокин. Его потом застрелили в ставропольской тюрьме за бандитизм и измену пролетариату...

Деланно зевнув, Острецов повернулся лицом вниз, и Андрею показалось, что он заснул. Костер почти догорел, над курганом закружилась мошкара; дальние, оставленные кем-то в поле конны стали терять очертания, расплываться в сумерках. Лежа на армяке, Андрей вдумывался в слова Острецова и жалел о том, что был мал в годы войны и не пришлось ему скакать, увитому пулеметными лентами, на бешеном коне, убивать белых генералов, отстреливаться от бандитов. Ему представлялось все это необычайно увлекательным, и он живо вообразил себе полыхание алых знамен, звон тачанок, смертный блеск острых клинков...

— Ты бы насбирал веток и подкинул бы в костер, — сказал Острецов, — а то ветерок к ночи утихнет, и нас загрызут комары.

— Сейчас насбираю, — с готовностью вскочил Андрей.

Он сбежал с кургана, нашел протоптанную скотом тропу, вернулся с кучей завернутых в попону сучьев и разжег костер. Острецов сидел молча, опустив подбородок на колени и обхватив руками худые ноги.

— Ну вот, теперь веселее будет, — сказал Андрей.

Протянув Острецову пачку с папиросами, он спросил:

— А вы ездили в Казенный лес ловить бандитов?

— Каких бандитов? — вскинул голову Острецов.

— На которых мой брат наскочил. Он весь разговор слышал и говорит, что у одного голос очень знакомый. Видно, кто-то из наших огнищан с бандитами водится. Потом Длу-

гач ездил в Казенный лес на облаву. Я думал, что вы тоже ездили.

— Нет, я не ездил, — равнодушно сказал Острецов, — меня в тот день не было дома...

— В лесу, говорят, землянку нашли с дверями и печкой.

— Да, мне рассказывали, — кивнул Острецов.

— А в Пустополье два бандита сами сдались. Пришли к начальнику милиции и говорят: «Получайте наше оружие — гранаты, обрезы, ножи — и не считайте нас врагами Советской власти».

— Сдрейфили, значит?

— Говорят: «Надоело по лесам таскаться, хочется дома пожить».

— Что ж, их отпустили домой? — усмехнулся Острецов.

— Нет, в тюрьму посадили, потому что они пропустили срок амнистии.

— Так им и надо, сволочам!

Резким свистом Острецов подозвал распутанных меринов поближе, подкинул сучьев в костер и сказал Андрею:

— Давай будем спать, а то мне завтра до зари надо начинать работу...

Они накрылись полушубком, армяком и умолкли. Андрей поворочался немного, потом сразу уснул.

Острецов не спал. Уже вторые сутки его не покидало чувство острой тревоги. По всем расчетам, Савинков должен был появиться в Ржанском уезде и назначить встречу с командирами рассыпанных по селам и хуторам зеленоармейских отрядов. Но проходили недели, а Савинкова не было. Вначале Острецов думал, что его задержали за границей какие-нибудь неотложные дела. Но третьего дня в Костин Кут пришел из деревни Волчья Падь молодой парень, лесник Пантелей Смаглюк, один из ближайших помощников Острецова. Смаглюк принес наспех набросанную карандашом записку Погарского, который, очевидно, скрывался у кого-то из объездчиков.

Полковник Погарский писал:

«Неделю тому назад Б. В. С. был переправлен к нам в квадрате 13, южнее Друскеники, и проследовал по маршруту Новогрудок, Столбцы, Негорелое, где его встречали и провожали, как было условлено. В последний раз Б. В. С. видели в Минске, после чего его след затерялся и до сегодняшнего дня никем не обнаружен. Подозреваю неладное. Будьте начеку. Предупредите отряд и надежно укройто

оружие. Я выеду в направлении на Минск, а по возвращении дам знать о себе. Записку эту уничтожьте...»

Записку, по требованию Погарского, Острецов уничтожил, сказал Пантелею Смаглюку, что надо делать, и в тот же вечер засунул свой маузер под стреху соседского сарая. За двое суток ничего не произошло, но чувство тревоги не покидало Острецова.

«Если провалится такой человек, как Савинков, значит, все пропало, — думал Острецов, глядя на легкий дымок гаснувшего костра. — Значит, придется зарыться в землю и дожидаться лучших времен...»

Уже давно взошла луна, мирно улеглись на стерне кони, потянуло ночным холодом, а Острецов так и не уснул. Ему было не до сна.

2

«В двадцатых числах августа с. г. на территории Советской России был задержан ОГПУ гражданин Савинков Борис Викторович, один из самых непримиримых и активных врагов рабоче-крестьянской России (Савинков задержан с фальшивым паспортом на имя Степанова В. И.)».

Это официальное сообщение Советского правительства было опубликовано в газетах, передано по радио и тотчас же облетело весь мир.

Савинкова арестовали в Минске, отправили в Москву, а через девять суток он предстал перед военной коллегией Верховного Суда СССР. Он давал показания в течение трех дней.

Поведение Савинкова удивляло с момента его ареста. Когда группа чекистов оцепила минскую явочную квартиру и три человека вошли в комнату, в которой находились Савинков и его спутники, он спокойно поднялся с кресла, положил на стол браунинг и сказал, вежливо улыбаясь:

— Да, я Борис Савинков, и я ждал вашего визита. Собственно говоря, я предвидел то, что сейчас произошло, но хотел во что бы то ни стало вернуться в Россию. И знаете почему? Я решил прекратить борьбу против вас...

Уже сидя в отдельном купе московского поезда, Савинков попросил у сопровождавших его чекистов бумагу, чернила, весь вечер писал, а к утру аккуратно сложил исписанные листки и сказал, протягивая их:

— Это я прошу передать председателю ОГПУ Дзержинскому.

В письме, между прочим, было написано:

«Я имею мужество открыто сказать, что моя упорная, длительная, не на живот, а на смерть, всеми доступными мне средствами борьба не дала результатов. Раз это так — значит, русский народ был не с нами, а с коммунистами. И говорю еще раз: плох или хорош русский народ, заблуждается он или нет, я, русский, подчиняюсь ему. Судите меня, как хотите...»

В ту пору, когда арестованный Савинков писал свое письмо, Погарский приехал из Ржанского уезда в Минск. На нем был белый, ловко сшитый костюм из чесучи; он ходил по улицам, беспечно помахивая тростью, и никто в этом похожем на добродушного нэпмана, любезном и обходительном человеке не узнал бы гвардейского полковника и командира одного из самых крупных отрядов зеленой армии.

В Минске Погарский разыскал некоего Фурсова. Тщедушный, болезненный Фурсов, бывший эсер, служил в губземотделе и вместе с тем был связан со штабом Савинкова. На квартире, известной Фурсову, Савинков был арестован.

Фурсов жил в огромной коммунальной квартире, встречаться там было опасно, и Погарский повел его в безлюдную окраинную пивную, попросил у сонной продавщицы две кружки пива и уселся со своим спутником за угловой столик. Короткий разговор они вели вполголоса, то и дело посматривая на занавешенную грязной марлей дверь.

— Рассказывайте! — отрывисто сказал Погарский.

По дороге к пивной Фурсов успел сообщить об аресте Савинкова и теперь только пожал плечами:

— Я, собственно, не знаю, что обо всем этом думать. Борис Викторович пробыл тут двое суток и ни с кем не говорил. Никакой слежки за ним мы не замечали, хотя вся наша организация была поставлена на ноги. Арест его был для нас полной неожиданностью, да и взяли его не ночью, как это обычно делается у чекистов, а в десять часов утра.

— Из квартиры он куда-нибудь уходил?

— Да, уходил два или три раза, — неуверенно проговорил Фурсов.

— Куда?

— Шестнадцатого вечером ему захотелось подышать свежим воздухом, он вышел в сопровождении наших людей, обошел несколько кварталов и вернулся обратно.

— А еще куда ходил?

— Семпадцатого тоже гулял по городу, но в каком районе и с кем, я не знаю.

— Вы тут вообще ничего не знаете! — презрительно бросил Погарский. — На кого ни посмотрю — губошлеп на губошлепе. Из-под самого вашего носа выволокли главнокомандующего, а вы только ворон ловили.

Фурсов обиженно поджал губы.

— На меня ведь не была возложена обязанность состоять в личной охране Савинкова.

— Ладно! — махнул рукой Погарский. — Лучше скажите, о чем Борис Викторович говорил, какие распоряжения отдавал за эти двое суток?

— Никаких распоряжений.

Приблизив лицо к собеседнику, Фурсов заговорил шепотом:

— Он как-то странно вел себя, был чем-то подавлен, часто задумывался и совсем не был похож на того Савинкова, которого мы с вами знали с двадцать первого года. Правда, я видел его всего каких-нибудь десять минут, но он произвел на меня впечатление не совсем здорового человека.

Погарский молча опустил голову, огладил пальцами засиженную мухами пивную кружку. За обитой жестью стойкой безмятежно, с легким присвистом похрапывала толстая продавщица. На улице, по соседству с пивной, кто-то выколачивал перину, сквозь дверь доносились глухие, ленивые удары, и хрипловатый женский голос выкрикивал: «Ну-ка, Соня, еще раз!.. Ну-ка, Соня, еще раз!..»

— Да, — сказал Погарский, тупо уставившись в пол, — вы и представления не имеете, что значит для нас потеря Савинкова. Среди наших зарубежных лоботрясов он был белой вороной, единственным человеком дела. Я убежден, что он в ГПУ ни слова не скажет.

— Это действительно непоправимая потеря, — промямлил Фурсов.

— Потеря куда более страшная, чем вы, безмозглые идиоты, думаете! — отрезал Погарский. — Эта потеря вызовет разброд и панику в наших рядах...

Он поднялся, оставил на столике деньги за пиво, тронул за локоть Фурсова:

— Пошли! У вас тут мне нечего делать. Сегодня же я уеду, надо привести все в порядок и продолжать борьбу. Меня такими штуками не сломишь.

Уже прощаясь с Фурсовым, Погарский сказал:

— У меня еще есть надежда на то, что Савинков исполь-

зует суд как последнюю возможность публично изобличить большевиков. Ведь они не посмеют судить его закрытым судом. Конечно, он скажет все, что думает о них. Можете быть уверены, его слова прозвучат на весь мир...

В последнем полковник Погарский не ошибся. Показания Бориса Савинкова на суде прозвучали подобно разорвавшейся бомбе, но совсем не в том смысле, как этого ждали его единомышленники. Один из самых непримиримых, злейших врагов Советской власти, профессиональный террорист, организатор белой и зеленой армий, Борис Савинков стал изобличать на суде всех своих вчерашних соратников; в присутствии многочисленной публики и корреспондентов он раскрыл тайны зарубежных контрреволюционеров-заговорщиков, подробно перечислил их имена и заявил, что он, Савинков, еще до ареста решил навсегда прекратить какую бы то ни было борьбу против коммунистов, против Советского правительства.

В черном костюме, безукоризненно выбритый, спокойный и корректный, сверкая белоснежным воротничком и манжетами крахмальной сорочки, он поднимался со скамьи подсудимых, как будто всходил на невидимую кафедру, и, не обращая решительно никакого внимания на публику, излагал многолетнюю повесть своей сложной, запутанной жизни.

— Этими сенсационными показаниями он просто надеется смягчить свою участь, — презрительно сказал соседу сидевший в первых рядов иностранный корреспондент.

— Вы уверены? — скептически спросил сосед.

— Безусловно. Его показания — сплошное предательство.

— Может быть. Но вы забыли о самом главном: он нисколько не выгораживает себя.

Действительно, Савинков себя не щадил. На все предъявленные ему обвинения он твердо ответил: да, виновен. Но при этом он не пощадил и тех, кто из-за рубежа направлял его деятельность. «Мне знакома вся Европа», — сказал он суду и постарался исчерпывающе объяснить, в чем состояло его знакомство.

Савинков рассказал о том, как в дни Октябрьского переворота встречался с Красновым и Керенским, а после их краха пробрался на Дон к атаману Каледину и принял участие в формировании Добровольческой армии; как затем организовал контрреволюционный «Союз защиты родины и свободы», в который вовлек тысячи офицеров; как готовил

кровавые мятежи в Рыбинске, Ярославле, Муроме и покушение на Ленина. Он точно перечислил крупные суммы денег, полученные им от правительств капиталистических стран, от фабриканта Нобеля, от Пилсудского, и хладнокровно сообщил, что эти деньги предназначались для убийства советских руководителей, для диверсий, налетов, восстаний.

В числе своих соратников Савинков назвал многих: генералов Булак-Балаховича и Глазенапа, Перемыкина и Каппеля, есаула Яковлева и полковника Свежевского, крупных и мелких бандитов, которые бродили с отрядами по Советской России, поджигали города и села, убивали, вешали людей, пускали под откос поезда, бесчинствовали, грабили, воровали. В одном ряду с этими разнузданными головорезами Савинков назвал тех иностранных деятелей, которые вдохновляли его, тех, кто видел в нем, Савинкове, будущего диктатора России и щедро снабжал его оружием, обмундированием — всем, что было необходимо для борьбы, лишь бы только поставить русский народ на колени, захватить русскую нефть, русский хлеб, русский лес...

— Это чудовищно! — воскликнул корреспондент маститой европейской газеты. — Я не могу отделаться от мысли, что чекисты силой заставили Савинкова давать такие сногсшибательные показания...

Приятель корреспондента, неутомимо щелкавший портативным «кодаком», качнул головой:

— Вряд ли. Во всяком случае, я не советую вам писать об этом.

— Почему?

— Потому, что это неправда. Разве насилием можно вызвать подобное красноречие? Нет, друг мой, могу вас уверить, что Савинков ничего не боится. Вы сами видите, что председателю суда почти нечего делать: подсудимый предугадывает все вопросы.

Савинков рассказывал о встречах с европейскими правителями, о духовном оскудении белогвардейской эмиграции, о своем глубоком разочаровании и неверии в правоту того жестокого, кровавого дела, которому он служил и которое преследовало единственную цель: свержение Советской власти и установление господства иностранных капиталистов над русским народом.

Когда председатель суда предоставил подсудимому последнее слово, в зале наступила гробовая тишина. Савин-

ков некоторое время молчал, потом заговорил глухо и сдержанно:

— Я знаю ваш приговор заранее. Я жизнью не дорожу и смерти не боюсь. Вы видели, что на следствии я не старался ни в какой степени уменьшить свою ответственность или возложить ее на кого бы то ни было другого. Нет. Я глубоко сознавал и глубоко сознаю огромную меру моей вины перед русским народом, перед крестьянами и рабочими... Судите меня как хотите и делайте со мной что хотите. Но я вам говорю: после тяжкой и долгой борьбы против вас, борьбы, в которой я сделал, может быть, больше, чем многие и многие другие, я вам говорю: я прихожу сюда и заявляю без принуждения, свободно, не потому, что стоят с винтовками за моей спиной: я признаю безоговорочно Советскую власть и никакую другую.

Савинков замолчал, и председатель суда, видя, что подсудимый продолжает стоять, спросил его:

— Может быть, вы желаете еще чем-нибудь дополнить ваши объяснения?

— Нет, — сказал Савинков, — я ничего не имею больше сказать, ничего не имею больше прибавить...

Савинков сел. Председатель наклонился к члену суда, потом к другому и сказал:

— Объявляю судебное следствие законченным.

Председатель посмотрел на часы — был девятый час вечера — и проговорил громко:

— Суд удаляется для вынесения приговора...

В зале застучали отодвигаемые стулья. Подсудимого увели в боковую дверь, но публика не расходилась. Хотя почти все, кто присутствовал на суде, были уверены в том, что Савинкова ждет расстрел, многие сомневались и высказывали предположение о возможном помиловании. Особенно горячился при этом смуглый широкоплечий человек в рабочей блузе. Он говорил сердито, возбужденно, размахивая большой рукой и прикасаясь к плечу то одного, то другого соседа:

— Бросьте голову мне забивать! Я и без вас знаю, что Савинков первый наш враг. Мне не раз доводилось вылавливать его бандитов. И все же расстрел его не вызывается необходимостью.

— Что ж, по головке его погладить? — Соседи пожимали плечами.

Широкоплечий человек настаивал на своем:

— Пролетарская власть — сильная власть. Ей незачем

карать смертью врагов, сложивших оружие. Это вам не гражданская война. Сейчас другое время. Сейчас помилование такого врага, как Савинков, всем покажет силу нашего государства.

— Слышали, что говорит этот демагог? — с насмешкой спросил иностранный корреспондент. — Я убежден, что судьи разочаруют его и вынесут смертный приговор.

— Да, похоже на это, — сказал приятель корреспондента, готовясь фотографировать подсудимого в момент вынесения приговора.

Ждать пришлось долго. Люди слонялись по длинному коридору, гуляли во дворе, беспрерывно курили. Только после полуночи, в половине второго, усталый комендант возгласил:

— Прошу встать, суд идет!

Председатель начал читать длинный приговор, в котором обстоятельно перечислялись преступления подсудимого. Савинков слушал, слегка наклонив голову, ни на кого не глядя и как будто не проявляя особого интереса к тому, что читает затянутый перекрестьем ремней суровый человек.

— На основании изложенного, — повысил голос председатель, — Верховный Суд приговорил Савинкова Бориса Викторовича, сорока пяти лет, по статье пятьдесят восьмой, часть первая, Уголовного кодекса, к высшей мере наказания...

Далее председатель перечислил статьи 59, 64, 70, 76-ю, по которым подсудимый также приговаривался к расстрелу, и закончил, строго отчеканивая каждое слово:

— А по совокупности — расстрелять с конфискацией всего имущества...

В зале послышалось движение. Кто-то закашлял. Савинков оглянулся.

Председатель суда подождал немного и закончил тихо:

— Принимая, однако, во внимание, что Савинков признал на суде всю свою политическую деятельность с момента Октябрьского переворота ошибкой и заблуждением... принимая далее во внимание проявленное Савинковым полное отречение и от целей и от методов контрреволюционного и антисоветского движения... Верховный Суд постановил: ходатайствовать перед Президиумом Центрального Исполнительного Комитета СССР о смягчении настоящего приговора.

Утром все московские газеты опубликовали подписанное Калининым постановление, в котором говорилось:

«Президиум Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР, рассмотрев ходатайство военной коллегии Верховного Суда Союза ССР от 29 августа, утром, о смягчении меры наказания в отношении к осужденному к высшей мере наказания гражданину Б. В. Савинкову и признавая, что после полного отказа Савинкова от какой бы то ни было борьбы с Советской властью и после его заявления о готовности честно служить трудовому народу под руководством установленной Октябрьской революцией власти — применение высшей меры наказания не вызывается интересами охранения революционного правопорядка, и полагая, что мотивы мести не могут руководить правосознанием пролетарских масс, — постановляет: удовлетворить ходатайство военной коллегии Верховного Суда Союза ССР и заменить осужденному Б. В. Савинкову высшую меру наказания лишением свободы сроком на десять лет...»

Зарубежные друзья Савинкова неистовствовали. Капитан Сидней Рейли напечатал в английской газете «Морнинг пост» письмо, в котором доказывал, что советский суд над Савинковым — пошлый фарс, разыгранный чекистами. Рейли писал в своем письме: «Савинков был убит при попытке перейти русскую границу, а ЧК инсценировала в Москве при закрытых дверях фальсифицированный процесс с одним из своих агентов в главной роли».

Сознавая значение показаний Савинкова, Сидней Рейли пытался объявить эти показания подделкой. Он патетически писал о Савинкове:

«Я имел счастье быть одним из самых близких его друзей и пламенных почитателей, и я считаю своим священным долгом выступить в защиту его чести... В числе очень немногих людей я был осведомлен о его намерении пробраться в Советскую Россию. Я проводил с Савинковым целые дни вплоть до его отъезда на советскую границу. Я пользовался его полным доверием, и его планы были выработаны вместе со мной».

Письмо Рейли завершалось многозначительным обращением к редактору «Морнинг пост»:

«Сэр, я обращаюсь к Вам как к руководителю органа, который всегда был признанным поборником антибольшевизма и антикоммунизма, и прошу Вас помочь мне обелить имя и честь Бориса Савинкова...»

— Уверены ли вы, дорогой Сидней, в том, что наш друг

оказался столь твердым, как вам хотелось бы? — спросила мужа Пепита, на которую процесс Савинкова тоже произвел удручающее впечатление.

— Да, я уверен в нем, как в самом себе, — ответил Рейли.

— А мне, например, казалось, что с ним в последнее время творилось что-то странное. Может быть, вам не стоило прежде времени публиковать вашу статью о нем?

Рейли сердито пожал плечами:

— Иначе я поступить не мог. Вы ведь понимаете, что с потерей Савинкова мы теряем нечто большее, чем его жизнь...

В тот же вечер, томимый мрачными предчувствиями, Рейли отправил к влиятельному сановнику слугу-малайца с письмом.

«Дорогой сэр, — писал Рейли. — Несчастье, постигшее Бориса Савинкова, несомненно, произвело на Вас весьма тягостное впечатление. Ни мне, ни другим его близким друзьям и сотрудникам не удалось до сих пор узнать что-либо достоверное о его судьбе. Мы твердо убеждены в том, что он стал жертвой самой подлой и наглой интриги. Наше мнение высказано в письме, которое я отправил сегодня в «Морнинг пост». Зная Ваш неизменный благожелательный интерес, позволю себе приложить при сем копию для Вашего сведения.

Преданный Вам, дорогой сэр,
Сидней Рейли».

И все же чисто женская проницательность и осторожность Пепиты привели ее гораздо ближе к истине, чем угрюмая убежденность Рейли. Вскоре английские газеты стали печатать обширные отрывки стенограмм савинковского процесса, и читатели убедились, что на заседании Верховного Суда в Москве давал показания не «подставной агент ЧК», а самый подлинный Борис Савинков, находившийся в твердом уме и никем не вынуждаемый.

— Что вы теперь скажете, мой милый? — язвительно спросила Пепита, следя глазами за бегавшим по кабинету мужем.

— Это чудовищно! — сквозь зубы пробормотал Рейли. — И этому нет прощения.

— Вам, очевидно, придется снова обращаться к редактору «Морнинг пост» и просить его разрешения напечатать второе письмо.

— Да, — махнул рукой Рейли, — я это сделаю...

Ломая карандаши, он написал письмо, которое ночью было прочитано редактором, а рано утром появилось в газете. В письме говорилось:

«Подробные, в значительной части даже стенографические отчеты о процессе Савинкова, подтвержденные свидетельствами достойных доверия, беспристрастных очевидцев, не оставляют никакого сомнения в предательстве Савинкова. Мало того, что он изменил своим друзьям, своей организации, своему делу, он сознательно и безоговорочно перешел на сторону своих бывших врагов. Он помог своим тюремщикам нанести тягчайший удар антибольшевистскому движению и добиться крупного политического успеха, который они сумеют использовать как вне, так и внутри страны. Своим поступком Савинков навсегда вычеркнул свое имя из почетного списка деятелей антикоммунистического движения. Его бывшие друзья и почитатели скорбят о таком страшном, бесславном падении, но те из них, которые ни при каких обстоятельствах не пойдут на сговор с врагами рода человеческого, по-прежнему сильны духом. Моральное самоубийство Бориса Савинкова побуждает всех честных борцов против коммунизма еще теснее сплотить ряды и продолжать святое дело.

С почтением Сидней Рейли».

Рейли нетерпеливо ждал, что скажет о Савинкове его патрон, высокий сановник. Мнением этого сановника капитан Рейли всегда дорожил и полагал, что сейчас сановнику необходимо публично высказать свое мнение о том, что произошло с Борисом Савинковым. Однако сановник молчал. Он уехал из Лондона и, не желая встречаться с надоедливыми репортерами, отсиживался в своем поместье. Только через две недели Рейли получил от него долгожданное письмо. Письмо было очень коротко и уклончиво.

«Полагаю, что не следует судить Савинкова слишком строго, — писал сановник, — потому что он был поставлен в ужасное положение, и только те, кому удалось с честью выйти из такого испытания, вправе произнести над ним приговор. Я, во всяком случае, подожду конца всей истории, прежде чем менять свое мнение о Савинкове...»

— Игра в прятки! — сердито пробормотал Рейли, скомкав письмо. — Тонкая дипломатия, которая ни к чему хорошему не приведет.

— Почему же игра? — возразила Пепита. — Может быть, ваш патрон знает больше, чем известно вам.

— Кой черт! — вскричал Рейли. — Не я пользуюсь его информацией, а он моей. Случилось гораздо более страшное, чем вы, дорогая Пепита, предполагаете.

— Что же?

Сидней Рейли нервно забарабанил пальцами по подоконнику:

— Борис Савинков отказался от борьбы против красных.

— Но почему?

— Потому что он поверил в силу коммунистических идей, разуверился в нашей силе и, как предатель, сложил оружие.

— Вряд ли мы когда-нибудь узнаем, какими соображениями руководствовался Савинков, — задумчиво сказала Пепита. — Очевидно, это неизвестно даже большевикам.

— Однако они его помиловали, создали ему в тюрьме сносный режим.

Капитан Рейли был хорошо информирован. Савинков отбывал заключение в сухой, светлой камере; трижды в день ему полагалась прогулка, он получал в камере бумагу, карандаши, книги. Он держался спокойно, но постоянно был в угнетении: на прогулке ходил опустив голову и заложив руки за спину, ни с кем не разговаривал, ни к бумаге, ни к книгам не прикасался. Подолгу, часами, стоял он у окна, следил за плывущими по осеннему небу облаками, тихонько насвистывал или молчал.

Однажды молодой надзиратель, как обычно, отпер камеру и сказал добродушно:

— Пожалуйте гулять.

— Спасибо, — кивнул Савинков. — Я сейчас.

Надзиратель слегка притворил дверь и, дожидаясь, пока выйдет заключенный, стал прохаживаться по узкому железному балкону, опоясывающему весь этаж. Отсюда хорошо были видны такие же длинные балконы на нижних трех этажах, чисто вымытый цементный пол внизу, фигуры двух надзирателей, дежуривших у входной, окованной железом двери.

Савинков вышел в черном пальто, застегнутом на все пуговицы. Молодой надзиратель, повернувшись спиной, стал запирать пустую камеру. Савинков на секунду закрыл глаза, всей грудью вдохнул пахнувший креолином воздух и вдруг быстро и легко перебросил ноги через перила балкона, разжал руки и полетел вниз...

Так закончилась его полная безумств, крови и преступлений запутанная жизнь. Свидетель великих событий, он не только ничего в них не понял, но сделал все, чтобы помешать движению жизни, мятежами и убийствами задержать становление нового мира. И когда он увидел, что жизнь смела его с дороги, разбила его планы и наказала за все, что он сделал, он сам привел в исполнение свой собственный приговор над собой.

Через месяц, узнав из газет о самоубийстве Бориса Савинкова, капитан Сидней Рейли и его супруга на комфортабельном океанском пароходе «Уайт Стар» отбыли в Америку.

3

Не сосчитать дорог Великой равнины в Америке. Широкие и узкие, мощеные и грунтовые, пролегли они во все стороны, перерезали выжженные солнцем, мертвые холмы на Западе, повитые пыльной мглой степи, окаймленные сыпучими песками реки, города и поселки, каналы и поля.

С первых дней весны, как только утихнут дующие из канадских прерий ледяные ветры, и до поздней осени, когда укроются в расселинах сухой, угрюмой земли ящерицы и суслики, по дорогам Великой равнины движутся людские потоки. Люди едут в старых, разбитых грузовиках, на тракторах, на прицепах, на мотоциклах, на велосипедах, бредут пешком целыми семьями, старые и малые, больные и здоровые, — океан людей, которые ищут работы и куска хлеба.

Это бездомные скитальцы, «черные дрозды», люди без адреса, странники больших дорог, бродяги, у которых ничего нет, кроме лохмотьев. Когда-то все они были фермерами, рабочими, мелкими торговцами, имели имена, но пыльные бури Великой равнины, засухи, безработица и нищета сорвали их — каждого в свой час — с насиженных мест и погнали на дорогу. Они, эти люди, годами скитаясь по стране, постепенно утеряли свои имена и приобрели клички: Одноглазый, Шлюха, Клейменый, Коротышка. Так они жили, не имея пристанища, рожали детей под мостами и на дорогах, а когда умирали, их лишали даже места на чужих кладбищах. Резекторы препарировали безымянные трупы странников в анатомических театрах.

Никто не брался сосчитать озлобленных, голодных мужчин и женщин, втянутых в кочующий человеческий поток,—

числю их постоянно менялось и не поддавалось учету. «Когда-нибудь мы, возможно, изучим пути миграции этого людского потока, как мы изучили пути миграции певчих птиц и диких гусей», — заявил один из ученых специалистов.

В поисках работы странники-мигранты колесили по всей стране: вербуемые ловкими подрядчиками, они полчищами налетали на пшеничные поля Великой равнины, в несколько дней заканчивали жатву, получали за свой каторжный труд жалкие гроши и, подобно ручьям, растекались по разным штатам — убирать хлопок в Нью-Мексико и Аризоне, снимать яблоки и хмель в Якиме и Уэнатчи, долбить угольные пласты в шахтенках Северо-Запада, копать сахарную свеклу на плантациях Колорадо, Вайоминга, Монтаны. Но где бы они ни появлялись, их везде подстерегали эксплуатация, голод, жестокие расправы полицейских патрулей...

После трехмесячного пребывания на Алеутских островах Максим Селищев оказался в одном из таких человеческих потоков Великой равнины, куда его вовлек бежавший вместе с ним с сейнера долговязый американец, гарпунщик Том Хаббард.

Гарпунщик Хаббард, костлявый силач с медно-красными волосами, за полвека своей жизни прошел огонь и воду: он десять лет работал литейщиком, потом водолазом, был боксером, солдатом, сидел в тюрьме за убийство, бежал из тюрьмы в Канаду, много раз бродяжил с индейцами-мигрантами.

— Плюнь ты на этот дырявый сейнер, — сказал он Максиму. — Можно головой ручаться за то, что эта старая калоша не сегодня завтра нырнет на дно морское. Нам с тобой еще рано кормить рыб по милости сквалыги хозяина, который получит за свою утонувшую лоханку страховые, а по нас даже заупокойную молитву не прочитает. Пора, друг, уходить отсюда.

— Как же уходить? — спросил Максим. — Мы ведь подписали годовой контракт, и нам до рождества не дадут денег.

— Черт с ним! — засмеялся Хаббард. — Я уже приметил, где боцман прячет свои доллары, полученные за зуботычины. На первое время нам хватит, а там будет видно...

Лунной июльской ночью, когда сейнер «Святой Фока», обогнув остров Ванкувер, вошел в порт Сиэтл, чтобы выгрузить очередную партию рыбы, Максим и Том Хаббард отпросились у капитана на берег, выпили в кабачке изрядную порцию виски, сели в поезд и уехали на юго-восток. Во внутреннем, зашитом крепкими нитками потайном кар-

мане своей брезентовой куртки Том Хаббард спрятал украденные у боцмана девяносто долларов.

Недели три беглецы колесили по штатам Великой равнины — по Канзасу, Небраске, обеим Дакотам, истратили почти все деньги. После этого, поддавшись уговорам ловкого вербовщика, решили ехать с группой кентуккийцев на сайотские болота в Огайо, где началась уборка лука.

— Поедем в эти гиблые места, — махнул рукой Хаббард, — ничего другого нам не остается. Осень проползаем по болотам, доставим удовольствие комарам, а потом махнем куда-нибудь на юг.

— Но у меня нет никаких документов, — попробовал возразить Максим. — Нарвемся где-нибудь на полицейский патруль и хлебнем горя.

Хаббард захохотал:

— Какие там документы! Ты думаешь, у меня они есть? Ошибаешься. С тех пор как я расстался с тюремной камерой, у меня только два документа — кулак да ноги. Кроме того, мы с тобой сейчас окажемся в таком скопище бродяг, что любой полицейский патруль сбежит от нас.

— Ну что ж, — сказал Максим, — выбора у меня нет...

«Луковичный батальон», как именовал ловкач посредник тысячу завербованных нищих кентуккийцев, уже стоял огромным лагерем возле железнодорожной насыпи, у слияния рек Миссисипи и Огайо. На лугу, между крытыми мешковиной грузовиками и прицепами, белели палатки, высились наспех сколоченные фанерные будки, дымились костры. У костров хлопотали женщины, вертелись босоногие дети, бродили тощие, с облезлой шерстью собаки. Под грузовиками и у палаток лежали и сидели молчаливые мужчины.

Старший по лагерю, пожилой голландец со странным прозвищем Шатун, не спросил у пришельцев даже их имен, хмуро посмотрел на них исподлобья и проворчал хрипло:

— Там на краю стоит трехсотведерная бочка на колесах. Хозяин бочки помер вчера, но успел натащить в свое палаццо свежего сена. Валите туда и укладывайтесь в этой бочке. Ресторанов у нас нет, нужники вон в той канаве. Перекличка в час дня.

— Понятно, — ухмыльнулся Хаббард. — Все как у порядочных.

Бочка оказалась вместительной. Она была укреплена тросами на двухколесном прицепе. Правда, покрышки и камеры с прицепа кто-то успел унести, зато бочка не оставляла желать ничего лучшего: вход в нее закрывался круглым

листом фанеры, в днище было прорублено квадратное оконце.

— Тут и сам президент Кулидж не отказался бы поселиться, — сказал Хаббард.

— Да, — невесело откликнулся Максим, — роскошный дворец.

Они бросили в бочку свои дорожные мешки, разулись, развесили на дисках прицепа мокрые от пота носки, улеглись на примятую, тронутую желтизной траву и закурили.

— Значит, ты, приятель, офицер русской белой гвардии? — лениво позевывая, спросил Хаббард.

— Бывший офицер бывшей белой гвардии, — поправил его Максим.

— Охота тебе была лезть в этот кипящий котел! — сказал Хаббард. — Я хорошо знаю, что у вас там творилось. Один мой товарищ был с экспедиционными войсками в России, он рассказывал, как вы резали друг друга. Я и то пожалел, что меня там не было, а то бы я на свой лад расправился с вашими господами офицерами.

— Вот как? — удивленно поднял брови Максим.

— А ты думаешь! У меня, приятель, давно уже руки чешутся. Уж очень мне хочется рассчитаться со всей этой сытой сволочью, да вот, к сожалению, мы никак не соберемся, по примеру России, начать у себя эту веселую штуку.

— Ты, чего доброго, меня зарежешь для начала или придушишь. — Максим усмехнулся.

Том Хаббард презрительно спросил:

— Тебя? Нет, дорогой приятель, ты уже конченый человек, только и остается, что тебя пожалеть...

Они помолчали. Хаббард повернулся на бок, стал тихонько похрапывать, а Максим сел, охватив руками колени, и задумался. Лагерь «луковичного батальона», освещенный лучами заходящего солнца, весь был окутан дымом костров. Кое-где фыркали автомобильные моторы, стучали ведра, кастрюли, плакали дети, и в этот разноголосый шум врывалась протяжная, тоскливая мелодия флейты — то тихая и жалобная, то неожиданно резкая и громкая, как будто невидимый флейтист хотел разом заглушить все звуки вокруг.

«Конченый человек, — повторил про себя Максим. — Так сказал Хаббард. Очевидно, так оно и есть — конченый». И он подумал о том, что им была совершена какая-то непоправимая ошибка, что милое прошлое, которым он жил,

больше никогда не вернется, так же как не вернется веселая, беспечная юность. «А кто виноват в этом? — думал Максим. — Разве я один виноват? Разве сотни тысяч людей не оказались на чужбине? И разве красные не понимают того, что в изгнании, посреди их лютых врагов, умирают сейчас и ни в чем не повинные люди?»

Так он подумал со злобой и горечью, и вдруг острая, горячая ненависть к большевикам точно ножом резанула его. «Они всех нас сбросили со счета! — твердил он, уронив голову на колени. — Они строят свой мир ценою крови и страданий других людей, они уверены, что мы, которые только волей слепого случая оказались их врагами, уже умерли... Но мы не умерли, мы еще живы! И мы вернемся когда-нибудь, чтобы сполна расквитаться за все наши муки...»

Второй голос, холодный и трезвый, напомнил Максиму, что красные уже разрешили вернуться на родину многим тысячам солдат и казаков, что даже такой вешатель и каратель, как генерал Слащев, не дожидаясь разрешения, на рыбацкой лодке уплыл из Константинополя в Советскую Россию и не был там арестован и расстрелян. Следовательно, что же говорить о людях с честной душой — они могут не бояться красных чекистов и возвращаться в родные места. Но страх и ненависть говорили в Максиме о другом: о том, что белые офицеры-перебежчики томятся в подвалах ГПУ, что генерала Слащева большевики сохранили только как выигрышный козырь для красной пропаганды и что для любого офицера-эмигранта путь в Россию отрезан навсегда.

«Бог с ними, — вздохнул Максим, — буду ждать. Авось когда-нибудь пробьет и мой час...»

Ночь Максим провел со своим товарищем в бочке. Они спали, тесно прижавшись друг к другу. На рассвете их разбудил стуком железной палки угрюмый командир «луковичного батальона» Шатун. Он был выпивши и слегка покачивался, переступая с ноги на ногу.

— Вот что, друзья, — с трудом ворочая языком, проговорил Шатун, — вы не воображайте, что такое комфортабельное помещение предоставлено вам постановлением конгресса или указом президента. Поскольку Джек О'Нейл, хозяин бочки, изволил помереть без наследников, упомянутая бочка переходит в собственность батальона и ею распоряжаюсь я. Понятно? А мое решение таково: выкладывайте десять дол-

ларов и тогда получайте бочку в собственность, а нет — катитесь отсюда дьяволу в зубы.

Хаббард поднялся, подтягивая измятые штаны.

— Ты что, старина, с ума спятил или от рождения кретин? Какой же дурак даст тебе десять долларов за такую дрянь! Ведь в твоей бочке никуда не уедешь, с ее колес содрали резину.

— О резине речь пойдет отдельно, — сказал Шатун, мотнув головой. — У меня есть пара слегка залатанных шин и три камеры. Если купите бочку, я вам отдам все это за пять долларов.

Том Хаббард с выражением грусти ощупал свой потайной карман.

— Пятнадцать долларов у нас не наберется, — сказал он, — мы можем уплатить тебе десять долларов за бочку и за резину — и то с условием, что ты прицепишь нас к своему «гудзону».

Пьяный Шатун издал нечленораздельный носовой звук.

— Ладно. — Шатун почесал затылок. — Гоните десять долларов и ступайте к моей палатке за резиной. А остальные пять долларов отдадите по прибытии в Сайото, когда подрядчик выдаст вам деньги. Идет?

— Идет, — сказал Хаббард. — Получай десять долларов. Мы пошли за резиной, а там поглядим...

До обеда Хаббард смонтировал с Максимом оба ската, постучал по разукрашенным пластырями шинам и удовлетворенно крякнул:

— Можно ехать...

«Луковичный батальон» начал свой поход на следующий день. С утра были сняты лагерные палатки, немудреный скарб уложен в кузова машин, все мужчины сошлись к насыпи, где Шатун решил произнести напутственную речь.

— Вот что,— сказал он, скептически оглядывая длинную колонну дряхлых, облупленных автомобилей и мотоциклетов, — ни на какую помощь в дороге не падейтесь. Отстающих мы ждать не станем. Тут каждый отвечает за себя, а бог — за всех. Привалы будем делать через четыре часа.

Он еще раз обвел взглядом свой растянувшийся вдоль дороги батальон, снял шляпу и сказал, икая:

— С богом! Поехали!

Шатун сдержал слово, данное Хаббарду: прыгая на ухабах, немилосердно стуча, бочка понеслась за полуразбитым, окутанным дымом «гудзоном» пьяного голландца. Максим,

лежа на сене и ухватив за плечо Хаббарда, затрясся как в лихорадке.

— Из этого круглого холла получился бы отличный родильный приют, — простучал зубами неунывающий Хаббард.

«Луковичный батальон» с грохотом, скрежетом, стуком и свистом несся по широкой дороге на восток. Автомобили трещали, скрипели, из их выхлопных труб летели искры и чадные хвосты дыма. Ветер гнал по степи тучи густой пыли, и все вокруг было окутано желтоватой мглой.

Максим глянул в заднее оконце бочки. Следом за «гудзоном», выбрасывая из громадного радиатора молочно-белые струи пара и хлопая полуразбитыми крышками капота, хрипя, как паровоз, мчался десятитонный «лейланд», битком набитый мужчинами, женщинами и детьми.

— Если только наша бочка оторвется от «гудзона», мы пропали! — прокричал Максим. — Этот дьявол раздавит нас, как лепешку: у него не работают тормоза...

— Ничего, трос у нас крепкий, выдержит, — невозмутимо ответил Хаббард.

Первый привал сделали в открытой степи. Максим вылез из бочки размять ноги и услышал истошный женский крик. В громадном кузове пышущего жаром «лейланда», очевидно, еще на ходу началась драка. Четверо растрепанных худых старух, ругаясь на чем свет стоит, избивали молодую смазливую женщину. Они таскали ее за волосы, пинали ногами, хватали за плечи и за руки и старались выбросить за борт грузовика. В ногах у женщины колотились в крике двое полуголых исцарапанных мальчишек.

— Катись отсюда, потаскуха, вместе со своими щенками! — злобно кричали старухи.

— Тут мы тебе не дадим распоясываться!

— Ступай, шлюха, к своим...

Старухи выкрикивали мерзкие слова, плевались, визжали. Избитая в кровь женщина цепко держалась за край борта и, втянув голову в плечи, кричала животным криком. Десятка два мужчин, одетых в темное, покрытое пылью рванье, равнодушно наблюдали сцену, не вмешиваясь в драку.

— За что они ее? — спросил Максим у Хаббарда.

Тот пожал плечами:

— Должно быть, кто-нибудь из мужчин улучил момент и подкатился к ней. Старухи и одурели. Я ее знаю, эту бабенку, — она родила на дорогах двух байстрюков, а сейчас

беременна третьим. Ее зовут Марта. Она из Южной Дакоты, но национальности своей не знает. Так вот и шляется из штата в штат.

Хаббард выплюнул докуренную, обжегшую ему губы сигарету, вразвалку подошел к «лейланду» и сказал лениво:

— Эй вы, драные кошки, хватит! А ты, божье дитя, слезай оттуда и сыпь со своими собачатами в бочку, у нас места много.

Сидящий у руля здоровенный мужчина с аккуратно подбритыми баками, прищурив глаз, посмотрел на Хаббарда и бросил сквозь зубы:

— Ты еще откуда такой взялся? Или хочешь, чтоб я прошелся домкратом по твоей шелудивой спине?

Сунув руки в карманы, Хаббард повернулся спиной к владельцу «лейланда», помог избитой Марте сойти на землю, снял с грузовика ребятишек, проводил всех троих к бочке и, вернувшись, сказал сидящему за рулем человеку:

— Послушай, дохлый поросенок, ты, наверно, не знаешь, кто я такой. Запомни же, меня зовут Том Хаббард, по прозвищу Красный. Не слышал?

Мужчина с бакенбардами удивленно поднял брови:

— Ты Том Красный?

Он снял кепи и вытер ладонью потный лоб.

— Извини, пожалуйста, я тебя не узнал. У нас говорили, что ты казнен в чикагской тюрьме.

Хаббард усмехнулся, посвистал и стал прохаживаться возле бочки. Максим побродил по степи, остановился покурить у грузовика, где собрались мужчины. Всюду он слышал одни и те же разговоры: о засухе и разорении, о голоде, о том, что сотни ферм в Кентукки проданы за бесценок.

— На нашем горе наживается всякая дрянь, — сказал бритый старик в потертой шляпе. — Мы разоряемся, а те, у кого есть деньги, скупают земли за бесценок, а потом сдают их в аренду втридорога...

— У них, конечно, все идет иначе, — ввернул белобрысый парень с гаечным ключом в руке. — Они пашут тракторами сразу большие загоны, устанавливают на полях свои молотилки, нанимают сезонных рабочих. А вот, скажем, мы с братом имели одного мула, и тот издох от сапа...

Максим слушал все, что говорили люди, ходил взад и вперед и думал о том, что мир, должно быть, очень нескладно устроен, если даже в стране, которую все считают самой

богатой, множество людей нищенствует и всюду царит неправда. Тут, в степи, на привале «луковичного батальона», у Максима впервые в жизни появилась мысль о том, что он вообще напрасно живет в этом беспощадном мире и что, пожалуй, было бы лучше покончить с этим миром всякие счеты.

Скоро «батальон» двинулся дальше. Вновь заскрежетали, заскрипели машины, взвились облака пыли, и дорога побежала назад в чадной мгле. Бочка тряслась, колыхалась, а в бочке, раскачиваясь, жалобно всхлипывала избитая, оборванная женщина...

Только на третьи сутки, перед рассветом, «луковичный батальон», потерявший в дороге четыре автомобиля, прибыл к болотам, где располагались обширные плантации компании «Сайото лэнд К°». Когда рассвело, люди увидели равнину с едва заметными холмами, между которыми розовели ирригационные каналы, а по западинам, покрытым редким кочкарником, блестели болота.

Юркий посредник, размахивая шляпой, встретил батальон на дороге и проводил в поселок. Этот поселок представлял собою три ряда поставленных на сваи убогих лачуг с дощатыми крышами и выбитыми окнами. Лачуги напоминали стойбище доисторических людей.

— За жилище дирекция компании будет взимать небольшую плату, — поблескивая хорьковыми глазами, сказал посредник. — Это сущие пустяки — три доллара в месяц с человека. Зато в каждом доме у нас имеются деревянные полы и потолочные отверстия для установки временных печей.

Утомленные трудной дорогой, люди молчали. Один за другим стали они вылезать из автомобилей и, шлепая ногами по воде, отправились выбирать подходящие лачуги. Но пьяный Шатун остановил их сиплым окриком:

— Куда полезли?! Сейчас мы распределим эти свинарники по жребию, чтобы не было никаких обид.

С помощью белобрысого парня он нарезал из оберточной бумаги несколько сот билетов, карандашом написал на них номера, встал на ступеньку своего «гудзона» и закричал:

— Подходите тянуть жребий! Каждая халупа может вместить до десяти человек. Значит, надо разбиться на десятки.

Максиму и Хаббарду досталась одна из самых ветхих лачуг на краю поселка. Они решили поместить с собой Марту с двумя детьми, бритого старика — его звали Джозеф

Тинкхэм — с незамужней дочерью Лорри и белобрысого парня Фреда Стефенсона, который всю дорогу усиленно ухаживал за Лорри и, по всем признакам, имел на нее серьезные виды.

Тщедушная голубоглазая Лорри с помощью Марты отгородила двумя старыми простынями угол в лачуге, помыла пол и стены, а Фред с папашей Тинкхэмом быстро установили чугунную печурку и заклеили пустую оконную раму листом промасленной бумаги.

— Бедный человек везде приспособится, — сказал папаша Тинкхэм. — Пошли его на Луну — он и там найдет убежище, лишь бы ему не изменили руки...

К вечеру на поселок налетели тучи комаров. Они с нудным зуденьем носились в теплом, влажном воздухе, кружились над лачугами, пролезали в каждую щель и истязали усталых людей до тех пор, пока, раздутые и отяжелевшие от крови, не отваливались от потного, горячего человеческого тела.

Максим не спал всю ночь. Он лежал рядом с Хаббардом, закинув руки за голову, и невидящими глазами смотрел в темноту. В глазах у него мельтешили желтые искры, в ушах не утихал унылый гул автомобильных моторов. Снова — в который раз! — он с глухой болью вспомнил родную станицу, Марину, дочку, вспомнил долгое сидение в окопах, опутанный колючей проволокой лагерь на чужом берегу, страшные ночи ожидания смерти в тырновском подвале и пробормотал, вздыхая:

— Да, жизнь кончена... Ничего, брат, не поделаешь, кончена жизнь...

На восходе солнца весь «луковичный батальон», включая маленьких детей, вышел на работу. Плантации располагались па едва приметных высотах, окруженных зеленовато-желтой водой бесконечных болот. Десятки лет фермеры, арендаторы, а затем «Сайото лэнд К°» пытались осушить эти болота, но так и не довели дело до конца — почти каждый земельный участок был окружен вязкими разливами грязи или растянутыми по низинам болотами.

Пока «батальон», разбиваясь на группы, дошел до плантаций, люди вымокли и почернели от грязи. Они сняли башмаки, закатали штаны, подоткнули юбки, подняли детей на плечи и разбрелись по участкам.

Лук уже поспел. Кончики его трубчатых листьев пожелтели, а кое-где подсохли и полегли. Люди работали сидя на корточках, стоя на коленях, ползая на четвереньках. С за-

пахом гнилой воды перемешался резкий, сладковатый запах лука.

Отмахиваясь от комаров, Максим рвал луковицу за луковицей, швырял их в плетеную корзинку, полз дальше, а корзинку волочил за собой. Руки его почернели, пальцы покрылись липким слоем земли, смешанной с луковым соком. Вскоре заболела поясница, потом ее стало невыносимо ломить. Как только корзина наполнялась, Максим взваливал ее на плечо и относил на край участка, где Марта и Лорри, щелкая острыми ножницами, срезали у каждой луковицы ботву и сортировали лук, раскладывая его ровными рядами для просушки.

— Что, устал? — участливо спросила Марта, поглядывая на Максима покрасневшими, слезящимися глазами.

— Да, Марта, устал, — вздохнул Максим.

— У меня глаза заболели, — сказала женщина. — Этот проклятый лук выест наши глаза, нет от него спасения. А тут еще шляется надсмотрщик с линейкой, чуть ли не на каждой луковице обмеряет длину шейки. Оставляйте, говорит, шейку на три сантиметра, ни больше ни меньше, иначе браковать будем, высчитывать деньги из получки.

— Они это могут, — отозвалась Лорри. — Так и смотрят, чтобы заплатить подешевле. Недаром они с такой охотой берут на плантации детей. Детям ведь можно платить полцены...

В первый же день голодные люди набросились на лук. Ели его с солью и без соли, с хлебом и без хлеба. Иные съедали чуть ли не по десятку луковиц. На плантациях компании лук был разных сортов — обыкновенный репчатый, джемс, белльгард, парижский ранний, золотой шар, испанский; люди пробовали разные сорта, горькие, сладкие, угощали друг друга. Но вскоре у многих, особенно у детей, начались боли в желудке, расстройства, и «луковичный батальон» потребовал у дирекции «Сайото лэнд» завоза продуктов в поселок.

Посредник Уэбб и представитель дирекции, веселый толстяк мистер Дэдли, заверили вечно пьяного Шатуна, что продукты будут доставлены. И действительно, в поселке появился фургон. Ловкач Уэбб стал отпускать в долг, в счет будущей получки, бобовые консервы, сыр, маргарин, пшеничные сухари, причем оценивал все товары втридорога, ссылаясь на дальность подвоза и накладные расходы.

— Если так дело пойдет дальше, — сказал папаша

Тинкхэм, — то мы не только ничего не получим за свою работу, но еще окажемся должниками компании.

— Может быть, — согласился Хаббард. — Если это случится, на прощание мы пересчитаем зубы каналье Уэббу и немного растрясем жир толстопузому Дэдли.

— От этого нам легче не станет, — справедливо заключил Тинкхэм.

Шли дни, и вскоре «луковичный батальон» стал похож на скопище дикарей: одежда на людях висела грязными хлопьями, лица, шеи и руки покрылись красными бугорками от комариных укусов и струпьями от расчесов. В поселке уже не слышно стало песен и вечерних звуков флейты, — возвращаясь в сумерки с полей, обессиленные люди валились с ног и мгновенно засыпали на полу душных, сырых лачуг.

— Гибнет народ, и нету у него защиты, — бормотал Максим, расхаживая бессонными ночами по хлюпающему под ногами болоту. — Нигде нет правды, нет жалости... Куда ни пойдешь, всюду одно и то же — холод, горе и злоба...

Все чаще он задумывался над тем, как живут люди его далекой страны, и ему казалось порой, что там жить лучше, свободнее. Но он не мог не верить и тем скудным сведениям о «красной России», которые проникали в американские газеты, доставляемые в поселок вездесущим Уэббом. Газеты в один голос утверждали, что в «Совдепии» после смерти Ленина «начался развал», что «ГПУ каждый день расстреливает сотни ни в чем не повинных людей», а «красные диктаторы грызутся между собой».

«Подожду еще немного и пошлю в станицу письмо, — решил Максим. — Не все же там перемерли, кто-нибудь да остался».

В каторжной работе, в ругани и скуке проходили дни на болотах. «Луковичный батальон» час от часу редел, и Максим уже не раз спрашивал Тома Хаббарда, не пора ли им убираться из Сайото. Хаббард отмалчивался или ронял, яростно расчесывая искусанную комарами шею:

— А куда мы пойдем? Таким, как мы с тобой, некуда идти. Нам остается одно — тянуть лямку или садиться в тюрьму.

— У меня есть еще один выход, — сказал Максим.

— Какой же? — насмешливо спросил Хаббард, подняв брови. — Выставишь свою кандидатуру на пост президента и поселишься в Белом доме?

— Нет, — раздумывая, сказал Максим, — попробую вернуться на родину. Лучше сразу помереть там от пули, чем заживо гнить в этих мертвых болотах...

В тот же вечер Максим купил в лавчонке Уэбба красивый голубой конверт, плотный лист бумаги, марки, уселся за шаткий, сколоченный папашей Тинкхэмом столик и, волнуясь и радуясь, стал писать письмо. Он решил, что безопаснее всего написать старой тетке Анфисе Гавриловне, вдове, которая жила в станице Кочетовской с калекой сыном и, возможно, знала о судьбе Марины и Насти. Старики Селищевы, отец и мать Максима, умерли в самом начале революции, а двум своим дядькам, Петру и Антону, Максим писать побоялся, не зная, на чьей стороне они были в годы гражданской войны.

Тщательно выводя каждую букву, он написал короткое письмо:

«Дорогая тетушка Анфиса Гавриловна! Вот уже четыре года, как я живу на чужбине и ничего не знаю о близких, родных людях. Сообщите мне: живы ли моя жена Марина и сестра Настя и где они находятся? Сообщите также о том, много ли вернулось наших казаков-кочетовцев и как они живут. Мне это крайне необходимо знать. Я давно уже снял с себя форму, нигде не служу, работаю батраком на плантации, а раньше работал лесорубом. Решил, что это честнее и лучше.

Если вы, тетушка, увидите незабвенную мою Марину или ненаглядную милую доченьку Таю, поклонитесь им до земли, поцелуйте за меня их рученьки и ноженьки и скажите, что я буду помнить их до смерти и живу только надеждой на встречу с ними. Вас, дорогая тетя, я тоже целую, а всем родственникам и знакомым шлю низкий поклон.

Мне напишите по такому адресу: Селищеву Максиму Мартыновичу, дирекция «Сайото лэнд К°», в штате Огайо, США».

Рано утром почтальон-негр увез в город письмо в голубом конверте.

Максим стал ждать ответа.

4

Все лето Тая жила в семье Ставровых. Когда в школе начались занятия, Дмитрий Данилович съездил в Пустополье и упросил Марину, чтобы она позволила Андрею и Тае явиться в школу месяцем позже: в Огнищанке некому было убирать кукурузу — Роман сильно поранил правую

руку, а Каля простудилась, искупавшись в пруду, и уже неделю не выходила из дому.

Осень выдалась на редкость тихая и ясная. В конце августа прошли запоздалые дожди с последними грозами, а потом установилась теплая, солнечная погода. Вдоль заросших пыреем полевых дорог табунились, готовясь к перелету, стаи скворцов. Они темными тучами носились над стернями, облетывали опушки лесов, отдыхали на дорогах. Поля потеряли изжелта-золотистый цвет, потускнели, но между ломкими, сухими рядками стерни выбросили зеленые стрелки всходы падалицы, и на отавах пасся разжиревший за лето скот.

Рано утром Андрей, Тая и Федя поехали в поле ломать кукурузные початки. На краю леса они выпрягли и пустили на поляну лошадей, а сами расстелили на траве рядно, разожгли костер и сели тесной кучкой печь картофель. У костра возились Тая с Федей, а Андрей сидел молча, курил.

— Ты, Андрюша, кажется, скучаешь по ком-то? — лукаво спросила Тая, слегка отодвигаясь от костра и морщась от дыма.

— А по ком мне скучать? — пожал плечами Андрей.

— Ну как же по ком? По Елечке своей, конечно!

Тая повернулась к Феде.

— Знаешь, Федя, у нашего Андрюши есть в Пустополье девочка, и он, бедняжка, пропадает без нее.

Федя глянул на Андрея, на Таю и ничего не сказал. Но Тая не унималась:

— Ее зовут Еля, Елена. Первая задавака в школе. Ходит в синем платье, в вязаной шапочке. Шапочку сдвинет набок, в косу вплетет огромный бант и бежит, ни на кого не смотрит. Девчонки из нашего класса смеются над ней: она, говорят, держит себя как взрослая барышня. Такая дурочка, думает, что она красивее всех.

— А тебе, наверно, кажется, что ты красивее ее? — усмехнулся Андрей.

— При чем тут я? — покраснела Тая. — Я же не о себе говорю. Мне просто жалко, что ты влюбился в такую капризную, нехорошую девчонку. Ты и сейчас вот сидишь и думаешь о ней.

Андрей вызывающе сплюнул:

— Да, сижу и думаю. И не твое дело. Ревнуешь, что ли? Или хочешь, чтоб я в тебя влюбился?

Взглянув на Таю, Андрей тотчас же пожалел о том, что сказал. Зажав испачканными в пепле пальцами горячую

картошку, Тая замерла у костра. Губы ее задрожали, по щекам потекли слезы. Она бросила картошку в костер, вытерла непрошеные слезы и пробормотала:

— Картошка противная... такая горячая... обожгла руки.

Андрей даже не подозревал, насколько он близок к истине. Тая давно уже, больше года, любила его, своего грубоватого двоюродного брата, первой, детской любовью, готова была молиться на него, прощала ему все обиды, ходила за ним по пятам. Все свои книжки и тетради она разукрасила замысловатой буквой «А», окруженной лучами, завитушками, гирляндами цветов. Больше всего на свете ей нравилось слушать сказки, которые по вечерам рассказывал Андрей; она сидела затаив дыхание, прижавшись острым плечом к плечу Андрея, и сам он казался ей живым героем чудесных сказок: то отважным капитаном белопарусного корабля, то непобедимым, закованным в латы рыцарем, то удалым атаманом разбойничьей шайки. Сейчас, выслушав обидные слова Андрея, Тая съежилась, как от удара, и сидела, не смея поднять на него заплаканные глаза.

— Ты не сердись, Тайка, — еле сдерживая внезапно нахлынувшую нежность, сказал Андрей. — Я просто пошутил, честное слово! Не сердись и не обижайся, пожалуйста.

— Я не сержусь, Андрюша, — отвернулась Тая.

— Пошли ломать кукурузу, — сказал Федя. — Солнце уже вон куда поднялось!..

Они затоптали костер, разложили на телеге рядно, взяли мешки и вошли в густую, высокую, как лес, кукурузу. Початки созрели, высохли, ломать их было легко, они трещали и шелестели в руках. Между рядами, на прогалинах, то и дело попадались темные, перемешанные с пшеничными колосьями кучки земли, насыпанные мышами-полевками, норы сусликов, опустевшие гнезда-ямки откочевавших к лесу куропаток.

Отойдя от Таи и Феди, Андрей молча ломал початок за початком и думал о том, как поедет в Пустополье, встретит Елю, как будет разговаривать с ней... «Что такое любовь? — думал он с какой-то сладко щемящей болью. — Почему так бывает, что вот встретит один человек другого и сразу его полюбит? Почему не третьего, не четвертого, а именно этого? Ведь есть же вокруг люди гораздо более красивые, добрые. Так нет же, полюбится вот один человек и завладеет тобой до конца». Когда Андрей мысленно произносил слово «человек» и думал о любви, он представлял только ее, Елю;

вслушивался в шелест кукурузных листьев, и ему казалось, что он слышит звонкий Елин голос, что она сейчас покажется в конце поля, подойдет к нему и скажет что-то очень ласковое и хорошее.

Потом, с силой ломая толстый, еще не созревший початок, Андрей подумал: «Интересно, кукурузе больно, когда ее ломают, или нет? А пшенице, когда ее косят? А живому дереву, которое рубят топором или пилят острой пилой? Должно быть, больно: они ведь живые, растут и стареют так же, как люди...» И Андрею вдруг стало жалко и пшеницу, и кукурузу, и зеленую траву, которую весной он косил вместе с отцом. Он подумал о том, что люди не знают и, наверно, никогда не узнают, чувствуют ли деревья и травы боль, горе, радость, любовь. Он думал о рождении людей, животных, растений, об их жизни и смерти, обо всем, что окружало его и было полно неразгаданных тайн.

Так в ясный осенний день, когда чистое небо кажется особенно глубоким и синим, когда по теплому воздуху летают запоздалые нити серебристой паутины, а чуть влажная земля грустно и жалостно пахнет вялыми травами, Андрей оставался наедине с бесконечно великим миром, задавал себе множество вопросов, не умел ответить на них и, страшась и радуясь, чувствовал, что все же каждый час узнает что-то новое, взрослеет, мужает, становится сильнее и тверже...

Поблизости от леса убирали кукурузу многие огнищане — Аким Турчак с сыновьями, Павел Терпужный, дед Силыч. Там же, в поле, произошла встреча Андрея с Силычем. Старик подошел к ставровскому загону, сдвинул на затылок облезлую шапчонку и проговорил, улыбаясь беззубым ртом:

— А я гляжу сдалека и гадаю: Андрюха или не Андрюха? Вон какой ты, голуба, вымахал, повыше деда будешь, совсем здоровым парнем стал, хоть в солдаты тебя бери!

Он, все так же улыбаясь и пришепетывая, сказал Андрею:

— Ну, иди сюда поближе, дай на тебя полюбоваться...

Колька Турчак, как всегда, выкладывал при встрече последние деревенские новости:

— Ведьмина дочка все болеет, перевелась ни на что. Она, говорят, дитё себе вытравила, с той поры и стала сохнуть... А у Лубяных в то воскресенье будут свадьбу гу-

лять, ихнюю Ганьку просватал Демид Плахотин. Кондрат Лубяной уже ездил в Пустополье договаривать музыку. Демид не желает в церкви венчаться: мне, говорит, как красному бойцу, не пристало с попами дело иметь, — а Ганькина мать и слушать не хочет: без венчания, говорит, не согласна отдавать дочку...

— А ты сам чем занимаешься? — спросил Андрей. — Четыре класса окончил, а дальше как думаешь?

Колька махнул рукой:

— Мое дело — в навозе копаться. Батька про ученье и говорить не позволяет. Ну и черт с ним, обойдусь без ученья! Не всем же учеными быть!

Как-то вечером Андрей, Роман и Колька Турчак, бродя по улицам, завернули на огонек в избу-читальню. Там при скудном свете керосиновой лампы тренькал на балалайке косоглазый Тихон Терпужный, в углу, щелкая семечки, жались одна к другой девчата, за столом важно перебирал газеты Гаврюшка Базлов. На стенах избы-читальни пестрели засиженные мухами плакаты, на которых изображены были неимоверно толстые буржуи в цилиндрах и рабочие с такими огромными руками, что казалось — ударь этой кувалдой-ручищей, и все толстяки-капиталисты мгновенно обратятся в прах. Кроме накрытого кумачом кривоногого стола, двух деревянных скамеек и ведра с водой в углу в комнате стоял некрашеный кухонный шкафчик, на котором висел тяжелый ржавый замок. Шкафчик был весь изрезан ножами, исписан чернилами и карандашом.

— А что в этом шкафу? — спросил Андрей у Кольки Турчака.

— Книжки, — ответил Колька.

— Книжки?

— Ну да. Только они все порванные, ни одной целой нету.

— Почему?

— Гаврюшка дружкам своим на курево раздает: одному две странички, другому три, так и ведет дело.

Скоро Андрею стало скучно. Он толкнул Романа, взял Кольку за локоть и сказал, позевывая:

— Пошли. Я б такую избу-читальню подпалил заодно с Гаврюшкой...

Они вышли на улицу. Сквозь легкую дымку облаков светилось голубоватое лунное сияние. Внизу, в долине, мелькали тусклые огоньки огнищанских хат. Между двумя темными квадратами пахоты белела жесткая, как камень, наби-

тая до блеска дорога. На краю деревни лениво и одиноко лаяла собака, должно быть прислушиваясь к тому, как спящая долина долгим эхом отзывалась на ее тоскливый лай.

Придя домой, братья обошли весь двор: заглянули в темную конюшню, где, отдыхая, покряхтывали наморенные кони, посмотрели корову и телок в закуте, птичник, постояли около высоких скирд соломы и сена на току. Тут все было чисто, по-хозяйски подметено, убрано, разложено по своим местам: в углу, у амбара, стояли вилы, грабли, лопаты; под накатом, смазанные маслом и заботливо покрытые попонами, выстроились плуги, бороны, пропашник, веялка.

— Любит батька порядок! — не без удовольствия заметил Андрей. — У него все тут как в амбулатории: каждая вещь на своем месте.

Роман фыркнул тихонько:

— Это, Андрюша, мне да Феде боком выходит. Одно только и знаешь — чистить, убирать, заметать. А отец ходит командует: «Это сюда перетащи, это — туда». Каждый день что-нибудь отыщет...

— Я сейчас о другом думаю, Рома, — сказал Андрей.

— О чем же?

— О том, что три года назад тут было как на кладбище — ни одной живой души, все разорено. А вот пришли люди, приложили руки, и опять место зацвело: живность во дворе появилась, сорняки кругом выпололи, цветов возле дома насадили, прямо смотреть приятно.

— Это тебе со стороны приятно, — буркнул Роман, — потому что ты гостем сюда приезжаешь. А мы, как мерины, тянем с утра до ночи.

Андрей неловко обнял брата, легонько притянул к себе:

— Потерпи еще один год, Рома, недолго осталось. Я окончу школу, а ты поедешь в город, сразу на рабфак поступишь.

Однако, несмотря на то что дома было чисто убрано и все имело добротный и прочный вид, старый дом показался Андрею немного осевшим, меньшим, чем был раньше, и вся Огнищанка как будто слегка ссутулилась, вобрав соломенные крыши в покатый, поросший бурьяном склон холма. Да и сам Андрей — он это чувствовал и понимал — изменился. Ему уже неловко было выбегать со двора босиком или носить на коромысле воду: не мужское дело, — и он, возвращаясь с поля, тщательно умывался, надевал черные

суконные брюки галифе, хромовые сапоги, черную сатиновую косоворотку и, выпустив из-под фуражки белесый чубок, неторопливо разгуливал по деревенским улицам.

— Растет фельдшеров старшенький, — говорили огнищанские старухи, — как деревце, тянется вверх.

Однажды в воскресенье, сидя с Колькой на берегу пруда, Андрей увидел Лизавету Шаброву, и сердце его сжалось от тупой, ноющей боли. Лизавету нельзя было узнать. Изможденная, худая, без кровинки в лице, она медленно прошла вдоль кладбищенского плетня, молча глянула на сидевших неподалеку ребят, перелезла через плетень и прилегла на кладбище, в тени ронявших листья кленов.

— Вот так она чуть ли не каждый день, — сказал Колька, мотнув головой в сторону Лизаветы. — На улицу не ходит, ни с кем не гуляет, пробежит огородами, чтоб никто не увидел ее, на кладбище, ляжет тут и лежит...

— Вы же, сволочи, ее и затуркали! — со злостью сказал Андрей. — Проходу ей не давали, заклевали ее, как вороны.

Колька удивленно глянул на товарища:

— Какой черт ее трогал? Что ведьминой дочкой называли, то ведь так оно и есть: Шабриха на все деревни известная ведьма.

— Дураки вы все! — оборвал Кольку Андрей. — Прямо совестно вас слушать. Заладили одно и хотя бы подумали: есть ведьмы на свете или нет? Это же дикая дребедень, бабские сказки...

Он потянулся, надел фуражку и, не прощаясь с Колькой, пошел на кладбище. Лизавета лежала лицом книзу, юбка ее слегка подвернулась, обнажая загорелые ноги.

— Здравствуй, Лиза, — негромко сказал Андрей.

Лизавета подняла голову и тотчас же уронила ее на руки.

— Чего тебе надо? — сказала она, не поворачиваясь. — Иди отсюда, не трогай меня... Надоели вы все до смерти!..

Андрей рассеянно сломал веточку акации.

— Напрасно ты, Лиза, я ведь тебе ничего плохого не сделал.

Она села, туго обвернула подолом юбки ноги и вдруг прошептала с нескрываемой ненавистью:

— Пошел ты...

Скверное слово хлестнуло Андрея, как кнут. Он швырнул на землю сломанную ветку и побежал по тропинке к полуоткрытым кладбищенским воротам. В памяти его оста-

лось бледное, изуродованное страданием и яростью лицо девушки, которую он помнил совсем другой.

Этот случай на кладбище испугал и встревожил Андрея. То, что еще вчера казалось ему простым и веселым, сегодня обернулось какой-то темной стороной, и он понял, что в отношениях между мужчиной и женщиной бывает не только любовь, но и нечто другое, дурное, то самое, чего люди стыдятся и что заставило Лизавету обругать его, Андрея, последними словами.

Андрей решил поговорить о Лизавете с дедом Силычем и пошел к нему. Старик сидел в своей хатенке, острым сапожным ножом крошил сухие стебли табака.

— Закуривай, сынок, — сказал он Андрею, — отпробуй моего самосада.

Они закурили.

— Видел я только что Лизу Шаброву, — затягиваясь обжигающе крепким дымом, сказал Андрей. — Прямо на себя не похожа, краше в гроб кладут.

— А ты уж слыхал, что с ней приключилось?

— Слыхал, мне говорили...

— То-то! — сказал дед. — Обидел ее какой-то кобелина, а сам под лавку схоронился. Она же, дурочка, еще большее зло над собой сотворила. А через что? Через то, что людей совестилась, языков людских забоялась. Оно так и получилось: и дитё свое сгубила, и себя чуть в могилу не свела...

Дед смахнул с сундука россыпь махорочного крошева, засопел сердито.

— Много у нас еще зла и дурости, Андрюха! Вот, скажем, вчерась повел я поить своего чубарого, а возле колодезя Антон Терпужный с Капитошкой стоят, и обое, видать, выпивши. Антон как меня увидел, так сразу знаки Капитошке подает — молчок, дескать. А тот вовсе пьяненький, руками махает и кричит на всю улицу: не боись, мол, Агапыч, мы этого паразита Илюшку Длугача подкараулим в темном куту и наскрозь его вилами прошьем, чтоб добрых людей не баламутил!.. Слыхал, голуба моя? Вилами, мол, прошьем, а? Это что ж, шуточки, что ли, — взять да человека вилами проткнуть?

— Капитошка с пьяных глаз молол и сам, видно, не знал что, — сказал Андрей.

— Оно-то правильно, голуба, что с пьяных глаз, — согласился Силыч, — а только знаешь: что у тверезого на уме, то у пьяного на языке. Народ у нас не одинаковый живет: один, к примеру, работает на совесть, государству рабоче-

му и крестьянскому помогает, а другой злобствует, как волк скаженный, все норовит за ноги тебя хватануть...

Сплыч потер кулаком слезящиеся глаза.

— Так вот, голуба, глянешь ты с горки на нашу Огнищанку и помыслишь: тихо и мирно люди живут. Хатеночки скрозь аккуратные, сады по дворам насажены, журавель колодезный тихонечко поскрипывает — прямо-таки божья благодать! А загляни ты в эти хатеночки да садочки, стань духом невидимым и загляни! Тут тебя сразу оторопь возьмет.

— Почему? — спросил Андрей.

— Потому, к примеру, что огнищане наши не одинаково живут. У бедняков хотя и руки короткие, а силу они набирают, руководствовать жизнью хотят, кулачки же на это лютуют, за старое держатся.

Дед погладил ладонями колени, прищурился.

— Ты думаешь, что Иван Силыч Колосков ничего не знает? Нет, дорогой ты мой человек, он все чисто видит и все знает: и сколько десятин земли Антон Терпужный у бедняков арендует, и как он на Илюшку Длугача ножик помаленьку точит, и как прибитого богом Тютька самогоном спаивает. И зятек Терпужного, товарищ Острецов, тоже, сдается мне, не дюже ясный человек: все где-то по чужим волостям мотается, камень за пазухой держит. И Тимоха Шелюгин, святой наш угодник, в одну с ними дудку дудит, только что языком не мелет, а молчит, будто в рот воды набрал. Все это, голуба моя, мне ведомо, и люди про это знают...

Андрей с интересом слушал деда Силыча. То, о чем дед говорил, как бы освещало заброшенную среди холмов Огнищанку новым светом, и Андрею показалось, что история несчастной Лизаветы какими-то неуловимыми нитями связана с угрозами пьяного Тютина, с хриплым и мрачным голосом Антона Терпужного, с тем темным и злым, что заставило огнищанских баб опахивать в голодную весну всю деревню, а мужиков — избивать железной клюкой укравшего овцу Николая Комлева.

В тот же вечер к Дмитрию Даниловичу пришел председатель сельсовета Илья Длугач. Андрей случайно тоже был в амбулатории.

У Длугача болело горло. Угрюмый, нахохленный, он развязал платок на шее и коротко буркнул:

— Дай-ка мне, фершал, подмогу. Мочи уже нету му-

читься с проклятым кашлем, будто середку из тебя вынают.

Уже лежа на кушетке и потирая пальцами грудь, Длугач пробормотал:

— Не слыхал, Митрий Данилович, какую посылочку мне на двор подкинули?

— Нет, не слыхал, — сказал Ставров, стряхивая градусник.

— Вышел я вчерась утречком во двор, а в воротах калитка отворена и коробочка от папирос лежит, белым шнурочком перевязана. Поднял я коробочку, развязал, а там винтовочный патрон заряженный и письмо приложено. Сейчас я тебе дам это письмо, можешь полюбоваться.

На разлинованном в клеточку листке, вырванном из школьной тетради, было написано синим карандашом:

«Запомни, поганая сволочь Илья Длугач: если ты будешь притеснять бога и людей, а также установлять грабиловку для красной антихристовой власти, не миновать тебе вскорости нашей пули, в точности такой же, как мы тебе посылаем.

Честные люди».

— Лихо написано? — оскалив зубы, ухмыльнулся Длугач. — Сразу видать, политики писали... Ну да я им, белошкурым, по-своему пропишу...

Выждав, пока Дмитрий Данилович приготовил порошки, Длугач поднялся с кушетки и резким движением оправил гимнастерку.

— Я им покажу, гадам ползучим! Я им, дорогой мой фершал, наглядно разъясню, что такое есть Советская власть...

Положив на плечо Андрея жесткую руку, он сказал неожиданно:

— Ты, браток, забеги вечером в сельсовет, дело есть к тебе. Парень ты культурный, грамотный, поможешь мне коечто написать... Я им, бандюгам, по-своему напишу, залью сала за шкуру.

Андрей сказал, что в сельсовет он придет, но его испугало жесткое, неприятное выражение лица Длугача и надтреснутый, сдавленный голос, каким произносил он свои угрозы.

Вечером Андрей застал в сельсовете Николая Комлева. Длугач сунул Николаю в руки старую, видавшую виды

винтовку, вынул из шкафа заржавленный штык и сказал:

— Примкни штычок, Коля. Сейчас мы с тобой пойдем карать врагов рабоче-крестьянской власти. Случаем чего, от имени партии и революции даю тебе разрешение поднять на штык любую кулацкую тварь, которая вздумает сопротивляться...

Тугодум Комлев переступил с ноги на ногу, вздохнул нерешительно:

— Это ж каких врагов ты, Илюша, задумал карать?

— Мне сверху виднее, Коля, — сказал Длугач. — Ты же, как представитель неимущих бедняков, обязан без разговоров выполнять все, что намечено Советской властью. Ясно?

Рассеянно глянув на стоявшего у дверей Андрея, Длугач отодвинул ящик накрытого красной скатертью кухонного стола, достал чистую школьную тетрадь, бережно стряхнул с нее махорочную пыль и протянул Андрею вместе с замусоленным огрызком карандаша:

— Возьми, будешь протокол составлять.

— Какой протокол? — не понял Андрей.

— На месте я тебе все чисто разъясню. Секретарь мой в волость подался, а ты, значит, будешь заменять секретаря, поскольку местный орган Советской власти доверие тебе оказывает.

— А куда мы пойдем? — осмелился спросить Андрей.

Длугач, как сердитый кот, подул в усы.

— Пойдем шуровать кулацкие норы. Понятно? А то наши огнищанские гады стали головы поднимать. Я же первый отвечаю перед рабочим классом и перед беднейшим крестьянством за спокой Огнищанки. Ясно?

Видимо решив, что это краткое объяснение исчерпало вопрос, Длугач пощупал рукой наган в кармане штанов и надвинул на брови фуражку.

— Пошли...

На небе смутно белела подернутая негустой облачной пеленой ущербная луна. Внизу, за темной пахотью огородов, мерцали редкие огоньки огнищанских изб. Медлительно поскрипывал журавель далекого колодца, — должно быть, запоздавшая старуха нехотя тащила тяжелую колодезную бадью.

— Вот оно какое дело выходит, — ни к кому не обращаясь, задумчиво проговорил Длугач. — Идем мы к социализму по крутой, нелегкой тропе, а кругом скаженные псы гавчут, в глотку нам вцепиться норовят... И сдается мне, не один

еще из наших красных героев костьми ляжет, жизнь свою драгоценную и кровушку свою отдаст, чтоб остальные, те, которые будут дальше жить, достроили социализм так, как распланировал товарищ Ленин...

— Да-а, — отозвался шагавший сзади Комлев, — трудное это дело, потому что, к примеру сказать, человеку невозможно вырвать свои корни из старого без всякой боли.

— Ничего, Коля, вырвем! — усмехнулся в темноте Длугач. — Так, брат, рванем, что кое-кто почухается...

Они остановились возле ворот Тимохи Шелюгина. В кухонном оконце шелюгинского дома светился огонек керосиновой лампы. Откуда-то из подворотни лениво пролаяла собака.

Длугач вошел во двор, тронул пальцем железную дверную скобу.

— Кто там? — раздался недовольный голос Тимохи.

— Открой, Тимофей. Это я, председатель, — сказал Длугач.

За дверью брякнул крючок. Освещенный лампой, в сенцах стоял Тимоха. Он был бос, полураздет, неловко придерживал измятые штаны и застегивал ворот ночной сорочки.

— Заходи, товарищ председатель, гостем будешь, — натянуто улыбнулся Тимоха.

— Я не один, со мной здесь товарищи, — обернулся Длугач, приглашая Андрея и Николая Комлева идти за ним.

— Ну что ж, нехай и товарищи заходят.

Из избы пахнуло жаром. За столом, на лавке, сидел седобородый лысый дед Левон, а у печки, постукивая мисками, хлопотала Поля. Увидев входящего Длугача, она испуганно глянула на мужа и забормотала, оправляя передник:

— Проходите к столу, рассаживайтесь, мы только ужинать собрались... Проходите, пожалуйста...

— До стола мы пройдем, — сказал Длугач, — а насчет ужина благодарствуем, нам не до ужина.

И, расстегнув карман гимнастерки, вынул листок бумаги, разгладил, неторопливо положил на стол. Потом тронул за плечо Тимоху, оскалился:

— Твоих рук дело?

Тимоха недоуменно посмотрел на него, на невозмутимого Комлева.

— Про что разговор идет? Не пойму.

— Про что? — глуховато переспросил Длугач. — Про то,

как ты, Тимофей Леонтьевич Шелюгин, имеешь намерение представителя Советской власти Илью Михайловича Длугача пустить в расход такой вот пулей.

С резким стуком Илья поставил на стол винтовочный патрон. Белесые ресницы Тимохи растерянно заморгали. Он засопел, слегка попятился, несколько раз оглянулся, как бы ища поддержки.

— Мне думается, товарищ председатель, ты где-то лишку хватил, — с трудом сказал он. — Я не убивец и не бандит, чтоб людей жизни лишать. Если же ты такую пакость на меня возводишь, то это поганая брехня, за которую тебя в волости по головке не погладят.

— Винтовка австрийская или же обрез того же образца есть у тебя? — перебил его Длугач.

— Никакого огнестрельного оружия у меня нету, — пожал плечами Тимоха. — Был поломанный германский штык, которым я свиней колол, и тот милиция забрала еще в позапрошлом году.

Длугач секунду подумал.

— Засвети фонарь и бери ключи от всех своих камор и сараев, — сказал он. — Сейчас мы сделаем у тебя обыск и, ежели найдем чего, ночью же отправим в гепеу. Довольно с вами шутки шутить.

Пока подавленный Тимоха с помощью Поли зажигал фонарь, Андрей осмотрелся. Кухонька Шелюгиных была чистая, опрятная, с занавеской на окне. Из кухни шла дверь в залик — большую комнату с двуспальной кроватью, на которой белели пышно взбитые подушки. Божница в углу комнаты, вдоль стен расставлены цветы. Против дверей, между двумя окнами, висел портрет хозяина в самодельной рамке. Тимофей Шелюгин был сфотографирован в солдатской форме, на его гимнастерке красовались четыре Георгиевских креста, светлые усы были лихо закручены колечками, а широко раскрытые глаза смотрели радостно и слегка удивленно.

Андрей перевел взгляд с портрета на Тимоху. Георгиевский кавалер Тимофей Шелюгин, солдат, который не раз бывал под пулями, зажигал дрожащими руками фонарь; с его лица не сходило выражение растерянности и страха. Дед Левон сидел у стола неподвижно, кинув на колени большие руки, жевал губами и по-старчески вздыхал.

— Нечего копаться! Пошли! — нетерпеливо крикнул Длугач.

Обыск ничего не дал. Илья и его спутники осмотрели

все дворовые постройки, погреб, чердак, заглянули во все щели, но ничего не нашли — только подивились образцовому порядку, который царил в шелюгинском дворе. Кони у Тимохи стояли в теплой конюшне, сытые, гладкие; неподалеку от конюшни аккуратно выложенной горкой высилась куча навоза; в коровнике была замазана каждая щель, и на ровном глиняном полу лежал слой соломенной подстилки; в каморке висели веялочные решета, смазанная дегтем сбруя, рядочком стояли пустые ульи; в чисто выметенном амбаре хранилось перевеянное, насыпанное в закрома зерно, по углам были расставлены мышеловки.

— По-хозяйски живешь, чисто! — не удержался отметить Длугач.

Тимоха пожал плечами:

— Живу как все...

— Не прибедняйся. Нам известно, чьим по́том все это нажито и как другие живут. Ясно? А то в твоем подворье только птичьего молока нет, а у других, которые на твоего батьку и на тебя век спину гнули, один ветер за пазухой да голодные мыши под полом...

После того как Длугач, закончив обыск, ничего не нашел, Тимоха успокоился и принял свой обычный вид степенного, знающего себе цену человека.

— Про мышей ты людям голову не дури, — снисходительно сказал он Длугачу. — Мыши заводятся у лодырей да у дураков вроде Капитошки Тютина. У кого рука работящая и мозги в голове есть, тот справно проживет безо всяких мышей и государству пользы даст больше, чем твой голоштанный пролетариат Капитон.

Рука Длугача легла на плечо Шелюгина.

— Насчет пролетариата не вякай. Понятно? Это не твоего ума и не твоей кулацкой совести дело. А зараз ступай в хату, стань на коленки и возблагодари бога за то, что я у тебя ничего не нашел. Иначе служили бы по тебе панихиду.

Круто повернувшись, Длугач зашагал к калитке. Миновав колодец, он остановился и сквозь зубы сказал своим спутникам:

— Пойдем до Антона Терпужного. Все одно я этих гадов возьму под ноготь. Пусть они не мыслят, что Советская власть трясется перед ними от страха. Я им, буржуйским псам, покажу силенку Советской власти!

У высоких, сколоченных из жердей ворот Антона Терпужного ждали довольно долго. Ворота были заперты из-

нутри. Во дворе, звеня проволокой, хрипел, захлебывался в натужном лае цепной кобель.

Андрею стало страшновато. Темнота, шелест ветра в голых ветвях, злое упрямство Длугача — все это пугало Андрея, настораживало, заставляло ждать, что вот-вот произойдет нечто необычное, грозное и неотвратимое.

Наконец за воротами послышались тяжелые шаги, густой, басовый кашель.

— Кого там нечистый дух носит? — спросил Терпужный, вглядываясь в темноту.

— Открывай, дело есть, — сказал Длугач.

Терпужный помедлил. Слышно было, как он сипло, с надрывом дышит.

— Добрые люди дела днем справляют...

— Ты брось митинговать! — повысил голос Илья. — Если говорю — открой, значит, подчиняйся, я не на крестины к тебе пожаловал.

— Ночным временем я никого в хату не пущу, приходи утром, — отрезал Терпужный и пошел от ворот к дому.

Неизвестно, что предпринял бы рассвирепевший Длугач. Он уже выхватил из рук Комлева винтовку и размахнулся, чтобы ударить прикладом по воротам, но в это время из глубины двора раздался спокойный голос Острецова:

— Дайте ключ, папаша. Или вы не узнали товарища Длугача?

Острецов открыл ворота, посторонился, заговорил сдержанно:

— Не обижайтесь на старика, он все еще думает, что вокруг Огнищанки укрываются зеленые банды, и не доверяет никому. Заходите, пожалуйста, прошу вас...

— Знаем мы хорошо, кому он доверяет, а кому не доверяет, — проворчал Длугач.

В большой горнице Терпужного за покрытым белой скатертью столом сидели пустопольский священник отец Ипполит, молодой парень — лесник с хутора Волчья Падь Пантелей Смаглюк и румяная, слегка захмелевшая Пашка. На столе были разбросаны затрепанные карты, а на подоконнике стоял поднос с двумя штофами самогона, с горкой сала и хлеба.

Длугач не стал медлить. Не обращая внимания на сидевших у стола, жестко сказал Терпужному:

— Есть решение обыскать твой двор. Бери лампу или чего другое и веди нас, куда скажем.

— Это чье ж такое решение? — насупился Терпужный. В его узких глазах застыло выражение неприкрытой ненависти. Толстые пальцы правой руки напряженно перебирали пуговицы на сорочке.

— Решение Советской власти, — отрезал Длугач.

Острецов сделал едва заметное движение головой, и Терпужный молча зажег фонарь и пошел из горницы. Вначале Длугач обыскивал один, потом, передав винтовку Андрею, ему стал помогать Комлев. Терпужный все время молчал, глядел в землю. Только когда пришли в овечью кошару и Комлев запустил ручищу в камышовую крышу, Антон Агапович не выдержал, хмыкнул насмешливо:

— Ты, Микола, присмотри овечку получше, а потом выбери ночку потемнее и гони до себя. Ты же специалист по овечкам.

— Придет час, мы у тебя белым днем ревизию в кошаре наведем и не одну овцу сконфискуем, а всех начисто, — огрызнулся Комлев.

— Сказал слепой: «Побачим», — пробормотал Терпужный.

Подняв глаза на стоявшего с винтовкой Андрея, он вздохнул и покачал головой:

— Тебе, парень, не надо бы привыкать по чужим дворам шастать. Батьку твоего я уважаю, семейство у вас культурное, а ты, гляди, каким злым баловством занялся.

— Мое дело маленькое, — вспыхнул Андрей. — Товарищ Длугач попросил меня, я и пошел.

— То-то и оно. Завтра товарищ Длугач попросит тебя человека убить или же хату поджечь...

В эту минуту Длугач, который молча копался в темном углу кошары, вынес к свету что-то тяжелое, завернутое в мешковину, развернул промасленное тряпье и вынул короткий немецкий карабин и четыре обоймы.

— Это ж чего? Овечек стеречь или же мух уничтожать? — негромко спросил он, приблизив к Терпужному побелевшее от гнева лицо.

Антон Агапович затоптался на месте, как спутанный конь.

— Я и сам не знаю, откуда оно взялось... Видать, когда белые или красные части проходили, кто-нибудь из солдат ночевал в кошаре да и забыл в соломке...

Длугач не удостоил его ответом и пошел к дому. Уже в горнице, сидя на лавке, он сказал Андрею:

— Садись к столу и пиши протокол...

Андрей отдал винтовку Комлеву, пощупал один карман, другой, неловко оглянулся.

— Чего там у тебя? — нетерпеливо спросил Длугач.

— Карандаш потерял.

Острецов вынул из кармана френча карандаш с жестяным наконечником, протянул Андрею:

— Пиши, пожалуйста.

Как только Андрей, потея от напряжения, вывел на тетрадном листе слово «протокол», Длугач вскочил с места, выхватил у него карандаш, развернул на столе изрядно измятую анонимку и спросил, не поднимая головы:

— Ваш карандашик, товарищ Острецов?

Тот и бровью не повел. Пригладил рукой волосы и сказал, небрежно позевывая:

— Нет, Илья Михайлович, не мой. Должно быть, моего тестя. Я этот карандаш взял сегодня на окне, вот здесь лежал. Можете вернуть его Антону Агаповичу.

Терпужный смотрел на улыбающегося зятя удивленными, непонимающими глазами.

5

Ганя Лубяная, та девушка, которую не мог забыть уехавший в Германию Юрген Раух, выходила замуж за демобилизованного красноармейца Демида Плахотина. Свадьба была назначена на первое воскресенье октября, этот срок приближался, но Ганю не покидало томительное состояние какой-то неловкости и грусти. Своего жениха Демида Плахотина, невысокого щеголеватого парня, вежливого и серьезного, Ганя любила. Он ухаживал за ней больше полутора лет, был неизменно ласков, тих, самогона почти не пил. Можно было надеяться, что он станет хорошим мужем. И все-таки Ганя мучилась, не спала по ночам, а иногда украдкой, чтоб не видели отец и мать, плакала или подолгу сидела задумавшись. Что там ни говори, виною этому был Юрген Раух.

С Юргеном Ганя росла. Как все дети небогатых захолустных помещиков, маленький Юрген — в Огнищанке его звали Юрой — играл с крестьянскими ребятишками возле пруда, водил в ночное коней, на собственных бахчах воровал с мальчишками арбузы. Когда Гане исполнилось шестнадцать лет, Юрген стал отдавать ей явное предпочтение перед другими девушками. Почему-то робел перед ней, смущался и вскоре довел себя до того, что дня без нее не мог

прожить. Произошло это в самый канун революции. Когда Советская власть отобрала у Раухов землю и скот, Юрген попытался сманить девушку в Германию, но Кондрат Лубяной, Ганин отец, выгнал его из хаты.

С тех пор прошло четыре года. Много раз Юрген писал в Огнищанку, звал Ганю в Мюнхен, обещал выхлопотать паспорт. Она не отвечала ему, хотя все еще помнила и жалела его. Но время брало свое, Ганя стала успокаиваться, как вдруг, уже после ее обручения с Демидом, накануне свадьбы, она получила от Юргена полное горести письмо.

Ганя хотя и не отвечала на письма Юргена, но хранила их в летней кухне, в своем деревянном девическом сундучке. Туда она положила и это последнее письмо.

Домна Васильевна, Ганина мать, заметила, что дочка что-то не в себе. Не укрылось от взгляда Домны Васильевны и то, что Ганя получила письмо с заграничными штемпелями и разноцветными марками.

— Опять, видно, тебе твой Юрка письмо прислал из неметчины? — спросила она у дочери.

— Да, мама, опять прислал.

— Что же он пишет?

— Так, разное... Пишет, что Франц Иванович помер от грудной болезни, что, дескать, перед смертью Огнищанку вспоминал и плакал.

— Скажи ты, — протянула, пожевав губами, Домна Васильевна. — Ну, царство ему небесное. Недобрый человек был покойничек, немало нашей крови да пота выпил. На том свете отольются ему мужицкие слезы. — И, постукивая возле печки чугунами, спросила как можно равнодушнее: — А еще про что пишет?

Ганя обернулась, провела пальцем по влажному оконному стеклу.

— Все про то же.

— Про тебя?

— Ага...

— Что любит, небось тоже пишет?

— Ага...

Обтерев руки полотенцем, Домна Васильевна подошла к дочери, ласково прикоснулась к ее пушистой русой косе.

— Пора это выбросить из памяти, доченька. Он барской крови и тебе не пара. Так, посмеялся бы — и только. Ты теперь про своего суженого думай, про Демида, а про Юркину любовь забудь. Чуешь? Демид, по всему видать, человек неплохой, уважливый, и семейство его работящее.

Будешь ты жить в своей деревне, на глазах у родных отца и матери. Так, дочка?

— Так, мама...

— Вытрави из сердца этого Юрку и готовься к свадьбе. А письма все спали, чтоб и следа их не осталось. Иначе не будет тебе добра.

К свадьбе Ганя готовилась, но письма не пожгла — почему-то жалко стало. Она собрала их все, перевязала бечевкой, завернула в обрывок клеенки и засунула глубоко под стреху отцовской хаты.

Демид Плахотин приходил к Лубяным каждый вечер, усаживался на лавке и заводил степенный разговор с хозяином или хозяйкой. На Ганю он старался не смотреть. Но когда Кондрат Власович и Домна Васильевна укладывались в кухоньке на шаткой деревянной кровати, Демид подходил к столу, слегка уменьшал огонь в лампе и робко и ласково обнимал свою невесту.

— Весною начнем строить свою хатку, Ганя, — как-то сказал он, поглаживая горячую ладонь девушки, — я уже и участок облюбовал, хороший участок, самый лучший.

— Какой же? — с улыбкой спросила Ганя.

— На краю деревни, возле Тимохи Шелюгина, там, где старые ветлы. Знаешь?

— Знаю, красивое место.

— А то нет? Пруд почти рядом, луговина зеленая. Летом под ветлами холодок будет. А на усадьбе мы яблони посадим, антоновки. Мне Терпужный обещал от своих яблонь отбойки оставить.

— Разве его выпустили? — с любопытством спросила Ганя.

— Кого?

— Дядьку Антона Терпужного.

Демид махнул рукой:

— Нет, сидит. Срок, говорят, ему дали за незаконное хранение оружия. В Пустополье и отбывает, никуда не послали. Там их душ сорок таких, почти что вольно ходят, вроде на какой-то постройке работают.

— Так это он Длугачу письмо подкинул, в котором обещался убить его, и даже пулю приложил к письму?

— Кто его знает! — пожал плечами Демид. — Я слыхал, что подозрение было на зятя его, на Степана Острецова, а доказать ничего не смогли...

Демид поцеловал щеку невесты и перевел разговор на свадьбу. Это занимало его больше, чем чужая судьба.

Чем ближе подходил день свадьбы, тем больше волновалась Ганя. Все как будто шло хорошо. Ржанская модистка к сроку сшила белое подвенечное платье. Там же, в Ржанске, Кондрат Власович купил здоровенный, обитый цветной жестью сундук и положил в него новенький полушалок, валенки, пунцовое стеганое одеяло — добавок к заготовленному еще с лета приданому дочери. Другая на месте Гани только радовалась бы, но и Домна Васильевна и Кондрат Власович замечали, что в глубине Ганиных глаз таится невысказанная грусть.

— Это она так, с непривычки, не каждый же день девки замуж выходят, — успокоила мужа Домна Васильевна.

Свадебный день, как назло, выдался холодный, пасмурный. С рассвета над полями неслись темные тучи, потом, гонимые ветром, замелькали первые снежинки. Дороги затвердели, земля остро и свежо запахла морозцем.

Как ни отказывался Демид от венчания в церкви, как ни убеждал Лубяных, что ему, хоть и не коммунисту, но красному бойцу, вчерашнему коннику, зазорно иметь дело с попами, Домна Васильевна и слушать ни о чем не хотела.

— Не будешь венчаться — не отдам Ганю! — заявила она, стукнув ладонью по столу.

Пришлось Демиду скрепя сердце подчиниться.

С утра возле двора Лубяных сбились брички свадебного поезда. Кондрат Власович, у которого была только одна лошадь, упросил Ставрова отвезти невесту с дружками в пустопольскую церковь, чтоб не ударить лицом в грязь перед жениховой родней. Дмитрий Данилович послал Андрея и Федю. Он сам осмотрел, смазал легкую рессорную бричку, сам надел на ее зеленый ящик две люльки с раскрашенными спинками, застелил их ковриками.

— Смотрите не запалите коней, — предостерег он сыновей.

Андрей и Федя, в новых дубленых полушубках, в пахнущих дегтем сапогах и серых смушковых шапках, уселись на переднюю люльку. Надев перчатки и лихо сдвинув на затылок шапку, Андрей натянул вожжи. Сытые караковые кобылицы оскалили зубы и, подрагивая блестящими, как темный атлас, крупами, игриво перебирая тонкими ногами, со звоном понесли бричку по улице.

— Куда там жениховой родне! — усмехнулся Дмитрий Данилович. — Демида, наверно, повезет в церковь Шелюгин. Разве шелюгинские вороные угонятся за моими?

Возле двора Лубяных Андрей остановил коней. Стоявшие у ворот девчата — Соня Полещук, Ганя Горюнова и Таня Терпужная, — слегка жеманясь и отворачивая от Андрея румяные на холоде лица, стали вплетать в жидкие гривки ставровских кобылиц красные ленты.

— Одни красные, ни одной нет синей или голубой, — презрительно кривя губы, сказала веснушчатая Соня.

— По кучеру и ленты, — засмеялась Ганя Горюнова.

— Гляди не перекинь невесту, — добавила Таня.

Со двора, провожаемая родными и соседями, вышла невеста в темно-синем бархатном бурнусике и прикрытой пуховым платком фате. Приподнимая подол отделанного кружевом платья, она кивнула Андрею и, поддерживаемая под руку братом Трифоном, высоким темноглазым парнем, села в заднюю люльку. Слева от нее сел Трифон, а справа беленькая Уля, дочь лесника Букреева.

— Садись и ты, Танюшка, — сказала Ганя стоявшей у брички Тане Терпужной.

Таня покраснела, оглянулась на девчат и уселась между Андреем и Федей. Остальные дружки и поезжане разместились на четырех бричках братьев Кущиных, Турчака и Горюнова.

Мимо них, вздымая пыль, с грохотом и стуком промчался свадебный поезд жениха. Андрей успел заметить, что на передней, сверкающей лаком тачанке, в которую были запряжены повитые разноцветными лентами и украшенные бумажными цветами серые в яблоках жеребцы Антона Терпужного, сидели Демид Плахотин, его перевязанный полотенцами дружка Ларион Горюнов и косоглазый Тихон Терпужный. Жеребцами правил Тихон.

— С этим будет трудно тягаться, — сквозь зубы сказал Андрей брату.

— Он уже уморил жеребцов, они в пахах мокрые, — отозвался Федя.

Андрей знал, что, по давнему огнищанскому обычаю, до Пустополья и обратно будет продолжаться бешеная скачка, что в этой скачке примут участие все упряжки, и ему хотелось прокатить невесту по-настоящему.

— Езжайте с богом! — сказал Кондрат Лубяной, поглядев, как в конце улицы оседает пыль. — Демид подождет вас возле Казенного леса.

— Трогай! — Трифон озоровато блеснул глазами. — У меня под люлькой бутылка самогона захоронена, за деревней мы ее раздавим.

Сберегая силы коней для предстоящей скачки, Андрей поехал не быстро. На холме Трифон достал бутыль самогона, угостил Андрея и выпил сам. На опушке леса они увидели несколько бричек и тачанок.

— Ждут, — сказал Федя.

Когда съехались, Тихон Терпужный, уже изрядно выпивший, закричал, щуря косые глаза:

— Ну, бабский кучер, давай померяемся силами!

Он развернул своих серых, поставил тачанку рядом с Андреевой бричкой, взвизгнул, взмахнул кнутом. Ставровские кобылицы рванулись, закусив удила, помчались следом. Все вокруг загрохотало, зазвенело, побежали назад деревья, поляны, придорожные столбы...

Андрей встал. Теперь он уже не видел ничего, кроме летевшей впереди тачанки и злобно прижатых ушей своих кобылиц. Обе кобылицы неслись легко, едва доставая копытами землю. Дважды они уже касались зубами Тихоновой тачанки, но Тихон все забирал к правой бровке и не давал дороги. Тогда Андрей схитрил. На большой поляне он резко свернул левее. Федя, заложив пальцы в рот, пронзительно свистнул, кобылицы обогнали тачанку и вихрем помчались под гору.

— Молодец, Андрюшка! Герой! — заорал Трифон.

— Давай! Давай! — истошно взвизжала Таня.

Бричку, как лодку в шторм, заносило в сторону, она ныряла в низины, взлетала на горки, а молодые кобылицы все убыстряли и убыстряли свой сумасшедший бег. Остановились они только в Пустополье у церковной ограды, когда Андрей, упершись ногами в передок, изо всей силы натянул вожжи.

Спустя несколько минут примчался Тихон. Он молча остановил жеребцов и метнул на Андрея завистливый взгляд.

— Магарыч за мной, Андрюша! — сказал Демид, отряхивая свои великолепные малиновые галифе. — Доведется нам с невестой до дому ехать твоими конями. Орлы, а не кони!

Вслед за другими Андрей тоже пошел в церковь посмотреть венчание. Придерживая Ганю под руку, Демид вместе с дружками, шаферами и поезжанами пошел вперед. В церкви тускло горели свечи, стоял застарелый, стойкий запах воска, ладана, залежалой в сундуках, редко надеваемой одежды. Народу было немного, больше старики и ста-

рухи. Все они обернулись и с любопытством смотрели на жениха и невесту.

— Красивая дивчина, — раздался вокруг тихий шепот.

— Огнищанская вроде...

— И женишок справный, ничего не скажешь...

Венчал отец Никанор. Он уже совсем одряхлел, ссутулился, ходил плохо, только глаза его, глубоко ввалившиеся, как это бывает у тяжелобольных, еще светились исчезающим светом жизни. Ему было трудно вести молодых вокруг аналоя, он повел их, волоча ноги и незаметно держась рукой за локоть смущенного Демида.

Закончив венчание, отец Никанор постоял, вздохнул и сказал тихо:

— С богом! Живите дружно, не обижайте друг друга. Сила и счастье ваши — в добром согласии. Я ведь и отцов ваших с матерями венчал когда-то. Тяжкое время было, а вот жили семьи. У них, у родителей своих, учитесь терпению и не покидайте друг друга ни в какой беде...

Обратный путь, несмотря на то что в Пустополье все выпили по стакану припасенного Демидом самогона, прошел тихо и мирно. Не желая, должно быть, обидеть Тихона, жених и невеста ехали в его тачанке. Возле Казенного леса Тихон попробовал скакать на своих серых, но Андрей, боясь отца, медленно ехал сзади с Федей, Таней и Трифоном.

— Дай ему маленько! — подзадоривал подвыпивший Трифон. — Пусть он не хвалится дядиными жеребцами.

— Ну его! — отмахнулся Андрей. — Мне мои кони дороже.

В Огнищанке, как водится, гуляли три дня. С рассвета до поздней ночи у двора Лубяных и Плахотиных толпились люди. Плетни трещали под тяжестью угнездившихся на них ребятишек. Захмелевшие бабы в измятых праздничных платьях бродили с ухмылками на лицах, хриплыми голосами заводили песни. Мужики плясали так, что даже в соседних избах дребезжали оконные стекла. Посреди свадебного стола перед Демидом и Ганей стоял высокий графин с самогоном, повязанный алой шелковой лентой, — знак того, что невеста соблюла свое девичество и что жених торжественно свидетельствует это перед всем народом.

— Молодец, Ганька, не осрамила родителей! — шептались старухи.

— Не то что городские, стриженые.

— Те, известное дело, — косы долой, юбчонка выше колен, и нате, любуйтесь, пожалуйста!

— У тех по три жениха на день.

— Вовсе распаскудились, шалавы...

Сидевший неподалеку Острецов слышал негромкий бабий разговор и усмехнулся. Ворот его черной, ловко сшитой гимнастерки был расстегнут, обнажая незагорелую шею. В прищуренных глазах застыла пьяная муть. Он скрипнул стулом, повернулся к бабам и сказал, поглаживая ладонью залитую самогоном скатерть:

— Это вы напрасно. Советская власть раскрепостила женщину. Теперь женщина вправе делать, что хочет. Нравится ей один человек — живет с ним, понравился другой — уходит к нему. Это называется свободная любовь.

— Тю на вас! — отмахнулась от Острецова кружевным платочком располневшая, но еще не утерявшая миловидности Зиновея, жена Павла Кущина. — Это же распущенность, а не любовь.

— П-почему распущенность? — снисходительно улыбнулся Острецов. — Извините. При социализме, например, никакой семьи не будет. Зачем она сдалась? Каждая женщина будет выбирать себе на ночь подходящего мужчину, даже двух сразу, в зависимости от желания и темперамента.

— По-моему, этот твой, как его, тем... рам... — заплетающимся языком проворчал Павел Кущин, — больше на собачью свадьбу скидывается, чем на социализм.

Острецов засмеялся:

— Вот придет день, Павел Евдокимович, конфискуют у тебя твою Зиновею, тогда поглядишь, социализм это или не социализм...

Сквозь легкий хмель Ганя слушала Острецова, пожимала, прикрывая скатертью, руку опьяневшего Демида и думала: «Скорее бы все это кончилось. Голова болит от вина, от шума...» Ее смешило и пугало то, что говорил Острецов, и она решила, что он, наверно, шутит или издевается над супругами Кущиными.

Острецов же, заметив, что разговоры за столом умолкают, тряхнул головой, долил в стакан самогона и закричал:

— Выпьем за молодых, чтоб они жили как голубь с голубкой!

— Го-орько! — с трудом поднимая голову, пробормотал сонный дед Силыч и полез целовать толстую Мануйловну.

Перед рассветом Острецов выбрался в сени, разыскал фуражку, не оглядываясь, медленно зашагал по улице. Он слышал, как следом за ним хлопнула дверь и раздался ломающийся голос Пашки: «Сте-о-о-па!..» Но Острецов не откликнулся и пошел дальше. «Иди, возлюбленная моя жена, ко всем чертям!» — подумал он с ленивой злостью.

Еще не уходила, обнимала все теменью октябрьская ночь. За плетнями уныло шумели обронившие листву акации. Над крышами, над едва различимым холмом неясно светлело пятно далекого восхода. С низины, от перепаханных огородов, тянуло прохладной свежестью.

Острецов шел медленно, заложив руки за спину, рассеянно перебирая пальцами тонкую хворостинку. Уже много дней его не покидало чувство странной отрешенности и одиночества. История с Савинковым выбила его из колеи, нарушила все его планы, завела в тупик. Несколько дней он ждал приезда Погарского, надеясь узнать, кто будет теперь руководить отрядами зеленых и что надо делать в ближайшее время. Но Погарский почему-то не приезжал. Приходилось ждать.

В Костин Кут к Острецову никто не заходил, кроме Пантелея Смаглюка. Смаглюк жил в небольшой избе вместе с матерью-старухой. Родом он был с Полтавщины, год служил в петлюровском отряде, потом ушел в банду Григорьева, мотался с Заболотным, а в двадцать первом году, забрав с собою мать, замел свои следы и поселился в Ржанском уезде, где ему дали место лесника.

Смаглюк сделался правой рукой Острецова. Это он два года назад пристрелил двух чекистов, Устинью Пещурову и мужика-подводчика Семена Петрова. Он же поднял стрельбу в церкви, убил пустопольского милиционера и поджег школу.

Совсем недавно Пантелей Смаглюк спас Острецова от верной гибели. Во время ночного обыска у Терпужного, когда Острецов неосторожно подал свой карандаш, Длугач мгновенно понял, что именно этим карандашом написано подметное письмо (письмо действительно написал Смаглюк под диктовку Острецова). После ареста Терпужного Смаглюку удалось увидеть его на прогулке на милицейском дворе и строго-настрого приказать, чтоб Терпужный признал карандаш своим. Тот так и сделал. Сказал, что за несколько дней до ареста нашел карандаш на улице, что ни о каком подметном письме слыхом не слыхал и сам написать не мог, потому что неграмотный. Так Острецов был спасен.

Теперь его беспокоило другое — опасное родство с кулаком Терпужным. Устранить Пашку так же, как была устранена Устинья, он не решался. Нужно было придумать другой ход и избавить себя от сожительства с необузданной, болтливой бабенкой, которая явно мешала и путалась у него под ногами.

«Да, только так, — чуть вслух не сказал Острецов, — придется снова прибегнуть к помощи Смаглюка».

Утром, когда Пантелей Смаглюк забежал в Костин Кут, Острецов усадил его в кухне, налил, как это всегда бывало, стопку заправленного перцем самогона и сказал, обнажая в улыбке ровный ряд зубов:

— Как ты, Пантелей, смотришь на то, чтобы ночку-другую переспать с моей женой, с Пашей? А?

Смаглюк молча вытаращил на него глаза.

6

Наморенные исполкомовские кони с трудом тащили тачанку по тряской, разбитой дороге. Еще в распутицу крестьянские телеги исковыряли ее глубокими колеями, а когда ударил первый мороз, завалы вязкой грязи затвердели, на много верст протянулись жесткие ухабы.

В тачанке сидели Григорий Кирьякович Долотов и секретарь пустопольской волостной партийной ячейки Маркел Трофимович Флегонтов. Уставший за день Долотов подремывал, привалясь к плечу соседа, а тот сердито сопел, ругаясь при каждом толчке тачанки:

— Ну и дорога! Все кишки вымотала, будь она проклята!

Молодой паренек кучер оправил под собой сложенную вчетверо попону, повернул к седокам безбровое мальчишеское лицо.

— Вот, Маркел Трофимович, выедем за лесок, свернем на толоку, а тут свернуть некуда, скрозь пеньки...

— То-то и оно, — поморщился Флегонтов, — пеньки да ухабы. А председатель волисполкома, которому по чину положено за дорогой следить, спит себе, как младенец, и ни о чем не думает.

Долотов открыл глаза, зевнул.

— Да-а! Тебе, Маркел, положено партийные дела блюсти, а ты впрягся в тележку Берчевского и скачешь вроде пристяжной...

Он понизил голос, покосился на кучера, который монотонно, в нос мурлыкал песню.

— Не понимаю я тебя, Маркел. Вышел ты из рабочих, в

партии состоишь лет десять, а черного от белого отличить не можешь. Нельзя же полагаться только на уком, надо свою голову иметь. У тебя же получается так: что Резников тебе приказывает, то ты и выполняешь.

— В этом, Григорий, и заключается, как я разумею, железная партийная дисциплина, — пробасил Флегонтов. — Мы не для того выбирали Резникова в уком, чтобы палки ему в колеса ставить. Пока он секретарь укома, я обязан выполнять каждое его требование.

— Нет, не каждое,—сердито отмахнулся Долотов.—Если секретарь укома понуждает тебя совершать то, что идет во вред партии, наплевать на то, что он секретарь.

Флегонтов поморщился, закашлялся, его толстое лицо покраснело.

— Как это наплевать? Что ж, по-твоему, я должен считать, что Резников, руководитель уездной партийной организации, дурнее нас с тобой? Извини, пожалуйста. Парень он грамотный, в Москве сколько лет работал и в партийных делах разбирается не хуже тебя.

Досадливо махнув рукой, Долотов отвернулся.

— Разбирается-то он очень здорово, а только все у него от лукавого. Он гнет свою линию, троцкистскую, и выполняет не директивы ЦК, а приказы троцкистов. Неужто ты этого не видишь и не понимаешь?

— Мое дело маленькое. Я в этих оппозиционных тонкостях разобраться не могу по недостатку мозгов. Гимназий я не кончал. Пусть грамотные товарищи сами договариваются, что к чему, и делают свои выводы. Я же обязан — понимаешь, обязан! — подчиняться укому.

— В таком случае тебя самого, дурака этакого, надо гнать с секретарства, потому что ты вредишь партии! — вспылил Долотов.

Шея Флегонтова стала совсем багровой.

— Надо будет — выгонят без твоей помощи...

Они умолкли. Мимо замелькали редкие деревья лесной опушки. Кучер свернул на толоку, тачанка покатилась ровнее и мягче. Долотов, хмурясь, всматривался в степную даль. В полях, вперемежку с белыми пятнами инея, лежали неподвижные темные тени облаков. На межах бурел, колебался под ветром сухой бурьян.

«Старый, трухлявый пень!—зло подумал Долотов о своем соседе.— С ним не оберешься горя...»

Долотов и Флегонтов двое суток ездили по волости, и двое суток у них не прекращался ожесточенный спор. Причиной

послужило то, что Маркел Флегонтов согласился предоставить возможность секретарю Ржанского укома партии Резникову выступить на волостной партийной конференции с докладом на тему «Текущий момент и задачи местных партийных организаций». Конференция должна была состояться через три дня, и Долотов знал, что секретарь укома приедет с единственной целью: доказывать пустопольским коммунистам необходимость защищать тезисы оппозиции, изложенные в недавно опубликованной брошюре Троцкого «Новый курс» и в ряде писем, присланных в уком московскими оппозиционерами. Флегонтов же, вместо того чтобы мобилизовать коммунистов волости на борьбу против оппозиционеров, безропотно подчинился Резникову, хотя сам и не принимал никакого участия в его фракционной работе.

В Пустополье приехали перед вечером. Возле исполкома, как всегда, стояли крестьянские телеги. Накрытые зипунами и попонами, кони неторопливо жевали сено. На ступеньках шаткого деревянного крыльца стояли и сидели люди.

Холодно простившись с Флегонтовым, Долотов остановился у крыльца, отряхнул от пыли кожанку. Загораживая ему дорогу, со ступенек поднялся дряхлый Левон Шелюгин. Тусклые глаза его слезились, руки с жесткими, как роговина, ногтями дрожали. Он умоляюще смотрел на Долотова, беззвучно шевелил губами, шамкал что-то непонятное.

— Ты ко мне, дедушка? — спросил Долотов.

— Жалиться к вам приехал, товарищ гражданин, — глотая слюну, проговорил дед Левон.

— На кого жалиться? Откуда ты сам?

— Из Огнищанки я, Левонтий Шелюгин. Богом прошу вас, господин начальник, — заступитесь за меня. — Дед засопел, всхлипнул, протянул руку. — Восемьдесят годов мне, один у меня сыночек, в Красноармии служил. Зачем же обижать трудящего человека?

— А в чем дело? — нахмурился Долотов. — Кто тебя обижает?

— Товарищ Длугач, председатель наш огнищанский. Жизни он нас лишает. Сил уж нет терпеть такое...

Долотов взял деда под руку, повел его за собой.

— Ладно, ладно, пойдем, расскажешь все как следует. Сына твоего я знаю, помню. Тимофеем его звать... Ну, вот видишь...

В нетопленом кабинете Григорий Кирьякович усадил старика на скамью, сам присел, закурил, потирая задубевшие на ветру руки.

— Так чем же Длугач обижает вас?

Руки деда Левона, положенные на колени, дрожали. По темной щеке ползла слеза. Сивая голова деда тряслась, и Долотову вначале трудно было разобрать, что он говорит.

— Мы, Шелюгины, весь век трудящие крестьяне, хлеборобы, — забубнил дед, — никто про нас плохого не скажет... Земельку руками своими управляли, хлебушком жили, зерном...

— Ну и что же? — спросил Долотов.

— Теперь же, сказать, как оно получается? При красной власти товарищ Длугач за кулаков нас признал. А почему? Потому что хозяйство у нас справное и что сын мой Тимоха у белых полтора месяца служил. Так он ведь не своей охотой пошел и опосля два года в Красноармии воевал. За что ж нас так обижать? Кому мы зло сделали?

Загасив папиросу, Долотов побарабанил пальцами по столу.

— Чем же все-таки Длугач вас обижает?

Дед Левон вытер рукавом нос, всхлипнул.

— Он, видно, решить нас жизни хочет... Когда в коммуне хлеб спалили, Тимоха был заарестован невинно, в тюрьме сидел... Теперь товарищ Длугач ночной темнотой заявился до нас, зачал трусить все углы, убивцем Тимоху обозвал... А ноне люди нам пересказали, что председатель голоса по деревне собирает...

— Какие голоса? — спросил Долотов.

— Вовсе, говорят, хочет выселить нас из деревни, грозится, что в Сибирь загонит нас, как нетрудящих... А разве ж это правильно?

— Ладно, отец, — поднялся Долотов, — езжай спокойно до дому, я поговорю с Длугачем. Никто вас выселять не будет. Живите себе в своей Огнищанке и работайте.

Провожая деда к дверям, Григорий Кирьякович спросил:

— А ко мне тебя сын послал, что ли?

— Никак нет, — качнул головой старик, — сам я надумал податься в волость, с соседом прибыл, подвез меня сосед наш... — Он протянул руку, проговорил еле слышно: — Спасибочко вам... хоть поговорили со мною по-людски, и то полегчало... А товарищу Длугачу грех трудящего крестьянина обижать, над старыми измываться...

Когда дед, беспрерывно кланяясь и прижимая к груди руки, вышел, Долотов черкнул в записной книжке: «Узнать о Шелюгиных», походил по кабинету и крикнул в полуоткрытую дверь:

— Кто там ко мне? Заходите!

Посетители входили одни за другим. Молодая женщина в клетчатой шали пожаловалась на то, что ее муж, коммунист, рабочий бондарной артели, напиваясь допьяна, избивает детей. Румяный парень из дальней деревни Ромашкино принес заявление, в котором было написано, что три ромашкинских кулака под видом аренды захватили у бедняков всю землю, причем назначили цену — по три ведра ржи за десятину. Член сельсовета из деревни Вилкино просил денег на починку моста и сказал, что на старом, разваленном мосту лошади поломали ноги.

Григорий Кирьякович сосредоточенно слушал все, что говорили люди, записывал, вызывал к себе сотрудников исполкома, отдавал им распоряжения, то есть делал то, что считал нужным и что привык делать каждый день. Но одна неотвязная мысль сверлила его мозг — мысль о предстоящей партийной конференции.

«Маркел провалит все на свете, — думал он,— а эта фракционная сволочь выпустит когти. Уровень пустопольских коммунистов не ахти какой высокий, — значит, Резников постарается использовать наше бескультурье и станет на этом проводить свои планы. Мы же будем сидеть и ушами хлопать...»

В сумерках, когда молчаливая старуха уборщица внесла и поставила на стол зажженную лампу, в кабинет без стука вошел начальник милиции Колодяжнов, тощий, смуглый, как турок, мужчина в шинели. Он осмотрелся, повел длинным носом, проговорил брезгливо:

— Керосином у тебя, Кирьякович, воняет, спасу нет.

— Это от лампы, — сказал Долотов, — лампа, проклятая, течет.

Колодяжнов присел на стул, отряхнул шапку.

— Что, снег идет?

— Ни снег, ни дождь, пакость какая-то. — Он положил шапку на колени. — Ну как поездка?

— Все так же, — Долотов пожал плечами, — ни шатко ни валко.

— Самогон небось варят?

— Нет, на тебя смотрят, — раздраженно сказал Долотов. — Дожидаются, пока начальник милиции аппараты у самогонщиков конфискует.

— Да у них, чертей, конфискуешь! Не успеешь один разломать — глядишь, другой дымит. Разве за ними угонишься?

Говорил Колодяжнов медленно, лениво, точно ему все наперед было известно и он снисходил к собеседнику, чтобы произнести три-четыре слова. Родом он был из Ржанска, из крестьянской семьи, служил солдатом в царской армии, в семнадцатом году вступил в партию, сражался на колчаковском фронте, потом работал в Пензе в ЧК. Долотову начальник милиции нравился — это был человек честный, спокойный, исполнительный. Одно только портило Колодяжнова — любил не в меру выпить и в дни запоя становился неузнаваем: буйствовал, ругался на чем свет стоит и рвался «бить мировую буржуазию».

— Насчет самогонных аппаратов ты, Кирьякович, неправильно рассуждаешь, — сказал Колодяжнов. — Дайте людям дешевую водку и за пуд пшеницы платите дороже, вот они и перестанут дымку гнать. А вы на милицию уповаете, политики.

Долотов сломал папиросу, заходил по кабинету.

— Самогон — это полбеды. С самогонщиками мы управимся. А вот то, что у нас троцкисты распоясываются,—это, брат ты мой, похуже.

— Зря ты тревожишься, Гриша, — позевывая, сказал Колодяжнов, — подумаешь, велика опасность — два-три болтуна-фракционера на уезд!

— Но этих болтунов опекает секретарь укома Резников, а он связан с оппозиционной группой Васильева в губернии и может намутить. — Он остановился возле Колодяжнова. — Ты знаешь, что в субботу к нам заявится Резников и будет делать доклад на партийной конференции?

Колодяжнов разгладил мокрую смушку шапки.

— Пускай делает. Мы тоже не лыком шиты. Послушаем и так дадим ему коленом под зад, что другой раз не сунется.

— Надо бы предложить Маркелу, пусть соберет бюро, — сказал Долотов. — А то выступим на конференции кто в лес, кто по дрова...

Домой Григорий Кирьякович шел вместе с Колодяжновым. В темноте сеяла холодная мга. Она оседала на ветвях деревьев, на плетнях, на земле, и морозный ветер тотчас же превращал влагу в ледок.

— Чертова погода! — проворчал Григорий Кирьякович.

Степанида Тихоновна встретила его в жарко натопленной горнице, засуетилась, собирая ужин. Долотов неторопливо умылся, глянул на спавшего Родю, прошел в свою угловую комнатушку. Тут все было знакомо и привычно: заваленный

газетами стол, школьная чернильница, стопка книг на подоконнике, ружье над жесткой, накрытой грубошерстным одеялом кушеткой. Слыша, как Степанида Тихоновна негромко стучит посудой, Долотов подумал: «Нелегкая у Стеши жизнь, целыми днями одна, будто и нет у нее мужа». Он снял ремень, расстегнул гимнастерку и, прихватив нечитаную газету, пошел в горницу.

— Чем ты меня сегодня угостишь, дорогая жена?—спросил он, усаживаясь за стол.

— Тебя бы, Гриша, добрым тумаком следовало угостить,— укоризненно сказала Степанида Тихоновна. — Приехал засветло и носа домой не кажешь, вроде у тебя уже и семьи нет.

Долотов привстал, слегка обнял полнеющую жену, на секунду прижался к ее горячей, потной щеке своей небритой щекой:

— Не сердись, Стеша, некогда было, люди меня ждали.

— Но поесть-то надо было? — смягчила голос Степанида Тихоновна. — Двое суток где-то мотался голодный...

— Чего там голодный? Кормили меня, не бойся.

Он начал есть, с наслаждением откусывая хлеб, и Степанида Тихоновна, стоя у плиты, любовно и жалостно смотрела на него.

— Вижу, как тебя кормили, — сказала она.

— Зачем же? Просто суп вкусный, — засмеялся Долотов.

После ужина он, как это всегда бывало, закурил и, пока Степанида Тихоновна мыла посуду, стал читать ей газету, но почувствовал, что его клонит ко сну, и пробормотал виновато:

— Ты уж сама дочитаешь, Стешенька. Уморился я, спать хочу...

Но спать Долотову не дали. Не успел он лечь, как в дверь кто-то постучал. Григорий Кирьякович вышел в сенцы, спросил сонно:

— Что надо?

— Товарищ Флегонтов просил вас зайти к нему, — услышал Долотов голос исполкомовского сторожа.

— Зачем?

— Не могу знать. Там какой-то партейный начальник из уезда приехал, из Ржанска.

— Хорошо, сейчас приду, — сказал Долотов и подумал злобно: «Это Резников. Хитер, голубчик! Решил перед конференцией почву прощупать, приехал раньше времени...»

В домике волостной ячейки — он стоял неподалеку от исполкома — было сильно накурено. В большой, украшенной плакатами комнате сидела группа пустопольских коммунистов: прокурор Шарохин, начальник милиции Колодяжнов, судья-старичок Лобоза, заведующий земельным отделом Паклин, женорг Ольга Матлахова и секретарь комсомольской ячейки Николай Ашурков. Сам Флегонтов, заложив руки за спину и тяжело ступая обутыми в валенки ногами, молча расхаживал по комнате. На его месте, за столом, откинувшись на подлокотник кресла, сидел секретарь Ржанского укома партии Резников.

Когда Долотов вошел, Флегонтов посмотрел на Резникова и сказал угрюмо:

— Ну вот. Все, которых ты, товарищ Резников, просил собрать, собрались. Можно начинать.

— Собственно, начинать нам нечего, — нервно потер переносицу Резников, — никакого заседания я устраивать не думал. Приехал на пару дней раньше, чтобы ознакомиться с делами и прежде всего побеседовать с товарищами...

Резников бегло осмотрел собравшихся и сказал, потирая узкий лоб:

— Надо полагать, что пустопольским коммунистам известно положение, которое сейчас создалось в партии в связи с дискуссией?

— Что вы имеете в виду? — осторожно подбирая слова, спросил тщедушный Лобоза.

— Я имею в виду те серьезные идейные разногласия, которые с каждым днем углубляются, — потирая ладони, сказал Резников.

— Другими словами, ты имеешь в виду фракционную деятельность Троцкого? — грубовато перебил Долотов и посмотрел на Резникова в упор.

Тот поморщился.

— По-моему, товарищ Долотов, нам еще рано давать такие определения. Время покажет, кто истинный наследник ленинского учения.

— Истинным наследником ленинского учения, — отчеканивая каждое слово, произнес Долотов, — осталась партия, которую Ленин создал.

Резников заерзал в кресле, бесцельно переложил с места на место папки на столе.

— Да, но если партия идет по неправильному пути?.. Да, да! По неправильному! — истерично выкрикнул Резников. — Они утопили наши революционные завоевания в крестьян-

ской стихии, подчинили пролетариат чуждой рабочему классу деревне, повернулись спиной к мировой революции, придумали суздальскую теорию о возможности построить социализм в одной стране?

— Погоди, погоди! — вмешался Колодяжнов. — Ты тут наговорил сорок бочек, а толку в твоих речах я не вижу. По-твоему, значит, выходит так: раз мировая революция не состоялась, нам надо поднять руки вверх и сдаваться, потому что не можем одни строить социализм в нашей стране?

Чисто выбритый подбородок Резникова дрогнул.

— Строить-то мы можем, но построить не сможем.

— Ну и что же в таком случае делать? — спросил Колодяжнов. — Вызвать из-за кордона капиталистов, стать перед ними на колени и заявить единогласно: так, мол, и так, извиняемся за то, что мы свергли царский строй и Временное правительство, потому что мы дурачки и ничего из нашей затеи не получилось? Так, что ли?

— Нет, не так! — раздался из коридора пронзительный голос.

Все обернулись. У дверей стоял Берчевский, преподаватель пустопольской трудовой школы, бывший волпродкомиссар. Глаза его бегали, оглядывая собравшихся, острый кадык шевелился на тонкой шее.

— Нет, не так! — повторил Берчевский, размахивая рукой. — Надо проводить правильную партийную линию! Довольно цацкаться с мужиками, которые тянут нас в мелкобуржуазное болото! Довольно подчиняться перерожденцам! Надо немедленно, сегодня же...

— Заткнись! — поднялся с места Долотов.

Он взял за плечо тучного Флегонтова, ударил кулаком по столу.

— Ты почему молчишь, Маркел Флегонтов? Или ты, секретарь партийной ячейки, ослеп, оглох, онемел? Разве ты не понимаешь, что все это значит? Разве ты не видишь, кто перед тобой стоит? Почему ты не гонишь в три шеи фракционера Резникова и его подпевалу Берчевского?

И, уже не владея собой, до крови закусив побелевшие губы, шагнул к Резникову:

— Вон отсюда к чертовой матери!

— Ты что, ошалел? — вздрогнул Резников. — Я сейчас же доложу укому об этом хулиганстве и вышвырну тебя из партии.

Долотов медленно заложил руки за спину.

— Ты? Меня? Из партии?

Между ними стал Колодяжнов. Он тихонько отстранил Долотова и, глядя в пол, сказал Резникову:

— А в самом деле, товарищ уездный секретарь, застегивайся и уезжай. Тут тебе не повезет. Бери с собой своего дружка и вали в уком, иначе без головы останешься.

Не попадая пальцами в петли, Резников стал застегивать кожанку и забормотал, опасливо посматривая на Долотова:

— Хорошо... Ладно... Я уеду... Но даром вам это не пройдет. Мы найдем возможность ликвидировать этот бандитизм. Мы вам покажем!

Он обежал стол кругом, толкнул локтем Берчевского, и оба они, возбужденно жестикулируя, выскочили из комнаты, с треском захлопнув дверь.

Наступило молчание. Прокурор Шарохин, низенький горбун с острыми глазами, проговорил ядовито:

— Интересно вы провели внутрипартийную дискуссию, весьма убедительно... Только по форме не совсем правильно...

Григорий Кирьякович Долотов устало сел на скамью, проводил взглядом шагавшего по комнате Флегонтова и сказал коротко:

— Товарищи! У меня есть предложение избрать другого секретаря волостной партийной ячейки, так как товарищ Флегонтов, очевидно, не в состоянии твердо отстаивать ленинскую линию.

— Вот это уже зря! — возмутилась молчавшая все время Матлахова. — Ты, Григорий Кирьякович, хочешь, чтоб Флегонтов отвечал за все. Ведь перед нами выступал тут не человек с улицы, а секретарь укома. Что ж, Флегонтов обязан был заткнуть ему рот?

— Он обязан был рассказать коммунистам о том, что он сам, как секретарь, думает, а он и сейчас молчит, — сказал Долотов. — Мы должны избрать другого секретаря.

Тяжелой походкой подошел к нему Флегонтов и заговорил хрипло:

— Мне нечего сказать, Гриша, потому что я не могу разобраться в этих вопросах. Когда надо было бить белых или рубить уголь в шахтах, я знал, что к чему... А теперь я вроде как потерянный. Откуда же мне понять, где правда? И разве мало есть таких, как я?

— Но Ленину ты веришь? — тихо спросил Долотов.

— Да, Гриша, Ленину я верю.

— Вот. Значит, читай Ленина и его словом проверяй, где правда, а где неправда... А не сделаешь этого — пеняй на

себя. Может оказаться так, что ты, коммунист и старый красногвардеец, пойдешь с теми, кто, по сути дела, идет против партии и против Ленина...

Долотов поднялся и, ни с кем не прощаясь, пошел домой. Следом за ним вышли Колодяжнов, Шарохин, Матлахова. Они шли в темноте осенней ночи, подавленные и молчаливые. Поскрипывали деревья. На изрытых колеями улицах, белея, оседал снежок. В закрытых ставнях беспорядочно разбросанных домов неясно желтели полоски скудного света. Но и эти робкие полоски меркли, угасали в холодной тьме...

Ветер высвистывал, нес с запада снеговые тучи, шумел между домами, ворошил по дворам стога сена, а за селом, в поле, дул ровно, однообразно, гнал на восток сухие, оторванные от земли бурьяны.

На повороте дороги, за крайней пустопольской избой, стояла тройка запряженных в легкую тачанку коней. Возле тачанки расхаживал одетый в длинный тулуп кучер. Неподалеку, на припорошенной снегом толоке, ходили Резников и Берчевский.

— Так-то, товарищ, — глухо проговорил Резников, тряся худую, с цепкими, костистыми пальцами руку Берчевского,— до лучших времен и до скорого свидания. Не кидайся на них очертя голову, этим ты только напортишь себе и нам.

Он уселся в тачанке. Продрогшие лошади рванули рысью. Берчевский постоял немного, потом, по-петушиному перебирая тонкими ногами, быстро пошел в село.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Закруткин В. А.

З-20 Избранное в трех томах. Том первый. Сотворение мира.: Роман. Книга первая. — М.: Воениздат, 1986.— 478 с. с портр.

В пер.: 2 р.

Роман известного советского писателя Виталия Александровича Закруткина «Сотворение мира» — большое эпическое произведение. В первой книге писатель воссоздает атмосферу Европы 20-х годов, когда империалистические силы всеми средствами пытались помешать созданию нового, социалистического мира. В центре повествования фельдшер Дмитрий Ставров, его семья, на чью долю выпала участь разделить все трудности и испытания молодой Советской России.

Книга рассчитана на массового читателя.

З $\frac{4702010200-025}{068(02)-86}$ 123-86

ББК 84Р7

Р2

ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЗАКРУТКИН

Избранное. Том первый. СОТВОРЕНИЕ МИРА. Книга первая.

Редактор *М. И. Ильин*
Художник *Н. Н. Пшенецкий*
Художественный редактор *Е. В. Поляков*
Технический редактор *М. В. Федорова*
Корректор *Н. Г. Худякова*

ИБ № 2823

Сдано в набор 24.01.85. Подписано в печать 27.05.85.
Формат 84×108/32. Бумага тип. № 1. Гарн. обыкн. нов. Печать высокая.
Печ. л. 15. Усл. печ. л. 25,20+1 вкл. 1/32 печ. л., 0,05 усл. печ. л.
Усл. кр.-отт 25,68. Уч.-изд. л. 28,54. Изд. № 4/990. Тираж 200 000 экз.
Зак. 741. Цена 2 р.

Воениздат, 103160, Москва, К-160
Набрано в 1-й типографии Воениздата
103006, Москва, К-6, проезд Скворцова-Степанова, дом 3

Отпечатано в ордена Трудового Красного Знамени типографии изд-ва «Звезда», 614600, г. Пермь ГСП-131, ул. Дружбы, дом 34. Заказ 8541





2 р

